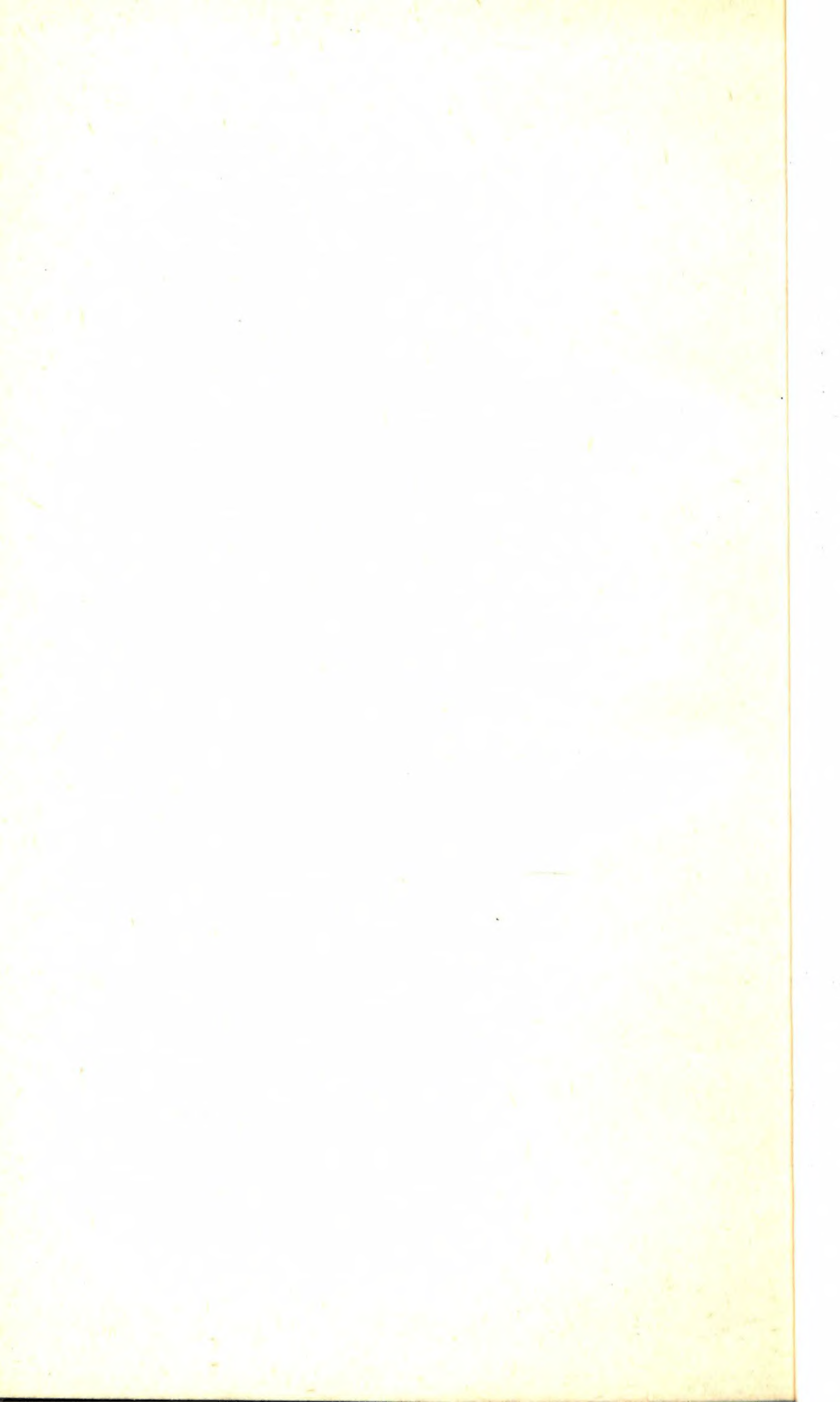


Александр КРЮКОВ

1









Александр
КРЮН

**Собрание сочинений
в трех томах**



Москва
„Художественная литература“
1990

Александр **КРУШ**

Собрание сочинений
том первый

Дом и корабль

Роман

**Как я стал
маринистом**

Очерк

**Заметки
писателя**



Москва
„Художественная литература“
1990

ББК 84Р7

К83

Вступительная статья

Д. Тевекелян

Примечания

И. Желваковой

Оформление художника

Р. Вейлерта

К $\frac{4702010201-182}{028(01)-90}$ Подписное

ISBN 5-280-01044-8 (Т.1)

ISBN 5-280-01045-6

© Вступительная статья, примечания, оформление. Издательство «Художественная литература», 1990 г.

Главная книга Александра Крона

С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль...

А. Твардовский

Летом 1976 года Александр Александрович Крон, известный драматург (по крайней мере, две его пьесы — «Глубокая разведка» и «Офицер флота» стали признанной классикой советской драматургии), автор резких публицистических и критических статей («Знаете, а «Литературную Москву» может быть и не прикрыли бы, если бы не «Заметки писателя» Крона, это была последняя капля», — из разговоров 1957 года), автор романа «Дом и корабль», принес в журнал «Новый мир» свою новую прозу.

Рукопись уже побывала в двух журналах, где автору недвусмысленно объяснили, что он посягает на святая святых — право государства руководить наукой, в романе открыто прочитывается лысенковская расправа над генетикой, а это несвоевременно и нежелательно, даже в положительных героях намешано всякого, и это заставляет догадываться о прототипах. «Словом, — желчно сказал Крон, — печатать «Бессонницу» они не берутся. Даже упрекают в отсутствии патриотизма. Не могу точно сказать, кого упрекают — автора или героя. Наверное, обоих. И хулители по-своему правы, в их понимании быть патриотом — это значит хвалить статус кво со всеми недостатками, тем более что недостатки эти, благодаря системе привилегий, их как раз и не задевают. Ленин хотел знать правду и был неприхотлив, и это да-

вало ему право требовать от других самоотречения и трезвого взгляда на вещи. Вы согласны, что в будни патриотизм должен носить не парадный мундир, а рабочую робу?» Так, с ходу он ввел меня в проблематику «Бессонницы».

Мы были знакомы раньше, но в этот день он показался мне дряхлым брюзжащим стариком, и, признаюсь, рукопись я взяла с тоскливым предчувствием писательской неудачи.

Сейчас судьба «Бессонницы» кажется безоблачной. Роман, несмотря на более чем сдержанный отклик критики и вполне единодушное официальное замалчивание, получил широкое признание читателей. В архиве А. А. Крона множество писем читателей, среди них сотни серьезных, подробных, аналитических, исповедальных. Люди благодарят за главное — весь строй романа утверждает право каждого человека на собственную точку зрения по всем вопросам общего нашего бытия — и пишут о своем жизненном опыте откровенно и часто беспощадно к собственным слабостям. Читательское признание и признательность, живое восприятие романа особенно очевидны были на конференциях — в Дубне, на ЗИЛе, на КАМАЗе, в московских библиотеках, в научно-исследовательских институтах, бурные обсуждения затягивались на много часов.

Особенно запомнилось: в мае семьдесят седьмого редколлегия и авторы «Нового мира» приехали в Ленинград на фестиваль «Белые ночи» (к тому времени уже был прочитан апрельский номер с первой частью «Бессонницы», вышел и майский с продолжением). Среди авторов журнала были выдающиеся наши писатели. В громадном зале Дома офицеров овацию устроили Александру Крону — зал аплодировал стоя. И в собранном, хотя чуть растерянном, молодежном человеке с подозрительно блестящими молодыми глазами трудно было узнать того изверившегося старика, который меньше года назад принес в «Новый мир» свою рукопись.

И все-таки судьба «Бессонницы» только кажется безоблачной. Роману нелегко пришлось при подготовке к изданию. Никто в редколлегии не отрицал, что «Бессонница» в современном литературном потоке произведение выдающееся. Но охранительных соображений высказывалось столько, что публикация этого выдающегося произведения становилась проблематичной. К примеру, мысль о том, что ученые должны говорить правду своему правительству, сомнительна и неправомерна, в правительстве достаточно

государственно мыслящих людей, они как-нибудь сами, без подсказки ученых, отличат правду от лжи. Или: критикуя состояние науки в сталинскую эпоху, герой тем самым, не отдавая в том себе отчета, приходит к выводу, что большую часть пятидесятилетнего существования советской науки следует поставить под сомнение. Смущали рассуждения о незыблемости общечеловеческих этических и нравственных ценностей, стоящих над классовыми принципами, автор и герой слишком увлекаются темой добра и зла, забывая, что добра и зла вообще не бывает, это категории классовые. Раздражала свобода и даже развязность, с какой герои позволяют себе рассуждать о некоторых искажениях принципов социализма в нашей практической жизни. Угадывались нежелательные прототипы.

Категорически «за» решил судьбу романа С. С. Наровчатов, тогда главный редактор «Нового мира». Потребовал только, наряду с другой редакторской правкой, изменить имя Успенского, в рукописи его звали Александр, и тень А. А. Фадеева и его судьбы, по мнению Наровчатова, витала в романе слишком очевидно.

Требование это никому из нас не показалось чрезмерным, особенно после множества других сомнений. Обычный тактический ход тех времен. Тем удивительнее было сопротивление и даже отчаяние автора. Согласился снять целую главу, а имя героя менять не хочет. Уговаривали всем миром, мобилизовали родных и друзей. Наконец получили согласие. Успенского отныне звали Павел Дмитриевич.

А через несколько лет, уже после смерти Александра Александровича, читая его дневники, я натолкнулась на запись:

«Получил замаскированный под нижайшую просьбу ультиматум Наровчатова изменить имя Успенского (Александр) на любое другое. Мысль ясна — тень Фадеева не дает начальству покоя. Был тяжелейший разговор, я отказался. Сегодня под влиянием редактора и друзей согласился — и рухнул... Никто не понимает этого — я уже больше не верю в объективное существование моих героев. Их мир уже давно жил вне и без меня, по своим законам. А я грубо влез в него, и все нарушилось. Не отказываюсь от впечатления романа только потому, что у меня тяжелобольная жена и я сам боюсь нищей старости со всеми ее унижениями».

Пишу об этом так подробно, чтобы напомнить — любое вторжение в свободу художника осознается им как беда, трагедия, даже если нам кажется, что замечания ничуть не

нарушают авторский замысел. И еще, чтобы напомнить о недавних временах, потому что настала пора отместить непомерные официальные преувеличения книг литературных генералов и восстановить подлинную картину нашей литературы, в которой немало честных и правдивых книг. Они разного художественного уровня, но их авторы честны перед своим народом, они помогли нам сохраниться. Нам — личности и обществу.

Александр Крон — из их числа.

«15 июля 1965 года. Особенность периода культа личности в лицемерии. Слова остались прежние, но содержание из них почти полностью выхолощено. Ленинские цитаты стали латинскими текстами, произносимыми во время богослужений, но в суть которых вникать нет нужды ни проповедникам, ни пастве. И даже опасно — легко можно впасть в ересь. Право толкования и житейской расшифровки было полностью отнято, голову могли снять и за «искажение» и за излишний «букваризм». Человек, который из подражания Ленину отказался бы от номенклатурных благ, выглядел бы опасным демагогом». И чуть раньше, 4 января 1958 года: «Человек, который хочет и в наши дни бороться за правду, должен знать, что рискует жизнью. Три инфаркта успешно заменяют 9 грамм свинца».

В дневниках 1954 года впервые упоминается замысел пьесы об ученых. Крон в это время работает над романом «Дом и корабль», постоянно недоволен собой — «...плохо. И что плохо — сам не знаю», «никаких вроде просчетов, кроме длиннот, а плохо», «просто нет изобразительной силы, нет заразительности. Да и ума особого не видать, хотя меня уверяют, что я рационалист». Друзья-писатели пытаются переубедить его, иронизируют над его изнурительной требовательностью к себе. Юрий Павлович Герман уверяет друга, что он нашел свой стиль, что все сомнения — вздор, но писатель снова и снова переписывает эпизоды, добиваясь художественной выразительности, точности диалогов, убедительности поступков героев, их размышлений. Однако замысел пьесы все больше занимает писателя, формируется сюжет — грубая черновая схема будущего романа «Бессонница», появляются еще безымянные персонажи, в которых уже можно узнать героев «Бессонницы», определяется расстановка сил. Появляется название «Орел и решка», сокращенно «ОиР». «Орел — казовая сторона, решка — подлинная цена вещей» (Дневник, 1 апреля 1959 года). И только к 1965 году, когда замысел сформировался во всех подробностях, Крон понимает, что он уже давно пишет не пьесу, а прозу.

Так родился роман «Бессонница». Работал над ним А. А. Крон десять лет.

С момента публикации романа прошло тринадцать лет — казалось бы, что за срок, когда речь идет об истории страны, но за это время ушла целая эпоха, хотелось бы думать — навсегда. А роман по-прежнему читается как глубинное исследование современной жизни, ее реальных конфликтов и духовных поисков.

Первоначальный замысел, опыт драматургии ощутим в романе, именно этим опытом продиктованы редкая выразительность, смысловая насыщенность диалогов и композиция, четкость, естественность, с которыми выстроен сюжет. Сама архитектура этого здания несет существенный замысел: она должна передать плотность времени, в самом построении скрывается чувство историзма, поднимающего роман над уровнем бытописательской прозы. Реальное действие «Бессонницы» занимает всего три дня 1957 года, но конкретные события этих трех дней, необходимость решить судьбу Института после внезапной смерти его главы и основателя заставляют профессора Олега Антоновича Юдина, записки которого и составляют роман, с добросовестностью ученого непредвзято ищущего истину, восстановить в памяти всю историю Института и собственной жизни, а следовательно и страницу общей нашей истории.

«Бессонница» — современный городской роман, роман из жизни интеллигенции. Той самой, что, несмотря на опустошительные смерчи сталинских репрессий, не потеряла способности и решимости чувствовать себя частью своего народа и, не преувеличивая собственной роли, сохранила умение и смелость противостоять внушениям все упрощающей пропаганды, находить в реальной жизни источники надежности и прочности. Эта интеллигенция помнила всегда, что девиз «цель оправдывает средства» — вовсе не коммунистический девиз, а девиз иезуитов, и понимала, что, применяя его на практике, мы уходили от ленинских принципов, потому что неверные средства уводят от цели, а иногда изменяют самую цель. И с потерями, ошибками, слабостями все-таки не растеряла веру в будущее общества, рожденного революцией. И желания работать.

Готовясь к своему роману, Крон записывал в дневнике: «Гамлет» — это совсем не трагедия нерешительности. В средние века в чем в чем, а в решительных людях недостатка не было. Резали глотки, не особенно задумываясь над моральными категориями. Гамлет задумался — и это прогрессивно. В этом его прелесть и новизна. Гамлет — это первый интел-

лигент на сцене, трагедия Гамлета — это трагедия интеллигенции».

Чаще всего, пожалуй, автора «Бессонницы» тревожит и занимает мысль о прочности. Она возникает по отношению к самым разным героям, главным и вполне эпизодическим. О физиологической прочности человеческого организма. О несокрушимой прочности человеческого духа — при всех слабостях, от которых несвободен любой из нас. О достоинстве и порядочности, которые не дают переступить черту в самых сложных обстоятельствах. О трагедии самой одаренной личности, если человек позволит обстоятельствам, действительным или гипертрофированным воображением, взять над собой верх.

Это касается решительно всех. Старика сторожа Антоновича с его обостренным чувством собственного достоинства. Житейски мудрой Евгеши, добровольно взявшейся опекать холостяка Юдина в его бестолковом и суетливом плаваньи по городскому быту. Старого егеря в заповеднике, которого Вдовин позволяет себе по-хозяйски называть Володькой и расспрашивать его при высокопоставленных гостях о Ленине (егерю довелось однажды сопровождать Ленина на охоте), а тот, хотя понимает — выгонит его Вдовин и для него это хуже смерти, отвечает резко — мол, харчи были похуже, а обращение получше, человеческое обращение, по имени-отчеству величал его Ленин, а по привычке, стал тезкой звать. И ответить иначе старик не может — достоинство не позволяет. Трагедия Успенского, его падение — это разрыв прочности, предательство человеческой природы, поэтому и нет для Успенского другого выхода, кроме самоубийства.

Сложная форма романа не вызвала затруднений у читателей, они приняли условия, предложенные автором, и отнеслись к записям Юдина так, как, очевидно, рассчитывал писатель: соотнося судьбу Юдина с собственной судьбой и понимая, как трудно сохранить объективность любому человеку, и особенно герою «Бессонницы» с его скрупулезным, дотошным стремлением к объективности. Этим объясняется, что читатель, узнавая о каком-то факте из жизни героя, оказывается в курсе разных точек зрения на этот факт, и далеко не все точки зрения высказываются друзьями Юдина, герой с щепетильной точностью передает и мнение своих недоброжелателей. Да и сам он, при ироническом складе характера и неизменной способности посмеиваться прежде всего над самим собой, готов снизить, приуменьшить, представить в смешном виде даже те свои поступки, которые

другой человек, настроенный к себе менее критично, оценил бы как нечто из ряда вон выходящее.

Писавшие о «Бессоннице», как правило, почему-то не задумывались над тем, что как о достоинствах, так и о недостатках героя этого романа они узнают от него самого, из его ночных — бессонница! — записей, и не делают на это поправку. Критики по отношению к роману поделились на два лагеря.

Те, кто резко отрицательно относился к процессам, происходившим в обществе, и знал о них все, что стало общим достоянием в самые последние годы, считали роман недостаточно смелым и обличительным, некоторые исходили из максималистского «или полную правду, или ничего». Они заподозрили профессора Юдина в высокомерном пренебрежении к своему «гипотетическому читателю», в желании вполне благополучного человека (редко кто писавший о «Бессоннице» не процитировал фразу о «слишком благополучном Юдине» из письма Ильи Славина) навязать этому читателю свой образ мыслей, разделить с ним грех компромиссности и конформизма, а автора — в подыгрывании герою, в создании для него режима наибольшего благоприятствования. Оказывается, автору это понадобилось для того, чтобы увести Юдина от моральной ответственности и добиться взаимной амнистии от читателя. Читатели же, судя по их письмам и выступлениям на многочисленных обсуждениях, увидели в профессоре Юдине добросовестного человека, настроенного вполне демократично, для которого его «гипотетический читатель» — такой же, как он сам, думающий, равнодушный, хотя и не святой человек, умеющий подняться над сиюминутными интересами, вглядывающийся в перспективу, ровня.

Другие писавшие о «Бессоннице» критики, служившие указаниям литературного начальства, посчитали роман едва ли не очернительским и с готовностью отказывали герою кто в «беззаветности», кто в «энтузиазме», кто, пользуясь незакавыченной цитатой, не называя имени Юдина, пытался внушить читателю, что герой «Бессонницы» сродни леоновскому Грацианскому. Все успехи героя с готовностью приписывали могучей протекции его власть имущих друзей, Юдина, скромного в быту человека, обвинили в барстве, его однокомнатную квартирку в последнем этаже отдаленного от центра нового московского дома всерьез посчитали «башней из слоновой кости» — с легкой руки самого Олега Антоновича. Хотя решительно нет оснований предполагать, что Юдин ищет в своей «башне» спокойствия, стремится спря-

таться от жизни, тишина нужна ему для работы, как самоограничение, как строгий режим, который он сам себе прописал. Юдину немало отпущено природой, но надо сказать, что природа не ошиблась и семя попало на благодатную почву.

Олег Антонович Юдин — талантливый ученый-геронтолог. Признанный педагог. Выдающийся экспериментатор. Известный хирург. Младший товарищ и помощник самого академика Успенского, основателя Института. Верен его школе — «школа эта под страхом научной смерти запрещает группировать и окрашивать факты применительно к своей заданной версии». Научный авторитет героя подтвержден не только его биографией, но и его способностью на наших глазах задумываться, к примеру, о том, что делает человека человеком, личностью, о «лишнем мышлении». «Именно это мышление, — читаем мы в романе, — составляет основу личности... оно обогащает человека пониманием прошлого и способностью предвидения, рождает неведомые зверю нравственные понятия подвига и преступления, позволяет человеку далеко отрываться от своих непосредственных, диктуемых здравым смыслом выгод и потребностей, превращает труд в творчество, биологический инстинкт в любовь. Личность зарождается, развивается, старится и умирает принципиально иначе, чем всякое другое живое существо».

Вот с этим критерием подходит к себе и окружающим профессор Юдин, по законам, установленным самим героем, и читатель получает право судить его. И остальных героев. А их, по крайней мере, трое — характеров, которые и сейчас делают роман Крона остросовременным, не дают ему устареть. В этих характерах есть художественное обобщение и сложность, схваченная в реальной жизни, они впитали в себя неоднозначность ее проявлений — Успенский, Юдин, Вдовин.

Для многих читателей и критиков Успенский — фигура второстепенная, и формально это так, хотя Юдин рядом с ним проигрывает. Успенский — человек масштабный во всем, в деле и пороке, обаятельный, страстный, он диктует обстоятельства другим. Основатель Института, организатор науки, один из ее столпов, глава направления, готовый щедро, не глядя, дарить идеи и не оскудевать при этом. Он по-своему демократичен, во всяком случае, сотрудники Института всегда имеют право на его внимание и участие. Энергия в нем бьет ключом, он полон замыслов, полон жизни. Человек решительный, он сам выносит себе приговор — самоубийство.

И сколько бы Юдин ни старался уйти от понимания этого, сколько бы ни вспоминал, с каким жадным интересом Успенский расспрашивал о том, как отнесся Ленин к самоубийству Лафаргов, которые ушли из жизни, чтобы не дать старческой немощи завладеть собой, сколько бы ни лукавил автор, стараясь оставить открытым вопрос — скоропостижная это смерть или самоубийство, читатель понимает: права Бета. Это самоубийство. И причина его не в страхе перед болезнью и старостью.

Крон написал историю локального культа личности. Личности, тем не менее не потерявшей совесть.

При всем своем таланте и уме Успенский не устоял перед искушением властью, поверил в собственную непогрешимость и право единолично решать судьбу науки и Института. В заботах о собственном престиже и о престиже Института (для Успенского это одно и то же) он, по примеру отца народов, решил навести порядок в собственном маленьком государстве — после войны в Институте, как и во всей стране, «началось великое брожение умов и переоценка многих ценностей», — оказался инициатором и организатором дискуссий. Повинуясь собственной широкой натуре, он не просто развязал дискуссию, но придал мероприятию все-союзный масштаб и привлек к нему всеобщее внимание, так что действие стало неуправляемым и перестало зависеть от воли своего создателя.

Дискуссия привела к избиению научных кадров и, по собственной оценке Успенского, разъединила научные силы, разожгла темные страсти и надолго отравила обстановку в Институте. В отличие от Лысенко, герой Крона действительно ученый, поэтому способен отдать себе отчет в происшедшем. Это становится его тайной мукой, причиной пьянства и творческого бесплодия. Его суетливое мелькание на всевозможных конференциях и заседаниях, безотказное представительство на международных форумах, тоска по истинному делу — это плата за превышение власти.

Но это еще не все. В романе глухо (в этом «глухо» — не вина автора, а его по тем временам смелость) рассказывается история погибшего без вины, репрессированного друга Успенского, семью которого он поддерживал материально. При реабилитации в деле было найдено и приобщено к обвинению личное письмо этого друга к Успенскому. Попасть в дело от кого бы то ни было, кроме Успенского, оно не могло. За несколько дней до самоубийства Успенского жена погибшего друга вернула ему деньги — его помощь

за эти годы, все до копеечки, и письмо погибшего товарища, верившего Успенскому до конца.

Сейчас мы знаем по документальным публикациям не одну такую историю. Знаем и случаи, когда люди беспощадно казнили себя за прошлое. Не случайно поиски прототипа Успенского (а был не один прототип) замыкались на личности А. А. Фадеева. Сам А. А. Крон записывал:

«Среди многих людей, с которыми меня в разное время сводила судьба, я, пожалуй, не назову другого, чья личность меня так занимала и тревожила. Прошло тридцать лет с его смерти, а я не перестаю о нем думать. Фадеев не был для меня ни близким другом, ни наставником, но влияние его на мою жизнь было огромно. Влияние это не было безусловным и меньше всего литературным, хотя книги его я любил, а «Разгромом» восхищался. Фадеев был для меня сгустком эпохи, в которой мы жили. В его характере для меня сфокусировалась эпоха, со всеми ее противоречиями. И сегодня, через тридцать лет, личность Фадеева не перестает меня занимать и тревожить, понять Фадеева для меня (во многом) то же самое, что понять время. Ни одна версия его трагического конца для меня не бесспорна. Мотивы его самоубийства вызывают настойчивый интерес не сами по себе, а потому что они ключи, которыми открывается характер. Ответ на вопрос, почему он умер, для меня равнозначен ответу на вопрос, чем он жил».

Разрабатывая характер Успенского, писатель приблизился к разгадке этого ответа.

Успенский — инициатор и организатор дискуссии. Вдовин, практически проводивший дискуссию, был все же в ней на вторых ролях. А Олег Антонович Юдин, по сравнению с Успенским, действительно менее открытый и обаятельный человек, в этой дискуссии защищал с трибуны Илью Славина, самого талантливого и, вероятно, в связи с этим, самого завирального, уязвимого своего ученика.

Успенский утверждает, что в этой защите Юдин проявил ровно столько смелости, сколько требовалось, чтобы остаться на плаву, ему вторит Вдовин, да и сам Юдин, оценивая свое поведение во время дискуссии, как всегда, критически к себе настроен.

Но, может быть, объективности ради стоит, вспомнив прошедшее, задуматься, прежде чем бросить камень? Вспомните: Успенский и сам будет рассказывать, как нелегко ему было замять выступление Юдина. («Я не мог отстоять вас обоих», — проговаривается Успенский, имея в виду Юдина и Славина. «Как? — удивляется Юдин. — И меня тоже?» —

«А ты думал!» — уже раздраженно бросает Успенский. А как выручали, Александр Александрович Крон знал по себе. В сорок девятом, в разгар кампании против «безродных космополитов», он оказался одним из объектов травли. Много лет спустя он узнал, что готовился его арест и отвел беду Фадеев. Сказал небрежно, мол, Крон ладно, но ведь полетит вся афиша МХАТа, там «Глубокая разведка» и «Офицер флота», стоит ли? И пронесло. Сам Фадеев никогда об этом не обмолвился. Александр Александрович узнал историю своего спасения не от него.)

В злосчастной дискуссии, которая в конечном счете стоила жизни своему творцу и вдохновителю, проявился еще один тип руководителя. Глухого к действительным нуждам своего дела, алчного к кошельку государства, равнодушного и безжалостного к судьбам людей.

Вдовин — носитель и пророк ведомственного мышления, ведомственных амбиций. Царек с узким кругозором, послушный, удобный для Успенского, для любого высокого начальства — им легко управлять. Верный человек — после XX съезда всю вину за дискуссию принял на себя, начальство не подставил, многое, что знал, утаил. Поэтому и всплыл вскоре.

Вот для него-то как раз «лишнее мышление» действительно оказывается лишним. Автор кандидатской диссертации, сработанной для него сообща лабораторией Юдина, без пяти минут доктор — докторская построена из обломков разгромленной диссертации Ильи Славина, Вдовин разрабатывает нехитрую философию игрока: современная наука стоит дорого, ее делают коллективно, поэтому стирается представление об уникальности отдельного ученого и по сравнению с прошлым неизмеримо вырастает роль организатора, менеджера, а эта роль тоже требует своего рода дарования, и оно-то как раз Вдовину по плечу.

Вдовин — догматик, для которого нравственные критерии существуют лишь в качестве формально непререкаемых норм, они не выстраданы, не прочувствованы, о них следует упомянуть в нужный момент, чтобы тут же забыть до следующего раза. Юдин и Бета, очевидно, сумеют на этот раз воспротивиться возвращению Вдовина в Институт, но ведь институтов много, а Вдовин умеет извлекать уроки из происшедшего.

В романе как будто бы единственный хозяин — Олег Антонович, это его записки, его исповедь, его интерпретация событий. Прямому вмешательству автора словно бы и нет места — форма повествования не позволяет. Однако то и дело

возникают разные версии, разные точки зрения по тому или иному поводу — разумеется, в изложении Олега Антоновича, но прием этот дает многое для расширения картины происходящего, для понимания читателем истинной меры поведения героя. Да и само движение сюжета и героя — здесь уж автор ведет — заставляет нас вместе с Олегом Антоновичем задуматься, что есть гражданское служение. Юдин на протяжении всей жизни — порядочный человек и честный ученый, поэтому он проводит одну бессонную ночь за другой.

В романе «Бессонница» нашел наиболее полное свое отражение основной творческий принцип подхода к характеру героев. Этот принцип пронизывает все творчество писателя. Герой, думающий, способный на сознательный выбор своей судьбы, своей гражданской позиции, нередко противоречив, многомерен, его связи с миром не просты и далеко не всегда поддаются привычному нашему восприятию.

Крона привлекает эта неоднозначность, неординарность, он уверен — и утверждает это своим творчеством, — что чем крупнее личность, тем противоречивее складывается о ней представление у окружающих: ведь талантливый человек независим в своих суждениях, ему претит все догматическое, стандартное, он стремится сам проникнуть в суть интересующей его проблемы, не прибегая к расхожему мнению, отменяя готовое решение.

Даже в очерках «О сверстниках» (Э. Казакевич, О. Берггольц, А. Твардовский), о Всеволоде Иванове, об актере М. Астангове, режиссере Ф. Каверине и других, где речь идет о реально существовавших людях, подход к герою не меняется. Автор педантично точен в воспроизведении подробностей жизни, поведения своих невыдуманных героев, но, помимо воли, стремясь передать масштаб личности, ее потенциал, укрупняет в характере реально существовавшего человека те его качества, особенности, на которых строится понимание именно этого характера. В своих воспоминаниях Крон каждый раз пишет неупрощенный характер, подчеркивает сложность и многооттеночность связей каждого из своих героев с окружающим миром и превыше всего ценит последовательную преданность своему делу, осознанную нравственную цель деятельности. Он убежден: «...известны случаи, когда ситуация или мода возносили на вершины славы людей второстепенных, но не было случая, чтоб удавалось подделать нравственный авторитет» («О Всеволоде Иванове»). И добивается понимания читателя, которого вовсе не шокируют такие, к примеру,

строки об О. Берггольц: «Мне память сохранила Ольгу всякой... В этих разговорах Ольга представала в самых разных обликах, то трогательно-нежной, то до грубости резкой, радостно-доверчивой и угрюмо-замкнутой, расточительно-щедрой и неожиданно скуповатой, покомсомольски простой в обращении и высокомерно-отчужденной...»

Или, поделившись с читателем своими первыми впечатлениями о Всеволоде Иванове («...он казался старше своих лет, а при этом проглядывало в нем что-то совсем младенческое, было в его лице нечто жестокое и кроткое, чопорное и простодушное, трезвое и мечтательное; с одного боку — половецкий хан, с другого — скандинавский пастор,— все это никак не совмещалось»), Крон подробно рассказывает об Иванове, и мы, вполне проникшись пониманием незаурядности Иванова — писателя и человека, вместе с автором приходим к выводу: «Иванов был настолько крупен, что все вмещал. В его просторном теле и емкой душе было место для всего, он был прост и сложен, в нем отлично умещались трезвый реалист и необузданный фантаст, замкнутость и общительность, величайшая скромность и Люциферова гордыня... В его характере как бы слились черты двух ставших классическими образов «Бронепоезда» — добрая мужицкая сила партизана Вершинина и острый проницательный взгляд образованного революционера».

На этом же принципе подхода к герою строятся характеры в пьесах и романах. В романе «Бессонница» женщина, только что потерявшая мужа, говорит о нем: «Паша был единственным человеком, которого я по-настоящему любила. Любила со всем, что в нем было намешано, с его талантом, властолюбием, скромностью, жестокостью, щедростью, простодушием, цинизмом... Господи, чего только в нем не было!» И мы соглашаемся с этой характеристикой, что не мешает нам полюбить Успенского, сострадать ему.

Крон не упрощает своих героев — реально существовавших и выдуманных, не нивелирует их качеств в угоду привычке или моде, в их сложной противоречивости писателю видится сложность и противоречивость самой жизни, личность в его творчестве не обеднена приблизительностью, писатель стремится добраться до глубинной связи человека с тем временем, в котором он живет. Отношение к герою решается не на уровне «симпатичен — несимпатичен», к нему предъявляется другой счет, за ним признается право на крайности, если это крайности поиска напряженной гражданской духовности, крайности неодносторонней связи с миром, когда человек

отдает себе отчет в том, что не только мир для тебя, но и ты для мира.

Александр Крон начинал как драматург. Свою первую пьесу «Винтовка № 492116» он написал девятнадцатилетним студентом историко-философского факультета МГУ. Поставленная в январе 1930 года Педагогическим театром, она обошла сцены почти всех ТЮЗов страны, а к 40-летию пьесы в Московском театре им. К. С. Станиславского состоялся юбилейный спектакль «Винтовки». Сам писатель не считал, что после этой пьесы он стал профессиональным литератором, но в этой юношеской работе есть все особенности будущего театра Крона. Это театр прежде всего современный. И дело не только в том, что действие почти всех пьес (за исключением пьесы «Трус» — из времен революции 1905 года) происходит в наши дни и наши дни диктуют конфликты — нравственные и производственные. Пьесы современны позицией автора, его постоянным стремлением понять суть происходящего с героями, современны сплавом социальных и нравственно-психологических проблем, полемической заостренностью конфликтов. Уже в юношеской «Винтовке» (а пьеса появилась и до фильма Н. Экка «Путевка в жизнь», и до «Педагогической поэмы» А. Макаренко) стихия анархической вольницы беспризорников побеждена последовательностью, честностью, любовью к своему делу, заразительностью этой преданности и любви. Начиная с первой своей пьесы, Крон утверждает характер командира, руководителя, для которого воинская дисциплина или коллективное мнение предполагают умение самостоятельно мыслить, а не заменяют его; автор обращается и к нравственному чувству, и к разуму героя и зрителя, автор убежден, что революция высвободила лучшее в человеке и это лучшее требует доверия. Эйно в «Винтовке», большевик Дорофей Семеняк в «Трусе», инженер Александр Майоров в «Глубокой разведке», командир подводной лодки Виктор Горбунов («Офицер флота») и командир дивизиона тральщиков Сергей Бакланов («Второе дыхание»), рабочий Николай Леонтьев и секретарь парткома Плотовщиков («Кандидат партии») — каждый из этих героев А. Крона последовательно отстаивает свое право на независимость и самостоятельность, каждый хочет понять, а не механически следовать, утверждает свое представление о коллективе как о союзе единомышленников и может сказать словами Виктора Горбунова: «Я предпочитаю командовать сильными людьми, которые подчиняются мне потому, что на моей стороне власть, знания и авторитет, а не потому, что они сами не способны думать. Я им верю. И хочу, чтоб верили мне. Я готов

выполнить любое приказание. Но если приказ еще не отдан и у меня спрашивают мое мнение, я не хочу гадать, попаду ли я в точку».

Драматурга нередко упрекали в рационалистичности, театры «смягчали» его «прямолинейных» героев. Герой приобретал расхоже симпатичные черты, делался добрым малым, справедливо рассуждающим и честно живущим, но лишался углов и крайностей, что вызывало новые упреки — на этот раз в схематизме.

Когда была поставлена во всех флотских театрах и напечатана пьеса «Офицер флота», написанная в блокадном Ленинграде 1943 года, ее широко обсуждали во флотской среде — обсуждался тип, характер, моральный кодекс и облик профессионального советского моряка, представителя нашей военной интеллигенции.

В пьесе Горбунов последователен и резок, его волнуют не только профессиональные заботы (а заботы сами по себе немаловажные — подводная лодка ремонтируется в условиях блокадного Ленинграда силами команды, и команда в трудах по ремонту должна не растерять свои боевые качества — впереди поход); Горбунов много думает о сути коллективизма, о человеческом достоинстве, о принципиальности и чести офицера. Размышления эти — не резонерство, а убеждение, и читатель, раздражаясь по временам на несколько неуклюжее желание героя все договорить до конца, тем не менее верит в то, что принципами своими Горбунов не поступится. Горбунов — человек страсти и преданности идее, и автор поворачивает сюжет так, чтобы герой на деле сумел подтвердить верность собственным принципам. Горбунов не борется сам с собой, ничего в себе не преодолевает, он честен и убежден, и сила его в том, что окружающие, друзья, команда, близкие заражаются его страстностью и принципиальностью, он выдерживает испытания — и дружбой с Кондратьевым, и враждой с Селяниным, приспособленцем и прохвостом, и борьбой за свою лодку, и, наконец, непосредственно в бою.

Александр Крон превосходно знает среду, о которой пишет. Писатель-коммунист, он с первых дней и до конца войны служит на Балтийском флоте. Пьесы «Офицер флота», «Второе дыхание» родились не из сторонних наблюдений, а из собственной жизни военных лет. На Балтфлоте Крон редактирует многотиражную газету бригады подводных лодок, работает в «оперативной группе писателей» при Политуправлении флота: в условиях блокадного Ленинграда и воюющего флота эта «оперативная группа» делала все —

корреспонденции, очерки, заметки, маленькие новеллы, рассказы о подводниках, передачи для радио, листовки «на противника», а когда понадобилось — даже текст музыкальной комедии.

«До войны я был далек от журналистики, — пишет А. Крон, предваряя свой однотомник 1972 года. — Несколько театральных рецензий, опубликованных в предвоенные годы, — не в счет. Война заставила меня пройти ускоренный курс газетных наук. Много раз я проклинал редакционную текучку, мешавшую мне остановиться и подумать. А вернувшись с войны, уже не мог расстаться с публицистикой, она прочно вошла в мой обиход и стала душевно необходима... Я никогда не верил в плодотворность пассивных наблюдений, только активное вмешательство в жизнь создает литератору жизненную позицию...»

Единомышленники в главном, герои Крона тем не менее вступают в конфликты друг с другом, и автор убежден, что так будет всегда, что самый честный, хороший, искренний человек проходит через искушение — компромиссом, жизненными удобствами, благами и проч. так же, как человек скверный, непорядочный, разница в том, с чем — нравственными приобретениями или потерями — он из этих искушений выходит.

В пьесе «Офицер флота» Горбунову противостоит не только проходимец Селянин, трус, наживающийся на беде народа, но и Кондратьев — человек поразительной храбрости, личной отваги. Это характер обаятельный, у Кондратьева есть все, чего недостает Горбунову: он общителен, открыт, сердечен, в нем просто некоторый перебор житейского здравого смысла, он торопится жить — и хочет жизни удобной, не обремененной конфликтами с начальством, в бою он бог, там он одержим и собран, а в зимней паузе его раздражает категоричный аскетизм Горбунова.

Крон — психологический писатель, ему важна не столько победа Горбунова над Кондратьевым, сколько победа Кондратьева над самим собой. Кондратьев — честный человек, в нем живо недовольство собой, душевное неустройство, неуспокоенность. Характер написан в движении, в развитии, чувство собственного достоинства возвращается к Кондратьеву в борьбе с собой — тем достовернее победа...

«Театр преодолел недостатки пьесы...» — этот критический пассаж сопровождал успех почти всех пьес Крона. Спектакли получали Сталинские премии (автора, правда, эта награда не коснулась).

«Глубокая разведка» написана до войны. Для драматургии эта пьеса значила примерно то же, что для прозы о рабочем классе повесть Юрия Крымова «Танкер «Дербент».

В пьесах А. Крона чувствуется будущий прозаик, романист. Пьесы заселены густо, по-романному, насыщены судьбами и событиями. Кто-то из критиков даже сетовал на то, что Крон не умеет соблюсти пропорции величины основных героев и ролей эпизодических, что фигуры фона путаются с основными фигурами, что мысль, которую при соответствующей ситуации можно было бы выразить одной репликой, порой растянута на целый диалог. Да и проблемность вещей явно тяготеет к романному, всестороннему, неторопливому исследованию. Не случайно, закончив пьесу «Офицер флота», писатель снова и снова возвращается к своим героям, живущим уже самостоятельной сценической жизнью. Он знает об этих людях так много и они для него так много значат, что с ними Александр Крон связывает свой первый опыт романа.

Я не случайно употребляю здесь это слово — «опыт». Первый роман,—а «Дом и корабль» писался уже зрелым человеком и литератором, после войны,—заставил А. Крона художнически постигать законы прозы. Сам автор забавно рассказывает о том, как он хотел облегчить себе жизнь, взяв за основу будущего романа героев и события пьесы «Офицер флота», и как усложнил себе жизнь, потому что «глаз писателя... подобен фотообъективу, для различной натуры существуют разные типы объективов, более того: одна и та же натура, снятая различными объективами, дает несхожие изображения». Представление об «объективе» для прозы далось нелегко, пришлось шаг за шагом вытравливать из романа целые сцены, даже самые удачные реплики пьесы, в процессе работы над романом писатель понял, что романное и сценическое время — совершенно разные категории, что четкость, афористичность и отточенность диалога, так необходимые драматургии, в прозе кажутся искусственными, натужными, что в пьесе главным героем мог быть только Горбунов — человек сложившийся, зрелый, волевой, а роман может отразить процесс становления человека, роману по силам подробная, ступенька за ступенькой, история характера — психологическая, социальная, с отступлениями в прошлое, и главным героем «Дома и корабля» стал лейтенант Туровцев, юный и поначалу незадачливый помощник беспощадно требовательного Горбунова.

Кое-кто из читателей может подумать: «Эко дело, возмужание молодого человека, становление характера — это же традиционная романическая тема, стоило ради этого менять объектив». И будет не прав. Потому что в романе «Дом и корабль» пойдет речь не просто об истории молодого человека, а о том, как приходят к подвигу, какой ценой дается человеку свобода выбора — не поступков только, а нравственного содержания жизни, как укрепляется, делается значительной личность, когда добровольно взваливает на себя бремя ответственности — не только за себя — за дело, за товарищей, каково это — научиться думать. Лейтенант Туровцев проходит свои университеты в блокадном Ленинграде, на ремонтируемой, вмерзшей в невский лед подводной лодке, в старом питерском доме с его холодным, голодным, но четко организованным бытом — «неприспособленная» интеллигенция дома, объединившись, вела свой «корабль» через мрак, горе и голод к прорыву блокады, находя в себе потребность и силы заботиться о других. Старые питерцы воспитывали примером.

Юный неустойчивый лейтенант мечтает о подвиге красивом, броском — под гром фанфар, вспышки юпитеров. Он тоже недосыпает и недоедает, этот юноша, как все в блокаде, но при этом он должен быть вездесущим, ведь он не просто помощник командира корабля, но — помощник Горбунова. В мечтах Туровцев находчив и последователен, его на мякине не проведешь, а на деле — усталый, измученный блокадным бытом и непомерной, как ему кажется, требовательностью Горбунова, черствой неспособностью командира на сентиментально-возвышенную дружбу, которая долго грезилась юноше, на деле Туровцев еще зелен, по временам готов поддаться не Горбунову — Селянину. Это влияние не простое, Селянин в романе — своеобразный философ индивидуализма: живи моментом, не усложняй жизнь проблемами, решить которые под силу лишь государству, чтить букву закона — дух же закона оставь тем, кто облечен властью, пользуйся благами, которые сами плывут тебе в руки, — ты не Христос, чтобы тремя хлебами всех накормить, помни: жизнь быстротечна, на войне быстротечна втройне, другой жизни не будет, думай о себе, ведь ты не более чем песчинка в море человеческом.

Циническая эта философия хищничества и потребительства выглядит прямолинейно в критическом разборе, в романе же Селянин, возведший беспринципность почти в религию, искушает юного лейтенанта куда тоньше. И это дает некоторые плоды, когда слабыхарактерность, обиженное

самолюбие, помноженное на нравственную неразбериху — вот оно, влияние Селянина! — диктует помощнику близкий к доносу рапорт о своем командире. И сколько предстоит пережить юному лейтенанту, чтобы понять, осознать и исправить сделанное.

Горбунов не считает нужным искушать. Он требует от Туровцева самостоятельности — и мыслей, и поступков, его кораблю предстоит вести бой — и очень скоро, а чтобы выиграть бой, экипаж должен быть коллективом единомышленников, профессионалов, мастеров своего дела, умеющих видеть перспективу деятельности, убежденных, сделавших раз навсегда свой выбор и без колебаний готовых защищать свои принципы. Философия Горбунова рождена войной, нашей великой победой, люди, как никогда, поняли свою роль в истории, победа советского народа в Великой Отечественной войне оказалась личной победой каждого. «Дом и корабль» был напечатан в 1964 году, писался в конце 50-х — начале 60-х годов, и убежденность Горбунова, его демократизм многожды укреплены тенденцией времени написания вещи. Горбунов верит в безграничность возможностей личности, сознательно выполняющей свой долг перед родиной, эта вера составляет питательную среду его нравственного максимализма.

Роман начинается документом — реляцией о бое, который ведет подводная лодка Горбунова, о героизме, находчивости и самоотверженности экипажа. Этим же документом, вернее, его продолжением, роман завершается. Из документа мы узнаем, что лодка совершила подвиг, из романа — какая нравственная атмосфера порождает этот подвиг, кто способен на подвиг.

В уже упоминавшемся предисловии к однотомнику 1972 года автор писал: «В романе почти нет батальных сцен, но мне все же кажется, что «Дом и корабль» — роман о воинском подвиге. Точнее — о воспитании для подвига. Когда человек становится героем? Мы можем назвать день и даже час совершения подвига. Казалось бы, что может быть проще такого ответа. Но если вдуматься, механизм любого подвига совсем не прост, героем не делаются в пять минут. Самый подвиг может длиться секунды, но он непременно подготовлен всей жизнью». В романе эта мысль отдана Горбунову. А. Крон развивает эту тему и в публицистике, подробнее — в очерках «Способен на подвиг...» и «Как я стал маринистом». Эта тема тесно переплетается с поисками духовности, с представлением о масштабе личности, о праве на нравственный авторитет. Для Крона очевидно, что эти проблемы насущны для

общества и сейчас: «И во время войны, и в мирные годы,— пишет он,— в жизни общества протекают сходные процессы, война только обостряет их... Перед начальником нефте-разведки и командиром подводной лодки, перед солдатом на передовой и передовым рабочим стоят различные задачи, но много общих проблем. В первую очередь — этических».

В середине 1977 года Крон записывает в дневнике: «На моей совести повесть (или эссе? жанр еще не определился) об А. И. Маринеско. Надо объяснить себе, почему для меня так значителен его образ. Фронтовым другом я его назвать не могу, в годы войны мы встречались мало. Только долг, только желание довести до конца начатую мной борьбу за восстановление справедливости? Нет, не только.

Образ героя — моя главная, долговременная тема.

Только герои и гении возвышаются над обстоятельствами. Маринеско был и сильнее обстоятельств, и слабее их.

Герой всегда фигура трагедийная. Амплуа «герой» вошло в обиход из трагического репертуара и только потом распространилось на бытовую драму и комедию. И то с отбором. Чацкий — герой, а Хлестаков — нет.

Герой дышит другим (разреженным) воздухом, чем обычные люди. Подобно тому как гениальность накладывает свою печать на всю жизнь выдающегося человека и нередко приводит к преждевременному концу: герой всегда *выламывается* из обстоятельств. Нельзя к нему подходить с обычными мерками. Какие-то стороны его характера непременно гипертрофированы. Нельзя требовать, чтобы истинный герой не боялся ни бога, ни черта, а в то же время трепетал перед своим начальником. Герои и гении — это люди экстра-класса. Герой с маленькой буквы это нечто большее, чем герой с большой. С большой — это звание, с маленькой — характер».

Вот еще запись 25.7.77: «Я наконец понял, что сближает героев и гениев. Подвиг. Подвиг прозрения мысли и подвиг воли. Нет таланта без воли, мужества. Нет героизма без таланта, без творческого начала. Риск, безоглядная трата себя свойственны и тем и другим. Героизм и талант — качества прекрасные, но и опасные».

Последняя работа А. А. Крона — «Капитан дальнего плавания, повесть о друге» — не просто восстанавливает доброе имя Александра Ивановича Маринеско, человека редкой отваги, мужества и профессионализма, что само по себе писательский подвиг. На примере подлинной судьбы

писатель снова рассказывает о неординарности личности, о сложности, многовариантности ее проявления. Маринеско, герой «атаки века», объявленный «личным врагом фюрера», был человеком характера противоречивого, гордый, независимый, товарищески простодушный и доверчивый. Загул Маринеско в Турку, проступок, память о котором исказила всю его судьбу,— проявление этого характера.

Крон долгие годы вынашивал свою книгу о Маринеско, болел ею, жил надеждой восстановить справедливость, и эта надежда не один год вела его, то почти угасая, то возрождаясь снова. Он много размышлял об этом характере, в публицистике и дневниках постоянно возвращался к отчаянной исповеди Маринеско — она записана дословно, к документам, к рассказам товарищей, служивших под началом Маринеско, вместе с ним.

И все-таки «повесть о друге» — не только документальный рассказ о Маринеско ради восстановления справедливости. Это и философское осмысление природы подвига, возможности человеческого духа, попытка написать обобщенный характер эпохи. Писатель выполнил свой долг перед памятью Александра Ивановича Маринеско и заставил читателя задуматься о времени и о бескорыстном служении своей стране.

Когда вышел «Новый мир» с повестью (1983, № 2), в редакцию ежедневно приходили десятки писем, читатели отдавали дань уважения не только подвигу А. И. Маринеско, но и отваге, последовательности А. А. Крона, его верности писательскому долгу.

«Капитан дальнего плавания» для Крона был еще и подготовкой к тому, что сам он называл «главной книгой». Написать ее он не успел. Готовился к ней, хотел, чтобы в ней оказался обобщенным его зрелый опыт, опыт человека активной гражданской позиции, всем сердцем принявшего путь страны, открытый революцией, сознательно разделившего судьбу своего народа, всю, с ее свершениями, горечью, разочарованием.

В последний раз раскроем дневники. Шестьдесят второй год.

«Очень много грустного слышишь вокруг. Лицемерие, равнодушие, коррупция, взяточничество, воровство, ложь. И все-таки, верю ли я, что победит коммунизм? Верю. Не потому, что верю в Никиту, хотя он мне симпатичен за то, что принял на себя тяжелый крест. Уверен, что ему вставляют палки в колеса бывшие сталинисты, наспех перекрасившиеся, но оставшиеся теми же самыми циничными чинушами, ко-

торые плевать хотели на народ и его будущее. И все-таки верю. Можно спорить о путях, но коммунизм есть единственное нравственно приемлемое устройство жизни на земле. Другого человечество не придумало. Поскольку загробной жизни нет, для меня небезразлично, что будет на свете после меня, мне хочется оставить след — книгу, которую будут читать после меня, мне хочется завещать своим детям развивать дальше дело, которое мне дорого. Пусть коммунизм наступит через сто лет, а не через нереальные двадцать, но подлинный».

Все лучшее, написанное Александром Кроном почти за полвека его работы в литературе, это и есть честная, страстная, главная книга писателя.

Д. Тевекелян

Дом и корабль

Роман

Любовь — звезда, которою моряк
Определяет место в океане.

Шекспир. Сонет CXVI

Корабль есть часть территории
Советского Союза.

Корабельный устав

Часть первая

Глава первая

Залп был произведен ровно в 0 часов 30 минут 29 мая 1942 года. Обе торпеды попали в цель. Атака была настолько неожиданной и дерзкой, что в первые секунды после взрыва корабли охранения растерялись. Это дало нам возможность погрузиться и отвернуть к берегу — маневр рискованный, но полностью себя оправдавший, поначалу лодку искали мористее, и мы выиграли время. Позднее катера все же напали на след и бросились в погоню. Посыпались бомбы. Одна из глубинных бомб, разорвавшаяся в непосредственной близости от корпуса лодки, повредила привод горизонтальных рулей и вызвала множество мелких повреждений в отсеках. Четверо краснофлотцев получили ушибы и легкие ранения, тяжелее всех пострадал командир. Из центрального поста его перенесли на койку во второй отсек, и он продолжал командовать. Было принято единственное возможное решение — лечь на грунт и притаиться. Командир приказал остановить все механизмы, кроме ручных часов, снять обувь и прекратить разговоры. Лодка замерла. В течение первых суток отмечался шум винтов, несколько раз противник принимался бомбить, затем все затихло, катера выключили моторы и легли в дрейф. На исходе третьих суток положение лодки стало критическим, никогда, даже в тяжелейшем осеннем походе 1941 года, лодке не приходилось столь длительно находиться под водой. В отсеках резко поднялось давление, команда задыхалась. На протяжении всего времени личный состав проявлял исключительную сознательность и высокую дисциплинированность, несмотря на отдельные случаи обмороков и даже кратковременного бреда, вызванного, по словам военфельдшера, общей интоксикацией организма,

не было ни одного факта пререканий или попытки уклониться от выполнения своего долга, никто не допускал даже мысли о возможности капитуляции перед врагом. В два часа ночи гидроакустик доложил, что слышит шум винтов — дрейфовавшие катера включили моторы и уходили на восток. Дольше медлить было нельзя, и командир предложил план: всплыть, под покровом темноты исправить повреждение, а затем, в зависимости от обстановки, скрытно или с боем оторваться от противника. Мы отдавали себе отчет, что этот план представляет собой уравнение со многими неизвестными: без сомнения, немцы, уходя, оставили хотя бы один из катеров в дозоре, ремонт привода осложнялся тем, что доступ к нему крайне затруднен, в случае тревоги и срочного погружения времени на то, чтоб извлечь из кормовой балластной цистерны работающих там людей, уже не оставалось. Обсудив со мной все детали плана, командир предложил мне довести его до сведения команды и вызвать добровольцев в штурмовую группу. Добровольцами заявили себя все сто процентов личного состава, и мы были поставлены в необходимость выбирать. Штурмовая группа была сформирована в составе старшины мотористов, боцмана и двух сигнальщиков под командой помощника командира корабля. В два часа двадцать две минуты 1 июня 1942 года лодка всплыла, и штурмовая группа с оружием и инструментами поднялась на мостик. Ночь оказалась темной, зюйд-вест развел небольшую волну. И волна, и направление ветра были нам на руку, обеспечивая скрытность. С этого момента в полном смысле слова была дорога каждая минута, секунда промедления могла стоить людям жизни...

(Из донесения военкома дивизиона подводных лодок батальонного комиссара Ивлева от 11.06.1942 года)

В первых числах октября 1941 года флот вошел в город. Корабли эскадры заняли огневые позиции в устье Невы. Орудия главного калибра легко доставали противника, штурмовавшего Пулковку, закрепившегося на Вороньей горе, прорвавшегося к заливу на участке Лигово — Петергоф.

На Невском проспекте запахло морем. Заводская копоть рассеялась, и в город ворвались йод и соль Балтики.

Над мостами кружились чайки.

Шел четвертый месяц войны...

Двадцать третьего октября, перед подъемом флага, командир плавбазы «Онега» Василий Федотович Ходунов вызвал своего помощника лейтенанта Туровцева и приказал произвести подробную опись личного имущества командиров, старшин и краснофлотцев не вернувшейся из боевого похода подводной лодки «М-бис-202».

— Все сроки вышли. Видать, накрылись... — сказал Ходунов с коротким смешком.

Туровцева покорило. Ходунова он не любил. Ему казалось, что он не любит командира плавбазы за грубость, невежество, консерватизм и многие другие пороки, действительные или выдуманные, по существу же он не любил его за то, что Ходунов олицетворял собой «Онегу», а все связанное с «Онегой» было Туровцеву ненавистно. Поэтому он очень ясно — неприязнь только обостряла зоркость — видел круглую, сильно засевшую, словно отлитую из светлого чугуна голову Ходунова, багровую отметину на рыхлой шее, там, где натер целлулоидный подворотничок, линяющую розовую майку, обтянувшую расплывшийся живот, и не разглядел воспаленных век и влажной поволоки на выцветших глазах. Ему даже в голову не приходило, что грубое слово и вовсе неприличный смешок были всего лишь нехитрой попыткой скрыть свои подлинные чувства от Туровцева, которого Ходунов, в свою очередь, не любил — за лень, гонор, избалованность, а пуще всего за то, что этот лощеный молокосос прямо со школьной скамьи скакнул в помощники на такой прекрасный корабль, как «Онега», и, вместо того чтобы благословлять судьбу, еще воротил рыло.

— Есть, — сказал Туровцев тоном крайнего равнодушия. Ему до смерти хотелось расспросить командира — нет ли хоть каких-нибудь данных о том, как погибла «двести вторая». Но с некоторых пор он дал себе зарок ограничить свои отношения с Ходуновым рамками самой строгой официальности и теперь, что называется, держал фасон.

В каюте было жарко. Тихонько потрескивал стоявший в ногах у Ходунова электрический камин, в углу, за железным шкафом, шуршал репродуктор. Ходунов сидел на койке, низко опустив голову, и, казалось, забыл о помощнике. Туровцев в строго уставных вы-

ражениях испросил разрешения быть свободным, выждал для приличия несколько секунд и, так и не дождавшись ответа, с большим достоинством покинул каюту командира, лишь в самый последний момент зацепив каблуком за комингс.

Тем, кто не знает, что комингсом на флотском языке называется дверной порог и что на кораблях пороги делаются несколько выше обычных, вероятно, неизвестно также устройство и назначение плавбазы, а без этого им будет трудно разобраться в характере и настроении Дмитрия Туровцева.

Плавучей базой на флотах именуется обычно средних размеров военизированный транспорт, служащий для группы боевых кораблей — катеров или подводных лодок — чем-то вроде матки: штабным помещением и складом, арсеналом и гостиницей. В сороковом году «Онегу», бывшую ранее обычным рейсовым пароходом, слегка переоборудовали, вооружили старыми зенитками, и скромная, глубоко штатская «Онега» вошла в краснознаменную семью балтийских военных кораблей. В связи с этим капитану «Онеги» Василию Федотовичу Ходунову, человеку уже в годах, было присвоено воинское звание — капитан-лейтенант. Одновременно был произведен в лейтенанты Дмитрий Туровцев, с отличием окончивший старейшее русское военно-морское училище и назначенный вторым штурманом на одну из самых больших и современных подводных лодок, под начало к капитану второго ранга Стремянному, прославленному командиру, Герою, участнику боев в Испании. Однако плавать со Стремянным Туровцеву пришлось недолго: начавшаяся война застала лодку в доке, в день, когда флот оставил базу, корабль был взорван.

То ли Стремянный дал своему штурману прохладную аттестацию, то ли не нашлось подходящей вакансии, — так или иначе, Туровцева спихнули на «Онегу». Назначение на плавбазу лейтенант воспринял как личное оскорбление, тем более нестерпимое, что Ходунов сопротивлялся как мог, а будучи вызван к комбригу, заявил, что водит свою «Онегу» не первый год и ученый штурманец, не нюхавший морской службы, по нынешним временам для корабля излишняя роскошь, пусть лучше дадут хорошего кока. И хотя комбриг, пожурив старика, заставил-таки взять Туровцева, Ходунов своего отношения не переменил и упрямо не допускал

штурмана к приборам. Во время перехода кораблей из Таллинна в Кронштадт командир двое суток не сходил с мостика — даже еду вестовые носили ему наверх, — предоставив штурману заниматься пассажирами, а по прибытии, не сказав ни слова, объявил в приказе, что на штурмана ПБ «Онега» лейтенанта Туровцева Д. Д. возлагаются по совместительству обязанности помощника командира корабля. Это неожиданное повышение недолго тешило лейтенанта, очень скоро он уразумел: одно дело — помощник на боевом корабле, о такой чести вчерашний курсант может только мечтать, и совсем другое — превратиться в коменданта огромного плавучего сарая и с раннего утра до поздней ночи не вылезать из хозяйственных забот и хлопот. Ни сама «Онега», ни люди, ни порядки на ней не соответствовали тому идеальному представлению о военном корабле, которое составилось у Туровцева после четырех лет изучения уставов. Это была неуклюжая высокобортная тихоходная посудина с большой осадкой, неуютная и, несмотря на все старания Туровцева, грязноватая. На корме полощется бело-голубой флаг, но бывший торгош виден во всем. Команда разношерстная — тут и запасники, и списанные с подводных лодок, и взятые из госпиталей, опытных специалистов мало, и люди за день сбиваются с ног, а порт кормит плохо — горох да черные макароны. Ну а с тех пор как командование дивизиона со всем своим штабом перебралось с береговой базы на «Онегу» — поближе к теплу, свету и горячей воде, — участь помощника стала совсем печальной: на корабле не продохнуть от начальства, кают не хватает, постоянные претензии, что редко сменяется постельное белье и часто засоряются умывальники.

Выйдя от командира в узкий, слабо освещенный коридор, Туровцев остановился. Пахло белилами, хлоркой, горячим машинным маслом, лавровым листом из камбуза. По правую руку шел длинный и тесный ряд кают, двери были раскрашены при помощи трафарета «под дерево», отчего еще больше чувствовалось, что они железные. Слева тянулись утопленные в специальных выемках электрокабели и водяные магистрали. По одной из труб — почти на уровне лица — неторопливо шла крыса, виден был только свесившийся вниз голый отвратительный хвост. Несмотря на все усилия помощника, крысы на «Онеге» не переводились,

они пробирались по трапу с берега и проникали даже в тощую корабельную провизионку.

До подъема флага оставалось еще минут двадцать, достаточно, чтоб вызвать боцмана, писаря и распорядиться о вскрытии рундуков. Но в коридоре Туровцевым овладела внезапная вялость, близкая к физическому недомоганию: не хотелось видеть людей, говорить, приказывать. Торопливо, чтоб никого не встретить, он пробежал по коридору, проскользнул в свою каюту и с такой силой захлопнул за собой дверь, что в переборках затарахтело и защелкало, как от взрывной волны.

На плавбазах командир и помощник занимают лучшие помещения, но Ходунов сам не жил в своей роскошной каюте и Туровцева заставил уступить свою одному почтенному штабисту в высоком звании и перебраться — временно, конечно, — в каюту ушедшего в боевой поход помощника командира «М-бис-202» старшего лейтенанта Горбунова.

Виктора Горбунова Туровцев видел только издали и знал больше понаслышке, но, прожив около месяца в его каюте, среди его вещей и книг, привык смотреть на него как на своего близкого знакомого, чуть ли не как на единственного друга. Оснований к тому не было решительно никаких, кроме одиночества и воображения, но для Туровцева это были основания немалые — он чувствовал себя на «Онеге» очень одиноким, а воображение у него было пылкое. В кают-компании «Онеги» о Горбунове говорили всяко: одни — с симпатией и восхищением, другие считали гордецом и позером, но никто не посмел бы сказать, что Горбунов не моряк. В каюте Горбунова было много книг — старший лейтенант интересовался военными науками и философией, литературой и теорией шахматной игры. Читал он своеобразно: жадно, яростно, возмущаясь и восторгаясь, подчеркивая строчки и абзацы, испещряя поля своими замечаниями. За этими беглыми пометами, иногда пугавшими Туровцева своей резкой категоричностью, угадывалась напряженная внутренняя жизнь, Горбунов искал ответа на мучившие его вопросы, он шел то ощупью, то напролом, свойственная самоучкам прямолинейность уживалась в нем с проницательностью изощренного ума. Горбунов был старше — годами и по выпуску, — это позволяло Туровцеву без ущерба для самолюбия признавать его превосходство и видеть

в нем образец. С каждым прожитым в каюте днем Туровцев все больше привыкал к мысли, что вот вернется Горбунов и они станут неразлучны. И хотя с некоторых пор Туровцев, как и все на бригаде, отлично понимал, что сроки уже действительно вышли и шансов на возвращение Горбунова нет никаких, разговор с командиром потряс его, как потрясают только неожиданные вести. Впервые о гибели «двести второй» заговорили официально, и официальность не оставляла места надежде.

В каюте стояла расслабляющая духота. Все три лампы — настольная, верхняя и маленькая, что над умывальником, — были включены и освещали желтоватым светом неприбранную постель, трубку и резиновый кисет на ковровом табурете, невымытый, в клочьях серой пены бритвенный прибор. Туровцев оперся на стол и, не садясь, взялся за покоящуюся в стальных зажимах трубку корабельного телефона. С минуту он простоял в нерешительности, как человек, зашедший без стука в чужое жилище. Затем его взгляд упал на подсунутый под настольное стекло любительский снимок, изображавший Горбунова в боевой рубке. Горбунов смотрел в перископ. Из окуляра в глазную впадину била струя дневного света, и казалось, что свет излучают глаза Горбунова. На втором снимке Горбунов и командир лодки Кондратьев стояли на мостике. Рядом с кряжистым Кондратьевым, в котором все — даже подбородок — было тугим и мускулистым, Горбунов выглядел хрупким. Породистый, — подумалось Туровцеву. И точно, в Горбунове чувствовалась порода — нужны были по меньшей мере два поколения питерских рабочих или балтийских моряков, людей, привычных к управлению механизмами, чтоб сформировать этот человеческий тип. Виктор Горбунов был среднего роста, сухощавый и узколицый, у него был прямой нос с крупными ноздрями, впалые щеки и большой властный рот. И хотя Туровцев рассматривал снимок не в первый раз, в это утро глаза Горбунова поразили его своим значительным и скорбным выражением — он прочел в них затаенный укор.

Требовалось совсем маленькое усилие, чтобы высвободить трубку из зажимов, но Туровцев его не сделал. Вдруг накатил такая волна беспросветного отчаяния, что он выпустил трубку и, как был, в рабочем кителе и суконных брюках, повалился на смятые простыни.

Он чувствовал себя глубоко несчастным, понимал, что все его огорчения не стоят гроша ломаного по сравнению со всенародной бедой, стыдился, презирал себя, но не мог с собой совладать.

Если б Туровцев умел лучше разбираться в своих душевных движениях, он признался бы, что гибель Горбунова была не единственной и, может быть, даже не основной причиной его горя. Основная причина была в том, что он считал себя неудачником.

Дмитрий Туровцев родился и вырос в подмосковном фабричном селе, расположенном на берегу Яузы — реки в некотором роде исторической и упоминаемой во многих источниках, но совершенно не судоходной. Отец Мити работал мастером на химическом заводе, мать — медсестрой в заводской амбулатории, среди Туровцевых не числилось ни одного моряка, и до поступления в училище Митя никогда не видел в природе ни моря, ни военных кораблей. Решение стать военным моряком сложилось — как и большинство решений — под воздействием множества неравноценных причин: несколько абстрактную жажду подвига, дремлющую в душе почти каждого подростка, подогревали книги, кинофильмы, рассказы товарищей, кое-какое значение имела и красивая морская форма, очень к Мите шедшая.

В училище курсант Туровцев без всякой натуги шел среди первых. Его любили товарищи и хвалили преподаватели. Ограничения, неизбежные при жизни в казарме, не слишком тяготили его: впереди угадывалась жизнь яркая, бурная, полная необычайных событий. Четыре года пролетели незаметно. Ошибка выяснилась позже.

Корабельная жизнь быстро ему наскучила. После четырех лет училищного плена страстно хотелось свободы, независимости, каких-то крутых перемен. На поверку все осталось по-прежнему, тот же жесткий распорядок, только к необходимости учиться прибавилась необходимость учить, к ответственности за свои поступки — ответственность за поступки подчиненных. Больше всего осточертел лейтенанту сигнал побудки. Митя с детства любил поспать. Живя в роте, он еще кое-как высыпался, но, поселившись в отдельной каюте и вернувшись к старой привычке читать до поздней ночи, он стал просыпаться побудку, опаздывать и получать замечания. Однажды он ухитрился опоздать на совещание к командиру бригады, и язвительно

настроенный комбриг в присутствии полусотни командиров назвал его «Спящей красавицей». Длинные прозвища обычно не прививаются, но сокращенное до одного слова «Спящая», оно прочно прилипло к Мите и доставляло ему много огорчений. Как-то вечером, сидя в каюте, он невольно подслушал разговор шедших гурьбой по коридору молодых подводников. Кто-то радостно гаркнул: «Братцы, Спящая сказала — сегодня будет пиво!» Сказала! В тот вечер Митя с трудом заставил себя появиться в кают-компании.

Тянуло на берег. Митя не слишком тосковал по дому, но балтийские столицы — Ленинград, Таллинн, Рига — влекли его неудержимо, его уже не насыщали торопливые вылазки в театры и парки, он с жадным любопытством разглядывал толпу на улицах Риги, за столиками таллиннских кафе, с волнением провожал взглядом молодых женщин, иногда ему казалось, что они тоже оборачиваются, но ни одно знакомство так и не состоялось, очень мешала мысль, что его новая знакомая, подобно оперной Кармен, презрительно расхохочется, как только узнает, что бравый лейтенант готов на любые безумства, но обязательно с таким расчетом, чтоб сегодня же и не позднее двадцати трех ноль-ноль быть на корабле. По вечерам, сидя в каюте за лоцией, он вдруг переставал понимать прочитанное, глаза его слипались, и в полудремоте он видел залитые пульсирующим электрическим светом города, слышал далекие звуки оркестров, смех и разноязычный говор — в эти минуты плавбаза казалась ему плавучей тюрьмой.

Туровцев жадно тянулся к людям, ему хотелось дружить и выручать, поверять и хранить секреты, обсуждать мировые проблемы и «травить» в кают-компании. Флотская среда приняла его суховато. Митя был озадачен — он привык быть любимцем. Насмешки он выносил с трудом, а от грубости цепенел и терялся — это могло выглядеть трусостью, хотя боялся он не грубиянов, а самого себя, всякое хамство вызывало у него прилив слепой ярости. Еще в Кронштадте у него произошла пустяковая стычка с механиком плавбазы Бегуном. За вечерним чаем в кают-компании обсуждался «Большой вальс», и Бегун молот страшный вздор: дескать, картина немецкая, ставил ее немец, играют в ней немцы и сам Штраус тоже поганая немчура. Митя в безупречной, ну, может быть, слегка иронической форме дал справку, что картина

американская, поставлена французом, а Штраус — видный австрийский композитор. На это Бегун огрызнулся так злобно и пренебрежительно, что Митя онемел и, молча допив свой стакан, вышел из кают-компании с ощущением, что на этом корабле его ненавидят и презирают, а сам он жалкая тряпка, щенок, который не умеет себя как следует поставить. На другой день после столкновения Бегун держал себя как ни в чем не бывало, но для Мити эта пустяковая история осталась незаживающей раной, которую он постоянно бередил, то попрекая себя за то, что не сумел достойно ответить обидчику, то пытаясь понять причину внезапного озлобления Бегуна, и был бы очень удивлен, если б ему сказали, что сорокалетний, рано облысевший, вечно торчащий в машинном отделении старший лейтенант гораздо чувствительнее к изящной иронии, чем к непечатному слову. После истории с Бегуном Митя еще острее ощутил свое одиночество. Может быть, поэтому он так тянулся к незнакомому Горбунову.

В июне сорок первого Туровцев всерьез подумывал о бегстве с флота. Начавшаяся война смешала все карты. Когда Митя узнал, что Балтфлот уже несколько часов ведет боевые действия, наряду с тревогой он почувствовал нечто вроде облегчения: война — так будем воевать. В нем вновь взыграла гордость от сознания, что он принадлежит к любимцам народа — военным морякам, к самому прославленному из флотов — Краснознаменному Балтийскому, к самому совершенному и таинственному роду оружия — к подводным силам. Не умиравшая в нем жажда подвига вспыхнула вновь; он понял, что наступил тот решающий в жизни каждого военного профессионала период, когда вся годами накопленная энергия сердца и ума должна быть отдана сразу и полностью, как аккумуляторный заряд в грозный час торпедной атаки.

Но случая все не подворачивалось, и постепенно Митя стал склоняться к мысли, что даже очень одаренные люди нуждаются в благоприятном стечении обстоятельств, чтобы проявить все заложенные в них способности. Только герои и гении возвышаются над обстоятельствами, Дмитрий Туровцев не был ни тем, ни другим, а обстоятельства были против него. Вместо того чтоб помочь Туровцеву отличиться, случай бросил его на «Онегу». На «Онеге», во время так называемого таллиннского перехода, он и принял боевое крещение,

но что это была за война! Двое суток ползла перегруженная плавбаза по минным полям, отбиваясь от немецких самолетов, круживших над ней, как стая слепней над изнемогающей лошадыо. При подходе к Южному Гогланду на «Онегу» выходила в атаку подводная лодка, стоявшие на мостике видели, как возник на несколько мгновений и вновь растаял вихрастый бурунчик. Туровцев не видел перископа, не видел, как сбили «юнкерс», от множества случайных пассажиров, находившихся на борту плавбазы, он отличался только военной формой и несколько туманными административными правами. Отрешенный от мостика, он плохо разбирался в создавшейся обстановке, не понимая действий Ходунова, ворчал, сомневался и все же верил, другого выхода не было: Ходунову верили все — команда, пассажиры, наконец, он сам верил в себя, этот прозаический краснолицый человек, стоявший на ходовом мостике, как буфетчик за стойкой. И он привел таки «Онегу» в Кронштадт, привел без единого повреждения, почти без потерь, да еще подобрал десятки тонувших людей с подбитых и подорвавшихся судов.

Первые дни в Кронштадте были горячими. Против стоявших на рейде и у пирсов кораблей Балтфлота была брошена бомбардировочная и штурмовая авиация. Затем войска фон Лееба, перерезав Балтийскую железную дорогу, прорвались к морю. По ночам с верхней палубы «Онеги» были видны простым глазом пороховые вспышки, тяжелые орудия били по Кронштадту, долетала даже шрапнель. Против рвущихся к Ленинграду отборных фашистских дивизий были брошены бригады морской пехоты. И почти во всех бригадах были люди с «Онеги».

Затем фронт установился, и на плавбазе вновь наступили будни. Подводные лодки ходили в дозор и в разведку, затем стали поодиночке прорываться в Балтику. Погиб наскочивший на магнитную мину весельчак и всеобщий любимец Савченко; вернулся, потопив миноносец, ничем доселе не примечательный Лямин; его встречал на пирсе командующий, рослый адмирал обнимал маленького Лямина, затем был торжественный обед, весь экипаж ляминской лодки был приглашен в кают-компанию, наехало много всякого народу — штабисты, газетчики, киношники, — никто из них не позаботился захватить с собой продаттестат,

и Туровцеву некогда было размышлять о своей судьбе — его беспокоил перерасход продуктов. Но такие события случались не часто, в обычные дни хозяйственные хлопоты поглощали все время от побудки до отбоя: грузили уголь и соляр, торпеды и снаряды, жестянки с галетами и баллоны с кислородом, Ходунов донимал команду учениями — строевыми, противовоздушными, химическими, аварийными... Трансляционный узел разносил по кораблю оглушительные тревожные звонки, палубы и трапы сотрясались от топота тяжелых матросских башмаков, и ненавидевший учебные тревоги Туровцев, зевая и чертыхаясь, бежал к своему боевому посту. Для помощника командира пехотные учения не были обязательны, Туровцев пропустил три подряд и в конце концов перестал ходить совсем. Ходунов как будто не замечал этого, но когда Туровцев захотел уйти с очередным пополнением, командир плавбазы написал на его рапорте: «На сухопутном фронте не нужны необученные, безграмотные в строевом отношении командиры». Почерк был военно-писарский, с завитушками, но орфография безупречна.

После рапорта отношения с Ходуновым стали еще хуже, командир по-прежнему ни в грош не ставил помощника, но попытки уйти с «Онеги» не простил. Когда плавбаза вошла в Неву и стала на приколе у Летнего сада, Туровцев написал еще два рапорта. В одном он просил отпустить его в распоряжение разведотдела для любой (он подчеркнул — любой) разведывательно-диверсионной работы, в другом предлагал направить его на подводную лодку в качестве рядового штурманского электрика. За эти рапорты комбриг разнес его так, что Митя надолго закаялся писать и решил прекратить борьбу. Он даже попытался вложить в нелюбимую «Онегу» частицу своей души и завести на плавбазе порядки, хотя бы отчасти соответствующие его идеальным представлениям, но не встретив поддержки, после нескольких болезненных для самолюбия уколов потерял вкус к переменам и стал добросовестно тянуть лямку.

В висевших над изголовьем радионаушниках раздался треск. Оборвав посередине какое-то симфоническое адажио, подключился дежурный по кораблю. До подъема флага оставалось пять минут.

Туровцев вскочил, обдернул китель, натянул шинель и подошел к зеркалу. Навстречу ему шагнул рослый блондин с очень знакомыми чертами лица. С этим блондином Туровцев встречался ежедневно во время бритья и относился к его внешности критически. У блондина был хороший ясный лоб и живые серо-голубые глаза с длинными ресницами. Остальное никуда не годилось: нос слегка вздернут, верхняя губа — тоже, а нижняя, что особенно заметно в профиль, почему-то отстает от верхней, и это придает лицу, может быть, даже симпатичное, но не совсем солидное выражение. Мужчине не обязательно быть красавцем, приятнее, если тебя называют интересным, но уж лучше быть последним уродом, чем ходить в хорошеньких. Хорошенький мальчик! Трудно выдумать что-либо оскорбительней. От этого клейма не спасает ни высокий рост, ни широкие плечи, ни крепкие мускулы. Туровцев с радостью отдал бы свою юную свежесть за сдержанную силу Горбунова, за грубоватую мужественность Кондратьева, даже за хитроватый прищур и азиатскую невозмутимость маленького Лямина.

Туровцев сжал губы, раздул ноздри и слегка нахмурился. Таким он нравился себе больше, но при этом отлично понимал, что стоит ему отойти от зеркала, как глаза потеряют свое строгое, слегка насмешливое выражение, губы раздвинутся, отчего лицо сразу станет мальчишески нежным, одним из тех лиц, что чаще будят у женщин материнские чувства, чем страсть и преклонение. Ужаснувшись своей суетности (вертеться перед зеркалом, когда идет война!), он сделал вид, что поправляет фуражку, и заторопился. Однако, выйдя из каюты, привычно дотронулся ребром ладони до носа и эмблемы — этому классическому способу проверять симметрию он доверял больше.

Поднявшись по отлогому, покрытому ковровой дорожкой трапу в палубную надстройку, Туровцев остановился. Здесь помещался «салон» командира плавбазы, где по установившейся традиции столовались командиры подводных лодок. Самая большая каюта также принадлежала командиру, но Ходунов в ней никогда не бывал и держал ее наготове для высоких гостей, поэтому все на плавбазе, не исключая краснофлотцев, драивших медную пластинку с надписью «командир корабля», называли эту каюту «флагманской». Две другие каюты, поменьше «флагманской»,

но тоже двухкомнатные, с настоящими окнами вместо круглых иллюминаторов, занимали командир и военком дивизиона. Надстройка отличалась от всего корабля тем, чем отличается так называемый международный вагон от обычных цельнометаллических жестких вагонов, — ощущением покоя и некоторой старомодности. Вместо раскрашенного железа — настоящее красное дерево, вместо линолеума — веревочные маты и ковровые дорожки, блестит надраенная медь, сильные лампы забраны в молочные колпаки. Туровцев редко задерживался в надстройке, но пробегал через нее раз двадцать на дню — это был самый короткий и удобный путь на верхнюю палубу.

В надстройке царила сонная тишина, только из примыкавшей к салону крохотной буфетной доносилось слабое шипение. Туровцев заглянул туда и увидел Митрохина, жарившего что-то на электрической плитке. Митрохин — огромный парень с большим, плоским, очень белым и всегда сонным лицом — был вестовым командира корабля. Этот Митрохин, по кличке «Палтус» — в нем действительно было что-то от камбалы, — был изгнан с подводной лодки за небрежное несение службы, прижился на «Онеге» и сумел приобрести расположение Ходунова. При появлении помощника Митрохин не шелохнулся и даже не поднял глаз. Туровцев подумал, что следовало бы сделать Митрохину замечание, а еще лучше поставить в положение «смирно» и как следует, по-командирски, в голос распечь его за пользование электроплиткой, а попутно за неопрятный вид и непочтительность, но тут же вспомнил, что уже не раз пробовал распекать Палтуса и никогда ничего путного из этого не выходило. Он представил себе, как Митрохин с угрюмо-обиженным видом скажет, что не заметил товарища лейтенанта, что во время работ и учений приветствовать вообще не положено, а если товарищ лейтенант обязательно требует, так пусть разъяснит, что и как, он же, Митрохин, человек маленький, его дело выполнять: приказал командир дивизиона изжарить гренки — вот он и выполняет, а можно или нельзя — этого он знать не может... Туровцев может верить или не верить, но проверять Митрохина не пойдет, по таким пустякам комдива не беспокоят, и кончится дело ничем, вернее, полной победой Палтуса, он будет жарить, а затем, буркнув: «Разрешите, товарищ лейтенант», устремится к вы-

ходу с такой неожиданной энергией, что Туровцеву только и останется, что отскочить и прижаться к переборке.

Отложив на неопределенное время расправу с Митрохиным, Туровцев налег плечом на тяжелую наружную дверь и очутился на верхней палубе. Было уже достаточно светло, чтоб различать предметы. Ночь кончилась, но ничто не предвещало наступление дня. Небо нависало над городом, как глухой железный колпак. Ободок его казался раскаленным — это были отсветы больших пожаров. Моросил всепроникающий мелкий как пыль дождик; невидимый вблизи, он становился зримым над просторами реки. Неестественно густые и темные, похожие на жидкий асфальт воды Невы безмолвно и торопливо устремлялись в пещерно зияющие пролеты моста.

Вплотную к левому борту «Онеги» стояли подлодки. Это были старые знакомые: «двести девятая» Лямина и «двести тринадцатая» Ратнера. В полумраке они выглядели огромными доисторическими чудищами — не то ящерами, не то рыбами. Сетерезные пилы с крупными треугольными зубьями придавали им особенно хищный вид. Серебристо-серые аэростаты заграждения, поднятые в воздух на Петроградской, тоже напоминали рыб, но другой породы — жирных, вялых, беззубых.

Туровцев мгновенно нафантазировал: обезлюдевшим городом завладели странные холоднокровные существа. Они способны есть, пить и размножаться; те, что с зубами, будут разводить на мясо жирных и вялых, дома превратятся в норы, город окончит существование, и Фальконетов Всадник будет для новых обитателей только каменной глыбой, около которой хорошо греть животы в жаркую погоду.

С неприятным чувством он обогнул надстройку и перешел на правый борт. Выглянул на набережную. Ни души. Неосвященные дома белели, как прибрежные скалы, и даже великолепная кованая решетка Летнего сада, казалось, не была созданием рук человеческих. Люди были только на «Онеге». Черные бушлаты неслышно двигались среди задранных к небу пушечных стволов, на юте уже готовились к построению, и Туровцев потянулся душой к нелюбимой плавбазе — среди холодного безмолвия города она была островком, оазисом, трепетным комочком живой материи, излучавшим тепло, испарявшим влагу, издававшим сла-

бый запах гари и брожения, запах человеческого жилья.

В установленных вдоль набережной мощных репродукторах надсадно заскрежетало. Затем застучал метроном. Этот размеренный стук, гулкий, как биение сердца, разом разрушил владевшее Туровцевым жуткое очарование. Метроном постучал немного, а потом, как колдун, ударившись оземь, обернулся музыкой: из глухого рокота виолончелей возникла широкая певучая фраза солирующей валторны. Передавали анданте кантабиле из Пятой симфонии Чайковского, эту симфонию часто играли по радио, и Туровцев, редко ходивший в концерты, знал ее и любил. Гибкий, чуточку гнусавый, вибрирующий голос валторны ворвался в хмурое безмолвие осажденного города, как теплое течение в ледяные воды океана. Величественно и нежно пела медь, согретая и очеловеченная дыханием гения, не слабым дыханием безвестного валторниста, а мощным дыханием сотен миллионов людей — живших, живущих и тех, кто еще будет жить, творческим гением великого народа, который бессмертен и, стало быть, непобедим.

...Был ли ты гением, безвестный валторнист? Нет, наверно, не был, гениям не свойственно оставаться в безвестности. Да и бывают ли гениальные валторнисты? Твой похожий на крендель инструмент слишком беден звуками, валторнист не закатывает, а таращит глаза, он смешно надувает щеки, в мундштуке кипит слюна... Жив ли ты, скромный лабух? Может быть, ты давно умер и прочно забыт и единственное, что от тебя осталось, — эта бороздка на крутящемся диске, несколько метров таинственной спирали, где расстояние между скрежетом и музыкой, между великим и ничтожным измеряется микронами. Но даже если это так — ты прожил свою жизнь не зря, ты знал святое волнение творчества, ты любил, страдал и радовался, и ты оставил след на земле, живой трепетный след...

Туровцев вдруг ощутил приближение того похожего на вдохновение нервного подъема, который охватывал его во время парадов и воинских церемоний. На глазах курсанта Туровцева внезапно накалились жаркие, радостные слезы, все мышцы напрягались, как перед прыжком с парашютной вышки, и в эти мгновения он ощущал себя частью какого-то прекрасного могучего целого, и это делало его самого прекрасным и могучим,

способным на великую любовь и палящую ненависть сильным, самоотверженным, непреклонным и великодушным, смелым до дерзости, способным вести и повелевать. Когда эти мучительно-сладостные, как извечная мечта человека о свободном парении, секунды проходили, возвращая Туровцева к повседневной прозе, он с мрачным юморком думал о том, что, если б научиться останавливать эти мгновения или хотя бы копить их и складывать, как крупинки драгоценного песка, из него, Дмитрия Туровцева, мог бы получиться не совсем заурядный экземпляр человеческой породы — флотоводец, революционер или открыватель новых земель. Впрочем, обстоятельства и тут складывались неблагоприятно: Земля оказалась мелкой планетой с давно изученной поверхностью, русская революция уже произошла в октябре 1917 года; оставался единственный выход: стать новым Ушаковым или Нахимовым, а это маловероятно, пока служишь на «Онеге»; война продлится еще год, от силы полтора, а Туровцев даже еще не начал воевать, и если все так пойдет и дальше, то к концу военных действий он в лучшем случае будет старшим лейтенантом...

С первых дней своей службы на флоте Туровцев полюбил церемонию подъема флага. Курсантом Митя ходил на учебном паруснике. В ту пору ежедневная процедура подъема и спуска флага вызывала у него почти религиозный трепет. Когда после сигнала горниста наступала тишина и в эту торжественную тишину врезалась негромкая и оттого еще более властная команда: «Флаг поднять!» — курсант Туровцев замирал от восторга. Хорошо было стоять на правом фланге вытянутой в ниточку шеренги и провожать глазами скользящее вверх бело-голубое знамя; еще лучше — держа ладонь слегка наискосок, прикасаться к глянцевою козырьку лейтенантской фуражки; и несбыточно прекрасной казалась мечта о том, чтоб когда-нибудь самому произнести магическую формулу. Теперь он был лейтенантом, вахтенным начальником и даже помощником командира корабля, но магическое воздействие обряда постепенно выветрилось, прежнее состояние наэлектризованности приходило все реже. В это утро оно вернулось. Туровцев стоял вытянувшись в струну, плотно сжав пересохшие губы. Человеческим голосом пела валторна, и Туровцеву казалось, что поет он сам, а вместе с ним, вот так же, как он,

стоит во весь рост и, стиснув губы, беззвучно поет осажденный город, народ, Россия...

«Какое счастье, что существует на свете подобная красота, какое счастье, что на свет рождаются люди, способные создавать эту красоту, какое счастье, что красота пробивается к сердцам, даже к таким неискушенным, как мое. Пока она существует, будет существовать и любовь. Любовь к родной земле и к родной природе. Любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине. Любовь отцовская и материнская и любовь детей к родителям. Любовь к людям вообще, любовь к творчеству и созиданию...

А если так, то победит человечность, а не злоба. Свет, а не тьма. Музыка, а не скрежет. И наши тяжкие испытания, наши горести и утраты не пропадут даром...»

Конечно, Дмитрий Туровцев не думал так, именно этими словами. Но он так чувствовал и был настолько погружен в себя, что не заметил, как смолкла музыка и наступила тишина.

Сигнал горниста заставил его очнуться.

Засвистали боцманские дудки на подводных лодках, откликнулись горнисты на стоящем у Тучкова моста эскадренном миноносце «Непреклонный» и на ближайшем соседе — океанском теплоходе «Енисей».

— Флаг поднять!

Горнист сыграл «исполнительный», люди зашевелились. К Туровцеву подошел боцман и заговорил о вскрытии рундуков. Он уже знал о гибели «двести второй». Туровцев отвечал хмурясь, нарочито небрежно.

На корабле начался новый день. Обычный день, такой, как был вчера.

Глава вторая

День выдался хлопотный, заботы чередовались с тревогами. Самолеты так и не прорвались, но тревоги свое дело сделали — дневной распорядок был смят, и время потеряно. Только после сигнала ко сну, когда жизнь на «Онеге» стала затихать, Туровцев смог приступить к разборке ящиков письменного стола. Остальные вещи Горбунова были уже переписаны, увязаны шпагатом и сложены в углу каюты.

Выдвижных ящиков в столе было два. Один из них — тот, что побольше, — не запирался, и его содержимое Митя знал наизусть. Там хранилась сломанная английская трубка марки «три би», пакет пересохшего табаку и початая коробка гильз с машинкой для набивания, бритвенные лезвия, пузырьки с разноцветной тушью, жестянка таллиннского снадобья для наведения блеска на форменные пуговицы, пластмассовая масленка и медный шомпол для чистки пистолета. Митя считал себя вправе унаследовать эти мелочи, ему хотелось сохранить что-нибудь на память о своей несостоявшейся дружбе. Второй ящик был заперт на ключ. Митя просунул в щель лезвие матросского ножа, и стандартный замок поддался. На дне ящика лежал дешевый бювар из липкого, пахнущего нефтью дерматина. В одном из отделений Митя нашел с десятков фотографий, среди них ни одной женской, — это его удивило: было известно, что Горбунов женат. В другом отделении хранилось несколько театральных программ и физкультурных дипломов, делегатский мандат на партийную конференцию и совсем простенькие сувениры: елочная картонная кошка, жестяной номерок от вешалки. Вероятно, каждая из этих маленьких реликвий была Горбунову чем-то дорога, и Митя с грустью подумал, что нет такой силы, которая помогла бы теперь узнать, какие воспоминания — печальные, нежные или юмористические — вызывал у старшего лейтенанта Горбунова кусок белой жести с дыркой и веревочным кольцом.

Ощупав опустевший бювар, Митя обнаружил в нем нечто вроде потайного кармана; покопавшись, он извлек черный конверт — в таких конвертах обычно хранится бромо-серебряная бумага, но, несомненно, там было что-то другое, — конверт был туго набит и прочно заклеен. На мгновение Митя усомнился в своем праве распечатывать чужие бумаги, но тут же нашел спасительный довод: нужен адрес жены. Однако полностью убить сомнение не удалось, и он отлеплял клапан со стесненным дыханием, чувствуя, как стучит кровь в висках; слышались чьи-то шаги — и он метнулся к двери, чтобы запереться, хотя зайти в это время никто не мог. Затем он вновь принялся за конверт и вскрыл его, почти не повредив. Из конверта выскользнуло с полдюжины карточек, на которых был заснят ничем не примечательный голый младенец, и несколько сло-

женных вчетверо листов тонкой хрустящей бумаги. То, что хрустящие листки были частным письмом, больше того — письмом мужа к жене, Митя сообразил не сразу, а пробежав глазами начало, уже не мог остановиться.

«...Вчера Борис передал мне твою записку. Извини, что не ответил сразу. Надо было собраться с мыслями.

Ты спрашиваешь — что же будет дальше? Если тебя интересует сторона бытовая и формальная, то, пожалуйста, ни о чем не беспокойся, квартира со всем нашим скарбом остается в твоём полном распоряжении, все мое денежное довольствие минус вычеты в кают-компанию, заем и партвзносы — тоже. С оформлением наших отношений мы можем тянуть неопределенно долго, практически до тех пор, пока тебе самой не понадобится развод.

Мне по-прежнему непонятны причины, по которым настоящий отец ребенка продолжает упорно сохранять свое инкогнито. Если боится меня, то напрасно — я его не убью. Не в моих правилах, да и время упущено. Никто не поверит, что в состоянии аффекта. Мальчика можешь записать Горбуновым. Это не жертва и не шаг к сближению — просто я считаю, что ребенок не должен страдать оттого, что взрослые ведут себя как свиньи.

А теперь — по существу. Я к тебе не вернусь. Это решено — и бесповоротно. Решение далось мне нелегко — тем более я от него не отступлюсь. А если б вдруг отступил — знай, что это не великодушие, а капитуляция, и относись соответственно.

Теперь я знаю — ты плохо думаешь о людях. Ты не веришь в бескорыстие и теряешься, когда не видишь в поступках ясной эгоистической цели. Но попробуй, хотя бы в виде опыта, не искать в моем письме подвоха, поверить, что у меня нет ни задних мыслей, ни намерения оскорбить тебя, а только желание помочь нам обоим хоть немножко разобраться в последствиях катастрофы, разрушившей до основания нашу казавшуюся многим завидной и образцовой семейную жизнь.

Чем больше я раздумываю над своей бедой, тем яснее понимаю, что виновата не ты одна. Виноват и я, хотя был предан тебе телом и душой, не пил, не шлялся и даже «в соответствии с имеющимися установ-

ками» проявлял заботу о твоём духовном росте и общественном развитии. Теперь я понимаю, что мне, как и многим моим товарищам, не хватает того, что можно назвать культурой чувства. Люди мы как будто вполне цивилизованные, разбираемся во всяких сложных материях, но в сфере любовной еще порядочные дикари. Отчасти оно и понятно: в юности мы по горло заняты одолением разных технических премудростей, в женском обществе бываем редко и пытаемся убедить себя, что в нашей суровой моряцкой жизни женщина играет роль третьестепенную. А затем в одно прекрасное знойное лето отправляемся на благословенный юг, в очередной отпуск сроком на тридцать календарных суток, по приезде облачаемся во все белое, надраиваем якоря, нацепляем кортик и выползаем в парк или курзал, где и решается наша судьба. За примером далеко ходить не надо — мы с тобой сошлись на девятый день знакомства и уехали из Сочи вместе, как муж и жена.

Я был счастлив с тобою, как только может быть счастлив человек, который до того никогда не любил. Меня тронула прямота, с которой ты сказала, что выросла в ужасной мещанской семье, что в тебе самой еще много собственнического и эгоистического, что ты надеешься с моей помощью... и т. д. и т. п. Конечно, я с восторгом вызвался быть наставником (нас хлебом не корми, а дай поучить других!), и хотя с первых же дней нашей совместной жизни мы начали ссориться, я любил тебя все горячее и даже чувствовал себя счастливым. Когда ты ревновала меня к кораблю, к товарищам, когда ты требовала, чтоб я бросил плавать и устроился на берегу, я возмущался, спорил и втихомолку радовался: она меня любит, она тоскует без меня. Когда ты наконец смирилась и стала спокойнее относиться к моим отлучкам, я ничуть не встревожился, наоборот, к моему счастью прибавилось чуточку самодовольства — приятно, черт возьми, знать, что тебе удалось убедить, повлиять, воспитать. Повторяю, я был очень счастлив и очень глуп. Теперь, задним числом, многое из нашего прошлого предстает передо мной в другом свете, но тогда я был слеп, как новорожденный кутенок, и не ведал сомнений до того самого вечера, когда, вернувшись со стрельб, узнал от соседей, что тебя срочно увезли в родильный дом. Комбриг дал мне свою машину, через двадцать минут

я был в кабинете главврача и принимал поздравления, а еще через двадцать, вернувшись домой в нашу перевернутую вверх дном, опустевшую квартиру, нашел на столе брошенное тобой в предотъездной суматохе недописанное письмо к человеку, с которым ты меня обманывала. (Кстати: раньше меня только злило упорство, с каким ты до сих пор отказываешься его назвать. Теперь оно вызывает у меня уважение. И даже зависть: значит, ты способна на верность?)

До меня не сразу дошел смысл прочитанного. Пришлось прочитать второй раз, медленно, чуть ли не по складам, и только тогда я уразумел, что ты больше года близка с другим, ребенок от него, а я сам не только не близкий, не родной и не любимый, а «он», «супруг», «этот человек», помеха счастью, жалкая и надоедливая фигура, способная вызывать только раздражение, в лучшем случае — презрительное сочувствие. Все это было так неожиданно и оглушительно, что у меня подкосились ноги, это не фраза — впервые в жизни я почувствовал, как твердая земля уходит из-под моих ног. Весь вечер я пролежал, не двигаясь, без света, не знаю, в котором часу ко мне ломились Борис и Федор Михайлович, я слышал их голоса, но не отвечал, они покричали и ушли, тогда я зажег свет и опять стал перечитывать письмо, я перечитал его, наверно, раз десять и каждый раз открывал для себя что-то новое, как будто от одного до другого раза проходил год, и я действительно постарел на десять лет за одну эту ночь. В эту ночь я понял многое, но есть вещи, которых я не понимаю до сих пор.

Я понимаю — можно разлюбить и полюбить другого. При этом не всегда удастся избежать раздвоенности и обмана, и, как мне ни тяжело, я способен понять и это. Но я не могу постигнуть — как можно в течение многих месяцев приучать меня к мысли, что я — будущий отец, заставить ждать, волноваться, мечтать, наконец, полюбить и привязаться, с тем чтобы через год или два, когда позволят обстоятельства, среди бела дня, поразбойничьи отнять у меня сына. Такой жестокости я понять не могу, а стало быть, не могу и простить. У меня хватило выдержки не волновать тебя на первых порах, как видишь, я и сейчас не жажду мести и готов идти тебе навстречу во всем, что касается твоих интересов. Но большего от меня не требуй. Вместе мы жить не можем.

Я до сих пор ломаю голову, как это произошло, что я, Виктор Горбунов, прожил четыре года с женщиной, о которой знал меньше, чем о любом краснофлотце с лодки, как могло случиться, что рядом со мной жил и даже спал в одной постели чужой, посторонний мне человек?

Ах, черт возьми, как мы все любим, когда нас хвалят и в особенности когда с нами соглашаются! Это нам кажется таким естественным, что где уж тут усомниться в искренности тех, кто нам поддакивает, мы так привыкли считать врагами всех, кто смеет с нами не соглашаться, что зачастую оказываемся беззащитными против самой грубой лжи. Впрочем, ты лгала не грубо, и для меня по-прежнему загадка — откуда в тебе эта гибкость, звериный инстинкт подражания: ведь ты умела закончить любую начатую мной фразу, ты угадывала мои мысли и говорила моими словами, казалось, мы живем душа в душу, и только теперь, когда тебе уже нет смысла притворяться, выяснилось, что все это было наваждением — у нас были разные вкусы, мы по-разному смотрели на жизнь и разного от нее ждали, а потому и радовались и печалились врозь. Только теперь я понимаю, как тебя раздражало мое стремление к простым и равным товарищеским отношениям: тебе надо властвовать или пресмыкаться, тебя не оскорбить грубостью или ревнивым недоверием, но мягкость кажется тебе слабостью, а доверчивость — глупостью; человека, не сумевшего или не захотевшего тебя подчинить, ты начинаешь презирать, если можно — третировать, если нельзя — обманывать. Дело прошлое, но временами мне даже страшновато от сознания, что я до такой степени был в твоей власти. Я простил бы тебе то, что принято называть изменой, но не могу избавиться от ощущения, что меня предали.

И здесь, конечно, тоже есть моя вина. Я был по-мальчишески нетерпим, ты оказалась взрослее: быстро научилась говорить по-моему и продолжала думать по-своему. Впрочем, я не замечал и того, что било в нос. Сегодня, перед тем как сжечь, я перечитал все твои письма, и на меня, как из погреба сыростью, пахнуло чем-то противным всей моей натуре. Как тебе ненавистна простота! Там, где нет угарчика, надрыва, преувеличенных слов, бесконечного выяснения «взаимоотношений», постоянного прислушивания к своему «состоянию», «моральному самочувствию», ты начи-

наешь скучать и злиться. Теперь мне отвратительны эти словечки, бесчисленные восклицательные знаки, многоточия и кавычки, вся эта болтливость, прикрывающая пустоту. Мне стыдно, что я сам писал в таком же духе, и надеюсь, что ты тоже предала огню мои пошлые писания.

Но самое непростительное из того, что я знаю за собой, была моя попытка изобразить великодушие и всепрощающую любовь. Она не вызвала у тебя ни благодарности, ни уважения — и поделом мне. Ты расценила мое поведение как слабость и на этот раз была права. Моя любовь была уже убита, но во мне еще бродила постыдная привязанность, я был еще поработан тобой и готов на сделку со своей совестью. Счастье мое, что я вовремя отрезвел. Если мужчина идет ради женщины на уступки или на прямую подлость — это еще не доказательство любви. Чаще всего это только дряблость характера, неспособность бороться с искушением, как у растратчиков, игроков и наркоманов. Все это мне очень противно в других. В себе — особенно.

Прощай. Я тебе не враг. Но ты мне больше не жена.

Виктор».

Даты не было.

Хрустнула переборка, и этот привычный звук заставил Туровцева привскочить и обернуться. В мутном зеркале мелькнуло возбужденное, пошедшее пятнами, показавшееся чужим лицо. Он приложил к лицу ладони — пальцы были холодные, а щеки пылали. Затем он долго сидел не шевелясь, озадаченный и присмиревший. Волнение было чем-то сродни тому трепету, с которым тринадцатилетний Митя Туровцев читал книги, где говорилось о любви. В доме было много книг, отец гордился своей библиотечкой, собранной из приложений к «Ниве», и Митя за два года проглотил ее всю, радуясь и ужасаясь, становясь в тупик перед неизведанными сторонами человеческих отношений, но ничего не подвергая сомнению, полный благоговейной веры. Было жутковато сознавать, что ему удалось прикоснуться к одной из главных тайн, объединяющих всех взрослых людей. Тайной этой была не элементарная физиологическая тайна деторождения — на сей счет сельские мальчики обычно не заблуждаются, а другая, несравненно более захватывающая: существование в мире могущественной силы, животворной

и испепеляющей, дающей радость и обрекающей на муки, толкающей на подвиг и на преступление. Невозможно, имея тринадцать лет от роду, постигнуть секрет магической власти Печорина над волей несчастной Веры, муки Карениной и кипение страстей Митеньки Карамазова, но истинность переживаний не подлежала сомнению, а сами герои, порожденные гениальной фантазией, были прекрасны, упоительны, их бытие ни в чем не уступало физическому. Чтение было для Мити таинством, из стыдливости он никогда не просил разъяснений, предпочитая принимать на веру или строить собственные догадки, он отмалчивался и даже грубил, когда с ним заговаривали о прочитанных книгах, развязный тон приводил его в бешенство. Впоследствии, изучая литературу по школьной программе, он перечитал многие из этих книг, эффект был примерно такой, как если б испанскому мореплавателю XVI века дали взглянуть на современный глобус. Белые пятна исчезли, материки приобрели твердые очертания, все стало проще и понятнее — с высоты этого нового понимания первые детские впечатления выглядели до смешного наивными. Еще позже, в военном училище, Митя с успехом выступал на обсуждении пьесы одного большого писателя, не совсем правильно, по мнению Мити, трактовавшего проблему любви и долга, и дал ему ряд ценных советов. И все-таки никогда общение с книгой не было таким самозабвенным и обжигающим, как в годы, когда от чтения пересыхало во рту, жаркая кровь стучала в висках и правда угадывалась по сердцебиению.

Письмо Горбунова вновь превратило Митю в подростка с пылающими ушами, без спросу проникшего в тайну взрослых людей. Конечно, он не был уже тем мальчиком, кое-какой жизненный опыт у Мити уже был. Но его было явно недостаточно, чтобы понять, почему Горбунов грустил, вместо того чтоб клеймить, почему он так сурово судил себя и находил оправдание для низкой твари, заслуживавшей, по мнению лейтенанта Туровцева, если не физической казни, то уж, во всяком случае, полного презрения. Однако у него хватило ума понять, что он не судья Горбунову — письмо было выстрадано, — и если в этом письме не все совпадает с его, Мити Туровцева, привычными представлениями, то это не обязательно потому, что он, Митя, рассуждает умнее и справедливее Горбунова, а потому, что ему

еще неведома та дорогой ценой доставшаяся правда чувств, которую нельзя опровергнуть поверхностным рассуждением, а можно только оскорбить.

Расставшись со школьной скамьей, Митя стал все чаще замечать, что жизнь с трудом укладывается в школьные правила. Не на всякий вопрос удавалось ответить «да» или «нет»; сразу возникала куча доводов «с одной стороны» и «с другой стороны», согласить их между собой было не просто, а иногда и мучительно. Даже среди людей, объединенных общей целью, возникали острейшие противоречия, и попытки мерить всех на свой аршин кончались плачевно, «свой аршин» оказался инструментом весьма неточным. И все-таки, стремясь разобраться в чувствах Горбунова, Митя невольно примерял их на себя, постепенно его мысли из неосвещенной либавской квартирки, где притаился обезумевший от обиды и горя Виктор Горбунов, перенеслись в другую, тоже темную ленинградскую квартиру, в которой несколько дней назад он провел ночь, при обстоятельствах не совсем обыкновенных.

Из всех обитателей «Онеги» сколько-нибудь близко Туровцев сошелся только с двоими: со штурманом «двести тринадцатой» Сашей Веретенниковым и начальником санитарной службы плавбазы Божко. Божко был кадровый военный врач, человек уже немолодой. Сближение произошло не потому, что этого хотел Туровцев, а потому, что его искал Божко. Оттолкнуть Божко — значило обидеть, а Митя обижать людей не умел, если же обижал, то опять-таки по неумелости.

Божко был холостяк и женолюб. Ни умом, ни красотой он не блистал, но пользовался успехом. К чести Божко, он никогда не хвастался и не называл имен. «Я не болтун — это тоже ценится», — говорил он, посмеиваясь.

Этот Божко не раз предлагал Мите повести его на холостяцкую вечеринку. Митя не отказывался, но всегда что-нибудь да мешало: то не отпускал Ходунов, то подворачивалось срочное дело. Все эти препятствия было бы легко преодолеть, если б в самом Туровцеве не гнездились неосознанное до конца сопротивление. Целомудрие тут было ни при чем: если б Митя узнал, что кто-то из боевых командиров, к примеру Петя Лямин или Ратнер, вернувшись из похода, устроил

на берегу любой тарарам, он отнесся бы к этому без священного ужаса: мало ли что бывает, человеку нужна разрядка. Но у Божко работа была не пыльная, ни в какой разрядке он не нуждался. И вообще: идти в неизвестный дом к незнакомым женщинам — в этом было что-то сомнительное. Вероятно, им сейчас совсем не до веселья, и если они соглашаются развеять грусть неведомого и неинтересного им моряка, то главным образом потому, что моряк может принести с собой немножко спирту, а еще лучше сахара или лярда. Всего этого по нынешним временам взять негде, разве только украсть.

Словом, Митя побаивался идти. Боялся он не огласки и скандала, а стыда и разочарования.

Но в конце концов Божко сломил сопротивление. Он парировал все возражения: никаких приношений не требуется, будет один товарищ из Военфлотторга, при нем можно ни о чем таком не беспокоиться; никаких обязательств — посидим, повертим патефон, выпьем чего-нибудь рекомендуемого медициной, а далее — по обстановке.

Неотложных дел в тот вечер не оказалось, «добро» от Ходунова было получено беспрепятственно, после ужина, еще более тощего, чем обед, Митя навел адский блеск на парадные полуботинки, пришел свежий подворотничок и тщательно побрился новым лезвием. За ним зашел Божко, сияющий, пахнущий сладкими духами, и они отправились.

По кораблю Митя пронесся метеором — коротышка Божко еле поспевал за ним. При этом он напустил на себя такой суровый и озабоченный вид, что дежурный у трапа только покрутил головой — не иначе, нашего помощника вызывают на Военный Совет. Но, взбежавши по пляшущим доскам на гранитные плиты набережной, Митя вдруг почувствовал радостное облегчение — он был свободен, свободен от «Онеги» до семи часов утра, ощущал себя свежим и прибранным, как корабль к смотру, после нестерпимого однообразия последних дней впереди маячила надежда на новые впечатления. Туровцев подумал о Божко с признательностью.

Шли быстрым шагом, нагнув головы и стараясь держаться подальше от воды — со стороны Ладоги дуло сильно и холодно. Набережная была безлюдна, за черными окнами домов, перечеркнутыми крест-накрест бумажными наклейками, с трудом угадывалась

жизнь. За все время по не освещенному, а лишь слегка обозначенному тусклыми цветными фонарями Литейному мосту прополз один трамвай, да на самой набережной их обогнал армейский вездеход. Подбежав к мосту, он, почти не снижая скорости, сделал левый поворот, раскаленным шариком прокатился по настилу и исчез.

«В штаб. С фронта», — подумал Митя, и на минуту ему расхотелось идти.

Митя не заметил, как выглядел дом, у которого они остановились. Запомнились только заколоченный досками парадный ход и низкая, глубокая, как русская печь, арка ворот. Они протиснулись между связанными цепью железными створками и были немедленно остановлены. Электрический фонарик пролил им под ноги маленькую лужицу света, и металлический голос сказал: «Кто и куда?» Митя увидел двух женщин в ватниках, с нарукавными повязками и противогазными сумками. Одна — низенькая, скуластая и круглолицая — была, по-видимому, дворничихой, другая — худая, стройная, в пенсне, придававшем ее тонкому увядшему лицу вид суровый и властный, — вероятно, занимала в домовой иерархии положение как нельзя более высокое. Гости были допрошены со всей строгостью военного времени, и трудно сказать, что было непереносимее — откровенная усмешка дворничихи или пронизывающий взгляд сквозь стеклышки пенсне.

Затем они проникли во двор. Двор Митя также не разглядел, прямо против арки чернело крыльцо флигеля. Божко рванул на себя завизжавшую дверь и еле устоял на ногах: могучая дверная пружина превращала флигель в гигантскую мышеловку. Рискую быть разрубленным пополам, Митя втиснулся вслед за Божко и очутился в полной темноте. Божко помог ему ухватиться за перила — лестница вела вниз. Внизу они долго и безрезультатно дубасили кулаком в обитую колючим войлоком дверь, пока, дернув ее к себе, не убедились, что она вообще не запирается. За дверью была такая же промозглая сырость, как на лестнице, но пахло жильем — пылью и столярным клеем. Когда глаза приспособились к темноте, Митя понял, что находится в начале длинного коридора, вдали брезжил слабый свет — узкая вертикальная полоска, где-то в глубине угадывалась неплотно прикрытая дверь. Стараясь держаться правой стороны — левую загро-

мождала какая-то царапающаяся рухлядь,— они устремились на свет.

Постучали, дверь открылась, и Туровцев на мгновение ослеп: кто-то направил прямо ему в лицо сильный электрический луч. Смерив Митю с головы до ног, луч небрежно смазал по физиономии Божко, скользнул по поверхности низенького столика, уставленного бутылками и тарелками со сказочной по блокадному времени закуской, совершил медленный круг, как бы представляя вошедшим собравшееся вокруг стола общество, и остановился, уткнувшись в закопченный потолок. Наконец-то Туровцев смог разглядеть источник света — это был трофейный фонарик военного образца, настоящий маленький прожектор.

В комнате было пять человек — три женщины и двое мужчин. Женщины, одетые по-блокадному в вязаные кофты и байковые лыжные штаны, сидели, поджав ноги, на широкой ковровой тахте, мужчины развалились в креслах. Мите они сразу же не понравились. Оба во флотских кителях с серебряными нашивками, один — интендант, другой — военинженер. Оба в немалых по сравнению с Митей званиях, обоим за сорок.

— Познакомьтесь, Тамара. Это Туровцев,— сказал Божко.

Та, что сидела посередине, подняла голову, и Митя обмер. На него смотрели очень светлые — аквамариновые,— очень блестящие, смешливые и не то чтобы дерзкие, а вернее сказать — победительные глаза. Таким же победительным был рот — нежный и твердый. Уловив смущение рослого лейтенанта, Тамара усмехнулась и протянула ему руку — для этого ей пришлось стать на колени, она стала, покачнулась и засмеялась, как девчонка. Она была тоненькая и гибкая, темные волосы гладко расчесаны на прямой пробор и уложены в пучок. Митя растерянно пожал узкую крепкую ладонь — поцеловать руку, как это сделал Божко, он не решился. Затем уже автоматически, не глядя, поздоровался с ее соседками и по-военному приветствовал мужчин, не выразивших никакого энтузиазма по случаю знакомства с лейтенантом Туровцевым.

После того как вновь прибывшие были представлены, усажены и выпили положенный штраф, Тамара вскочила и, накинув на плечи первую попавшуюся шинель, выбежала. Во время ее недолгого отсутствия заметно оживились обе приятельницы, они энергично,

как бы внезапно прозрев, набросились на еду, потребовали завести патефон и поставить какую-то «Крошку Дэзи», бурно восхищались и требовали, чтоб Митя восхищался тоже, Митя не очень любил джаз, к тому же «Крошка» оказалась до того изношенной, что только те, кто знавал ее в молодости, и могли находить в ней какую-то прелесть. Однако Божко хвалил «Крошку», хвалил сивушную водку и похожую на антрацит паюсную икру, чем вызвал довольную улыбку на лице военоторговца, хвалил трофейный фонарик и доставил этим удовольствие военинженеру, хотя трофей вряд ли достался ему в бою. «Вот так, наверно, он хвалит и меня», — впервые подумал Митя и нахмурился. Он начинал сердиться на Божко. «Экое всеядное животное! На кой пес он поволок меня в эту компанию? Здесь я явно не ко двору. Эти береговые крысы с большими нашивками знать меня не хотят и, того и гляди, нахамят. Стало быть, надо держать ухо востро, а раз так, то какое уж тут веселье. К тому же я седьмой, стало быть — лишний. Интересно, куда девалась Тамара? Неужели пошла искать мне даму? Глупости, никого мне не нужно...»

Тамара вернулась одна, молча скинула с плеч шинель, проскользнула на свое место, поежилась, налила себе полчаши водки и, ни с кем не чокаясь, выпила. Пришла она чем-то омраченная, то хмурилась, то посмеивалась — и все молчком. Было трудно понять, трезва она или пьяна. Туровцеву все время хотелось смотреть только на Тамару. Чтоб скрыть это, он принял малодушное решение не глядеть на нее совсем и, чтоб уберечься от искушения, стал разглядывать мужчин, пытаясь понять, что это за люди и почему они ему так не нравятся.

Фамилии интенданта Митя не расслышал — не то Бушэ, не то Рошэ. Девушки называли его Георгием Антоновичем. Это был стареющий хлыщ, испитой и элегантный. Лицо у него было тонкое, чересчур выразительное, излишне многозначительное — как у плохих актеров и сомнительных адвокатов. Преобладающим в этом лице было выражение иронии — оно не покидало его даже во время еды, и Митя подумал, что в этой неизменной, раз и навсегда, на все случаи жизни заданной иронии есть какая-то неправда, что это не столько свойство ума, сколько маска, защитное приспособление, позволяющее незначительному, а может

быть, и нечистому человеку держаться с видом превосходства.

Военинженер — тот производил впечатление куда более солидное. В полном смысле слова представительный мужчина: рослый блондин, седеющий и лысеющий, но со свежим, очень правильным лицом, которое было бы совсем красивым, если бы не холодные глаза и неприятная улыбка. Апломб прямо адмиральский, хотя по нашивкам он не выше военоторговца — те же «две с половиной». Сразу видно, что неглуп и с характером.

В бытность Мити в училище среди курсантов ходил шуточный термин «держатъ площадку». Тот, кто в данный момент рассказывал и удерживал внимание, тем самым занимал площадку. Это было искусство, Митя владел им в училище и утерял на «Онеге». Там его нередко перебивали и не дослушивали до конца. Из самолюбия он стал осторожнее и уже не спешил привлекать к себе внимание. К тому же эти двое прочно, а главное — по праву завладели площадкой. Ничего особенного они не говорили, обычные застольные байки, но все байки к месту, анекдоты новые и смешные, самые рискованные вещи рассказываются так, что от них не пахнет казармой. Нечаянно разговор соскочил на продовольственное положение, и площадкой надолго завладел Георгий Антонович. Язык у него был привешен дай боже, и, как Митя ни сопротивлялся, рассказ о пожаре Бадаевских складов захватил и его. Не только женщинам, вот уже месяц получавшим двести граммов хлеба на день, но и лейтенанту Туровцеву было жутковато слушать о пылающих масляных озерах, о том, как горели и плавилась тысячи тонн сахара и жирный сладкий дым стелился по крышам и вползал во все щели, щекоча ноздри встревоженных людей. До начала блокады Митя никогда не задумывался над такими проблемами, как суточная потребность большого города в муке, мясе и жирах, и был несколько обескуражен цифрами, которые называл Георгий Антонович. Картина получалась тревожная: очередное снижение норм неизбежно, люди уже умирают...

Военинженер изредка вставлял свое веское слово, и Туровцев остро завидовал его спокойной манере. Этот человек умел заставить слушать себя. Из того, что он рассказывал, Мите многое было в новинку, он и не подозревал, что совсем недавно, всего несколько дней назад, в районе Обуховского завода немцы готовили

прорыв обороны, который не удался только потому, что в последнюю минуту батальон, составленный из снятых с кораблей краснофлотцев, закрыл образовавшуюся брешь. Автоматы бойцам раздавали на ходу, по дороге на рубеж...

Сперва Митя слушал с интересом, затем начал сердиться: неужели эти старые грешники не нашли более подходящего места для обсуждения стратегического положения Ленинграда? В чем смысл этих разговоров? Если они ведутся для того, чтоб поддержать и ободрить представительниц гражданского населения, то цель явно не достигается. С другой стороны, их не назовешь и паническими, все прилагательные на своих местах: немцы подлые, моряки доблестные; действия командования критикуются, но в меру и, главное, с полной готовностью разделить ответственность — *мы* сделали глупость, тут *мы* прошляпили...

Так в чем же смысл? Митя стал вслушиваться и постепенно начал кое-что понимать.

— Слушайте, девочки,— вещал Георгий Антонович,— с харчами плохо и будет еще хуже. В особенности худо будет вам, самой судьбой отнесенным к мало-влиятельной категории служащих и иждивенцев. Мы сильны и могущественны. Много вы знаете в этом городе людей, способных в мгновение ока выложить вам на стол настоящую полукопченую колбасу, сыр ярославский, икру паюсную бочковую, водку московскую особую и крепленое вино типа портвейн? Поэтому цените нас, любите нас и держитесь за нас.

— Совершенно справедливо,— вторил ему Семен Владимирович.— Отчасти грубовато по форме, но рационально в своем существе. Но суть даже не в этом, а в том, что все мы висим на волоске и не знаем, на каком мы завтра будем свете. Не подумайте только, что я не верю в победу,— боже вас упаси от такой мысли. Но пора вам понять, что мы уже несколько месяцев существуем по совсем другим законам, чем те, что действовали в этом городе до осады и до сих пор обязательны для людей, живущих там, за кольцом, на так называемой Большой земле. А ведь то, что происходит с нами, давно не укладывается ни в какие мерки, оно ужасно и величественно, фантастично и парадоксально, как будто на нас уже не действует сила земного притяжения. Так давайте же, черт возьми, вести себя соответственно и позабудем хоть на один

вечер о прописных истинах, которые годятся только для тыловых городов и ни хрена не стоят в данной реально сложившейся обстановке...

Конечно, все это говорилось не прямо, а намеками и обиняками, но Митя уже не сомневался, что слышал самое главное, и отвернулся, чтоб скрыть невольную усмешку. И тут увидел Тамару. Она сидела, обхватив руками согнутые ноги, касаясь колен подбородком, а по ее лицу бродила улыбка — хитроватая и угрюмоватая, точно такая, какую хотел скрыть Митя. Они переглянулись как заговорщики и разом потушили улыбки.

С этой секунды все переменялось. Он уже не жалел, что пришел в этот странный дом. На Божко он опять посмотрел с признательностью.

За разговорами много пили, мешая водку и вино, но никто не был пьян, вернее, каждый был пьян в одиночку, голоса стали громче, слова рискованнее, но принужденность не проходила, только Божко чувствовал себя превосходно, он сразу пришвартовался к одной из двух второстепенных девиц, быстро установил с ней фамильярные отношения и процветал. Глядя на его покрасневшие щеки и сияющие глазки, Митя подумал, что здесь сказался жизненный принцип Божко — журавлю в небе он предпочитал синицу в руках. Другая девица, более яркая и самоуверенная, оказывала явные знаки расположения Георгию Антоновичу, но тот, в сознании своего могущества, медлил. Для Туровцева и военинженера те девицы вообще не существовали, оба сразу определились как соперники в борьбе за внимание хозяйки дома. Военинженер, поначалу будто и не замечавший скромного лейтенанта, переменял тактику и стал с ним снисходительно любезен. Снисходительность проявлялась в чуть-чуть преувеличенной почтительности, с какой он обращался к Мите: тем самым как бы подчеркивалось, что он любезен с этим смазливый мальчиком не потому, что у мальчика есть какие-нибудь особые достоинства и заслуги, а потому, что он, Семен Владимирович Селянин, — человек хорошо воспитанный и привычек своих ни для кого менять не намерен.

Митя долго держался, но потом вдруг почувствовал, что сильно пьян. Мышцы лица похолодели и одеревенели. Он все помнил и все понимал, но временами в его сознании образовывались провалы, и на несколько

секунд он как бы выпадал. Именно поэтому он не запомнил, с чего начался скандал. Вероятно, втайне жаждавший дикого разгула Георгий Антонович решил, что атмосфера достаточно накалилась и пора переходить к действию. Громко сказанное похабное слово заставило Митю вздрогнуть. В ту же секунду он увидел Тамару, стоящую на тахте, рукой она указывала на дверь.

— Уходите, — сказала Тамара севшим от волнения голосом. — Сию же минуту.

Бедный Георгий Антонович настолько не ожидал ничего подобного, что не сразу понял, кого просят уйти. Тамаре пришлось отдельно ткнуть в него пальцем.

— Вы, вы! — сказала она, нетерпеливо мотнув головой. — Убирайтесь, слышите?

Было забавно глядеть, как потерявшийся воен-торговец забыл о своей иронической маске. В растерянности он бросил взгляд на разложенное на столе угощение и погубил себя окончательно. Тамара поймала этот взгляд на лету и расхохоталась. От презрения она даже смягчилась.

— А ну — с богом! — скомандовала она с широким жестом, означавшим: «Забирайте с собой ваши поганые харчи, а заодно и всю компанию». — Уходите все. Устала. Спать хочу.

Митя не на шутку встревожился. Он видел, что Георгий Антонович кипит. Девицы тоже глядели мрачно. До этого момента они, в силу каких-то причин, беспрекословно подчинялись Тамаре. Тем опаснее они могли стать, взбунтовавшись.

На лице Божко не отражалось ничего, кроме готовности присоединиться к большинству.

Умнее всех оказался Селянин. Он не спеша поднялся и низко, почтительно поклонился Тамаре. Этим поклоном он как бы принимал на себя часть вины и выражал покорность воле хозяйки. Затем уставил на воен-торговца неподвижный взгляд (сам виноват, дурак, что стоишь, одевайся...), с ласковой строгостью оглядел девиц (отставить, девочки...), метнул вопросительный взгляд на Туровцева (надеюсь, вы тоже идете?..). На Божко он даже не посмотрел и, вытащив из рукава шинели белый шерстяной шарф, стал заботливо, как оперный певец, укутывать горло.

Первым вывалился в коридор Георгий Антонович, за ним Туровцев, сзади шел Селянин, освещая путь карманным фонариком. Митя двигался как во сне.

«Что это там жужжит? — рассуждал он сам с собой, глупо посмеиваясь. — Знаю, жужжит Селянин. Не Селянин, конечно, а фонарик. Селянин — жук, но жужжать не может. Я знаю эти жужжалки, хороши тем, что не надо батареек, но шестеренки фибролитовые и быстро снашиваются. Тот, трофейный, — вот это вещь! Па-азвольте, чей это «харлей»? Неужели тоже селянинский? Значит, он тут и стоял? Богато живешь, инженер! Небось хочешь, чтоб я помог тебе вывести машину? Черта с два...»

Свет погас, обе руки Селянина были заняты мотоциклом. В темноте коридора Туровцева обогнали девицы, с ними был Божко, они сдавленно хихикали. Туровцеву достался ощутительный удар по коленной чашечке чем-то тяжелым и твердым.

«Патефоном, наверно», — подумал Митя, морщась от боли.

Выдержав борьбу со стреляющей дверью и выбравшись на освещенное луной крыльцо, Митя с удивлением заметил, что они с Селяниным остались вдвоем. Остальные куда-то провалились. Селянин откровенно забавлялся его недоумением; впрочем, он был по-прежнему любезен:

— Вам далеко, лейтенант? Садитесь на багажник — подвезу.

Глотнув свежего воздуха, Митя настолько приободрился, что сумел с достоинством отказаться.

— Ну, как знаете. Ночной пропуск у вас в порядке? С сегодняшнего дня новый шифр...

— Да, да, конечно...

Селянин выждал еще немного, вероятно, для того, чтоб вместе выйти за ворота, но Туровцев упрямо не двигался, и он, коротко кивнув, повел мотоцикл под арку.

Митя не раскаивался, отказавшись от услуг Селянина. Но, оставшись в одиночестве, понял, что влип. Ночного пропуска у него вообще не было.

«Что делать? — думал он. — Идти, конечно, недалеко, но в этот час на набережных до черта патрулей, как пить дать угодишь в комендатуру. Остаться во дворе тоже нельзя. Не дай бог, объявят тревогу — что я тогда? Ночка как раз подходящая».

Он привычно взглянул на небо. Прислушался — не бродит ли за облаками разведчик. И вдруг услышал — «Крошку Дэзи». Ее комариный писк доносился откуда-то сверху, из-за темных штор верхнего этажа.

Тогда он освирепел: «Ну и скотина же лекарь! Заманил и бросил, а сам развлекается в компании с этим дряхлым жоржиком. Два сапога пара...»

Не помня себя, он ринулся обратно. Пружина взревела, и дверь мышеловки с лязганьем захлопнулась. Очувтившись в полной темноте, Митя мгновенно потерял ориентировку. Проклятая «Крошка» притаилась. Зажигалка отказала, кончился бензин. Митя лихорадочно шарил, пытаясь нащупать перила или, на худой конец, дверную ручку, но только выпачкал руки в осклизлой штукатурке и расцарапал ладонь о железный костыль. От боли, злости и беспомощного кружения в темноте он вновь сильно запьянел. Наконец ему удалось нащупать какую-то балясину, он схватился за нее, чтоб рвануться вверх по лестнице, туда, где, по его предположениям, скрывался Божко, но вместо этого покатился вниз, тщетно хватаясь за скользкие выбитые ступени и путаясь в задравшихся полах шинели.

На какое-то время он потерял сознание. Его привел в чувство яркий электрический луч. Оказалось, что он сидит на мокром плиточном полу против двери, обитой рваным войлоком, с дыркой вместо французского замка.

Тамара проявила удивительное самообладание и поистине матросскую сноровку. Она помогла Мите подняться, быстро и бесшумно провела по сложному коридорному фарватеру в невыносимо холодную коммунальную ванную, зажгла керосиновую лампадку, осветившую щербатые изразцы, и оставила его там одного ровно столько времени, сколько это было необходимо. Затем втокнула его в комнату, расстелила на тахте тканьевое одеяло, ловко обернула лоснящуюся диванную подушку чистым полотенцем, знаком приказала раздеться, лечь, укрыться и сурово цыкнула при первой попытке произнести какие-то ненужные слова. Впрочем, Митя не очень сопротивлялся и, коснувшись подушки, сразу впал в полузабытье. Он не спал, а между тем не мог ни говорить, ни шевелиться. Картины, проносившиеся в его сознании, не походили ни на сон, ни на явь, а скорее на виденные в раннем детстве кадры немого кино: мечущиеся под проливным дождем плоские тени, внезапные обрывы и остановки. Таинственно возник худой старик в длинном халате, похожий на полусумасшедшего хранителя старинного замка; он сидел на корточках и что-то

торопливо ел. Потом он исчез — так же непонятно, как и появился. Затем белая дама прошла бесплотной походкой, наклонилась над Митей — Митя похолодел — и, коснувшись его волос рукой, обладавшей скорее зарядом, чем массой, вознеслась к потолку.

Наконец он заснул и проснулся оттого, что под утро электростанция дала ток — включенная с вечера настольная лампа светила ему прямо в лицо.

Митя огляделся. Комната была большая, запущенная, со старой, сборной неудобной мебелью. Громоздкие, как троны, резные кресла с бронзовыми нашлапками в виде львиных морд. Старинный пузатый сервант, на дверце серванта были изображены танцующие маркизы — впрочем, они могли быть и пастушками, от времени и копоты классовые различия несколько стерлись. Митя, давно не бывавший в частных домах, подумал, что хозяйке не мешало бы навести чистоту. И в этот момент увидел Тамару.

Конечно, комната была порядком закопчена, но сама Тамара и все, что непосредственно к ней прикасалось, отличались поразительной, почти хирургической чистотой. Белоснежной была дырявая наволочка, на которой покоилась ее порозовевшая во сне щека, бело-розовый купальный халат приоткрывал юную кожу плеча, пересеченную голубой ленточкой, как будто еще хранившей горячий след утюга. На огромной деревянной кровати с дурацкими витыми столбиками она выглядела девочкой, прикорнувшей в ожидании своих не ко времени раскутившихся родителей. Туровцев посмотрел на нее с нежностью — недолго и не очень пристально, боясь разбудить взглядом. Он плохо представлял, как вести себя в случае, если она проснется, и потому решил бежать. Стараясь не шуметь, он обулся. Затем надел китель и шинель — они выглядели поразительно опрятно, принимая во внимание вчерашнее падение с лестницы и некоторые другие обстоятельства. Вспоминая, что было вчера, Митя сморщился и даже тихонько застонал.

Ему повезло, он никого не встретил ни в коридоре, ни во дворе. На корабле он сразу почувствовал себя в безопасности, начальственным тоном спросил у дежурного про Божко и, выяснив, что военврач третьего ранга вернулся и отдыхает, пошел в обход постов, справедливо взгрел дежурного по низам за курение

в неподобающем месте и только после этого отправился к себе в каюту, где прилег на койку, закурил трубку и курил ее до самой пробудки. Ему хотелось спокойно разобраться в событиях прошедшей ночи, а для размышлений он предпочитал горизонтальное положение. Однако и это не помогло. Наоборот, он окончательно запутался.

И теперь — прошло четыре дня — желанная ясность не приходила. Что такое Тамара? Он уже испробовал все возможные варианты отношения, от грубо-презрительного до романтически восторженного, и можно было прийти в отчаяние от того, как любая мелочь убедительнейшим образом могла быть истолкована в любую сторону. Факты, как шлюпки на групповых учениях, делали «поворот все вдруг», и вывод, минуту назад казавшийся безупречным, рассыпался в прах.

Единственное, что Митя решил твердо, — никогда ни при каких обстоятельствах не посвящать Божко в свои личные дела. На другой день они встретились как ни в чем не бывало, Митя кротко выслушал пространные извинения, но ни о чем расспрашивать не стал, а главное — ни словом не обмолвился о своем возвращении на ковравую тахту. Он даже не сердился на Божко, просто он знал, что лекарь не поймет каких-то важных нюансов. Больше всего он боялся, что Божко назовет его чудаком, раззявой, упустившим случай, который сам шел в руки, и будет, ласково посмеиваясь, доказывать, что Тамара, наверное, хохочет-заливается, вспоминая симпатичного, но нерешительного моряка. Этому не хотелось верить, и в то же время — чего уж там! — не хотелось ходить в чудаках.

Существовал только один человек, с которым хотелось поделиться, — Горбунов. Тот бы все понял. Но Горбунова не было.

Глава третья

Когда Тамара, накинув на плечи первую попавшуюся шинель, перебежала через двор, чтобы пригласить на вечеринку свою ближайшую подругу, ее меньше всего заботило, как бы Божко или Туровцев не остались без дамы. Но она считала, что будет до слез обидно, если ее дорогая Катюшка, по целым суткам про-

падающая у себя на радио и исхудавшая до того, что на нее страшно смотреть, не попробует икры, сыра и колбасы и все это съедят совершенно посторонние люди.

Катя оказалась дома, но приглашение встретила с оскорбившей Тамару настороженностью, пустилась в ненужные расспросы и в конце концов наотрез отказалась прийти. Причем сделала это в такой деликатной, изящно-сдержанной форме, что Тамара, простившая бы Кате любую резкость, вдруг почувствовала себя униженной, заговорила вызывающим тоном и ушла с тяжелым предчувствием надвигающегося разрыва.

На обратном пути Тамару остановила та самая строгая дама в пенсне, что учиняла допрос Туровцеву. Юлия Антоновна была женщина пожилая и всеми уважаемая, к Тамаре относилась по-матерински, и Тамара, мало кому разрешавшая вмешиваться в свои дела, признавала за Юлией Антоновной материнские права, в том числе право требовать отчета и делать замечания. Но, возбужденная размолвкой с подругой, взвилась от первого резкого слова, грубо огрызнулась и, сраженная леденящим взглядом сквозь пенсне, вернулась домой в состоянии упрямого ожесточения, вызванного отчасти тем, что у нее были серьезные сомнения в своей правоте.

К сказанному необходимо добавить еще одно обстоятельство, которого пока не знали ни Катя, ни Юлия Антоновна. Неделю назад Тамара объявила своему мужу Николаю Эрастовичу, человеку в высшей степени порядочному, что их совместная жизнь была ошибкой, поэтому она просит его переехать в комнату Зенкевичей (Зенкевичи были квартирные соседи, эвакуировавшиеся еще в сентябре) и в дальнейшем входить к ней не иначе, как предварительно постучавшись. На этих условиях Тамара соглашалась временно не разделять хозяйство и сохранить попечение о его гардеробе. Николай Эрастович, зная решительный нрав своей молодой жены, приговору подчинился, однако не афишировал разрыва, мудро рассчитывая, что Тамара еще одумается.

После смерти матери именно эти три человека — муж, Катя и Юлия Антоновна — были для Тамары самыми близкими людьми на свете; разрыв с ними означал почти полное одиночество.

В больших городах соседские связи, как правило, слабы и случайны. Люди живут годами, не зная, что творится в соседних этажах и подъездах. Переезжая в новые лучшие квартиры, они расстаются со старым жильем и прежними соседями без сожаления. Можно, не рискуя впасть в ошибку, утверждать, что жилищные товарищества являются одной из низших форм объединения людей. Сказать про человека, что он член жакта,— это значит ничего не сказать и похоже на недобрую шутку.

Война и осада внесли свои поправки в сложившиеся представления. Скромные жакты превратились в объекты противовоздушной и противоартиллерийской обороны, в настоящие маленькие крепости. От сплоченности и боевого духа гарнизонов, от энергии и бдительности людей, стоявших во главе обороны, зависели не только материальные ценности, но и человеческие жизни.

К чести обитателей дома на Набережной, они и в мирное время отличались высокоразвитым общественным духом, знали и ценили своих выдающихся граждан и в высокой степени обладали чувством местного патриотизма, столь свойственного ленинградцам. Они гордились не только архитектурными достоинствами и местоположением своего дома, но также его славным историческим прошлым, заключавшимся (как это ни покажется маловероятным) в том, что он не только был старейшим жактом страны, но фактически стал таковым задолго до Великой Октябрьской революции, отменившей частную собственность на крупные домовладения.

Исторический очерк дома на Набережной в том виде, как его сохранило предание

В начале века приехал в Санкт-Петербург богатый уральский купец Антон Толкачев с единственной дочерью Юлией и остановился в номерах «Лондон» не потому, что в столице не было лучших гостиниц, а потому, что в «Лондоне» искони останавливались все приезжающие ирбитские и екатеринбургские купцы, в том числе и отец Толкачева. В гостинице Толкачев занял «апартамент», то есть трехкомнатный номер с коврами, картинами, бронзовыми фи-

гурами-светильниками и двухаршинными вазами на шатких подставках, однако без ванны и прочих нововведений.

Приехал Толкачев в Петербург с целью весьма почтенной — определить свою единственную дочь Юлечку, красавицу и умницу, на Высшие женские курсы. Он решился на этот опасный шаг с большой неохотой, после двух лет войны с дочерью, проявившей в борьбе за свои права поразительную энергию и выдержку.

Антон Толкачев отнюдь не был варваром и противником женского образования и в своем кругу считался скорее либералом. Женат он был на девушке из обедневшей дворянской семьи, обожал жену, после смерти жены перенес свое обожание на дочь, похожую лицом на мать, а от отца унаследовавшую властный характер и энергию, направленную, впрочем, совсем не туда, куда хотелось отцу.

Отец ничего не имел против, чтобы Юлечка стала образованной женщиной, но для этого, по его мнению, не было никакой нужды ехать в столицу, за хорошие деньги можно достать профессоров и на Урале. Не имевший других наследников, Толкачев справедливо опасался, что в далеком Петербурге дочь отобьется от купеческого круга, выскочит замуж за какого-нибудь голоштанника или стрикулиста и вместе с ним пустит на ветер отцовские капиталы. А ведь по уму и твердости характера Юлечка стоила мужчины и могла бы вести дела не хуже иных наследников, была бы только охота. Но охоты не было. Здесь сказывалось влияние матери. Та презирала деньги. Не настолько, чтобы их не тратить, — тратила она их порядочно, но о том, как они достаются, даже знать не хотела.

Два года шло сражение, в котором дочерью были последовательно применены все доступные слабой женщине приемы — слезы, истерики, болезнь и даже покупка в соседних аптеках большого количества веронала. Постепенно отец начал сдаваться. Он выставил условие, что Юлечка поедет в столицу не иначе, как в сопровождении своей двоюродной тетки Варвары Аристарховны, женщины хотя и очень глупой, но во всех прочих отношениях образцовой и высоко-нравственной. Осмелевшая Юлечка отклонила условие, что затянуло переговоры еще на месяц. В конце

концов был достигнут компромисс. Отец скрепя сердце разрешал дочери жить одной, однако же не в номерах, а на квартире. Дочь обязывалась держать прислугу, а по воскресеньям и праздникам посещать дом знакомых Толкачеву петербургских оптовиков Лазаревых, от которых отец рассчитывал получать подробные и нелицеприятные реляции о поведении дочери.

На следующее утро по приезде в Петербург дочь отправилась подавать прошение, а отец поехал в Гостиный двор к старику Лазареву, где среди прочих рекомендаций получил совет осмотреть квартиру во флигеле дома на Набережной у Литейного моста, недорогую и очень приличную.

Из Гостиного Антон Петрович свернул на Марсово поле, вышел к Неве у Троицкого моста и там, незаметно для себя, пешечком дошел до указанного Лазаревым дома. Дом понравился ему своим скромным и внушительным видом. Поговорив с дворником, Толкачев выяснил, что хозяин не прочь продать все владение и возьмет недорого. В тот же вечер отец объявил дочери свое неопровержимое намерение купить дом на Набережной.

— В доме шестнадцать квартир, — сказал отец дочери, — в одной будешь жить, другими кормиться. Жильцы — люди солидные, почтенные, живут давно, с ними больших забот не будет. А от меня денег не жди. С голоду будешь помирать — не дам. Учись хозяйствовать.

Одержимый своей педагогической идеей, отец стойко выдержал взрыв дочернего негодования. На этот раз Юлечке пришлось смириться — Толкачев угрожал завязать чемоданы.

Купец прожил в Петербурге больше недели — время ушло на всякие формальности, связанные с совершением купчей. Были сделаны все необходимые и возможные визиты. Наконец он отбыл, оставил Юлечку на попечение кухарки и дворника Кафара, человека честного и грамотного, управлявшего за свое дворницкое жалованье всем несложным хозяйством дома.

Первые месяцы петербургского житья пронеслись, как один праздничный день. Все было увлекательно и прекрасно, важно и необходимо — музей Александра III и Эрмитаж, Мариинская опера и Александрин-

ка, лекции Тимирязева и Татьянин день, поездки на «кукушке» в Сестрорецк и перловый суп в студенческой столовой. Строго говоря, перловый суп совсем не был прекрасен. Чтобы его легче было проглотить, в тарелке обычно размешивалась чайная ложка горчицы. Этому супу обязаны своими хроническими катарамии многие прославленные деятели науки, но в молодости об этом не думают, Юлечка рассчитала кухарку и купила абонемент в столовую. Утром и вечером она пила чай с вареной колбасой и французскими булками, ей казалось, что вкуснее нет ничего на свете, и она была права — чайная колбаса и перловый суп имели вкус свободы.

Уже на первом семестре курсистка Толкачева поняла, что ей не суждено стать второй Софьей Ковалевской. Не то чтобы у нее не было способностей или любви к наукам — все это было, не хватало целеустремленности. Ее интересовало все: естественные науки, политика, искусство; она просыпала утренние лекции, потому что до рассвета просиживала в мебелированных у подруг. Там шли бесконечные вдохновенные и бестолковые разговоры обо всем на свете — для Юлечки они были откровением. Она преклонялась перед Дарвином и Шаляпиным, Скрябиным и Плехановым, либеральными профессорами и ораторами студенческих сходов; ее увлечения были противоречивы и нестойки, но всегда бескорыстны. Она скоро поняла, что петербургское студенчество отчетливо разделяется на два несливающихся слоя — на бело-подкладочников и демократическую братию, шумную и нищую. Юлечка сделала выбор, почти не задумываясь. Она ясно видела, что в демократической группе жизнь бьет ключом, люди интереснее, разговоры увлекательнее, отношения непринужденнее, в то время как молодые люди из богатых семей, к обществу которых она, по своему положению и воспитанию, вполне могла бы принадлежать, отталкивали ее своим поразительным сходством с екатеринбургскими женихами.

Братия приняла Юлечку дружелюбно, но некоторая отчужденность все-таки чувствовалась; как-никак она была купчихой и домовладелицей, и при случае ей давали понять это без всяких церемоний. Юлечка сердилась и в такие моменты действительно была похожа на избалованную купеческую дочь, а по ночам

плакала и ненавидела дом. Она удвоила жалованье Кафару и раз навсегда запретила докладывать себе о делах. Дворнику были предоставлены неограниченные полномочия. Он сам ремонтировал дом, разбирал претензии, взыскивал плату, закупал дрова, распоряжался вывозом снега и мусора, платил установленную мзду чинам полиции, и, не будь Кафар правоверным мусульманином, хозяйка наверняка поручила бы ему принимать от них традиционные поздравления с рождеством и пасхой. В начале каждого месяца Кафар вручал Юлечке тоненькую пачку кредиток, которую она, не пересчитывая, запихивала в ящик секретера. К концу месяца пачка успевала растаять, — Юлечка была расточительно щедра, и перловый суп обходился ей дороже, чем обед у Донона. Частенько ее обижало, что новые друзья, точные и щепетильные в денежных делах между собой, по отношению к ней вели себя с какой-то подчеркнутой беспардонностью. Она догадывалась о причинах: ее деньги были нетрудовыми, следовательно, дикими, шальными, на них можно было покупать талоны в столовую, пиво и папиросы, так же как на деньги, заработанные уроками или перепиской, но ценились они ниже, их не хотелось беречь, и было жалко отдать за шальной целковый добытый тяжким трудом двугривенный.

Незадолго до летних каникул произошло событие, заметно изменившее отношение окружающих к Юлии Толкачевой. Две курсистки — Зина Солодовникова и Аня Молдаван, презрев церковную обрядность, вступили в гражданский брак с такими же, как они сами, нищими вольнолюбивыми юнцами и вскоре забеременели. Подруги жили в номерах вдовы Кулябкиной, ханжи и сквалыги, с появлением младенцев оттуда нужно было убираться. Найти подходящую квартиру оказалось делом необычайно трудным. Нужен был домовладелец, который согласился бы за недорогую плату пустить к себе неимущих и беспокойных жильцов, находящихся вдобавок в незаконном сожителстве и почти наверняка неблагонадежных.

Когда Юлечке рассказали о злключениях Зины и Ани, она недолго колебалась. В тот же день Кафар получил приказ под любым благовидным предлогом освободить одну из квартир во флигеле и сдать ее на половинных началах двум студенческим семьям. Кафар был удивлен, но, как человек восточный, ни-

чем своего удивления не выразил, и через две недели Аня и Зина с мужьями перебрались в восьмую квартиру, где до этого в течение восемнадцати лет проживал с семьей тихий, аккуратный жилец, совладелец конторы «Похоронное дело».

Лиха беда начало. Не прошло и года, как дом на Набережной стал неузнаваемым. Прежние жильцы, тихие и аккуратные, бежали, освободив квартиры, которые сразу же заняли студенческие семьи. Смех, пение, детский писк и плач огласили двор. Сначала новые жильцы платили исправно, но затем, с прибавлением семейства, запутавшись в возросших расходах, превращались в несостоятельных должников. И нередко Кафар по приказанию хозяйки отправлялся с судками в ближайший трактир за так называемыми «семейными» обедами стоимостью в четвертак для кого-нибудь из наиболее безнадежных недоимщиков.

К концу второй зимы только в трех квартирах сохранились прежние солидные жильцы. Уцелела семья художника — Юлечка преклонялась перед талантом — и две чиновничьи семьи, которые Кафар не сумел, а может быть, и не захотел выжить. Дом требовал расходов, только эти старожилы и позволяли Кафару кое-как сводить концы с концами.

Но стоило Юлечке заикнуться об очередном «пронупциаменто», как Кафар взбунтовался. Даже за тройное жалованье он не соглашался управлять этим сумасшедшим домом. Его резоны были неотразимы. Уход Кафара грозил катастрофой. Юлечка задумалась и нашла блестящий выход. Она сама подала в отставку. Вся законодательная власть была передана домовому комитету из студентов. Юлечка оставалась юридической владелицей дома и сохраняла за собой почетное председательство в комитете. За квартиру она еще не платила, но уже не распоряжалась доходами. Исполнительная власть по-прежнему оставалась в руках Кафара. Комитет правил домом твердо и нелицеприятно. Правда, за квартиру никто, кроме буржуев, не платил, но зато в трудные для Кафара моменты, когда околоточный грозил составлением акта, комитет по примеру Кузьмы Минина предлагал заложить жен и детей, студенты проводили самообложение, и из студенческих грошей составлялась нужная сумма.

Особенно блистательна была деятельность комитета в исторические дни пребывания Антона Толкачева в Петербурге.

Получив телеграмму, Юлечка не на шутку перепугалась. Приезжая в Екатеринбург на летние каникулы, она легко обманывала отца. С приездом отца в столицу разоблачение казалось неизбежным.

Антон Толкачев прожил у дочери девять дней и так и не дознался истины. Девять дней продолжался спектакль, до тонкости срепетированный комитетом. Специально к приезду Толкачева был выкрашен фасад. Двор дома и фартук Кафара поражали своей чистотой. Не слышно было ни студенческих песен, ни звона гитарных струн. Ровно в полночь запирались железные ворота, при встрече с домовладелицей и ее отцом солидные, прилично одетые жильцы вежливо приподымали шляпы. Была разыскана и приглашена на гастроли опытная кухарка — она готовила отличные блины и пельмени.

Отец уехал довольный, пожурив дочь за то, что она редко бывает у Лазаревых. Но стоило ему уехать, как личина респектабельности была сорвана. В восьмом номере полиция произвела обыск и нашла оружие. Студента Бориса Резчикова и его жену, курсистку Анну Молдаван, арестовали, а домовладелица, дочь купца первой гильдии Юлия Толкачева, и дворник Кафар Камалетдинов после придирчивого допроса были отпущены с предупреждением об ответственности.

Предупреждение не помогло. Началась мировая война, и дом на Набережной закипел, как солдатский котелок на огне. В одной квартире укрывали нелегального, в другой варили гектограф, у ворот постоянно околачивались шпики.

Несмотря на самоотверженный, пылкий характер, Юлия не стала революционеркой. В ту пору ее убеждения еще не сложились, их заменяли увлечения. Патриотический угар первых месяцев войны захватил ее безраздельно. Она рвалась на фронт. На фронт она не пошла, тут решительно восстали старики Лазаревы. Вместо этого — по протекции тех же Лазаревых — она была зачислена внештатной сестрой милосердия в офицерский госпиталь, где встретила сорокалетнего офицера гидрографической службы Владимиром Кречетовым. Кречетов был тяжело ранен в обе ноги, внешность имел весьма заурядную и вы-

глядел старше своих лет. Но Юлия при всей своей неопытности очень скоро поняла, что в этом некрасивом теле живет душа простая и непреклонно правдивая. Юлию поразило, что человек, горячо любящий Россию и несомненно мужественный, говорит о войне так, как, по ее представлениям, могли говорить только трусы и немецкие лазутчики. Кречетова она не могла заподозрить ни в трусости, ни в подлости, любовь и вера были для нее нераздельны.

До марта семнадцатого года, когда она стала Юлией Кречетовой, обстоятельства много раз разлучали ее с Владимиром, но судьбы их были отныне слиты.

Остается сообщить еще две даты.

Весной 1916 года слушательница Высших женских курсов Юлия Толкачева за участие в запрещенной студенческой сходке была исключена из списков без права обратного поступления.

Зимой 1918 года районный Совет РК и КД вынес постановление о выселении домовладелицы, дочери купца первой гильдии Юлии Толкачевой, из муниципализированного владения.

И вот тогда жильцы дома на Набережной составили исторический документ, копия которого сохранилась у Юлии Антоновны. В этом письме, подписанном многими авторитетными деятелями молодого Советского государства, сообщалось, что домовладение номер такой-то фактически уже с 1913 года является жилищным товариществом, и, поскольку юридическая владелица дома Ю. А. Толкачева-Кречетова, хотя и принадлежит по своему происхождению к эксплуататорскому классу, не занималась извлечением прибыли, общее собрание членов жилтоварищества единогласно, при одном воздержавшемся, просит районный Совет закрепить ранее занимаемую квартиру за Ю. А. Толкачевой-Кречетовой и ее мужем В. В. Кречетовым, выборным командиром гидрографического судна «Нарва», находящегося в составе действующего Балтийского флота. Ходатайство это было уважено.

Такова история дома, в котором родилась и провела свои детские годы Тамара.

К весне девятнадцатого года состав жильцов дома на Набережной заметно обновился. В освободившиеся комнаты въехали семьи с окраин.

Сейчас уже невозможно установить, откуда приехала и по какому ордеру заняла комнату в полуподвальной квартире флигеля одинокая гражданка Зимина. Зимина была совсем молоденькая женщина с милым безвольным и очень измученным лицом, к тому же беременная. Все ее имущество помещалось в одном кожаном бауле, и, если бы от прежних жильцов в комнате не осталось кое-какой мебелишки, ни лечь, ни сесть было бы не на что.

Коммунальная квартира совсем не всегда средоточие склок и мелочных интриг. В полуподвальной квартире жили четыре семьи разного уровня и достатка, жили дружно, не ссорясь, а помогая друг другу, не зная замков и не пряча запасов. И Камалетдиновы, муж и жена, дальние родственники уехавшего после революции на родину Кафара, и семья Козюриных, и Зенкевичи отнеслись к Зиминой и к родившейся вскоре девочке, как родные, близкие люди. Они помогали ей в самые трудные и голодные дни и присматривали за маленькой Тамарой, когда матери пришлось поступить кассиршей в соседнюю булочную. Ничего другого мать Тамары делать не умела. Во дворе ее так и называли: «Муся-кассирша», или же «Муська нижняя», в отличие от «Муськи верхней», то есть Марии Венедиктовны Масловой, дочери бывшего нотариуса, одного из солидных довоенных жильцов, жившей в том же флигеле со своим новым мужем — продовольственным комиссаром.

Прошло несколько лет. По двору бегала черненькая девочка с косичками, порывистая, озорная и кокетливая. Мальчишки ее уважали и колотили, как равную. Взрослые поглядывали на девочку с любопытством. Поражало несходство с матерью. Муся-кассирша была неяркая блондинка, нежная и вялая, удивительно кроткого и податливого характера. Врагов у нее не было; впрочем, относились к ней в доме и во дворе по-разному. Чтобы уяснить природу этого различия, сперва необходимо сказать, что такое «двор». Двор в данном случае — понятие не территориальное, а скорее социальное. Подобно дворам коронованных особ, двор дома на Набережной, хотя и состоял из лиц, принадлежащих к трудовому сословию, имел достаточно свободного времени, чтобы лезть в чужие дела. В то время как дом в целом относился к одинокой и беспомощной женщине с симпатией и уваже-

нием, двор посматривал на нее презрительно-сочувственно, некоторые же прямо называли «Муську нижнюю» проституткой — мнение не только несправедливое, но и безграмотное, ибо может ли быть названа проституткой женщина, всем сердцем стремившаяся к семейной жизни и поразительно бескорыстная. Правда, она никогда не была замужем и ее благосклонностью пользовались многие мужчины, иногда совсем того не достойные, но каждого из них она по-своему любила, окружала самоотверженной заботой, каждый из этих мужчин, если бы захотел быть мужем Мусе и заменить отца маленькой Тамаре, получил бы прекрасную жену. Муся-кассирша была даже однолюбкой, в том смысле, что никогда не распространяла свои милости на двоих, и каждый последующий полностью вытеснял в ее сердце память о предыдущем. Пока она была близка с мужчиной, он был для нее божеством, единственным и неповторимым, не подлежащим критике. Когда ее бросали (мужчины не ценят легких побед и не любят жениться на женщинах, мечтающих о замужестве), она горько рыдала, затем ложилась в постель и погружалась в протрацию, такую глубокую, что районная врачиха, не измеряя температуры, безропотно выписывала ей бюллетень. Каждый раз Мусе казалось, что она не переживет разрыва, но проходило время, появлялся новый идеал, и вновь расцветшая Муся служила ему с прежним рвением.

Девочке рано стали известны характер и репутация матери. От этого она не стала любить ее меньше. Наоборот, ее любовь стала менее детской, менее эгоистической. Она жалела мать, огорчалась, когда ее обижали, и приходила в ярость, если слышала о ней плохое. Она требовала ото всех окружающих безоговорочного уважения к своей матери и только себе позволяла судить ее — да и то за доверчивость и безволие. Постепенно она забрала все домашнее хозяйство в свои руки, затем невольно усвоила с матерью ласково-покровительственный тон, случалось, даже покрикивала. Мать принимала все как должное; ее пассивной натуре было даже радостно всякое подчинение близким. Как ни жаждало сердце Тамары отцовского покровительства, со всеми кавалерами матери она была сурово-холодна и упрямо не шла на сближение. Строго говоря, у Тамары не было не только отца, но и матери, — была сестра, подруга, конечно,

старшая и в чем-то более опытная, а во многом гораздо хуже маленькой. Несравнимо большее влияние, чем мать, имели Кречетовы — тетя Юля и дядя Володя, а из однолесток — Катя.

Тамаре едва исполнилось восемнадцать лет, когда умерла Мусья-кассирша. Покойнице не было и сорока, но вскрытие показало, что у нее было сердце семидесятилетней женщины. На Волково кладбище ее провожал весь дом и все свободные от работы служащие булочной. Не было только ни одного из тех мужчин, кого за свою недолгую жизнь искренне и бескорыстно любила «Муська нижняя».

Тамара осталась одна. После смерти матери она отдалила всех и решительно отвергла всякую помощь.

Пропадет девка — сказал двор.

Но девка не пропала. Она поступила на работу. Каждое утро она пересекала двор, очень пряменькая, стремительная, всем своим видом отвергая любую попытку остановить ее, чтобы порасспросить и посочувствовать. Сочувствовать во дворе любили. И не только добрые, душевные женщины, вроде Козюриной и дворничихи Камалетдиновой, но и такие жесткие, самовлюбленные люди, как Мария Венедиктовна. Она любила говорить: «Бедная Надежда Ивановна, ей совершенно нечего надеть». Или: «Бедная Анна Васильевна, что только она переносит от своего благоверного...» — и в эти минуты добрела от сознания, что у нее, слава богу, есть что надеть и ей не приходится, как бедной Анне Васильевне, ничего переносить от своего благоверного, а, наоборот, ее благоверный покорно переносит все причуды ее властного характера. Но Тамара не разрешала сочувствовать себе, ни с кем не советовалась о своих делах, и даже о том, что она работает в институте при Ленинградском водопроводе, узнали только тогда, когда она принесла справку.

«Муська верхняя» изрекла:

— Девка хорошенькая. Жаль, что пойдет по рукам.

Некоторые с ней соглашались.

Но Тамара опять обманула ожидания. Она не только не пошла по рукам, но очень холодно и решительно пресекала всякие попытки ухаживания. Вероятно, именно неважная репутация матери породила это суровое целомудрие.

— Деревянная какая-то. Видать, в моташенки пойдет,— заговорили во дворе обиженные кавалеры.

Но Тамара и тут лишила двор радости сбывшегося пророчества. Через год самостоятельной жизни Тамара вышла замуж.

Никто не видел, как будущий супруг провожал свою невесту до ворот, никто — кроме Кречетовых и Кати — не подозревал о существовании этого человека до того самого дня, когда Николай Эрастович Латников перевез свою мебель и книги в комнату Тамары, где и был вскоре прописан «на постоянно», как ее законный муж. Лена, секретарь домоуправления, своими глазами видела справку райзагса. Николай Эрастович был уже тогда не слишком молодым, лет сорока, человеком, очень благопристойной и интеллигентной внешности. Три десятка глаз, следивших за ним из всех дворовых бойниц и амбразур, сразу установили, что муж Тамары не красавец, но вежлив и очень опрятен, не богат, но занимает прочное положение и получает приличную зарплату. Вскоре подоспели новые справки, и Лена торжественно сообщила, что муж Тамары имеет высшее образование и работает старшим научным сотрудником в том же самом Водопроводном институте, где работала Тамара.

Тамара представила мужа соседям, Кречетовой и Кате. Ожидали свадьбы, пиршества и привычно обманулись. Мария Венедиктовна качала головой:

— Староват. И вообще старомодный какой-то. Вот увидите, теперь-то она развернется...

Нужно ли объяснять, что Тамара не развернулась? На ее лице нельзя было заметить того сияния, которое появляется у очень влюбленных и очень счастливых женщин, но женой она стала образцовой. Было что-то трогательно-забавное и в то же время чуточку мещанское в ее почтении к своему новому положению замужней дамы. Она гордилась мужем, его образованностью и деликатными манерами и не стремилась властвовать в семье. Может быть, именно потому, что она выросла без отца, ей нравилось, что ее муж не мальчишка, а солидный человек, которому не стыдно подчиниться. И она в самом деле заметно подпала под влияние мужа, его мнений и вкусов. Бывает и так, что сильный характер сознательно подчиняет себя более слабому, но это подчинение редко бывает прочным. В первый же день войны возникла трещина,

которая с катастрофической быстротой переросла в разрыв. Оказалось, что Николай Эрастович — патологический трус, известие о том, что Гитлер перешел границу, сшибло его с ног, и он уже не мог подняться. Сначала он мучительно боялся отправки на фронт. Выяснилось, что он не подлежит призыву. Тогда он стал мучительно бояться осады, прорыва, вторжения. Он боялся воздушных налетов и отказывался лезть на крышу. Когда начался артиллерийский обстрел города, он боялся снарядов и отлынивал от дежурства во дворе. Но самым унижительным из его страхов был страх перед надвигающимся голодом.

В глазах Тамары трус не был ни мужчиной, ни человеком. Почти безгласно она следила за тем, как почтенного вида немолодой интеллигент, с исполненными достоинства манерами и корректной неторопливой речью, на глазах превращался в неопрятного, суетливого и многословного старика, одержимого единственной всепоглощающей маниакальной идеей — выжить, сохраниться. Тамаре было доступно чувство жалости, и она жалела мужа. Но жалость разрушала уважение и привязанность, которые она принимала за любовь. Любви же она еще не знала.

Глава четвертая

Прошло три дня после вскрытия рундуков. Туровцев бился, когда в дверь постучали. Так барабанить мог только один человек — Саша Веретенников. Не дожидаясь ответа, он ворвался в каюту, маленький, курносый, воинственный.

— Здорово, старпом! — гаркнул Саша, сунув Туровцеву железную ладошку. — Новости слышал?

Строго говоря, Митя не был старпомом, старшие помощники бывают только на тех кораблях, где помощников два. Но Саша не придавал значения формальностям.

— Ни черта ты, Спящая, не знаешь! — закричал он в восторге, любуясь Митиной растерянностью. — Борис вернулся.

Никакого Бориса Митя не ждал, но не осмелился в этом признаться.

— Откуда? — спросил он осторожно.

Веретенников захохотал.

— С того света.

— С того света? — переспросил Митя, все еще не понимая, но уже волнуясь. — Какой Борис?

— Как — какой? Борис Кондратьев. Туго соображаешь, старпом.

— Двести вторая?!

— Точно так. Стоит у пирса в Кронштадте. Цела, невредима и с боевым успехом. Танкер, тысяч на восемь.

— Нет, ты врешь...

Митя сразу охрип, — так было всегда, когда он волновался. Пришлось откашляться, чтобы прочистить горло.

— Слушай, Сашка, — сказал он слабым голосом. — Скажи, пожалуйста...

— Что?

— Ну, а этот самый, как его?..

— Кто?

— Брось, — взмолился Митя, — я же серьезно.

— И я серьезно. У тебя замедленная реакция. Для стрельбы торпедами — последнее дело. Кто этот самый?

— Ну, этот... Горбунов.

— Что Горбунов?

— Он тоже вернулся?

Веретенников внимательно посмотрел на приятеля.

— Тебе надо лечиться, старпом. Фосфорное голодание. — Он больно ткнул Туровцева пальцем в лоб. — Так вот, советую сделать оргвыводы. А для начала выдать к обеду из своих тайников по двести мочегонного типа портвейн. Не вздумай жить, убьем.

Не успел Веретенников перешагнуть комингс, как загудел и замигал своим единственным красным глазом корабельный телефон. Судя по энергии, проявленной коммутатором, звонил командир плавбазы. Вместо того чтобы взять трубку, Митя стер с лица мыло, застегнул крючки на вороте кителя и понесся к Ходунову.

Веретенников сказал чистую правду, Митя понял это по тому, как его принял Ходунов.

— Слыхал? — спросил он, прежде чем Туровцев раскрыл рот. — Садись.

Командир пододвинул помощнику тяжелое кресло — сам он сидел, по обыкновению, на койке. Его красное лицо сияло.

— Каков орел! — сказал командир и подмигнул. Туровцев не сразу сообразил, что речь идет о Кондратьеве, у него не выходил из головы Горбунов. — А, помощник? Вот то-то и оно! Поторопились отпевать. «Все сроки вышли», — передразнил он кого-то. — Ха! Для кого вышли, а для Борьки Кондратьева не вышли. Нет, ты подумай: через минные поля; харчи, вода, горючее — все под метелку, а лодку привел, да еще транспортишко трахнул. Четыре тысячи регистровых брутто-тонн! Тоже на улице не валяются.

Выразив свои чувства, он сделал озабоченное лицо:

— Значит, так: лодка подойдет к борту после семнадцати. Час будут мыться, драить якоря. Смотри, чтобы пару хватило. Восемнадцать тридцать — ужин. Надо развернуться.

— Не из чего разворачиваться, — угрюмо сказал Митя.

— Обед сделаем а-ля фуршет, на ужине отыграемся. Шпроты в масле возьмешь из автономного.

— Вина можно дать хорошего, — сказал Туровцев, раздумывая. — Печенья наскребу килограммов шесть. А может, послать Головню в Плавторг?

— Думаешь, подкинут? Ну что ж, посылай. Но особо не надейся. Вся надежда на тебя.

Он опять подмигнул, по-стариковски фамильярно, и Митя не устоял — ответил радостной мальчишеской улыбкой.

«Щенок! — ругал он себя на обратном пути. — Стоило этому хаму разок почесать у тебя за ухом — готово дело: все четыре лапки кверху. Вместо того чтоб поставить его на место или хотя бы подчеркнутой корректностью тона дать понять, что я игнорирую панибратство и не нуждаюсь в поощрении, вместо этого я постыдно расплываюсь в благодарной улыбке. Горбунов, наверное, вел бы себя иначе. Какая же я после этого личность? Салага я, а не личность».

...«И что самое смешное, — продолжал он свою мысль, уже переговорив со снабженцами и убедившись, что, в меру возможного, встреча будет приличной, если не более того, — самое смешное, что мне нужно это поощрение, я готов расшибиться в лепеш-

ку, чтобы что-то доказать — кому? Человеку, которого считаю гораздо ниже себя».

«Вздор, вздор, вздор,— думал он, проглядывая представленную старшим коком раскладку.— Стараюсь я потому, что возвращение «двести второй» для меня ничуть не меньший праздник, чем для Ходунова. И даже бóльший — потому что на этой лодке служит мой друг».

Весь день Туровцева не покидало приподнятое настроение, и, как всегда в таких случаях, все, за что он принимался, выходило споро и складно, именно так, как хотелось. После обеда, столь тощего, что только предвкушение торжественного ужина спасло помощника от всенародного возмущения, стало известно, что встречать подводников приедет командующий флотом. По такому случаю командир бригады приехал засветло, за комбригом наехало много всякого начальства, штабного и политотдельского, корреспонденты и фотографы, отчего на плавбазе сразу стало шумно. Шум Туровцева не беспокоил, его тревожило другое — все это были люди, с которых продат-тестата не спросишь.

Уже смеркалось, когда подкатила машина командующего. Туровцев встречал его у главного трапа. Комфлот показался Мите гигантом, хотя они были одного роста и, несмотря на разницу лет, примерно одного сложения. Митя с почтением вглядывался в его худое, с резкими морщинами лицо. У адмирала был крупный прямой нос, и Мите казалось, что такие выдающиеся носы бывают только у командующих.

Ровно в одну минуту шестого сигнальщики, стоявшие на мостике «Онеги», донесли, что со стороны залива показалась лодка. С палубы она была еще не видна — загораживал Кировский мост. Туровцев поспешил выстроить команду. Лодка приближалась очень медленно, чтоб пройти под фермами, она приняла балласт и, лишь поравнявшись с быками моста, стала понемногу продувать цистерны. Чудесно возникли над водой два ряда леерных стоек, затем палуба, наконец показалась вся лодка, шумно вздыхающая, взмыленная, в потоках белой пены. Кто-то с бунтом каната в руке ловко спрыгнул с мостика на палубу лодки, и на палубе «Онеги» одобрительно засмеялись: «Ох, и силен рыжий!» Конечно, на таком расстоянии

никто не различал мастей — рыжего боцмана «двести второй» узнали по ухватке.

Туровцев искал глазами Горбунова, но в сгустившихся сумерках лица были почти неразличимы, и только когда лодка подошла на расстояние броска, среди моряков, стоявших вдоль всего левого борта, возникло, как пишут в отчетах, веселое оживление. Отощавшие и почерневшие подводники выглядели в своих линялых комбинезонах и парусиновых беретах привольно и воинственно, лица их были изукрашены самой причудливой растительностью — от гарибальдийских бород до отечественных бакенбард образца 1812 года. Командир лодки Кондратьев отпустил светлую бородку на голландский манер, придававшую его мужественной физиономии оттенок добродушной свирепости. Горбунова Митя узнал не сразу, хотя он, единственный из всех, не участвовал в маскараде.

Адмирал был растроган. Прежде чем стать командующим, он много лет прослужил на эскадре и всегда подозревал подводников в неумении швартоваться. Безупречная швартовка «двести второй» его покорила. Взглядом почти нежным он следил за эволюциями лодки: «самый малый назад», «стоп моторы», — шептали его губы. Слышно было, как льется вода из клюзов «Онеги», когда лодка, движимая одной инерцией, с грацией живого существа коснулась борта плавбазы. Теперь уже вся команда стояла наверху, лица подводников, еще минуту назад светившиеся несколько наигранной бодростью, были задумчивы и строги, глаза смотрели не вверх, на встречающих, а вниз, на воду, и следили за тем, как сужается клинообразная щель между бортами, она сужалась медленно, секунды тянулись. Стоявшие наверху увидели вмятины в легком корпусе и росчерки пулеметных очередей на рубке, местами краска сошла, и морская вода разъела обнажившуюся сталь, покрыв ее ядовито-желтой сыпью. Дунул ветерок и донес до верхней палубы «Онеги» острый аммиачный запах, тяжкий дух непроветренного жилья, и этот запах, больше чем царапины и ржавчина, говорил о перенесенных людьми испытаниях.

Наконец лодка прильнула вплотную к бортовым кранцам, в ту же секунду были переброшены сходни, и подводники гуськом потянулись на базу. Передние поднимались неуверенно, казалось, они разучились

ходить, задние, смущенно посмеиваясь, переминались с ноги на ногу. Командующий стоял у верхней площадки трапа и крепко пожимал руку каждому, кто ступал на палубу; Кондратьева он обнял, затем обратился с каким-то вопросом к Горбунову, и Митя позавидовал спокойному достоинству, с которым старший лейтенант отвечал адмиралу.

Перед ужином, забежав в кают-компанию, Митя вновь увидел командиров с «двести второй». У всех влажные волосы, густо запудренные и все-таки красные лица, ото всех за пять шагов разит «Магнолией». Кондратьев и Горбунов играли на бильярде. Из-под расстегнутых кителей виднелись цветные шелковые рубашки, на ногах — шлепанцы. Это была вольность, но они имели на нее право. В игре Кондратьева сквозило то же веселое озорство, что было написано на его лице, шары падали в лузы со стуком, похожим на выстрелы. Мазал он часто и тоже с треском, а когда шар от сильного удара перескочил через бортик и с грохотом покатился по линолеуму, он захохотал с видом человека, которому удался труднейший трюк. Горбунов целился долго, с сосредоточенным видом, бил несильно и точно, при неудаче хмурился. Туровцев, проходя, поздоровался. Горбунов тоже кивнул, но на лице его не отразилось ничего, кроме желания быть вежливым.

Ужинали на этот раз долго, по-банкетному. Командующий не захотел идти в салон, и все население салона перекочевало в кают-компанию. Набилось много народу: весь экипаж «двести второй», весь командный состав дивизиона, гости званные и незванные. Адмирал сидел рядом с Митей и был с ним ласков, он всячески подчеркивал, что по флотской традиции хозяин кают-компаний — помощник командира корабля и что сегодня все — и он сам, и комбриг, и командир дивизиона, и даже Ходунов — в гостях у лейтенанта Туровцева. Это было тем более приятно, что надменный и щеголеватый комбриг, наградивший Митю обидным прозвищем, продолжал относиться к нему несколько иронически, Ходунов же до последнего дня вообще не признавал помощника.

К концу ужина в кают-компании стало шумно. Командующий встал и подошел к пианино, его сразу же окружили ребята с «двести второй», и сипловатым, но верным голосом адмирал затянул «Варяга». Под-

водники пели с просветленными лицами, как верующие поют псалом, они давно не пели, и пение возвращало их на твердую землю, землю Родины. Они были взволнованы торжественным приемом, ощущением морского братства, тем, что запевалой в их хоре был старый матрос, достигший высоких степеней, но не забывший слов старой матросской песни. Туровцев взглянул на Горбунова — он сидел с незакуренной трубкой в зубах и смотрел вокруг себя размягченным блуждающим взглядом. Находясь в таком же состоянии душевного размягчения, Митя счел момент подходящим, чтоб заговорить. Неизвестно почему он решил, что Горбунову будет приятно узнать, кто жил в его каюте. Но Горбунов не выразил по этому поводу никакого удовольствия, он нахмурился, как человек, которого оторвали от дела, помолчал, ожидая, не скажет ли этот малознакомый лейтенант еще что-нибудь, и так как Митя ничего не говорил и только улыбался широко и дружелюбно, вынул трубку изо рта и сухо спросил:

— Когда же вы собираетесь освободить каюту?

Митя опешил. Он ждал другого. Горбунов уловил смущение и, не очень понимая причину, добавил уже мягче:

— Хорошо бы завтра. А? Сегодня я могу переночевать у командира.

Митя неясно представил, что будет завтра, но самолюбие заставило его ответить со всей возможной твердостью:

— Хорошо. Завтра обязательно.

— Пожалуйста.— Горбунов вяло кивнул, помолчал и опять повторил: — Да уж, пожалуйста, если можно, завтра...— И сунул трубку в рот, после чего Туровцеву ничего не оставалось, как вернуться на место.

Этот пустяковый разговор сразу испортил настроение. Митя не был обижен, ругал он себя. В самом деле, что приятного для человека, чудом спасшегося от гибели и вернувшегося домой, узнать, что его место занято, привычные или даже любимые вещи перерыты чужими руками.

Немного позже он опять посмотрел в сторону Горбунова и вдруг с изумлением понял, что Горбунов поет. Он пел, не разжимая рта и не выпуская из крепких волчьих зубов изгрызенного мундштука прямой английской трубки. Пел всем своим существом: отбивала

такт обутая в спортивную туфлю нога, в лад песни жило худое обветренное лицо, ходили желваки и вздрагивали тонкие крылья носа, а глаза опять были блуждающими и размягченными, как у человека, погруженного в видение.

Утром, при очередном докладе Ходунову, Митя повел сложный подкоп против пустивших на «Онеге» прочные корни специалистов из штаба бригады. Результат получился самый блестящий, Ходунов разворчался, позвонил военкому, к обеду штатная каюта помощника была освобождена, и Туровцев, с помощью Митрохина, перетащил туда свои пожитки. Каюте Горбунова он постарался придать прежний вид, все вещи были разложены по местам, черный конверт тщательно заклеен. На совести Мити оставалась только некоторая убыль в бритвенных лезвиях.

Теперь они встречались ежедневно. Горбунов обычно приходил в кают-компанию с какой-то английской книгой и, в ожидании приглашения к столу, читал. Он был неразлучен с инженер-механиком лодки Ждановским. Механик был среднего роста мужчина, с лицом простым и мрачным. Необыкновенно молчаливый, он даже с Горбуновым предпочитал общаться, почти не раскрывая рта, пользуясь своеобразным сводом сигналов, состоявшим из кивков, полуулыбок и междометий. Полной противоположностью Ждановскому был минер «двести второй» Каюров, долговязый лейтенант с некрасивым, но удивительно милым и забавным лицом. Он был «травила».

В суровой жизни моряков не много развлечений, и «травил» любят. Васю Каюрова любили. Он все время кого-нибудь поддразнивал, но так беззлобно и с таким инстинктивным тактом, что даже бурбонистый Ходунов не решался его оборвать. Чаще всего он задирали своего друга и сожителя по каюте доктора Гришу. Обычай именовать доктором корабельного лекаря, кто бы он ни был — дипломированный врач или фельдшер, как Гриша Марченко, сохранился еще со времен парусного флота. Люди, для которых слово «доктор» связано с солидностью, очками в золотой оправе и прочими аксессуарами профессии, были бы разочарованы, познакомившись с доктором Гришей. Это было юное белобрысое существо вполне пастушеского вида. Уступая Каюрову в находчивости, он обладал тем невозмутимым спокойствием, о которое разбивается

даже самое изощренное коварство. Вывести его из себя можно было, только затронув медицину. Как-то под вечер Туровцев, сидя у себя в каюте, услышал такой дружный хохот, что не выдержал, поспешил в кают-компанию и застал там целое сборище. Спор шел между Каюровым и Гришей, остальные от души развлекались.

— Медицина не наука? — кипятился Гриша. — Не наука? А артиллерия твоя — наука?

— Уж, во всяком случае, больше, чем твоя медицина.

— Люди добрые! Слышите, что этот травила брешет? Почему же больше?

— Потому что точнее.

— Только олухи могут считать медицину неточной наукой. Медицина — часть естествознания. Что же такое, по-твоему, медицина? Формулируй.

— Промысел. В лучшем случае — дело.

— Как так дело, негодяй?

— Вот так — дело. Как бывает взрывное дело, минное дело...

— И ты смеешь сравнивать?

— Почему же не сметь? Если взять статистику, то по количеству жертв медицина далеко опередила и минное дело, и артиллерию...

Мите пришлось вмешаться, чтоб спор не кончился свалкой. Впрочем, он тоже хохотал.

Со своей способностью все преувеличивать, Туровцев считал, что его отношения с Горбуновым испорчены до самого корня и лишены всякого будущего. Поэтому он слегка растерялся, когда незадолго до сигнала «команде спать» к нему постучался Горбунов. Войдя, он поставил на стол принесенную с собой бутылку вина, окинул взглядом каюту и, убедившись, что в Митином хозяйстве имеется стакан и фаянсовая кружка, сел на складной табурет. Догадывался ли Горбунов, что его приход не может огорчить Туровцева, или считал, что дело, по которому он пришел, само по себе служит оправданием некоторой бесцеремонности вторжения, — этого Митя так и не понял. Может быть, и догадывался — вид у него был лукавый.

Несколько секунд гость и хозяин молчали, затем Горбунов улыбнулся. Улыбка у него была кривая, обнажавшая только нижние зубы, но не неприятная; наоборот, она снимала чопорность и лицо сразу стано-

вилось простоватее и добрее. Вытащив из кармана перочинный ножик, он стал, не торопясь, оббивать сургуч вокруг горлышка бутылки.

— Так вот, кэптен,— сказал он наконец.— Вероятно, до вас дошел слух, что я из помощника превратился в командира корабля. Теперь мне самому нужен помощник.

Митя промолчал, выжидая.

— Нужен помощник,— повторил Горбунов.— Помощник, он же штурман, как положено на всех малых лодках. Я знаю, вы окончили с отличием Фрунзевку и были на лодке Стремянного, правда, недолго. Я не поленился навести о вас справки.

Здесь Митя сделал жест, обозначающий: «Ваши похвалы меня смущают», собираясь мило и самокритично пошутить, но не успел — и к счастью для себя.

— Говорят о вас не ахти. То есть ничего особенно плохого, наоборот — что вы очень симпатичный товарищ. Но, сами понимаете, в свете всемирной схватки с фашизмом это недорого стоит. Симпатичный, говорят, товарищ, но без опыта, без инициативы, с фанаберией и при этом еще лентяй... Все же я решил поговорить с вами. Разговор, понятное дело, ни к чему не обязывает ни вас, ни меня. Не сойдемся во взглядах — разойдемся полюбовно.

Митя понимал, что разойтись полюбовно значило потерять последний шанс вырваться с «Онеги», но, чувствуя себя задетым, возразил:

— Какой же тогда смысл в нашем разговоре?

И сразу же испугался — вдруг Горбунов скажет: «Да, пожалуй, вы правы». Но, по-видимому, не в характере Горбунова было так легко отказываться от задуманного.

— Для меня разговор имеет смысл,— сказал он жестковато,— потому что мне до зарезу нужен штурман. Идеальной кандидатуры я не вижу и должен выбирать из того, что есть. У нас на лодке сложился довольно сильный коллектив. Вы же не производите абсолютно безнадёжного впечатления.

Наступила пауза, которую Туровцев не решился нарушить.

— Наш разговор лишен смысла только в одном случае — если я ошибся насчет ваших намерений. Погодите, не перебивайте... Может быть, я ошибся и вам совсем не хочется покидать вашу роскошную каю-

ту, дядю Васю Ходунова и блистательную «Онегу»? Тогда скажите сразу, и я нисколько не буду в претензии. Короче говоря, вы хотите плавать?

— Хочу.

— Будем считать, что вы слов на ветер не бросаете. Укачиваетесь?

Митя замялся.

— Да.

— Слышал. Как раз это меня не очень пугает. До войны я тоже укачивался.

— А теперь?

— А теперь нет или почти нет. С этим можно бороться.

— Чем? Таблетками?

— Отчасти, но больше тренировкой. Наш доктор утверждает, что воля человека способна активно воздействовать на его физическую природу. Многие немощи, не говоря уже о страхе, преодолеваются длительным усилием воли, режимом, тренингом... Вот, смотрите.

Он расстегнул китель. Под кителем была тонкая белая майка, плотно облегающая тело. Грудные и шейные мышцы были мощные, выпуклые, но грудь впалая, даже как будто слегка вмятая.

— Мой отец работал в горячем цехе, умер от туберкулеза. Мать стирала на флотский экипаж. Свою грудную клетку я получил в наследство, остальное — благоприобретено. При поступлении в училище меня дважды браковала врачебная комиссия, но я очень хотел поступить — и поступил.

— Каким же образом?

— Я же вам говорю, что очень хотел. Атлета из меня не вышло, но я могу проплыть триста метров в свежую погоду, могу сутками дышать зараженным воздухом, мне это стоит немножко большего напряжения, чем другим, и только. Вы сработаны гораздо лучше, чем я, и должны быть сильнее. А ну-ка...

Горбунов отодвинул бутылку и положил на край стола согнутую в локте руку. Митя, снисходительно посмеиваясь, принял вызов. Они соединили пальцы. Улыбающееся лицо Горбунова стало сосредоточенным, почти злым. Митя ожидал рывка, но рывка не последовало, слитным, эластичным движением Горбунов прижал его кисть к столу. Взялись еще, и вновь повторилось то же: с лица Горбунова на миг сползла улыбка.

ка, сменившись выражением отчужденности, а рука Туровцева еще медленнее и равномернее, чем в первый раз, была разогнута и притиснута к дубовой доске.

— Вы, оказывается, сильнее, — сказал Митя, отдуваясь и помахивая кистью руки.

— Быстро же вы дали себя уговорить.

— А что?

— Стратегия учит, что для победы нужно обладать превосходством сил на участке прорыва. Надо уметь сосредоточить силы. А вы этого не умеете.

— Почему?

— Потому что вы сырой.

— Что значит — сырой?

— Сырой, как бывают сырые дрова. Природа вас не обидела, но мы никогда не вышли бы из каменного века, если б потребляли дары природы только в сыром виде. А вы — мне кажется — не любите себя беспокоить.

— Это неверно. Скорей не умею.

— Один черт. Товарищи, подобные вам...

— Хотите сказать, лентяи?

— Вы очень догадливы. Ценное качество у штурмана.

— Нет, вы серьезно считаете меня лентяем? — спросил Туровцев обиженно.

— Это неважно — что я считаю. Важно, что вы считаете.

Глаза Горбунова смеялись, и Туровцеву стало неловко за свой обиженный тон.

— Не знаю, — сказал он, раздумывая. — Во всяком случае, верчусь целый день, как белка в колесе!

— Не сомневаюсь. Лентяи в большинстве своем народ чрезвычайно деятельный.

— Шутите?

— Нисколько. Диву даешься, сколько энергии тратит лентяй, чтоб уклониться от дела.

— Тогда это уже не лентяи.

— Нет, чаще всего все-таки лентяи. Есть вещи посерьезнее, чем обыкновенное байбачество, — лень души, лень ума. Я сам бывший лентяй, так что меня не проведешь.

Они посмеялись.

— Не замечали? — спросил Горбунов. — Лентяи еще согласны учиться, но ненавидят переучиваться. Если лентяй неправильно держит весло или молоток,

нужно мое ослиное упорство, чтоб заставить его отказаться от вредной привычки. А если лентяй, не дай бог, человек со способностями — то и вовсе беда.

Митя искренне рассмеялся.

— Ну, это уж вы хватили.

— Напрасно смеетесь. Способность к труду превращается у них в способность уклоняться от труда. Уверен, что вы не раз ходили сдавать зачеты нашармака и, бывало, вам удавалось схватить четверку. Что, не правда?

Митя хотел уклониться от ответа, но Горбунов смотрел так хитро и настойчиво, что он не выдержал и кивнул.

— Вот видите,— сказал Горбунов, вздыхая.— А военная служба — это прежде всего труд. Впрочем, и сама война — труд. Тяжелый труд с риском для жизни. Лентяи так же непригодны для войны, как трусы, причем лентяев гораздо больше, чем трусов, и вреда от них не меньше. К счастью, это дело поправимое.

— Что, лень?

— Конечно. Да и трусость не всегда природное качество. С непривычки в организме вырабатывается какая-то сволочная химия, какие-то там адреналины, от этого сужаются сосуды, нарушается кровообращение, сохнет в глотке, подкашиваются ноги, и человек начинает делать глупости. Если корни трусости не в мировоззрении — это только отсутствие навыка к опасности.

Туровцев опять кивнул. Он хорошо знал свою способность хрипнуть от волнения.

— Впрочем, нет двух одинаковых людей,— услышал он голос Горбунова.— Каждый сходит с ума по-своему. Я, например, трушу в двух случаях — когда не умею и когда не понимаю. В походе я натерпелся страху именно потому, что мы столкнулись с кучей таких вещей... в общем, с тем, к чему мы были недостаточно подготовлены. Не берусь утверждать, что у меня не будет новых ошибок, но старых я уже не повторю и постараюсь, чтоб в следующем походе неожиданностей было меньше. Давайте выпьем,— сказал Горбунов быстро, как бы пресекая расспросы, и стал разливать вино, стараясь, чтоб вышло точно поровну.

Митю опять поразила способность этого человека мгновенно сосредоточиваться.

— Выпьем, Дмитрий Дмитрич,— сказал Горбунов.— Давайте пока каждый за свое. Или нет, давайте все-таки за общее. За Победу. На одном корабле или на разных будем драться за нее до последнего дыхания.

Они выпили не чокаясь, только перед тем, как выпить, подняли стаканы и поглядели друг другу в глаза. Глаза Горбунова смотрели испытующе, но дружелюбно. Мите показалось, что какая-то главная, самая интимная часть разговора начнется именно теперь. Но Горбунов, немного помолчав, заговорил о пустяках и собрался уходить.

— Так что подумайте,— сказал он уже у двери.— Служить со мной будет труднее, чем с дядей Васей,— это наверное. Подумайте и, если надумаете, приходите завтра к семи ноль-ноль прямо на лодку. Я буду принимать корабль, посмотрите технику, познакомитесь с людьми...

Он подавил зевок, глаза смотрели устало.

— Я сильно сдал за поход,— сказал он извиняющимся тоном.— Потерял в весе почти десять кило, а набрал пока только два. Плохо кормите, товарищ помощник командира базы.

Он протянул руку. Пожатие было крепкое, и в нем Митя опять ощутил ту силу, которая полчаса назад разогнула и прижала к доске стола его руку.

Глава пятая

После ухода Горбунова Митя сразу же лег, но долго не мог заснуть. Он понимал, что за предложение командира надо хвататься обеими руками. Отказаться — значит расписаться в том, что все попытки вырваться с «Онеги» были ханжеством и ловко замаскированной трусостью. Однако его мучили сомнения.

Боялся он не опасности. Гораздо страшнее было не справиться. Пожалуй, он и сегодня сумел бы в полутьме специального кабинета рассчитать «торпедный треугольник», выйти в условную атаку и поразить игрушечный кораблик. Но, послушав, что рассказывают люди, побывавшие на позиции, он понял, что между учебным кабинетом и боевой рубкой расстояние, как

от Земли до Солнца. Упустить врага, промахнуться боевой торпедой — даже жутко подумать.

Сон Митя видел нравоучительный. Ему снились преподаватели. Первым приснился Славин, старый коммунист, читавший основы ленинизма.

— Вы способный парень, — сказал Яков Михайлович, высоко подняв левую бровь, отчего его взгляд старой умной птицы становился еще пронзительнее, — но из вас не выйдет толку, потому что вы не читаете первоисточников. У вас хорошо привешен язык, и вы одерживаете легкие победы в спорах с единомышленниками, побивая их при помощи не вами выбранных цитат. Но попадись вы в лапы хорошему начетчику из меньшевичков — я эту породу знаю, — и через четверть часа вы будете сидеть в глубокой калоше. Правы будете вы, а не он, но это вам не поможет, ибо ваши цитаты для него не обязательны, а историю, экономику, статистику он знает лучше вас. Кант был, конечно, дуалистом, но не думайте, что я поставлю вам «хорошо» только за то, что вы монист.

На смену Славину появился Тойво, физинструктор, с которым Митя прошлым летом играл в теннис.

— Ты сёрт тебя знает какой способный дьявол, — сердито сказал Тойво, — я бы взялся в год сделать с тебя чемпион, ты имеешь все: рост, глазомер, дыхание. Но ты не будешь чемпион — сказать, почему? Потому что ты держишь ракетку, как будто она топор, и не хочешь держать правильно, ты боишься отдать мне свое малое умение, чтобы завтра получить большое. Иди, обыгрывай глупых девчонок, и пусть они думают, что ты умеешь играть...

Нечто подобное оба говорили, в свое время, наяву.

Путру открыв глаза, Митя сразу же зажмурился от веселой ряби — слабенький луч осеннего солнца пробился сквозь облачное месиво, отразился в невиской струе и, преломленный толстым стеклом иллюминатора, разгуливал по покрытому крошкой и белилами подволоку. Еще не вполне проснувшись, Митя уже знал, что ему предстоит что-то важное и приятное, только не мог вспомнить, что именно. А вспомнивши, сообразил, что радоваться лучику глупо: светло было потому, что он проспал. Он вскочил как по тревоге. Одеваясь, потрогал щеку: бриться было необходимо. Лезвие оказалось тупым, спешка и ледяная вода довершили неудачу, через минуту Митя был окровавлен.

«Двести вторая» стояла третьей от борта «Онеги». Было четверть восьмого, когда Туровцев, пробежав по шатким, без поручней, мосткам, прыгнул на верхнюю палубу лодки. На мостик пришлось карабкаться по скобам — неудобство всех малых лодок. Рубочный люк был открыт. Митя заглянул вниз. Длинный и узкий трап с поручнями из скользких никелированных трубок уходил отвесно вниз и терялся в глубине, где брезжил слабый желтоватый свет. Митя на секунду замялся — такой узкой показалась ему горловина. Но, зная, что дежурный следит за каждым его движением, он ухватился за крышку люка и, нащупав носком ближайшую перекладину, начал медленно спускаться. «А ведь недавно я тоже так умел», — сказал он себе, когда дежурный соскользнул вслед за ним, как по канату, почти не касаясь ногами перекладин. «Надо потренироваться, хорош я буду, если скомандуют срочное погружение».

В центральном посту никого не оказалось, только радист возился за своей перегородкой. Пахло хлором и олифой, сияла надраенная латунь, множество приборов издавало легкое жужжание и стрекот, напоминавшие хор насекомых, который слышен, если в жаркий полдень лежать, зажмурясь и раскинув руки, в высокой, прокаленной солнцем траве.

Туровцев огляделся. Все как на лодке Стремяного, только поменьше: в центре — перископ, справа — управление горизонтальными рулями, слева — станция управления погружением и всплытием. Штурманский столик совсем крошечный, как парта дошкольника. А вверху, над головой, кружок светлого неба, такой маленький, что похож на лунный диск.

Из круглого люка, соединяющего центральный пост со вторым — жилым — отсеком, доносились голоса и смех. Пролезая, Митя согнулся в три погибели и все-таки задел фуражкой за «барашек». Фуражка покатилась, смех усилился. Поймав с помощью дежурного проклятую фуражку, он предстал перед весело настроенной компанией, собравшейся вокруг стола. Тут он вспомнил, что на «двести второй» был свой обычай — утренний чай, даже стоя у базы, они пили у себя на лодке. Кроме Горбунова и командиров боевых частей, за столом сидел Кондратьев. Горбунов, все еще посмеиваясь, кивнул Туровцеву и пригласил к столу.

Чаепитие заканчивалось, вестовой убирал посуду. Митя прислушался к шедшему за столом разговору и ничего не понял. Слова как будто самые обыкновенные, но добраться до смысла невозможно. Однако говорившие понимали друг друга с полуслова, при этом они не пользовались никаким условным кодом, они просто опускали все, что было понятно и без слов. Несомненно, эта удобная для своих и непостижимая для посторонних манера сложилась в боевом походе. Туровцев в походе не был и к тому же опоздал — претензий у него быть не могло. Минут пять — Мите показалось, что все пятнадцать, — они говорили про свое, не обращая на пришедшего ни малейшего внимания, только Каюров изредка посматривал на него узкими глазами. Отчаявшись что-либо услышать, Туровцев стал смотреть. И еще раз отметил: у подводников с «двести второй» есть свой стиль. У всех поношенные, но не суконные, а шевиотовые кителя, лоснящиеся от частого глажения и без пылинки. Ярко начищенные массивные, так называемые «рижские» пуговицы. Почерневший и позеленевший, но настоящий золотой галун нашивок. На этом фоне новый, но давно не глаженный суконный китель с нарукавными нашивками из суррогатной желтой тесьмы, целлулоидный подворотничок и плохо побритая расцарапанная физиономия лейтенанта с плавбазы должны были выглядеть неавантажно и чужеродно. Наконец разговор иссяк, и все глаза, как по команде, обратились к Туровцеву.

— Здоров спать, лейтенант, — сказал добродушно Кондратьев.

Митя покраснел.

— Чай пил? Командир, предложи гостю.

Митя стал отказываться.

— А что, попил уже?

До прямой лжи Митя унизиться не захотел, и потому промолчал. Горбунов крикнул: «Граница!»

Появился долговязый вестовой с миловидной детской рожцей. Приняв от Горбунова какой-то краткий, но исчерпывающе понятный сигнал, он мотнул головой и скрылся. Через минуту он появился вновь со стаканом крепкого чая — на «Онеге» такого не пили. Рядом со стаканом он поставил стеклянную розетку с мелко наколотым сахаром и тарелочку с ломтиком черного хлеба. Это уже было настоящее госте-

приимство. Однако оно дорого обошлось Туровцеву: неуютно есть и пить одному, зная, что задерживаешь людей. Спеша и обжигаясь, Митя хлебал горячий чай, краем уха прислушиваясь к разговору. Теперь он все понимал: шла обыкновенная «травля».

— Вы уж не забывайте нас, Борис Петрович, — умильно говорил Каюров. — Жалко с вами расставаться, но с другой стороны, свой комдив — дело нешуточное. В случае чего, есть куда толкнуться.

— Я те дам «свой», — погрозил Кондратьев. — Для меня теперь все одинаковы.

— Объективный комдив нам без надобности, — сказал Каюров. — Нам протекция нужна.

— Неслучайное заявление, — вставил доктор. — Лейтенант Каюров утверждает, что при полном коммунизме основным принципом подбора кадров будет протекционизм и кумовство.

— Узнаю минера — очередное завихрение.

— А что? Когда отпадут все шкурные соображения, разве не лучше работать с людьми, которых давно знаешь и которые тебе нравятся?

— Не так глупо, — проворчал механик.

— Ну, это в будущем, — сказал с усмешкой Горбунов. — А пока комдив так боится, чтоб его не заподозрили в пристрастии, что нас будет притеснять больше других. Увидите.

Кондратьев хмыкнул, хмуровато оглядел улыбающиеся лица.

— Ладно, смейтесь, — сказал он. — Вот послужите с новым командиром, узнаете, что к чему. Вспомняете Бориса Кондратьева и всю кротость его.

Наконец Туровцев одолел свой стакан и так испуганно отказался от второго, что все засмеялись.

Затрещали звонки.

Осмотр начали с первого отсека. Рослый красавец торпедист, широко улыбаясь, распахнул красные, как воспаленная гортань, жерла торпедных аппаратов. Горбунов проверил подачу сжатого воздуха. Кондратьев смотрел, позевывая, затем задал торпедисту вопрос, которого Митя не расслышал, но, вероятно, шуточный, потому что оба рассмеялись.

Вернувшись во второй отсек, смотрели аккумуляторные ямы. Горбунов хмурился, его беспокоило состояние пластин. Он присел на корточки рядом со

старшиной электриков и, как видно, не собирался скоро уходить.

— Что смотреть,— сказал Кондратьев нетерпеливо.— Батареи ни к черту. Станешь в док — сменишь.

— Вашими бы устами да мед пить,— ворчливо отозвался Горбунов.

— А что?

— Живете довоенными представлениями. Вернее, доблокадными.

— Ну, это ты брось, брось... Механик, скажи своему дружку, чтоб он не сеял паники.

— Он прав,— сказал Ждановский без всякого выражения.

— Прав? — Кондратьев начал уже сердиться.— В чем прав?

— В отношении завода. Слаба надежда.

— Эти разговорчики вы бросьте,— сказал комдив внушительно.— Что значит «слаба надежда»? Мы Ленинград сдавать не собираемся.

— Но заводы эвакуировали.

— Болтовня,— отрезал комдив.

Каюров чуть не прыснул, и Митя понял отчего: назвать Ждановского болтуном мог только завзятый юморист. Кондратьев и сам понял, что перехватил:

— Поменьше слушайте, что болтают. Вы парторг — ваше слово весит. А флот воевал — и будет воевать.

— Кто же спорит? — сказал примирительно Горбунов, оглядываясь на находившихся в отсеке электриков.

В центральном посту застряли надолго. Здесь помещалась большая часть навигационных приборов и управление рулями — все это относилось к штурманскому хозяйству. Горбунов сразу же затеял разговор о ремонте. Основных повреждений было два — искривление вала горизонтальных рулей и нарушение центровки компенсаторов гирокомпаса. По этому поводу он долго совещался с боцманом Халецким и штурманским электриком Савиным. Боцман был бы вылитый негр, если б не рыжие волосы и не белая, в веснушках кожа. Держался он как старый служака — самоуверенно и почтительно. Горбунов называл его по имени-отчеству — Мироном Осиповичем. Савин был изящный, почти хрупкий блондинчик. Митя отметил, что, несмотря на хорошую выправку, есть в нем что-то нематросское.

Боцман сомневался, можно ли исправить линию вала без помощи завода, он приводил множество всяких доводов, но стоило Горбунову — для вида — внять его доводам, как он заговорщически подмигнул и что-то зашептал. Савин, выслушав Горбунова, сказал вяло:

— Надо будет — сделаем. Схемочка, наверно, имеется?

— Вот нахал, — сказал весело Кондратьев. — А ты читал, что здесь написано? — Он похлопал по шлему гирокомпаса. — «Без завода не вскрывать».

Савин поднял на комдива спокойный взгляд:

— Так ведь война, товарищ капитан третьего ранга.

Горбунов засмеялся, довольный.

— А вы как полагаете, штурман, — неожиданно спросил он.

Туровцев встревожился. Устройство навигационных приборов он когда-то знал отлично. Но одно — знать, другое — чинить. Рассудив, что если Савин говорит «сделаем», то лейтенанту Туровцеву и вовсе неуместно пасовать перед трудностями, он ответил с не совсем искренней лихостью:

— Что ж, не боги горшки обжигают!

Кондратьев фыркнул:

— То-то, что не боги, а гончары. Мастерá. А ты небось и горшка обжечь не умеешь.

Но тут неожиданно пришел на помощь Горбунов:

— А ты проверь, вдруг умеет.

Посмеиваясь, как будто играя в «викторину», комдив и Горбунов стали задавать вопросы. Сначала простые, потом более каверзные. Задетый за живое, Митя не поддавался. Неизвестно, сколько времени продолжалась бы эта игра, но с мостика передали, что капитана третьего ранга вызывает комбриг. Кондратьев заторопился.

— Значит? — спросил его при прощании Горбунов.

— Я — пожалуйста. — Кондратьев пожал могучими плечами.

— Три-пять-три-три-четыре? — неожиданно выпалил Горбунов. Глаза его смеялись. — А механик?

— Два-пять-три-три-четыре, — сказал Ждановский без улыбки, с ударением на первой цифре.

— Это вернее, — изрек комдив, берясь рукой за

перекладину трапа.— Что ж, я — пожалуйста. В четырнадцать.

С уходом Кондратьева осмотр кончился, и все вернулись во второй отсек.

— Так вот,— сказал Горбунов, протиснувшись за стол и садясь на свой диванчик. Лицо его приняло землистый оттенок и как будто постарело — сказывалась накопившаяся в походе усталость.— Я вас беру. Вы все продумали?

— Да.

— Тогда не будем терять драгоценного времени. В четырнадцать часов зайдите к комдиву, он даст указание Ходунову. У вас есть целый день на устройство своих дел, а завтра к подъему флага прошу быть на корабле. Если вы и на этот раз опоздаете...

— То можете не приходить,—принужденно улыбаясь, закончил Митя.

— Э, нет. Получите первое взыскание. Сразу же заведите себе блокнот и все мои поручения — их будет много — записывайте. Имейте в виду, я человек настырный и мелочный. Поначалу это будет вас раздражать, а потом вы поймете, что в нашем деле иначе нельзя, и станете таким же, как я. Если не хуже.

— Понимаю,— сказал Митя без особого восторга.

— Присмотритесь к команде. Есть интересные люди. А точнее сказать: неинтересных нет, только одни попроще, а другие позамысловатее. Да, вот еще что,— Горбунов щелкнул пальцами и оживился,— проведите-ка завтра политинформацию.

— Я?

— Ну конечно, вы, кто же еще? — На лице Горбунова промелькнула тень раздражения.— У меня комиссара нет, привыкайте к тому, что вы не только строевой начальник. Вы должны провести беседу гораздо лучше, чем я или Федор Михайлович.

— Почему вы так думаете? — спросил Митя, ожидая комплимента.

— Потому что мы были в походе, а вы сидели на базе.

— Могу сказать, что будут спрашивать,— сказал Ждановский.— Положение под Ленинградом — раз. Битва за Москву — два. Положение на Черном море — три. Промышленность и резервы — четыре. И — второй фронт.

Для механика это была целая речь.

— Решено. — Горбунов слегка пристукнул ребром ладони. — Восемь пятьдесят в кубрике команды. До свидания.

Вернувшись на «Онегу», Туровцев вспомнил, что он еще служит на плавбазе и Ходунов даже не подозревает, как скоро они расстанутся. В мечтах Митя уже много раз являлся к Ходунову и с леденящей официальнойностью докладывал ему о новом назначении. Теперь была полная возможность отвести душу, но — странное дело — вместо торжества он испытывал смущение, как будто в уходе с «Онеги» был какой-то оттенок предательства. Всю первую половину дня он с необычайным рвением занимался делами плавбазы, стараясь не попадаться на глаза командиру, а после обеда отправился к себе в каюту и лег: ему хотелось разобраться в своих впечатлениях.

«Лодка хорошая, — думал он. — Конечно, это не подводный крейсер, как лодка Стремянного, но зато и я не второй штурман, а первый, и к тому же помощник командира корабля. Но дело даже не в положении. Корабль — это люди, а люди мне нравятся. Для первого знакомства лучше бы вам было не опаздывать, уважаемый Дмитрий Дмитрич! И упаси вас боже сейчас задремать — в четырнадцать ноль-ноль вам надлежит явиться к комдиву. Теперь мне ясно, что значит: «Я — пожалуйста». В переводе сие означает: «Дело ваше, если вам нравится этот телок, берите, за мной дело не станет». Вообще — это были смотрины, самый настоящий экзамен. А что такое «2-5-3-3-4»? Дурак, это отметки, и механик с комдивом, попросту говоря, залепили мне по двойке. Кабы знать, за что... Пятерка — это за приборы. Ах, черт возьми мои калоши...»

Туровцев вскочил и, как был босиком, бросился искать карандаш: ему не терпелось вывести средний балл. В худшем варианте получалась тройка с плюсом, в лучшем — четверка с минусом.

«Ну что ж, большего я и не стою, — смиренно решил Митя, забираясь обратно на койку. — На данном, так сказать, отрезке».

Ровно в четырнадцать Туровцев постучал к комдиву. Кондратьев занимал теперь просторную двухотсечную каюту в надстройке. Никто не ответил, тогда Митя осторожно приоткрыл дверь и вновь постучал. Из-за бархатной портьеры, отделявшей кабинет от

спальни, высунулся Кондратьев, он был без кителя и прижимал к лицу мохнатое полотенце.

— А, лейтенант, заходи, — сказал комдив голосом хорошо выспавшегося человека и скрылся. Через две минуты взвизгнули кольца портьеры, и он появился в новой драповой шинели со свежими нарукавными нашивками. Надраенная медь пуговиц сияла, как целый духовой оркестр. Широким жестом протянул руку:

— Поздравляю. И — до видзенья.

Митя посмотрел оторопело. Кондратьев захохотал, очень довольный.

— Что смотришь? Не хотел расставаться, ан приходится. Еду в штаб флота, так неудобно, понимаешь. Еще спросят: откуда этакий ферт голландский...

Наконец Митя понял: комдив сбрил свою пиратскую бороду.

— Значит, у нас с тобой все в порядке. Ходунову я уже сказал. Иди оформляйся и начинай служить. Пьешь?

— В меру.

— Что и главное. Мера, брат, во всем нужна. А впрочем, у Витьки Горбунова не очень разгуляешься, он мужчина твердой нравственности. Так как насчет тровандер?

Митя вытаращил глаза, чем опять доставил комдиву живейшее удовольствие.

— Не знаешь? Чему вас учат, спрашивается? «Тровандер» — значит «волочиться за женщинами».

— Это по-каковски же?

— По-гуронски.

— А вы знаете гуронский язык?

— Обязательно, — сказал Кондратьев, сразу становясь серьезным. — У нас на двести второй все знают. Тайя хочешь? — Он вытащил из кармана большой кожаный портсигар, взглянул на часы, испуганно охнул и, оставив Туровцева с незажженной папиросой во рту, выскочил из каюты. Через несколько секунд дежурный у трапа прокричал: «Смирно!»

Следующий визит был к Ходунову. Командир «Онеги» принял Туровцева, сидя, как всегда, на койке. У командира был Ивлев, военком плавбазы. Ивлева на бригаде звали «Агрономом», он это знал и не сердился. На «Онегу» он попал с сухопутного фронта, после ранения. Ивлев и в самом деле смахивал на

агронома, хотя агрономом не был, а работал до войны в политотделе МТС.

— Значит, покидаете нас? — сказал Ходунов, подвигая Мите кресло. — Сожалею, но приказ есть приказ. Присаживайтесь, пожалуйста.

Необычная вежливость командира кольнула Митю. Она означала: я тебе не тыкаю и не ворчу на тебя, потому что ты уже не наш. А с пассажирами я, слава те господи, понимаю обращение.

Митя сел.

— Конечно, вам у нас неинтересно, — продолжал Ходунов почти галантно. — Вы человек молодой, с военно-морским образованием, избрали, так сказать, определенный профиль, и, поскольку имеется возможность оправдать свою специальность, возражать, конечно, не приходится. Другой вопрос: «Онега» хоть и у стенки стоит, но свое дело делает, а вот доведется ли вам в Балтике погулять — это еще бабушка надвое сказала.

Ивлев нахмурился.

— Что ж, командир, по-твоему, лодки не пойдут?

— Сомневаюсь, чтоб, — отрезал Ходунов. — Балтика тесна, мелка. И в мирное-то время надо ходить умеючи. Заминируют выходы — как пойдешь?

— Выходит, запрут нас в Маркизовой луже — и табак? Ну, а мы что? Ложись на правый бок и припухай?

— В Маркизовой не в Маркизовой, а из Финского залива не выпустят.

— Не знаю, откуда у вас такие гнилые установки.

— Это не установки, а просто мое рассуждение.

— Ни хрена не стоит твоё рассуждение. Моряк, а рассуждаешь хуже агронома.

Они заспорили, и Митя был рад, что никто не пытается привлечь его на свою сторону. Он прислушивался к доводам спорящих, и все они казались ему равно убедительными.

Спор оборвался так же, как возник, — случайно. Вошел Митрохин и принес нечто укрытое сверху салфеткой.

— Ладно, комиссар, — примирительно сказал Ходунов, снимая салфетку. — Дай бог, чтоб ты был прав.

Под салфеткой скрывался маленький графинчик водки и более чем скромная закуска: несколько тончайших лепестков соленой кеты, любовно украшенных

кружочками вялого лука и зеленого помидора. Митрохин знал вкусы своего командира.

— Ну, лейтенант, пожелаю вам...— сказал Ходунов, разливая водку. Водки оказалось ровно три стопки.

Туровцев не решился отказаться.

Уходя от командира вместе с Ивлевым, Митя вспомнил про завтрашнюю политинформацию. Ивлев звал его к себе и отдал все, что имел,— несколько брошюр, пачку газет и свои личные записи. Он собирался дать в придачу несколько добрых советов, но Митя поблагодарил и заторопился. В каюте военкома стоял тяжелый запах, пахло нестираным бельем и еще чем-то сладковатым. Митю замутило.

«Черт знает что,— подумал он.— Умный человек, а такой неряха».

К девятнадцати часам Туровцев был совершенно свободен. Он уже не служил на «Онеге» и еще не начал служить на «двести второй». Оставалось подготовиться к завтрашней беседе, подготовка могла занять час, от силы два, и Митя решил заняться своим туалетом. Пока нагревался утюг, лейтенант Туровцев не спеша прошелся бритвой по оставшимся с утра огрехам на шее и под носом, затем выгладил брюки и китель, оторвал целлулоидный подворотничок и пришил полотняный, предварительно выстирав его под краном. От прикосновения чистого, еще пахнущего утюгом полотна родилось ощущение легкости и свежести, напомнившее ему вечер, когда он, сопровождаемый Божко, взбежал по пляшущим доскам на мокрый гранит набережной. Ощущение сразу же превратилось в решение пойти в дом на Набережной и разыскать Тamarу. Пойти, конечно, без Божко. Извиниться за свое предосудительное поведение и скромно посидеть часок, с тем чтоб не позднее двадцати двух ноль-ноль быть на корабле.

Уже одетый по-уличному, он завернул в провизионку и получил у мичмана Головни банку баклажанной икры и сто пятьдесят граммов весового печенья в окончательный расчет по дополнительному пайку за октябрь. Хотел отнести к себе в каюту, но раздумал и сунул в карман.

Всю дорогу от корабля до дома он ни в чем не сомневался и был очень доволен своей затеей. Но, подойдя к связанным цепью кованым воротам, за кото-

рыми зияла глубокая арка, чуть было не повернул обратно. По счастью, ни строгой дамы в пенсне, ни веселой дворничихи он не встретил и, протиснувшись в щель между створками, благополучно миновал двор, проскользнул в мышеловку, спустился по выбитым ступеням в полуподвальный этаж, нащупал обитую колючим войлоком дверь с дыркой вместо замка и, оставив слева царапающуюся рухлядь, устремился туда, где брезжил слабый свет. Постояв с полминуты, чтобы утишить волнение крови, он тихонько постучал.

— Войдите,— ответил мужской голос.

Отступать было поздно, Митя вошел и понял, что ошибся дверью. Комната была меньше Тамариной и напоминала келью алхимика, роль горна играла раскаленная докрасна печурка. Два стола были заставлены химической посудой вперемежку с чашками и блюдами. У печурки сидел неопределенного возраста мужчина с седоватой щетиной на помятых щеках, одетый в фантастические лохмотья и подпоясанный бельевой веревкой. В руках он держал стеклянную палочку.

— Чему обязан? — спросил человек вежливо, но, как показалось Туровцеву, неприязненно.

— Скажите, пожалуйста... — Митя замялся: он не помнил отчества Тамары. — Могу я видеть Тамару...

— Тамару Александровну? Тамара Александровна — следующая дверь направо, — отчеканил алхимик и помешал палочкой в стоявшей на огне консервной банке. — Тamar! — вдруг закричал он и постучал в стенку. — Ее нет дома.

— А вы не знаете, — начал было Митя, но алхимик не дал договорить.

— Нет, не знаю, — отрубил он уже с нескрываемым раздражением. — А если б и знал, то не уполномочен. Не уполномочен, нет.

Митя извинился и поспешил прикрыть за собой дверь.

Он стоял посреди двора в растерянности, когда его окликнула дворничиха.

— Вы к Тamarочке? — И сочувственно посоветовала: — А вы пройдите к Катюше, в третью. Пойдемте, покажу.

Они поднялись по черной лестнице в бельэтаж главного строения. Митя тихонько постучал в обитую клеенкой дверь. Дворничиха засмеялась.

— Стучите шибче, — сказала она.

Митя забарабанил кулаками, выждал немного, после чего с новыми силами несколько раз лягнул дверь ногой. Наконец послышались шаги.

— Сам идет, — сказала дворничиха и стала спускаться, унося с собой мерцающий огонек «летучей мыши». Туровцев не имел никакого представления о Катюше, но еще меньше был подготовлен к встрече с «самим». Он уже подумывал о бегстве, но в это время загрохотал крюк, и дверь открыл человек, способный поразить своим видом любое воображение. Это был высокий красивый старик с бородатой головой пророка. В руке он держал крохотную лампочку-коптилку. При ее колеблющемся свете он оглядывал пришельца дружелюбно и бесстрашно, не торопясь задавать вопросы.

— Скажите, пожалуйста, — начал Туровцев смущенно, он опять не знал отчества. — Здесь живет Екатерина... э-э...

— Катерина Ивановна! — крикнул старик куда-то в глубь квартиры низким и звучным голосом. Затем с покоряющей любезностью обратился к Мите: — Входите, только, пожалуйста, не споткнитесь, здесь где-то рядом мусорное ведро.

Он ввел Митю в темную, давно нетопленную кухню. Скрипнула дверь, и вошла высокая девушка в шубе, накинутой поверх длинного, до пят, суконного халата.

— Смотри, Катюша, к тебе пришел настоящий моряк, — сказал старик весело.

Девушка, улыбаясь и щуря близорукие глаза, рассматривала Митю. Вероятно, ей подумалось, что это кто-то из знакомых, надевших военную форму и ставший непохожим на себя, прежнего.

— Не узнаю, — сказала она наконец, продолжая улыбаться и оглядываясь на старика.

Несомненно, они были близкими родственниками, вероятнее всего — отец и дочь. Старик повыше, а Катерина Ивановна почти одного роста с Туровцевым, широколицая и скуластая. Руки и ноги были великоваты, но девушка двигалась так непринужденно-легко, так женственно-мягко, что совсем не казалась громоздкой. Бессмысленно было бы описывать большие, но узко, по-азиатски прорезанные глаза, густые, смелого рисунка брови, грубоватый, неопределенной формы нос — порознь они не имели цены, а вместе составля-

ли лицо, прелесть которого ощущалась мгновенно и неотвратимо. Когда вошедшая заговорила, Туровцева поразил ее голос — сильный и низкий, окутанный, как ворсом, какими-то одной ей присущими призывками. Митя понимал, что все, кроме голоса, не было красиво в строгом смысле слова, но было в Екатерине Ивановне нечто более пленительное, чем красота, — та драгоценная способность излучения, обычно именуемая обаянием, что позволяет угадывать скрытые богатства натуры: сильный характер, изящную простоту и целомудренную горячность.

Оправившись от смущения, Митя назвал себя и спросил о Тамаре. При этом он очень ловко козырнул и щелкнул бы каблуками, если б не боялся опрокинуть ведро.

— Тамара? У меня. Сейчас я ее позову. — Катерина Ивановна пошла к двери, но вернулась. Спросила негромко: — Что-нибудь случилось?

— Нет, нет. Просто мы немножко знакомы...

Сказавши это, Митя похолодел — вдруг Тамара его не узнает.

— Катюша, — сказал старик, — пригласи товарища лейтенанта в диванную. Здесь очень неуютно разговаривать.

По удивленному и радостному взгляду, который метнула Катерина Ивановна, Туровцев догадался, что приглашение было не совсем обычным делом. Теперь он уже не сомневался — это были отец и дочь, и Митю тронула утонченная деликатность отца, окликнувшего дочь по имени-отчеству, чтоб не поставить его, постороннего человека, в неловкое положение.

— Ради бога, извините, — обратилась Катерина Ивановна к Туровцеву. — Я просто не сообразила, со мной это бывает. Пойдемте. — Она взяла его за руку смело и непринужденно, как старого знакомого. — Придется взять вас на буксир. Тут есть комната, где нельзя ходить с огнем, не сделана маскировка.

Из темного извилистого коридорчика Митя попал в комнату, просторную даже по питерским масштабам, с высоким потолком и выходящими на Неву большими окнами. При лунном свете он увидел стены, плотно увешанные картинами и рисунками, концертный рояль с поднятой крышкой и саженную пасть камина.

«Занятно», — подумал Митя.

Они прошли комнату насквозь, вошли в тесный

и темный тамбур, где потеряли старика, и свернули в маленькую комнату, вся меблировка которой состояла из трех узких диванов, составленных покоем. В углу на стыке полулежала женская фигура.

— Тамара, принимай гостя, — сказала Катерина Ивановна.

Женщина приподнялась на локте и хмуро, явно не узнавая, взглянула на Туровцева. Митя тоже не сразу узнал Тамару — таким маленьким и некрасивым показалось ее лицо. Наконец она узнала и мгновенно преобразилась, как будто внутри ее зажглась маленькая лампочка. Блеснули в улыбке глаза и зубы, и она протянула Туровцеву руку.

— Здравствуйте, — сказала Тамара. — Я уж думала, вы никогда не придете. Как это у вас хватило смелости? Знакомьтесь, — продолжала она. — Это Катя, моя лучшая, вернее сказать — единственная подруга. Нет, именно лучшая, потому что она гораздо лучше меня. Вы удивительно легки на помине. Я не вспоминала о вас ни разу за всю неделю, и вот сегодня только что рассказывала Кате...

— Тамара, — тихонько предупредила Катя. Ей показалось, что лейтенант смутился.

Митя неясно пробормотал, что он пришел единственно для того, чтоб извиниться за свое тогдашнее поведение. Тамара взглянула на него внимательно.

— Дурак, — сказала она, пожав плечами.

— Тамарка! — закричала возмущенная Катя.

— Не ужасайся, Катерина. Он сам прекрасно знает, что дурак. Или врун, что еще хуже. Я только что говорила Кате, что вы вели себя прекрасно. За исключением некоторых подробностей, о которых мы умолчим. — Тут они засмеялись обе, и Митя с ужасом понял, что было рассказано все, вплоть до путешествия в холодную ванную. — Если вы будете вести себя не хуже и если вас одобрит Катя, можете считать себя моим знакомым. Впрочем, я до сих пор не знаю, как вас зовут.

— Уж не сознавалась бы, — сказала Катя. — Я и то знаю — лейтенант Туровцев. Лейтенант — это больше капитана. Для меня все моряки — капитаны...

— Нет, я знаю, — перебила ее Тамара. — Вас зовут Дмитрий, Дима. Дима или Митя? Мне больше нравится Дима.

— Если будет ток, то будет чай, — сказала Катя, из-

бавляя Митю от необходимости признать, что лейтенант гораздо меньше капитана.— Не думайте, что вы долго останетесь наедине,— я сейчас приду.

Катя вышла, и Тамара быстро протянула Мите руку. Он молча, чтоб не выдать волнения, пожал ее тонкие пальцы. Но взволновало его не прикосновение, а установившаяся между ними еще в первую встречу способность мгновенного понимания. Жест Тамары означал: первое рукопожатие не в счет, то — как со всеми. А это — только наше.

Митя показал глазами на дверь — ему хотелось спросить: кто эти люди и удобно ли, что он сюда пришел. Тамара поняла.

— Молодец, что пришли. Катерины не бойтесь — она прелесть, умная и талантливая, не то что я.— Оглянувшись на дверь, она зашептала: — Катька кончила консерваторию перед самой войной, собиралась держать конкурс в Мариинку и, наверное, выдержала бы — чудный голос, меццо, почти контральто, мне говорили, такой тембр, как у Кати, встречается раз в десять лет. А Иван Константинович — художник. Вы, конечно, знаете...— Тамара назвала очень пространенную русскую фамилию, но в соединении со словом «художник» она заставила Митю ахнуть:

— Как. Разве...

Он запнулся. Тамара улыбнулась.

— Уж договаривайте. Вы хотели спросить: разве он жив?

Митя кивнул. До сих пор он никогда не задавался вопросом, жив ли автор «Тумана на Неве» и петербургских пейзажей, памятных с детства по репродукциям, а недавно, перед самой войной, вновь покоривших его в Русском музее. Для Мити эти пейзажи были классикой, а мы с трудом представляем себе классика живущим рядом с нами. Лучше всего мы понимаем человека, когда он умер.

— Иван Константинович очень болен,— пояснила Тамара, по-прежнему шепотом.— Врачи не разрешают ему много работать, и в последние годы он ничего не выставял.

— А что с ним? — так же шепотом спросил Митя.

— Этого никто точно не знает. Что-то с сердцем. И с легкими, кажется, тоже.

Они вовремя прекратили шептаться; вошла Катя. За ней шел художник.

— Чай все-таки будет,— торжественно объявила Катя.— Сейчас мы затопим печку.

— Не мы, а я — сказал художник.— Никто не умеет так растапливать печки, как я. Сидите и разговаривайте.

— Я не хочу, чтоб ты шел в бедламчик. Там пыль висит клочьями...

— Пустяки, Катюша,— сказал художник ворчливо.— Без меня там никто ничего ни понять, ни найти не сможет.

Катя засмеялась.

— Ну хорошо,— сказал художник, сдаваясь,— пусть кто-нибудь пойдет со мной, я покажу, что взять.

Вызвался Митя.

Бедламчик оказался темной комнатухой, вроде чулана. Когда Митя взялся за дверную ручку — дверь отворялась кнаружи,— раздался треск, и какое-то расшатанное сооружение, похожее при свете коптилки на гигантского кузнечика, рухнуло ему навстречу, царапнув пол железным когтем.

— Ага! — сказал художник, нагибаясь.— Его-то мне и нужно. Тридцать лет, как я до него добираюсь.

Сооружение оказалось огромным хромым мольбертом из какого-то твердого и тяжелого, как металл, дерева. Все винты и скрепы были массивные, бронзовые.

— Настоящее черное дерево,— пояснил художник.— Откуда-то с берегов Сенегала. Дорогая штука. И зверски неудобная. Ее подарил мне один просвещенный негодник, у него была оптовая колониальная торговля, и он очень любил живопись, вернее — думал, что любит. Черное дерево должно гореть с яростью антрацита, но разжечь его будет трудно, так что прихватите с собой какой-нибудь сосновый подрамничек на растопку.

Митя отважно углубился в бедламчик и сразу же расчихался.

— Давно бы следовало навести там порядок,— заметил художник, покашливая не то от смущения, не то от пыли,— как-то не доходят руки. Пощупайте-ка под полатями... Только осторожно, там есть одно безное павловское кресло, которое грозит обвалом.

В тамбуре между диванной и спальней художника стояла маленькая печка, но не временка, а изразцовая колонка. Затащить мольберт в тамбур оказалось

нелегким делом, его разболтанные в сочленениях голенастые ноги бились и цеплялись за косяки. Разрубить его было еще труднее, Мите вспомнились майнридовские дикари, запросто рубившие головы деревянными мечами: если эти мечи делались из того же дерева, что мольберт, удивляться было решительно нечему. Пока Митя воевал с мольбертом, художник потихоньку щепал лучину.

— Благодарю вас, достаточно,— сказал он, видя, что Митя изнемогает. Сидя перед открытой дверцей печки, он аккуратно выкладывал каре из лучинок.— Я заметил, что при растапливании не надо бояться потерять несколько лишних минут. Это потом оправдывается. Существует много методов растопки. Я предпочитаю метод святой инквизиции, она знала толк в этом деле.

Он поджег сложное сооружение из сухих лучинок и, приблизив лицо к устью печи, внимательно следил за тягой. Маленькое, но деятельное пламя сразу охватило костер.

— Скажите, вы храбрый человек?

Митя обернулся, удивленный. Могучая бородатая голова художника, освещенная печным пламенем, выглядела внушительно. Светлые блики ложились на высокий лоб с развитыми надбровными дугами, выпуклые скулы и крупный пористый нос; в глубоких вертикальных морщинах между бровей и в углублениях около крыльев носа лежали черные тени. Сомнения не было — вопрос относился к нему. Мите, и был задан совершенно серьезно.

Митя не совсем понимал, зачем художнику знать, храбр ли лейтенант Туровцев, но не решился отшутиться.

«В самом деле,— думал он,— храбр ли я? Чем это доказывается? Выбором военной профессии? Но где уверенность, что я выбрал ее правильно? Был ли я смелым с детства? Сейчас это трудно проверить, за все время, что я провел в пионерлагерях, не помню, чтоб я хоть раз подвергался какому-нибудь риску. Администрация и вожатые больше всего на свете боялись, чтоб кто-нибудь из нас не утонул, не простудился, не потерял в весе. В училище я проходил водолазные испытания в башне и разок прыгнул с парашютом; особого удовольствия мне это не доставило, но я не боялся. Было бы гораздо страшнее, если б

оказалось, что я не умею заставить себя делать то, что делают все остальные. Война? Во время таллиннского перехода я вел себя как будто неплохо, но этим просто стыдно хвалиться. Я не трусил во время звездного налета на кронштадтский рейд, но какая же в том заслуга? Рядом со мной были сотни людей, которые не только не трусили, но еще и отлично действовали: артиллеристы стреляли по самолетам, аварийные партии боролись за живучесть. О ленинградском периоде и говорить нечего — с начала блокады почти равной опасности подвергается трехмиллионное население...»

— Не знаю,— произнес он вслух.

Художник кивнул головой.

— Понимаю, это трудный вопрос. Но ответить на него «не знаю» — это уже кое-что. В двадцать лет кажется, что знаешь все.

— Мне уже двадцать три,— неизвестно зачем сказал Митя.

— Двадцать три! А вот мне — шестьдесят девять, ровно втрое больше. И когда я чего-нибудь не знаю, это много хуже. Можно предположить, что я этого так и не узнаю.

— Почему?

— Есть такое слово — «поздно». Очень страшное слово, даже более страшное, чем «никогда».

— До сих пор я как будто вел себя не хуже других,— сказал Митя раздумчиво.— Вот именно, я был как все. Мне ведь почти не приходилось принимать решений.— Он опасливо взглянул на собеседника — не скучно ли?

— Ну, ну, ну? — сказал художник.

— Не знаю, как бы я вел себя в тюрьме,— продолжал Митя, ободренный вниманием,— в одиночке или среди чужих людей. Допрос, пытка, казнь — это, наверно, пострашнее рукопашной. А впрочем, настоящего рукопашного боя я тоже не видел.

— Вы подводник?

— Да.

— Вероятно, на подводных лодках могут служить только очень бесстрашные люди.

— Не знаю. По-моему, такие же, как на любом корабле. В общем, я довольно трезво представляю, что мне грозит, единственное, чего я не могу себе представить — и, наверное, слава богу, что не могу,—

это: я один в отсеке, лодка на дне моря, и никакой надежды. Знаете, что страшно, — не смерть, а одиночество!

— Вот, — сказал художник торжественно и, как показалось Мите, с тайной грустью. — Вот вы и ответили на мой вопрос. И ответили мудро.

Митя даже хихикнул от смущения, таким неподходящим показалось ему это слово.

— Не смейтесь. — Художник подправил огонь и повернул к Мите свою величественную голову. — Вздор, что мудры старцы, дети и юродивые. Все они говорят массу глупостей, и больше всех старцы — у них мозг весь забит известью. Дети и юродивые иногда действительно говорят мудро, но не потому, что умны, а потому, что искренни. Честность — половина мудрости. Теперь скажите — вам никогда не приходило в голову, что вы имеете какое-то исключительное право беречь себя, большее, чем другие люди, большее, чем ваши матросы?

— Почему же? — Митя удивился так искренне, что художник, вероятно, понял: нет, не приходило.

— Мало ли почему? Ну хотя бы потому, что вы талантливее или образованнее. Совсем недавно по радио читали рассказ — а впрочем, это могла быть статья? — о красноармейце: он пожертвовал собой, спасая начальника. Такие случаи бывали и раньше — и во время наполеоновского нашествия, и даже во время русско-японской войны, самой постыдной и непопулярной войны, единственной, которую я знаю не по книгам. Чем вы это объясните?

Митя чувствовал себя польщенным. Большой, старый, знаменитый человек обращался к нему как к равному. Он опять задумался.

— Откуда же мне знать? — сказал он, вздыхая. — У нас на лодках такой случай практически почти невозможен. Но я могу себе представить, — перебил он себя, думая почему-то о Горбунове, — можно пожертвовать жизнью за своего командира, как закрывают собой амбразуру. Спасти потому, что он нужнее для успеха боя, а стало быть, и для победы.

— И только? Только для пользы дела?

— Нет, наверное, не только. Я видел во время таллиннского перехода: мать бросилась в воду из переполненной спасательной шлюпки — она уступала место дочери. Это мне понятно: отдать жизнь за того, кого

люблю больше себя. Но подумайте, Иван Константинович, можно ли любить человека, который примет это как должное, который думает: я умнее, я талантливее, я больше знаю и красивее чувствую, пусть гибнет другой, а я должен жить? По-моему, так не смеет думать даже самый великий ученый, самый гениальный... — Он хотел сказать — «художник», но удержался. — Так могут думать разве что какие-нибудь богачи, капиталисты... — Он осекся, испугавшись, что его слова могли показаться элементарной политграмотой.

— Вот это мне не совсем понятно, — сказал художник серьезно. — Почему именно богачи? Вы разве знаете, как думают богачи? Вы их когда-нибудь видели?

— Нет, не видел, — заторопился Митя, — но разве мы с вами не знаем, что такое капитализм и какие преступления делают капиталисты? И ведь, наверное, они при этом думают: пусть рабочие живут в грязи и невежестве, пусть голодают и мрут от болезней, моя жизнь стоит сотни таких жизней, я-то знаю толк во всем и сумею прожить с удовольствием, а что эти видели — им бы только набить брюхо да завалиться спать, живут они или нет — это почти не имеет значения... Разве не так? — спросил он отчаянным шепотом, мысленно обозвав себя телятиной, почти уверенный, что после таких наивных рассуждений художник разом потеряет к нему всякий интерес. Но тот слушал внимательно.

— Может быть, и не совсем так, — сказал он по-прежнему серьезно. — Но, вероятно, что-нибудь похожее. Так думали когда-то рабовладельцы античности, потом рыцари круглого стола, а теперь так рассуждает любой лавочник. Всякий деспотизм покоится на идее неравенства людей. Впрочем, есть и демократический вариант: будь, как я, думай, как я, не смей понимать то, чего я не понимаю. Он основан на столь же ложной мысли, что все люди одинаковы. Извините меня, что я спросил, видели ли вы живого богача. Даю вам слово — без всякой иронии. Я — видел. Только мне не повезло, наши петербургские негоцианты, — он второй раз употребил это незнакомое Мите слово, и опять с оттенком насмешки, — все это очень неинтересная публика. Горький — тот хорошо знал купцов и удивительно про них рассказывал — сочно, скульптурно, почти любуясь. Я всегда дразнил

Алексея Максимовича, что всех своих купцов он выдумал.

— Вы знали Горького? — ахнул Митя.

— Знал. Однажды — это было зимой девятнадцатого года — мы с ним растапливали эту самую печку, вот как сейчас с вами. Она с тех пор и стоит, и я люблю ее гораздо больше, чем того прожорливого дурака, что в гостинной.

Вошла Катя с чайником.

— У тебя сейчас все погаснет, — сказала она спокойно. Митя не видел ее лица, но услышал в голосе улыбку. — Что вы тут делаете впотьмах?

— Мы разговаривали, и очень интересно, для меня, по крайней мере. Простите, — обратился художник к Мите, — ваше имя-отчество? — Митя сказал. — Дмитрий Дмитрич — очень интересный собеседник.

— Мы тоже хотим в этом убедиться, а ты завладел и не отпускаешь.

— У нас был мужской разговор.

— Не выдумывай, — сказала Катя. — В блокаде все разговоры мужские. Вы заговорились и забыли о печке.

Она поставила чайник на конфорку и опустилась на пол. Двигалась она удивительно плавно. Заглянула в топку, покачала головой и стала подбрасывать в огонь черные щепки.

— Ты ничего не замечаешь, Катюша? — спросил Иван Константинович.

Она быстро обернулась, улыбчиво щуря глаза.

— Нет.

— Посмотри, что у тебя в руках.

Катя недоуменно взглянула на щепку, потом охнула и рассмеялась.

— «Черный человек»?

— Да. Одобряешь?

— Еще бы. Как вы его одолели?

— В честном бою, — сказал Митя.

— Вижу. Позвольте, что это у вас на лбу? Кровь?

Митя поднес руку к лицу. В этот момент дверь из диванной приоткрылась.

— Тревога, — сказала Тамара изменившимся голосом.

Все на минуту замерли. Сквозь кирпичные стены и деревянные перегородки, сквозь стекла замаскированных окон и тяжелые складки драпировок прорвался сперва еле слышный, а затем все нарастающий и по-

вышающийся в тоне вой гудков. Зашуршал репродуктор, диктор картонным голосом объявил воздушную тревогу, и наконец где-то совсем рядом, в одном из соседних дворов, взвизгнула ручная сирена.

Глава шестая

В последнее десятилетие перед войной жизнь Ивана Константиновича сложилась печально и нелепо. Весной двадцать девятого года он потерял горячо любимую жену, с которой прожил тридцать лет. Глафира Алексеевна была совсем простая женщина, крестьянка родом, когда-то очень красивая. Многие считали, что брак с Глафирой Алексеевной был для этого большого художника добровольным крестом, будто женился он не по любви, а, что называется, покрыл грех. Лишь немногие знали, что Глашенька, будучи женщиной необразованной и молчаливой, отличалась самобытным умом и природным вкусом, ее суждениям Иван Константинович доверял иногда более, чем своим собственным. Но даже эти немногие были поражены силой скорби, охватившей художника. Первое время он был почти невменяем, подолгу молчал, не узнавал дочери и ближайших знакомых, затем сознание прояснилось, но здоровье, некогда могучее, пошатнулось, при весьма неясном диагнозе силы больного угрожающе падали. Думали, что он умрет. Однако он не умер и не выздоровел, а превратился в тяжелого хроника; отныне вся его жизнь должна была протекать под стеклянным колпаком. Ему разрешалось работать не более двух часов в день и выходить на улицу только при хорошей погоде. В плохую погоду Иван Константинович надевал пальто и шляпу и гулял в гостиной при открытых фрамугах. Считалось, что для здоровья Ивана Константиновича опасны всякие волнения, поэтому круг людей, постоянно бывавших в доме, был сурово ограничен, новых людей туда не допускали.

Пока был жив капитан первого ранга Кречетов, свежий воздух еще проникал под стеклянный колпак. Когда его не стало, «окружение» быстро выжило из дому Юлию Антоновну, спровоцировав ее на какую-то резкость. Что до Кати, то ей в год смерти матери было всего одиннадцать лет. После отца и матери самыми

дорогими людьми для нее были Кречетовы, тетя Юля и дядя Володя, она искренне считала их родней и верила им свято. Катя рано поняла, что, когда была жива мама, в доме было гораздо веселее и интереснее, и не только потому, что отец был здоров — он и больной был художником с головы до пят и умел увлекать людей, — а потому, что раньше в доме бывали более интересные люди, которые меньше говорили о своей преданности Ивану Константиновичу, меньше его славословили и чаще с ним спорили. «Окружение» состояло примерно из дюжины лиц — в него входила первая Катина учительница музыки Елизавета Христиановна Дубельт-Коншина, пожилая величественная дама, вся в черном стеклярусе; переводчица с романских языков Ангелина Васильевна Коссовская, дама помоложе, с загадочными глазами и челкой; сестры Курицыны, Мара и Ирма, еще несколько моложе, но не настолько молодые, чтобы присущая им восторженность выглядела естественной; врачиха Анна Натановна Купер, она же «наша Нюся» — полная седая женщина с кроткими глазами лани; модный питерский гомеопат Александр Елисеевич Дираго; ученый библиотечкарь филармонии Николай Никандрович Вахрамеев, человек с усатым лицом городского, всегда одетый в защитного цвета суконную гимнастерку, подпоясанную солдатским ремнем, и два или три живописца, считавшие себя учениками и последователями Ивана Константиновича. Самым влиятельным в этом обществе был Адриан Семенович Сказинский, еще не старый человек с лицом иезуита, по специальности искусствовед. Среди всех этих людей Иван Константинович возвышался, как покрытый снегом горный пик, его абсолютное превосходство признавалось всеми при одном неписаном условии: каждый из состоявших в «окружении» требовал признания своего относительного превосходства в какой-либо одной облюбованной им области. Чаще всего эта область не имела прямого отношения к его специальности, никто в своей области особенно знаменит не был, но все обязательно чем-нибудь славились. Елизавета Христиановна — абсолютным слухом, манерами и кошками, Ангелина Васильевна — хрупкостью, начитанностью и эпистолярным даром. Сестры Курицыны почти ничем не славились и ценились за то, что не завидовали чужой славе. «Наша Нюся» славилась

крайней самоотверженностью и диагностической интуицией. Дираго также славился диагностическим талантом, хотя его диагнозы никогда не совпадали с диагнозами Анны Натановны. Кроме того, он славился любовью к живописи и для частного лица обладал порядочным собранием. Вахрамеев славился музыкальной памятью, демократическими вкусами и солдатской прямоотой. Наконец, Сказинский славился умом, пониманием современности и широкой информированностью о том, что происходит «в сферах».

Внешне все эти люди были друг с другом в отличных отношениях, ибо, если хочешь, чтобы окружающие считали тебя избранной натурой, с ними надо расплачиваться той же монетой, даром это не делается. Один Иван Константинович был свободен от этой своеобразной круговой поруки, и хотя он совсем не требовал рабской преданности, безоговорочного преклонения и столь же безоговорочного осуждения инакомыслящих, как-то само собой получилось, что сохраниться в «окружении» мог только тот, кто проявлял в этих вопросах полнейшую ортодоксальность. Исключение делалось иногда для Вахрамеева, специальностью которого была прямота.

В двадцать лет Катя уже не сомневалась, что Елизавета Христиановна просто старомодная идиотка, а Ангелина Васильевна хоть и не глупа, но невыносимо манерна, что Мара и Ирма ужасно много врут, причем врут бесцельно, только чтоб поддержать разговор, что от самоотверженности Нюси иногда пахнет самым утомительным деспотизмом, а услуги бескорыстнейшего Дираго, никогда не бравшего с художников ни копейки, обходятся им гораздо дороже, чем простым смертным. Но в особенности она не терпела Сказинского.

В двадцатые годы общественно-политические взгляды Ивана Константиновича представляли собой довольно характерную для его круга мешанину. Сильный ум при беспорядочной начитанности, демократизм воззрений при изысканности привычек, приверженность к реалистическим традициям и модернистские увлечения — вся эта мутная смесь должна была перебродить, прежде чем стать прозрачной. Вероятно, оказавшись среди постоянных собеседников Ивана Константиновича кто-нибудь из крупных деятелей нового государства, образованный марксист, способный дать

прямые и убедительные ответы на многие тревожные вопросы художника, этот процесс произошел бы быстрее и завершился успешнее. Но такого собеседника не оказалось: заезжал как-то в мастерскую Луначарский, покоровивший Ивана Константиновича широтой взглядов и эрудицией, но он пробыл в Петрограде недолго и уехал в Москву. Передавали, что с художником хотел потолковать по душам Сергей Миронович, но в ту пору Иван Константинович был уже болен, и «окружение» сделало все возможное, чтоб предотвратить эту встречу. А вульгарные социологи из разных ахрров, догматики и перегибщики сыграли на руку «окружению», привязываясь по пустякам, раздражая бесцеремонностью и крайней непоследовательностью своих претензий. Сначала они грызли художника за то, что он похож на передвижников. Затем за то, что он на них не похож. Так как Иван Константинович был по преимуществу пейзажистом, они обвиняли его в аполитичности и абстрактном гуманизме, в то же время отсутствие в его пейзажах человеческих фигур расценивалось как выпад против гуманизма социалистического. Во всем, что говорилось, была, вероятно, и доля правды, но говорилось это так путано и запальчиво — нельзя же учить гуманизму с искаженным от злобы лицом, — а главное, люди, поучавшие художника, сами так плохо владели карандашом и кистью, что зерна истины давали слабые всходы в душе Ивана Константиновича.

К середине тридцатых годов на творчество Ивана Константиновича установились более трезвые и разумные взгляды. Большинство его старых картин получило широкое признание, некоторые работы предреволюционной поры, трактовавшие Петербург в таком апокалиптическом плане, по-прежнему поругивали, — именно эти работы превозносило «окружение», и Катя огорчалась, видя, как отец поддается настроениям своей свиты, хотя сам в глубине души давно разлюбил эти картины и знал, что их никогда не любила Катина мать — ее ясной душе было чуждо все надуманное. Во время болезни Иван Константинович работал мало и ничего не выставял, в этом его поддерживал Сказинский. Вероятно, Сказинский по-своему любил художника, любил именно такого, каким тот был последние годы: больного, полузабытого, беспомощного, но Катя унаследованным от матери чутьем угадывала,

что, будь Иван Константинович здоров и на вершине славы, Адриан Семенович любил бы его гораздо меньше, раздражался и говорил гадости. Ему нравилось помогать, советовать, шептаться, снисходить к наивности большого ребенка. Он любил приносить из Союза художников тревожные вести, стоило завязаться какой-нибудь дискуссии, как он являлся с таинственным видом и объявлял, что «надвигается гроза». Однажды, выступая с докладом, он сам весьма неприятно лягнул Ивана Константиновича, но потом очень ловко выкрутился, уверив свиту и самого художника, что поступил очень умно и тонко, смягчив таким образом неотвратимый удар, и не скажи он в мягкой форме того, что вынужден был сказать, выступили бы такой-то и такой-то, и все обернулось бы гораздо хуже. Все поверили, кроме Кати.

Катя долго не решалась дать бой «окружению». Оно прочно окопалось в доме на Набережной. Многих из этих людей она знала с детства, некоторым, как, например, своей учительнице Дубельт-Коншиной и Нюсе, была многим обязана. Главное же — не хватало уверенности, что она одна сумеет заменить всех.

Все решилось само собой в первый же месяц войны. «Окружение» в полном составе категорически потребовало, чтобы Иван Константинович срочно уехал из Ленинграда. Иван Константинович столь же категорически и наотрез отказался. Не помогли ни визгливые причитания женщин, ни басовитые увещевания мужчин — художник был непреклонен. Свита оказалась в трудном положении — для многих друзей художника забота о его покое и его безопасности была теснейшим образом переплетена с заботой о собственном покое и собственной безопасности, и, хотя все в один голос заявили, что они ни за что не покинут Ивана Константиновича, обстоятельства личные, семейные, служебные взяли верх, и в течение двух или трех недель «окружение» рассыпалось, как стая испугнутых воробьев. Как часто в таких случаях бывает, люди, чувствуя себя несколько виноватыми, вдруг перешли от обороны к наступлению — в эти дни много говорилось об упрямстве и эгоизме старика. Наконец все разлетелось, в городе остались только старуха Коншина и младшая Курицына, неожиданно вышедшая замуж за военного.

Катя поначалу колебалась, затем поняла — отец

не мог поступить иначе. Всеми корнями он врос в Ленинград, любил и знал город удивительно, оборвать эти корни — значило убить его. И с каждым днем она все больше укреплялась в убеждении, что, как ни рискованно для здоровья отца принятое им решение, оно единственно возможное и правильное.

Прошло то время, когда сигнал воздушной тревоги вызывал у ленинградцев смятение. Первым душевным движением была досада.

— Одевайся, папа,— деловито сказала Катя.— И возьми клетчатый плед. Обязательно — слышишь?

— Я не пойду, Катюша,— мягко возразил художник.

— Почему?

— Потому что бессмысленно. Никто туда не ходит, и мне отвратителен этот гадкий подвал, там гораздо страшнее, чем дома. И потом: мне не нравится слово «убежище».

Последнее соображение было так неожиданно, что Катя засмеялась.

— Ну что ж, пожалуй...— сказала она неуверенно, оглядываясь на Митю.— Посмотрим, что будет дальше. Как вы думаете?

Мите пришлось сознаться, что он в жизни не был в бомбоубежище. Это всех развеселило.

— Решено? Остаемся.— Катя нагнулась к печке.— Жалко. Придется залить огонь.

— И огонь заливать не надо.

— Да что ты, папа...

— Уверяю тебя. Ты можешь объяснить, зачем это нужно?

— Наверное, чтоб не было пожаров.

— Пустяки. Пожары из-за неисправности печей — это было до войны. Теперь есть зажигательные бомбы. Почему люди все так безмерно осложняют?

Художник сердился. Тамара сказала примирительно:

— Но существует же почему-то такой порядок...

— Вот именно — «почему-то»... Самое обычное недомыслие, притом облеченное в деспотическую форму. Капризы нашей дорогой Юлии. Откуда у женщин эта жажда власти? Командовала своим мужем, а теперь угнетает целый дом. Домовладелица!

Несправедливость была до такой степени очевидна, что женщины заулыбались, а за ними фыркнул и сам художник. Он протянул дочери свою большую ладонь, и Катя быстро коснулась ее указательным пальцем, будто клюнула. Вероятно, это значило: мир, контакт Митя заметил, и ему понравилось.

«Занятно», — подумал он.

Черные щепки жарко разгорелись. Перешли в диванную, но разговор первое время не клеился: прислушивались к звукам вовне. Сначала это были шорохи и лестничная беготня, затем возник гул одинокого самолета. Где-то вдали застучали зенитки.

— Странно, — заговорил художник. — В душе моей нет ненависти, а есть только безмерное удивление. Не подумайте, — обратился он к Туровцеву, — что я непротивленец. Я говорю о другом. Ненависть — чувство. Для того, чтоб оно было живым и творящим, чтоб оно стало страстью, нужно, чтоб враг был до боли знаком и понятен, почти физически ощутим — ну, как любимое существо...

— Не понимаю тебя, папа, — вмешалась Катя. — Как ты можешь...

— Подожди, Катюша. Я уверен, что Дмитрий Дмитрич меня понимает. Я хочу сказать, что моему неприятию гитлеризма недостает конкретности. Я читаю все, что пишут, и временами мне кажется, что все эти злодеяния вершатся не людьми, а странными существами, вроде уэллсовских морлоков или хобиасов из детской книжки — помнишь, Катюша? Какими-то смешными и страшными зверюшками, похожими на ожившие карикатуры.

— Фашисты — не люди, — сказала Тамара, нахмурившись.

— Голубчик мой, это риторика. К величайшему стыду для всего человечества — они люди. Мы способны любить или ненавидеть лишь себе подобных. Ненавидеть аллигатора — это то же самое, что любить гуся.

Катя и Тамара засмеялись. Катя пояснила:

— Папа нам рассказывал, как у него — это было еще до революции — обедал один известный поэт. Папа его спрашивает: «Вы любите гуся с капустой?», а гость отвечает: «Для меня, Иван Константинович, любовь слишком большое слово. Гусь мне может нравиться, но любить гуся...»

Митя засмеялся.

— А я люблю гуся,— вдруг сказала Тамара, блеснув глазами.— Люблю страстно, как ни одного мужчину на свете. И именно с капустой. Ваш поэт был глуп, и, наверное, его любовных стихов уже никто не читает.

Теперь засмеялись все. Митя и раньше замечал, что во время тревог люди становятся смешливы.

— Да, теперь он прочно забыт, а ведь гремел когда-то. Но бог с ним, я хочу рассказать вам о другом госте. В конце двадцатых годов у меня несколько раз бывал германский консул. Поверьте, я не искал этого знакомства, его привезли ко мне наркоминдельцы. Это был во всех отношениях цивилизованный человек, конечно, очень буржуа, но мягкий и терпимый, обожавший живопись и действительно знавший в ней толк. У него была жена, еще не старая женщина, по-своему очень привлекательная, недурная музыкантша. Недавно я прочитал его фамилию в числе ближайших сподвижников и советников Гитлера. Меня это не то что потрясло, но обескуражило. Раньше мне казалось, что, сколь мы ни различны, существуют некие объединяющие нас духовные ценности, что человек, способный чувствовать Шопена, восхищаться Репиным и Левитаном, не может проповедовать массовое истребление смоленских мужиков или галицийских евреев. Я даже имел неосторожность предполагать, что преклонение перед Гойей ставит нас обоих выше дворника Кафара, который Гойи не знает. Но я вас уверяю, что покойному Кафару, хоть он и прямой потомок Чингисхана, даже присниться не могли мерзости, которые вытворяют сейчас эти люди. Попадись им Шопен, они бы его повесили...

Чайник уже парил, когда раздался отдаленный грохот, заставивший всех насторожиться. Митя позже других понял, что грохотала обитая клеенкой кухонная дверь, в которую дружно колотили руками и ногами несколько человек.

На минуту все притихли.

— Мы пропали,— сказал художник трагическим шепотом.— Это Юлия.

— Придется отпереть.— Катя подняла глаза на отца.

— Ни в коем случае,— испуганно сказала Тамара.— Вам ничего, а меня она съест.

— Мы тебя спрячем,— возразила Катя.— А от-

крыть все равно придется, она знает, что мы дома, и, конечно, не отстанет.

— Не сомневаюсь, — сказал художник сардонически.

Катя побежала открывать. В наступившей тишине Мите послышалось лязганье железа, затем уже явственно — приближающееся шарканье ног.

Тамара вскочила, как потревоженная кошка. Уже в дверях она сделала знак: следуйте за мной. Митя подчинился и оказался в темной комнате, в широченном, глубоком, как раковина, кресле, бок о бок с Тамарой. Через открытую дверь была видна раскалившаяся дверца печки, отсвет из поддувала ложился на пол. Митя ощущал совсем близко плечо Тамары; оно слегка вздрагивало — то ли от смеха, то ли от озноба.

Вошли трое — четвертой была Катя. В тамбуре стало светлее: вошедшие принесли с собой «летучую мышь». Женщин Митя узнал сразу — это были дворничиха и строгая дама в пенсне, с ними был долговязый мужчина в куртке и фуражке. Куртка и фуражка смахивали на бушлат и матросскую бескозырку, но даже не это, а что-то в манере держаться наводило на мысль, что пришедший — моряк.

Туровцев не на шутку встревожился.

— Великолепно, — сказала женщина в пенсне, не возвышая голоса, дикция у нее была превосходная, — Иван Константинович верен себе. Правила, обязательные для простых смертных, на него не распространяются. Почему вы не в убежище?

Ответа художника Туровцев не расслышал: «бу-бу-бу...»

— Я совершенно здорова, — заговорил опять женский голос. — У вас слабеет память, — мы уже здоровались сегодня. Не пытайтесь подавить меня изяществом манер, я пришла к вам не по доброй воле, а по обязанности. В гости, как вы, наверно, заметили, я к вам уже давно не хожу. А ты, Катерина, меня поражаешь. Ты-то ведь взрослый человек...

Одновременно засмеялись Катя и Тамара. Катя — там в диванной, низким, грудным голосом, Тамара сдавленно, в плечо Мите.

Глуховатый рокот художника: «бу-бу-бу...» — и опять металлическая отповедь:

— По-вашему, это никого, кроме вас, не касается, а вот товарищ Северцев думает иначе. Конечно, откуда

же вам знать, кто такой Северцев? Товарищ Северцев — секретарь нашего райкома. Того самого района, в котором вы живете. И товарищ Северцев возложил на меня персональную ответственность за вашу безопасность.

— Бу-бу-бу...

— Что значит «не может быть»? Может быть, я лгу? Спросите Пантелеймона Петровича — разговор был при нем... Ах, не смее сомневаться? Благодарю вас. Немедленно в подвал! Тамара здесь?

Митя почувствовал, как пальцы Тамары впились в его руку выше локтя.

— Нет? Странно. Однако — не смею сомневаться. Если вы увидите ее раньше, чем я, передайте ей, пожалуйста, что ее поведение отвратительно. Не люблю говорить о людях дурное за глаза (здесь Юлия Антоновна почему-то возвысила голос), но уверена, что она плохо кончит, если не одумается...

Катя попыталась вступить, и ей тут же влетело:

— Перестань говорить вздор. Она обязана быть на посту. Да, а тебя не пущу. Застудишь горло, и весь твой вокал полетит к чертям, будешь каркать вороной, вроде нашей Люси. Нужно смотреть чуточку дальше своего носа. Не навек же война, победим, и опять запоешь. Что ты говоришь, Асият? Да, чуть не забыла. Лейтенанта у вас, конечно, тоже нет? Какого? Такого — хорошенького из себя. Нету? Так я и думала. Идем, Петрович.

Митя и Тамара не дышали, боясь пошевелиться и — еще больше — рассмеяться. Загадочный матрос все время стоял спиной и не произнес ни слова. Когда же он, уходя, повернулся, Митя ахнул — это был старик. На узкобедром длинном теле высоко держалась маленькая голова в заломленной бескозырке со старинными георгиевскими ленточками, на костлявом благообразном лице росла длинная серебряная борода.

Катя вышла проводить посетителей, и до ее возвращения ни Мите, ни Тамаре не пришло в голову, что их дальнейшее пребывание в темной комнате уже не вызывается необходимостью. Когда они вылезли на свет, вид у них был смущенный. Вряд ли кто-нибудь это заметил: художник был смущен гораздо больше. Он хмуро посмеивался, поглядывая на дочь.

— Так мне и надо, — заявил он наконец. — Всякое дело требует навыка и упражнения. Давно уже я не

врал. А насчет секретаря она не того... не сочиняет? Откуда вдруг такой интерес к моей особе?

Как видно, слова Юлии Антоновны произвели на него впечатление, он заторопился. В то время, как Иван Константинович, облачившись с помощью Кати в широкую оленью доху, разыскивал куда-то запропастившийся складной стульчик, Тамара и Митя, не прощаясь, выскользнули из тамбура, пробежали комнату с роялем и камином, ощупью выбрались на кухню и скатились по крутой и скользкой черной лестнице вниз. Взявшись за руки, они опрометью пробежали пустой двор и юркнули во флигель. В комнате Тамара зажгла сильный электрический фонарик, и они впервые посмотрели друг на друга, Тамара беззвучно смеялась — ей нравилось, что Митя следовал за ней, как на привязи. Митя и улыбался и хмурился. Фонарик показался ему неприятно знакомым.

— Сейчас мы будем пить чай, — объявила Тамара и постучала в стену. — Николай! — закричала она очень громко.

Ей никто не ответил. Тогда она выбежала из комнаты и через минуту вернулась с термосом.

— Хватит, — сказала она, сунув луч в горлышко термоса. — Горячий! Но харчей — никаких. И сахару тоже.

Туровцев вспомнил про баклажанную икру и печенье. Тамара так по-детски обрадовалась угощению, что Митя перестал хмуриться. Усаживаясь за маленький столик — тоже знакомый и тоже как-то неприятно, — он озабоченно спросил:

— По-моему, эта женщина сказала, что вам надо идти на пост?

— Угу! — сказала Тамара, грызя печенье, намазанное баклажанной икрой.

— Куда?

Чтоб не разговаривать с набитым ртом, она показала глазами на закопченный потолок.

— Почему же вы не идете?

— Надоело. — Тамара наконец прожевала печенье и с наслаждением глотала обжигавший губы чай. — Всегда ходила, а сегодня решила не идти.

— То есть как это?.. Почему?

— Не хочу, и все. У меня гости. — Она засмеялась и смело взглянула на Митю прищуренными глазами. Но Митя остался холоден к этому открытому призыву.

Вероятно, он сам не подозревал, какие прочные основы заложили в его далеко не сложившемся характере годы, проведенные в училище. Туровцев не был образцовым служакой, и его недаром дразнили «Спящей», но сознательно уклониться от явки на пост и распивать чай в то время, когда товарищи подвергаются опасности...

Он встал и начал застегивать шинель.

— Куда? — спросила Тамара испуганно.

Секунду назад Митя еще не знал куда.

— Оденьтесь теплее, — сказал он голосом человека, имеющего право приказывать.

С фонарем в руках он молча следил за тем, как Тамара застегивает вязаную кофту, видел, как торопятся и скользят по пуговицам ее пальцы, и с гордостью ощущал, что по причинам, не до конца ясным ему самому, власть временно перешла в его руки.

Так же молча они вышли в коридор. Вел Туровцев, только на лестнице он пропустил Тамару вперед.

На площадке третьего этажа перед выходом на чердак Митя на секунду включил фонарь и вздрогнул, увидев рядом с собой неподвижную женскую фигуру. Женщина стояла в классической позе ужаса — тело судорожно изогнуто, голова и плечи плотно прижаты к стене, руки отведены за спину... «Надо же так перетрухнуть», — брезгливо подумал Митя; он хотел спросить у Тамары, кто эта женщина и почему она не идет в убежище, но Тамара уже скрылась на чердаке. Согнувшись, чтоб не удариться о стропила, увязая в опилках, они добрались до слухового окошка и вылезли на загромоздившую под их каблуками крышу.

На крыше было светлее, чем во дворе. Тускло поблескивала Нева, лунный свет падал на рангоут стоящих на приколе кораблей. Но Митя едва взглянул на реку, его внимание было поглощено уходящей вдаль анфиладой крыш. Тонкое кровельное железо глядело корабельной броней, чердачные окна — люками и кранцами. И везде, сколько охватывал глаз, Митя видел стоявших на вахте бойцов ПВО — это были обыкновенные глубоко штатские граждане, пожилые мужчины в подпоясанных ремнями долгополых пальто и совсем юные девушки в лыжных штанах и ватниках. Они стояли вытянувшись, обратив лица в сторону невидимого противника. Неподвижные, они только неподвижностью и напоминали статуи; казалось, от

них исходит нерастраченное тепло жилищ, угадывалось их ровное дыхание...

Ветер гнал сплошную, но дырявую, как протершееся рядно, массу облаков, и от этого казалось, что луна несется во весь опор, то показываясь в чернеющих разрывах, то совершая стремительные перебежки под облачным прикрытием. Мокрые крыши отливали неярким графитным блеском.

— Корабль,— сказала Тамара шепотом.

Они долго вслушивались в тишину, не глядя друг на друга и почти не переговариваясь. Тамара сказала только, что погода как по немецкому заказу, и опять в тот самый момент, когда это подумал Митя.

Из полузабытья их вывел шквальный огонь зениток. Немецкие бомбардировщики подошли на большой высоте, в короткие паузы между очередями врывалось их мерное гудение.

Туровцев стоял, терзаемый жаждой деятельности. Он закрипел зубами, когда в районе устья, там, где судоверфи, ухнули один за другим несколько разрывов. Он негодовал — куда девались наши истребители? Стало совсем светло. Митя огляделся и увидел, что вся Петроградская сторона осветилась, как на киносъемке, сильным, белым, дрожащим светом. Таким легким пламенем могли гореть только деревянные постройки, много сухой древесины сразу.

«Парк культуры»,— догадался Митя.

Он взглянул на Тамару. Лицо ее, освещенное отблеском пожара, было сосредоточенно-мрачным, губы кривились. Он не знал, что там, за рекой, пылало и рассыпалось фонтаном искр нелегкое и все-таки счастливое детство Тамары, девочки с косичками, обожавшей шумные игры и фруктовое мороженое, блаженно визжавшей, скатываясь на стремительно несущихся санках с американских гор, много раз самолюбиво преодолевавшей страх перед гигантскими качелями, колесами и прочими орудиями увеселительных пыток. Но даже не зная всего этого, он понял: с Тамарой сейчас лучше не заговаривать. Он молча взял в свои большие ладони ее тугой кулачок. Тамара крепко сжимала какой-то предмет, потребовалось маленькое усилие, чтоб отнять его, пальцы разжались неохотно. Митя поднес предмет к глазам и увидел плоский неправильной формы кусок металла, покрытый мутной окаменевшей слизью. Он поднял на Тамару вопроси-

тельный взгляд и, только разглядев ее ответную усмешку, означавшую: «Эх, а еще военный», догадался. Это был обломок стабилизатора зажигательной бомбы.

Он опять взглянул на Тамару:

— Ты?

Она кивнула.

Итак, флигель уцелел потому, что во время одного из налетов боец ПВО Тамара Александровна (надо называть по отчеству, если уж не знаешь фамилии) схватила щипцами эту упавшую в нескольких шагах от нее пышущую тысячеградусным жаром бомбу и бросила в ведро с мокрым песком, сварившимся, как пшено, от одного ее прикосновения. Они посмотрели друг на друга еще раз. Оба — смущенно.

Наконец появились истребители, они с бодрящим ревом взмыли из-за Выборгской, пересекая Неву, на мгновение стали видимы и ушли на юго-запад. Тамара радостно вскрикнула и захлопала в ладоши. А на соседней крыше аплодировал летящим в бой ястребкам пожилой грузного вида интеллигент в тяжелом демисезонном пальто. Поверх поднятого воротника у него был повязан шарф, узлом сзади, как повязывают маленьким. Мите тоже хотелось хлопать, но он удержался. Это было уж очень по-штатски.

Гул моторов затих. Тамара отобрала у Мити обломок и швырнула его в желоб.

— Не страшно было? — спросил Митя, нарочно без обращения: он не решался повторить случайно вырвавшееся «ты», а говорить «вы» уже не хотелось.

— Я очень боюсь осколков, — быстро и почему-то шепотом ответила Тамара. — Здесь кругом батареи, и осколки тучами, иной так взвизгнет, что потом с сердцем нехорошо. И не убьет, так изуродует. Видишь? — Она показала на обезображенное царапинами железо кровли.

— А бомб?

— Зажигалок совсем не боюсь. Их даже ждешь — как охотник зверя. — Она засмеялась, блеснули глаза и зубы. Смех делал ее очень привлекательной, смеялась она как-то умно. — Зажигалка чем ближе упадет, тем для нас лучше. А то разгорится — к ней не подойдешь. Ну, а фугаски... Не знаю. О них лучше всего не думать.

Туровцев слушал внимательно, тронутый не столько смыслом слов, сколько доверчивым тоном, тем, как

Тамара сказала «видишь» — так девчонка привычно говорит «ты» сверстнику. Он взглянул на нее искоса — неужели это та радостно сознающая свою власть женщина, с величием пушкинской Лауры разогнавшая своих случайных гостей, грубиянка и насмешница, взгляда которой он побаивался? Тамара, почувствовав, что ее изучают, насторожилась, глаза сразу стали жестче, и Митя понял: да, она. Та самая.

Судя по всему, истребителям удалось задержать очередную волну — меньше, чем через час, сыграли отбой. Молча, охваченные незаметно подкравшейся усталостью, они спустились с крыши. Митя знал, что сейчас они вернутся в комнату, откуда их выгнала тревога, и будут пить чай. Дальше он не задумывал.

В комнате их ждала нечаянная радость — электростанция дала ток. Лампочки горели вполнакала, окруженные желтоватым маревом, как уличные фонари. Не раздеваясь, сели за стол и допили остывший чай. К еде никто не прикоснулся: Тамара от усталости, Митя — чтоб больше осталось Тамаре. За чаепитием перебрасывались незначащими словами, у Тамары слипались веки и смешно заплетался язык. Наконец она встала и потянулась.

— Умираю, спать хочу, — сказала она, извиняясь улыбкой за невольный зев.

Митя огорчился. Сейчас она скажет: «Ну прощайте... Заходите», — и он уйдет, так и не закрепив установившейся близости и чудесно приобретенной маленькой власти. Он шагнул к Тамаре, взял за локти, зябко прижатые к телу, заглянул в глаза. Впервые он видел их так близко. Вблизи они казались зеленоватыми и напоминали своей напряженной жизнью чувствительный глазок радиоприемника, они то тускнели, то разгорались, сужались и расширялись, как при настройке на волну. Он поцеловал эти мерцающие глаза осторожно, почти благоговейно, и, отстранясь, с радостью увидел, что они дрогнули. Тамара не пыталась уклониться, она продолжала смотреть в упор, вопросительно, испытующе. Затем вздохнула, высвободила руки и, поморщившись от усилия, расстегнула верхнюю пуговицу шинели.

У Мити сразу пересохло в горле. Как во сне, он сбросил шинель и некоторое время стоял неподвижно, замороженным взором следя за спокойными, уверенными движениями Тамары. Постелив постель, она

забежала за дверцу шкафа, вышла оттуда закутанная в старенький белый с розовым купальный халат и потушила свет.

Через четверть часа Тамара ровно дышала во сне, а Митя корчился. Рядом с ним спала женщина, еще недавно казавшаяся недостижимой и оттого еще более желанной. Он ожидал чуда, потрясения. Но чуда не произошло. Он не встретил сопротивления — и только. Ни ответной страсти, ни нежности — только покорность. Митя был бы разочарован, если б не снедавшее его страшное сомнение: а не сам ли он виноват в ее холодности? Неужели их нежданное сближение было только случайностью, ошибкой, которую Тамаре захочется поскорее забыть, и неужели завтра Тамара станет для него еще более недоступной, чем была вчера? Эта тревожная мысль долго мешала ему заснуть.

...И все-таки чудо произошло. Среди ночи Митя внезапно проснулся. Было темно и тихо, однако по каким-то почти неуловимым признакам, по сдерживаемому дыханию он догадался, что Тамара не спит. Ему показалось даже, что она смотрит на него. Протянув наугад руку, он убедился, что не ошибся. Опираясь на локоть, Тамара пыталась заглянуть ему в лицо, и может быть, даже что-то видела в темноте.

Забыв во сне о всех своих страхах и сомнениях, Митя обнял ее — и был потрясен. Равнодушно-покорная женщина проснулась, словно sprysнутая живой водой, — самозабвенно-смелой и нежной. Митя не верил своим ушам: детским, чуточку жалобным голосом она говорила ему ласковые слова, самые простые, русские, деревенские, от которых у него пошла кругом голова, наконец он услышал ее крик, который она сама пыталась заглушить и не могла, протяжный, счастливый, — в нем было радостное удивление, граничащее с испугом, гордость, благодарность. Вдруг руки ее похолодели и разжались. Митя встревожился — это походило на обморок, — но Тамара мгновенно пришла в себя и снова потянулась к нему.

— Ненаглядный мой, — прошептала она на ухо и вдруг засмеялась. Затем повторила еще раз по слогам «не-на-гляд-ный», и Митя наконец понял, что ее рассмешило, засмеялся тоже.

Он был очень счастлив. Ставши избранником женщины, которая казалась ему пленительной, он поднялся в собственных глазах, он ощущал себя сильным,

красивым, мужественным и даже почему-то умным и хитрым. Он любил Тамару за то, что ему было хорошо с ней, и еще больше за то, что ей было хорошо с ним. Он догадывался, что привнес в жизнь Тамары нечто совсем неизведанное, и это наполняло его гордостью.

В дверь постучали. Туровцев вздрогнул. Тамара спрыгнула с кровати, нащупала босыми ногами комнатные туфли и зашлепала к двери. Щелкнула задвижка, голос Тамары негромко, но очень явственно сказал: «Извини. Сейчас». Задвижка щелкнула вторично.

— Что такое? — спросил Митя, нервничая.

— Ничего. Приходил Николай за термосом. Надо было с вечера выставить его в коридор, а я забыла.

— А кто такой Николай?

— Мой муж.

Митя расстроился. Тамара поняла это по затянувшейся паузе.

— Успокойся: бывший, — сказала она с вызовом.

Митя не сразу подал голос. Он размышлял и вспоминал.

— Он живет здесь, рядом?

— Вы угадали.

— Как? Этот старик?

— Он не старик. Ему сорок четыре года.

— А почему вы разошлись?

— Как-нибудь расскажу. Сейчас не хочется.

— Он плохой человек?

— Нет, ничего. Даже скорее хороший.

Она щелкнула выключателем. Тока не было.

— Вы поссорились?

— Нисколько. У нас прекрасные отношения.

— Ничего не понимаю.

— Иначе и быть не может. Было бы удивительнее, если б ты понял.

Взвилась, шурша, маскировочная штора. Как ни мало света проникало осенним утром в окно полуподвального этажа, Туровцев понял: ночь прошла.

— Какой час? — спросил он охрипшим от испуга голосом.

— Восьмой, наверное, — беззаботно сказала Тамара. — Сейчас погляжу.

У Туровцева упало сердце.

— Я погиб, — произнес он еле слышно.

Тем не менее Тамара услышала и все поняла. Верный инстинкт подсказал ей: единственное, чем она

может проявить свою заботу, это не расспрашивать, не предлагать чаю, не обижаться на торопливый уход. Она сама подала ему шинель и не задержала его ни на одну лишнюю минуту, когда он целовал ее на прощанье.

Глава седьмая

Опрометью выбежав за ворота, Митя вскоре замедлил шаг. Успокоил дыхание, привычным жестом отодвинул жесткий обшлаг шинели, чтоб взглянуть на часы,— и остановился. Возвращаться было бессмысленно. Проклиная весь свет и самого себя, он опять побежал.

Уже слегка развиднелось, но даже самый опытный штурман, глядя на это сплошь затянутое облаками небо, не сумел бы сказать точное время. Уличные часы у Литейного моста показывали половину десятого. Митю прошиб пот. К счастью, он догадался взглянуть на второй циферблат: стрелки стояли на двенадцати.

Сквозь синеватую муть ему удалось разглядеть флагшток на «Енисее». Флаг поднят, значит, уже восемь с минутами. Вопрос заключался в том, сколько их, этих минут? Навстречу попадались только дети и старухи, единственный взрослый мужчина шел по середине мостовой, легко вышагивая длинными ногами, он был без шапки и нес на голове какой-то продолговатый предмет. Поравнявшись, Митя разглядел ношу: это был детский гробик. У мужчины были светлые, давно не стриженные волосы, на заросшем мягкой бородкой лице сияли ненатуральным блеском остановившиеся глаза.

На верхней палубе «Онеги» зенитчики проворачивали механизмы, стало быть, политзанятия еще не начались. Все равно: оставались считанные минуты. О подготовке к занятиям нечего было и думать, но Митя знал, что при некоторой ловкости десять минут перемены между уроками тоже кое-что значат. Поэтому, не заглянув в кают-компанию, он бросился к себе в каюту. Беглый взгляд в зеркало — можно не бриться. Вылил остатки одеколона на носовой платок и протер лицо — это до некоторой степени заменило умывание. Затем, не снимая шинели, присел к столу,

раскрыл «Блокнот агитатора» и через минуту убедился, что решительно не способен что-либо запомнить. Не кровь, а какая-то прохладная, колкопузырящаяся жидкость, вроде нарзана, омывала его мозг. Он чувствовал себя полностью опустошенным. Чувство было блаженное и постыдное.

Все дальнейшее напоминало дурной сон и было типичным поведением человека, поддавшегося панике. С тем полным отсутствием логики, которое отличает паникеров, он поочередно хватался за «Блокнот», за газеты, за карандашные записи Ивлева. Эти записи, сделанные твердым аккуратным почерком комиссара на оборотной стороне каких-то накладных, еще могли спасти Туровцева. Там с редкой добросовестностью было отжато самое необходимое, имена собственные подчеркнуты, цифры обведены кружками. Но Мите показались неаппетитными тусклые строчки на грязно-розовой бумаге, он вновь схватился за печатное, вновь отшвырнул и, оторвав от брошюры чистый листок, принялся составлять план. Пункт первый был озаглавлен «общие положения» и украшен сложным орнаментом. Ценой большого творческого напряжения ему удалось сочинить начало: «Для переживаемого нами этапа происходящей на наших глазах всемирно-исторической битвы с фашизмом характерно, во-первых...» Дальше дело не пошло. Митя заранее поставил на некотором расстоянии друг от друга а), б) и в), по опыту он знал, что характерных особенностей бывает не меньше трех. Но так и не выжал из себя ни одной. В конце концов он позвонил на коммутатор и, выяснив, что до звонка к занятиям осталось всего четыре минуты, решил, что перед смертью все равно не надышишься и единственный выход — положиться на вдохновение.

Политинформация проводилась, как обычно, в одной из нижних палуб в носовой части «Онеги». Едва Туровцев переступил комингс, раздалась команда «встать смирно!», и боцман, щеголяя смесью официальных и интимно-доверительных интонаций, отрапортовал. Митя небрежно бросил «вольно», и краснофлотцы опустились на свои места так же одновременно и бесшумно, как и поднялись. У этой команды даже в мелочах был свой стиль.

Туровцев огляделся. Команда сидела в три ряда на длинных скамейках. Впереди, сложив руки на ко-

ленях, восседали старшины, молодежь тянула шею из последнего ряда. В целом все это очень напоминало групповую фотографию. В центре группы помещались патриархи лодки — главстаршины Халецкий и Туляков. На грубом молодцеватом лице боцмана было написано, что начальство он видит не впервой, дисциплину понимает, но удивить его — дело невозможное. На лице солидного Тулякова застыла мягкая улыбка, означавшая: «Все идет нормально. Сейчас послушаем знающего человека, который может разъяснить». Штурманский электрик Савин сидел на краю, вид у него был рассеянный. В последнем ряду Туровцев заметил красавца торпедиста Филаретова и долговязого вестового со странной фамилией Граница.

Туровцев уже раскрыл рот, чтоб произнести первую фразу, когда произошло непредвиденное: крадучись и махая руками, чтоб боцману не вздумалось гаркнуть, вошли и сели в сторонке Ждановский и Ивлев.

«Чего ради их принесло? — подумал Митя. — Ну, механик — он, кажется, парторг. А зачем приперся военком базы?»

Откашлявшись и обтерев платком вспотевший лоб, Митя начал про характерные особенности... Он никогда не играл на сцене, но догадывался, что именно так чувствует себя молодой дебютант, уже знающий о своем позорном провале и не смеющий уйти со сцены, пока не дадут занавес. Он перемалывал общие места, путаясь в придаточных предложениях и беспрестанно повторяясь, подыскивая слова не для того, чтоб точнее выразить мысль, а чтоб соблюсти симметрию, весь во власти заданного ритма, — нарушить его он боялся, чтоб не онеметь окончательно. Продолжалось это минут двадцать или двадцать пять, сколько, Митя не знал, часов у него не было. Подводники сидели чинно, с вежливыми лицами, только Савин откровенно скучал. Боковым зрением Туровцев все время видел Ивлева и Ждановского, но прочесть что-либо на их лицах было затруднительно, они сидели под самым иллюминатором и именно потому были плохо освещены. Во время одной из пауз Ивлев вынул из нагрудного кармана часы, хрустнул крышкой, встал, потянулся и на цыпочках пошел к выходу.

После ухода военкома Митя сделал отчаянную попытку расшевелить слушателей, рассказав довольно

солёный анекдот из репертуара Георгия Антоновича. На анекдот реагировали сдержанно, засмеялся один Граница. В заключение Митя перешел к положению на Ленинградском фронте. Стремясь поразить воображение слушателей, он нарисовал картину столь мрачную, что сам перепугался, с перепугу ударился в крайний оптимизм, обрисовал завтрашний день в самых розовых тонах и, сделав ряд отчаянно смелых прогнозов, умолк. Он весь взмок под кителем, хотя в кубрике было прохладно.

На всех лицах по-прежнему читалось ожидание. Митя выпил третий стакан воды и, развязно улыбаясь, пробормотал, что он, так сказать, нарочно сжал вводную часть, с тем чтобы, если возникнут вопросы, иметь, так сказать, возможность в форме живой беседы...

Вопросов оказалось много.

Первым встал главстаршина Туляков. Негромким голосом, улыбаясь и застенчиво покашливая, он задал шесть вопросов. Туляков называл фамилии генералов рейхсвера и географические пункты, каких Туровцев и не слыхивал. На секунду ему почудился подвох, но, взглянув на Тулякова, он сразу отбросил подозрение: на этом открытом лице негде было спрятаться коварству. Следующим попросил слова Халецкий. С первых же слов Митя понял, что боцман любит и умеет поговорить. Боцмана интересовало положение на Черном море. Затем встал Филаретов. Вопросы посыпались.

Митя заметался. Следовало хотя бы записать вопросы, но он не взял с собой ни карандаша, ни бумаги. Оглянувшись, он увидел, что механик положил блокнот на колено и что-то торопливо пишет.

«Рапóрт,— подумал Митя.— Ну что ж — правильно...»

На два вопроса он ответил вполне пристойно, но на третьем запутался и понес околесицу.

— Разрешите, товарищ помощник?

Туровцев не сразу понял, что Ждановский обращается к нему. Когда же понял, то похолодел. «Вот оно — начинается»...

— Да, пожалуйста,— сказал он поспешно. Поспешность граничила с угодливостью.

Механик поднялся со скамьи и задумался, прикидывая, с чего начать.

— Товарищ лейтенант, — сказал он своим глуховатым голосом, — на мой взгляд, очень правильно отметил некоторые черты сложившейся на Балтике обстановки.

«Издеваешься», — подумал Митя.

— С вашего разрешения, — механик повернул к Туровцеву не улыбающееся лицо, — я позволю себе дополнить сказанное некоторыми соображениями...

И, переждав немного, как бы для того, чтобы убедиться, что разрешение ему действительно дано, он неторопливо, делая остановку, когда нужное слово приходило не сразу, ответил на затруднявший Митю вопрос. Выглядело это так, как будто все главное было уже сказано раньше, он же только уточняет детали. Затем так же незаметно он перешел к положению на Ленинградском фронте. Он не спорил и не поправлял, а только несколькими штрихами смягчил мрачные краски и приглушил слишком радужные; он даже присоединился к Митиным прогнозам, но как-то так, что, нисколько не потеряв в оптимизме, они приобрели гораздо более правдоподобия. Время текло незаметно, и хотя общеизвестно, что к концу занятий внимание слушателей ослабевает, Митя увидел признаки оживления. Даже Савин перестал скучать.

Наконец затрещали звонки. Механик так же серьезно, без тени улыбки, попросил у товарища помощника командира корабля извинения за то, что злоупотребил данным им разрешением, и выразил уверенность, что на вопросы, оставшиеся сегодня без ответа, товарищ помощник ответит в следующий раз. С этими словами он положил перед Туровцевым вырванный из блокнота листок. На листке торопливым, но разборчивым почерком были записаны все заданные подводниками вопросы.

Поднявшись на верхнюю палубу, Туровцев долго стоял у шлюпочной стрелы, уныло рассматривая голые верхушки деревьев Летнего сада. Дежурный поглядывал на него с удивлением — лейтенант стоял с непокрытой головой и имел вид крепко задумавшегося человека. Но Митя ни о чем не думал, вернее, у него не было связной мысли, он всем своим существом переживал поражение. Дежурный удивился еще больше, когда лейтенант без всяких видимых причин со-

рвался с места и с искаженным лицом перебежал на левый борт. Он не знал, что именно в эту минуту лейтенант ощутил настоятельную потребность разыскать командира и поведать ему о своем провале: пусть обругает, наложит взыскание, пусть даже выгонит, лишь бы все было уже позади. В каюте Горбунова не оказалось, и Митя побежал на лодку. У трапа его от чистого сердца облапил Саша Веретенников, но Митя так грубо вырвался из дружеских объятий, что тот, несколько не обидевшись, проводил его встревоженным взглядом.

Соскользнув с неожиданной лихостью в центральный пост, Митя сразу понял, что Горбунов у себя, — присутствие командира на лодке всегда ощущается. И действительно, во втором отсеке он обнаружил Горбунова. Командир сидел на своем узком кожаном диванчике и, навалившись грудью на столик, что-то рисовал, хмыкая носом и посмеиваясь.

«Еще не знает», — подумал Митя.

Горбунов оторвался от чертежа и поднял на помощника улыбающиеся глаза.

— Ну? Что стряслось?

«Знает», — подумал Митя. Нарочито сухо — только факты — он рассказал о своем провале. Горбунов слушал, не перебивая, и, только убедившись, что помощник сказал все, что хотел, заговорил.

— Не расстраивайтесь, — сказал командир. Туровцева поразил тон — ласковый и даже с оттенком легкомыслия.

— Как же не расстраиваться, Виктор Иванович?..

— Вам сейчас, наверное, мерещится, что вся команда только о том и говорит, как шлепнулся новый штурман? Успокойтесь — никто ничего не заметил.

— Вы думаете? — спросил Митя с надеждой.

— Думаю. К сожалению, они не избалованы. Каждому из них приходилось столько раз в жизни скучать, что вы их ничем не поразили. Конечно, вы ничего не приобрели в смысле авторитета, но и потери ваши пока невелики. Впрочем, у вас все впереди, — добавил Горбунов с неожиданной жесткостью, — если вы поставите себе задачу обязательно потерять авторитет, верю, что вы этого добьетесь. Безграничный авторитет — это такая же поэтическая вольность, как безбрежный океан. Если берегов не видно, это еще не значит, что их не существует.

Митя промолчал.

— Если уж сравнивать, — продолжал Горбунов, — я бы сравнивал авторитет командира с энергией аккумуляторных батарей. Пользуйтесь, но не забывайте заряжать... Ну хорошо, — перебил он сам себя. — Вы воды?

Митя не понял. Он считал, что оргвыводы — дело начальства.

— Какие же я сам могу делать выводы?..

— Будь я на вашем месте, — сказал Горбунов насмешливо, — я начал бы с того, что попросил поручить мне следующую политбеседу. Я провел бы ее не просто хорошо — меня бы это уже не устроило, а отлично, блестяще, превосходно, всем на удивление. У вас записаны вопросы команды?

— Да, конечно.

— Дайте.

Митя покраснел: командир наверняка знал почерк Ждановского. Но делать нечего — он протянул листок.

Горбунов погрузился в чтение, как в воду нырнул. Он как будто сразу оглох. Это продолжалось минуты две. Туровцеву не сиделось на месте. От нетерпения он вскочил и прошелся по узкому проходу между койками. Наконец Горбунов поднял глаза, поискал помощника.

— Любопытная картина, — сказал он, усмехаясь.

Про картину Митя не понял. Что там особенно любопытного, в этих вопросах? Он начал злиться. Ему показалось, что Горбунов нарочно говорит загадками, чтобы подчеркнуть, как еще далек Туровцев от сплававшегося коллектива, где все понимают друг друга с полуслова.

— Сядьте, не мелькайте. И посмотрите, что получается. — Тон был настолько дружеский, что Мите немедленно стало стыдно. — Все вопросы так или иначе сводятся к одному — пойдем ли мы весной в море? Люди хотят знать обо всем: как дерутся под Москвой и можно ли верить союзникам, но еще больше их интересует ремонт, противоминная защита, операции в береговой полосе. Еще вчера казалось, что им никогда не надоест отдыхать, а сегодня они уже жаждут действия и требуют, чтобы мы — командование — поставили перед ними ясные цели. Любой трудности, но совершенно четкие.

— А как бы вы ответили? — спросил Митя не без ехидства.

— Ответить на этот вопрос в принципе легче легкого. Спросите любого чинушу на бригаде, и он вам отрапортует, что подводный флот будет наносить врагу сокрушительные удары — это и оптимистично, и патриотично, и безопасно. Существует распространеннейший предрассудок, что правильные идеи не нуждаются в доказательствах. Как раз их-то и надо доказывать, и не словами только, а расчетами и работой. Для того чтоб команда поверила, что весной я поведу корабль в Балтику, мы с вами должны, раньше чем ляжет снег и станет Нева, начать систематически готовить людей и технику к бою. Я знаю, что теперь вы вы зубрите фамилии генералов и названия географических пунктов, но этого мне мало. Я требую, чтоб вы, как мой помощник, умели отвечать на все вопросы, на все решительно. Даю вам неделю. Вы не женаты?

— Нет.

— Отлично. Я не спрашиваю у вас, где вы были этой ночью. Но об одном условимся твердо. Идет война, и вы мне нужны целиком. Если у вас есть женщина — бросьте ее.

Митя промолчал.

— Не подумайте, что я монах и женоненавистник. Я такой, как все. Но я твердо убежден, что моряк должен воевать вдали от своих близких. Единственное, чем он может им помочь, — это разбить врага. У меня нет ни жены, ни детей, когда-нибудь я пожалею об этом, но сегодня — у меня развязаны руки.

Митя продолжал молчать. Одно неосторожное слово — и Горбунов догадается, что он читал письмо в черном конверте.

— Потерпите, — сказал Горбунов со своей характерной кривоватой усмешкой, обнажавшей только нижние зубы. — В Ленинграде сейчас нетрудно найти одинокую женщину, готовую приглубить здорового и красивого моряка. Можете по неопытности нарваться на вражескую агентуру, и придется вам, вместо того чтобы заниматься делом, ходить и доказывать, что вы не верблюд. Потерпите, — повторил он, ласково хлопнув Туровцева по руке. — И вообще — плюньте. Послушайте меня. К черту! Не стоит того.

Митю поразили тон, каким это было сказано.

Горбунов поспешил улыбнуться, но улыбка получилась натянутой.

— Впрочем,— сказал он,— чтоб заниматься глупостями, нужно свободное время, а у вас его не будет. Вы завели себе блокнот?

— Нет еще.

— На Невском продаются прекрасные блокноты. Разрешаю вам пойти и купить. Будете записывать мои задания. Обойдите лодку от носа до кормы или от кормы до носа — это уж как вам угодно — и составьте списочек всего, что, по вашему мнению, требует ремонта, замены или пополнения. Поговорите со старшинами групп, не стесняйтесь спрашивать и переспрашивать. Я, кажется, дал вам неделю? Много. После завтра в одиннадцать доложите мне ваши соображения. Договорились? А насчет сегодняшнего — не очень расстраивайтесь.

Горбунов ободряюще улыбнулся помощнику и снова провалился в свои чертежи. Он уже не видел и не слышал, так что спрашивать у него разрешения идти было бессмысленно.

В центральном посту Туровцев присел за игрушечный штурманский столик и, перелистывая для виду корабельный журнал, попробовал привести в некую систему свои мысли и ощущения.

«Итак,— сказал себе Митя,— что мы имеем на сегодняшний день в свете происходящей на наших глазах всемирно-исторической битвы с фашизмом? Мы имеем лейтенанта Туровцева, провалившего первое же порученное ему задание исключительно по лени и распушенности. Командир — золото, все понял и не ругал, надо разбиться в лепешку, но доказать, что он не ошибся в выборе помощника, я не глупее и не трусливее других лейтенантов, которые воюют, командуют, о которых пишут газеты... Это во-первых. А во-вторых? Во-вторых, существует Тамара. Что и говорить, с Тамарой жалко расставаться, но, наверно, Горбунов прав — это необходимо. Она, конечно, очень хороша, и неизвестно, встречу ли я когда-нибудь такую женщину, но человек не должен быть рабом своих удовольствий. В конце концов, она мне не жена, не невеста, и, если подумать, я о ней решительно ничего не знаю. Следовательно, мои отношения с Тамарой не что иное, как случайная связь, не накладывающая ни на одну из сторон никаких обязательств. Так что

и этот вопрос рассмотрен со всех сторон и совершенно ясен. Кажется, Горбунов что-то там подпускал насчет вражеской агентуры. Ну, это побоку — Тамара не похожа на шпионку. А впрочем, что значит «не похожа»? Если б шпионки были похожи на шпионов, их бы попросту задерживала на улице милиция. В сущности, если вдуматься, все очень похоже на то, как это принято изображать: частная квартирка, вечеринки с вином, захаживают военные, выбор, естественно, падает на лейтенанта, не потому, что он так неотразим, а потому, что он единственный, кто носит золотые нашивки и к тому же молод, глуп и податлив. Где-то рядом под личиной мирного обывателя скрывается немецкий резидент, он требует от своей сообщницы дислокацию кораблей и оперативные планы. Но как ни наивен лейтенант Туровцев, он близок к тому, чтоб разгадать их грязную игру. Тогда резидент требует — убрать Туровцева... Ну, это я, конечно, хватил, но все-таки не мешает при случае выяснить, действительно ли этот небритый тип — ее бывший муж...»

...«При случае? При каком это случае? Вы разве собираетесь туда пойти, Дмитрий Дмитрич?»

По пути к корме Туровцев прошел, не задерживаясь, четвертый отсек, пустой и холодный, с поднятыми коечными сетками, пахнувший покинутым жильем, рванул стальную дверь пятого и невольно скорчил гримасу.

Оба дизеля работали на полную мощность, наполняя тесный отсек грохотом. Сквозь величественный рев воздуходувок и оглушительно жесткое цоканье клапанов Митя расслышал: «Здравия желаю, товарищ лейтенант». Осмотревшись, он увидел Тулякова. От его улыбки повеяло таким спокойным доброжелательством, что Мите не захотелось уходить. Он кивнул и показал на уши. Старшина понял и тихонько пропел: «Конобе-ёв...»

Оказалось, что между правым дизелем и ребристым корпусом лодки скрывается здоровенный моторист. По-видимому, он расслышал не только свою фамилию, но и интонацию — оба дизеля остановились одновременно, как по команде. От наступившей тишины у Туровцева заломило в ушах.

— Как дела, Туляков?

— Все нормально, товарищ лейтенант. Вот дизеля пускаем.

— На зарядку? — спросил Туровцев тоном знатока.

— Никак нет, с медицинской целью. Прослушиваем на разных режимах. Желаете?

— Давайте.

— Конобе-ёв...

Правый дизель взвыл, загremели клапана. Туляков нагнулся и приложил ухо к кожуху мотора.

— Вот, — сказал Туляков. Он обращался к Туровцеву, как лечащий врач к приглашенному на консилиум профессору. — Вот, пожалуйста.

Митя тоже приложил ухо к кожуху, но решительно ничего не услышал. На всякий случай он глубоко-мысленно кашлянул и сделал озабоченное лицо. Это вполне удовлетворило Тулякова, он мигнул Конобееву, и дизель затих.

— Поршневые кольца надо менять. Втулочки, обратно, менять. Сальники тоже пропускают. — Старшина похлопал дизель по станине, как лошадь по крупу. — Переборка нам нужна. Полная переборочка.

— А что, поизносились?

— По идее, большого износа быть не должно, машины хорошие, недавно из среднего. Ну, конечно, — Туляков придвинулся и понизил голос, как будто речь шла о семейной тайне, — последние дни у нас все было под метелочку: соляр, смазка, вот ходовые части и греются. Главное же дело — бомбежка.

— Что бомбежка? — не понял Митя.

— Хуже нет для дизелей. Возьмите, к примеру, такой факт. В Данцигской бухте побомбила нас авиация. Ночью всплываем на зарядку батарей, я сразу замечаю: левый шалит, снижает обороты, стуки, нагрев, то да се... Или такая картина — наваливаются на нас в тумане катеришки, Борис Петрович командует полный вперед. Ну и запускаешь холодный двигатель сразу на большие обороты, обстановка такая, что, даю вам слово, маслом прокачать — и то нет возможности. А в результате?

Такой рассказ о боевом походе Туровцев слышал впервые. Туляков помнил поход памятью моториста, он повествовал о тяжких испытаниях, которым подвергались дизеля, совершенно забывая при этом о собственных.

«Свинство, — подумал Митя. — Я до сих пор ничего толком не знаю о походе. Ни с кем не поговорил, даже не прочитал документов...»

— Не слышали, товарищ лейтенант? — спросил вдруг Туляков. — Говорят, за границей на подводных лодках две команды.

— Как две? — Туровцеву показалось, что он недослышал.

— Две команды — бортовая и береговая. Бортовая, стало быть, плавает, воюет, а как пришли на базу — точка. Сходит на берег, а заступает береговая. Ремонт, покраска, это уж ее забота, бортовая только отдыхает.

Нечто подобное Митя слышал, но никогда не задумывался, хорошо это или плохо.

— По идее, оно будто подходяще. Как, товарищ лейтенант?

Митя пожал плечами.

— Не знаю, — протянул он. — Тут еще надо подумать.

Он и не подозревал, что этим ответом завоевал сердце старшины. Туляков заулыбался:

— Вот именно, подумать. Вопрос будто и простой, а... — Он не закончил фразу, изобразив степень сложности вопроса губами и пальцами. — Так что разрешите вам напомнить.

До шестого отсека Митя так и не добрался. Прибежал с «Онеги» Каюров и сообщил, что Ходунов требует срочно освободить штатную каюту.

— Вот что: перебирайтесь-ка вы ко мне, — сказал Каюров, когда они поднялись на «Онегу», — отдельной каюты вам все равно не дадут, а я из уважения к начальству уступлю тебе нижнее место. Доктор со мной жить не хочет, потому что я курю, а он только что бросил и сейчас опаснее тигра. Как сожитель я имею ряд неоценимых достоинств: не храплю, не хвастаюсь любовными победами и не рассказываю старых анекдотов. Идет?

Все это было сказано так весело и дружелюбно, что Мите сразу же захотелось согласиться. Однако для поддержания своего достоинства он ответил, что хочет сперва выяснить обстановку, ну и — само собой — посмотреть, что за каюта.

Обстановка выяснилась быстро — Ходунов не пожелал даже разговаривать об отдельной каюте для лейтенанта Туровцева. Каюровская каюта Мите понравилась: небольшая, зато теплая, дверь в дверь с машинным отделением. Книг и фотографий у Каюрова

оказалось даже больше, чем у Горбунова, и Мите стало неловко: при весьма высоком мнении о собственной интеллигентности, у лейтенанта Туровцева не было никаких книг, не было даже карточки отца с матерью.

Митя загляделся на одну из фотографий, пораженный юной прелестью женского лица. Женщина была худенькая, с рассыпающимися из-под гребенки светлыми волосами. Она держала в тонких обнаженных руках тяжелый кружевной конверт, стараясь, чтоб лицо младенца попало в объектив. Рядом с женщиной стоял сухощавый и черноватый мужчина в гимнастерке со старинным — на розетке — орденом Красного Знамени. Если б не резкие продольные морщины на бритом лице, можно было бы предположить, что это сам Каюров. В углу той же рамки приткнулся снимок, изображавший сурового старика с длинной седой бородой, в шубе и высокой шапке.

— Разрешите представить, — сказал Каюров. — Это Мурочка — личность обожаемая. Человек у нее на руках — наш сын Алексей Васильевич, от подробной характеристики воздержусь, ибо мы пока не знакомы. Мужчина с орденом — мой отец Никита Степанович Каюров, директор зверосовхоза, область Коми. Старец, которого ты принимаешь за моего деда, — Константин Эдуардович Циолковский. Ну так как — по рукам?

От нижнего места Митя отказался и явно огорчил этим Каюрова, — как видно, он тоже предпочитал верхнее.

После обеда — лодочников кормили в той же кают-компании, но по другой норме, и тоже плохо — они вернулись в каюту, отдраили иллюминатор, легли и закурили.

— Не раскаиваетесь? — спросил Каюров.

Свесившись со своей верхней койки, Митя увидел, что минер смеется.

— В чем?

— В переходе на двести вторую.

— А почему я должен раскаиваться?

Каюров опять засмеялся, на этот раз громко.

— Слушай, друг, ты вроде нашего Халецкого: он тоже любит отвечать на вопрос вопросом. Кроме шуток: я убежден, что лучше двести второй кораблей не бывает. А впрочем, может, и бывает — я не видел.

В конце концов тебе тоже понравится. Но сперва Горбунов выпьет у тебя ведро крови.

— Скажи, пожалуйста, — спросил Митя, стараясь говорить небрежно, — что такое Горбунов?

— Вам как прикажете — в двух словах?

— Желательно.

— Виктор Иванович Горбунов не такая простая человеческая особь, чтоб уложить ее в два слова. В общем, если хочешь жить с ним в мире, запомни: он обожает вводные и ненавидит допуски.

— М-да, — сказал Митя. — Коротко, но туманно.

— Что такое вводная задача, тебе должно быть известно из курса тактики.

— Предположим. А какая разница между вводной и допуском?

— Такая же, как между фантазией и ложью. «Даю вводную» — это значит: представь себе то, чего нет. Делать допуск — это значит притворяться, что оно есть. Послушай-ка, — сказал он без всякой связи с предыдущим, — ты хотел бы быть всесильным?

— То есть?

— Как в сказке. По щучьему велению, по моему хотению... Скажем, захотел, чтоб Гитлер ни с того ни с сего раздулся и лопнул: напярк свою волю — и бенц, фюрера как не бывало. Хотел бы?

— Пожалуй, да.

— А я — нет.

— Нет? — удивился Митя. — Почему же?

— Рисковое дело, можно наломать дров. Доктор со мной — это редкий случай — согласен. Ты помнишь, у Уэллса в одном рассказе описан человек, у которого была такая способность? Короче говоря, с тем субъектом произошла следующая петрушка: он шел домой поздно, выпивши, и, чтоб жена не ругалась, решил остановить время. Остановил вращение Земли, но не учел инерции, и все, что было на поверхности, полетело вверх тормашками. Выводов два. Первый: нечистая сила требует точной программы действий. Второй: наряду с физическими закономерностями наверняка существуют социальные, их можно изучать и направлять, но вмешиваться в них по произволу — штука опасная. Так что вместо щучьего веления придется нам ударить по Гитлеру более испытанным средством — торпедой. Тебе повезло, — заявил он, как всегда не очень заботясь о переходах, — получаешь

боевую часть в отличном состоянии. Боцман — такого поискать, но хитер и властолюбив, как турецкий паша, с ним держи ухо остро, не то сядет на шею. Савин — трудный экземпляр, но лучшего специалиста нет на бригаде. Фалеев — тот дело знает, но инициативы никакой, от инструкции ни шагу...

— Фалеев? Командир отделения рулевых?

Каюров не ответил. Митя свесился с койки, чтоб посмотреть, в чем дело, и увидел, что минер крепко спит.

Адмиральский час пролетел, как единый миг. Митя чуть не проспал, выручил Каюров, умеющий, как истинный моряк, мгновенно засыпать и вовремя просыпаться.

Спускаясь по трапу в центральный пост, Туровцев решил, не откладывая в долгий ящик, познакомиться с Фалеевым. Разыскивать его не пришлось, он дежурил по лодке. Горбоносый блондин с отличной выправкой. На все вопросы штурмана он отвечал четко, не задумываясь, с застывшим лицом. После пятиминутного разговора Туровцев убедился, что Каюров прав.

Не в пример интереснее оказался штурманский электрик Савин, тот, что откровенно скучал на политической информации. Он тоже держался строго официально, но чуткий к оттенкам Митя скоро догадался, что это официальность совсем другого сорта, не солдатская, а скорее светская. «Волею судеб ты мой начальник, — говорил он всем своим видом, — я признаю твою власть, но отказываю тебе в превосходстве. Надеюсь, ты оценишь, что я ни на минуту не забываю о своем положении, и за это избавишь меня от начальственной фамильярности». В том, что Савин отлично разбирался в навигационных приборах, не было ничего удивительного, многие старшины знали свою узкую специальность не хуже. Удивительно было, что Савин знал об электричестве гораздо больше, чем Митя, и при этом не только не щеголял своими знаниями, но чрезвычайно неохотно их обнаруживал. Он держал себя настороже, а когда Митя пошутил — улыбнулся одними губами, только из вежливости. Несомненно, за сдержанностью Савина крылась какая-то тайна.

Третью загадку задал боцман. Этот рыжий богатырь, весь в татуировке, оказался обидчив, как

девочка. Он явился на зов помощника, сияя приветливой улыбкой, очень красившей его грубое лицо, был весел и словоохотлив, но стоило Туровцеву в мягкой форме оспорить какое-то пустяковое распоряжение боцмана, как тот посерел, замкнулся и до конца разговора сохранял оскорбленную мину.

К ужину Туровцев успел осмотреть заведования и поговорить со специалистами не только в своей штурманской, но и в самой большой из боевых частей корабля — электромеханической. Командовал ею Ждановский, а душой был старшина группы мотористов Туляков. В других группах — электриков и трюмных машинистов — тоже были опытные старшины, но им было далеко до Тулякова, а личный авторитет Тулякова стоял даже выше боцманского. Без помощи Тулякова, знавшего все не только о своих дизелях, но обо всем хозяйстве боевой части, Туровцев провозился бы гораздо дольше. Оставались владения Каюрова, надо было поговорить с торпедистами (в надводном положении торпедист превращается в артиллериста, точно так же как рулевой в сигнальщика) и осмотреть оружие. На это оставался весь завтрашний день — более чем достаточно. Взобравшись на мостик и с наслаждением глотая влажный воздух, Митя впервые за многие недели ощутил, что доволен прожитым днем. Хорошо поработал и нисколько не устал. После ужина надо будет потратить полчаса, чтобы просмотреть и перебелировать свои записи, еще час на чтение газет и ивлевских конспектов, и тогда день можно считать проведенным образцово. Если по такому образцу прожить завтрашний, послезавтрашний и так далее, то можно, не надрываясь, поспеть всюду, до тонкости изучить лодку — механизмы и людей, — вызубрить назубок все лоции и наставления, освежить в памяти формулы и таблицы, словом, стать безупречным вахтенным командиром, знающим, спокойным, авторитетным, любимым командой и товарищами, правой рукой Виктора Горбунова. Для этого достаточно одной зимы, а весной лодка выйдет в Балтику.

«Ночь. Только что всплыли. Лодка идет под дизелями двенадцатиузловым ходом. Горбунов передает вахту Туровцеву и спускается с мостика, он устал, и его познабливает. Туровцев поднимает воротник кожаного реглана (надо обязательно раздобыть реглан) и занимает свое излюбленное положение — прижима-

ется левым боком к ограждению, правая нога на крышке люка. Крупные дождевые капли барабанят по мостику и растекаются по стеклянному козырьку. Туровцев придавливает огрубевшим большим пальцем тлеющий в трубке табак и глубоко затягивается. Медовый запах табака смешивается с запахом соленой влаги и выхлопных газов. Мягко шуршат винты, и лодка скользит, как тень, как призрак... Время от времени лейтенант Туровцев вскидывает к глазам висящий у него на груди сильный бинокль: сигнальщики смотрят зорко, но, как говорится, свой глаз — алмаз. В эн часов эн-эн минут впередсмотрящий докладывает — слева, курсовой двадцать, силуэт крейсера. Крейсер? (Глаза впиваются в окуляры, пальцы привычно ложатся на зубчатое колесико...) Ага! Так какой же это крейсер, пора, кажется, знать силуэты. Линкор типа «Адмирал граф Шпее». Ср-р-рочное погружение!!»

Сгустившаяся темнота и начавший накрапывать дождь очень способствовали полету Митиной фантазии. Но уже через минуту голод оттеснил мечтания, и Митя побежал на «Онегу». В кают-компанию он явился первым, раньше всех проглотил сыроватые, пахнущие щелоком блинчики и ринулся в каюту, обуреваемый благими намерениями. Прежде всего он включил настольную лампу и аккуратно разложил перед собой ивлевские конспекты и брошюры. Затем извлек из нагрудного кармана крохотную алфавитную книжку, служившую ему уже несколько лет. За один день он исписал ее от корки до корки, и теперь следовало, не откладывая, расшифровать эту доморощенную стенографию. Хотел заметить время, но вспомнил, что часы остались у Тамары.

На первой страничке алфавита были две старые записи, обе чернилами: телефон Таллиннского аэропорта и некоей Аллы (аэропорт в руках у немцев, Алла, вероятно, тоже...). Затем шла свежая карандашная запись: «Фал. Погонемс Горб!!!» Что за штука «погонемс»? Вспомнил и засмеялся: «Фалеев. Поговорить о нем с Горбуновым».

Прошло не меньше получаса, прежде чем он добрался до буквы «З». Знакомых на эту букву у него никогда не было, поэтому он очень удивился, обнаружив на самом верху странички четкую запись, сделанную незнакомым почерком: «Зими́на Т. А.— Б 4-92-16». Митя долго и безуспешно рылся в своей памяти, пы-

таясь вспомнить знакомую с такой фамилией. Наконец его осенило: Тамара.

Первым ощущением была ничем не замутненная радость. Захотелось немедленно позвонить. Митя вскочил. В коридоре он остановился, раздумывая: городской телефон есть у дежурного, но туда идти не стоит, нет — лучше в канцелярию...

Канцелярия дивизиона помещалась в корме за кают-компанией. Тесная клетушка, всю меблировку которой составляли два железных стула, шкаф и стол с допотопным «ундервудом». На одном из стульев восседал старший писарь Люлько, высоко ценимый на дивизионе за умение печатать двумя пальцами, — все остальные пользовались для этой цели одним, что выходило вдвое медленнее. При появлении Туровцева Люлько приподнялся и, увидев, что лейтенант взялся за трубку, деликатно вышел и притворил за собой дверь.

Группа «Б» ответила не сразу. Митя долго тряс рычаг, нажимая то одну кнопку, то обе сразу. Наконец он услышал голос телефонистки и прокричал ей номер. Не расслышав ответа и не получив соединения, он снова вызвал группу. На этот раз группа ответила металлическим голосом: «Вам же сказано — номер выключен». Похолодев, Митя опустил трубку на рычаг.

Вернувшись в каюту, он уже не смог работать. Его томило беспокойство. Почему выключен аппарат? Разбомбило дом? Но за весь день не было ни одной воздушной тревоги. Артобстрел? Нет, артиллерийской, кажется, тоже не было.

«А может быть, — Мите стало совсем не по себе, — Тамара вместе со своим таинственным соседом арестована, комната опечатана, телефон снят».

Через десять минут Туровцев уже несея по Набережной. Он сам не понимал, какое чувство заставило его надеть шинель и, никому не сказавшись, уйти с плавбазы, — мужество или страх, любовь или любопытство. Почти всю дорогу он шел спортивным шагом и, только миновав Литейный, сбавил темп. Нужно было продумать все возможные варианты, среди которых было и немедленное возвращение на плавбазу.

«Если верно мое последнее предположение, — думал Митя, — идти бессмысленно. Узнать я все равно ничего не узнаю, а неприятности нажить могу. На-

пример, попасть в засаду. Придется Виктору Ивановичу вызволять своего незадачливого помощника. Кстати, должен ли я в этом случае рассказать все, абсолютно все? Как мужчина и рыцарь — нет. А как военнослужащий и член ВЛКСМ?

Значит, вернуться?

Вернуться — значит сжечь корабли. Отказаться не только от встреч с Тамарой — это, может быть, и разумно, — но даже от попытки что-либо узнать о ее судьбе. Вдруг она больна, нуждается в помощи, ждет своего Димочку, а Димочку уже Митькой звали...

Каламбурите, Дмитрий Дмитрич?»

Туровцев решительно свернул под арку и был немедленно вознагражден. Дверь флигеля со скрежетом отворилась, и на крыльце появилась Тамара. Не замечая Мити, она осторожно, двумя руками стащила с крыльца тяжелое ведро и скрылась в узком проходе между торцом флигеля и глухой стеной, разделявшей дворы. Митя нагнал ее и пошел рядом; он не совсем ясно представлял себе, совместимо ли с достоинством лейтенанта таскать помойные ведра, только у самой свалки он отобрал ведро, чтоб вытряхнуть.

— А я звонил, — сказал он уже в комнате, ополаскивая руки над тем же ведром. Он не решился сказать ни «тебе», ни «вам», и получилось принужденно.

Тамара слабо улыбнулась. Вид у нее был утомленный.

— Да, выключили.

— Почему?

— Теперь у всех выключают. Оставляют только в учреждениях.

— И давно?

— Третьего дня. Позвонили со станции и предупредили: «Ваш аппарат выключается». — «Надолго?» — спрашиваю. «До Победы».

— А как же тогда?..

Туровцев запнулся. Он соображал: аппарат выключен третьего дня. Номер вписан в книжку вчера вечером или сегодня утром. Номер, по которому заведомо нельзя позвонить. Значит, это был предлог. И вообще — что за манера лазить по карманам?..

Все стало трудно — говорить, встречаться взглядом. Молчание сильно затянулось, но Митя не решался заговорить, он знал свою способность некстати хрипнуть и боялся себя выдать. Вряд ли Тамара догадыва-

лась, какие мысли роились в его голове, но принужденность сообщилась и ей. Несмотря на усталость, она сидела на краю тахты очень прямо, как сидят в приемных, и на лице у нее то самое выражение, которое бывает у людей, населяющих приемные, — не то нетерпение, не то равнодушие.

— Между прочим, я ненадолго, — сказал Митя и вновь умолк.

Тамара кивнула, тихонько поднялась, взяла с подзеркальника часы и положила их перед Митей. По поводу часов Митя выразил удивление и радость столь бурные, что их никак нельзя было признать естественными. В общем, все было как нельзя более фальшиво.

— Впрочем, — сказал Митя после внимательного изучения циферблата, — четверть часика у меня еще есть. — «Разговариваю, как полный идиот, — отметил он про себя. — Впрочем, между прочим... Что впрочем? Между каким прочим?»

Тамара слегка пожала плечами. Жест означал: «как хочешь» или даже «как хотите». Надо было уходить или начинать разговор. И Митя спросил о записной книжке, спросил небрежно, с улыбкой, превращавшей вопрос в шутку, но Тамара инстинктом угадала, что за натянутой шутливостью таится что-то оскорбительное, и вспыхнула:

— Извини, пожалуйста, что я взяла твою книжку. Честное слово, я ее даже не перелистала. Мне бы и в голову не пришло лазить по твоим карманам, но когда я гладила китель...

«Гладила китель!»

Все сразу стало на свои места, и Митя сгорел со стыда, вспомнив, как он, бесчувственно пьяный, валялся на тахте, в то время как Тамара замывала и отглаживала его отвратительно изгаженный китель. И это животное еще смеет... Он двинулся к Тамаре, протянув руки, безмолвно моля о прощении. Они обнялись.

Стук в дверь заставил их отпрянуть.

— Это ты, Николай?

— Нет, это я, Тамара Александровна.

Голос — уверенный, звучный — показался Мите знакомым.

— Извините, что без звонка, — добродушно сказал Селянин, протискиваясь в комнату. — Телефон-то, оказывается, выключен. До Победы, как теперь го-

ворят. А я не могу ждать до Победы, для меня это слишком долго. Кажется, старый знакомый? Здравствуйте, лейтенант.

Он сделал Мите ручкой.

— Помнится, я забыл у вас свой карманный прожектор,— продолжал он, садясь. Шинели он не снял, но расстегнулся и размотал кашне.— Я без него слеп, как крот,— пояснил он, получив свой фонарь.— Производим учет материальных ценностей, приходится ходить по складам, где сам черт ногу сломит...

Тамара и Митя промолчали.

— А впрочем, знаете что,— сказал Селянин. Холодный прием его несколько не смущал.— Оставьте его себе. Предчувствую, что он вам еще пригодится. Батарейка сдает,— он помигал фонарем,— но это не страшно. Скажу Соколову, чтобы он завез вам десяток на запас, до весны вам хватит.

Митя сидел нахохлившись. Ему было неприятно вторжение Селянина, неприятно, что Тамара приняла подарок и позволяет этому чужому человеку сидеть и растабарывать, в то время как под лейтенантом Туровцевым горит земля. Он приготовился отвечать Селянину крайне сухо и решительно оборвать при первой попытке взять покровительственный тон.

Но Митя недооценил противника.

— Я очень рад, что встретил вас сегодня,— сказал вдруг Селянин, круто повернувшись всем корпусом к Мите и глядя на него в упор своими большими холодными глазами.

— Меня? — пролепетал Митя. Ему хотелось, чтоб «меня» прозвучало иронически, но ничего не вышло — удивление съело иронию.

— Именно вас,— веско подтвердил Селянин. Он улыбался ласково и насмешливо, забавляясь Митиным недоумением.— Объясню. Дело в том...— Он вынул большой портсигар из тисненой кожи и вопросительно посмотрел на Тамару.

Тамара кивнула.

— Дело в том,— повторил он, неторопливо размяв папиросу и прикурив от Митиной трубки,— что я очень виноват перед Тамарой Александровной. Выяснилось, что мой приятель — пошлый дурак и не умеет себя вести в приличном обществе. Я и раньше догадывался, что он болван, но не представлял себе размеров бедствия. Полагаю, что я поступил правиль-

но, избавив вас от его запоздалых извинений, извиняться должен я. Так что, не будь у меня этого предлога, — он помигал фонариком, — я все равно заехал бы к Тамаре Александровне, чтобы вымолить прощение. Второй человек, мнение которого мне не безразлично, — это вы. Меня мало беспокоит, что думает мой старый знакомец доктор Божко, но мне почему-то не хочется, чтоб у вас составилось обо мне ложное представление. Вот почему я считаю своим долгом извиниться также и перед вами. Извините великодушно.

Он, улыбаясь, протянул Мите свою крупную выхоленную руку, и Мите ничего не оставалось, как пожать ее.

— Удивительная психика вырабатывается у этого рода субъектов, — продолжал Селянин, шире распахнув полы шинели и стягивая кашне. — У его папы в нэповские времена на Вознесенском проспекте было нечто вроде кондитерской, сын это помнил и был тише воды, ниже травы. А теперь он почти бог, потому что только лицо, облеченное божественной властью, может в осажденном Ленинграде дать записку на литр водки. Может дать, может и не дать. А водку во время войны пьют все — мужчины и женщины, матросы и адмиралы, грузчики и академики. И постепенно у человека создается превратное представление о своем месте в обществе, ему искреннейшим образом начинает казаться, что он могуч, мудр и неотразимо прекрасен.

— А по-моему, — свирепо сказал Митя, — ваш приятель просто-напросто вор.

— Вор? — переспросил Селянин, не замечая вызова. — Зависит от взгляда. Наш друг Георгий Антонович был бы очень оскорблен вашим мнением, ибо в сфере денежных расчетов я не знаю человека щепетильнее. Уверяю вас, он не способен украсть даже пуговицу и аккуратнейшим образом заплатил по твердым государственным ценам за каждую выпитую нами здесь бутылку и за каждый съеденный круг колбасы. Он честный советский торговец.

— Но... — заикнулся было Митя.

— Не спешите, я сам подхожу к «но». Вы ясно представляете себе разницу между торговлей и распределением?

Митя замялся.

— Бравому моряку оно и ни к чему. В таком случае разрешите старой береговой крысе маленький урок

политэкономии.— Селянин снял шинель и пригладил седеющие волосы.— Как известно, мы с вами находимся на той стадии социалистического развития, когда общество еще не может удовлетворить всех «по потребностям» и вынуждено делить все находящиеся в его распоряжении материальные блага «по труду». В связи с этим мы сохраняем унаследованное от предыдущих эпох денежное обращение. В нормальных условиях советская торговля вполне удовлетворяет запросы населения в товарах первой необходимости благодаря мудрой политике твердых государственных цен. «Но» возникает тогда, когда в силу тех или иных причин — к примеру, войны и блокады — государство лишено возможности удовлетворить существующий спрос в полном объеме. Чтоб не отказываться от политики твердых цен, оно становится на путь планового распределения, находящего наиболее полное выражение в карточной системе. Карточки сводят к минимуму значение денег. Тамара Александровна по себе знает, что сейчас в городе человек, имеющий рабочую карточку, вдвое богаче человека, имеющего служащую, независимо от того, какую заработную плату получает тот или другой.

Тамара, нахмутив лоб, кивнула. Митя пересел к ней поближе и хозяйским жестом обнял за плечи. Тамара восприняла это как должное, Селянин, по-видимому, тоже, во всяком случае, он и глазом не моргнул.

— Однако,— продолжал он,— злоупотребления с карточками приравнены к подделке денежных знаков и сурово караются. Иное дело — ордер. Сколько вы платите за эту комнату? — обратился он к Тамаре.

— Не помню. Рублей около тридцати.

— С отоплением. Недорого, правда? У западного рабочего расходы на жилище и топливо пожирают до трети заработка. Сегодня в Ленинграде пустуют тысячи квартир, но еще весной снять комнату частным образом стоило не меньше трехсот рублей.

— Муська верхняя сдавала комнату артисту с женой,— сказала Тамара.— Комната такая, как моя.

— Триста?

— Четыреста пятьдесят.

— Вот видите. Теперь мужской разговор.— Селянин улыбнулся Мите.— Сколько стоят пол-литра водки?

— Кажется, рублей тридцать.

— Устарелые сведения. Шестьдесят. А сколько стоят нынче в Ленинграде те же пол-литра по так называемой вольной цене?

— Понятия не имею.

— Похвально. Шестьсот. И это еще не предел. Теперь вы понимаете,— он повернулся к Тамаре,— что человек, обладающий властью почти бесконтрольно распоряжаться дефицитными благами — будь то квартира в довоенном Ленинграде или бутылка водки в Ленинграде осажденном,— есть человек действительно могущественный?

Тамара усмехнулась, но не ответила.

— Вернемся к нашему другу Георгию Антоновичу. С началом войны учреждение, которое он имеет честь возглавлять, занимается пустяками. Функции снабжения у него отняты, и оно подторговывает военной галантереей, конвертами, одеколоном и мазью для чистки пуговиц. Но! — Селянин поднял палец.— Помимо пуговиц, оно располагает микроскопическим продовольственным фондом, независимым от общегородских и общевойсковых фондов. Назначение этого фонда экстраординарное: всякого рода представительство, прием делегаций, банкеты по поводу награждения орденами и индивидуальное поощрение. Являясь лицом ответственным и подотчетным, наш друг обладает известной свободой в определении степени экстраординарности. Если при этом он иногда заблуждается, его заблуждение не может быть расценено как хищение или подлог, налицо известная субъективность, скажем грубее — произвол, но человек не точный прибор, ему в высшей степени свойственно быть субъективным, ибо, как вам, вероятно, известно, бытие определяет сознание. Маркс и Энгельс трезво судили о человеческой природе, когда связывали коммунистические отношения с изобилием продуктов.

— Я не читала Энгельса,— сказала Тамара.— Но ручаюсь, что ваш приятель делает массу несправедливостей.

— Вероятно. Справедливость — понятие довольно растяжимое. Словечко из идеалистического лексикона. Что справедливо, а что нет? Где объективный критерий? Справедливо то, что закономерно и необходимо. Рабство всегда было несправедливо, но в определенную эпоху оно было неизбежно и исторически

оправданно. Нам, частным лицам, нелегко даются объективные законы,двигающие миром.

— Значит, справедливости не существует? — спросила Тамара с угрюмым блеском в глазах.

— В вашем понимании — нет. Мы руководствуемся целесообразностью. То, что на данном этапе целесообразно,— это и есть справедливость. Вы не согласны, Тамара Александровна?

— Для меня все это слишком сложно,— сказала Тамара.— По-моему, он — дрянной человек, вот и все. И, наверное, не я одна так думаю.

— Наверно. Работников этой системы столько поносят, причем не всегда справедливо, что они давно отчаялись угодить общественному мнению. Георгий Антонович любит говорить: если семь человек на флоте не имеют ко мне претензий, я уже доволен.

— Почему именно семь? — спросил Митя.

— Три члена Военного Совета, начальник штаба, начальник Политуправления, начальник тыла — шесть? Кто же седьмой? Ну, прокурор, конечно... Но не довольно ли о человеке, которого вы никогда больше не увидите?

Селянин посмотрел на ручные часы. Как видно, этот человек не любил около себя плохих вещей. Часы были золотые, плоские, редкой восьмигранной формы.

— Прошу прощения,— сказал он, поднимаясь,— я заболтался.

Тамара встала проводить гостя, и Мите пришлось встать тоже. Однако она продолжала опираться на его руку, и это было приятно.

— В доказательство того, что вы меня простили,— сказал Селянин, кутая горло и застегивая шинель,— разрешите мне как-нибудь при случае еще раз засвидетельствовать вам свое глубочайшее почтение.

Сказано было это очень ловко. Фраза заключала в себе и легкую иронию — по отношению к старомодному обороту, и самое натуральное уважение.

— Откуда ты его знаешь? — спросил Митя, когда со двора донеслась мотоциклетная пальба. Нарочно грубо, чтоб подчеркнуть свое право спрашивать, в глубине души у него не было подозрений.

Тамара поняла и не обиделась.

— В начале войны он пришел к Николаю за какой-то экспертизой.

Митя чуть было не спросил, кто такой Николай, но вовремя спохватился.

— Интересно, что этот тип думает о нас с тобой? — сказал он, криво усмехаясь.

Тамара резко повернулась:

— Думает то, что есть на самом деле. Тебя это очень беспокоит?

— Он тебе нравится?

— Не знаю. Он вряд ли хороший человек, но не скучный. К чему весь этот разговор? Тебе этот человек неприятен? Ты его не хочешь? Когда он явится, я ему так и скажу. И он больше не придет.

— Ну, это уже глупо.

— А если глупо, то перестань хмуриться и ворчать. Тем более что ты мне не муж.

— А кто я тебе?

Тамара передернула плечами:

— Откуда же мне знать? На этот счет у меня нет никакого опыта.

Час спустя Дмитрий Туровцев вышел из-под арки на Набережную, над которой крутились первые жесткие снежинки, испытывая острый разлад между своими чувствами и принятыми ранее решениями.

«Ничего не понимаю,— думал Митя, поеживаясь.— Если допустить хотя бы на минуту, что немецкие шпионки умеют быть такими самозабвенно-пылкими и трогательно-нежными потому, что проходят специальный инструктаж, если все ласковые слова, что шептала мне на ухо Тамара, если неожиданно наворачивающиеся и сразу высыхающие слезы, прелестное озорство, чудесная способность мгновенного понимания и та душевная близость, которая исключает скуку и отчужденность, наступающие у многих вслед за физическим обладанием,— если все это, повторяю, входит в обычный шпионский ассортимент, то тогда надо сделать вывод, что силы зла неодолимы, а мир непознаваем».

Так или иначе, выполнить завет Горбунова он был не в состоянии. Решение проблемы откладывалось на неопределенное время.

Поднимаясь по трапу на плавбазу, Митя нервничал. Он был в отлучке два часа — срок немалый. Из кают-компаний доносилось мирное звяканье чайной посуды и жесткое, как стук дизельных клапанов, цоканье косточек домино. Ключ от каюты торчал в сква-

жине. Митя вошел в темную каюту, протянул руку к выключателю и был схвачен. Он отчаянно рванулся, но его держали по меньшей мере трое, податься было некуда, он был в тисках. В первую секунду Митя изрядно стухнул, но решил не кричать, со свойственной ему быстротой соображения он рассудил: если это шутка — глупо устраивать шум и привлекать внимание соседей, если же, паче чаяния, я все-таки угодил в засаду — сопротивление бесполезно. Поэтому он расслабил мышцы и постарался прочистить горло на случай, если придется говорить.

Убедившись, что Туровцев прекратил сопротивление, невидимки усадили его на кресло и для чего-то завязали глаза. При этом его только слегка придерживали за плечи, но Митя понимал, что при первом резком движении его снова скрутят. Он слышал учащенное дыхание, все немножко сопели. Угадать что-нибудь по запаху было невозможно — злодеи пахли так же, как сам Митя: табаком, одеколоном и сапожным кремом.

— Я вождь племени гуронов,— произнес наконец сильно измененный голос. Индейский акцент вождя почему-то напоминал латышский.— Гуроны стали на тропу войны. Хочешь ли ты, чужеземец, породниться с племенем и разделить с нами наши тяготы и нашу славу?

Митя ответил не сразу. Он был зол и польщен. Несколько секунд он обдумывал, как бы ответить — позамысловатее и с достоинством, но ничего не придумал и сказал:

— Хочу.

— Готов ли ты подчиниться обычаям племени и почитать его тотем?

— Готов,— сказал Митя не очень уверенно. Он не помнил, что такое тотем.

— Знаком ли тебе язык гуронов?

— Незнаком.

— Язык гуронов немногословен. Ястребиный Коготь, скажи пришельцу первое слово.

— Первое слово,— сказал другой голос, тоже сильно измененный,— значит «еда» и произносится так: «эссентен».

— Повтори,— каркнул вождь.

— Эссентен,— покорно повторил Митя и почувствовал, что ему суют нечто в рот. Он было воспротивился, но быстро сдался, почуяв запах копченой колбасы.

— Гремучая Змея, скажи ему второе слово.

— Второе слово,— сказал Гремучая Змея,— означает табак и говорится «тайя».

Митя чуть не расхохотался: Гремучая Змея гакал, как на Полтавщине.

— Повтори,— сказал вождь.

Митя повторил и с удовольствием затянулся из поднесенной к его губам трубки.

— Сын Лосося, скажи ему третье слово.

— Третье слово,— сказал Сын Лосося глухим голосом, и Митя поразился, узнав механика,— означает волочиться за женщинами и произносится...

— «Тровандер»,— быстро сказал Митя, вспомнив свой визит к Кондратьеву. На этот раз фыркнули невозмутимые гуроны.

— Забудь это слово,— сказал вождь.— Пока идет война, оно — табу. Теперь скажи — как будет по-гуронски «предательство».

— Не знаю.

— Так знай — на языке гуронов его не существует. Братья, согласны ли вы принять в наш союз пришельца, называвшегося доныне Спящая Красавица?

«Пронюхали, подлецы»,— подумал Митя.

— Согласны ли вы возложить на него боевой убор племени и наречь его новым именем — Соколиный Глаз? Оу?

— Охе! — вполголоса прошипели гуроны, и Митя почувствовал, как ему нахлобучили что-то на голову.

— Да будут глаза твои зоркие, а уста молчаливые,— сказал вождь.— Обдумай услышанное и не снимай повязки, пока снег не скроет следы наших мокасин.

Митя добросовестно ждал, пока не затихли торопливые шаги в коридоре, затем сдернул повязку. Лампочка над умывальником была включена, Митя бросился к зеркалу и не сразу узнал себя: на голове у него была новенькая черная пилотка, такие пилотки носили подводники в походе. Не будь этого вещественного доказательства, он готов был усомниться, что посвящение в гуроны происходило наяву. При всей дурашливости церемонии, он был взволнован и даже не сразу заметил Каюрова. Минер лежал на своем обычном месте, укрытый с головой одеялом, лицом к переборке. Митя почему-то не решился его окликнуть. Вместо этого он потушил лампочку у зеркала, включил на-

стольную лампу и, загородив ее таким образом, чтоб свет не падал на спящего, честно трудился до полуночи. В двенадцать часов Каюров перевернулся на другой бок, выпростал голову и уставился на Митю шальными спросонья глазами.

— Оу? — сказал Митя и засмеялся.

— Охе! — ответил Каюров, зевая. Он хотел подмигнуть, но у него не получилось. — Какого черта... Ложись, а то опять проспишь, и командир спустит с тебя шкуру...

На умывание и чистку зубов уже не было сил. Но усталость была блаженная.

Глава восьмая

И по характеру и по воспитанию Туровцев был чужд всяческой мистике. Даже классические флотские суеверия не имели над ним власти, он не задумываясь прикуривал третьим и не верил, что женщина на борту корабля приносит несчастье.

Не веря в предопределение, он был не прочь умаслить судьбу. Свои приметы он ни у кого не заимствовал, а изобрел сам, — тем убедительнее они ему казались. Иногда в затруднительных случаях он давал маленькие обеты и не простил бы себе нарушения именно потому, что давались они добровольно и без свидетелей. Семи лет от роду Митя зашиб камнем соседскую кошку и дал обет — если кошка не сдохнет, проскакать на одной ножке по главной улице села от ворот дома до моста через Яuzu. Кошка не сдохла, и Митя поскакал. Скакать не хотелось, жгло солнце, улюлюкали мальчишки, в сандалии насыпались мелкие камешки. Но Митя доскакал до конца. И не потому, что страшился возмездия потусторонних сил. Исполнение обета было прежде всего делом чести, sluкавить — значило потерять веру в себя.

Отлучка как будто прошла незамеченной, и, хотя на этот раз Митя не давал никаких обетов, он заснул с чувством благодарности судьбе. Судьба была к нему благосклонна, а Митя не любил оставаться в долгу. На следующее утро он проснулся до сигнала, полный энергии. В висевших над изголовьем наушниках под приторный аккомпанемент рояля женский голос власт-

но отсчитывал: «И — раз, и — два...» Каюров был уже на ногах и, кряхтя от напряжения, растягивал за спиной пружинный снаряд. Снаряд назывался эспандер, почти «тровандер». Митя вспомнил вчерашнюю церемонию, засмеялся и спрыгнул с койки. Каюров скорчил приветливую гримасу и сунул ему в руки эспандер:

— Действуй. А я буду бриться.

Чай пили на лодке. На «двести второй» была настоящая корабельная кают-компания, не чета «Онеге». На плавбазе хлеб и масло выдавались порциями, сахарный песок — в бумажных фунтиках. Здесь хлеб, нарезанный и слегка подогретый, лежал в общей корзинке, масло — в масленке, сахар — в сахарнице. Выходило то же на то же — по кусочку масла величиною с ноготь и по три тоненьких ломтика хлеба, но Митя понимал, что никто не возьмет четыре. Горбунов был молчалив и хмурился. Вид у него был нездоровый.

— Да, чтоб не забыть,— сказал он отрывисто.— Слово имеет доктор. Прошу товарищей офицеров выслушать его со всем возможным вниманием.

Митю так поразило слово «офицеры», что он не заметил появления Границы с подносом, на котором стояли пять чайных стаканов, налитых до половины зеленовато-коричневой жидкостью.

Добродушное лицо доктора Гриши сразу приняло серьезное выражение.

— Полагаю,— сказал он, и Митя фыркнул, вспомнив гурона по имени Гремучая Змея,— что вам, как культурным людям, известно значение витаминов для человеческого организма. Предлагаю вашему вниманию водный настой вечнозеленых растений. Настой обладает высоким содержанием витамина це и низкими вкусовыми качествами.

Все засмеялись. Даже Ждановский улыбнулся. Каюров пригубил, и его перекосило!

— Н-да,— сказал он.— Серьезная химия!

Туровцев тоже попробовал. Пойло было мерзкое.

— А помогает?

— В литературе есть указания,— ответил доктор обиженно,— что многие племена североамериканских индейцев во время зимних голодовок успешно применяли хвойный настой в целях противочинготной профилактики.

— Разъяснение авторитетное,— сказал Каюров.— Раз индейцы пьют, нам сам бог велел.

— Так вот, господа гуроны,— заключил Горбунов, сумрачно усмехаясь и подняв стакан, как для здравницы,— чтоб не было недоразумений: употребление хвойного настоя, равно как и утренняя зарядка, строго обязательны для всех. Кстати: по долгу командира я снимал пробу с этого зелья и остался жив. Ваше здоровье!

Он выпил не поморщившись, но поспешность, с какой он потянулся за корочкой, выдала его. Все опять засмеялись.

Сразу после чаепития Туровцев отправился в носовую часть, к Филаретову. Ему нравился этот красивый и приветливый парень, как будто сошедший с плаката, он больше, чем все остальные, соответствовал его идеальным представлениям о том, каким должен быть матрос на военном корабле. На этом условном корабле, существовавшем только в Митином воображении, все матросы походили на Филаретова, а старшины на Тулякова, и Митю несколько огорчало, что Филаретов — у Каюрова, Туляков — у Ждановского, ему же достались Халецкий, Савин, Фалеев — люди, к которым еще надо присматриваться и искать подход.

Через четверть часа Каюров, просунув голову в первый отсек, застал Туровцева и Филаретова оживленно беседующими. Филаретов посвящал нового помощника командира корабля в сокровенные тайны своего мастерства.

— Прошу разрешения,— сказал Каюров самым официальным тоном. Он мигнул Филаретову и, когда торпедист вышел, проскользнул в отсек, прикрыл за собой тяжелую стальную дверь, хлопнул Митю по плечу и засмеялся.

— Э, нет, друг, так дело не пойдет.

— Почему же? — спросил Митя, готовый к отпору.

— Потому что не пойдет. С тобой говорят как с человеком, который умеет приготовить аппарат к стрельбе. А ты не умеешь или умеешь приблизительно.

— Почему ты думаешь, что я не умею?

— Я не думаю, а вижу. Слушаешь, а головой киваешь невпопад. Филаретов этого не замечает, а мне со стороны видней. Признайся, что исконное штурманское высокомерие помешало тебе в свое время детально изучить наше прозаическое хозяйство. Признайся, и я тебе все растолкую. Причем с моей сторо-

ны это никакая не филантропия, а самый шкурный интерес. Гораздо легче жить, когда начальство тебя понимает.

Узкие глаза Каюрова излучали самое неприкрытое ехидство, но именно неприкрытость и покорила Туровцева. Он засмеялся.

— Ладно. Давай.

— Тогда начнем с принципиальной схемы...

Весь день они провозились у аппаратов, сначала вдвоем, затем с торпедистами. Каюрова было невозможно обмануть, с дьявольской проницательностью он обнаруживал все слабые места в Митиных познаниях, и к вечеру Митя постиг не только «принципиальную схему», но и множество таких тонкостей, о существовании которых даже не подозревал.

Следующий день начался звонком Горбунова.

— Знаете что, штурман? — сказал Горбунов. — Я по старой памяти занимаюсь суточным расписанием, и мне это дело надоело. Так что будьте любезны...

— Пожалуйста, — ответил Митя, стараясь не зевать в трубку.

— А пока скажите мне спасибо — я выкроил вам дополнительное время для политинформации. Вы готовы?

Через час Туровцев вошел в кубрик команды. Все было так, как будто он оттуда не уходил, в три ряда стояли скамьи, в первом ряду сидели, сложив на коленях руки, солидные старшины, из-за их широких спин выглядывала молодежь.

После рапорта боцмана вошли и тихонько пристроились под иллюминатором Горбунов и механик.

— В прошлый раз, — сказал Туровцев и сам удивился звучности своего голоса, — у меня не достало времени ответить на часть заданных вопросов. Среди них есть вопросы однородные, их я позволю себе объединить. Вы спрашивали, боцман...

Через пять минут Митя уже ощущал себя хозяином положения. К воде он не притронулся, и его ни сколько не волновало присутствие командира. Он уже не искал поддержки во взгляде Тулякова, а нарочно смотрел на Савина. За двадцать две минуты — часы лежали перед ним — Митя успел ответить на все записанные Ждановским вопросы. При этом он не более двух раз произнес слово «значит» и ни разу «так сказать».

— Вопросы имеются?

Встал Туляков.

— А как насчет моего вопросика, товарищ лейтенант?

Митя удивился. О разговоре в дизельном отсеке он начисто забыл.

— Такой был вопрос: правда ли, что в некоторых государствах на подлодках две команды? И ежели факт, то желательно узнать ваше мнение.

Митя замялся. Никакого мнения у него не было.

— Может, сделаем так, товарищ лейтенант, я вам доложу, как мы, мотористы, понимаем... Ну, а вы, конечно, подправите.

Митя охотно согласился.

— Вопрос не простой,— сказал Туляков, вздыхая.— В походе намучаешься — имеется желание отдохнуть. А тут одни воюют, другие ремонтируют. Соблазн большой.

Краснофлотцы заулыбались. Митя понял, что система двух команд уже обсуждалась в кубрике и имела своих сторонников.

— Однако подойдем глубже. Где война, а где ремонт? Вышли на позицию, а у тебя повреждение. Береговую вызывать?

Он обернулся и строго поглядел на третью скамью, где притаились еще не вполне разоружившиеся сторонники двух команд.

— Я вам так скажу: если подводник считает, что его дело плавать, а ремонтирует пусть дядя, я за такого морячилу полушки ломаной не дам.

Митя взглянул на слушателей. Старшины в первом ряду сочувственно ухмылялись, только боцман и Савин сидели с непроницаемыми лицами.

— Скажу о себе,— продолжал Туляков тоном исповеди.— Ну, вот, пришли мы с моря. Бортовой Туляков идет в баню, береговой заступает. Два дня меня на лодку на аркане не затянешь — ем, пью, парюсь и газеты читаю. На третий день захожу от нечего делать на пирс, спускаюсь в лодку, заглядываю к себе в отсек и вижу: все нормально, работа идет, но как-то, понимаете, не по-моему, и сам этот береговой что-то мне не нравится. Я, конечно, ему ничего не говорю, ухожу, но настроение, я вам честно скажу, у меня уже желтенькое...

Команда дружно захохотала.

— Ты этому береговому дашь жизни,— возгласил боцман.

— Обязательно,— убитым голосом сказал Туляков.— Не надеюсь, чтоб он на мой вкус потрафил. Обязательно я с ним полаюсь, и тем дело кончится, что либо буду стоять у него над душой, либо вовсе погоню от дизелей...— Он оглянулся на смеющихся матросов.— Вот они смеются, товарищ лейтенант, а между прочим, я никакого смеха тут не вижу. Здесь многие спрашивали насчет зимнего ремонта. Я, конечно, не могу считать себя полностью в курсе, но если желаете знать мое душевное мнение: на завод нам полагаться не приходится. И если на что надеяться, так это исключительно — вот!

До этих слов Туляков держал руки по швам. Тут он поднял их на уровень лица. Кисти рук были большие, темные от въевшейся в поры металлической пыли.

— Как по-вашему, Лаврентий Ефимович,— каким-то нарочито бесцветным голосом спросил Горбунов,— можем мы отремонтировать корабль только своими силами?

Туляков задумался.

— По идее, ничего особо невозможного в этом нет,— сказал он наконец.— За всех не скажу, а от лица мотористов заявляю: переборку и ремонт дизелей беремся произвести полностью и в указанный командованием срок.

Сел и сразу же встал:

— А если что неправильно — прошу извинить.

Митя молчал. Он совсем забыл, что от него ждут ответа. Помог Ждановский.

— Может быть, послушаем других товарищей? — тихонько сказал он, и Митя с готовностью согласился.

Старшина группы электриков Куроптев и трюмный Караваев поддержали Тулякова. Первый — кратко и определенно, второй — начал с каких-то оговорок, запутался, вызвал смех и иронические замечания («Петя, не будь на подхвате...»), а кончил тем, что засмеялся сам и, сказав: «А в общем — сделаем», плюхнулся на место.

— А вы почему молчите, Савин?

Это сказал Горбунов. Вопрос был задан тем же бесцветным тоном, но в кубрике сразу почувствовалось напряжение.

Савин встал. Он стоял, как всегда, не очень по-военному, но так, что к нему было трудно придрататься.

— Так ведь я не старшина группы, товарищ капитан-лейтенант.

— Формально нет. Но в вашем заведовании находятся наиболее сложные приборы, и нам интересно ваше мнение.

Савин еле заметно пожал плечами.

— Хорошо,— сказал Горбунов.— Больше вопросов к Савину не имею.

От торпедистов и от комсомола говорил Филаретов. От рулевых — боцман. Сохраняя на лице самое скептическое выражение, он дал понять, что рулевые никому не уступят в деле ремонта.

Митя взглянул на часы — до звонка оставалось три минуты. Эти три минуты по праву принадлежали ему. Он с удовольствием оглядел оживленные лица и подумал, что ничто так не красит человека, как мысль.

— У меня есть предложение,— сказал Туровцев и сам поразился своей прыти.— Я предлагаю обратиться с письмом,— он хотел сказать: «ко всему флоту», но удержался,— ко всем подводникам Балтики. Напишем, что обязуемся провести весь зимний ремонт своими средствами, без завода. Ну и призываем следовать...

По тому, как засияли глаза Тулякова и зашевелилась молодежь в задних рядах, Туровцев понял, что попал в точку. Торжествуя, он посмотрел на Горбунова и скис — командир был недоволен.

— Предложение интересное,— сказал Горбунов, хмурясь.— Надо обсудить его на партийно-комсомольском собрании, а предварительно хорошенько обдумать и взвесить. Если возьмемся да еще прокричим на весь флот — отступления у нас уже не будет.

— Может быть, поручим кому-нибудь подработать проект? — предложил Ждановский.

— Вот вам и поручим.

— Тогда вместе с Филаретовым.

— Правильно. А третьим возьмите Тулякова.

Туровцев даже растерялся от столь очевидной несправедливости. Он не сомневался, что третьим Горбунов назовет его.

Однако это был не единственный удар.

В начале двенадцатого часа, сидя за своим столиком в центральном посту, он ощутил на себе чей-то

пристальный взгляд. Обернувшись, он заметил Горбунова: командир стоял за перископом и с любопытством разглядывал помощника. Встретившись глазами, Горбунов отвернулся с самым безразличным видом и заговорил с боцманом. Сначала Митя не придавал этому значения, но через несколько минут ему опять показалось, что его разглядывают. Обернувшись, он опять увидел Горбунова. И на этот раз Горбунов стоял у люка, держась рукой за кремальеру. Поймав Митин недоуменный взгляд, он медленно усмехнулся, не торопясь перекинул ногу через комингс и скрылся во втором отсеке.

Митя попытался вернуться к суточному расписанию, но, сколько ни старался сосредоточиться, все время чувствовал у себя на затылке пристальный насмешливый взгляд. В конце концов ощущение стало невыносимым.

Когда Митя вошел в отсек, Горбунов надевал реглан. Увидев помощника, он застегнулся и затянул пояс.

— Уходите, товарищ командир?

— Да. А что?

— Нет, ничего. Я хотел спросить...

— А теперь больше не хотите?

— Хочу.

— Тогда спрашивайте скорее, а то я уйду.

— Мы не поговорим сегодня?

— Не знаю.

Вероятно, у Мити был очень озадаченный вид. Горбунов смотрел на него сочувственно.

— Как же так...

— А вот так — не знаю. Разве у нас был назначен разговор?

— По-моему, да.

— По-вашему? Не помните — в котором часу?

— Если не ошибаюсь, на одиннадцать.

— А точнее?

— Точнее? По-моему, это точно.

— Значит, на одиннадцать ноль-ноль. А сейчас сколько?

Наконец-то Митя уразумел. Виновато улыбаясь, он пробормотал:

— Одиннадцать ноль-семь.

— Ваши спешат — ноль-шесть. Зато вы, как видно, спешить не любите.

Митя безмолвствовал.

— Прошу усвоить — у нас на лодке одиннадцать часов — это не «что-нибудь вроде одиннадцати» и не «часиков этак в одиннадцать», а одиннадцать ноль-ноль. Вы готовы?

— Да.

— Хорошо, пойдемте.

Начали с первого отсека. Новый помощник с такой хозяйской уверенностью открывал тугие крышки торпедных аппаратов, так ловко и непринужденно пересказывал слышанное вчера от Каюрова, что Горбунов начал оттаивать. Он молча кивал головой и, хотя ни разу не улыбнулся, хмуриться перестал. Торпедисты помалкивали, но по глазам Филаретова Митя видел, что все обстоит самым лучшим образом.

Второй отсек был жилой и мало беспокоил Туровцева. Кроме поста гидроакустики, здесь почти не было механизмов, и Митя был уверен, что командир не задерживаясь устремится в центральный пост. Но Горбунов рассудил иначе. Войдя в отсек, он сел на койку и расстегнул реглан. Акустика Олешкевича, возившегося за своей перегородкой, он сразу же выслал из отсека. Это было досадно — гидроакустику Митя знал хорошо.

— Так, — сказал Горбунов. — Давайте посмотрим батареи.

Митя почесал в затылке. Первая группа батарей помещалась у них под ногами, в так называемой аккумуляторной яме. Делать было нечего — Митя присел на корточки и пыхтя отогнул тяжелый резиновый мат. Обнажилась стальная крышка. Все попытки приподнять крышку кончились неудачей, скользкий металл не поддавался. Митя пыхтел, потел. Горбунов сидел молча. Он не ворчал и не торопил, но, как видно, не собирался прийти на помощь. Митя занервничал, заспешил и в результате до крови ссадил палец. Сунув палец в рот, он искоса поглядел на Горбунова. Ему хотелось, чтоб командир посочувствовал, на самый худой конец — посмеялся. Но Горбунов не смеялся. Он смотрел на часы.

Тогда Митя разъярился: «Что я ему — мальчишка? Для потехи дался?» От злости он перестал суетиться и легко проник в нехитрый секрет. Отвалив крышку, он поднялся на ноги и поглядел на Горбунова с вызовом.

Горбунов вызова не заметил.

— Три минуты пятьдесят шесть секунд,— сказал он почти добродушно.— Многовато.— Затем понюхал воздух: — Чуете?

Из ямы потянуло хлором, у Мити сразу запершило в горле.

— Что будем делать?

— Чистить баки, менять электролит.

— Ладно. Закройте.

Не вставая с койки, Горбунов просунул руку в щель между коечной сеткой и корпусом лодки и извлек оттуда кучу сального тряпья.

— Это что такое?

Выключатель освещения оказался разболтанным, а верхний плафон — с трещиной. В железной коробке для патронов регенерации командир обнаружил вмятину, краска облупилась, и металл покрылся окисью. Но неприятнее всего получилось с полочкой. Обыкновенная книжная полочка из полированной сосны. Вчера, проходя по отсеку, Митя взглянул на потрепанные корешки, потер пальцем позеленевшую головку шурупа и счел свою миссию оконченной.

— В чьем заведовании находится полка? — спросил командир своим обманчиво безразличным тоном.

Митя промолчал. Ему и в голову не приходило, что полкой кто-то заведует.

— Полкой ведает краснофлотец Олешкевич. У вас к нему нет претензий?

— Пока нет.

— А у меня есть.

Горбунов потянул к себе перекладину, запиравшую полку на манер амбарной следи, и она легко отошла вместе со скобой. Шурупы выскочили и покатились.

— При качке в один балл,— бесстрастно сказал Горбунов,— вся эта художественная литература свалится нам на голову.

Митя безмолвствовал.

— А ведь я вам говорил об этой полке. Помните?

Митя с сокрушением признал, что помнит.

— Надо записывать.

— Я записываю.

— Покажите.

Пока Горбунов рассматривал записную книжку, Митя жарился на медленном огне. Командир читал, морща лоб и так внимательно, что это походило на издевку.

«Черт дернул меня связаться с этим инквизитором,— думал Митя.— Душу вытянул».

— А вот это здоровая мысль,— сказал Горбунов, расправив морщины.— Коробку надо перенести, все стучаются о нее головами. Наверное, и вы стукнулись? — Митя непроизвольно поднес руку ко лбу, и Горбунов захохотал, довольный, что угадал.— Вот то-то и оно. Большинство разумных мыслей приходит в голову только после того, как стукнешься о что-нибудь твердое.

Митя был покорён. Вместо того чтоб изругать, командир терпеливо разбирал его возмутительные закорючки и даже нашел в них нечто достойное похвалы.

«Какое счастье, что я на двести второй»,— подумал он.

— Так вот,— сказал Горбунов, возвращая книжку.— Все это никуда не годится, через неделю вы сами не сможете расшифровать вашу клинопись. Я вам сказал, где можно купить хороший блокнот. Вы были в городе?

— Был. (Митя не решился солгать.)

— Почему же не купили?

— Я был поздно.

— Когда же — если не секрет?

— Вечером.

— Вот что, помощник,— быстро сказал Горбунов.— Подведем черту. Отныне на берег — только с моего разрешения. У вас никого нет в городе?

— Нет. (Дорого далось Мите это «нет».)

— Тем более. Значит, болтаться по городу вам совершенно незачем. Ясно?

— Ясно. Только, если разрешите, я завтра схожу.

— Зачем?

— Надо мне. Блокнот куплю...

Горбунов усмехнулся:

— Ну, если только из-за этого.. — Он подошел к своему шкафчику и выбросил на стол с полдюжины разноцветных блокнотов.— Please. Любой на выбор.

Митя так расстроился, что взял блокнот не глядя и забыл поблагодарить.

— Так вот,— сказал Горбунов веско, и Митя понял: последует резюме.— На сегодня хватит. Лодки не знаете, а что знаете — знаете школярски. Это отчасти извинительно — плавали вы мало, и вам легче представить себе лодку в разрезе, чем под водой. Хуже другое. Вы обошли весь корабль и не увидели ничего, кроме механизмов. А ведь лодка — дом, да еще перенаселенный. В походе люди подолгу дышат зараженным воздухом, спят по очереди, даже на то, чтоб сходить в галюн, требуется мое разрешение. Вы хоть зашли туда?

Митя вздохнул.

— Вот, вот. Вы попросту забыли, что на лодке существует такой важнейший агрегат. Запишите-ка за номером первым: посещение и осмотр галюна.— Видя, что Митя чего-то ждет, он нетерпеливо ткнул пальцем в блокнот: — Запишите, запишите.

— Я потом...

— Забудете. Возьмите за правило записывать немедленно и без сокращений. Новых заданий не даю. Все старые остаются в силе. Вопросы?

— Нет.

— Отлично. Не забудьте — в город только по особому разрешению. Уйдете без моего ведома — будете наказаны.

Туровцев вышел из отсека в отвратительном настроении. Он признавал, что Горбунов прав, его взбесила последняя фраза. В детстве Митю никогда не наказывали. Бывало, мать, выведенная из терпения, шлепала его торопливо и неумело. Случалось получить затрещину от отца. Затрещина исчерпывала вину, и Митя не только не знал унижительного ритуала экзекуции, но даже никогда не стоял в углу.

Когда Митя еще не ходил в школу, у него была подружка Ляля Петроченкова — хорошенькая толстушка, кокетливая, плаксивая и при этом страшная забияка. Петроченковы занимали весь верх в двухэтажном деревянном домике, где жили Туровцевы. Петроченков-отец, высокий старик с густыми бровями на длинном желтом лице, всегда, даже летом, одевался в черное и носил твердые воротнички, во дворе говорили, что он «бывший». По мнению Мити, это слово очень подходило к Петроченкову — он действительно был весь какой-то не настоящий. Жена его Фаина Васильевна — Лялькина мать — была намного моложе

мужа, ее считали красивой. Мите она совсем не нравилась: губастая, ноздрястая, всегда в халатах петушиного цвета и без пуговиц. Мать она была самая бестолковая — то закармливала Ляльку конфетами, то нещадно порола. О том, что Ляльку порют, Митя знал и относился к этому с холодным презрением. До одного случая.

Дело было весной. Как-то утром, выбежав во двор, Митя не нашел Ляльки. Он уже хотел крикнуть: «Лялька, выходи!» — но, взглянув на петроченковские окна, увидел, что они плотно затворены и завешены изнутри. Это его удивило. Не долго думая, он взбежал по узкой деревянной лесенке на второй этаж и постучал. Дверь открыли не сразу, и, еще стоя на площадке, Митя слышал надрывный вопль Ляльки и низкий грудной голос Фаины Васильевны. Все было понятно без слов: верхний голос, захлебываясь, молил о пощаде, нижний угрожал. Голоса правильно чередовались — за тремя отчаянными фиоритурами следовала одна спокойная альтовая фраза. Митя хотел было улизнуть, но дверь приотворилась и выглянула Фиса, существо таинственное — не то прислуга, не то родственница, кривая на один глаз и к тому же хромая. Увидев Митю, она хотела захлопнуть дверь, но в эту секунду раздался звучный голос:

— Кто там, Фиса?

— Митя соседский.

— А! Оч-чень хорошо. Впусти.

Фиса отстегнула дверную цепочку и, прежде чем Митя успел дать тягу, цапнула его за руку и втянула в темную переднюю.

— Не пойду, тетя Фиса,— сказал Митя, вырываясь.— Скажите Ляльке, чтоб выходила.

— Она не выйдет,— пропела Фиса с явным злорадством.

— Почему? — спросил Митя, пугаясь.

— Потому что наказана.

Продолжая одной рукой придерживать Митю, она открыла дверь в столовую, и Митя увидел картину, отпечатавшуюся в его мозгу с такой силой, что краски не поблекли и через пятнадцать лет. В комнате стоял полумрак. Солнечный луч, пробившийся сквозь тяжелые плюшевые занавески, смешивался со светом лампы, отраженным позолоченными ризами икон, взвешенная в воздухе пыль была отчетливо видна и вилась столбом

золотисто-опалового цвета. Пахло духами и ладаном. Большой обеденный стол был сдвинут, а на его месте расстелено красное шелковое одеяло. Посередине стояла на коленях Лялька. Коротенькое платьишко было задрано так, что Митя увидел голубые резинки и белые, обшитые кружевными зубчиками панталоны. Лялька сотрясалась от рева, мокрая, багровая. Неестественно высоким голосом она причитала:

— Мамочка, я больше не буду, мамочка, простите меня...

Вокруг одеяла, в ярком халате с разлетающимися полами, ходила Фаина Васильевна. Она металась, как тигрица в клетке, сходство еще усиливалось желтой крашеной шевелюрой и оранжевой пудрой на разгоряченном лице. В руке она держала ременную плетку. Она была красива — Митя впервые признал это — и ужасна. Митю она встретила с пугающей любезностью:

— Это ты, Митенька? Очень рада. Вот, полюбуйся на свою подружку. Очень рада, пусть и Митя видит, какая ты дрянь. Замолчи сию минуту, — крикнула она начавшей давиться от плача Ляльке и взмахнула плеткой. Вероятно, она не хотела ударить, но Мите уже было все равно. С воплем он вырвался из цепких пальцев Фисы и бросился с кулаками на Фаину Васильевну. Он плевался и колотил ее по тугим бокам. Дальнейшего он уже не помнил и очнулся дома, в своей кровати.

С тех пор он видел Ляльку только издали. Между семьями произошел разрыв, и Ляльке было запрещено играть с Митей. Лялька и не пыталась нарушить запрет. Летом того же года Петровиченков хватил удар, и он умер. Митя смотрел, как выносили тело, и ничуть не испугался — в гробу старик был точно такой же, как в жизни. После смерти мужа Фаина Васильевна сразу куда-то уехала и увезла Ляльку.

Позднее, одиннадцатилетним подростком, в котором отлично уживались драчливость и начитанность, Митя с восторгом читал описания кровавых схваток. Дюма был его богом. Понятия о чести, принятые у мальчишек фабричного села, мало в чем расходились с дуэльным кодексом времен Людовика XIII, единственное, что неизменно вызывало у Мити дрожь и отвращение, было описание казней. Покорность и беззащитность приговоренного, животное спокойствие палачей, жадное

любопытство толпы, долгий ханжеский обряд приготовления к насильственной смерти, — перечитывая «Графа Монте-Кристо», он пропускал главу, где описывается казнь на площади. Став еще старше, он десятки раз умирал, как Чапаев и как Андрей Болконский, но холодел при мысли о застенке. Глубоко уверенный, что «наказание» — уменьшительное от «казни», он ненавидел это слово всеми силами души.

Знай это Горбунов, вероятно, он нашел бы другое слово. Например «взыскание». Но слово было сказано, и настроение испорчено.

После обеда Митя лег и, свесившись вниз, чтобы видеть Каюрова, рассказал ему о своих огорчениях. Каюров выслушал, смачно зевнул и сказал:

— Виктор Иванович Горбунов в своем репертуаре. Я же говорил: два ведра крови он из тебя выпьет. — И, заметив, как вытянулось Митино лицо, добавил: — Ну, может быть, полтора. Он к тебе благоволит. А вообще, мужайся — худшее впереди.

После чего мгновенно заснул, оставив Митю размышлять, в чем же, собственно, состоит горбуновское благоволение.

В четырнадцать ноль-ноль Митя был уже на лодке с твердым намерением немедленно исправить все свои промахи, но не тут-то было — дежурный передал ему приказания командира. Приказаний было много, и касались они самых различных сторон лодочной жизни: надлежало направить к врачу старшего краснофлотца Сенань, страдающего воспалением среднего уха, проследить за получением с базы технического спирта, разобрать заявление краснофлотца Границы о внеочередной выдаче ему брезентовых рукавиц и заодно вызвать его для объяснений в связи с отношением штаба воинской части 59021 о нарушении названным Границей положения о приветствиях между военнослужащими... Обычная текучка, осточертевшая еще на плавбазе.

На ужин дали только селедку и гороховый суп, и Туровцев встал из-за стола голодный. Вернувшись в каюту, он, не зажигая света, сел на стол и закурил. Из иллюминатора тянуло банной сыростью. Будь у Мити возможность уйти с корабля, он бы еще подумал. Но уйти было нельзя, и он начал злиться.

«Тощища, — думал он сердито. — Хоть бы воздушная тревога — и то веселее...»

Загудел и замигал своим красным глазом корабельный телефон. Митя схватил трубку.

— Вы что делаете, штурман?

— Ничего,— сказал Митя и тут же пожалел об этом: Горбунов захохотал.

— По крайней мере, откровенно. Вот что: зайдите. Только не сейчас, а минут через пятнадцать.

Для людей, привыкших дорожить временем, пятнадцать минут — срок немалый. Но Митя знал, что все равно не сумеет сосредоточиться, поэтому, потратив одну минуту на то, чтоб задраить иллюминатор и включить свет, он все остальное время провел в бесплодном ожидании, поглядывая на часы и раздумывая о причинах вызова. Продумано было много вариантов, в том числе самый худший — командир решил от него избавиться. Соответственно были обдуманы варианты собственного поведения. Все ответы Туровцева были скромны, исполнены достоинства, а некоторые прямо остроумны. На тринадцатой минуте Митя подошел к зеркалу, чтобы проверить свой внешний вид, на четырнадцатой вышел из каюты с видом мрачным и решительным и ровно через пятнадцать минут после звонка постучал в дверь каюты Горбунова.

— Да! — басистое, раскатистое.

Первое, что увидел Туровцев, войдя, была широкая спина комдива. Он стоял посередине в позе митингового оратора, каюта была тесна ему. Горбунов сидел на койке, обхватив руками колени и не сводя с собеседника блестящих глаз. Шел спор.

— А, лейтенант! — сказал Кондратьев, обернувшись.— Признавайся как на духу — об ордене мечтаешь?

Он подмигнул Горбунову и уставился на Митю. Горбунов, напротив, отвел глаза в сторону, показывая, что не придает эксперименту большого значения и, уж во всяком случае, не хочет влиять на ответ.

— Ну,— сказал комдив нетерпеливо и поощрительно.— Отвечай. Жаждешь?

— Честное слово, нет,— сказал Митя. Это была чистейшая правда. Ордена еще были редкостью, и у Мити было так мало оснований ждать награды, что он действительно ни о каких орденах не мечтал.

— Ага,— коротко сказал Горбунов.

Кондратьев был явно разочарован.

— Врешь ты все,— проворчал он.— А если правду говоришь — еще хуже. И вообще не важно, что он там говорит, он в походе не был.

— А если не важно, зачем спрашивал?

Кондратьев пропустил замечание Горбунова мимо ушей.

— Что стоишь, лейтенант? Садись. В общем, подумай,— обратился он опять к Горбунову.— Так сказать, взвесь. Ты умный мужик, но не старайся быть умнее всех. Имей в виду, тебе этого не простят (Митя так и не понял, кто и чего именно). А главное — не мусоль. Дорого яичко к Христову дню.

Он широким жестом протянул руку Горбунову, затем Мите.

После ухода комдива Митя вспомнил, что надо держаться настороже.

— Я вам нужен, товарищ командир?

— Да, хочу, чтоб вы мне помогли. Вы когда-нибудь писали наградные листы?

— Никогда.

— Я тоже. Отчет читали?

— Какой?

— О нашем походе. Садитесь и читайте.

Он усадил Туровцева за стол и положил перед ним конторский скоросшиватель. От слепой печати у Мити зарябило в глазах.

Затем в течение получаса не было сказано ни слова. Митя добросовестно вчитывался в бледные строчки, он от всей души хотел представить себе людей, с которыми он связал свою судьбу, в поиске и в атаке, уходящими от преследования и притаившимися на грунте, преодолевающими осенние штормы и минные поля. На недостаток воображения он пожаловаться не мог, но на этот раз ему не повезло. Отчет был написан теми самыми рыбьими словами, которыми пишутся отчеты районных заготовителей.

Временами он поглядывал на командира. Горбунов лежал на койке и читал какой-то английский роман в пестрой глянцевой обложке. Горбунов погружался в чтение, как лодка, принявшая балласт, погружается в воду. Но как только Митя перевернул последнюю страницу, командир отбросил книгу и сел.

— Прочли?

Митя кивнул.

— Медали получают все. Кого к ордену?

— Тулякова.

— Так. Еще?

— Боцмана. Границу.

— Правильно. А что, если представить всех?

— А дадут?

— Борис Петрович считает, что дадут. Кстати, я тоже так думаю.

— Так в чем же дело?

Горбунов спустил ноги и нашарил тапочки.

— Вы, вероятно, заметили, что в этом вопросе у нас с комдивом есть расхождения?

Митя кивнул.

— Вы — мой помощник, и я не хочу играть с вами в прятки. Рассчитываю на вашу скромность.

Митя опять кивнул.

— Борис Петрович считает, что надо представить всех, и как можно выше. Так сказать, с запросом. Пусть Военный Совет срезает. Очень может быть, что срезать не будут. Как-никак боевой успех. Небольшой, максимум тысяча тонн, но многие не могут похвалиться и этим. Гарнир же самый романтический: бродили по минным полям, превысили вдвое автономность и явились, когда нас уже оплакали. Как же тут не наградить? Верно?

— Верно.

— А по-моему — нет.

— Почему же?

— Начнем с того, что во многих наших бедствиях виноваты мы сами. За страдания награждает бог, а бога нет. Жертвам железнодорожных крушений орденов не дают, и, по-моему, справедливо. Награждать надо подвиг.

— А что такое подвиг?

— Подвиг — это... — Горбунов засмеялся. — А ведь я сам, кажется, не знаю, что такое подвиг. То есть для себя-то я знаю, но если вы ждете определения, то вам придется обратиться к доктору Грише, у него страсть все формулировать. Позвольте, что же такое, в самом деле, подвиг? — Он нахмурился. — Подвиг, подвигнуть — чуете, какой хороший древний глагол стоит за этим словом? Одно знаю определенно — героем не делаются в пять минут. Самый подвиг может длиться секунды, но он обязательно подготовлен всей жизнью. Написать «Материализм и эмпириокрити-

цизм» — ничуть не меньший подвиг, чем бежать из ссылки.

— Подвиг там, где опасность, — сказал Митя.

— Не щадить свою жизнь еще не значит быть героем. Миллионы жизней сгорают без следа, как искры из топок. Возьмите любого нашего пьяницу, не запойного — говорят, это болезнь, хотя я не очень верю, — а обыкновенного слабовольного выпивоху. То, что он делает с собой, гораздо опаснее для жизни, чем профессия верхолаза или укротителя львов. А что толку? И вы думаете, пьяница не понимает, что его ждет? Знает и временами трепещет. Но чтоб остановиться, у него не хватает как раз тех самых свойств, которые необходимы для подвига. Насколько же выше его перепелка.

Митя удивился.

— Не смейтесь. Я где-то вычитал, что самка перепела притворяется подбитой, чтоб отвлечь на себя внимание охотника и таким образом спасти птенцов. Она — мать. Ей никто не объяснял, что дети — цветы жизни, ее ведет инстинкт. Но то, что она делает, — в зародыше подвиг. Голый пигмей, вооруженный только каким-нибудь дурацким дротиком, понимает, что есть племя, род, чтобы сохранить их, он готов на смерть. Не будь этого заложено во всем живом, человечество никогда не доперло бы до священных понятий «Родина», «общество» и прочих высоких материй. Как вы знаете, штурман, существует много определений Человека. У меня есть свое. Я его никому не навязываю, но мне оно нравится. Человек — это животное, обладающее чувством истории. Понимаете? В отличие от всех других, оно знает, что было до него, и думает о том, что будет после. Представьте себе на одну минуту: в силу каких-то причин — не важно, каких — человечество стало бесплодным. Во всем мире покой и благорастворение, закрома полны штанами и бифштексами, но сегодня родился последний человек, самое позднее через сто лет он умрет, и с ним окончится человеческий род. Не для кого исследовать природу и создавать социальные системы, строить плотины и орошать пустыни, за тридцать — сорок лет весь подвиг поколений, все, что создавалось и накапливалось тысячелетиями, пойдет в тартарары. Какая война, какой налет марсиан, какой катаклизм может сравниться с этой катастрофой? Есть от чего рехнуться...

Мите в самом деле стало жутковато. Горбунов это заметил и улыбнулся.

— Вот то-то. Древний бог был не дурак, когда грозил непокорным лишить их потомства. А ведь для религиозного человека земное существование — только этап. Это у нас — всё на земле. Зато мы — атеисты, материалисты, коммунисты — обладаем наибольшим чувством истории, и, несмотря на нашу относительную молодость, на нашем счету больше подвигов, — уверен, что это можно доказать статистически. Так вот, — сказал он со свойственной ему быстротой переходов, — раздувать кадило мы не будем. Незачем развивать в людях дух самодовольства. Не беспокойтесь — они еще свое возьмут.

— В будущую кампанию?

— Может быть, раньше.

— Но тогда Тулякова и боцмана тоже не надо...

— Нет, надо. Я недоволен собой, а Туляковым восхищаюсь. Я воевал плохо, а он отлично. Рядовой может получить «Знамя» за то, что достал «языка», командиру для этого надо выиграть бой. Поймите, штурман, от обилия орденов количество героизма в мире не меняется. Героизм в цене не падает — обесцениваются ордена. Начните награждать щедро или — хуже того — несправедливо, и будет инфляция. Вы спрашиваете — дадут ли? В том-то и несчастье, что могут дать. Если награжден весь экипаж, нельзя не наградить командира. Если на бригаде много награжденных, значит, это хорошая бригада и нельзя не наградить комбрига. Ну и так далее, как любит говорить мой друг Борис Петрович...

Митя из осторожности промолчал.

— Говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, — сказал Горбунов сердито. — По-моему, эта пословица свидетельствует только о слабости веры, а совсем не о том, что мужик не думает о завтрашнем дне. Не думать о завтрашнем дне — это как раз не народная, а очень чиновничья черта. Мужик, когда сеет, обязательно думает об урожае. И землю он удобряет, боится истощить, знает, что ему от нее никуда не уйти. А чинуша может сколько угодно трепать языком о перспективах — он всегда живет только сегодняшним днем, историческое возмездие его мало интересует, к моменту возмездия его уже не будет на месте или он чем-нибудь отгородится, благо у людей короткая па-

мать. Я злопамятен. Вернее сказать, я памятлив. Я помню и добро. «Невзирая на прежние заслуги», — передразнил он кого-то. — Это легче всего. А с другой стороны, как требовать, чтоб молодежь почтительно расступалась перед ветераном с боевым орденом на груди, если этот самый орден можно заработать в любой военной канцелярии двадцатилетним беспорочным протираанием штанов? Нет ничего более далекого, чем боец и чиновник, вот почему нигде так не страшен бюрократизм, как в армии и в партии. Почему мы говорим «солдатская честность», «солдатская прямота»? А потому, что чем острее борьба, тем проще должна быть отчетность. Хороши были бы наши славные предки — революционные подпольщики, если б они, на радость охранке, документировали каждый свой шаг. Деньги из партийной кассы, святые рабочие гроши доверялись без расписки, секретные директивы передавались устно. А на войне? Целые операции проводятся на основе донесения разведчика. А разве разведчик, отправляясь во вражеский тыл, выбирает себе напарника по анкете? А там, в тылу врага, встреча с незнакомым человеком — какой отдел кадров укажет тебе, что делать: бежать, стрелять или спросить дорогу? А в походе?

Горбунов махнул рукой и, не договорив, потянулся за кисетом.

— Что в походе? — осторожно спросил Митя.

Горбунов ответил не сразу, он набивал трубку.

— Что в походе? — повторил Горбунов, убедившись, что трубка не погаснет. — Спросите Бориса Петровича, чего мы больше всего боялись в походе? Он вам не скажет, а я скажу: отчетности. Вынь да положи боевой успех, да не какой-нибудь, а несомненный, подтвержденный, засвидетельствованный. У нас-то все в порядке: три человека, не считая меня и командира, видели, как шла ко дну эта ветхая посудина. Мы могли позволить себе такую роскошь, корабль шел без охранения, при желании его можно было утопить десятью снарядами. Вы внимательно прочли отчет?

Митя кивнул.

— Ну?

— Длинновато.

— Скажите прямо: длинно и скучно. Раньше я думал, что отчеты бывают скучными потому, что их пишут

скучные люди, а теперь я смотрю глубже. Скука — надежный способ угасить ненужную пытливость. Между прочим, в отчете указано, что на следующий день после атаки мы видели шедший с охранением крупный немецкий танкер. Вы это заметили?

— Да.

— Как-то вы не очень уверенно это говорите. А почему мы его не утопили — вы не задумывались?

Митя промолчал.

— То-то и оно, — сказал Горбунов, глядя на Митю так сердито, как будто он-то и был во всем виноват. — У нас там все сформулировано очень толково, в расчете на читателей вроде вас. Вроде мы и не врем, но и не наталкиваем на выводы. А вывод должен быть самый простой: танкер был вполне доступен для атаки, только у нас уже не было торпед. Но формально мы в ажуре. Лямину хуже.

— А что Лямин?

— Лямин, как вы знаете, торпедировал миноносец типа «Леберехт Маас». Не бог весть какой тоннаж, зато военный корабль. Он слышал взрыв, но ничего не видел, надо было удирать. По-моему, он поступил правильно, но его до сих пор клюют. Иначе как знать...

Горбунов резко оборвал фразу и нахмурился. Но Митя угадал конец: как знать, может быть, комдивом был бы Лямин.

По-видимому, Горбунов, в свою очередь, догадался, о чем думает помощник.

— Не думайте, пожалуйста, что в моем отношении к комдиву что-нибудь переменялось. Борис Петрович — мой ближайший друг, настоящий подводник и хороший человек. Вот почему я и злюсь, когда...

Он опять оборвал фразу. Помолчал, грызя мундштук своей выдавшей виды трубки, и вдруг ухмыльнулся.

— Я сегодня все время пробалтываюсь. С чего бы это? Тем более что я вас очень мало знаю и не скажу, чтоб на первых порах вы меня чем-нибудь особенно поразили. Но почему-то вы вызываете у меня доверие. Мне кажется, вы не лгун. А?

Митя почувствовал, что у него начинают тлеть уши.

— Я не хотел сказать, — любезно поправился Горбунов, — что вы совсем не врете. Наше общество еще не столь совершенно, и абсолютная правдивость пока

еще неосуществимый идеал. Но я думаю, что врете вы неохотно и стараетесь не делать этого без острой нужды.

— А разве врут без нужды? — спросил Митя, чтоб самому не отвечать на вопрос.

— Ого! — Горбунов усмехнулся, оскалив зубы. — Еще как! Врут потому, что само существование их лживо, для самоутверждения и самооправдания, чтобы казаться не тем, что есть, врут потому, что не уважают собеседника, наконец, просто потому, что вышел из строя прибор, улавливающий разницу между правдой и ложью. Я прощу матроса, который, загуляв с девчонкой, будет врать и выкручиваться, но ложь систематическая, ежедневная, на три четверти бесцельная, разобщающая больше, чем вражда, — вот что приводит меня в бешенство до потери самообладания.

Кровь отлила от его лица, оно стало болезненно желтым. Митя сидел тихо, опустив глаза. Он отлично понимал, какие привычно подавляемые воспоминания бродят сейчас в мозгу командира, и более всего боялся неосторожным словом или даже взглядом выдать себя. Прошло около минуты, Мите показалось — пять.

— Так вот, Дмитрий Дмитрич, — сказал Горбунов обычным голосом, так, как будто они все время говорили только о наградных листах. — Если вы поняли, что от вас требуется, — действуйте. Для черновиков я дам вам бумагу, а перебеливать будете на бланке. — Он открыл узкий ящик («Тот самый!» — отметил Митя) и выложил на стол тонкую стопочку чистой бумаги. Ящик запер и ключ спрятал в карман.

Через четверть часа характеристика на Тулякова была готова. За эти четверть часа они не перекинулись ни единым словом. Горбунов лежал на койке лицом к переборке, перед глазами у него была книга, но Митя не слышал шелеста страниц. Он уже принялся за боцмана, когда командир соскочил с койки и пошел к умывальнику. Митя слышал: умылся, пополоскал рот. В каюте запахло чем-то очень знакомым. Вспомнив, Митя горько усмехнулся: этим одеколоном пахло от самого Мити в тот день, когда он познакомился с Тамарой.

— Готово? — спросил Горбунов громким и веселым голосом отдохнувшего человека. — Дайте посмотреть. — Он протянул руку через Митино плечо.

— Отлично,— сказал он через минуту.— Я бы так не смог. Честное слово, у вас литературный дар. Вы, я вижу, равнодушно к Тулякову.

— Пожалуй.

— Я тоже. Знаете, я человек не суеверный, но временами мне кажется, что лодка — существо одушевленное и со своим характером. Одних людей она принимает и слушается, других — нет. А Туляков для меня даже не человек, а нечто вроде лодочного духа.

— Вроде водяного?

— Н-нет, скорее вроде домового. Подвиньтесь-ка...

Над характеристиками провозились до полуночи. Только на время вечерней сводки устроили перерыв, выключили свет, отдраили иллюминатор, открыли дверь и полотенцами выгнали из каюты табачный дым. Сводка была плохая — немцы наступали по всему фронту от Таврии до Балтики.

Возвращаясь от Горбунова, Туровцев шатался, как пьяный. Кружилась голова, желудок сводила судорога. Впервые он ощущал голод, как физическую боль.

Каюров спал, и Митя решил не зажигать света. Забравшись к себе наверх, он провел рукой по подушке и нащупал плоский шершавый кружок. Приложил к щеке, затем попробовал на зуб. Кружок оказался съедобным. Растроганный почти до слез, Митя укрылся с головой одеялом и потихоньку сгрыз драгоценный дар. Насытиться им, конечно, было нельзя, но судорога прекратилась, боль исчезла, и Митя заснул.

Глава девятая

Весь остаток недели прошел в изнурительной суете. Каюров не шутил, говоря, что Горбунов еще выпьет у помощника два ведра крови. Командир «двести второй» умел задавать работу. Хвалил он редко. Не сердился, если Митя чего-либо не умел или не понимал, но приходил в бешенство от всякой небрежности. Бесился Горбунов по-своему — у него твердели глаза, и он становился до такой степени изысканно вежливым, что все окружающие начинали испытывать нечто похожее на кислородное голодание.

На партийно-комсомольском собрании, посвященном судоремонту, был принят текст обращения к под-

водникам Балтики. В своем выступлении командир ни словом не упомянул о том, что идея обращения принадлежит лейтенанту Туровцеву, и это было обидно. Правда, он не приписывал ее и себе. Выходило, что мысль возникла как-то сама.

Бригадная многотиражка поместила обращение вместо передовой, на следующий день его перепечатала флотская газета, а в воскресном номере дала целую полосу откликов и портрет Тулякова. Усилиями ретушера Туляков был превращен в пижона с выщипанными бровями, но руки ретушеру не удалось испортить, руки были настоящие, туляковские. Комдив, вначале с опаской относившийся к обращению, вскоре переменил отношение, он еще ворчал, но ему нравилось, что на «Онегу» зачастили фотографы и корреспонденты.

После рабочего дня едва хватало сил дотащиться до койки.

О Тамаре Туровцев вспоминал только по утрам, перед подъемом. В эти короткие секунды она появлялась, балансируя на тонкой грани, отделяющей сон от мечты: расставаться было жалко почти до слез, но, делать нечего, приходилось сбрасывать одеяло и прогонять видение. Дом на Набережной был теперь недостижим.

Во время утренней приборки (это было первое воскресенье ноября) выступил по трансляции Ивлев. Комиссар объявил, что после четырнадцати все занятия отменяются. В кают-компании «Онеги» состоится спектакль, приглашаются все свободные от нарядов. Туровцев, считавший себя театралом, отнесся к приезду актеров скептически — наверно, какая-нибудь халтура. Поэтому сразу же после обеда он бросился разыскивать Горбунова. Горбунова он нашел на полубаке у среза, командир любил курить на свежем воздухе. День был холодный, ясный, чувствовалось приближение зимы. Кожаный реглан Горбунова и черные бушлаты краснофлотцев отчетливо выделялись на серо-стальном фоне реки и неба. Поднимаясь на полубак, Митя с грустной завистью думал: «Вот даже издали, по силуэту, видно — стоит боевой командир, признанный вожак, облеченный доверием сверху и снизу, он невелик ростом и по сравнению с окружающими его бойцами кажется хрупким. Сейчас он не командует и не распоряжается, а, посасывая трубку и посмеиваясь, слушает огромного кочегара

с «Онеги», но командир остается командиром везде, подобно какому-то шекспировскому королю, в котором каждый вершок был король, в Горбунове каждый вершок — командир. О себе я этого, по чести, сказать не могу. Я, конечно, тоже командир, но далеко не в каждом вершке, и чертова матросня это безошибочно чувствует. Я бы дорого дал, чтоб понять, в чем тут секрет. Наследственность? Или просто навык, опыт?..»

При виде помощника Горбунов стер с лица улыбку и, вынув изо рта трубку, шагнул навстречу.

— Вам хорошо, Дмитрий Дмитрич,— сказал он, выслушав Митину просьбу,— вы можете уходить на берег со спокойной душой, лодку вы оставляете на меня. Мне хуже — уходя, я должен оставить лодку на вас.

Митя начал злиться.

— Я ведь не вместо работы прошу, а вместо театра.

— Это я понимаю,— сказал Горбунов.— Но если вы хотите стать своим человеком на лодке, мой совет: отдыхать и развлекаться тоже вместе с командой. Иначе вы никогда не узнаете людей. Они-то вас будут знать, а вы их нет.

— Почему?

— Потому что у них пятьдесят глаз, а у вас два. Загляните-ка лучше в ленкаюту и почитайте биографию Островского.

— Николая Островского?

— Нет, Александра. Александра Николаевича, если мне не изменяет память.

Это было поручение и — одновременно — отказ.

— Есть,— сказал Митя с таким унылым видом, что Горбунову стало его жалко.

— Не горюйте,— сказал он мягче.— Я вам дело говорю. Вы еле справляетесь с текучкой, а ведь впереди ремонт. Предлагая обращение, вы должны были понимать, на что идете...

«Ага, ты все-таки помнишь об этом»,— подумал Митя.

Из предисловия к избранным произведениям А. Н. Островского Митя узнал, что великий драматург родился в 1823 году и умер в 1886 году, написав за свою

жизнь около шестидесяти пьес. Он узнал также, что драматургу был ненавистен мир эксплуатации и чистогана, но в силу ограниченности своего сознания он не видел из него выхода. Зато автор предисловия видел этот выход очень хорошо, чем, вероятно, и объяснялся тот несколько покровительственный тон, в котором была выдержана статья. Серьезнейшей заслугой Островского критик считал то обстоятельство, что его сочинения неоднократно цитировались крупными государственными деятелями. Митя полистал и самые пьесы. При всех своих неоспоримых достоинствах они, что называется, никак не отвечали текущему моменту. Впрочем, этого следовало ожидать. Поскольку социальная ограниченность старика не позволяла ему видеть выхода из противоречий, то тем менее он мог предвидеть такое явление, как германский фашизм.

Потратив на ознакомление с творчеством Островского полных двадцать минут, Туровцев вышел на верхнюю палубу в сознании выполненного долга. И сразу же обнаружил скопление черных бушлатов в районе главного трапа. Краснофлотцы стояли вытянув шеи и смотрели на набережную. Туровцев подошел и тоже стал смотреть.

К кораблю подвигалась гуськом странная процессия — двое мужчин и четыре женщины. Видом они напоминали интеллигентных беженцев, каких немало перебывало на «Онеге» в дни исхода из Таллинна. У всех были чемоданы, а замыкавшая шествие высокая старуха в генеральских башмаках с резинками несла на плече мешок из полосатого тика, вроде тех, что когда-то носили старьевщики.

Рослый кочегар с «Онеги» оглянулся и, узнав Туровцева, радостно подмигнул:

— Артисты...

Приблизившись к шатким мосткам, соединявшим гранитную ограду с нижней площадкой трапа, процессия остановилась. Митя удивился: кроме одной худенькой девушки в белой вязаной шапочке, все остальные артисты были старые люди. Но остановка была недолгой, девушка в шапочке взобралась на парапет и, ставши на колени, рывком втащила грузного старика в распахнутой шубе с куньими хвостиками. Туровцев уже хотел вмешаться, но в этот момент кто-то оглушительно свистнул, и матросы ринулись вниз, чемоданы всплыли над поручнями трапа, через минуту старик

в шубе ступил на палубу, а еще через две палуба опустела.

Митя продолжал стоять, невесело разглядывая почерневшие от дождей голые ветви Летнего сада. Прежде чем повернуться и уйти, он в последний раз взглянул на набережную и увидел у самой решетки тоненькую фигурку. Фигурка стояла вытянувшись и, приложив руку козырьком, вглядывалась в корабль.

Не размышляя, как по свистку, он сбежал вниз, неловко соскочил с парапета и, прихрамывая, подбежал к Тамаре. Они не решились обняться на виду у целого корабля и только сцепили вытянутые руки. Несколько секунд Тамара молча тискала ладонь Туровцева своими тонкими пальцами: то ли хотела удостовериться в его реальности, то ли сделать больно в отместку за свои тревоги и сомнения. Затем заплакала злыми слезами. Всхлипывая и продолжая царапать Митины руки, она повторяла:

— Нет, ты мог, мог, мог...

Митя и не пытался оправдываться. Вдруг он понял: да, действительно мог. Не прийти, так прислать записку. Он молчал, подавленный стыдом и нежностью. Всматриваясь в лицо Тамары, увидел: похудела, кожа серая, лиловый оттенок губ. Тамара почувствовала изучающий взгляд, сердито замотала головой, и Митя понял: не столько сердится, сколько прячет опухшее лицо. Это его тронуло, ему захотелось сказать: «Дурочка, ты хочешь быть хорошенькой? Опоздала, я уже знаю, что ты прекрасна. Я знаю, как светлеют и разгораются твои заплаканные глаза, помню запах твоего тела — так пахнет яблочное семечко, если его раскусить: нежно и чуть-чуть горько...» Он нагнулся и поцеловал ей руку. Ладонь была влажная, а тыльная сторона суха и слегка шелушилась.

Но уже в следующую минуту вспомнил: смотрят. Часовой внизу, дежурный на верхней площадке, сигнальщик с мостика. Иллюминаторы только отсюда кажутся непрозрачными. Весьма возможно, у одного из них стоит Горбунов. Завтра он спросит...

Положение становилось безвыходным, а Митя безвыходных положений не любил и начинал сердиться. Сердиться на Горбунова было преждевременно, и он сердился на Тамару: не могла найти другого места устраивать сцены. Эта мысль потянула за собой вторую, еще более отравленную: как она вообще сюда по-

цала? «От кого она узнала, что я на «Онеге»? Не от меня».

— Ты давно здесь стоишь? — хмуро спросил он, стараясь не обнаружить вновь вспыхнувшие сомнения. Это ему удалось. Тамара поняла вопрос как заботу и не обиделась.

— Нет, недавно, минут пятнадцать, — сказала она жалобно.

— А кто тебе сказал, что я здесь?

На этот раз голос изменил ему. Тамара вскинула насторожившиеся глаза.

— Никто.

— Так почему же ты пришла к «Онеге»? На Неве кораблей много.

Он старался говорить шутливо, но Тамара чутьем угадала, что за шутливым тоном прячется нечто оскорбительное.

— А я, Димочка, — сказала она очень тихо, не опуская сверкнувших вызовом глаз, — у других кораблей тоже стояла.

Митя был сражен. У него был такой виноватый вид, что именно по нему Тамара сразу все поняла, оттолкнула Митины руки, круто повернулась и пошла, почти побежала в сторону своего дома. Только на горбатом мостике через Фонтанку Туровцеву удалось ее догнать. Она долго отворачивалась и вырывалась, но потом как-то сразу сдалась и, уткнувшись лицом в растегнутую на груди Митину шинель, горько заплакала.

Поднимаясь по трапу «Онеги», Туровцев с унынием думал, что пять минут назад дал обещание, которое невозможно выполнить. Условлено было так: если в ближайшие три дня Митя не появится в доме на Набережной, Тамара опять будет ждать его на том же месте у решетки...

На верхней палубе его поразила тишина, корабль как будто вымер. Проходя коридором правого борта, Митя услышал взрыв смеха, после которого вновь установилась неправдоподобная тишина. Дверь в каюткомпанию оказалась открытой настежь, однако не только войти, но даже заглянуть внутрь было невозможно: краснофлотцы не то что стояли, а висели в дверях, как на подножке переполненного трамвая. Туровцев привстал на цыпочки, но, как назло, стоявшие впереди были парни на подбор дюжие, их могучие спины

плотно запирали вход, а стриженные головы мало не доставали до притолоки. Покачнувшись, Туровцев невольно толкнул одного из матросов, а когда тот обернулся, не сразу узнал Митрохина, таким осмысленным и подобревшим было лицо Палтуса.

— Товарищ лейтенант, — зашептал Митрохин, — идите лучше с левого борта через артистов прямо в первый ряд. Там и комдив и все...

— Не пойду, — тоже шепотом сказал Митя.

— А здесь вам не видно будет.

— Да нет, не хочется...

— Желаете с нами, товарищ командир? — сказал другой матрос; Митя по голосу узнал Филаретова. — А ну-ка, ребята...

Стоявшие и висевшие раздались в стороны, откуда-то сверху протянулись длинные руки, кто-то ловко подсадил, и Митя, как на блоке, взвился под подволок. Он очутился на высоком помосте, составленном из обеденных столов. Это была галерка, где передние сидели, свесив ноги, а задние стояли наподобие эрмитажных кариатид. Однако зрители не замечали неудобства, а через минуту его перестал замечать и Туровцев.

Ни рампа, ни падуги не отделяли артистов от публики. Комдив и командиры лодок, занимавшие первый ряд, сидели поджав ноги, вытянуть их — значило нарушить демаркационную линию и вторгнуться в квартиру вдовы Кругловой. В квартире вдовы были круглые корабельные иллюминаторы, только пальцы да ситцевые чехлы на мебели отдаленно намекали, что действие происходит в прошлом веке. Исполнителю роли жениха было, по всей вероятности, лет шестьдесят, этого не могли скрыть ни румяна, ни светлый кудрявый паричок, выдавала морщинистая шея. Но и это очень скоро перестало мешать. Все артисты, в том числе и жених, играли очень хорошо. На них было интересно смотреть и еще радостнее — слушать. Митя давно не получал от слов такого полного, такого чувственного удовольствия. Оглянулся по сторонам: вытянутые шеи, раздутые ноздри, сияющие благодарным смехом глаза. Затем оглядел первые ряды. В середине первого ряда он увидел Кондратьева. Комдив сидел прямо и держался чинно. Спина его выражала: неплохо, неплохо... В следующем ряду с краю Митя увидел Тулякова. Старшина тоже сидел чинно, но это была чинность обрядовая.

Он не слушал, а внимал. Вдруг он поднял руки почти на уровень лица, подержал на весу, беспомощно шевельнул полусогнутыми пальцами, как будто хотел схватить и ощупать поразившую его фразу, но фраза выскользнула, и Туляков, вздохнув, уронил руки.

«Командир прав,— думал Митя, глядя на сцену,— всякое дело требует полной отдачи. Будь ты народный-разнародный, но, если ты зеваешь в лицо зрителю, тебя переиграет вот такой молю траченный старикашка. Надо намекнуть Ходунову, чтоб их как следует накормили, сам-то он не догадается...»

Его уже не удивляло, что актеры играют хорошо. Гораздо удивительнее было, что старая, сто лет назад сочиненная пьеса казалась написанной сегодня. Каждую минуту он открывал в ней новый, ранее неведомый смысл. Купеческого звания замоскворецкая вдова так гордо переносила лишения, с таким несгибаемым достоинством противостояла грубой силе, что в ней единодушно признавали ленинградку. В простенькой Агничке жило царственное презрение к трусу, и когда на вопрос Ипполита «нешто вооружиться» молодая актриса ответила «вооружайтесь!», матросы хлопали ей, как митинговому оратору. Мите тоже хотелось хлопать, но он побоялся свалиться.

Незадолго до конца второго действия над «Онегой» просвистел снаряд. Публика беспокойно зашевелилась. Все понимали: если будет тревога — спектаклю конец. Вслед за первым снарядом вспорол воздух второй. Потом — не сразу — донеслись глухие разрывы. Снаряды легли далеко, где-то на Выборгской. Митя увидел: согнувшись и пряча голову, как в окопном ходе сообщения, пробежал перед первым рядом Ивлев. Деликатно отодвинув стоявшего на выходе купца Ахова, выглянул из-за портьеры помощник дежурного по плавбазе мичман Куренков. На его смущенном лице было написано: что поделаешь, служба...

Когда пронесся третий снаряд, купец Ахов истово перекрестился. Полагалось ли это по роли, Митя не понял. До конца картины противник положил еще с десятков, и Митя заметил: игравшая вдову красивая старуха каждый раз делала легкое движение головой, как бы провожая летящий снаряд. Движение это мог уловить только внимательный взгляд, в остальном она ни разу не вышла из роли и не сбилась.

Действие окончилось под гром аплодисментов. Ивлеv пошептался с артисткой, игравшей Маланью, по пьесе это была личность малозначительная и даже придурковатая, но в жизни держалась деловито и властно. Затем поднял ладонь: внимание!

Зал притих.

— По данным штаба,— сказал военком своим спокойным тенорком,— снаряды ложатся на Выборгской и в районе Охты. Приняты меры к обеспечению нормального течения спектакля, арттревога будет объявлена лишь в случае перенесения огня в наш квадрат. Главстаршине Шило и краснофлотцу Лещенко явиться в дежурную рубку. Вниманию орудийных расчетов и аварийных партий — при выходе давки не создавать. Пьеса по условиям военного времени пойдет без антрактов, через одну-две минуты, необходимые для перемены декораций, начнется третье действие.— Он уже согнул ноги, чтоб сесть на свое место, но спохватился и вновь простер ладонь: — Действие происходит в доме богатого купца...

В зале сочувственно грохнули.

Перемена состояла в том, что были убраны пяльцы. Артистка, игравшая ключницу, заменила ситцевые чехлы дорожками из синего бархата, вышел Ипполит, и действие перенеслось в дом богатого купца.

Третий акт также закончился благополучно. Противник вел методический огонь, снаряды ложились через правильные промежутки. И актеры и зрители перестали обращать на них внимание; только старая актриса, игравшая вдову, всякий раз делала еле заметное движение головой, а когда доносился гул разрыва, на мгновение возводила глаза к подволоку.

В самом начале четвертого действия над «Онегой» коротко взвыл снаряд. Разрыв последовал почти немедленно. Второй разорвался в воде — «Онегу» слегка качнуло. Затрещали звонки, и галерка мгновенно опустела; сдержанно поругиваясь, краснофлотцы скатывались вниз. Коридоры наполнились грохотом. Перед тем, как спрыгнуть, Митя бросил прощальный взгляд на актеров. Они застыли в тех позах, в которых их застала тревога, уйти со сцены они не могли, надо было дать дорогу зрителям из первых рядов, однако грубо разрушить сценическую иллюзию они не решались, и, пока кают-компания не опустела, безмолвные, неподвижные, они еще продолжали играть.

Когда Туровцев вскарабкался на мостик «двести второй», Горбунов был уже там и распоряжался. Увидев помощника, он нахмурился.

— Штурман, у вас есть карта Невского бассейна?

— Посмотрю.

— Я бы на вашем месте сделал это неделю назад. Дайте мне. Да не сейчас, — сказал он досадливо, заметив движение помощника. — Вечером.

Был уже вечер, но Митя понял: вечером — это после тревоги. Ему хотелось спросить, зачем командиру карта, но он воздержался от расспросов: командир был настроен язвительно. «Черт знает что, — думал Митя, — мне уже двадцать четвертый год, поручик Лермонтов и лейтенант Шмидт в мои годы уже готовились отдать концы, почему же я до сих пор чувствую себя школьником, вызванным к доске? Что он ко мне привязался? Допустим, я не знаю, есть ли у нас карта Невского бассейна, но до сих пор она была мне не нужна и до весны вряд ли понадобится. Видимо, я его раздражаю, а если так — повод для недовольства всегда найдется. Нет, не об этом я мечтал, когда...»

Сильный разрыв прервал Митины рассуждения. Снаряд лег посередине реки и поднял высокий столб воды, смешанной с илом.

— Как по нотам, — проворчал Горбунов. — Предсказываю, сейчас будет второй, с правого борта.

Второй снаряд упал в Летнем саду. Взлетели сучья, черные комья земли.

— Все правильно. — Горбунов оглянулся на сигнальщика и еще понизил голос: — Будет чудом, если кого-нибудь из нас не накроют.

Туровцев взглянул на командира. Командир не трусил, он бесился.

— Нет ничего гнуснее бездействия, — сказал он через минуту. — Предпочитаю воздушный налет... Стоп! — прервал он себя. — Считайте до десяти.

Через десять секунд донеслось еще два разрыва. Горбунов захохотал.

— Самое интересное — рассуждать за противника. Как раз за немцев это не так трудно: немец — педант, он любит бефель и орднунг, у него все расписано и разложено по полочкам. Стоит батарея, а в окопчике сидит лейтенантик: планшетка, светящийся карандашик — я видел, очень хороши, нам бы такие. Город расчерчен на квадраты, объекты занумерованы. Дано задание:

залп двухорудийный, интервал две минуты. И нельзя себе представить, чтоб он положил три снаряда подряд. Два — значит, два.

Следующий снаряд разорвался у самого носа «Онеги». С отвратительным визгом разлетелись осколки, кисловатый запах взрывчатки мгновенно впитался в сырой воздух. Это было самое близкое попадание за весь день.

Примерно в девятнадцать часов дали отбой. Ужин сильно задержался — коки были расписаны по аварийным партиям. За ужином доктор сказал Мите, что на плавбазе есть раненые — двое легко, а один сигнальщик серьезно, в голову, и Божко хочет отправить его в госпиталь — боится оперировать.

— Я бы и то взялся, — с презрением сказал Гриша, однако развивать эту тему не стал, чтобы не связываться с Каюровым.

Команде откуда-то стало известно, что лейтенант Туровцев знает, чем кончилась пьеса, и после ужина к нему началось самое настоящее паломничество. Первым подошел Туляков. В осторожных выражениях, застенчиво улыбаясь, он осведомился, не слышал ли товарищ лейтенант о дальнейшей судьбе Ипполита и Агнии. Митя успокоил Тулякова насчет будущего влюбленных и в самых ярких красках расписал, как был посрамлен купец Ахов. К концу рассказа подошли Конобеев и Граница, за ними боцман. Пришлось начать сначала. Боцман слушал внимательно и изредка кивал головой с важным и загадочным видом. Затем спросил, откуда автор родом и не родственник ли он Николаю Островскому. Савин крутился около, но вопросов не задавал, делал вид, что ему все это неинтересно. В конце концов набежала вся команда, боцман догадался послать Границу за ключом от ленкаюты, и Митя прочел вслух четвертый акт. Читал он хорошо и имел такой успех, как будто сам его написал.

За разговорами он совсем позабыл о карте. Горбунов выждал, а затем позвонил и напомнил в такой изысканно-вежливой форме, что это стоило выговора. Митя сбегал на лодку и принес карту. Горбунов разложил карту на столе и нырнул в нее, как обычно — навалившись локтями и зажав уши ладонями. Через минуту он вынырнул очень довольный, скрутил карту в трубочку и, бросив на ходу: «Я у комдива», — исчез.

Перед отбоем Митя заглянул к нему с суточным расписанием. Горбунов даже не посмотрел:

— Отставить. Завтра с утра погрузка. Примете соляр, воду, продукты. Харчи берите с разбором, не все, что вам будут совать. Как стемнеет — перейдем.

Он был весел, значит, кого-то переупрямил.

— Есть, — сказал Митя без всякого энтузиазма. — А куда, товарищ командир?

— Именно этот вопрос я хотел бы с вами обсудить.

Митя метнул на Горбунова быстрый взгляд: шутить изволите? Но командир с серьезным видом потирал руки.

— Приступим? — Он включил верхний свет и подвел Митю к разложенной на столе карте. Легким прикосновением остро отточенного карандаша обозначил дислокацию дивизиона: эллипс побольше — «Онега», поменьше и поуже — лодки. — Прошу!

Митя взял карандаш и почесал им за ухом. Наступила пауза.

— Куда идти и где швартоваться — это не один, а два вопроса, — сказал Горбунов тоном опытного и терпеливого репетитора, — идти можно...

— Вверх или вниз по течению.

— Правильно. А швартоваться?

— У правого или левого берега.

— Превосходно. Действуйте...

— Хотел бы я знать, чем вы занимаетесь, — спросил Горбунов через минуту. Тон был шутливый, но уже с оттенком раздражения.

— Думаю, куда поставить лодку.

— Куда же?

— Еще не знаю. Думаю.

— А мне кажется — нет.

— Что же, по-вашему, я делаю?

— Гадаете. Убеждены, что у меня есть готовое, согласованное с комдивом решение, и пытаетесь его угадать. Но угадать результат, минуя весь ход рассуждения, можно только случайно. Скажите лучше, зачем вообще нужен этот переход?

— Как зачем?

— Вот так — зачем?

— Чтоб рассредоточить корабли.

— Справедливо. Зачем?

— Я не понимаю...

— Что тут не понимать. Зачем их нужно рассредоточивать?

— Чтоб нести меньше потерь от обстрела.

— Договорились. Значит, нет смысла отойти от «Онеги» и стать рядом с другим кораблем?

— Нет.

— Значит, надо идти туда, где кораблей меньше?

— Да.

— Следовательно?

— Вверх по течению.

— Великолепно. Итак, пошли вверх по течению. Где же мы будем искать стоянку?

Митя молчал.

— Я знаю, вы любите ходить в город,— сказал ехидно Горбунов.— Неужели вам никогда не попадалась надпись: «Эта сторона улицы наиболее опасна при обстреле»?

— Попадалась, конечно.

— Так вот представьте себе, что Нева — улица...

В конце концов Митя облюбовал недурную стоянку у того же берега, повыше Литейного. Старательно нарисовав на карте условный знак, он вытер пот с верхней губы и улыбнулся.

— Ну, а теперь скажите по совести, Виктор Иванович, где мы станем?

— Как где? — Горбунов был искренне удивлен. Помолчав, он с интересом взглянул на Митю: — Скажите, штурман, неужели, кроме меня, вам так-таки никто не говорил, что вы лентяй?

Митя обиделся. Работать с утра до поздней ночи, отказываться ради дела от всех жизненных радостей и чтоб тебе еще лепили лентяя — нет уж, слуга покорный! Лучше терпеть воркотню дяди Васи, чем это изощренное издевательство.

— Товарищ командир,— сказал Митя сипло.— Если я вам не подхожу, скажите прямо. Какое ваше приказание я не выполнил?

Горбунов вяло отмахнулся.

— Еще бы вы не выполняли приказаний. Вы лентяй потому, что ленитесь думать. А ведь вы неглупый парень, мыслительный аппарат у вас в исправности, но утруждать себя вы не любите, вращаетесь в сфере положенного и все вопросы потруднее предоставляете решать начальству. Вы твердо верите, что Кремль выиграет войну, Смольный отстоит Ленинград, а Гор-

бунов отремонтирует лодку и весной выведет ее в Балтику. Такая вера делает вам честь, но, ей-же-ей, я был бы спокойнее за вас, если б знал, что вам свойственны сомнения. Не пугайтесь, — усмехнулся он, увидев Митины широко раскрытые глаза. — Сомнение — признак самостоятельной работы мысли и неизбежный этап при выработке убеждений. Взгляды, выработанные с некоторой затратой умственной энергии, наиболее устойчивы при крутом изменении обстановки. Задумайтесь-ка над следующим парадоксом. — Горбунов сел на койку и показал Мите на ковровый табурет. — Что может быть недемократичнее по своей организации, чем подводная лодка? Все слепы — вижу я один. Все глухи и немые — только я знаю код. Я веду, я атакую, я командую — остальные слушают и репетуют. Но я погубил бы лодку, если б монополизировал право думать. А вам не приходило в голову, — он понизил голос, — что корабль может оказаться в условиях, когда земные законы практически перестают воздействовать и лодка становится похожей на снаряд, летящий в звездном пространстве? Когда смертельная опасность близка, а трибунал далеко — где-то на другой планете? Что сдержит тогда людей, чтоб они не превратились в обезумевшее стадо? Только сознание, только мысль.

Митя молчал. Его внимание было поглощено двойным рядом заклепок над головой Горбунова. Глядя на них, он вдруг ясно представил: лодка, подбитая, смятая, лежит на грунте, заклепки слезятся, хлор разъедает глаза, в ушах стучит от повысившегося давления, дышать трудно, а наверху, всего в пятидесяти метрах, дует освежающий бриз, ходит небольшая волна, на волне покачиваются вражеские «охотники»; они выключили моторы и ждут, слушают. Спешить им некуда...

У Мити даже запершило в горле. Он тихонько покашлял и отвернулся.

— Нет ничего выше и могущественнее, чем человеческий коллектив, — услышал он голос Горбунова, — и нет ничего гнуснее, чем человеческое стадо. Коллектив умнее и нравственнее отдельного человека, стадо глупее и подлее. У коллектива есть прошлое и будущее, у стада — только настоящее. В коллективе даже умерший человек продолжает жить, стадо способно затоптать живого. Стадо может притвориться коллективом,

но не надолго, в нем нет взаимного притяжения частиц, оно как бочка, стянутая обручами. Если сцепления нет, а есть только обручи — привычка к подчинению, страх перед трибуналом, вызубренные, но не ставшие плотью и кровью истины, в критический момент все это может полететь к дьяволу под хвост, и стадо покажет себя стадом. Вы знали Кузьминых?

— Каких Кузьминых? — встрепенулся Митя.

— Не каких, а какого. Командира Р-2.

— Это который погиб?

— С ним вместе погиб Володя Попов, штурманец из моего выпуска. Мы с Борисом Петровичем зашли к нему на лодку за сутки до выхода. Кузьминых нас встретил по-княжески, угощал и все такое. Я ушел с тяжелым чувством. Будь я комдивом — не выпустил бы лодку.

— А что вам тогда не понравилось?

— Теперь уж не могу объяснить. В том-то и дело, что все недоказуемо. Не понравилось нам, как люди ходят по лодке, как у них чай заваривают, как улыбаются. Больше всего — как улыбаются. Нет дружбы, нет уюта, нет уверенности в соседе, все смотрят в рот командиру, а это ведь не всегда признак авторитета. Кузьминых был не глуп и не трус, но чересчур самонадеян. Вы знаете, как погибла Р-2?

— Нет, — сказал Митя виновато.

— Ну как же вы не лентяй? Кузьминых подорвался на антенной мине, не выходя из залива. Дело было ночью, лодка шла в надводном положении. Командир стоял на мостике, взрывом его сбросило в воду. Повреждения были незначительны, лодка полностью сохранила плавучесть и ход. Но, потеряв командира, экипаж сразу рассыпался, на минуту возникла растерянность. Этого оказалось достаточно, чтоб нарваться на вторую мину. И представьте себе: после этого лодка — огромная, многоотсечная — еще жила. Только третья мина ее доконала.

— Значит, это было минное поле?

— Воевать на Балтике и ходить по минным полям — это одно и то же. Финский залив напичкан этим добром — контактными, акустическими, антенными, магнитными, сетевыми... Ходить можно, но, конечно, умеючи. Нужно иметь терпение и фантазию.

— Фантазию?

— Да, надо уметь поставить себя на место против-

ника, понять его логику. Именно в тот момент, когда противник приходит к убеждению, что пролив непроходим, у вас появляются серьезные шансы на то, чтоб пройти. Вот смотрите...

Горбунов вытащил из-под подушки тетрадку и раскрыл ее на странице, заложенной полоской цветного целлулоида. Тетрадка была самая обыкновенная, в клеточку.

— Вот, — сказал Горбунов с хитрым видом, — сюда по вечерам я заносу все, что мне удастся узнать о минной обстановке. Мне это заменяет пасьянс. Вот, например. Вертикальная схема минного поля, которое мы форсировали в районе Гогланда. Здесь несколько вариантов, или, точнее сказать, версий. Верна какая-нибудь одна, но я обязан учитывать все.

Митя с интересом взглянул на аккуратно вычерченную схему. Расположенные в несколько ярусов мины изображались кружочками, минрепы — пунктирными линиями.

— Мы прошли это поле на большой глубине, самым малым ходом, чтоб сразу отработать назад при касании корпуса о минреп. Скажу вам откровенно, скрежет минрепа — один из самых мерзких звуков в мире, он леденит душу. У нас было восемь касаний. У Бориса Петровича редкая выдержка. И звериный нюх. Вообще такого командира поискать.

Несомненно, Горбунов говорил искренне, но в настойчивости, с которой он хвалил Кондратьева, Мите почудилась какая-то нарочитость.

— Во всякой борьбе, — продолжал Горбунов, — действует непреложный закон. Ты проиграл в двух случаях: а — в тот момент, когда признал превосходство врага, бэ — когда столь же слепо уверился в своем превосходстве.

Формула показалась Мите любопытной.

— Немецким чинодралам — а впрочем, только ли немецким? — в высшей степени свойственно самодовольство. Немец, которому было поручено запереть нас в заливе, вероятно, считает, что запер нас как нельзя лучше. Вот это самое и дает мне шанс. Вы не болтливы, штурман?

— Не знаю. Кажется, нет. А что?

— Дело в том, что у меня есть еще одна заветная тетрадка. Там нет ничего секретного, и если я попрошу вас до времени держать язык за зубами, то единственно

потому, что все это очень сыро и не приведено в систему. Я попытался проанализировать все известные мне случаи гибели подводных лодок как в военное, так и в мирное время и пришел к убеждению... Вам не скучно?

— Нет, нет...

— Начнем с другого конца. Что такое современная подводная лодка? Это агрегат, состоящий из большого количества узлов или звеньев, находящихся между собой в сложном взаимодействии. Большинство этих звеньев связаны последовательно, таким образом, выход из строя одного звена разрушает цепь. Во всем этом существует одна неприятная закономерность — чем больше звеньев, тем больше вероятность разрыва цепи. Для того чтоб повысить надежность корабля в бою и в походе, есть, по существу, один путь...

— Дублирование,— вставил Митя, видя, что Горбунов ждет реплики.

— Совершенно справедливо. К примеру, мы можем переключать рули электричеством, пневматической тягой и вручную. Но возможность дублирования механизмов жестко ограничена весом и габаритами подводного корабля. Не поленитесь прочитать вот это,— он вынул тетрадку,— и в большинстве описанных случаев за отказом механизма вы увидите человеческую ошибку. Дрогнула воля, потерялось внимание, не хватило знаний. Чтоб лодка затонула, не обязательно получить пробоину, иногда достаточно оставить на краю люка старую фуфайку. Так вот, штурман, если мы с вами добьемся от личного состава полного автоматизма во всем, что не требует размышления, и всю освободившуюся умственную энергию направим на проблемы, того заслуживающие,— мы пройдем. Сейчас для меня проблема номер один — взаимозаменяемость, здесь я вижу не то что неисчерпаемые — терпеть не могу таких пышных слов,— но вполне ощутимые резервы надежности. Будет трудно, штурман, а вам труднее всех. Так что можете рассчитывать на мое полное сочувствие. На снисхождение — нет. На это я просто не имею права. Поэтому, повторяю еще раз,— вы нужны мне целиком. Отбросьте, истребите в себе все, что занимает хоть частицу вас. Вам двадцать три года. Будем живы — после Победы перед вами целая долгая жизнь. От вас ничего не уйдет.

Митя сидел с застывшим лицом, он боялся, что Горбунов прочитает его мысли.

Горбунов вдруг усмехнулся — ласково и невесело:

— Вы небось думаете: вот чертов сын, ему легко поучать, у него уже все было — любовь, женитьба, ребенок, с романтикой покончено, высылает семье аттестат... А я ведь не так стар, штурман. И не случись война, я бы, наверно, и сегодня считал, что переживаю драму, перед которой бледнеют все человеческие горести.

Митя был растроган.

— Я знаю, — тихо произнес он и обмер, сообразив, что проговорился. От ужаса он сделал вторую ошибку: пряча глаза от Горбунова, он бросил быстрый взгляд на ящик стола, узкий, запертый на ключ правый ящик, где лежал черный конверт.

Мите показалось, что воздух в каюте сгустился. В ушах у него шумело. Наконец он решился взглянуть на командира и увидел лицо, на котором еще не расправилась гримаса страдания. Вспыхнувший было гнев погас, осталась только боль и еще, пожалуй, стыдливость, не стыд — стыдиться было нечего, — а именно стыдливость. Такое выражение Митя видел на лице одного раненого во время таллиннского перехода, это был молоденький красноармеец, почти мальчик, узбек или таджик, раненный осколком в живот. Он лежал на палубе «Онеги», около него суетились девушки из санотряда. Боль еще не притупила в нем других чувств, и он страдал не столько от раны, сколько от своей наготы и беспомощности.

Чутье подсказало Мите — объясняться бесполезно. Может быть, когда-нибудь потом, позже. А сейчас Горбунову совершенно безразлично, что заставило лейтенанта Туровцева проникнуть в тайну черного конверта — служебный долг или самое пошлое любопытство.

Прошла минута. Горбунов подошел к столу и, не садясь, углубился в изучение суточного расписания, затем взял красный карандаш и, убедившись, что он хорошо отточен, аккуратно перечеркнул листок крест-накрест.

— Так вот, товарищ помощник, — сказал он с несколько насильственной шутливостью. — Значит, погрузка. К сему дается вводная — командир пэ эль двести два капитан-лейтенант Горбунов болен. Не смер-

тельно, но температура высокая. Если вопросов ко мне не имеется, вы свободны.

Вопросы у Туровцева были, но он предпочел быть свободным.

Каюров, конечно, заметил, что его сожитель вернулся в растрепанных чувствах, но виду не подал. Узнав, что предстоит переход на новую стоянку, он присвистнул:

— Лихо! Ты узнал — боекомплект будем грузить?

На этот счет у Туровцева не было никаких установок, но «вводная» уже вошла в силу, и он огрызнулся:

— Что значит «узнал»? Потрудитесь не позже восьми ноль-ноль представить мне ваши соображения.

— Вот это разговор! Через пятнадцать минут будешь иметь полный реестр.

Доктор и механик также не стали дожидаться восьми ноль-ноль: еще до отбоя они ввалились со своими заявками, рассчитанными по меньшей мере на автономное плавание. Туровцев попытался воззвать к их совести, но ничего не достиг, механик промолчал, а доктор, цинично посмеиваясь, сказал:

— Ладно, штурман, ты режь, но не морализируй.

На следующее утро помощник командира «двести второй» развил бурную деятельность, поразившую не только команду, но и выдавших виды хозяйственников плавбазы. Туровцев недаром прослужил несколько месяцев на «Онеге»: бессильный что-либо изменить в ее порядках, он тем не менее отлично в них разбирался. Пучков, новый старпом «Онеги», сразу понял, что наскочил на несговорчивого клиента. Ходунов посматривал на Митю с удивлением: неужели Горбунов сумел сделать из этого щенка что-то путное? Кондратьев был величественно прост и дружелюбен. Ставя на бланках свою размашистую подпись, он вдруг хитро прищурился и спросил: «Ну что, лейтенант, каково тебе? Тяжко?» Митя из самолюбия попытался отрицать, но Борис Петрович отмахнулся и, захохотав, сказал: «Что ты мне врешь. Я — начальство, и то мне с ним трудно, а тебе сам бог велел страдать...»

Всякий порыв заразителен. Краснофлотцы, работавшие на погрузке, с удовольствием поглядывали на лихо распоряжавшегося помощника, и даже боцман Халецкий, личность вообще скептическая, признал его

авторитет и лишь изредка позволял себе что-то почтительно советовать. Горбунов вел себя, как всегда, загадочно. Все утро он просидел у себя в каюте, обложившись книгами и картами, и даже сменил ботинки на тапочки. После обеденного перерыва Митя настолько обнаглел, что послал к нему доктора справиться о здоровье. Гриша вернулся и доложил: командир благодарит за внимание, он чувствует себя лучше и, хотя температура еще держится, готов принять помощника по любым возникшим у него вопросам. При этом у доктора был такой серьезный вид, что Митя на мгновение усомнился: вдруг на самом деле температура? Но затем уловил иносказание: если запарываешься — приходи. И, конечно, не пошел.

Впрочем, все шло как по нотам, если не считать столкновения с мичманом Головней. Мичман ведал на «Онеге» продовольственной кладовой и так же, как Митрохин, принадлежал к любимцам Ходунова. Головня был честен на самый распространенный манер: он не крал и не подделывал документов. Сознание собственной честности давило его, как тяжелый груз, он с трудом переносил свое совершенство и потому был всегда угрюм и высокомерен. С началом блокады высокомерие Головни разрослось до невероятных размеров. В нем нуждались все, он — ни в ком. Он мог облагодетельствовать и разорить, ни на йоту не отступая от инструкций. В безденежном мире казенного довольствия он мог выдать сахарную норму рафинадом и соевыми конфетами, табак — папиросами или махоркой, мясо — солониной, консервами и даже яичным порошком, что было крайне невыгодно, ибо, согласно существовавшей шкале, вместо ста граммов мяса полагалось двадцать граммов яичного порошка.

Когда доктор доложил, что Головня лютует, Туровцев вспыхнул и ринулся в кладовую. Если раньше при появлении Туровцева мичман, не поднимаясь со стула, находил приличный способ приветствовать начальника, то теперь он даже не поднял глаз.

— Даю, что есть.

— Я этого не возьму.

— Дело ваше, можете не брать.

Тон был возмутительный. Вероятно, Головня рассчитывал, что лейтенант покорится, долгий опыт говорил ему, что молодые командиры, когда им что-нибудь очень нужно, обычно не придираются к тону. А может

быть, наоборот — ждал, что лейтенант разволнуется, начнет заикаться и грубить, и тогда победа все равно осталась бы за мичманом, ибо побеждает всегда тот, кто сохраняет спокойствие.

Но Головня просчитался. Туровцев не разволновался, он пришел в бешенство. Он не раскричался осекающим голосом, как бывало прежде, и не рассыпался в угрозах, безопасных именно из-за своей чрезмерности.

— Встать, — сказал он коротко.

Мичман удивленно поднял скучливые глаза, но что-то в лице Туровцева и в молчании остальных заставило его поспешно выйти из-за стола и, обдернув китель, взять руки по швам.

Туровцев не спеша, с любопытством разглядывал Головню. Лицо у мичмана было сытое, но не свежее, а как будто присыпанное пылью. Даже морщин на нем не было, а только складки. Рассматривая вблизи это грубое лицо, Митя вдруг отчетливо вспомнил другое, совсем непохожее: изысканно-испитое, ироничнейшее, интеллектуальнейшее лицо Георгия Антоновича. Порознь это были люди, которые ему не нравились. Вместе это было явление. Митя не умел подобрать ему названия, но в его душе уже зрела ненависть к этой неуловимой касте честных воров, косвенных взяточников, самоуверенных холуев, перед которыми почему-то частенько пасуют люди безупречно чистые.

— Вы что, с ума сошли, Головня? Как вы разговариваете?

Головня молчал.

— У вас что здесь — собственный лабаз? Вы что — личное одолжение мне делаете или служите?

На этот раз отмолчаться не удалось, Головня выдавил из себя:

— Служу, — и поспешно добавил: — товарищ лейтенант.

— А если служите, то зарубите себе на носу: даже если вы сидите на харчах, устав остается для вас уставом, а командир командиром. Военфельдшер Марченко! Отставить прием продовольствия.

— Есть, — гаркнул Гриша.

— Товарищ лейтенант, — сказал Головня незнакомым голосом. Туровцев был уже в дверях. — Товарищ лейтенант...

Митя остановился.

— Что вам, мичман?

— Товарищ лейтенант, — повторил Головня в третий раз. — Я учту ваши замечания. Больше не повторится.

— Очень рад за вас. Идемте, доктор.

— Товарищ лейтенант, разрешите им остаться. Все будет в порядке.

— Ну хорошо, посмотрим.

Через полчаса боцман разыскал Туровцева на шкиперском складе и, усмехаясь, доложил, что товарищ лейтенант может быть спокоен: продовольствие принято, и все обстоит в ажурном порядке, а в семнадцать ноль-ноль Туровцев постучал к Горбунову и нарочито обыденным тоном доложил о готовности. Горбунов выслушал помощника с серьезным видом, усмешка гнездилась где-то в крыльях носа.

— Отлично. А теперь подите к себе и подумайте, все ли сделано.

К себе Митя не пошел, а отправился на лодку. Посмотрев на пузырек дифферентомера, он забеспокоился: корма была явно перегружена. Пока выравнивали дифферент, прошло время. Только перед самым ужином он зашел в каюту. На смену недавнему возбуждению пришла острая усталость, не было сил лезть наверх, и Митя рухнул на койку Каюрова. Он не заснул, а впал в протрацию. Думать он еще мог, но потерял управление мыслями. Как рыбы, привлеченные электрическим светом, они приплывали и уплывали. Сначала в освещенный участок мозга вплыли, обнявшись, мичман Головня и Георгий Антонович, он проводил их вялой усмешкой. Георгий Антонович потянул за собой Селянина. Селянин был тоже явление, но посложнее. Затем все освещенное пространство заполонила Тамара. Это было приятно, пока Митя не вспомнил о данном вчера обещании. Переход на новую стоянку приближал его к Тамаре территориально, но ничего по существу не решал, наоборот, увеличивалась опасность разоблачения. Митя вспомнил усмешку Горбунова — не ту широкую и кривоватую, обнажающую только нижние зубы, от которой его лицо теплеет и становится удивительно привлекательным, а сегодняшнюю: почти неуловимую, прячущуюся в углублениях за крыльями носа и в углах плотно сжатых губ. Вспомнил и даже тихонько застонал.

Горбунов не торопился играть тревогу, и звонки

на лодке затрещали перед самым отбоем. Стоя рядом на мостике, Митя с удовольствием отметил, что к шефу вернулось хорошее настроение. Грозная чернота ночи, разрезаемая редкими электрическими вспышками, холод и резкий ветер, швырявший в лицо крупные дождевые капли,— все это, по-видимому, только веселило командира.

Несмотря на поздний час и плохую погоду, на мостиках соседних лодок и на верхней палубе «Онеги» оказалось много провожающих.

Окончилась проверка на герметичность, все отсеки поочередно доложили о готовности. Горбунов, дружелюбно улыбаясь и потирая руки, спросил:

— Ну что, штурман, мы как будто ничего не забыли?

— Как будто,— сказал Митя, тоже улыбаясь.

— Значит, с богом?

— Выходит, так.

— Дело. Командуйте.

— Что?!

Митя взглянул на командира и очень пожалел, что не удержался от последнего восклицания. Командир смотрел на помощника с самым невинным видом. В переводе на слова взгляд означал примерно следующее: «Вам очень идет ваша новая пилотка, но вы, кажется, не умеете сняться со швартовов?»

Как всякий аттестованный вахтенный командир, Туровцев умел швартоваться. Но опыт у него был самый ничтожный, а за время службы с Ходуновым повылетело и то немногое, что он помнил. В этом не грех и признаться, но тогда столь блестяще начатую игру можно считать проигранной, и все завоевания дня идут насмарку.

— Есть! — хрипло сказал лейтенант Туровцев и, наклонившись над рубочным люком, рявкнул самым что ни на есть командирским басом: — Внизу! Швартовую команду наверх!

Теперь до следующей команды у него была примерно минута — немало для человека с хорошей реакцией. «Первым делом надо отвести корму от кормы двести тринадцатой,— стремительно соображал он, комкая в руках пилотку,— следовательно: «руль право на борт, левый мотор, малый вперед, правый — средний назад». Работающие враздрай винты оттолкнут корпус лодки влево, затем «стоп правый и лево руль». Главное —

выйти на середину, не наскочив кормой на стоящую сзади двести пятнадцатую, а там «оба мотора, средний вперед», курс на средний пролет моста...»

Швартовая команда высыпала наверх в самом праздничном настроении. Многие поглядывали на Туровцева с тем несколько бесцеремонным любопытством, которое повсюду встречает новичков. Боцман с озабоченным видом распоряжался на верхней палубе — в присутствии Горбунова он избегал распространенных предложений, обходясь междометиями. В общем, все с удовольствием играли в дальний поход. Мите было не до игры, вернее, он был втянут в другую игру, тем более азартную, что противник находился рядом. В данный момент противник стоял с отсутствующим видом и рассматривал медленно ползущий по Литейному мосту трамвай.

— По местам стоять, со швартовов сниматься!

Теперь уже все, кто был наверху, поняли, что лейтенант не дублирует команды Горбунова, а сам поведет корабль.

Убраны и закреплены сходни, отданы и смотаны все тросы, кроме носового. Лодка свободна — это понятно по легкому покачиванию и по тому, как изменился звук, с которым ударяется об легкий корпус вода.

— Левый мотор, малый вперед, правый — средний назад!

Лодка начала потихоньку пятиться. На «Онеге» и на лодках замахали пилотками и бескозырками...

На середине реки Туровцев почувствовал себя увереннее. Лодка шла против течения, держа курс на средний пролет Литейного моста. Митя окинул взглядом верхнюю палубу и невольно залюбовался. В зрелище бесшумно скользящей по водной глади подводной лодки всегда есть что-то щемящее. Торжественно неподвижны выстроенные в одну линию фигуры подводников. На палубе движущейся лодки редко слышится пение, но само ее движение похоже на песню, кажется — в любую минуту лодка может исчезнуть, слиться с воздухом и водой, растаять, как тают звуки...

«Какое счастье, что я на двести второй...» — подумал Митя.

Приблизившись к мосту, он, движимый похвальной осторожностью, притопил лодку и снизил обороты.

Казалось, было сделано все необходимое, чтоб не треснуться об гранитные устои и не зацепиться антенной за железные фермы моста, однако именно после этих команд лодка стала плохо слушаться руля: несмотря на все усилия стоявшего у штурвала Фалеева, лодку упорно разворачивало поперек течения, еще немного — и она застрянет под мостом, загородив фарватер, либо — еще хуже — ее прижмет к одному из каменных быков и может помять. Никто из стоявших на мостике не произнес ни слова, но в позах рулевого и сигнальщика Митя уловил тревогу. И только Горбунов зевал во весь рот.

«Черт меня дернул связаться с этим холодным убийцей», — яростно думал Митя.

Укрепленные под мостом красные фонари приближались с пугающей быстротой, и Мите показалось, что на мостике стало светлее. Он опять посмотрел на Горбунова. Поймав на себе напряженный, ненавидящий и молящий взгляд помощника, командир соизволил на несколько секунд вернуться к действительности. Он лениво взглянул на надвигающиеся фермы и рыскающий, как магнитная стрелка, нос корабля, зевнул и вновь отвернулся. Но помощник ясно услышал ни к кому не обращенное, как будто случайно вырвавшееся вместе с зевотой слово. Слово это было «парусность».

Недаром считалось, что у Мити хорошая реакция, — он понял свою ошибку мгновенно. Дул сильный остовый ветер, и возвышающаяся над водой рубка создавала парусность, ветер и встречное течение поворачивали лодку вспять.

Лейтенант Туровцев отработал назад, затем прибавил обороты и благополучно прошел под мостом. За Литейным Нева выглядела пустынно, кроме одного плавучего крана, притулившегося у самых Крестов, кораблей здесь не было. В районе прежней стоянки даже ночью ощущалось биение жизни, позванивали с двух сторон редкие трамваи, иногда пробегали машины, на кораблях били склянки и гудела вентиляция, временами мигал ратьер — корабли переговаривались. Здесь стояла жутковатая тишина, Мите показалось, что лодка вошла в подземное озеро.

За мостом Митя продул балласт, сжатый воздух взбурлил воду. Оставался последний ответственный маневр — прижать лодку к левому берегу с таким

расчетом, чтоб подойти к точке стоянки под наименьшим углом. То, что было на карте точкой, теперь принимало реальные очертания. Впервые Митю кольнуло беспокойство: как она выглядит, эта окаянная точка, какая там глубина, нет ли подводных свай, может ли лодка подойти к парапету вплотную, да и есть ли этот самый парапет? И не следовало ли прежде, чем начинать переход, подготовить причал и послать загодя матроса, чтоб было кому принять и закрепить конец?

В заданную точку он привел лодку безупречно. Берег надвигался, и лодка, вновь снизившая обороты, с кажущейся стремительностью подходила к грубо сколоченному, но удобному причалу. На причале стояли, широко расставив ноги, две черные фигуры. Ветер развеивал ленточки. Митя непроизвольно оглянулся на Горбунова. Командир уже не прятал откровенно смеющихся глаз.

— Стоп моторы, — угасшим голосом скомандовал Туровцев.

Лодка прошла по инерции еще несколько метров и мягко коснулась скрипнувших досок причала.

— Отлично, штурман, — сказал Горбунов как ни в чем не бывало.

Митя ничего не ответил. Он вдруг сразу ослабел и покрылся потом.

Через минуту вся команда оказалась наверху. Горбунов разрешил курить, подводники раскуривали толстые самокрутки, тлеющий табак освещал улыбающиеся лица. Только Туровцев был мрачен.

— Не хотите ли на берег, Дмитрий Дмитрич? — услышал он голос Горбунова и сразу насторожился. Это пахло намеком, издевкой. Он промолчал.

— Пойдемте, пойдемте, — сказал Горбунов, не дождавшись ответа. — Надо промяться немного.

В самом деле, промяться следовало. Левая нога затекла, и по ней щекотно бегали мурашки. Прихрамывая, Митя последовал за Горбуновым, по наклонной доске они взбежали на гранитный парапет и спрыгнули на асфальт. Набережная была темна и безлюдна, только над воротами ближайшего дома тускло светилась синяя лампочка.

«Где-то тут поблизости Тамара», — вспомнил Митя.

Дом, против которого стояла лодка, ничем особенным не выделялся среди своих соседей: типичный питерский дом, не особняк и не казарма, а так — середка

на половинку, с двухстворчатыми коваными воротами, вписанными в полуовальную арку. Митя попытался вспомнить, как выглядит дом, где живет Тамара; оказалось, что это невозможно: он ни разу не посмотрел на него, входя, а уходя, никогда не оглядывался. Занятый своими мыслями, он совсем позабыл о Горбунове.

— Смотрите-ка, штурман,— сказал Горбунов.

Он показывал на ворота, вернее, на стоявшие в воротах три фигуры — две женских и мужскую. Одна из женщин — та, что поприместее,— держала над головой «летучую мышь». Мужчина был, без сомнения, матросом. Старинные гвардейские ленточки свисали с бескозырки, на черном бушлате блестели Георгиевские кресты.

А где-то в глубине двора натужно, как при зевоте, взвизгнула пружина и гулко, со звоном хлопнула дверь.

Часть вторая

Глава десятая

Лед сковал Неву, блокада стиснула город.

В декабре начали одолевать морозы. Голод и холод, страшные порознь, объединились. Бомбоубежища пустовали. Немногие рисковали потерять свое место в хлебной очереди из-за воздушной или артиллерийской тревоги.

Все стало трудно. Не только работа. Даже то, что ранее не замечалось и не считалось за труд, теперь требовало усилий. Стало трудно засыпать и просыпаться, умываться и поддерживать чистоту в жилищах, ходить по улицам и подниматься по лестницам. Еще труднее — заботиться о других людях и сдерживать раздражение, любить своих близких и помнить о друзьях, держать данное слово и быть справедливым.

Люди на подводной лодке и в доме на Набережной делали эти усилия и потому оставались людьми.

Прошло семь недель с тех пор, как лодка ошвартовалась против ворот дома на Набережной. Десятидюймовый слой замерзшей воды держал ее в плену и грозил помять тонкую сталь. Приходилось каждое утро обкалывать лед по ватерлинии, вокруг лодки образовывался узенький поясок воды, которая сразу же замерзала.

Митя Туровцев проснулся задолго до пробудки. За ночь он порядком продрог, но разбудил его не холод. Предстояло бежать по малой нужде. Какая-то пружинка ослабла, и теперь властный позыв будил его по меньшей мере дважды в ночь. Пользование корабельным галюном на стоянке запрещено, следовательно, надо лезть наружу и спускаться на лед. Он сосчитал до трех, рывком оторвал голову от подушки и, конечно, пре-

больно стукнулся о верхнюю койку. Тихонько похныкивая, он спустил юги и, стараясь не касаться ступнями холодного линолеума, потянулся за валенками.

В отсеке темно, крошечный сиреневый ночничок освещает только лицо Горбунова. Командир спит, как всегда, на спине. Лицо худое, обтянувшееся, строгое. Рук не видно — загораживает столик, — и от этого кажется, что они сложены на груди.

Туровцев вздрогнул.

Он уже давно испытывал по отношению к Горбунову двойственное чувство: восхищение боролось с раздражением. У командира, конечно, тяжелый характер. Он упрям, часто вяжется по мелочам и временами бывает отвратительно сварлив. Но при всем при том — за ним как за каменной стеной. Команда любит его даже больше, чем Кондратьева. Служить с Горбуновым труднее, но все видят, что командир живет так же, как они, работает больше других и совершенно себя не щадит. К ноябрьским праздникам Горбунов получил маленькую продуктовую посылку — строго говоря, это была никакая не посылка, а небольшая дотация командирам лодок из каких-то специальных фондов. Горбунов передал ее в общий котел, за что ему очень влетело от комдива. Виктор Иванович молчал и не спорил, но когда Кондратьев, разбушевавшись, назвал его демагогом, так же молча потянулся к стоявшему на полочке политическому словарю. Заметив это, Кондратьев засмеялся и махнул рукой.

«Командир опять похудел. Теперь часто говорят о людях: такой-то сильно сдал. О Горбунове этого не скажешь, отощал, но не сдал, даже похорошел, в лице появилась какая-то значительность, ни дать ни взять Галилей или Джордано Бруно — который там из них сказал: «А все-таки вертится»? Ему все впрок, даже голодуха...»

У спящего дернулась щека — слава те господи, живой! — и Туровцев ожесточился. Вот он изволит дрыхнуть, а ты беги на мороз. Сам он каким-то образом ухитряется не просыпаться. А впрочем, известно, каким: доктор Гриша что-то сболтнул насчет водяного режима, и теперь капитан-лейтенант Горбунов выпивает последний стакан чая в двадцать один ноль-ноль. Митя тоже пробовал себя ограничивать, но ничего из этого не получилось. Конечно, от воды немного пользы, но все-таки кипятки приятно согревает и создает некоторую

иллюзию сытости, позавчера у Тамары Митя выглотал стаканов пять горячей кофейной бурды с сахаринном, и что же — есть почти не хотелось.

Митя потрогал подбородок и окончательно озлился. Опять надо бриться. Этого требуют и Тамара и Горбунов. Тамара еще полбеда, но с командиром ведь не сговоришь. Ему и дела нет, что у штурмана тонкая кожа, а орудовать приходится переточенными кустарным способом старыми лезвиями, слишком тупыми, чтобы выбриться, но достаточно острыми, чтоб порезаться.

Когда Туровцев, одетый по-уличному, в шапке и варежках, высунул голову из рубочного люка, у него, как он и ожидал, мучительно защемило в носу, а на глазах навернулись слезы. Дежурный помог ему вылезть на мостик, чтоб поскорее захлопнуть крышку. Лицо дежурного было смазано жиром и блестело, в темноте Туровцев не сразу узнал Савина.

Спустившись с обшитой горбылем палубы на лед и сделав несколько шагов в сторону, Митя чуть не заблудился. Перед ним лежала терявшаяся во мгле снежная равнина. Укутанные в снег мелкие ледяные торосы делали ее непроходимой, если не считать двух узеньких санных тропок. Первая тропка — кратчайший путь на тот берег. Туда возят на детских саночках покойников, изредка в гробах, чаще в саванах. Другая — только до проруби. Воду тоже возят на саночках, ведро привязывается к сиденью веревками, а чтоб вода не выплескивалась, в ведре плавает фанерный кружок.

«Черт те что,— подумал Митя, проводив глазами медленно проплывшие саночки, влекомые бородатым гигантом в дохе,— Аляска!»

У снежного бруствера Митя чуть не столкнулся с Халецким. Несмотря на общность цели, боцман отвернулся с таким видом, будто штурман помешал ему делать что-то важное и секретное. Никаких формальных претензий к боцману быть не могло, но и молчание боцмана, и то, что Савин, помогая вылезть из горловины, не сказал какой-нибудь незначащей фразы, вроде «Холодно, товарищ лейтенант», — все это ранило Туровцева, ибо прямо свидетельствовало о его непопулярности. И если до событий вчерашнего дня команда неплохо относилась к новому помощнику, то теперь, считай, потеряно и то немногое, что удалось завоевать.

Того, что произошло вчера, могло и не случиться,

если б не Тамара. Теперь они виделись почти каждый день. Их встречи по-прежнему происходили в глубокой тайне, и это очень осложняло жизнь. Ценой изощренного вранья и всяческих уловок Мите удавалось то забежать среди дня, то выкроить полчаса вечером. Есть люди, для которых лгать так же естественно, как есть и пить,— Митя к ним не принадлежал, ложь утомляла его, как самый тяжкий физический труд, он приходил на свидания отравленный тревогой и всегда был в напряжении. Тамара отлично все понимала, ее бесил его скользкий вороватый взгляд. Митя не решался смотреть на часы открыто и старался делать это за ее спиной, но Тамара всегда знала, когда он смотрит, и говорила: «Ты торопишься? Иди». И Митя уходил с тяжелым чувством, он не выносил, когда на него дуются. Иногда на Тамару находила странная чопорность, она с отрезвляющей сухостью уклонялась от объятий и заводила разговор о чем угодно: о Митиных родителях, о Горбунове... Мите казалось — и неосновательно,— что Тамара недостаточно тщательно конспирирует их отношения. На самом деле Тамара была здесь решительно ни при чем: о том, что Митя бывает у Тамары, и так знало слишком много людей. Знали все соседи по квартире — Камалетдиновы, Козюрины и бывший Тамарин муж Николай Эрастович, знали Юлия Антоновна с Катей и, наконец, Селянин.

Селянин стал появляться регулярно, раз или два в неделю. Впрочем, он вел себя безупречно, сразу же дал понять, что признает все преимущества завоеванного Митей положения, и безропотно перешел на амплуа пожилого друга. Он по-прежнему держал себя с большим апломбом, но чужой апломб неприятен нам лишь в тех случаях, когда мы видим в нем ущерб для нашего собственного. Военинженер круто переменял свое отношение к лейтенанту — теперь они были на равной ноге. Он не льстил Мите, но Митя был польщен. Временами в нем пробуждалась прежняя неприязнь и, оставшись наедине с Тамарой, он начинал ворчать. Тамара холодно отвечала: «Скажи одно слово, и завтра его не будет». И Митя умолкал. Он говорил себе, что не хочет оскорблять Тамару подозрениями, но причина его терпимости была сложнее. Селянин оказывал Тамаре множество мелких услуг, и Митя прекрасно понимал, что, выжив инженера, он почти ничего не может дать ей взамен. Селянин приезжал открыто, не таясь,

его мотоцикл врывался во двор с пулеметным треском, и это тоже устраивало Митю. Грохот мотоцикла и внушительная фигура инженера позволяли лейтенанту Туровцеву оставаться в тени.

Всякий раз, приезжая, Селянин привозил что-нибудь из съестного. Привозил немного, но для Тамары, получавшей на свою карточку сто двадцать пять граммов серого целлюлозного хлеба, каждый приезд Селянина был оазисом в пустыне голода. Инженер и тут вел себя тактично, входя, он первым делом требовал чаю. Тамара кипятила воду и выставляла на стол вазочку с десятком пайковых леденцов. При виде такой роскоши Селянин приходил в лицемерный восторг и говорил: «Разрешите и мне внести свою долю».

Митю все это очень мучило. Он рассчитывал на дополнительный паек — паек отменили. Единственное, что он мог, — приносить завернутые в бумажку кусочки хлеба. Иногда — очень редко — удавалось сберечь для Тамары второе от обеда. Это было совсем не просто, Горбунов ревниво относился к тому, что он называл «духом кают-компаний». Унести второе можно было, только опоздав к обеду, что не прощалось никому. Нужно было изобрести уважительную причину, заранее заявить «расход» на камбузе, явиться, когда все уже пообедали, проглотить остывший суп, а затем, улучив подходящий момент, быстро переложить второе — чаще всего горох или макароны с крупинками фарша — в заранее приготовленную пластмассовую мыльницу. Изредка на ужин были блины, вернее, блин — утаить его было легче, например, оставить к вечернему чаю, а затем чая не пить.

«События вчерашнего дня» начались с того, что Митя увидел с мостика мотоцикл Селянина. Митя только что поужинал и располагал великолепным предлогом, чтоб заглянуть к Тамаре: в той же квартире жил слесарь-монтажник Серафим Васильевич Козюрин, к его богатейшему опыту подводники прибегали уже не раз. Разговор с Козюриным можно было повернуть минут за десять — пятнадцать, а затем провести целый час у Тамары в сравнительно спокойной обстановке... С приездом Селянина все это с таким трудом возводимое здание рушилось, и Митя освирепел. Сначала он решил не идти, а при следующей встрече с Тамарой поставить вопрос ребром: никаких Селяниных. Но, спустившись в лодку, передумал: нет, пойду, и пусть

Тамара видит, что наши свидания расстраиваются не всегда по моей вине. Он знал, что застанет Селянина и Тамару за чаепитием, надо было во что бы то ни стало внести свою долю или не идти совсем. После некоторого колебания он вызвал Границу и попросил — именно попросил — дать ему вперед пачку галет. При этом у него был такой виноватый вид и такой не командирский тон, что Граница неожиданно для помощника, а может быть, и для самого себя разворчался: дескать, на «двести второй» так не водится, командир этого не любит... Туровцев окончательно разъярился и вклеил Границе десять суток гауптвахты.

Через минуту ему стало стыдно. Он малодушно не взял принесенную Границей пачку и с содроганием думал о предстоящем объяснении с Горбуновым. Горбунов был строг и не терпел пререканий, но десять суток — это был явный перебор. Опять же — разгар ремонта, каждый человек на счету. О гарнизонной гауптвахте шла дурная слава, помимо всего прочего, там плохо кормили. Кончилось тем, что он никуда не пошел, а к Козюрину послал Тулякова.

Сон прошел, возвращаться на лодку не хотелось, и, незаметно для себя, Митя оказался на Набережной.

В декабре из-за сугробов многие улицы стали непроезжими. Набережная еще держалась. По ней изредка пробегали военные машины, а однажды прошел даже танк. На Набережной было еще темнее, чем на льду, и только под аркой мелькал робкий, но несомненно настоящий язычок огня. Как будто сознавая запретность своего появления, огонек то испуганно угасал, то вновь — как бы не вытерпев — радостно вспыхивал. Митя пошел на огонек и, взойдя под арку, увидел Петровича.

Теперь он уже не казался Мите таинственным. Пантелеймон Петрович был старый матрос гвардейского экипажа и служил вестовым у покойного Кречетова. Он сопровождал его во всех походах и считался равноправным членом семьи. Разница была только в том, что он называл Кречетову Юлечкой и говорил ей «вы», а Юлия Антоновна величала его по имени-отчеству и говорила «ты». Насчет возраста Петровича ходили всякие легенды, старик, когда с ним на этот счет заговаривали, только посмеивался — ему не было расчета молодиться. Его долговязая узкобедрая фигура еще носила следы гвардейской выправки, голубые

глаза смотрели ясно. С началом войны он заметно приободрился, вытащил из укладки старый бушлат, нацепил Георгиевский крест и медали и стал главным военным советником при начальнице объекта. Он мало спал и мало ел, страдал он только от холода и потому всегда держался поближе к огню. Боцман прозвал старика «Святой Пантелеймон». Он и в самом деле был похож — не на святого, конечно, а на старый военный парусник, носивший некогда это имя.

Святой Пантелеймон сидел на низенькой скамеечке перед большим медным кипятильником и подбрасывал в топку кусочки мерзлой бересты. Этот кипятильник был найден Туляковым на свалке и после капитального ремонта эксплуатировался на акционерных началах: моряки ведали огнем, жители — водой. Увидев Туровцева, святой поднялся во весь свой немалый рост и истово откозырял. Туровцев поздоровался и сел к огню. Старик осторожно присел рядом, его серебряная борода отсвечивала медью, и Митя догадался, что в молодости матрос был ярко-рыжим.

— Как дела, Петрович?

— Лучше всех.

Горбунов не терпел таких бессмысленных ответов, и Митя тоже поморщился.

— Зачем вы так говорите? Так, чтоб сказать?

— А что — разве нет? День прошел, никто не помер. По нашим делам — лучше и требовать нельзя.

Митя смутился. Это он спрашивал бессмысленно, старик отвечал всерьез. Действительно, дела в доме на Набережной шли «лучше всех», в ноябре — декабре не был убит, а главное, не умер от голода ни один человек. Это можно было объяснить игрой случая, но Митя уже догадывался, что случай вел бы себя куда капризнее, если б над домом не властвовала сердитая дама с противогазом на боку и в пенсне на тонком, классически правильном носу.

— Объясните мне, Петрович, — сказал Митя, невольно впадая в тот дружелюбно-поддразнивающий тон, каким разговаривали со стариком все подводники, — почему вы передо мною тянетесь? Вы не обязаны меня приветствовать.

Старик ответил не сразу. Вид у него был такой, как будто он к чему-то прислушивается.

— Обязан, — сказал он наконец.

— Обязан?

— Так точно. Матрос всегда обязан приветствовать офицера.

— Командира,— поправил Митя.

— Офицера,— упрямо повторил старик.— Я вам не подчиняюсь. Начальнице объекта — более никому. Стало быть, вы мне не начальник. И — не командир. Но вы — лейтенант. Лейтенант же есть флота офицер.

Митя не нашелся возразить, он вспомнил, как совсем недавно — года три назад — ему казалось столь же чужим ставшее теперь привычным слово «лейтенант».

— Ну хорошо, матрос обязан,— сказал он с бессознательной жестокостью,— так разве вы матрос?

— Так точно, матрос.

— Матрос, дедушка, это который служит.

— Никак нет.

— Как это нет?

— А вот так.— Петрович повернулся всем корпусом, голову он держал высоко, но вертелась она плохо.— Человек сразу матросом на свет не ро́дится. Сперва человек, а потом, стало быть, матрос. Так?

— Так,— сказал Митя, не очень понимая.

— Ну, вот и в обратный путь тем же порядком.— Глаза Петровича засветились лукавством.— Сперва я, а потом уже матрос.

Митя засмеялся.

— Н-да,— сказал он почти с завистью.— Крепко это в вас вколочено.

Старик обиделся.

— Я, товарищ лейтенант, с покойным капитаном первого ранга всю срочную сломал, в кругосветное ходил и в две экспедиции, и он на моей памяти не то что пальцем кого тронуть, слова матерного я от него не слышал. В семнадцатом году его матросы командиром «Нарвы» проголосовали, это оценить надо.

— А что?

— А то, что и сейчас не всякого бы проголосовали, а в те поры матрос зол был.

— Ну, разные офицеры были,— примирительно сказал Митя.

— То-то и есть, что разные,— сказал старик все еще сердито.— Все люди — разные. Сколь ни живу, еще ни разу двух одинаковых не встрет.

Огонек разгорелся.

— А с Владимиром Вячеславичем мы были кресто-

вые братья,— продолжал старик.— Крестами менялись. Тут во дворе травят, будто мне сто годов и крест у меня за Севастополь. Пустяки все это. Я его годом только старше. Ему бы сейчас семьдесят второй пошел, стало быть, мне — семьдесят третий. Тоже — хватает.

— А вы в бога верите, Петрович?

Старик подумал.

— Верую. Однако не шибко. Раньше отчетливее верил.

— А Кречетов?

Старик опять подумал.

— Еще помене моего. У образованного человека как поймешь? Поп ему неинтересен, потому — он попу умнее. Иконы держал, особенно одну любил — материнское благословение, но чтоб лампаду затеплить — это никогда. Тифом болел, уговаривали его причастие принять — отказался. Я, говорит, двадцать лет у исповеди не был, что уж теперь с богом заигрывать.

— Ну и что ж ему — в аду гореть? — съехидничал Туровцев и тут же устыдился. Но старик не обиделся.

— По вере так,— сказал он серьезно.— А по справедливости... Почему я и говорю, что вера моя — слабая.

«Склероз»,— подумал Митя и сразу соскучился. Поглядел на часы — до побудки еще оставалось время — и решил рискнуть: заглянуть в неурочный час к Тамаре. Эта мысль сразу же вытеснила все остальные. Он встал, зевнул, потянулся и ленивой покачивающейся походкой двинулся к флигелю. Уже стоя на крыльце, он быстро оглянулся — не смотрит ли вслед Петрович,— рванул к себе тугую дверь и, проскользнув внутрь, ловко придержал ее с обратной стороны. В темноте он чувствовал себя как дома: четыре ступеньки вниз, два шага вправо, пальцы нащупывают сквозную дыру от французского замка.

Он рассчитывал пройти незамеченным, но ему не повезло. В дальнем конце коридора слышалось шарканье и возникло крохотное коптящее пламя. Человек шел очень медленно, боясь неосторожным движением загасить огонь. Поравнявшись с Туровцевым, он так же медленно наклонил голову в знак приветствия.

— Здравствуйте, Николай Эрастович,— сказал Митя не очень приветливо. Суровость была необходима, достаточно улыбнуться, и хлынет поток ненужных слов — вопросов, на которые неизвестно что отвечать,

и жалоб, почему-то не вызывающих сочувствия. Вглядываясь в дряблое, заросшее седой щетиной лицо, Митя никак не мог себе представить, что этот замшелый старик мог быть мужем Тамары. Ревность без воображения — ничто, поэтому у Мити не было ревности, а только слегка брезгливое чувство, в котором сливались и желание и боязнь обидеть.

Стучаться к Тамаре при Николае Эрастовиче не хотелось, а Николай Эрастович не уходил, то ли считал долгом вежливости освещать Мите дорогу, то ли не терял надежды поговорить и пожаловаться. Митя заложил руки за спину и сделал каменное лицо. Николай Эрастович потоптался еще с минуту, но, видя, что лейтенант не двигается и не заговаривает, вздохнул и скрылся за дверью, унося с собой суматошный коптящий язычок и оставив ядовитую струйку керосиновой гари.

Час спустя Туровцев вновь вышел на крыльцо. Двор ожил, под аркой, в ожидании раздачи кипятка, строилась очередь. Митя был недоволен, все вышло не так, как он предполагал. Он рассчитывал, что Тамара спит, он разбудит, она обрадуется. Тамара не спала, она растапливала печку и Митин приход восприняла как-то очень буднично. Он ждал, что Тамара спросит его, почему он не пришел вчера. Тамара не спросила. Он не решился рассказать о своей стычке с Границей, вместо этого он пожаловался на Горбунова: дескать, следит за каждым шагом. Тамара промолчала. Чтоб как-то порвать натянутость, Митя вздумал — скорее в шутку, чем всерьез — попрекнуть Тамару Селяниным. И получилось совсем плохо. Когда Митя, косясь на не убранные с вечера чашки, бормотнул: «Совсем по-семейному», — Тамара, сверкнув глазами, отрезала: «Нет пока». Дальше пошло слово за слово:

— Пока?

— Да, пока.

— А может, уже?

— Можешь не сомневаться, я бы тебе сказала.

— Очень признателен. Значит, это все-таки возможно?

— Почему же нет? Ты столько раз говорил, что мы оба совершенно свободны...

Митя прикусил язык. Он действительно говорил нечто подобное, но для него было новостью, что Тамара так буквально поймет слово «оба».

— Что-то товарищ военинженер зачастил, — сказал Митя, стараясь скрыть смущение. — Наверное, много свободного времени.

— Наверное. А главное — ему ни от кого не надо прятаться.

Затем последовали взаимные резкости, слезы и бурное примирение; все это заняло больше времени, чем было в Митином распоряжении, и теперь предстояло, во избежание скандала, срочно выдумывать для своей отлучки убедительное объяснение.

Крыльцо флигеля почти на траверзе ворот, поэтому Митя не пошел напрямик, а пересек двор по диагонали в сторону черного хода главного здания, с тем чтобы уже оттуда, успокоив дыхание и вновь обретя непроницаемость, мерным шагом человека, идущего по служебным делам, проследовать сквозь арку. Постоял минуту, дыхание вошло в норму, но объяснение так и не родилось. По штурманской привычке поглядел вверх: лестничное окно разбито, и с подоконника свисает гигантская грязная сосулька. Митя поежился: сверзится такая штуковина — и каюк, не надо никакой артиллерии.

Отчаявшись что-нибудь придумать, он сунулся под арку и сразу же столкнулся с людьми, с которыми не хотел встречаться. Первым он увидел — вернее, услышал — Николая Эрастовича. Его возбужденный блеющий голос выделялся на фоне глухого укоризненного ропота толпы. Николай Эрастович скандалил. На шум спешила Юлия Антоновна. Туровцев ускорил шаги.

На Набережной он увидел Горбунова и механика. Они стояли на самом ветру под уличным репродуктором и что-то внимательно слушали. Митя тоже прислушался: низкий женский голос читал письма с фронта. Эти бесконечно дорогие для жен и матерей коротенькие весточки были все на один лад и для постороннего уха не представляли интереса, тем удивительнее было увлечение, с каким слушал Горбунов. Только во время короткой паузы он, не вынимая трубки изо рта, что-то сказал Ждановскому, тот утвердительно хмыкнул, и оба, вполне удовлетворенные состоявшейся беседой, вновь уставились на рупор. Командир терпеть не мог, когда его от чего-нибудь отрывали, Митя это знал и решил дожидаться конца передачи, к тому же он не терял надежды что-нибудь выдумать в свое оправдание.

Против воли он продолжал прислушиваться, этот красивый и добрый голос его гипнотизировал.

Передача окончилась, застучал метроном. Заметив помощника, Горбунов заулыбался.

— Ну, договорились?

В первую секунду Туровцев растерялся, а затем понял, что командир, сам того не зная, подсказывает ему недостающий предлог. Горбунов уже давно подумывал о переселении команды на берег и не далее как вчера дал помощнику прямое указание подыскать помещение. Воспользоваться идущим в руки предлогом было заманчиво, но и опасно, переговоры еще не начались, и это могло в любой момент выясниться. Но выхода не было.

— Насчет помещения? — спросил Митя, неумело разыгрывая беспечность. — В общем, да...

— Что значит, «в общем»?

— Ну, ориентировочно.

Длительная пауза, от которой темнеет в глазах, как при дурноте.

— Ну хорошо, — сказал наконец Горбунов. — Сегодня в двадцать один ноль-ноль ключи должны быть у меня на столе.

У Мити отлегло от сердца.

— Да, кстати. Что там у вас произошло с Границей? Митя рассказал. Горбунов усмехнулся.

— Сколько?

— Десять суток, — сказал Митя, вздыхая.

Горбунов опять усмехнулся.

— Порядочно. Видно, очень рассердились.

— Психанул, товарищ командир, — с готовностью подтвердил Митя.

— Ну что же... Оформляйте.

Митя замялся. В глубине души он надеялся, что командир отругает, но найдет выход из положения.

— Я думаю... — начал было он, но Горбунов не дал договорить:

— Э, нет, раньше надо было думать. Нет уж, теперь извольте... Вернитесь! — закричал он во весь голос.

Митя вздрогнул и обернулся.

Рослый парень в полушубке и кожаном шлеме с шоферскими консервами, только что промелькнувший перед глазами и уже собравшийся прошмыгнуть в ворота, остановился. Туровцев почти позавидовал спокойствию, с каким тот разглядывал трех незнакомых

командиров, стараясь угадать, кто из них крикнул: «Вернитесь!»

— Подойдите ближе,— сказал Горбунов.

Парень приблизился. Если б не жестяная звездочка, небрежно приколотая к шлему, его можно было счесть за гражданского шофера. В руках у него была аппетитная вязанка березовых чурочек, туго прихваченная форменным ремнем. Лицо парня, в особенности сальный нос и стальные зубы, показалось Мите знакомым.

— В чем дело? — спросил парень самым невозмутимым тоном.

— В чем дело? — переспросил Горбунов столь же безмятежно.— С каких пор в армии отменены приветствия?

— Я вас не видел.

Это было сказано так, что Туровцев, вначале подсадовавший на Горбунова — охота связываться с чужими матросами,— похолодел от бешенства. И тут же вспомнил, где он видел эту наглую рожу. Это был Соколов — связной и шофер Селянина.

— Неправда,— сказал Горбунов.— Почему вы в таком расхристанном виде? Где ваш ремень?

У Соколова был наметанный глаз.

— Уж очень вы требуете, товарищ капитан-лейтенант,— сказал он примирительно.— Не такое нынче время...

— А что случилось? — быстро и насмешливо отозвался Горбунов.— Светопреставление? — Он даже оглянулся. Убедившись, что в окружающем мире не произошло ничего такого, что могло бы оправдать нарушение формы одежды, он еще раз брезгливо оглядел сальный нос и березовые чурки.— Приведите себя в порядок.

Соколов подчинился. Пряча пылающие злобой глаза, он расстегнул ремень — чурки посыпались. Первым движением было нагнуться, но под спокойно-ироническим взглядом Горбунова он опомнился. Беззвучно сквернословя, надел ремень, затянулся, обдернул полы, стянул зубами рукавицы, долго ловил негнущимися пальцами пуговку шлема, застегнул и вытянулся.

— Вот так,— сказал Горбунов.— Кто и откуда?

Услышав фамилию Селянина, задумался, вспоминая. Но ничего не вспомнил.

— Не знаю такого. Номер части?

Физиономия Соколова выражала самое непритворное изумление. Как видно, он искреннейшим образом не допускал, что его всесильный шеф может быть кому-то неизвестен. Его наглые глаза скользнули по Митиному лицу, и Митя с ужасом понял, что, против своего обыкновения, Соколов его отлично узнаёт. «Вот как, товарищ лейтенант,— сказал этот взгляд,— вы тоже не знаете военинженера третьего ранга?»

Митя притворно зевнул и отвернулся.

— Так вот,— услышал он негромкий голос командира.— Отправляйтесь в часть и доложите своему начальнику, что капитан-лейтенант Горбунов просит наложить на вас взыскание. Ясно? Можете идти.

Митя знал, что злорадство, так же как и зависть, не украшает человека, однако он не без злорадного чувства смотрел, как Соколов подбирает рассыпавшиеся полешки, а затем, придерживая их подбородком, поплелся обратно, в сторону Литейного.

— Вот прохвост! — сказал Горбунов, усмехаясь. Носком сапога он старательно закапывал в снег щепочки и обрывки бересты. Тщательно разровняв площадку, он перевел глаза на Митю: о чем бишь... — Да, вот еще... Скажите, зачем вам понадобились галеты?

Митя был захвачен врасплох, он считал тему исчерпанной. Сам пугаясь своей грубости, он пробормотал, что это его личное дело. Горбунов как будто не заметил дерзости.

— Не совсем,— сказал он раздумчиво.— Не совсем личное. Будь у меня лишняя пачка, я отдал бы ее Конобееву. Крупный парень, и ему не хватает... Ладно,— он взглянул на часы,— идите завтракать.

Хмурый, прячущий глаза Граница поставил перед Туровцевым стакан с хвойным настоем, сахарницу и утреннюю порцию хлеба. Митя посыпал хлеб сахарным песком и, пока Граница ходил на камбуз, сжевал его весь. Потом пил пустой остывший чай. К настою он не притронулся.

Через минуту он понял, что мучительно хочет есть, нет сил дожидаться обеда, а главное, обед ничего не изменит, после него все так же будет хотеться есть.

Горбунов знал, что делал, требуя аккуратной явки к утреннему чаю. Когда те же сто пятьдесят граммов, нарезанные дольками, слегка подсушенные и посоленные, неторопливо съедаются за общим столом, когда каждый кусочек запивается глотком очень горячего чая,

кажется, что ты в самом деле позавтракал. Командир и механик сидят с пресыщенными лицами, даже жуют они как-то свысока. Каюров и доктор лениво пикируются. Граница, когда все в сборе, подает и убирает с видом заправского довоенного вестового, которому стоит только моргнуть, и он принесет вторую порцию...

Все это, конечно, действует.

Доктор Гриша полон новейшими медицинскими теориями, последнее время он проповедует, что голод не столько физическое, сколько психическое состояние. Объясняет он это как-то сложно, то и дело поминая кору головного мозга и какую-то сигнальную систему, грубо говоря, суть сводится к тому, что можно, наевшись, ощущать голод и, наоборот, длительно голодать, не испытывая никаких мучений. Туровцеву все эти рассуждения кажутся сомнительными; рискуя прослыть отсталым, он склонен усматривать очаг своих страданий не в корковом слое, а в пустом брюхе и связывает голод прежде всего с недостатком харчей. Вася Каюров полностью с ним солидарен, и это выводит доктора из себя. Ждановский, как всегда, помалкивает, командир же самым бесстыдным образом потакает докторским бредням, ему на руку все эти теории. Туровцев заметил, что после Гришиных рассказов Горбунов перестал вытирать тарелку хлебом — вероятно, упражняет волю...

Митя вдруг обозлился на Тамару. Вот к чему приводят переживания, психологические сложности и всякие прочие нюансы. Все это хорошо для мирной обстановки. «Ну что ей стоило зареветь и помириться двадцатью минутами раньше, все было бы в порядке, я не опоздал бы к чаю, и не было бы этого неприятного разговора с командиром. А вот теперь настроение испорчено на целый день».

«Если разобраться по существу, — рассуждал Митя, набивая трубку суррогатным табаком, — мне сейчас гораздо хуже, чем было на «Онеге». Мое сердце рвалось навстречу Виктору Горбунову, малознакомому помощнику командира двести второй. Я мечтал вырваться с ненавистой плавбазы, попасть на настоящий боевой корабль. И что же? Судьба поступила со мной как нельзя более коварно. Она, как золотая рыбка, сделала все возможное и невозможное, вероятно, со специальной целью доказать мне мое ничтожество. Она вернула

мне Виктора Горбунова, сыскав его на дне морском, она пошла на всяческие хитрости, чтоб перетащить меня на двести вторую, мы служим вместе, спим рядом и едим за одним столом, но я по-прежнему чужой для него, для всего сплававшегося коллектива. Вероятно, старпом не должен слишком много думать о том, как относятся к нему подчиненные, пусть лучше они беспокоятся, как к ним относится начальник, но что же делать — я не могу равнодушно видеть обиженное лицо Границы, не могу не ощущать за безупречной официальностью боцмана тайного презрения, а за почтительностью Тулякова — тайной жалости. Я никого ни в чем не упрекаю, все говорят со мной, как должно, но я-то знаю, что у этих людей есть еще второй, почти безмолвный язык, свой код, основанный не на сознательных условностях, а на взаимопонимании и чувстве общности. Когда командир и механик в моем присутствии обмениваются короткими фразами, мне не на что обижаться — они не шепчутся, не употребляют неизвестных слов, они только привычно опускают все само собой разумеющееся, и этого само собой разумеющегося набирается так много, что разговор кажется мне бессвязным, а я сам себе — круглым идиотом. На «Онеге» было еще одно неоценимое преимущество — каюта. Можно было запереться и, приняв горизонтальное положение, поразмыслить о превратностях жизни. Здесь и этого нельзя, в отсеке всегда кто-нибудь толчется, ты всегда под наблюдением. Конечно, никто специально за тобой не следит, но так или иначе на протяжении дня вся имеющаяся налицо живая оптика пеленгует тебя в хвост и в гриву. Просто противно, что меня занимают такие мелочи, в то время как тысячам лейтенантов вообще не до рассуждений — кто-то поднимает взвод в атаку, кто-то летит на штурмовку вражеских батарей...»

— Разрешите, товарищ лейтенант?

Пришли электрики. Идет промывка аккумуляторных баков. Операция несложная, но трудоемкая и неприятная для всех. На лодке и так тесно, а тут приходится поднимать и подвешивать в отсеках тяжелые, остро пахнувшие кислотой блоки.

С трубкой в зубах Туровцев вылез на мостик. Следовало продумать план действий — идти к Кречетовой немедленно или отложить до вечера? Откладывать было во всех отношениях рискованно, достаточно коман-

диру самому заговорить с начальницей объекта, и выяснится, что переговоры еще не начинались. С другой стороны, уйти с корабля в начале рабочего дня — свинство, не имеющее себе оправдания. По сравнению с Ждановским Туровцев играл в ремонте роль второстепенную, однако ни у кого не было столь разнообразных и многосложных обязанностей. Горбунов возложил на помощника функции «министра по координации», попросту говоря, диспетчера, никто, даже сам Ждановский, не имел права приступить к разборке какого-либо агрегата без согласия Туровцева. Туровцеву же надлежало блюсти провозглашенный Горбуновым принцип обязательного дублирования.

— Мы ремонтируем лодку, — говорил Горбунов, — в обстановке, которая гораздо ближе к боевой, чем к нормальной заводской. Следовательно, ремонт должен идти так, чтоб жизненно важные функции лодочного организма не были нарушены. Из двух дизелей один всегда должен быть в собранном виде. То же самое относится к батареям, электромоторам, помпам. Не должно быть случая, чтобы из-за ремонта в отсеке не было освещения или бездействовала связь. Ремонт не может быть причиной для задержки обеда — за это отвечает лейтенант Туровцев. Ремонт не может служить препятствием для бесперебойной подачи снарядов к орудиям — за это отвечает лейтенант Туровцев. Политическая и культурная работа должна быть приноровлена к интересам ремонта и никоим образом не должна прекращаться — за это отвечает лейтенант Туровцев. Все требования на материалы и инструменты должны концентрироваться у вас, вы же отвечаете за разумное и справедливое распределение, вам предоставляется право маневрировать всей наличной рабочей силой, перебрасывая ее в случае необходимости из одной боевой части в другую, не забывая при этом о нормальном несении службы корабельных нарядов. Дивизионные специалисты, штаб и политотдел бригады не скупятся на запросы, жалко тратить столько времени на отчетность, но что делать — наше дело выполнять. За отчетность отвечает лейтенант Туровцев. При этом за ним остается непосредственное руководство ремонтом навигационных приборов и средств связи. Все же свободное время — при этом должно оставаться свободное время — надо использовать для изучения лоций Балтийского моря и тактики подводной войны.

Таковы были обязанности помощника. Командир осуществлял контроль. Всякое предложение, прежде чем быть принятым, должно было выдержать шквальный огонь горбуновской критики. Горбунов становился невыносимым, он сомневался во всем, даже в законах элементарной физики, но если автор предложения и командир боевой части стойко выдерживали этот огонь, сдавался и давал «добро». Еще невыносимей он был при испытании уже отремонтированных агрегатов. Однажды Митя изловил командира на поступке, который, не будь Горбунов Горбуновым, выглядел бы подозрительно. Командир стоял в центральном посту у только что отремонтированного прибора и поочередно дергал разноцветные жилочки проводов. Кончилось дело тем, что одна из них, плохо припаянная к клемме, оборвалась. Горбунов оглянулся и, думая, что за ним никто не наблюдает, тихонько вышел из центрального поста. На очередной летучке командир разнес Ждановского за то, что его электрикам потребовалось полтора часа, чтоб найти повреждение. Митю очень подмывало сказать, что он видел, как Виктор Иванович ковырялся в проводах, но, подумавши, он почел за благо промолчать.

После нескольких затяжек Митя слегка опьянел, это бывало только с утра и на пустой желудок. Заглянул в блокнот — строчки поплыли. Надо было заставить себя видеть. Сделал усилие — он не взялся бы объяснить, как это делается, — строчки остановились, выровнялись, приобрели четкость. Это был уже третий блокнот. Командир и тут оказался прав, с памятью творилось что-то неладное. Она удерживала и даже накапливала знания, но отказывалась служить на побегушках. Желудок вел себя гораздо последовательнее, он не позволял забывать ни о чем, связанном с едой, и напоминал о себе даже чаще, чем требовалось.

— Итак, — запел Туровцев, листая блокнот, — итак, на сегодня мы имеем, на сегодня мы имеем...

В последнее время он часто бормотал себе под нос одни и те же слова, а когда читал, то шевелил губами. Это был способ держать за хвост ускользающую мысль.

— Что мы имеем на сегодня? — задал он себе вопрос на мотив предсмертной арии Ленского и, найдя нужную страницу, умолк. Предстоял трудный день, труднее вчерашнего.

Глава одиннадцатая

Сразу после ужина Туровцев отправился к Юлии Антоновне. Начальница объекта жила во флигеле. При свете зажигалки Митя разглядел медную дощечку «проф. В. В. Кречетов» и старинный звонок с надписью: «Прошу повернуть». Митя повернул. Раздался хрип. Петрович впустил Митю в темную прихожую и исчез. Вернувшись с зажженной свечой, он вдруг перестал его узнавать и спросил:

— Как прикажете доложить?

Митя засмеялся:

— Помощник командира корабля лейтенант Туровцев.

Петрович опять исчез. На этот раз ненадолго.

— Пожалуйте.

Сопровождаемый Петровичем, Митя прошел заставленную шкафами прихожую и очутился в комнате. Несомненно, покойный В. В. Кречетов был моряком до мозга костей, свой кабинет он обставил с аскетической роскошью адмиральской каюты. При колеблющемся свете двух коптилок Митя увидел дубовые панели и книжные полки, все очень добротное, с латунными скрепами. На высоких подставках — модели кораблей, огромные перламутровые раковины, пудовый обломок коралла. За большим шведским бюро, облокотясь на выдвижную доску, сидела боком Юлия Антоновна. Засаленный ватник был расстегнут, и Митя увидел борт темного жакета и белую кружевную блузку, наглухо заколотую похожей на орден гранатовой брошью. В стеклах пенсне дрожали желтые огоньки коптилок.

— Разрешите, — сказал Туровцев, щелкнув воображаемыми каблуками. Он был в валенках.

Над бюро висели спасательный круг и большой фотографический портрет: покойный был совсем не красив и не представительен, с низким лбом и висячими, как у бульдога, щеками, но глаза излучали кроткое величие, присущее людям, даже не подозревающим, что честность и бесстрашие чем-то выделяют их среди прочих людей. Митя загляделся на портрет, корабли, заморские сувениры. Начальница не проявляла нетерпения, она давала время освоиться.

— Все, как было при Владимире Вячеславиче, — сказала она с гордостью. — Кроме портрета — терпеть

не мог выставляться. Садитесь и рассказывайте. Вряд ли вы пришли ко мне просто в гости.

Митя сел и рассказал. Кречетова задумалась.

— Давно бы так. Откровенно говоря, я никогда не понимала, как вы там существуете.

Она встала. Митя тоже вскочил.

— Пойдите-ка, — сказала старая дама. — А у вас есть чем топить? — Увидев, что Митя замялся, она усмехнулась. — Ну хорошо. Дрова я дам. Но имейте в виду — я возьму с вас взятку. Пойдемте.

Она вывела Митю обратно в прихожую и толкнула низкую, обшитую мешковиной дверь. По тому, как пахнуло теплом и землей, Митя догадался: кухня. Третью кухню занимала плита, на ней сидел, свесив босые узловатые ступни, Петрович. Стол, полки и скамьи были тесно заставлены горшками и кадками с какими-то диковинными растениями, пожелтевшими и обшарпанными, но еще живыми. При появлении Туровцева матрос застеснялся и попытался привстать.

— Сиди, Петрович, — скомандовала Юлия. — Вот. — Она сделала широкий жест, и Митя с удивлением заметил, что решительная дама очень волнуется. — Ясно вам?

Митя честно сознался, что нет — не ясно.

— Моя вина, — сказала Кречетова. — Вы не обязаны знать, что я уже много лет работаю в Ботаническом саду. Не буду вас обманывать, я никакой не ботаник, просто мелкая канцелярская сошка. К сожалению, я очень бестолково прожила свою жизнь, многому училась и ничему не выучилась... — Увидев непритворное участие в глазах Туровцева, она ожесточилась: — Короче говоря, оранжереи разбомбило, и дирекция разрешила тем, кто хотел, разобрать самые ценные корни. Я делаю, что могу, но они все-таки гибнут. Им нужен дневной свет, а я с грехом пополам могу отопить только эту темную кухню...

— Теперь ясно, — сказал Митя.

— Имейте в виду, дрова у вас будут. На завтра я назначила разборку дровяных сараев. В них все равно нечего держать, да и пожарная инспекция требует. Доски наши — столбы ваши. По рукам?

— По рукам.

— Тогда застегнитесь и пойдем в первую.

«Первая» оказалась этажом выше «третьей», где жили художник и Катя. Такая причудливость квартир-

ной нумерации привычна для коренных ленинградцев, но Митя был москвич, это его рассмешило и показалось хорошим предзнаменованием.

— Фонарик есть? — спросила Кречетова на площадке. — Зажигалка? Хуже. Ладно, светите.

Она вынула из противогазной сумки связку ключей и стала отпирать замки. Изнутри дверь была обита листовым железом, и Мите показалось, что он входит в нескораемый шкаф. Однако это была только кухня, и обставленная с большой любовью.

В следующей комнате пахло сыростью, мастикой для натирки полов, мебельным лаком.

— Маскировка здесь, кажется, в порядке, — сказала Кречетова, и по тому, как прозвучал ее голос, Митя догадался: комната большая. — Но при зажигалке вы не много увидите. Как можно быть таким растяпой? Подождите. — Она ощупью нашла газету и скрутила ее жгутом. — Зажгите. Так. Теперь держите. Господи, держит, как свечку в вербное воскресенье — так она у вас погаснет...

Осмотр продолжался недолго. Если квартира и была похожа на жилище Ивана Константиновича, то только размерами и расположением окон. Вещи, окружавшие художника, были красивы или незаметны, они были удобны, и, глядя на них, не приходило в голову спросить, сколько они стоят. Здесь стояли тяжелые гарнитуры из очень светлого полированного дерева, даже пианино было какого-то паркетного цвета. Кроме мебели, были вазы, очень большие, неизвестного назначения, одна японская с цветущими вишнями, а другая на индустриальный сюжет, вероятно, отечественная. Было также несколько бронзовых изделий, напоминавших уменьшенного размера уличные монументы, такие вещи Митя видел только в витринах комиссионных магазинов да в гостиничных вестибюлях и не предполагал, что среди них можно жить. С потолка свисали обернутые в грязную марлю разлапые люстры, похожие на всплывшие кресла. Были и книги, солидные многотомные издания и хорошей сохранности и тоже чем-то напоминавшие мебель. Митя задержался перед висевшей на стене застекленной фотографией. Стекло зеркалило, но Митя все-таки разглядел — это была семейная группа. У мужчины — маленькая голова на толстой шее, на коротком носу победно сидели тяжелые роговые очки. Самой заметной частью в этом лице была верхняя губа,

широкая, выпуклая, она придавала лицу стойкое выражение самодовольства. Женщина — молодая и, вероятно, хорошенькая, но уже с намеком на второй подбородок, прическа как из гофрированного железа. Чуть пониже виднелись головы двух одинаково напряженных и одинаково перекормленных девочек, обещавших со временем стать точной копией матери.

— Кто такие?

— Люди, — сказала Юлия Антоновна с непередаваемой интонацией. — Он заведует... Фу, память! — Она топнула ногой. — Забыла. Неважно чем. Не думайте, что пивным ларьком. Кандидат наук. А Валентина — обыкновенная корова. Пишет мне страстные письма: Юлечка Антоновна, умоляю, присмотрите за квартирой, ведь мебель фанерованная... Недавно новое поручение: Юлечка Антоновна, реализуйте всю мягкую рухлядь и переведите деньги, а за услугу возьмите себе, что хотите... Ну, я ей ответила.

Газета догорела, и Митя бросил ее на пол, хрупкий черный пепел на глазах превращался в тончайшую серую паутину, в которой одна за другой гасли красноватые искорки.

— В одну комнату мы запихнем все Валентинкины бебехи. Остальная территория ваша.

Митя задумался, прикидывая.

— Нары строить смешно, я вам дам сколько угодно кроватей. Сколько вам нужно? Военная тайна? Пожалуйста, можете не говорить, спрошу у Шурика.

— У Шурика? — удивился Митя. — У какого Шурика?

— У Шурика Камалетдинова, сына нашей дворничихи Асият. Уж он-то знает.

Митя засмеялся. При свете нового факела они посчитали. Команда размещалась целиком, но для начальства места не оставалось.

— Я так и думала, — сказала Кречетова. — Пойдемте.

Спустились этажом ниже. Стучать к художнику не пришлось, на пороге стоял сам Иван Константинович.

— Здравствуйте, — сказала Кречетова. — Катерина дома?

— Катюша на Радио, — ответил художник. Это слово он произносил как бы с большой буквы. — Будет там ночевать. Если я могу ее заменить...

— Как раз вы-то мне и нужны. Не знаю, с чего я вздумала идти кружным путем и искать у Катюши протекции. Я пришла к вам, чтоб предложить сделку. Понимаю, вас шокирует слово. Что делать — жизнь груба.

— Допускаю, — сказал художник с обезоруживающей мягкостью. — Но, может быть, вы все-таки войдете?

На стенах узкого коленчатого коридорчика висели слепые античные маски и глазастые деревянные хари. «Где-то тут рядом бедламчик», — вспомнил Митя.

При входе в большую комнату с камином художник задул свой светильник, — впрочем, в нем не было нужды: лунный свет лежал на стареньком паркете. Зияющая темными углами и двухметровой каминной пастью комната казалась по-дворцовому огромной. Глаза скоро привыкли, и Митя увидел: десятки картин, в рамах и без рам, висели тесно, как в музее, а в самом дальнем углу стоял, оскалившись клавиатурой, большой черный рояль с поднятой, как для концерта, крышкой.

— Дальше идти незачем, — сказала Кречетова. — Вам эта комната сейчас не нужна. Кончится тем, что вы погубите инструмент и зарастете паутиной, если, конечно, раньше не передохнут все пауки. Я предлагаю вам взять на постой пятерых моряков с нашей лодки. Большой прибыли от них не ждите, но все-таки будет теплей, чище и светлей.

— Я все понял, — сказал художник. — Могу я узнать, носит ли ваше предложение обязательный характер?

— Зачем?

— Затем, что в этом случае нет нужды в длинном предисловии.

Кречетова подумала.

— Нет, — сказала она со спокойствием, за которым таился вызов, — мое предложение не носит обязательного характера. Что скажете?

— В таком случае, — художник слегка поклонился Туровцеву, — я должен сказать, что вы оказываете мне честь.

Судя по всему, начальница объекта приготовилась к длительному штурму твердыни. Она даже растерялась.

— Вы чем-то смущены? — спросил художник не без ехидства.

— Да,— сказала старая дама.— Смущена. Я думала о вас хуже.

Наступила пауза.

— Вам трудно себе представить,— сказала Кречетова с глубокой нежностью в голосе,— как вы мне были отвратительны.

— Ну вот, опять резкости,— сказал художник с усмешкой.

Со стороны это выглядело как любовное объяснение.

— Ну хорошо,— сказала начальница объекта. Это значило: с разговорами покончено, следует часть резолютивная.— Этот юноша — вы знакомы, кажется?..

Художник еще раз слегка поклонился Мите, причем ухитрился сделать это так, что Митя понял: он узнал и не забыт, а Кречетова не получила прямого подтверждения.

— Этот юноша — представьте! — помощник командира корабля. Как вы между собой договоритесь, меня не касается, но маскировка должна быть без щелей. Проверю.

— Милая женщина,— сказал художник.— Вы напрасно меня задираете. Я с большим уважением слежу за вашей деятельностью и склоняюсь к мысли, что ваша система имеет свои преимущества.

— Моя система? Интересно, в чем же заключается моя система?

— Насколько я могу судить, она заключается в том, чтоб не давать людям ни минуты покоя...

Митя не ожидал, что ему удастся так быстро проверить задание. Было бы грешно не воспользоваться случаем. Проводив Кречетову, он влетел к Тамаре без предварительной разведки и обомлел, услышав громкий голос Кондратьева. Комдив спорил с Селяниным и в увлечении несколько не удивился появлению Туровцева.

— А я вам говорю,— кричал комдив, размахивая руками,— Виктор — замечательный мужик. Выдающийся во всех отношениях. Я тебе так скажу (Борис Петрович частенько путал «ты» и «вы») — по части морской культуры мы все ему в подметки не годимся. Вот давайте спросим у старпома. Ему ли не знать? Скажи ему, лейтенант,— он повернулся к Мите,— хорош у тебя командир?

— Я не жалуюсь,— сказал Митя.

— Стоящий мужик, верно?

— Очень даже.

Селянин отмахнулся:

— Запрещенный прием.

— Почему? — вскипел комдив.

— Станет он вам свое начальство ругать. Себе дорожке.

— Пустяки. Он парень прямой. Верно, Тамара Александровна?

Тамара, сидевшая на тахте поджав ноги и не принимавшая участия в споре, зябко повела плечами.

— У вашего Горбунова интересное лицо.

— Не спорю, — холодно сказал Селянин. — Женщины вообще придают большое значение внешности.

— И все-то вы не то говорите. Я же не сказала, что Горбунов красив. Вы — красивее. А интересное лицо — это значит лицо интересного человека. Вот и все.

— Я не знал, что вы знакомы, — сказал Селянин. Он умел скрывать досаду.

— Почему вы думаете, что я с ним знакома?

— Вы с таким жаром его защищаете.

— Нет, я не знакома. Но ведь вы тоже с ним не знакомы, и мне непонятно, почему вы с таким жаром на него нападаете.

— Один — ноль. — Кондратьев захохотал, потирая руки.

Но Селянина было не так-то легко сбить.

— Вы правы, Тамара Александровна, — миролюбиво возразил он, — я его совершенно не знаю и, честно говоря, не стремлюсь. Но по роду моих занятий у меня довольно широкие связи в различных флотских кругах, и то, что я о нем слышу, мне малосимпатично.

— Уж будто, — проворчал комдив. — Неужели он такая известная личность?

— Очень известная, дорогой мой. Подписав это самое открытое письмо, он сделал себе неплохую рекламу.

— При чем тут реклама? Пока что он все выполняет.

— Возможно, — сказал Селянин. Он не рвался в бой, но на лице у него было написано: вы сами знаете, что я прав, и возражаете только для приличия. Митю это злило, тем более что упоминание об открытом письме отчасти достигло цели, разбередив старую царапину.

— Ну и что же вам рассказывали? — спросил он,

стараясь быть таким же иронически-спокойным, как его противник.

— Мало ли что. Рассказывали, например — если неверно, пусть Борис меня поправит, — что Горбунов делал где-то тактический разбор вашей операции и докритиковался до того, что дискредитировал поход в глазах высшего командования.

— Болтовня, — буркнул Кондратьев.

— Болтовня? Однако почему-то все лодки, что были на позиции, давно награждены...

— Ну, это мы с вами не можем обсуждать, — сказал комдив все так же ворчливо. — Ордена дает правительство, ему видней.

— Борис Петрович, ну зачем же, — плачущим голосом взмолился Селянин. — Я ведь тоже так умею...

— Наградят. — Кондратьев подмигнул. — Теперь уж к корабельной годовщине.

— Так что же все-таки он сделал плохого? — тихонько спросила Тамара. — Ну, критиковал. Значит, он принципиальный человек?

— Вот именно, — отозвался Селянин. — Даже чересчур. Необычайное и подозрительное изобилие принципов на все случаи жизни.

Он победительно усмехался, как бы приглашая всех разделить его веселье. И действительно, вслед за ним усмехнулся комдив, а за комдивом как-то двусмысленно ухмыльнулся и Митя. По лицу Тамары пробежала тень.

— Например?

— За примером далеко ходить не надо. Не далее как сегодня утром у меня открылась возможность послать вам немного топлива. Поручаю эту миссию Соколову, которого вы все знаете. Через два часа Соколов возвращается и докладывает, что у самых ворот его остановил некий капитан Горбунов, к чему-то придрался и отправил обратно...

— Я был при этом, — сказал Митя.

Все повернулись к нему, особенно оживился комдив.

— Так это было?

— Не совсем. Командир не придрался, а поступил по уставу. Я сам...

— Понимаю, вы сами поступили бы так же, — сказал Селянин со взбесившей Митю интонацией. — Короче говоря, Горбунов своего добился. Принцип победил, а Тамара Александровна осталась без дров.

— Ну и что же — посадил ты своего связного? Селянин захохотал.

— Как бы не так. А возить меня кто будет? Бензин доставать?

Кондратьев тоже засмеялся.

— А я бы твоего личарду все-таки посадил. Что за матрос? В лепешку разбейся, а доставь.

— Как же он мог?

— Очень даже мог, — сказал Митя. — Просто струсил. А вернее сказать — нарочно не пошел.

— Зачем?

— Затем, чтоб вы рассердились не на него, а на Горбунова. Что ему, кажется, и удалось.

Вероятно, это было прямое попадание — засмеялись все.

— Смотри-ка — понимает! — возгласил Кондратьев. — Пойдем, что ли, на лодку, психолог. Спасибо, Тамара Александровна, за привет, за ласку. — Он бережно подержал в своих больших руках узкую Таминину ладонь. — Ты когда домой, инженер?

— Посижу полчасика, если Тэ А не прогонит. Управишься?

— Вполне. А Виктора ты мне не трогай, — сказал он уже в дверях. — Виктор — человек особенный. Он еще всех нас удивит.

— Не сомневаюсь, — послал вдогонку Селянин.

Митя побаивался, что Борис Петрович, с присущей ему бесцеремонностью, спросит про Тамару, но комдив не спросил — вероятно, не сомневался, что Тамара — дама Селянина. Это было обидно, но удобно.

«Вот еще новости, — думал Митя, шагая по темному двору. — Тэ А? По имени звать еще не решается, так выдумал лазейку. Вообще-то неплохо — Тэ А, Тэа. Значит, он — Эс Вэ? А я тогда кто же — Дэ Дэ?»

Флаг был уже спущен, и появление комдива на лодке обошлось без всякой помпы. Горбунов хотел было рапортовать, но Кондратьев дружески облапил его и полез во второй отсек. Митя остался в центральном посту. Он уселся за свой крохотный столик и попытался заняться делом, но вскоре отвлекся. Круглый люк второго отсека не был задраен, крышка отошла, и оттуда доносились голоса. Комдив был чем-то явно недоволен. Может быть, переездом в дом на Набережной — случай был в самом деле беспримерный, — а может быть, и еще чем-нибудь. Из своего угла Туровцев мог наблю-

дать Савина и Халецкого. Савин читал, боцман, разложив на мешковине мелкий инструмент, что-то мастерил, оба делали вид, что полностью поглощены своим занятием, но, без сомнения, прислушивались.

Через полчаса люк открылся, и появился комдив. Вслед за ним вынырнул Горбунов. Они остановились у трапа. Перископ мешал видеть их лица, но Митя слышал каждое слово.

— Может быть, пройдем по лодке?

— Оно конечно, следовало бы.— В голосе у Бориса Петровича сомнение.— Нет уж, знаешь, давай в другой раз. Другим разом, как говорят в Одессе. Откровенно говоря, неохота чапать пешком. А тут Селянин обещал подкинуть.

— Новый приятель?

«Ревнует»,— подумал Митя.

— Какой там, к бесу, приятель. Теперь, брат, придется иметь дело со всякими людьми. Да ты что думаешь — большое начальство? Две с половиной (шлепок по рукаву шинели). Только и всего. Однако — сила.

— В чем же сила?

— Сам не пойму. Какое-то петушиное слово знает. А насчет того, что я тебе говорил (Митя затаил дыхание), ты напрасно ершишься. Я тебе нотаций не читаю, а говорю по-дружески. Подорваться на море — это уж кому какая планида, такое наше ремесло. А на суше — глупо. Не ерепенься и учти. Хоть ты и фырчишь на меня, а все-таки мне твоя судьба не безразлична. У меня ведь ни жены, ни стариков — ты мне вместо брата. Вот так-то.

Через несколько минут после ухода комдива Горбунов заглянул к штурману:

— Ключи у вас? Пойдем посмотрим.

Командир был предусмотрительнее своего помощника и прихватил Границу с аккумуляторным фонарем. Вестовой был мрачнее тучи. По дороге Митя коротко доложил о своих успехах: есть отличная квартира на третьем этаже, а для командиров — роскошное помещение в квартире известного художника, комната проходная, но зато с камином, дрова будут, надо только выделить людей на разборку сараев... На площадке третьего этажа Митя вынул связку ключей, включил фонарь и начал отпирать. Замки были внутренние и, по-видимому, с какими-то секретами.

— Скажите, штурман,— спросил Горбунов, когда

Митя на минуту выпрямился, чтобы снять шапку и утереть обильный пот,— вам не приходило в голову, что обыкновенный дверной ключ, хотя и делается из железа, гораздо ближе по своей природе к служебному пропуску, чем к орудию взлома?

«Рассуждать легко»,— подумал Митя и с новой яростью защелкал замками.

— Вы ломитесь в открытую дверь,— сказал Горбунов так ласково, что Мите захотелось ударить его связкой по голове.— Вернее сказать, дверь была заперта на один замок, но вам уже удалось запереть ее на два. Поэтому вы и сердитесь.

Осмотром квартиры командир остался доволен.

— Запишите. Первым делом — провести звонок.

— Куда? — удивился Митя.

Горбунов удивился еще больше.

— Как — куда? На лодку.

Туровцев с некоторым волнением ждал встречи командира с художником. Соображения конспиративные его больше не тревожили, он знал, что Иван Константинович с его утонченнейшим тактом не скажет ничего лишнего, но он боялся, что по какой-нибудь обидной случайности эти столь непохожие люди не поймут и не примут друг друга. Как оказалось, он боялся напрасно. Художник принял Горбунова по видимости суше, чем некогда Туровцева, но разглядывал его с таким живым, почти хищным интересом, что Митю кольнула ревность. Вероятно, это узкое, смуглое даже зимой лицо, напряженная жизнь мускулов, управляющих крыльями носа, медленная кривоватая улыбка, обнажающая белые неправильной формы зубы,— все это говорило художнику куда больше, чем слова. Горбунов держался почтительно, но почтение его не сковывало. И в этом тоже таился для Мити некий укол.

Квартиру осмотрели молча. Горбунов не задавал вопросов, художник не ставил условий.

— Так вот, уважаемый Иван Константинович,— сказал Горбунов уже на кухне,— если вас не пугает общество пяти мушкетеров...

— Нет, не пугает,— прервал его художник,— надеюсь, и вы извините некоторые странности человеку, отвыкшему от общества. Вы, вероятно, уже слышали, что я старый маньяк, человек несовременный, короче говоря, принадлежу к тому сорту людей, которых ныне

почему-то принято именовать идеалистами. Тем не менее я верю, что мы отлично уживемся.

— Как ты думаешь, Леша,— неожиданно спросил Горбунов зазевавшегося по сторонам Границу,— уживемся мы с идеалистом?

— Так точно, уживемся,— сказал Граница с глубочайшим убеждением.

На том и расстались.

— Завтра утречком переедем,— сказал Митя.

— Протестую.

— Почему, Федор Михайлович?

— График.

— Механик прав,— сказал Горбунов.— Впрочем, у вас есть отличный выход.

— Какой?

— Переехать немедленно.

Разговор происходил во втором отсеке. Высказавшись, командир вновь уткнулся в разложенные на столике чертежи. Это означало: я сказал все, что считал нужным, дальнейшие выводы — без моего участия.

Туровцев почесал в затылке: до отбоя оставалось меньше двух часов. Однако если, как говорят на флоте, развернуться...

Через десять минут группа краснофлотцев под водительством боцмана была отправлена на «Онегу» за постельными принадлежностями. Отопление будущих кубриков Туровцев поручил Тулякову, освещение — старшине электриков Куроптеву. Оставалось провести звонок. Савин, выслушав приказание, умудрился задать столько вопросов, что Митя наконец рассердился.

— Я полагал,— сказал он холодно,— что для штурманского электрика, читающего книги по квантовой механике, проводка обыкновенного звонка не представляет непреодолимых трудностей.

Получилось совсем по-горбуновски.

Савин ответил не сразу. Его лицо выражало: «Будь мы на гражданке, я бы знал, что тебе ответить. Но я матрос и как таковой не обязан понимать твою тонкую иронию»

Трудностей-то нет, товарищ лейтенант,— сказал он каким-то нарочито неинтеллигентным тоном,— я чего боюсь сделаешь, а вам не понравится.

— А вы сделайте так, чтоб понравилось,— отрезал Митя.— А не понравится — заставлю переделать.

За собой Туровцев оставил область дипломатии и внешних сношений. Предстояло еще раз встретиться с грозной начальницей и, несмотря на позднее время, получить обещанные койки. Кречетову он нашел во дворе, она шествовала во главе кучки людей. Неуклюжие от множества надетых на них одежек, они, пошатываясь, тащили на плечах и волокли по снегу что-то тяжелое. Митя не сразу разглядел — что, а разглядев, бросился отнимать.

— Зачем же вы сами? Я сейчас вызову наряд...

— Отстаньте,— сказала Кречетова.— Не суйтесь в мои дела.— Видя, что Митя не слушается, она дернула его за рукав и яростно зашипела: — Как вы не понимаете, я нарочно заставляю их шевелиться. Если они слягут, то уже не встанут. И поймите еще — людям приятно что-то сделать для вас. Если вы хотите с нами дружить, то помните — дружба строится не на благодеяниях, а на равенстве. Ну хорошо,— сказала она, убедившись, что Митино сопротивление сломлено.— В две квартиры я вам разрешаю послать. В одиннадцатую, к Халилееву. И в шестую. Там только девочки, а бабка третьего дня вышла, даже дверь за собой не закрыла, и до сих пор ее нет. Но это потом, а пока пойдемте запрем и опечатаем Валентинкины бебехи. Куда? — закричала она, заметив почти бесплотную фигуру, волочившую по снегу тяжелую коечную раму.

Митя бросился на помощь — и вовремя. Пытаясь поставить раму стоймя, человек выпустил ее из рук и чуть не был опрокинут. Пока Митя возился с рамой, он исчез так же неожиданно, как появился.

— В одиннадцатую можете не посылать,— сказала Юлия Антоновна.

— Почему?

— Это и есть Халилеев.

В будущем кубрике работа шла вовсю. Куроптев и Филаретов тянули провод. Туляков и Граница устанавливали временку. Стучали молотки, гремела жесть, сыпалась штукатурка. Савин, морщась от шума, рылся в ящике с деталями. В другой комнате — будущей старшинской — стояли две гигантские деревянные кровати с отличными пружинными матрацами. Каюров и старшина трюмных Караваев ползали по ним с рулеткой. Каюров пояснил:

— Хотим утилизировать эту двуспальную технику. Тут, если класть не вдоль, а поперек, укладывается восемь человеко-единиц.

— Черт его знает,— сказал Митя.— Удобно ли...

— Удобно,— сказала подошедшая Кречетова.— Можете также получить ключи от книжных шкафов. Книги существуют для того, чтобы их читали. Валентина вернется не скоро, ну а после Победы мы как-нибудь сочтемся. Что их так разбирает?

Из будущего краснофлотского кубрика доносились взрывы хохота. Вернувшись туда, Туровцев застал оживленный диспут. Решалась судьба бронзовых изделий. Туляков и доктор стояли на крайних позициях. Туляков, выдвигая доводы эстетические, просил фигуры оставить; доктор, напирая на соображения уставные и гигиенические, требовал их убрать. Были и промежуточные точки зрения; Куроптев предлагал нимфу, как особу соблазнительную, изъять, а воина в латах, как скульптуру актуальную и мобилизующую, сохранить. Савин, посмеиваясь, утверждал, что нимф с факелами не бывает, это Свобода, ее надо оставить, воина же, как несомненного тевтона и пса-рыцаря, убрать под замок. Митя сразу понял, что спорящие не так уж заинтересованы в выводах, им доставлял удовольствие самый процесс.

— Смотрите, у них весело,— сказала Кречетова.

— А что нам, сироткам, делать, как не веселиться?

— Эх, кабы всем по миске горохового супчику, да чтоб в ней свиная шкурка плавала, у нас бы еще не такое веселье было.

— Хо-хо! Туляков, что так скупно просишь? Бога боишься прогневить?

— Мечтай уж на всю катушку — по отбивной с гарниром!

— Отбивную я даже мыслью не достигаю, а горох-пюре понимать еще не разучился.

— Бросьте, ребята...

— Почему такое?

— Нашли когда — при гражданском населении. Им еще хуже приходится...

Гражданское население в лице Юлии Антоновны возмутилось:

— Скажите на милость, какие нежности...

Минут за десять до отбоя боцман нашел Туровцева в центральном посту и доложил: полный порядок, по-

стели привезли на салазках, завтра будет составлено коечное расписание, а сегодня переспят абы как, так что товарищу лейтенанту сейчас ходить туда незачем, а вот завтра утречком...

— Нет, боцман, я все-таки пойду взгляну. Знаете, свой глаз — алмаз.

— Как желаете, товарищ лейтенант, — сказал Халецкий с обидой в голосе. — Разрешите идти?

— Нет, подождите. Пойдем вместе.

Во втором отсеке и не думали готовиться ко сну. Командиры самозабвенно «забивали козла», играл даже Горбунов, презиравший все игры, кроме шахмат и бильярда. Он улыбнулся Мите:

— Ну как?

— Порядок.

— Проверили?

— Вот иду.

— Тогда не спешите говорить «порядок». Где мы ночуем?

— Кто «мы»? — переспросил Митя, чтоб выиграть время.

— Мы все. Механик, минер, доктор...

— Одну ночь можно переночевать с командой.

— Согласен. А места есть?

— Выясню.

— Сделайте одолжение. Три плацкартных. Мы с вами, как не обеспечившие переезда, померзнем эту ночь на лодке...

Поднявшись в «первую», Туровцев сразу обнаружил непорядки. В плите пылал огонь, по всей кухне развешаны мокрые тельняшки, а на скамейке, опустив босые ступни в окоренок с горячей водой, со счастливыми и смущенными лицами сидели Туляков и Савин. В кубрике никто и не думал ложиться. У раскаленной докрасна печки собралась почти вся команда, кто в трусах и тельняшках, а кто и в одних плавках. При появлении штурмана подводники зашевелились, по их напряженным и хитро улыбающимся лицам Туровцев сразу почувствовал заговор. Прежде чем присесть к огню, он осмотрелся: на одной из коек валялась чья-то шинель, ее немедленно убрали. Митя заметил также, что почти все сидящие у огня как-то странно двигают челюстями: не то жуют, не то облизываются.

Туровцев подошел к печке, погрел озябшие руки. Спросил:

— Ну, как устроились?

Несколько голосов с наигранной бодростью отвечают: «Хорошо, очень хорошо, товарищ лейтенант, замечательно...»

Невидимая рука подставляет товарищу лейтенанту низенькую табуретку. Он садится перед раскаленной дверцей.

— Что ж не ложитесь? Время.

Смущенные улыбки, перешептывание.

— С непривычки, на новом месте не спится.

— Так, греемся, байки разные слушаем...

Митя вновь оглядывает лица. Вот Филаретов, Граница, Фалеев, Куроптев, Олешкевич, Абдуллаев... Почему-то у всех губы лоснятся от жира.

За спиной Мити опять шушуканье, и из темноты возникают черные усики и ослепительная улыбка рулевого Джулая. В руках у Джулая матросский нож, а на кончике ножа — кубик чудесного серого вещества, пахнущий огнем, солью и кровью.

— Извините, только хлеба ни грамма нет, товарищ лейтенант.

Туровцев берет кубик в руки: кусочек свиного сала, круто присоленный, с налипшим сором — видно, побывал в вещевом мешке.

— Откуда?

Смущенные улыбки. Боцман говорит успокаивающе:

— Да вы кушайте, товарищ лейтенант.

И лейтенант откусывает. Сало жесткое, грубоволокнистое, на зубах хрустит крупная соль. Все равно — это жизнь. И даже лучше, что не тает во рту, — зубам хочется грызть, перемалывать. Проглотив свой кусок, Митя хочет вернуться к вопросу о происхождении сала, но не тут-то было. Не успевает он раскрыть рот, как торпедист Филаретов почтительнейше просит рассудить спор. Просьба лестная, и сало забыто.

— Так в чем дело, Филаретов?

— Да вот рассказывают люди... Будто есть под Ригой лагерь, куда свозят забранных со всей Европы. Кормят одной баландой, заставляют щебенку бить, а чуть, значит, ослаб человек, засбоил, сейчас ему конец — и в крематорий. И будто приезжают в этот лагерь двенадцать эсэсовцев. Все в больших чинах, с ними вестовые, вина полно, закусок разных... Вызывают начальника, приказывают отобрать двенадцать самых красивых женщин, помыть, приодеть и объявить:

угодите господам офицерам, и тогда вам пощаду дадим и всем вашим поблажка будет...

— Ну и что же дальше? — спросил Митя, удивленный, что Филаретов стал тянуть и запинаться.

— А дальше... Дальше всю ночь они гуляли — ублажались, а на заре кавалеры построили своих милых по две в ряд да так, в чем мать родила, по снежку и проводили... Так?

— Куда проводили?

— Я же вам докладываю — в крематорий. Проводили, значит, да всех живьем в топке и пожгли.

— Так о чем спор? — спросил Митя, чувствуя неприятный холодок в позвоночнике. Даже в нарочито конспективном пересказе от этой байки повеяло жутью.

— Спор не спор, а желательно знать... Как вы скажете — возможно это?

Теперь замялся Туровцев. Он не имел никаких причин идеализировать эсэсовцев и знал, что они способны на всякие зверства. Но то, о чем рассказывал Филаретов, было даже и не зверство, а нечто такое, в чем звери не повинны. Он взглянул на Филаретова, затем на Джулая, Куроптева, боцмана, — они ждали ответа затаив дыхание, — и вдруг понял: да, не верят. Не то чтоб не верят, а не верится. Не верится, что какой бы то ни было человек, рожденный женщиной, способен совершить такое чудовищное дело и получить от этого удовольствие. Они не находят в своих душах даже крупинки, искорки чувства, которая помогла бы им — не захотеть, нет, — а хотя бы издали, со стороны понять привлекательность кровавой оргии. А ведь эти ребята не пасхальные барашки, попадись им эсэсовец, они бы его не помиловали, тот же Филаретов с его открытой ласковой улыбкой всего несколько месяцев назад выпустил две торпеды по невооруженному транспорту, и это не мешает ему спокойно спать.

Поверить трудно, но, с другой стороны, нет никаких оснований не верить. Байка вполне может оказаться правдой. Дольше тянуть с ответом нельзя, и Туровцев, улыбаясь, спрашивает:

— А вы что — разве сомневаетесь?

Филаретов смущенно молчит. Остальные реагируют больше жестами и улыбками. Общий смысл: и да и нет...

— Кто это вам рассказал?

Опять шепот, переглядывание. Митя еще раз обво-

дит глазами матросские лица и вдруг видит позади, в тени, одно — совершенно незнакомое.

— Боцман! — сказал Митя, поднимаясь.

Боцман вскочил.

— Почему вы не доложили мне, что в кубрике посторонние?

— Я вам толечко собрался рапортовать, товарищ лейтенант, так вы же не схотели меня слушать...

Это была увертка. Туровцева очень подмывало немедленно вкатить боцману взыскание, но он удержался, памятуя печальный опыт с Границей.

— Так что разрешите доложить: это...

— Отставить, боцман, теперь уж я сам разберусь. Подите сюда, — сказал Митя, невольно подражая Горбунову.

Краснофлотцы задвигались, чтоб пропустить невысокого парня в полосатом матросском тельнике и засаленных ватных штанах.

— Фамилия? — отрывисто спросил Митя, разглядывая незнакомца.

Парень, в свою очередь, исследовал лейтенанта многоопытным, до дерзости невозмутимым взглядом:

— Разрешите представиться. Старший краснофлотец Соловцов, рулевой пэ эль эм-бис двести два.

Сказано это было негромко и даже почтительно, наглостью было то, что он именовал себя рулевым с «двести второй». Туровцев перехватил взгляд Границы: вестовой смотрел на Соловцова с детским обожанием. С трудом подавив нахлынувшее раздражение, Митя отчеканил:

— Не знаю такого рулевого.

Соловцов не моргнул глазом. Но Туровцев понимал, что где-то в невидимой глубине матрос пожимает плечами и усмехается. С обострившимся за последние месяцы умением улавливать чужие мысли Митя прочел: откуда ж тебе меня знать, ты сам-то тут без году неделя.

Но как видно, в расчеты Соловцова не входило с места в карьер ссориться с новым лейтенантом, и он сказал с хорошо разыгранным солдатским добродушием:

— А я-то думал: приду на лодку все едино что в родительский дом. Я вас попрошу, товарищ лейтенант, доложите обо мне старшему лейтенанту, авось он меня не выгонит.

Стоило Соловцову назвать Горбунова старшим лейтенантом, как Туровцев все понял. Несомненно, это был тот самый рулевой, наглец, бузотер и бабник, злой гений «двести второй», которого Виктор Иванович за сутки до начала военных действий отправил на гарнизонную гауптвахту. С тех пор о нем не было вестей.

Внезапно раздавшийся треск избавил Туровцева от необходимости принимать немедленные решения. Треск был грубый, то переходивший в звон, то срывающийся в барабанное тарахтенье. Митя поднял голову и увидел: над входной дверью билась и гремела синеватая электрическая искорка. На секунду все застыли, затем кто-то крикнул «по коням!», и краснофлотцы бросились врассыпную — полуголые к койкам, одетые к дверям. Туровцев выбежал одним из первых; пробегая через кухню, он заметил Савина — Савин не спеша обувался. Лед со ступенек был сколот небрежно, Митя поскользнулся, и его чуть не сшибли с ног спускавшиеся вслед за ним краснофлотцы. Прихрамывая, он выбежал во двор — там было пусто, темно и так холодно, что прошибла слеза и защемило в носу. Под аркой образовалась толчея, ворота были уже закрыты на ночь, бойцы, шумя и переругиваясь, протискивались между связанными цепью створками.

Глава двенадцатая

В центральный пост Туровцев спустился последним. Горбунов стоял у трапа с хронометром. Не отрывая глаз от циферблата, он спросил:

— Кого еще нет, помощник?

— Савина, — ответил Митя, задыхаясь.

— Срочное погружение!

Затрещали звонки, гулко хлопнул люк, воздух упруго толкнулся в ушные перепонки.

— Даю вводную: смыло волной штурманского электрика Савина...

Как ни привычно летчику отрываться от земной поверхности, а подводнику от морской, и тот и другой всегда помнят, что взлет и посадка, погружение и всплытие требуют от них полной сосредоточенности, именно в эти считанные секунды происходит большин-

ство роковых ошибок. Срочное погружение было такой же условностью, как гибель электрика, но на лодке сразу же установилась серьезная и даже суровая атмосфера корабельного аврала. Митя взглянул на боцмана, сидевшего на низенькой разномылке у рычага горизонтальных рулей. Его глаза были прикованы к глубиномеру; казалось, он верил, что стрелка вот-вот дрогнет, оторвется от нулевого упора и с легким пощелкиванием поползет по шкале. Спinoй к боцману стоял Граница, он был неузнаваем — такое воинственное веселье пришло на смену детской обиде. Старшина трюмных Караваемов, зажмурив глаза, лихо управлялся с тугими клапанами, и Митя понял: тренирует себя на случай, если погаснет свет.

Мите с его быстрой реакцией и сильным воображением было легко включить себя в эту военную игру — он живо представил, как накатившая волна уносит в пучину Юру Савина и с яростью обрушивается на гладкий купол захлопнувшегося люка, как лодка с сильным дифферентом на нос уходит под воду: на секунду обнажаются винты, и на искаженной чудовищным спазмом поверхности остается только бешено крутящаяся воронка. Вообразив все это, он от души пожалел погибшего Юру и как-то совсем потерял из виду реального Савина, который, вероятно, топтался на морозе, не решаясь отойти от задраенного люка. Не дожидаясь дополнительных «вводных», Митя переставил людей, и, как ни пытался Горбунов вызвать замешательство, штурманская часть не подкачала.

Командир не стал мучить утомленную команду аварийным учением, через несколько минут он командовал всплытие. Отдраили люк, и в лодку спустился сконфуженный Савин. Горбунов даже не взглянул на него и, сделав знак Туровцеву, пошел по отсекам. С формой одежды было неблагополучно, но люди глядели весело, и командир остался доволен. Он нигде не задерживался и не делал замечаний. Только в дизельном он заговорил с Туляковым, но тут же оборвал себя на полуслове:

— Взгляните-ка, помощник.

Туровцев взглянул и ахнул. Туляков стоял по-уставному — пятки вместе, носки врозь, — но башмаков на нем не было, а от белых вигоневых носков шел пар.

— Доктора,— сказал Горбунов.

Митя кинулся к переговорной трубе. Через минуту прибежал доктор.

— Ваше заключение?

— Растирание. Аспирин. Спирт,— сказал Гриша с ударением на последнем слове. Чистый спирт хранился под койкой у механика и выдавался только с разрешения командира.

— Добро,— сказал Горбунов.— Все свободные от вахты — по кубрикам. Командиров боевых частей прошу задержаться.— Он ласково кивнул Тулякову, который стоял переминаясь и, вероятно, думал, что ему еще влетит.

— Так вот,— проворчал командир, усаживаясь на свой узенький диванчик во втором отсеке,— возблагодарим судьбу за то, что комдив всего этого не видел.

Все заулыбались. Митя — несколько натянуто.

— Скажу вам по секрету,— продолжал Горбунов,— Борис Петрович неохотно давал разрешение на переезд. Если мы и в дальнейшем будем тратить на сбор по тревоге почти семь минут — наш священный долг признать, что эксперимент себя не оправдал.

Командир не обращался напрямую к помощнику, но Туровцев чувствовал себя прескверно.

— Как вы считаете, Дмитрий Дмитрич,— спросил Горбунов тусклым от усталости голосом,— не могли бы мы все-таки уложиться в более короткое время?

— Могли бы,— сказал Митя, заранее изнемогая.

— Примерно?

— Минуты в две-три.

— В две? Сомневаюсь. Хотя бы в три?

— Конечно.

— Тогда почему же это у нас не получается?

— Так ведь в первый же раз...

— Торпедная атака тоже будет в первый раз. Вы провели звонок, но не подумали, что он может зазвонить. Неужели вы так мало изучили мой характер?

Возразить было нечего, и Митя промолчал.

— Почему опоздал Савин?

— Не знаю.

— А я знаю. Ни с того ни с сего устроили баню и постирушку. Кто разрешил?

— Это возникло как-то стихийно.

— А старпом оказался во власти стихии. Заметьте — Туляков тоже поступил самовольно, но разница между ним и Савиным в том, что Туляков сиганул на лодку в одних носках, а Савин не торопясь разыскал свое имущество, аккуратным образом оделся, обулся... Вы не считаете, что Савин должен быть наказан?

— Д-да, конечно...

— И строже, чем Граница?

Митя молчал, вздыхая.

— Не скрою, я сегодня остался доволен штурманом. Поэтому я мягче отношусь к помощнику, хотя его безответственность граничит...

Громыхнула кремальера, и в отсек заглянул боцман. Штурману повезло — он так и не узнал, с чем граничит безответственность помощника.

— Товарищ капитан-лейтенант, — сказал Халецкий с хитрым видом. — Тут до вас Туляков просится.

— А! — сказал Горбунов, ласково оскалив свои волчьи зубы. — Пусть зайдет.

— Только он, как бы вам доложить... — Боцман фыркнул.

— Ну, ну?

— Совсем бусой, товарищ командир.

Мите показалось «босой» — это его удивило. Он удивился еще больше, когда вошел Туляков. Старшина был обут в валенки, укутан в овчинный тулуп и совершенно пьян. На его покрасневшемся потном лице было разлито блаженство.

— Товарищ командир корабля! — возгласил Туляков. При этом он так рискованно взмахнул руками, что боцману пришлось поддержать его сзади. — Дорогой ты наш Виктор Иванович!

Он замолк, глядя на Горбунова сияющими глазами. Все слова казались ему слабыми и недостаточными.

— Я вас слушаю, Лаврентий Ефимович, — иронически отозвался Горбунов.

Ирония в данном случае заменяла строгость. Но Туляков не заметил ни строгости, ни иронии, он пришел в еще больший восторг.

— Виктор Иванович, — забормотал он, то простирая руки вперед, то прижимая их к груди. — Ты послушай меня... Вот, говорят, дисциплина. Дисциплина — это... — Он выпятил нижнюю губу, развел руками и

даже присел, чтоб лучше выразить, какое значение он придает дисциплине.— Но опять же — какая? Со-зна-тель-ная. Так? — с неожиданной строгостью спросил он Туровцева.

Митя отвернулся, чтоб не рассмеяться. Туляков вздохнул.

— А что это значит? — Он глядел на Горбунова испытующе и лукаво.— Знаешь, нет? Ты извини, что я тебя так — по-рабочему. Так вот не обижайся, а послушай, что я сейчас скажу. Я завтра того не скажу.

— Ну, ну, я слушаю.

— Вот и слушай. Все будет нормально. Ясен вопрос? Вдумайся, повторять не буду. Все будет нормально. Разрешите идти?

— Разрешаю,— сказал Горбунов.

— Веди, боцман.

— Безобразие,— пробурчал Горбунов, когда хлопнул люк; было непонятно, сердит он или растроган. Затем вновь вцепился в Туровцева: — Если теперь Туляков заболит, виноваты будете вы... Что мне с вами делать, помощник? Как будто вы и неглупый парень, но я, хоть убейте, не понимаю хода вашей мысли. Мы ведь жита не сеем, угля не рубаем, и единственное оправдание нашего с вами существования — сигнал боевой тревоги. А вы, услышав тревожный звонок, небось сами толком не поняли, что там такое трещит...

Митя вздрогнул. Это уже пахло мистикой. Он взглянул на Каюрова, Ждановского. Механик был серьезен, но минер с трудом удерживался от смеха.

— Теперь скажите, как быть с квартирой? Будем оставлять дневального или достаточно запереть?

— По-моему, достаточно.

— Кто это должен делать? Станем на почву опыта,— быстро сказал Горбунов, видя, что Митя колеблется,— во время сегодняшней тревоги квартира была заперта?

— Нет.

— Почему?

— Там оставался краснофлотец.

— Кто? Савин?

— Нет. Соловцов.

— Соловцов?!

По тому, как изменился в лице Горбунов и переглянулись остальные, Митя понял, что совершил еще одну ошибку.

— Он сказал, что вы его знаете...

— Я-то знаю, а вы — нет. Он еще там?

— Наверное.

— Федор Михалыч, личная просьба: перед тем как лечь, расспросите Соловцова хотя бы в самых общих чертах: где, что, откуда... А завтра я с ним сам поговорю.

— Однако дорог Соловцов, — зевая, сказал Каюров. — В воде не горит и в огне не тонет.

— Может быть, наоборот?

— Не вяжись, лекарь. Наоборот. Но мне так больше нравится.

— Вот что, господа гуруны, — вяло сказал Горбунов, — если более содержательного повода для дискуссии нет — я вас не задерживаю.

Туровцев надеялся, что, оставшись с командиром с глазу на глаз, они еще поговорят, но Горбунов молча расстелил постель, включил ночное освещение и начал раздеваться. Митя тоже лег, но долго не мог заснуть: он догадывался, что командир не спит, и это ему мешало. В конце концов он ненадолго забылся, а проснувшись, обнаружил, что Горбунов исчез. Исчезновение не заключало в себе ничего таинственного, мало ли почему командир мог выйти из отсека, но Митя встревожился. Сделав над собой усилие, знакомое всем, кто когда-либо входил в холодную воду, он оторвал голову от блинообразной подушки и спустил ноги.

Дежурный сидел в центральном посту на разномыслии и листал негнущимися пальцами какую-то толстую книгу.

— Где командир корабля?

Дежурный с трудом приподнялся.

— На стенку сошел, товарищ лейтенант.

— Зачем?

— Не могу знать. Механик Границу присылал.

Митя стал в тупик. Несомненно, что-то произошло. Но что именно? Узнать это можно было только одним способом — пойти. Идти нельзя — если б командир нуждался в помощнике, он взял бы его с собой или прислал за ним вестового. Нет, идти нельзя. Лечь спать? Спать, конечно, можно, но поди попробуй засни...

Митя залез обратно под одеяло и стал ждать. Горбунов не возвращался, и, чтоб сократить ожидание, Митя решил подумать обо всем, на что обычно не хватало времени. Самым запущенным участком были сыновние обязанности. После начала войны Митя выслал матери аттестат на семьсот рублей — в блокаде деньги все равно не нужны, а там это сумма — и послал за пять месяцев три открытки с видами Ленинграда. Митя вообще любил открытки: будучи медленнее телеграмм, они допускали телеграфный стиль. Родители не обижались — они любили Митю, гордились им и считали его время драгоценным. Конечно, им хотелось побольше знать о том, как живет Митеньке в осажденном городе, и они не пропускали ни одной печатной строки, ни одной передачи, где говорилось о Ленинграде, мать писала Мите длинные письма, письма были бодрые, и Мите казалось, что родители живут почти так же, как жили до войны. Последнее письмо было полно наставлениями о том, как бороться с цингой, а в конверт были вложены четыре расплюснутые дольки чеснока. Если вдуматься, это было даже трогательно, и Митя дал себе слово не позже чем завтра написать отцу и матери настоящее сыновнее письмо, длинное и нежное, со всякими ненужными подробностями, которые они так любят. Собственно говоря, никто не мешал заняться этим немедленно, но не стоило заводить, в любую минуту мог вернуться Горбунов.

Но Горбунов не шел, и Митя начал нервничать. Что он мог такое выкинуть, этот неприятный матрос? А может быть, ничего не случилось: Соловцов сидит у печки и растабарывает, все расселись вокруг и развесили уши, на почетном месте сидит Виктор Иванович, он посасывает трубку и время от времени вставляет словечко. Конечно, он командир корабля, может делать все, что ему угодно, и ни у кого не спрашиваться. А я вот не могу встать и уйти к Тамаре...

На Тамару он больше не сердился: не надо быть скотиной, лейтенант. Почему вы требуете, чтоб женщина целыми днями сидела одна в темноте и холоде и ждала, когда вы соизволите забежать на пятнадцать минут? И нет ничего удивительного, что она изменилась и все реже бывает такой самозабвенно пылкой, как в ту нашу первую и единственную ночь...

Горбунов вернулся через час. Митя лежал, укрыв-

шись с головой, но из-под одеяла он мог следить за каждым движением командира. Командир двигался, как всегда, бесшумно: снял с себя шинель и шапку, поправил сползшую постель. Затем сел, заложил ногу за ногу, вероятно, для того, чтоб расшнуровать ботинки, и, словно забывши о своем намерении, откинулся назад и застыл. Свет ночника падал прямо на лицо, и Туровцева поразило сосредоточенно-мрачное выражение этого лица: за прошедший час оно как будто обуглилось — стало темнее и тоньше.

Прошло минут пять, быть может, меньше, но Мите показалось, что много,— Горбунов не двигался. Он сидел, подложив ладони под затылок и глядя вверх застывшим взглядом. Только иногда, как рябь по воде, по лицу его пробежала слабая усмешка, казалось говорившая: ну-с, что у вас там еще в запасе? Давайте, давайте, выкладывайте, не стесняйтесь...

Митя боялся пошевелиться. Сон прошел окончательно, а обнаружить себя теперь уже было неловко. Он даже попытался всхрапнуть и, как видно, перестарался, потому что Горбунов, не поворачивая головы, сказал:

— Вы же не спите, штурман.

Митя высунул голову. Вид у него был, вероятно, сконфуженный. Горбунов усмехнулся.

— Ладно. Давайте поищем чего-нибудь снотворного.

Снотворное он почему-то искал не в аптечке, а под койкой у механика.

— Девяносто шесть,— предупредил он.— Разводить не будем?

— Разве он... не того?

— Нет, не того. Только надо пить спокойно, как молоко. Если вы по малодушию поперхнетесь, спирт с воздухом образуют адскую смесь... Садитесь. If you please.

Он налил Мите половину граненого стакана, а себе в крышку от бачка.

— Закусывать решительно нечем. А впрочем — погодите.

Вынув из шкафчика аккуратно завернутую в бумагу черную корку, он разломил ее пополам.

— Пойдите-ка,— сказал Митя. Он вынул письмо и вытряхнул из конверта две заветные дольки.— Пойдет?

— Великолепно,— сказал Горбунов.— Если этой штуковиной потереть корочку, она пахнет совсем как украинская колбаса. Откуда у вас такая роскошь?

Вместо ответа Митя перебросил через стол записку матери. «Уважаемый товарищ военный цензор,— писала мать,— очень прошу Вас пропустить прилагаемые четыре дольки обыкновенного чеснока. В них нет ничего, кроме витаминов, а они очень нужны моему сыну Дмитрию, находящемуся...» Далее все, за исключением подписи, было замазано жирной черной краской, а в углу этой же краской крупным детским почерком было приписано: «На здоровье!» Горбунов читал медленно, и все это время Митя держал наготове снисходительную улыбку: чудачки, мол, эти матери... Дочитав, командир бережно сложил записку и вернул ее Мите.

— Ваша мама,— сказал он тихо и так медленно, как будто каждое слово требовало от него усилий,— вероятно, представляет себе военного цензора таким строгим генералом в орденах. А в цензуре сейчас сидят девчушки, вчерашние школьницы. Перед ними инструкция — что можно и чего нельзя — и горы писем. «На здоровье!» Вы ответили матери?

— Нет еще.

— Я так и думал. Вы, наверно, не очень внимательный сын.

— Почему вы так думаете?

— Все мы по отношению к своим матерям — гуси лапчатые. А случится помирать, небось сразу: мама! Ладно уж... Аппараты товсьсь!

Митя с опаской поглядел на свой стакан. Он приготовился к самому худшему, но все обошлось благополучно. Сразу стало тепло.

— Ну как?

— Хорошо. А что же вы?

— Обо мне не беспокойтесь — я потом.

Митя внимательно посмотрел на командира. Несомненно, Горбунов был чем-то потрясен. Внешне это почти ни в чем не выражалось, он только стал медлительнее, как будто новая, еще не привычная тяжесть легла ему на плечи. Он пытался вести себя как всегда, и это ему почти удавалось, он двигался, говорил и даже улыбался, ни движения, ни речь, ни улыбка не изменились, но стали тише, осторожнее, а в опущенных глазах

застыло напряжение шофера, ведущего груженую машину по бездорожью.

Горбунов долго, старательно, как будто производил химический опыт, натирал чесноком корочку.

— Попробуйте. Совсем колбаса.

Выпив, он долго жевал корку. Затем поднял на Митю взгляд, который трудно было выдержать.

— Так вот, уважаемый Дмитрий Дмитрич: жену мою убили.

Митя ахнул. Он чуть было не ляпнул «не может быть», но вовремя удержался и спросил:

— Соловцов?

Подразумевалось: не кто убил, а кто сказал. Горбунов понял правильно и кивнул.

— Слушайте, а может быть, все-таки...

— Ничего уже не может быть.

— Давно?

— Когда была эвакуация Либавы? В тот самый день.

Митя раскрыл рот, чтоб спросить о ребенке, но замялся, ища слово. Горбунов понял.

— Вы хотели спросить, где мальчик? Не знаю.

— Жив он?

— И этого не знаю. Вот что, штурман: главное я вам сказал, а о деталях, если они вас интересуют, расспросите сами Соловцова. А я — не могу.

Митя смущенно замолк. Горбунов усмехнулся — все так же медленно, как будто мышцы лица перестали его слушаться.

— Нет, серьезно, я даже прошу вас — поговорите. Раз уж так случилось, что вы знаете о моей семейной жизни больше всех. — Увидев, что Туровцев недоумевает, он пояснил. — Того письма не читал никто.

— Как?

— Очень просто. Оно не было отправлено.

— Почему?

— Из гордости, наверно. И потом — к чему? Лишняя ниточка.

— Странное дело, — сказал Горбунов, помолчав. — Еще недавно меня порядком раздражало, что кто-то без спросу проник в мои тайны. Знаю, знаю, — отмахнулся он, видя, что Митя хочет что-то объяснить. — А вот теперь я даже рад. У меня есть друзья, но Борису сейчас не до меня, а с Федором Михайловичем вообще надо разговаривать осторожно. — Он взглянул на удив-

ленное, даже несколько испуганное лицо помощника и поморщился.— Вот вам лишнее доказательство вашего невнимания. Вы разве не знаете, что у Ждановского сожгли живьем жену и детей?

Митя похолодел. Он хотел спросить, когда и где это произошло, но вдруг до такой степени охрип, что только шевелил губами.

— Федор Михайлович,— Горбунов говорил так, будто шел, поднимаясь в гору,— белорус, родом из Несвижа. Надежда Моисеевна тоже несвижская, отец ее врач, известный человек в городе. В июне она с детьми поехала на родину, показать старикам младшенького. Когда ворвались немцы, всех евреев согнали в бывшую церковь, неделю держали без хлеба и воды, ну а потом...

Он говорил все медленнее, как будто вспоминая, и наконец остановился. Вероятно, ему казалось, что он довел рассказ до конца.

— Так вот,— сказал Горбунов через минуту или две.— Теперь вам должен стать яснее характер механика. Впрочем, в нем нет никакой загадки: любил жену и детей, это была ничем не омраченная любовь, теперь он зажал свою боль где-то в дальних тайниках и считает дни до выхода в море. Он предпочитает молчать, и я не смею лезть к нему с расспросами. С вами проще. Представьте себе, мне почему-то совсем не хочется беречь ваши нервы. Пустяки,— ухмыльнулся он, заметив, что Митя огорчился.— Просто я вам доверяю. Я знавал лучших старпомов, но парень вы, вообще говоря, симпатичный. И честный, что я очень ценю.

Митя поежился.

— Скажите, штурман,— спросил Горбунов, откидываясь назад,— вы хотели кому-нибудь смерти? Ну, вы понимаете, я не о Гитлере вас спрашиваю,— пояснил он с нетерпеливой гримасой.

— Не знаю,— сказал Митя растерянно.

— Не знаете,— значит, не хотели.— Я — хотел. А вот теперь ее убили.— Его лицо опять дернулось.— Извините меня, штурман, я, вероятно, несправедлив к вам. Требую, чтоб вы знали каждого на лодке, а сам плохо знаю самого себя. Сколько раз я повторял себе: ненавижу...

— Вы простили ее,— прошептал Митя.

— Какое я имею право прощать или не прощать?

Знаете, штурман, как умерла эта женщина? Она умерла, как... в общем, дай нам бог умереть не хуже. А этот ворюга, укравший мое счастье, этот предатель, сбежал, бросив женщину, бросив своих подчиненных на произвол судьбы, а теперь, наверно, смылся подальше от мест, где стреляют, и живет припеваючи жизнью непойманного вора, жизнью, которую он тоже украл. И, может быть, еще носит орден за спасение казенного имущества, краденый орден...

Туровцев слушал, затаив дыхание. События приобретали зримые очертания. Войска покидают Либаву. Главных действующих лиц трое: Елена, «тот человек» и неизвестно откуда взявшийся Соловцов. На них нападают немцы. «Тот» бежит. Соловцов и Елена принимают бой. Такова схема. В ней много неясного. Где мальчик? Кто, кроме Соловцова, был свидетелем гибели Елены? И, наконец, главное — кто этот подлец?

Все это можно было установить только через Соловцова.

— Ох, что же делать, Виктор Иванович? — вырвалось у Мити. — Что же делать?

— Что делать, лейтенант Туровцев? — язвительно переспросил Горбунов. — Я думал, вы мужчина и ответ у вас наготове.

— Мстить?

Горбунов досадливо поморщился.

— Того, кто убил, уже нет — сгнил где-нибудь в кювете. О нем я не думаю. У меня счеты с третьим рейхом. Поймите, мне с Адольфом Гитлером тесно на одной планете. Возможно, он меня переживет, но ненадолго.

Это было сказано без всякого юмора, и Митя с завистью подумал: вот человек, который не боится показаться смешным.

— Скажите, Виктор Иванович, — спросил Митя, — вы ненавидите немцев?

Горбунов задумался.

— Ненавижу, — сказал он. — Вам, наверно, показалось странным, что я так долго думал; на вопросы, касающиеся чувства, надо отвечать мгновенно. Но чувствовать — одно, объяснить — другое. Меня тошнит от любого варианта расовой теории, и мне не надо растолковывать, что немец — это не только Геринг, но и Тельман. Но война есть война. Когда на меня бежит немец с винтовкой наперевес, чтоб воткнуть

мне в брюхо штык,— у меня нет времени разбирать, кто там бежит, я вижу блеск штыка, немецкого штыка. Я не различаю лица, есть только каска, немецкая каска. И есть только один рефлекс — убей. Если этот рефлекс не сработает, если вы задумаетесь над своим правом убить человека за то, что он немец, он убьет вас. Может быть, — Горбунов усмехнулся, — придет время, когда я заговорю по-другому, но сейчас я ненавижу немца всей кожей, как ненавидят его мужики на оккупированной земле. Я считаю, что он должен ответить за все, даже за то, что отравил мою душу ненавистью...

Спирт подействовал на командира, он стал говорить быстрее.

— Вы думаете, я не способен вообразить, что творится на немецком транспорте, когда в него попадает торпеда? Я ведь не из тех, кто сдает свою совесть на хранение в государственный банк, я беру это, — он похлопал себя по груди, — на свою душу. И готов отвечать. Перед богом, если б он был. И перед историей, если б ей было интересно знать, что думает по этому вопросу какой-то капитан-лейтенант. А если б не смог, то, наверно, пустил бы себе пулю в лоб. Сегодня у меня на повестке дня один вопрос — разгром фашистской Германии. Все остальное меня не интересует.

— Меня тоже, — робко сказал Митя. — Конечно, я даже не начал воевать...

— Чепуха. Ремонт — тоже война. Торпедный залп готовится на берегу. Но вы не отдаете себя всего. Вы можете больше.

— Наверно. Но я весь тут. Иногда просто зло берет, что от меня так мало зависит. Думаешь: идет схватка всемирного масштаба, и в этой схватке я только песчинка...

— Вот, — сказал Горбунов, глядя на помощника злыми глазами. — Вы сказали это слово. Нет ничего подлее этого рассуждения.

Слово «подлость», хотя и не в лоб сказанное, заставило Туровцева вспыхнуть.

— Почему же? — прошептал он, сразу охрипнув.

— Потому что это самый классический способ снимать с себя ответственность за то, что происходит в мире. Я — песчинка, так что ж с меня спрашивать? Мир — океан, я — капля. Я — частица, увлекаемая мировым космическим вихрем. Умноженная на мил-

лиард,— я сила, но что изменится от того, что — в той мере, в какой мне дано располагать собой,— я поступлю так или иначе? Изменяю ли я ход истории? Я могу отдать человечеству свою маленькую жизнь, оно этого даже не заметит, а мне она ох как нужна! Так зачем отдавать? Моя капля затеряется, растечется по стенкам, впитается в грунт, высохнет на солнце. Под это симпатичное рассуждение можно не выполнять свой долг, не бороться против зла, можно украсть: общество так богато, а я беру так мало; можно дезертировать: кому нужна одна песчинка там, где ветер гонит тучи песку? Но это еще не все. Ведь если я — песчинка, то другие и подавно? Так стоит ли задумываться над судьбой десяти, ста, тысячи песчинок? Их крутит мировой вихрь, и, если я — по недомыслию, эгоизму, упрямству, честолюбию — пошлю их на смерть, в мире ничего особенного не произойдет, бабы новых нарожают... И ведь заметьте — чем охотнее эта самая песчинка признаёт свое ничтожество в большом мире, тем важнее для нее все, что происходит в ее микроскопическом мирке. Тут она все замечает — и какой ей чай подали, с лимоном или без, и как на нее кто посмотрел. И страдает от своих маленьких обид куда больше, чем от нарушения высших принципов...

Митя сидел помертвевший. Он знал: язык глухих намеков чужд командиру. Горбунов говорил не о нем. И все-таки ему было не по себе от враждебного блеска глаз, от этого страстного напора. Горбунов это заметил и, потянувшись через стол, дотронулся до Митино го рукава. Затем заглянул в бачок.

— По второй?

Митя отказался.

— А я еще выпью. Сегодня мне эта штука не повредит. Наоборот — выравнивает дифферент... Так вот — я не песчинка. Не далее как этой весной я намерен определить ход военных действий на Балтике. Похоже на хвостовство?

«Скорее на безумие»,— подумал Митя, уклоняясь от острого, испытующего взгляда Горбунова. Вслух он промямлил:

— Нет, почему же...

— Это не ответ. Скажите честно — не верю, тогда я буду с вами спорить. Вам знакома такая теория: флот заперт в заливе, и в сорок втором ни одна лодка не выйдет в Балтику?

— Что-то слышал. Но ведь это вздор?

— Почему же вздор? Помните, я говорил вам: если б мне поручили запереть наш флот, я бы знал, как это сделать.

Митя внимательно посмотрел на Горбунова. У командира вздрагивали ноздри, а на верхней губе быстро-быстро ерзала какая-то мышца, образуя ямочку.

— Значит, это правда? — спросил он упавшим голосом.

— Я этого не сказал. Я сказал только, что знал бы, как запереть. Возможно, немцы не знают. А если знают — они ведь не дураки, — то, может быть, я знаю, как отпираются замки.

— А что думает комдив?

— Комдив верит, что к весне армия сломает кольцо.

— А вы не верите?

— Я плохо знаю сухопутные дела. Верю, поскольку задача поставлена. Но допускаю варианты. И, может быть, к весне задача станет совсем иначе: не ждать, пока расчистят берега, а помочь ударом с моря.

— И что же тогда комдив?

— Вот это правильный вопрос. Сейчас он считает всякие сомнения в том, что блокада будет вот-вот прорвана, пораженческими разговорчиками. Когда он станет перед фактом и получит приказ начать кампанию, он будет считать пораженцем всякого, кто усомнится в успехе. Он храбрый человек — пошлет лодки и, чтоб погасить сомнения, пойдет сам.

— А он сомневается?

— Считает, что баланс будет не в нашу пользу.

— А по-вашему?

— Я считаю, что подводный флот должен воевать.

— Даже если...

— Даже. Представьте себе простейший случай. Мы выходим в атаку на какую-нибудь самоходную баржу и отправляем ее на дно. На нас накидываются катеришки, и мы отправляемся вслед за ней. Спортивный баланс ничейный — один — один. Бухгалтерский баланс в пользу противника; подводные лодки стоят дорого. Но попробуйте рассуждать иначе. Представьте себе противника, который добросовестно потрудился, чтоб закупорить бутылку, именуемую Финским заливом, скинул нас со счетов и мнит себя хозяином Балтики. И вдруг какая-то неизвестно откуда взявшаяся лодка

топит посудину, которой в мирное время грош цена, но она — эта посудина — везла руду или чугунные чушки, а их ждали, на них рассчитывали. Выходит, что рассматривать Балтику как свое внутреннее море — ошибка. А это влечет за собой кучу всяких последствий — военных, экономических, дипломатических... Оказывается, надо ходить караванами, под конвоем военных кораблей и под крылышком авиации. Или, наоборот, пробираться поодиночке на фоне берега, видеть в каждом бурунчике подстерегающий глаз перископа, ждать темных ночей, чтобы пересечь опасные квадраты. А сколько забот командованию! Надо вперед учитывать потери в грузах, а там, глядишь, приходится отказаться от идеи посылать морем войска в Хельсинки, а там нейтральная Швеция вдруг становится тугой и несговорчивой... Так вот, я первым выйду в Балтику. Я знаю: есть люди, которые думают, что пройти нельзя, а если пройдешь, то не вернешься. Я пройду и вернусь.

— А пошлют?

— Почему же не послать командира, если он подготовлен и вдобавок сам просится? Жаль, что вы не были на моем сообщении в штабе — я пытался извлечь кое-какие уроки из наших плутаний.

— Как это было принято? («Ага, вот о чем говорил Селянин...»)

— По-разному. Те, кто всерьез готовится идти в море, слушали с интересом. Кое-кому мои рассуждения показались скучными и даже сомнительными: все это, дескать, вилами на воде писано, боевого успеха настоящего нет, вот он и рассусоливает. Комдив не сказал мне тогда ни слова, а теперь при случае подпускает шпильки. А я совершенно искренне считаю, что приобретенный опыт ценнее той коробки, которую мы грохнули. Но за опыт, конечно, не награждают. Награждают за тоннаж.

Горбунов помолчал.

— Так вот, возвращаюсь к вашему вопросу. Подводный флот создан для войны и должен воевать во всех случаях. Наша лодка — очень хорошая лодка, но через десять лет ее разрубят на патефонные иголки, и не потому, что она изнашивается, а потому, что техника уйдет вперед. Беречь ее — бесхозяйственность. — Он понял, что сказал неловко, и успокоительно добавил: — Но мы пройдем, штурман. Пройдем, потому что побьем свои

собственные рекорды. Мы будем действовать быстрее и более скрытно, чем в сорок первом, быстрее погружаться...

— Каким образом?

— Что — каким образом?

— Ну, к примеру, быстрее погружаться. Лодка имеет определенные тактико-технические данные, и вы из них не выскочите.

— Время погружения, как вам известно, зависит от скорости, с какой поступает забортная вода в балластные цистерны, и от угла, под которым лодка уходит на глубину. Почему бы не увеличить этот угол?

— Прольется электролит в аккумуляторных батареях.

— Возражение толковое, но я его предвидел. Не обязательно доливать электролит до верхней отметки.

— Допустим. А как вы увеличите скорость поступления забортной воды?

— Обкорнаю патрубки вентиляции, расширю кингстоны. — Горбунов оживился, Митя видел, что ему доставляет удовольствие парировать все возражения.

— Но позвольте, — почти закричал Митя, — все это, согласен, можно проделать, но ведь тогда лодка камнем пойдет вниз, и вы рискуете провалиться ниже предельной глубины.

— Ага, вот вы и подошли к самому существенному. Во-первых, предельная глубина нам не указ. Наши отечественные лодки построены по-русски, с большим запасом прочности. У нас в походе уже был случай, когда мы провалились метров на тридцать против проектной глубины, и ни одна заклепка не потекла. Но главная моя надежда — не на прочность корпуса, а на штурмана. Под его началом находятся сигнальщики и рулевые. Одни вовремя заметят врага, а другие быстро подхватят и выровняют лодку на глубине. Весь вопрос в том, будет ли у меня такой командир штурманской части.

Это было сказано совсем просто, без обычного ехидства, пожалуй, даже с грустью. Туровцев очень хотел сказать: «Он у вас будет, Виктор Иванович», но постеснялся. «Лучше будет, — подумал он, — если, не давая никаких клятв, я с завтрашнего дня начну новую жизнь.

Не потому с завтрашнего, что я привык танцевать от печки, а потому, что сегодняшний уже пропал. А завтра я должен проснуться с единственной мыслью: гуроны стали на тропу войны. Эти люди сожгли за собой мосты. И я должен стать таким, как они».

Понял ли Горбунов, что происходило в душе помощника? Он помолчал, а затем с обычной для него быстротой переключений спросил:

— Что, попробуем заснуть?

Его глаза смотрели устало и ласково.

— Ложитесь. У вас сегодня был тяжелый день. Митя усмехнулся. Горбунов понял.

— Вы правы. Пожалуй, у меня тяжелее. Но я рад, что мы поговорили.

— Странно получилось,— сказал Туровцев, укладываясь.— Мы начали один большой разговор, не кончили, начали другой...

— Ошибаетесь,— сказал Горбунов.— Это один и тот же разговор.

Глава тринадцатая

За ночь температура в отсеке скатилась до нуля, и Туровцев порядком окоченел. Спать-то он спал, но это был какой-то ненастоящий сон. Только под утро дремотное оцепенение сменилось забытием, таким глубоким, что сквозь него не сразу пробились сотрясавшие лодку длинные звонки боевой тревоги.

— Вставайте, штурман,— услышал он голос Горбунова.— Нельзя спать, когда на корабле тревога. Это не принято.

Митя вскочил в ярости. Он нисколько не сомневался, что ни в городе, ни на рейде тревоги нет и командир объявил учебную.

— Черт бы его драл,— бормотал Митя, одеваясь. Спросонья он плохо видел и качался, как пьяный.— Сам не спит и другим не дает...

Наспех зашнуровав ботинки, он выскочил в центральный пост и увидел дежурного старшину Солнцева. Солнцев стоял у трапа, задрав вверх голову и приплясывая.

— Эй, на мостике!

Мостик не отвечал.

— Что случилось, Солнцев?

Старшина вздрогнул и обернулся.

— Да ничего, товарищ лейтенант. Что-то долго копаются.

— А как долго?

— Минуты две прошло.

— Две — это еще не край.

— Это верно, что не край. Я другого боюсь: вдруг сигнал не сработал?..

Он не договорил. С мостика приоткрылся люк — воздух в лодке заколебался. Зычный голос сигнальщика радостно завопил:

— Внизу!

— Есть, внизу! — так же радостно отозвался Солнцев.

— Порядок! Чешут сюда.

Люк со звоном захлопнулся. Митя зажмурил глаза и увидел: темная набережная, снежные дюны на месте тротуаров. Вот из-под глубокой, черной, как устье не-топленной печи, арки ворот показался первый бушлат, за ним второй, третий...

Отдаленная глухая дробь — бегут по деревянным мосткам, гулко грохнула сталь — кто-то спрыгнул на палубу. Мягко отошла крышка люка, и воздух опять качнуло, в ушах легонько хрустнуло...

— Осторожно, товарищ лейтенант!

Митя посторонился — и вовремя. Две длиннейшие матросские ноги вылетели из горловины, как снаряд из орудийного канала, и на резиновый коврик соскочил Филаретов. За ним ворвался вихрь снежинок. Следующий был Каюров, за ними посыпались остальные. Граница тоже соскользнул вниз, как по канату, не касаясь ногами перекладин, но не рассчитал и растянулся. Поднимаясь, он посмотрел на Туровцева злыми глазами.

На этот раз Горбунов даже не делал обхода, через минуту после того, как все разбежались по местам, он скомандовал отбой тревоги, а еще через тридцать секунд был дан сигнал «побудка». Таким образом выяснилось, что командир украл у Мити меньше пяти минут сна. Спать больше не хотелось, и было немножко со-вестно.

За чаем Горбунов сказал:

— Соловцов просится обратно на лодку. Клянется,

что никогда — ну и так далее... Какие будут точки зрения?

Сказано было это нарочито безразличным тоном «Не хочет влиять», — подумал Митя.

— Соловцов, конечно, фрукт, — Каюров вздохнул, — но я бы все-таки... А впрочем, молчу... — оборвал он сам себя, заметив, что Митя хмурится.

Все посмотрели на Туровцева. Митя продолжал хмуриться.

— У нас же нет штатных мест.

— Даю вводную, — сказал командир. — Предположим, есть.

— Не знаю, Виктор Иванович. Не лежит душа.

— Почему?

— Какой-то он наглый, расхлябанный...

— Неверно. С наглецей, но не расхлябанный. И хороший рулевой.

— По-моему, он больше подходит для сухопутья, — проворчал Митя. — На корабле таким типам негде развернуться...

— Негде-негде, а вот поди ж ты — очень привязан к кораблю.

— Факт, — сказал доктор. — Ты видел, Василь, сколько он на себе приволок? Целый мешок консервов. Я чуть в обморок не хлопнулся, когда увидел.

Каюров не удержался и присвистнул.

— Откуда?

— С Ханко. Говорит, при эвакуации можно было брать, сколько влезет. Я думаю — не врет. Ты соображаешь, что такое в осажденном городе шестнадцать банок мясных консервов?

— Жизнь человека, — буркнул механик.

— Жизнь в жестянках.

— Шутки в сторону, вам известно, сколько стоит нынче банка консервов?

— А разве ее можно купить?

— Святая наивность! В нашем доме живет один художник. Недавно он отдал за банку рыбных консервов и килограмм хлеба хорьковую шубу.

— Я бы таких сволочей — не художника, конечно...

— Мысль ясна: к стенке? Слушай, старпом, а что, этот художник — действительно тот самый?..

— Так точно. Будете жить как в музее. Доктору особенно полезно — он ведь никогда не был ни в Русском, ни в Эрмитаже.

— А из театров — только в анатомическом.

— Бросьте травить...

— Пойдите-ка, — сказал Горбунов. — Где эти консервы?

— У меня, под замком.

— Прежде чем брать, не худо бы спроситься, герр доктор.

— Принято только на хранение. Прикажете вернуть — верну.

— Хитер лекарь, — сказал Каюров.

— Н-да, — проворчал командир, — эти шестнадцать банок по существу решают проблему торжественного ужина.

— Какого ужина? — не понял Митя.

— Надеюсь, вы помните, что в воскресенье корабельная годовщина?

— Да, конечно.

— Не забыли?

— Честное слово, не забыл. Упустил из виду.

— Различие, конечно, тонкое, — сказал Горбунов, вставая.

После чая Туровцев поднялся в «первую» и нашел кубрики в образцовом порядке. Соловцова уже не было.

— Разрешите обратиться, товарищ лейтенант, — сказал дневальный, когда осмотр кончился. Они стояли на кухне.

— Да-да, — рассеянно отозвался Митя. Он думал о Границе: отправить его на гауптвахту сегодня же или подождать до понедельника — жалко лишать парня праздничных харчей.

— Товарищ лейтенант, как насчет Соловцова?

— Насчет Соловцова? — повторил Митя, не очень понимая. — А что — насчет Соловцова?

— Возьмут его на лодку, товарищ лейтенант?

Митя внимательно посмотрел на дневального. Это был гидроакустик Олешкевич, невзрачный востроносый паренек, большой приятель Границы.

— Не знаю, — сказал Туровцев. — Посмотрим. А вам нравится Соловцов?

— Ох, отчаянный, — с восторгом выпалил Олешкевич.

— Если появится, доложите немедленно.

Спускаясь по лестнице, Туровцев пришел к окончательному решению: Границу до понедельника не

трогать. Будь что будет. Если командир спросит — совру, что звонил в комендатуру и мне отказали. А вообще-то с враньем пора кончать. На базе вранья никакую новую жизнь начать невозможно.

— Н-да,— бормотал он.— Так что же делать, братцы? Братцы ленинградцы, куда же мне деваться?..

«Чтоб начать новую жизнь, нужно прежде всего расстаться с Тамарой. Это не всякому объяснишь, и вряд ли Тамара что-нибудь поймет. У Горбунова погибла жена, у механика вся семья. Вывод: лейтенант Туровцев должен бросить любовницу. Нелогично и глуповато, однако совершенно необходимо. Нельзя жить общей жизнью с этими людьми и не приносить жертв. Как ни коротки наши встречи, Тамара занимает слишком много места. Достаточно ей надуться, и я ухожу с занозой в мозгу и уже не могу думать о деле. А сколько времени уходит на подготовку свиданий, каждый раз нужна новая версия, все должно быть продумано на десять ходов вперед. Расстаться — это значит прекратить утомительную и унижительную ложь, отравляющую мои отношения с командиром. Как знать, может быть, именно она и мешает нам стать друзьями. Ложь до сих пор не разоблачена, но от этого не легче, она висит в воздухе, командир ее подозревает. Впрочем, и это не важно — подозревает или нет,— важно, что мне так кажется, боязнь разоблачения лишает меня достоинства, а мне не к лицу никакая боязнь.

Раз решено — незачем откладывать. Сейчас это невозможно. Значит, вечером».

Под аркой Митя увидел Горбунова. Командир стоял у кипяtilьника, с каким-то батальонным комиссаром. Узнав Ивлева, Митя подошел и поздоровался.

— Здоров, штурман. Как она — жизнь?

— Как видите, товарищ батальонный комиссар. Живем.

— Говорят, богато живете.

— Желаете взглянуть?

— Обязательно. Только сперва покурим.— Он протянул Мите портсигар и дал прикурить.— Обстановку знаете?

Коротко и очень ясно, только однажды заглянув в блокнот, чтоб проверить цифру, Ивлев рассказал обстановку: освобожден Тихвин, вражеские войска под Ленинградом отброшены на исходные позиции. Затем бросил окурок в огонь.

— Пошли?

— Скажи мне, Николай Николаевич,— спросил Горбунов, не трогаясь с места.— Воевать мы будем?

— Подводный флот?

Горбунов кивнул.

— Обязательно,— сказал Ивлев.— Я, например, собираюсь идти.

— С кем?

— С первым, кто пойдет.

— А! Тогда, значит, со мной.

Они поглядели друг на друга.

— Возьмешь?

— Как я могу не взять?

— Свои права я и без тебя знаю. Я по существу спрашиваю. На малых лодках каждый лишний человек — обуза.

— Это когда он лишний.

— Спасибо.

— Не за что. Только уж будьте любезны — справочку...

— Какую тебе еще справочку?..

— Медицинскую.

Поднялись в «первую». Открывший дверь Олешкевич поначалу немножко растерялся, но, впустив пришедших в кухню, отступил назад, гаркнул «смирно» и с шиком отрапортовал. Ивлев пожал руку дневальному, а Горбунову подмигнул: служба!

— А как же,— сказал Горбунов с высокомерным видом.— Чай, мы флотские...

Осмотром кубриков военком остался доволен. Похвалил за ленуголок. Горбунов жестом переадресовал похвалу помощнику. Митя вспыхнул.

— Я тут ни при чем, товарищ батальонный комиссар, это косомольцы сами...

Ивлев посмотрел на него и засмеялся.

— Ты, лейтенант, я вижу, еще не проник в суть руководства. Матрос отличился — и ты молодец. Значит, обеспечил. А завтра он напьется, надебоширит, ты тут ни сном ни духом, а я с тебя спрошу.

— Кстати, о дебоширах,— сказал Горбунов.— Был у нас такой рулевой...

— Знаю, Соловцов. Заходил ко мне.

«Всюду поспел»,— подумал Митя с неприязнью. А вслух сказал:

— Интересно, как он вам показался, товарищ батальонный комиссар?

Ивлев задумался.

— Ничего,— сказал он.— Ничего. У меня в МТС тракторист был Кашеев, вот в таком же духе. Очень злой мужик. Надо Соловцова выручать из экипажа. Вы не возьмете — на другой лодке сгодится.

— А вы бы взяли?

— Взял бы. Коллектив у вас сильный, один бузотер его не разложит. И даже остроту придаст — вроде как перец в борще.

— Или как гвоздь в сапоге,— вставил Митя.

— Э, нет, не говори. Он немца не в бинокль видел, а вот — как я сейчас лейтенанта.— Комиссар протянул к Митиной шее свои изуродованные пальцы, и в его добрых глазах на мгновение вспыхнул бешеный огонек. Митя невольно отстранился. Ивлев засмеялся и хлопнул Митю по плечу.

— Я поручил помощнику поговорить с Соловцовым по душам,— сказал Горбунов.— И пусть он сам решает.

— Толково,— согласился Агроном. Его взгляд задержался на чашечке звонка.— Да, чуть не забыл. Сколько у вас уходит на сбор по тревоге?

— Минуты четыре, что ли,— небрежно сказал Горбунов.— Сколько, штурман?

— Три двадцать восемь.

— А на плавбазе?

— Примерно то же самое.

— Толково,— повторил Ивлев.

На лестнице командир и помощник переглянулись. Оба понимали, что Ивлев явился неспроста и что выигранные утром секунды обеспечили им поддержку военкома дивизиона.

После ужина Туровцеву доложили, что пришел Соловцов и находится в «третьей», у художника.

На Набережной заливался свисток. С мостика Туровцев увидел Джулая, он потрясал винтовкой, свистел и нехорошо ругался. В незамаскированных окнах второго этажа металась дрожащая отсветы. Не теряя времени на расспросы, Митя бросился в дом. Уже на лестнице он понял, что пожара нет, был бы дым. Дверь в «третью» оказалась незапертой, вбежав, он увидел ярко пылающий камин. На подоконнике, широко расставив ноги и выпятив обтянутую полосатой тель-

няшкой грудь, стоял Соловцов. Возле него, наподобие ассистентов при знаменосце, стояли художник и Граница. Иван Константинович держал молоток, Граница натягивал шнур маскировочной шторы. Свисток по-прежнему заливался.

Митя освирепел. Не стесняясь присутствия художника, он рявкнул:

— Соловцов!

Матрос оглянулся и неловко спрыгнул, зацепив подкованным каблуком ветхий подоконник. Подошел, прихрамывая.

— Станьте, как положено, — сказал Туровцев, — И выньте гвоздь изо рта.

Соловцов выплюнул гвоздь и стал, как положено, но Митя продолжал кипеть. Его бесило все — и развалистая походочка, и небрежный плевок, но самым нестерпимым было то, что от матроса исходил самоуверенный покой, в то время как он, лейтенант Туровцев, волновался. Мите очень хотелось накричать и выгнать Соловцова, но он понимал, что это было бы не победой, а поражением. Формально он поставит на своем. Соловцов не такой дурак, чтобы лезть под трибунал, он с презрительным спокойствием выслушает сбивчивую ругань и нестрашные угрозы и уйдет, провожаемый влюбленным взглядом Границы и молчаливым сочувствием художника. Горбунов спокойно выслушает запальчивые объяснения помощника, взглянет и чуть-чуть усмехнется. Это будет значить: «Ну что ж, я сказал, что решать будете вы, и сдержу слово. Ну, а по существу — я был о вас лучшего мнения, штурман».

— Что здесь происходит? — спросил он, сдержав раздражение.

Соловцов ответил не сразу. Он тоже примеривался. Вчерашнее впечатление о лейтенанте было неважное — слюнтяй, чистоплюй, сегодня он заговорил по-иному. В оттенках Соловцов разбирался.

— Да ничего, товарищ лейтенант, просто недоразумение...

Он дал знак Границе. Бумажная маскировочная штора развернулась с фанерным грохотом. Свисток на улице задохся. Усмехаясь, Соловцов пояснил:

— Я тут, значит, стараюсь для пользы дела, маскировку приколачиваю, а этот кинтошка — свистит. Мало что свистит — оружие наставляет. А я на этот счет нервный, ах так, думаю...

Туровцев понял: предлагается почетная мировая. Командиру надлежит восхититься лихостью матроса (сам-де такой!) и, пряча восхищение под напускной суровостью, отечески пожурить.

Однако Соловцов рассчитал неточно. Вчерашний Туровцев, может быть, и пошел бы на мировую. Сегодняшний устоял. Ему не понравился тон, не понравилось слово «кинтошка», а главное, именно в этот самый момент он принял окончательное решение — не расставаться с Соловцовым. Соловцов вернется на лодку и будет служить.

— Глупостями занимаетесь,— сказал Туровцев. При этом он довольно удачно передразнил Соловцова, подставляющего грудь под пули.— Знаете ведь, что не выстрелит. Обождите, мне нужно с вами поговорить.

Он подошел к Ивану Константиновичу и поздоровался.

— Идите в диванную,— сказал художник.— Там вам никто не помешает.

В тамбуре перед диванной топилась изразцовая печка, и Мите не захотелось уходить от огня. Он опустился на связку каких-то растрепанных фолиантов и показал Соловцову на другую, такую же. Соловцов присел на краешке, в неудобной позе — не из почтительности, а как человек, рассчитывающий, что его не станут долго задерживать. Он скучливо глядел, как кипит в пылающих корешках переплетный клей, и ждал.

— Начнем по порядку,— сказал Туровцев.— За что вы попали на гауптвахту?

Соловцов вскинул на Митю изучающий взгляд — очень светлые немигающие глаза матроса налились печным жаром. Усмехнулся одними губами:

— Было за что.

— Не сомневаюсь,— сухо сказал Туровцев.— За что же?

— В журнале записано.

— Знаю.— Митя с трудом сдержал вновь вспыхнувшее раздражение.— Так за что же все-таки?

Соловцов опять усмехнулся.

— С пехотой малость повздорили.

— Подрались?

— Было.

— В городе?

— Ага,— бесстрастно подтвердил Соловцов. — В Парке культуры.

— Очень культурно.

— А я не хвастаюсь.

— Ну хорошо. Пока вы сидели, лодка ушла на позицию. Дальше?

— Дальше? А дальше я капитан-лейтенанту все доложил, все, как было.

Разговор становился бессмысленным.

— Вот что, Соловцов,— сказал Митя, помолчав.— Вы рулевой, кажется?

— Точно.

— Не «точно», а «так точно». Значит, рулевой. А я — штурман. Нужен ли мне рулевой — решать буду я. Ясно вам?

Соловцов опять метнул быстрый оценивающий взгляд. Уверившись, что лейтенант говорит правду, он нехотя выдавил:

— Ясно.

— Тогда не теряйте времени и рассказывайте.

— Есть,— сказал Соловцов. Все же он медлил, и Туровцев догадался — почему.

— Я друг Виктора Ивановича,— сказал он, чувствуя, что краснеет; к счастью, Соловцов не мог заметить этого.— Я знаю все.

— Все? — Матрос еще колебался.— И того полковника — тоже знаете?

«Полковник — это тот»,— догадался Митя.

— Нет,— сказал он вслух.— Нет, не знаю. Но хочу знать. И буду знать.

Намерение разыскать «того» возникло у него только что, но ему казалось, что это давнее и твердое решение.

— Когда так,— сказал Соловцов, помолчав,— нам по дороге, я сам его ищу. Если только он со страху на Большую землю не сиганул — я из него и без трибунала душу выну.

— Хорошо, об этом потом.— Митя поморщился.— Давайте лучше по порядку.

— Есть, по порядку. Стало быть, сижу я на губе... Виноват, на гауптвахте,— поправился Соловцов с издевательской поспешностью.— Сижу. Собралось интеллигентное общество. После первой же бомбежки всех словно ветром сдуло: кого обратно в часть, а кому винтовку в руки — и напрямик на рубеж. Остаюсь я в камере один. Настроение, сами понимаете, хреновое,

потому как бомбят без передышки. Затем слышу — канонада. И все ближе, ближе... Свет вырубили. Подождал я маленько, потом выломал из нар стойку, да как дам по двери. Навернул разов пять — слышу: бежит Рашпиль.

— Рашпиль?

— Так точно, старшина на губе, вроде смотрителя. Любимец флота. Орет: «Ты что — бунтовать?» — «А что, говорю, раз война, одного часу не имеете права задерживать». — «Ты здесь не указывай!» — «Как же, говорю, вам не указывать, когда вы законов не знаете? Вы теперь обязаны либо меня в расход списать, либо же предоставить оружие, чтоб я мог с оружием в руках защищать священные границы. Приказ номер шестьсот шесть дробь эс читал, сучий нос?»

— Сомневаюсь, что существовал такой приказ, — вставил Туровцев.

— И справедливо сомневаетесь, товарищ лейтенант. Однако же подействовало. Убежал, через пять минут топает обратно: «Выходи!» Выхожу. «Дуй прямо к коменданту!» Являюсь. Горит лампа-молния, посреди кабинета стоит помкоменданта майор Шумин, весь в оружии, вроде как артист из кинофильма, а за столом у него сидит неизвестный полковник, развалился и курит. Рапортую, как положено, майор Шумин берет из пирамиды винтовку, дает мне в руки: «Имеется приказ командования оставить город. Поедете с машиной, охранять важный груз. Оцените доверие». Я заикнулся было насчет лодки. «Не разговаривать!» — «Ладно, говорю, дайте хоть гранат ручных, я винтовке мало обучен». — «Бери пару в ящике». Я две взял, а четыре в запас. Полковник говорит: «Ступайте во двор, кликните там шофера Воскресенского, я — следом». Выхожу: во дворе трехтонка-«язык», шофер в армейском стоит в кузове, держит бунт каната, увидел меня, кричит: «Эй, матрос, помоги увязать ценный груз, а то, не дай бог, растеряем...»

— Что за груз? — полюбопытствовал Митя.

— Исключительно одна писанина. Папки разные, сшиватели.

— Вероятно, секретные документы, — сказал Митя наставительно.

— Обязательно, товарищ лейтенант, секретные. Раз бумага военная, она уже секретная. Тонны две этого добра. Чудно, думаю, склады бросаем, а бумаги

везем. Ну да наше дело телячье — укрыли брезентом, шкертом увязали и ждем. Шофер Ваня — ему Рождественский была фамилия, а не Воскресенский — оказался ну до того замечательный парень, что мы с первого дня стали как братья и так всю цепочку прошли не расставаясь до самой его смерти на острове Даго. За Ваню я еще спрошу с ихней нации.

Соловцов откашлялся и ловко сплюнул в печку.
— Ну, ну, дальше.

— А дальше: спускается во двор мой полковник. Пальто кожаное, плащ-палатка, на груди пистолет-пулемет Дехтерева: «Соловцов!» — «Есть, Соловцов!» — «Подите сюда». Подхожу. Вынимает из кармана фонарик-жужелицу и прямо, мне в глаза: ж-жик!

Какое-то смутное воспоминание кольнуло Митю. Еще не оформившись в мысль, оно вызвало прилив крови.

— Ну, ну? — повторил он, сразу охрипнув.

— Поглядел на меня, как гипнотизер в цирке, и говорит: «Ты, Соловцов, я вижу, парень смысленый. Держись меня и делай, как я, — и будет тебе благо. А шофер — дерьмо, ты ему не доверяй и приглядывай...» Потом-то уж я узнал, что он Ване то же самое про меня — слово в слово... «Есть, говорю, служу Советскому Союзу». — «Вот-вот, говорит, и служи. Нам с тобой доверен груз государственной важности. Полезай, Соловцов, в кузов и — никого не подпускать. Никого, кто бы ни был. Применяй оружие, я в ответе. Ясно?» — «Ясно», — говорю. Лезу в кузов, полковник в кабину, Ваня трогает — выезжаем за ворота. Темнота, только луна за облаками бежит — шибко этак, будто за ней кто гонится. Людей не видать, не знаю, попрятались или ушли. Перестрелку слышать близко, и артиллерия уж не так частит, а разговаривают все больше пулеметы. Едем ну не больше как минуты две, машина тормозит у дома, полковник идет в калитку. Я смотрю и думаю: что-то домик больно знакомый, обязательно я здесь когда-нибудь был. И верно, минуты не прошло, полковник вертается, а за ним идет Елена Васильевна, Виктора Иваныча жена, с чемоданчиком и ведет за ручку мальчонка. Парнишка совсем маленький, ну не больше как годик ему, однако идет сам, ножками, и не плачет. Тут-то я смекнул, откуда я этот домик знаю: раза два ходил к Виктору Иванычу с запиской, коман-

дир посылал. Домичек кирпичный, на немецкий манер, верх наши снимали, а хозяева — внизу. Хозяина я тоже знал: работал у нас при штабе в фотолаборатории, вольнонаемный человек, из местных, у него жена, детей трое... Слышу, полковник говорит: «Елена, даю тебе пять минут, собери все, что тебе надо. Глупо же оставлять...» А она отвечает, эдак сухо: «Детские вещи я взяла, а если у тебя есть свободное место, то возьми лучше хозяйку с детьми, им при немцах несдобровать». — «А ты уж, говорит, подала идею?» Тут выбегает хозяйка со всем выводком, двое на ногах, третий на руках, и — к полковнику. Тот — ни в какую: не могу, не имею права, оставайтесь без сомнения, ничего вам немцы не сделают... Она сразу к нашей: «Леля, что ж вы молчите, мы же с вами как родные были...» Та молчит, губы кусает, потом: «Что вы, Софья, от меня хотите, я тут не распоряжаюсь...» И к нему: «Возьми, Андрей, будь человеком». Тот опять за свое: «Не могу, не имею права, груз секретный, я подписку давал...» Хозяйка послушала и говорит: «А коли так, возьмите одних только детей, они ваших секретов не понимают, доведите их до любого города и сдайте в детский дом, а то просто бросьте всех троих на дороге, свет не без добрых людей, подберут». И толкает их к машине, и уже старший становится ногой на колесо...

— А вы что?

— А что я? Мое дело телячье, я винтовку наставляю. Мать как увидела, сразу: «Саша, назад!» Посмотрела на меня, ну, думаю, проклянет, а она не криком, а тихо так: «Ты, матрос, еще вспомнишь, как на детей ружье наставлял». И — Елене Васильевне: «Прощайте, Леля, больше не увидимся. Вас не виню, я сама перед вами виновата, а еще больше — перед Виктором Ивановичем. Я знаю, за что меня бог наказывает...» Полковнику — ни словечка. Тот засуетился, втолкнул Елену Васильевну в кабину, сам — в кузов, кричит: «Кончай базар, поехали...»

Соловцов опять сплюнул в огонь.

— Едем. Через центр не поехали, а в объезд, улочками да переулочками; в одном таком переулочке какая-то сволочь как даст из подворотни, да без ума стреляли — ни по людям, ни по резине — только борт раскорябали. Поплутали чуток, потом выскочили на шоссе; тут Ваня выключил подфарники, взял курс на ост и дал полный вперед.

Едем. Сперва полем, потом мелкоколесьем. Командир молчит, я тоже с разговором не лезу. Он больше приглядывается, а я больше прислушиваюсь. Стрельба вроде стихла, однако на душе у меня беспокойно. Особенно как проехали мы одну развилочку: все чудится мне, что кто-то нас догоняет. Слышать не слышу, но кожей — чувствую. Полковнику я, конечно, не докладываю, еще скажет, что мне с перепугу мерещится, но про себя держу. Отъехали мы от этой развилочки еще километров с десяток, и я уж явственно слышу — мотоциклисты. Кабы один или два, я бы не особо беспокоился: мало ли — связной с пакетом или еще кто, — а тут шпарит строем подразделение, и обстановка такая, что ребенку ясно — немцы. Гляжу на командира: не будет ли распоряжений, — молчит. Глянул в окошечко на Ваню, вижу — Ваня мой уже трёхнулся, что погоня, скорчился за баранкой и жмет на всю железку. Прижали ушки и чешем. Свернуть некуда, а оторваться — кишка тонка, «язык» — машина не для гонок, закипит вода — куда денемся? Глянул еще раз на командира и вижу — проку от него не будет. Весь форс слетел, мычит, дергается, потом вдруг по кабине как замолотит! Он, похоже, хотел, чтобы Ваня газу надавал, а Ване надавать не из чего, он и понял по-своему: снизил обороты, свернул с проезжей части прямо на траву и загнал машину в орешник. Выскочил с винтовкой, кричит: «Эй, матрос, ложись в окоп, приучайся к пехотному делу! Слезайте, товарищ полковник, неужто втроем да не отобьемся?» Тот слезает. Гляжу, все на месте: пальто кожаное, плащ-палатка, автомат Дехтерева. А человека нет. Тело вроде еще здесь, а душа уже отлетела. Верите ли, товарищ лейтенант, просто-таки нехорошо глядеть — мы с Ваней глаза отворачиваем, — и бормочет такое — невозможно слушать.

— А что?

— Ну, будто он подписку давал, чтоб от машины ни на шаг... Муть всякую. Тут Елена Васильевна вышла из кабины. Только глазами зыркнула и сразу все поняла. «Ты, говорит, как был трус, так трусом и сдохнешь...» Сняла с него автомат и пошла...

Выбрали мы позицию, залегли. Кругом черно, только дорога блестит. Ваня шепчет: до времени не стрелять, пусть поравняются. Лежу — и несколько страху не чувствую, одно меня гложет, что стрелки мы все, кроме

Вани, аховые... Прошло время — сколько не скажу, порядочно — катит головой. Весь в черной коже, каска, сидит орлом, раскорячась, на руле турель с пулеметом. Чихнуть не успел, как мы его срезали. И что интересно: чкнулся мордой в турель и дальше покатил, однако на вираже скопытился и лег в кювет. И то машина не враз затихла, а билась-трепыхалась, как живая скотина. Только, значит, первый отыгрался — катят двое в ряд. И, видать, почуяли недоброе, потому что едут и поливают лес из автоматов, пули так и цокают. Одного мы сразу успокоили, а другой так бы и ушел, если б не Ваня. Выбежал и накрыл гранатой. И вот что значит сгоряча и без привычки — бросить бросил, а лечь забыл и мало-мало без глазу не остался. Гляжу на него, а он весь в крови, в земле, видом как нечистый дух, и утираться-то некогда...

— Может, курить хотите? — спросил Туровцев. Он уже раскаивался, что не предложил раньше.

— Да нет, уж теперь недолго... Не буду вас затруднять, товарищ лейтенант: в общем и целом, сбили мы пять машин системы БМВ, вроде отвоевались, и был бы совсем наш верх, кабы Елена Васильевна не поторопилась. Конечно, ее тоже надо понять, она мать, у нее за ребенка сердце болит. Вот она и поднялась раньше времени, а тут, черт его душу упокой, вывернулся шестой — замыкающий, потому что с флагом, — и прострочил. Ну, далеко он не ушел, я его тут же гранатой — в дым. Однако свое дело сделал.

Подбегаю к ней, а она уж и говорить не может. Силится сказать, а голоса нет. Наклоняюсь, она шепчет: «Скажите мужу...» Репетую: «Есть, сказать мужу. Что сказать?» Она опять: «Скажите мужу...» — «Есть, говорю, разобрано. Виктору Иванычу, да?» Она ресницами показывает: да. «Ладно, говорю, скажу, а что сказать-то?» Вижу — губами шевелит, силится, а потом поморщилась, улыбнулась вроде — не могу, мол, — глаза прикрыла, притихла и вскорости совсем кончилась. Подняли мы ее с Ваней, положили на бушлат, несем к машине. А машины нет.

Митя ахнул. Соловцов усмехнулся — опять одними губами:

— Вот, вот... Вот и мы тоже так, товарищ лейтенант. Сперва глазам не поверили. Думаем, местом ошиблись. Пригляделись — нет, какая же ошибка: ветки поломаны, на траве масло блестит — из отстой-

ника натекло,— и шапочка детская рядом. Картина ясная — взял да утек, а мы, конечно, в горячке прохлопали. Ну, думаю...

Нарушить паузу Митя не решился.

— Вот таким образом, товарищ лейтенант,— продолжал Соловцов угасшим голосом.— А дальше — что? Выкопали мы ножами могилку, похоронили честь по чести, как бойца. Перевязались кое-как, отобрали с мертвых фрицев документы, на мотоцикл — и ходу!

— Стоп,— сказал Туровцев.— И больше вы этого полковника не видели?

— Какое там! И след простыл. Нас с Ваней, когда мы из окружения вышли, проверял особый отдел — два дня врозь держали и допрос снимали,— так я следователю делал заявление.

— Ну и что?

— Записали номер машины и номер автомата, но особо не обнадежили. «Сейчас, говорят, такой клубок завязался, что концов не найти, а вы даже фамилии не знаете».

— Как же так, товарищ Соловцов?

— Так ведь начальство же, товарищ лейтенант. Начальству положено спрашивать, а у начальства не положено. Он тебе «ты», ты ему «вы», он тебя по фамилии, ты его по званию... Да и то возьмите в расчет — знакомства нашего и было всего ничего, час один, не более...

Митя задумался. Прежде чем расспрашивать дальше, ему нужно было избавиться от наваждения. Наваждение заключалось в том, что примерно с середины рассказа Митя бессознательно подставлял на место «того» полковника своего доброго знакомого Семена Владимировича Селянина, и его солидная фигура с пугающей убедительностью вписывалась в картину ночного бегства. Конечно, все это были чистейшие фантазии, подогретые тлевшей где-то в тайниках Митиной души недоброжелательностью; стоило обратиться к фактам, и факты выстраивались стеной, чтоб оградить военинженера от несправедливых подозрений. Судя по повадке, Селянин был не робкого десятка, он умел подчинять себе людей, а это редко удается трусам, приметы тоже не совпадали: «тот» был полковник, этот — военинженер, «того» звали Андрей, этого — Семен...

— Вот кабы майора Шумина разыскать,— сказал, вздыхая, Соловцов.— Либо Берзиня.

— Какого Берзиня? — спросил Митя, сердясь, что оборвалась и без того прерывистая нить его размышлений.

— Начальника гаража. Эти, конечно, должны знать.

— Сделаем запрос.

— Вот хорошо бы, товарищ лейтенант...

— Скажите-ка мне, пожалуйста... — протянул Митя, он еще не придумал, что бы такое спросить.— Сколько ему, по-вашему, лет?

— Лет сорок будет. А может, с гаком. Не старый еще...

«Подходит», — подумал Митя с ощущением, близко напоминающим испуг. Вслух он спросил:

— Росту большого?

— Здоровый бугаище. И видом, знаете, на американца смахивает.

Ничего американского в Селянине не было, и Митя уже для проформы спросил про голос. Соловцов развел руками:

— Голос обыкновенный, командирский...

— А вы уверены, что он — полковник?

— Полковник, это точно.

Митя опять задумался. Он испытывал одновременно досаду и облегчение. Из-за стены доносилось слабое бречанье — вероятно, Граница пытался подобрать польку — и мешало сосредоточиться.

«Значит, так,— думал Митя,— значит, таким образом: теперь мне известно все, что известно Соловцову. Но знает ли Соловцов, что знаю я? Понял ли он, о какой вине перед Виктором Ивановичем говорила несчастная хозяйка?» Он взглянул на матроса. Соловцов сидел ссутулившись и глядел в огонь. На его лице можно было прочесть только: «Этак мы и до отбоя не управимся».

— Скажите, Соловцов,— спросил Митя неожиданно для самого себя,— вы сохранили шапочку?

— Какую, товарищ лейтенант? — удивленно встрепенулся Соловцов.— А! — протянул он, вспомнив.— Нет, там осталась. А на кой она?

Это было сказано с нарочитой грубостью, в которой, как в оболочке, таился пробный шар: вы же говорили, что все знаете? «Понимает», — подумал

Митя и подивился такту этого наглеца. А вслух сказал:

— Раз нет, то не о чем и говорить.

Соловцов кивнул, безмолвно подписывая соглашение: семейная драма капитан-лейтенанта Горбунова обсуждению не подлежит.

— Ну хорошо,— сказал Туровцев,— поехали дальше.

Глава четырнадцатая

Сколько ни готовься к торжественным датам, в конце концов они сваливаются как снег на голову. Туровцев считал, что в поставленных ему жестких пределах он подготовился к корабельной годовщине как нельзя лучше. Установки, полученные им от командира, были ясны и не допускали толкований.

— Не требую от вас,— сказал командир,— чтоб вы ознаменовали годовщину новыми трудовыми победами. Агрегаты вводить в строй без суеты, по мере готовности и после тщательной проверки. Лучше приурочить дату к сдаче, чем сдачу к дате. Но я не приму никаких оправданий, если из-за подготовки к празднику будет нарушен график. График — святыня.

По совету Ждановского Туровцев просмотрел прошлогодний бортовой журнал. Из протоально-сухой записи, сделанной в декабре сорокового года тогдашним помощником командира корабля старшим лейтенантом Горбуновым, он узнал, что в день корабельной годовщины был проведен традиционный смотр, состоялись спортивные соревнования и большой концерт силами команды. Из той же записи явствовало, что в этот день на лодке перебивало много гостей — шефы, кораблестроители и демобилизованные бойцы — и поступило свыше двадцати поздравительных телеграмм из различных пунктов Советского Союза, а одна, подписанная «Yours loving Saytschew»¹, — из Соединенных Штатов Америки.

Но все это было в сороковом. В сорок первом от спорта пришлось отказаться совсем, самодеятельность урезать и все усилия отдать проблемам, которые год назад почему-то никого не занимали. Листая корабель-

¹ Любящий вас Зайцев (англ.).

ную летопись, Туровцев не нашел в ней даже самого отдаленного указания на то, что и в те времена люди обедали и ужинали. Митя отлично понимал, что по нынешним временам гвоздь всякого праздника — торжественный ужин, и он должен хотя бы раз накормить своих гуронов досыта. Поэтому он осторожно, что называется — под рукой, расследовал происхождение соловцовских консервов — оно оказалось безупречным, и Горбунов разрешил заприходовать банки. Затем Митя отправился к Ходунову и путем всякого рода многозначительных недомолвок дал понять, что лишь теперь по достоинству оценил «Онегу» и высокую честь служить на этом выдающемся корабле. Внешне дядя Вася не расчувствовался, но продукты по аттестатам выдал самые лучшие. Там же, на плавбазе, Туровцев разжился рулоном кумача и полведерной банкой масляной краски, именуемой на флоте серебрянкой. И то и другое было сразу же пущено в ход: кубрики пламенели лозунгами, а на лодке все, что только поддавалось окраске, было так щедро выкрашено, что вся команда отливала серебром.

За всеми этими хлопотами Митя так и не выбрал времени для решительного объяснения с Тамарой. Конечно, выкроить полчаса можно было в любой день, но Митя справедливо полагал, что Тамару оскорбит торопливый разговор. И все-таки главная причина всех оттяжек была в другом — Митя боялся встречи с Тамарой, не был уверен в твердости принятого решения и поэтому делал из мелких помех препятствия непреодолимые.

Накануне праздника устроили баню. В элегантной кухоньке мадам Валентины на раскаленной плите стояли огромные бельевые баки, в них растапливали снег. Сначала — в три смены — мылась команда. Затем командир, механик и доктор. Туровцев с Каюровым пришли последними, незадолго до отбоя; воздух в кухне был нагрет и влажен, как в настоящей паровой бане. Оставшись вдвоем, они мылись не спеша, с наслаждением разогревая суставы, распаривая сухую шелушащуюся кожу. Они младенчески повизгивали и старчески кряхтели, обессилив, отдыхали на мокрых скамейках и, набравшись сил, вновь принимались за дело.

— Знаешь, штурман, — тяжело дыша, сказал Каюров; он старательно обрабатывал мочалкой Митин позвоночник. — Знаешь, на кого ты похож?

— Знаю: на Дон-Кихота.

— Самомнение. На Росинанта.

— Спасибо за сравнение.

— Не стоит благодарности. Впрочем, Росинант был все-таки боевой конь. А в твоей жалкой хребтине есть что-то безнадежно ослиное.

— Осторожнее, ослы лягаются...

Каюров не успел увернуться и чуть было не растянулся на мокром линолеуме, Митя удержал его, но только для того, чтобы загнуть двойной нельсон и ткнуть носом в таз с мыльной пеной. Минуту или две они ходили по кухне взад и вперед, сцепившись, как в танго, с опаской поглядывая на дверь, за которой спали матросы, шипя, как гусаки, и слабея от сдерживаемого смеха. Время от времени кто-то из двоих пытался дать подножку, но другой был начеку, на несколько секунд возня и шипение усиливались, затем вновь восстанавливалось равновесие: Митя был тяжелее, Каюров — подвижнее. Вытирались и одевались неторопливо, всласть покурили и спустились вниз уже далеко за полночь.

Стараниями помощника запущенная «каминная» преобразилась. Пять расставленных в ряд железных коек не превратили ее в казарму, напротив, они вернули ей жилой уют. Теперь уже она не казалась такой огромной. Рояль и картины остались на своих местах, а на подоконниках и в простенках между окнами разместились горшки и кадки с ботаническими диковинами. Доктор Гриша ухаживал за ними, как за тяжелобольными, какими они и были на самом деле — у большинства тропических растений был вид тяжелых дистрофиков, и можно было только догадываться, что где-то в сокровенной глубине стволов и корневищ еще дремлет жизнь и способность к размножению. Когда минер и штурман вошли, в камине угасали последние искорки, а все обитатели кубрика крепко спали. Засыпая, Митя принял твердое решение: встать как можно раньше, затопить камин — пусть товарищи проснутся в тепле, — а самому пойти к Тамаре.

...Пробуждение блаженно.

Тело свободно покоится на просторном и упругом ложе. Вместо ставшего уже привычным кисло-пеленочного запаха, который издает плохо выстиранное и наспех просушенное белье, от простыней и наволочек исходит суховатое благоухание свежеевыпеченного хлеба.

Поры раскрыты, кожа дышит. Где-то рядом ровно и сильно пылает очаг, это чувствуется по овевающим щеки воздушным токам и еле уловимому бодрящему гулу. Не разлепляя век, Митя потягивается, как в детстве: руки идут вверх и в стороны, на лодке так не потянешься. Затем он слегка приоткрывает глаза и — тоже как в детстве — пытается продлить блаженные мгновения, когда сон и явь, сплетаясь, рождают фантазию. Сквозь завесу ресниц он различает блик, пляшущий по облупившейся позолоте багетной рамы, и веерообразную тень, отбрасываемую жесткими листьями какого-то тропического деревца, — достаточно, чтоб вообразить залитый солнцем адриатический берег, лазурное море, ветшающее великолепие дворцов и замков, а самого себя — графом Монте-Кристо, Овондом, Фабрицио дель Донго, гверильясом, карбонарием...

Жажда подвига не умирала в душе штурмана «двести второй», но требовала пышного наряда.

Всякое блаженство быстротечно, незаметно подкралась тревога. Пробуждающееся сознание улавливает множество шорохов и дуновений — среди них ни одного, напоминающего о присутствии других людей. Ни вздоха, ни сонного бормотания. Это заставило Митю сразу сбросить с себя сон вместе с одеялом; рывком, от которого кровать издала струнный звук, он вскочил и сел, протирая глаза. Он не ошибся: комната была пуста. В камине горели большие поленья, освещая четыре аккуратно заправленные койки. За опущенными шторами угадывался тихий вечер.

«Неужели я проспал весь праздничный день? — При всей фантастичности этого предположения Митя похолодел. — Хорош старпом, нечего сказать... А еще лучше дорогие товарищи-соратники...» Еще не взглянув на часы, он уже чувствовал себя оскорбленным до глубины души. Когда же он наконец решился удостовериться в своем позоре, оказалось, что часы исчезли. Их не было нигде — ни в нагрудном кармане, ни на стуле, ни под матрасом. Оставался последний шанс — брюки. Митя потянулся за брюками — и не нашел их. Пропажа брюк переполнила чашу. Сунув ноги в калоши и завернувшись в шинель, он ринулся к выходу.

В кухне горела керосиновая лампочка. Каюров и доктор Гриша в свитерах и теплых безрукавках колдо-

вали над большим, похожим на дредноут старинным утюгом. Они раздували его во всю силу легких, из утюга летели искры и валил едкий дым. Затрапезный вид товарищей несколько успокоил Митю, он уже догадывался, что катастрофы не произошло. Все равно он был возмущен и не собирался скрывать своих чувств.

— Что за свинство, — зашипел он, приплясывая. — Почему меня не разбудили?

При появлении помощника командира корабля Каюров и доктор вытянулись. Безмолвно выслушав грозный выговор, они быстро переглянулись. Взгляд Каюрова вопрошал: «Что это может значить, доктор?» Взгляд доктора говорил: «Спокойствие! Случай трудный, но не безнадежный».

— К черту розыгрыши! — крикнул Митя. — Кто взял мои штаны?

Каюров и доктор вновь переглянулись. На их лицах было написано всепрощающее терпение, как у людей, посвятивших себя уходу за тяжелыми хрониками. Затем доктор, кротко улыбаясь, приподнял лампочку, и Митя увидел у себя над головой нечто напоминающее летучую мышь в полете. Это были его брюки, отпаренные, отутюженные и вывешенные для просушки.

Митя был сражен. Он стоял, разинув рот и позабыв придерживать разлетающиеся полы шинели — вероятно, это было забавно, но никто не улыбнулся, оба приятеля продолжали серьезно и сочувственно наблюдать за Митей и, казалось, чего-то ждали. Чтоб разрядить атмосферу, Митя решил засмеяться первым и умолк, никем не поддержанный.

— Ну, хватит, ребята, — заискивающе сказал он. — Что вы смотрите на меня, как на ненормального?

— Доктор, — сказал Каюров, — как поступает нормальный индивидуум, встретившись поутру со своими боевыми друзьями?

— Здоровается.

— Даю вводную: товарищ занимает высокое служебное положение.

— Обратно здоровается. Как минимум — отвечает на приветствия.

— Узнав, что товарищи отгладили ему брюки?

— Благодарит.

— Та же вводная: товарищ занимает высокое...

— Объявляет благодарность.
— Необоснованно заподозрив товарищей в неблагоприятном поступке?
— Просит прощения.
— Та же вводная...
— Реабилитирует.
— Подите вы к дьяволу,— сказал Митя примирительно.— Серьезно — который час?

— Как нельзя более серьезно: шесть пятьдесят одна. Тебе повезло, минер чуть не прогладил твои часы горячим утюгом.

Убедившись, что до подъема осталось еще девять минут, Митя окончательно успокоился.

— Ну хорошо. А где командир?
— Не видали.
— Бросьте травить. Я — серьезно.
— Серьезней быть не может. Встал раньше всех, затопил камин и ушел на мороз.

Когда, потратив четверть часа на праздничный туалет, Туровцев вышел во двор, было еще очень темно. Не надо быть дипломированным штурманом, чтобы знать — в декабре светает поздно. И все-таки каждое утро, спускаясь во двор и погружаясь в плотные стальные сумерки, Митя бывал разочарован. В нем жило неопровержимое именно в силу своей бессмысленности убеждение, что до войны по утрам было светлее и что после войны (понимай — после Победы) все опять будет по-старому. У кипятильника уже строилась очередь. Митя разведal обстановку — путь был открыт, не было ни Тамары, ни Николая Эрастовича.

— Сегодня же выберу время и пойду,— пробормотал он как заклинание.— Сегодня же...

Выпавший ночью снег припорошил дощатый настил, и лодка выглядела необитаемым корытом, вроде дровяной баржи. У трапа прохаживался часовой в тулупе, подойдя вплотную, Туровцев узнал Соловцова. Смазанное вазелином лицо матроса жирно блестело, глаза смеялись. После памятного для обоих разговора Соловцов держал себя строго по-уставному, и только улыбка — многоопытная и фамильярная — разрушала дистанцию.

— Здравия желаю, товарищ лейтенант,— сказал Соловцов своим высоким сипловатым голосом.— Разрешите поздравить вас с торжественным днем корабельной годовщины.

«Проздравить» сказано нарочно, чтоб не вышло чересчур почтительно. Поправить — показать, что ты заметил. Митя решил не замечать.

— Командир на корабле?

— Командир — вон он где... — Соловцов показал варежкой в сторону Литейного.

Туровцев обернулся. Вдоль всей Набережной тянулись две терявшиеся во мгле снежные гряды — одна, закрывавшая тротуар, лепилась к стенам, другая уте-сом высилась над окаменевшей рекой. По пролежавшей между ними неширокой тропке приближались две черные фигуры. Они двигались не спеша, плечом к плечу, но не в ногу — так ходят патрули. Митя и раньше видел, как командир и механик меряют шагами отрезок прямой между трапом и фонарным столбом, то прислушиваясь к журчанью репродуктора, то перебрасываясь короткими фразами, и каждый раз его сердце сжималось от чувства, похожего и на зависть и на ревность.

Горбунов заметил помощника и двинулся ему навстречу. Поздравления принял сдержанно, еще сдержаннее поздравил Митю. Затем сказал — как всегда, без всякого перехода:

— Вчера вечером мы с Федором Михайловичем смотрели кубрики, а сегодня утром прошлись по кораблю. Состояние кубриков с некоторой натяжкой можно считать удовлетворительным. На лодке же... — Он сделал паузу, доставившую Мите мало удовольствия. — Короче говоря, смотра не будет.

— Я, наверное, чего-то не понимаю, товарищ командир, — сказал Митя со злым смирением. — Лодка ремонтируется. Сами знаете, в каких условиях...

— Вот именно. В условиях, когда для нас нет ничего страшнее ржавчины. А вы, вместо того чтоб выводить, — прячете, замазываете, закрашиваете... Какому дьяволу нужна вся эта ваша красота, от которой завтра останутся одни лохмотья? Да, у нас ремонт, и нам нечего стыдиться, кроме грязи. Конечно, — он усмехнулся, — каждая девица прихорашивается по-своему. Одна больше налегает на мыло, другая — на румяна. Если хотите знать мой вкус — я за мыло.

Подошел Ждановский.

— Ага, штурману тоже попало, — сказал он, протягивая руку.

— Дипломат, — сказал Горбунов, сердито усмеха-

ясь.— Живу среди дипломатов. Желаете разделить ответственность? В таком случае вопрос к вам обоим: как вам нравится лозунг «Патриоты Родины, все силы на разгром фашизма»?

Митя насторожился. Этот лозунг — серебром по кумачу — был вывешен вчера в матросском кубрике.

— А что вас, собственно, беспокоит? — осторожно спросил он.

— Грамотность,— сказал Горбунов.— Как по-вашему, грамотно это?

— Политически?

— Политически — не сомневаюсь. Лингвистически. Что такое патриот?

— Виктор Иванович,— взмолился Митя,— эти лозунги мы получили...

— Мне не важно, откуда вы их получили, у вас своя голова. Второй вопрос: кто придумал лозунг «Не дичать!»?

— Кажется, Савин.

— Почему вы приказали снять?

— Ну как-то неудобно...

— Неустановленного образца? Жаль. Великолепный лозунг. Макаренковской силы. Так вот: после подъема флага все свободные от вахты — по кубрикам. Каждый отдыхает, как хочет. Хотят валяться на койках — пожалуйста. Если вопросов больше нет — до свидания.

Разговор с командиром вновь испортил настроение. Митя был обижен. Почему-то он считал, что человек, у которого случилась беда, должен стать мягче и больше ценить доброе к себе отношение — мысль не очень верная вообще и вдвойне неверная применительно к Горбунову.

У ворот его поджидал Шурик Камалетдинов — единственный сын дворничихи Асият и большой приятель Тамары. Шурик любил флот страстной и преданной любовью. Не будучи карьеристом, он носил на рукавах своей куцей шубейки мичманские нашивки, хотя с тем же правом мог нашить адмиральские. С Митей они были на дружеской ноге, и Шурик несколько опешил, когда, разлетевшись с поздравлением, натолкнулся на холодный прием. К чести Шурика — он несколько не обиделся на Митю: он глубоко уважал штурмана и считал, что для старого морского волка некоторая суровость — черта вполне извинительная и даже необходимая.

Чай теперь пили не на лодке, а в кубрике. По случаю праздника вместо хлеба были поданы гранитной твердости белые галеты с крохотным кусочком суррогатного сыра, пахнувшего олифой. Командир выпил чай и съел сыр, галету он спрятал в карман — это было новостью, раньше он никогда так не делал и терпеть не мог, когда делали другие. За столом он не произнес ни слова и своим молчанием заморозил всех, даже Каюров и доктор притихли. Митя злился. Ему действовало на нервы оскорбленное лицо Границы. Граница знал, что завтра его отведут на гауптвахту, но не знал главного — помощник мог отправить его туда еще третьего дня, — поэтому разливал чай с видом жертвы, упорно не желая встречаться взглядом.

Под конец чаепития явился боцман и, посмеиваясь, доложил, что Соловцов задержал диверсанта.

— Будет врать, — сказал Горбунов, оживившись. — А бомбу нашли?

— Никак нет, бомбы не нашли.

— А что же? Если спички — так это еще не диверсанта.

— Ну, шпион.

— А почему шпион?

— Чудной какой-то.

Горбунов хмыкнул и стал застегиваться.

— Пойти взглянуть.

Митя замешкался и вышел последним. Спустившись во двор, он застал неожиданную картину — командир и диверсанта целовались. Стоявший тут же боцман имел вид смущенный. Пришелец был мелковат ростом и, судя по тому, как он опирался на палку, хром. В запавшем рту недоставало многих зубов, но глаза — серые, пронзительные — показались Мите совсем молодыми.

— Стоп! — сказал Горбунов. Он был почти весел. — Штурман, угадайте — кто этот человек? Чур, все молчок!

Взгляды Мити и пришельца вновь встретились. Незнакомый поглядывал лукаво, испытующе, но дружелюбно.

«Лицо чертовски знакомое, — думал Митя, — с детства помню такие вот лица. Итак, разберемся. Кожа дубленая, обветренная, но это не моряк, во всяком случае, не военный моряк, не та выправка. Морщин мало, и они резкие, как шрамы, у служащей братии таких не

бывает, у тех морщины разбегаются лучиками, как трещины на тонком льду. Такие рытвины и такой прищур — признак того, что человек работает под открытым небом или в большом цехе среди машинного грохота, летающих искр и визга абразивов. А вот одежда хоть кого собьет: пальто колоколом с «молнией» во всю длину, диковинный теплый картуз с наушниками, толстенный шарф, все подобрано в цвет — кофе с молоком. Интурист, да и только. Только вот глаза не импортные, глаза русского мастерового — не чванятся и не заискивают, а как будто говорят: все мое всегда при мне, ремесло мое честное и всем нужное, за лишним не гонюсь, а что мне надо — я везде найду...»

— Может быть, я ошибаюсь... — начал Митя.

— Только без предисловий, — прервал Горбунов.

— По-моему, вы рабочий. Metallist или строитель.

Ну, не простой рабочий — мастер...

Он замолк, убежденный, что сидит в глубокой луже. Все переглядывались.

— Четыре? — спросил Горбунов.

— С плюсом, — подтвердил Ждановский.

— А я считаю: пять, — сказал незнакомец, потирая руки. — Не угадал, зато в суть проник. А по сути я и есть корабельных дел мастер, metallist и строитель — все в одном лице. Спасибо, лейтенант. — Он сунул Мите шершавую ладонь. — Будем знакомы: Павел Акиндинов Зайцев — адмиралтейц-советник и кавалер.

— Yours loving Saytschew? — удивился Митя.

Горбунов захохотал:

— Он самый! — И вернулся к прерванному разговору: — Как жизнь, Кудиныч?

— Жизнь хреновая. Пропадаю.

— С голоду?

— От безделья.

— Это как понимать?

— Буквально. Просил, чтоб отпустили на Путиловский танки чинить — все-таки дело. Отказали. Сижу, свищу в кулак и жду весны.

— А все-таки ты, ей-богу, подозрительный тип, — неожиданно сказал Ждановский. — Шел бы прямо к трапу, вызвал бы дежурного. А то крутится вокруг да около...

— Объяснение самое простое, — сказал Горбунов со злостью. — Сатанинская гордыня. В сороковом году этот тип шлет из-за океана длиннейшую телеграмму,

где расписывает, что считает наш корабль своим домом, — на это находится и время и валюта. А в сорок первом крейсирует на параллельных курсах, но подойти к родному дому не решается, — а вдруг Витька Горбунов скривит рожу и скажет: «Что, папаша-инженер, подкормиться пришел?»

— Вранье, — проворчал Зайцев.

— Никак нет-с, не вранье. Дмитрий Дмитрич!

— Есть.

— Проводите задержанного. Программа ясна?

— Чайку?

— И — посущественнее.

Все дальнейшие события по-разному запечатлелись в сознании Туровцева. Одни почему-то врезались в память со всеми подробностями, другие почти не оставили следа.

За десять минут до торжественного подъема флага Митя был уже на верхней палубе и проверял построение. Встречаясь со всеми краснофлотцами по десять раз на дню, он не замечал изменений, но, увидев их одетыми в «первый срок», тщательно выбритыми и запудренными, впервые отметил явственные черты блокады — впалые и отечные щеки, сухость кожи, синеву губ. Прохаживаясь взад и вперед по настилу, Митя старался не терять из виду Набережную. Перед воротами выстроилось почти все наличное население дома во главе с начальницей объекта и ее главным военным советником. Святой Пантелеймон был в бескозырке с рыжими гвардейскими ленточками и при всех регалиях. Не было только Тамары и Ивана Константиновича.

...Первый снаряд просвистел одновременно с сигналом горниста. Он лег далеко за рекой. Мгновенно краснофлотцы сломали строй и облепили рубку. Молча и по видимости неторопливо, соблюдая очередь, они хватались за скобы и рывком взлетали на мостик, чтобы тотчас провалиться в рубочный люк.

Следующий снаряд, визгнув, обрушился на прибрежные строения Выборгской стороны. На лодке затрещали звонки.

Третий снаряд пробил лед в нескольких метрах от носа лодки. Туровцев услышал страшный хруст — что именно хрустело, он не разобрал, корабль качнуло, вероятно, не сильно, но Митя не сумел удержаться на обледеневших досках и скатился на лед; его хлестнуло

снежным вихрем, и где-то совсем близко от его головы звонко забарабанили по корпусу мелкие осколки — вероятно, это были всего лишь кусочки невского льда, но гремели они не хуже железных. Митя почти не ушибся, он был только слегка оглушен; движимый более инстинктом, чем рассуждением, он ухватился за чью-то протянутую руку и вскарабкался обратно. По реке стелился туман, цветом похожий на табачный дым, пахло какой-то незнакомой взрывчаткой, чужой омерзительный запах ударил в ноздри.

— Вы целы, штурман? — услышал он голос Горбунова. — Тогда помогите перенести минера на стенку.

— А что он — ранен? — испугался Митя.

— Не задавайте вопросов. Выполняйте.

Чтоб перейти с кормы на нос, где стояло орудие, надо было обойти рубку по узенькому, в ширину ступни, стальному карнизу. Обжигая ладони об металл поручней и скользя подошвами, Туровцев перебрался на бак и увидел Каюрова. Минер сидел, привалившись к орудийной тумбе, ноги были вытянуты и широко раскинуты, около него хлопотали Граница и доктор Гриша.

— Что, что? — набросился Митя на доктора.

— Осколок.

— Это серьезно?

— Теперь все серьезно. Носилки.

— Достану.

Через полминуты он был на берегу. В рупорах гремел голос диктора — в районе объявили угрожаемое положение. Набережная опустела, в воротах толпились люди, Митя услышал голос Кречетовой. Она не кричала, а говорила, но слышно было ее одну. Протискавшись между створками, Митя пошел на голос, как на радиомаяк, и нашел начальницу объекта в состоянии крайнего раздражения: она отчитывала Николая Эрастовича, стоявшего перед ней навывтяжку и даже не пытавшегося возражать. Заметив Туровцева, она бросила свою жертву.

— Что-нибудь случилось?

— Нужны носилки, — сказал Митя нетерпеливо.

— Санпост, носилки! — крикнула Кречетова. Услышав, что ранен Каюров, она на секунду закрыла ладонью глаза. — Это серьезно?

— Теперь все серьезно, — ответил Митя словами доктора. — Если можно, поскорее...

— Сюда, Тамара! — крикнула Юлия Антоновна.

Митя вздрогнул. Прямо на него стоймя бежали носилки, а между рукоятками сияли глаза Тамары. Подбежав, Тамара с размаху воткнула носилки в снег и остановилась. Она улыбалась и с трудом переводила дыхание.

Как могло случиться, что Митя не поздоровался? Конечно, у него и в мыслях не было обидеть Тамару. Когда она, похожая на девочку в своем коротком, подпоясанном ремешком пальтишке, улыбнулась ему, его сердце зашлось от жалости и нежности. Он не видел ее целых пять дней, и за это время в Тамаре изменилось то, что он считал неизменным, — глаза. Пропал жестковатый аквамаринный блеск, исчезла победительная усмешка, они стали глубже, мягче, темнее, вопросительнее. Если б над Митей не нависала необходимость решительного объяснения, вероятно, он сумел бы улыбнуться и откозырять, как доброй знакомой, но, увидев эти измученные глаза, в которых радость нечаянной встречи постепенно сменялась растерянностью, он вдруг оцепенел и стоял, враз разучившись всем словам, стыдясь сказать «здравствуйте» и не решаясь сказать «здравствуй»; в конце концов он пропустил время сказать что-либо и в безмолвном отчаянии видел, как улыбающиеся губы сморщились от унижения, Тамара легонько ахнула, выпустила ручки носилок и, не оглядываясь, побежала куда-то в глубь двора. Мите пришлось подхватить падающие носилки — это вывело его из столбняка. Не решившись взглянуть на Юлию Антоновну, он поволок носилки к лодочному трапу.

Верная своей методике изматывания, осадная артиллерия выпустила по квадрату, в котором находились дом и корабль, всего четыре снаряда. Горбунов не стал дожидаться отбоя арттревоги в районе и объявил готовность номер один. Засвистала боцманская дудка, и шесть краснофлотцев начали осторожно спускаться с корабля, они подвигались еле-еле, боясь потревожить раненого. Время от времени шедший впереди боцман тихонько произносил нечто вроде «эп!», процессия останавливалась, шло какое-то шевеление, затем боцман опять бурчал «эп!», и движение продолжалось. Вдруг поскользнулся Граница, замыкавший шествие. Нелепо взмахнув руками, он тяжело плюхнулся вбок, но сразу вскочил и пошел вприпрыжку, посасывая разбитые об

лед пальцы, вид у него был сияющий, и по этому сиянию Митя понял, что Граница нарочно упал с мостков, чтоб не подбить своими длинными ногами шедшего впереди товарища, он хватался руками за воздух, но не посмел ухватиться за соседа.

— Эп! — сказал боцман.

Каюрова осторожно опустили на носилки. Он был по-прежнему без сознания, лицо, очень бледное, казалось застывшим, и только в уголке рта надувался и опадал маленький пузырек кровавой слюны.

Подошел Горбунов. Он стал в ногах раненого и с минуту простоял, всматриваясь в его лицо; — это было похоже на прощание, и, глядя на командира, Туровцев впервые ощутил острую тревогу.

— Помощник!

— Есть.

Горбунов оторвался от Каюрова и внимательно посмотрел на Митю. Так, как будто видел его в первый раз.

— Поручаю вам Василия Никитича, — сказал он медленно. — В ваше распоряжение поступают доктор, Соловцов и Граница. Когда они перестанут быть вам нужны, вы их отпустите. Сами же не возвращайтесь, пока не исчерпаете всех средств, чтоб его спасти. Вопросы?

— Нет.

— Выполняйте.

Носилки тронулись.

По пути на «Онегу» Туровцев дважды предлагал Границе подменить его, но Граница только яростно мотал головой. Стало совсем светло, и, шагая за носилками, Митя все время видел лицо раненого. Сомкнутые веки не шевелились, и только прикрывавшая рот залубеневшая марля вздувалась и опадала.

Божко выбежал к трапу без шинели, перепуганный. Он едва взглянул на носилки и, не поздоровавшись с Туровцевым, сразу напустился на Гришу:

— Глупости делаете, военфельдшер! Зачем вы его сюда притащили? Почему не направили в цевезмге?

Гриша промолчал — как-никак Божко был военврач и до некоторой степени начальство, — но на лице его было хорошо знакомое Мите выражение тихого упрямства.

— Соловцов, — сказал Митя.

— Есть, Соловцов.

— Не забыли, где лазарет?

— На бакборте, товарищ лейтенант?

— Несите.

Носилки тронулись. Божко замахал руками и даже сделал попытку остановить Соловцова, но Митя, похолодев от бешенства, схватил его за руку.

— Пустите руку! — не своим голосом рявкнул Божко. Голос угрожал, но глаза трусили.

Отпустить — значило сознаться в грубом насилии, поэтому Митя не только не отпускал руку Божко, но завладевал ею все больше. Со стороны это выглядело безупречно: рослый моряк властным, дружески-фамиллярным движением взял маленького под руку для самого задушевного разговора.

— Послушайте меня, Валерий Платоныч, — зашептал Митя, прижимая к себе ерзающий локоть Божко, — давайте не привлекать к себе внимания, мы на военном корабле... А вы что стали, Марченко? — гаркнул он на Гришу. Гриша и ухом не повел, но Божко вздрогнул всем телом и еще раз попытался выдернуть руку.

— Что вы от меня хотите?

— Я хочу, чтоб вы не валяли дурака. До госпиталя мы его живым не донесем. Нужна немедленная операция.

— Кто это вам сказал?

— Доктор.

— Для вас он, может быть, и доктор, а для меня младший военфельдшер Марченко и ни в какой степени не авторитет.

— Так вот, осмотрите раненого сами и скажите свое авторитетное мнение.

— Мне смотреть не надо, я и так вижу — случай летальный. В госпитале его прооперируют как следует, а у нас нет условий.

— Как нет условий?

Туровцев изумленно воззрился на Божко. Он отлично помнил маленькую, но оборудованную по последнему слову техники операционную при базовом лазарете, жутковато поблескивающий никелем стол и склоненную над ним, напоминающую гигантский цветок подсолнуха, бестеневую лампу. Божко много раз хвастался новеньким инструментарием, вращал какие-то рукоятки и включал лампу, разливавшую по столу и кафельной

облицовке ровный, не бликующий, очень трезвый свет. Как же нет условий?

— А ну пойдете,— хрипло сказал он и зашагал к бакборту.

Он шел, стиснув челюсти и сжимая кулаки, с таким свирепым видом, что столкнувшийся с ним в узком проходе Палтус в страхе отскочил в сторону и распластался по броне носовой рубки. Митя не сразу нашел вход в лазарет, для утепления к нему был пристроен дощатый, обитый войлоком тамбур. Спустившись по трапу, он заглянул в перевязочную и увидел там Гришу и рыжего санитаря по фамилии Семин, они уже переложили Каюрова с носилок на каталку. Гриша следил за пульсом, Семин готовил шприц. В углу около раковины жались Соловцов и Граница. В ожидании дальнейших распоряжений они занимались медицинским самообслуживанием: левую руку Граница подставил под кран, а правую, уже отмытую, протянул Соловцову, который, вооружившись ватным помазком, замазывал ссадины антисептической зеленью, делал он это так основательно, как будто красил забор. Граница стоял не шевелясь, вытянув длинную шею, он не спускал глаз с Каюрова и морщился не от боли, а потому что плохо видел — в перевязочной стояла полупрозрачная желтоватая муть от смешения проникавшего через иллюминатор дневного света с электрическим от горевшей вполнакала рефлекторной лампы.

Божко, шедший за Туровцевым по пятам, узрев это неслыханное самоуправство, задохся от ярости. Он попытался раскричаться на ни в чем не повинного санитаря, но, взглянув на Митю, притих. Инстинкт подсказал Божко, ловкачу и сердцеведу, что этот зеленый лейтенант, не умевший оборвать вестового, по неясным причинам заряжен сейчас такой грозной силой, перед которой разумнее отступить.

— Только, пожалуйста, тише, товарищ военврач третьего ранга,— сказал Митя с обезоруживающей мягкостью.— Сейчас мы с вами обо всем договоримся.— Он обернулся к краснофлотцам: — Забирайте носилки — и на лодку. Вы мне больше не нужны.

— Есть,— прохрипел Соловцов. Он обдернул шинель, поправил ремень и шагнул к каталке. За ним, стараясь не стучать ногами, подошел Граница. Несколько секунд они неотрывно смотрели на лицо минера, по ко-

торому, словно зыбь по воде, пробежала еле заметная судорога; губы не шевелились, и только в уголке рта накипал маленький пузырек, Гриша осторожно стирал его марлей, но на его месте сейчас же возникал другой. Стало так тихо, что все слышали тончайший звук — он исходил не из губ, где-то в глубине груди что-то звенело и клокотало, и Митя живо представил себе виденный им в кино кадр: тонкая, как игла, струйка воды пробивает себе путь в бетонной толще плотины.

Соловцов шумно вздохнул, надел шапку, подхватил носилки и, ни на кого не глядя, вышел из перевязочной. За ним, часто шмурыгая носом, поплелся Граница.

Глава пятнадцатая

Прежде чем Божко успел опомниться, Туровцев открыл дверь в операционную и повернул выключатель. Верхний плафон тускло осветил немытые кафельные стены и пыльные углы, где стояла всякая дрянь: ведра и оплетенные бутылки, сломанные бамбуковые удилища и болотные сапоги. Операционный стол был накрыт черной материей, разрисованной таинственными геометрическими фигурами. Туровцев не сразу сообразил, что это такое, затем вспомнил: рыжий санитар был по совместительству корабельным портным. Видимо, в чаянии близкой Победы франтоватый лекарь шил себе новую тужурку.

Туровцев усмехнулся. Мягко отстранив шедшего за ним по пятам Божко, он вернулся в перевязочную и рванул к себе трубку корабельного телефона:

— Комдива!

— Комдива нет на корабле,— ответил коммутатор.— Дать военкома?

Короткий гудок.

— Ивлев слушает.

— Здравия желаю, товарищ батальонный комиссар,— сказал Митя.— Беспокоит Туровцев с двести второй. Прошу разрешения зайти по делу исключительной срочности.

— А, лейтенант... Заходи.

Божко хотел задержать Митю, но Митя прошел сквозь него, как сквозь облако. Выскочив на палубу, он бегом пробежал до центральной надстройки и в два

прыжка очутился на втором этаже, среди красного дерева и надраенной латуни.

Дверь в каюту военкома была открыта настежь. Ивлев сидел за столом и читал газету. Увидев Митю, он ласково кивнул ему и показал на свободное кресло. Дочитав абзац до конца, он отчеркнул его толстым цветным карандашом, старательно обвел кружочком какую-то цифру и поднял глаза.

— Ну? Что там у вас стряслось?

Митя стал докладывать, причем с первых же слов понял, что говорит на редкость бестолково. Ивлев слушал внимательно и хмурился.

— Так что ты от меня хочешь, лейтенант?

Митя опешил. Комиссар усмехнулся.

— Понимаю: по-твоему, в первую очередь надо четвертовать лекаря. Но это дело не такое уж срочное, он от нас никуда не уйдет. А нужно тебе вот что: раздобыть хорошего хирурга. Так?

Митя кивнул.

— Хорошего хирурга,— повторил Ивлев, невидимым карандашом подчеркнув слово «хорошего».— И трех матросов со швабрами.

Он потянулся к телефону, но в этот момент появился Божко, весь — оскорбленное достоинство. Комиссар не дал ему раскрыть рта.

— Жалобы после,— сказал он, пристукнув карандашом по столу.— Объявляется аврал. Тридцать минут на то, чтоб привести операционную в боевую готовность. Кто у нас главный хирург на бригаде? Штерн?

— Так точно, военврач первого ранга Штерн,— пролепетал Божко.

— А флагманский хирург флота?

— Бригврач профессор Холщевников.

— Можете идти,— сказал военком.— Советую не терять времени. В воздухе пахнет трибуналом.

Божко выскочил из каюты в смятении.

— А теперь,— сказал комиссар,— запасемся терпением.

Он сел поудобнее, снял телефонную трубку и вызвал «Парус». «Парус» оказался занят. Ивлева это не расстроило, он тут же договорился, чтоб ему сообщили, когда «Парус» освободится. Через минуту раздался звонок, замигала красная лампочка: «Парус» был свободен. На этот раз оказался занят «Корвет». Не без труда удалось объединить «Парус» с «Корветом» и вы-

звать «шестой». «Шестой» долго не отвечал, а затем, пискнув что-то неразборчивое, дал отбой. Ивлев скорее догадался, чем расслышал, что надо вызывать не шестой, а «шесть — два звонка». Он кротко выжидал, когда вновь ответит «Корвет», но в это время «Парус» потерял терпение и разъединил. Заметив, что Туровцев приплясывает от нетерпения, комиссар улыбнулся.

— Сразу видно, что ты не работал в сельском районе. Спокойствие, лейтенант. Главное — не выходить из себя.

В конце концов он дозвонился всюду, куда хотел. На коммутаторах поняли, что этот ровный глуховатый голос, хотя и не богат начальственными раскатами, принадлежит человеку, который делает важное дело и намерен довести его до конца. Ивлеву стали помогать. Через десять минут он уже знал, что начальник центрального госпиталя Заварицкий выехал в Кронштадт, а Штерн ночевал на береговой базе подплава и час назад ушел, не оставив адреса. Холщевникова тоже не оказалось на месте, но зато удалось выяснить, что бригаврач предполагал зайти к себе на квартиру, где, к счастью, не выключен городской телефон. Комиссар записал на бумажку драгоценный номер, подчеркнул его жирной красной чертой и заключил в двойной синий кружок.

— А-ноль, — сказал он раздумчиво. — Где-то поблизости. Пойдем звонить по городскому.

По городскому звонили от оперативного дежурного. Квартира профессора Холщевникова ответила могучим басом. Митя, стоявший рядом с комиссаром, слышал каждое слово.

— Бригврач Холщевников у телефона.

— Здравствуйте, Федор Федорович, — сказал военком. — Батальонный комиссар Ивлев.

— Дивизионный?

— Нет, всего только батальонный. Ивлев, Ивлев... Вы меня не помните?

— Ивлев? Ивлев из морской пехоты? — загремело в трубке. — Ивлев — сложный перелом? Ивлев — тридцать три осколка? Помню. Что вы делаете в Ленинграде, Ивлев?

— Не понимаю вопроса, товарищ бригаврач.

— А чего ж тут не понимать? Я самолично подписал ваши документы — то ли на эвакуацию, то ли на демобилизацию... А вы разгуливаете по Ленинграду, да еще

повышаетесь в чинах. Это мне обидно. Послушайте, Ивлев, когда мы вас выписали, у вас был послеоперационный свищ?

— Так точно.

— Вот видите — я все помню. Ну и что же он — закрылся?

— Так точно.

— Чудеса, если только не врите. Ну хорошо-с. Я вас слушаю.

Не в пример Мите, комиссар очень коротко и толково изложил свою просьбу. Холщевников не перебивал и только недовольно крякал, от чего дребезжала мембрана.

— М-да! — сказал он наконец. — Черт дернул меня взять трубку. Все как нельзя более некстати... Вы вольны считать меня бессердечным чинушей, но должен сообщить вам, что сегодня у меня выходной день. Первый выходной с начала Великой Отечественной войны. Согласован аж до самого Военного Совета. У меня сейчас находится мой почтенный друг Юлий Абрамыч Штерн и небызызвестная вам Прасковья Павловна, мы с превеликими трудами растопили печку и намерены предаться доступным в нашем возрасте порокам — сиречь пьянству и азартным играм. Разопьем бутылочку шнапса и засядем в преферанс. Я понимаю, вам, как политработнику, эта картина омерзительна, но мы — живорезы, люди, как известно, отпетые.

Митя обмер. Это был отказ.

— Значит, на вас не рассчитывать? — спросил Ивлев очень спокойно. — Так я вас понял?

— Вы меня поняли совершенно правильно. — Холщевников заговорил вызывающе, — по-видимому, он начинал сердиться. — Мы не в пустыне и не в открытом море, в каждой части есть свои штатные врачи... Вы, конечно, сейчас начнете про воинскую присягу и прочее. Это все будет напрасно. Мне шестьдесят три года, и если я не буду отдыхать хотя бы раз в шесть месяцев, меня хватит кондратий среди операционной, что даже и с государственной точки зрения невыгодно...

— Порядок, — сказал Ивлев, прикрыв трубку ладонью. — Начал грубить и жаловаться — значит, скоро сдастся.

— Насчет воинской присяги — и в мыслях не было, Федор Федорович, — сказал он в трубку. — Вы боль-

шой человек, мне ли вам указывать. Но уж коли на то пошло — позволю себе напомнить вам другую...

— Какую? — настороженно спросил бригаврач.

— Факультетскую. Присягу медицинскому факультету. Припоминаете?

Наступило грозное молчание. В трубке что-то потрескивало, затем раздался щелчок, похоже было, что бригаврач положил трубку на рычаг. Но Ивлев упорно ждал. Через минуту резкий тенор (вероятно, Штерн) спросил:

— Транспорта у вас, конечно, нет? Хорошо, давайте адрес. Адреса тоже нет? Прелестно. Так что же, назначим randevu? Нам нужно пять минут, чтоб залить печку и собраться...

Оставив комиссара улаживать насчет randevu, Митя понесся в лазарет.

Каюров по-прежнему был без сознания. Его переложили на кушетку и разули. Доктор Гриша сидел рядом на низенькой скамеечке и держал его за руку. Судя по лицу Гриши, пульс у раненого был неважный.

На вошедшего Туровцева Гриша посмотрел со страхом и надеждой.

— Не падай духом, Григорий, — сказал Митя. — Сейчас здесь будут Холщевников и Штерн.

Самому Мите эти имена мало что говорили. Но для военфельдшера это были боги, небожители. Он чуть было не брякнул «врешь», но удержался, вспомнив Горбунова: командир не терпел таких бессмысленных восклицаний.

— Операционную вымыли? — деловито осведомился Митя.

— Моют. Грязищи, как на угольной барже.

— Что тебе еще нужно, доктор?

— Кислород.

— Много?

— Баллон.

— Ясно. Еще что?

— Много горячей воды.

Митя задумался.

— Горячая вода должна быть в машинном отделении. Выясню. Дальше?

— Полный накал.

— Труднее. А этот тебе не годится?

— Смотря для чего. Чтоб зарезать человека, так даже слишком светло.

— Ладно, не злись. Сиди здесь камнем. Жди. Я все сделаю.

Окрыленный удачным началом, Митя побежал в машинное отделение. Спустившись по узкой и крутой железной лесенке в корабельную преисподнюю, теплую, влажную, пахнущую горячим маслом, он сразу попал в окружение. Каким-то непонятным образом все корабельные «духи» уже знали, что на «Онеге» будут оперировать минера с «двести второй». Туровцева обступили люди в промасленных робах, с лоснящимися от жирной копоты лицами. Ему улыбались, как старому знакомому. Подошел, вытирая руки о паклю, инженер-механик плавбазы Бегун.

— Чем могу служить? — спросил он не очень приветливо.

— Нужна горячая вода.

— Башилов, дай пар в душевую машинного отделения...

— Не годится, — сказал Митя.

— Надо подать в лазарет?

— Обязательно.

— Ведрами натаскаем.

— Это уже лучше.

— Товарищ старший инженер-лейтенант, разрешите, — сказал тонким голосом самый юный и чумазый из «духов».

— Ну, ну, Мамкин?

— А что, ежели воду согреть здесь, а подать в нос по магистрали? Под давлением.

— Молодец, салага, — сказал Бегун. — Позовите-ка сюда старшину трюмных.

— Левчука к командиру БЧ-5!

Побежали за старшиной. Старшина явился встревоженный. Это был толстяк — явление по блокадным временам редкое.

— Мамкин, повтори, — сказал Бегун.

Мамкин повторил. Старшина выслушал его молча и не выразил ни восторга, ни порицания.

— Тыфу ты, идол! — не выдержал кто-то. — Ну что глазами хлопаешь?

— Соображаю, — сказал старшина обиженно.

— Давай побыстрее проворачивай.

— Быстрее не получается...

— Что, смазка загустела?

Старшина отмахнулся. Соображал он примерно

минуту, выяснилось, что минута — это много времени. Наконец спросил:

— Когда надо?

— Через двадцать минут.

Старшина подумал еще.

— Сделаем.

У Мити отлегло от сердца.

— Что тебе еще надо, лейтенант? — спросил Бегун. — Говори сразу.

— Нормальный вольтаж.

— Большой генератор запускать не буду. Ладно, не расстраивайся, — сказал он мягче, увидев, что Туровцев пошел пятнами. — Пойдем потолкуем с электриками.

В генераторной было тихо, полутемно и прохладно, как в церкви. Цветные контрольные лампочки бросали лампадные блики. Укрытый брезентом большой генератор походил на огромное толстокожее животное, погруженное в глубокую спячку. Зато находившийся тут же маленький движок выбивался из сил, он шелестел и шаркал латаным ремнем, то сердито искрил, то принимался петь — ему было явно не под силу наплатить энергией огромную «Онегу».

Стоявший у распределительного щита дежурный электрик обернулся. Худое веснушчатое лицо краснофлотца показалось Мите чем-то знакомым.

— Вот что, Деменков, — сказал Бегун. — Нужно дать в лазарет нормальный вольтаж.

Деменков кивнул: понимаю.

— Надолго вам? — спросил он Туровцева.

Митя почесал в затылке. Об этом он не думал.

— Ну, не меньше чем на час, — ответил он не слишком уверенно.

— Часа три, самое малое, — сказал Бегун.

Деменков посмотрел на щит, потом на Бегуна.

— Много отключений будет, товарищ командир. Добро?

— Добро! — сказал Бегун. — Маневрируй.

Митя уже собирался уходить. Вдруг электрик спросил:

— Не узнаете меня, товарищ лейтенант?

— Н-нет, — сказал Митя рассеянно.

— Деменков, с лодки Стремянного.

Митя ахнул. Деменков с лодки Стремянного! С этим Деменковым у Мити были связаны не слишком прият-

ные воспоминания. Как-то в Рижском заливе лодку потрепал весенний шторм, и с непривычки Митя сильно укачался. Деменков ходил за ним, как нянька, и Мите казалось, что он никогда не забудет склонявшееся над койкой доброе веснушчатое лицо. И вот забыл, хотя не прошло и года. Впрочем, это было до войны. А все, что было до войны, кажется теперь происходившим в другом веке.

— Вы здорово похудели с тех пор, Деменков,— виновато сказал Митя, протягивая руку электрику.

— А вы вроде мало изменились. Я вас сразу признал.

«Странное дело,— думал Митя, взбираясь по железной лесенке, а затем шагая по узенькой галерее, опоясывавшей машинное отделение.— Забыл Деменкова. А Митрохина помню. Что за дурацкое устройство мозгов?»

...«Вообще человеческий мозг — очень несовершенный механизм. Ну вот и заврались, сэр... Вы что, знаете более совершенный? Все ваши навигационные приборы, все самые умные машины, вроде тех, что управляют артиллерийской наводкой на больших кораблях, во сто крат примитивнее самой заурядной человеческой башки. Дело совсем не в этом. Самый точный прибор будет врать, если им не умеют пользоваться. То же самое относится и к мозгу, недаром говорят: умная голова, да дураку досталась. Я, положим, не дурак, но, если говорить откровенно, совсем не умею мыслить. Примеры? Пожалуйста. Еще недавно я был убежден, что «Онега» — отвратительная посуда и все люди на «Онеге», за исключением Божко, неприятные и малоинтересные люди. Сейчас мне уже кажется, что «Онега» — лучший из надводных кораблей, на котором (если исключить Божко) служат сплошь прекрасные люди. Спрашивается — где истина?»

Проблема кислорода была решена походя. Командир базы был с Туровцевым предупредителен и при нем отдал распоряжение доставить баллон.

В коридоре правого борта Митю настиг Саша Веретенников и силой втащил к себе в каюту.

— Хирурга достал? — осведомился он тоном заговорщика.— Кого, Холщевникова? Молодец. Флакон не лекарство, а задница. Я бы его к себе на милую не подпустил.

— Флакон? — переспросил Митя. Его мысль не

поспевала за темпом, в котором жил Саша.— Какой флакон?

— Божко. Туго соображаешь, старпом. Позднее зажигание. Ты приглядишься к нему: типичный флакон из-под духов. Башка как стеклянная пробка. Духами пахнет, а внутри пустой.— Он захохотал, но сразу оборвал смех и нахмурился.— Как Васькины дела? Выживет?

— Не знаю.

— Выживет,— заявил Саша безапелляционно.— Вот попомни мое слово.

— Откуда ты знаешь? — удивился Митя.

— Знаю, не спорь. А вот у тебя, мил друг, вид такой, как будто ты сейчас брякнешься в обморок. А ну сядь! — Он подставил раскладной табурет и заставил Митю сесть.— Теперь скажи: у вас на лодке много повреждений?

— Не знаю.

— Что ты за старпом такой — ничего не знаешь? Ваську жалко. И за Виктора я тоже переживаю. Виктор мировой мужик, умница. Теперь хлебнет горя.

Митя насторожился.

— Это за что же?

— А вот — зачем от базы отошел.

— Правильно сделал.

— И я считаю — правильно, а получилось нехорошо.

— Случайность...

— Вот именно. Частный случай закономерности, выражаясь языком философии. А по-нашему — «чепе».

— Ни черта,— сказал Туровцев, начиная тревожиться.— С комдивом же согласовано...

— Ты чудила, ей-богу. Ясно, под суд его никто не отдаст. Но помнить — будут. А что согласовано — это не спасает. Еще хуже.

— Почему?

— Потому что комдив теперь вдвойне озлится: дескать, мало того, что сам влип, так еще и меня, собака, втравил.

— Но послушай, где же логика?..

— Вот и говори с ним! Если б люди всегда поступали согласно логике, коммунизм наступил бы еще в первой половине прошлого века.

— Как это так?

— Точно. Сразу после опубликования коммунистического манифеста.

С Сашкой было невозможно спорить.

— Комдив Горбунова не даст в обиду,— сказал Митя.

— Будем надеяться. Однако дружба дружбой...

— Комдив — хороший мужик.

— И это верно. Но он — комдив.

— Послушать тебя, стоит человеку получить повышение, и он обязательно испортится.

— Извините. Этого я не говорил. Если человек соответствует своему новому положению — отнюдь не обязательно.

— А по-твоему, Борис Петрович не соответствует?

— Этого я тоже не говорил. Поживем — увидим. Вообще ты меня слушай — я дело понимаю. Не гляди, что я такой тютя,— я хитрый, как муха.

— Будто? — Митя попробовал улыбнуться.

— Ей-богу. Будь у меня вкус к карьере и прочему такому свинству — из меня выдающийся прохвост мог получиться. Но — не могу. С души воротит. Для меня эта область закрыта. Аусгешлоссен, как говорят немецкие варвары...

Митя просидел у Веретенникова минут десять. Он понимал, что не время расслаиваться, но не было сил уйти. Наконец он заставил себя встать и, не прощаясь, пошел к двери. Сделав несколько шагов по коридору, он вынужден был остановиться и две-три секунды стоял, держась за переборку, в полном мраке. Затем лампочки снова налились жидким мерцающим светом. Этот свет был слишком слаб, чтобы осветить коридор, но все-таки показывал направление. Сперва Митя подумал, что у него помутилось в глазах. Затем понял: электрики выполнили обещание, и сейчас в лазарете над узким операционным столом разгорелась холодным огнем похожая на большой цветок подсолнечника бестеневая хирургическая лампа.

Митя побежал в лазарет.

На пороге перевязочной его остановил властный окрик: «Халат! Халат, черт подери!» Туровцев уже слышал этот громовой бас по телефону. Ему загораживал вход среднего роста плотный мужчина такого бравого и воинственного вида, какой бывает только у старых военных врачей и капельмейстеров. Мите показалось, что весь свет, которым была залита перевязочная, из-

лучал он один. Он весь сиял: от закрученных кверху кончиков серебряных усов до похожего на треугольный парус белого фартука. Рукава крахмальной рубашки были засучены и открывали полные белые, очень широкие в запястьях руки, с кистей текла радужная пена. Не переставая тереть ногти жесткой щеткой, он гремел: «Что вы смотрите, Божко? Если этот человек нужен — дайте ему халат. Если нет — выставьте его за дверь».

Божко, вырядившийся в новый халат с таким же треугольным фартуком, скорчил кислую мину. Он, конечно, с удовольствием выставил бы Митю, но это было невозможно. Поэтому он протянул Туровцеву какой-то дырявый балахон и даже помог надеть его в рукава. Балахон едва прикрывал колени и сразу же треснул под мышками. Митя поискал глазами уголок, где бы он мог притулиться, никому не мешая, и пристроился на низенькой скамеечке, подобрав ноги и стараясь занимать как можно меньше места.

Раненого уже перенесли в операционную. Дверь туда была приоткрыта, но Митя не видел Каюрова, а только рыжего санитаря и Гришу, которого не сразу узнал из-за закрывавшей рот марлевой повязки.

В перевязочной, кроме Холщевникова, находились еще двое — мужчина и женщина. Мужчина, высокий, сутулый, длиннолицый, мыл руки над раковиной, тихонько чертыхаясь, когда кран начинал плеваться крутым кипятком. Он взглянул на Митю сумрачными насмешливыми глазами и отвернулся. Митя догадался, что это Штерн. Женщина, немолодая, но очень статная, в халате поверх матросской формы, бесшумно расхаживала между двумя электроплитками, на которых кипели стерилизаторы. Хромовые сапоги сидели на ней удивительно ловко, и она двигалась с тем непринужденным изяществом, по которому узнается казачка. Это была Прасковья Павловна — старшая хирургическая сестра, правая рука Холщевникова и тоже в своем роде светило.

Туровцев, ничем, кроме кори, не болевший и потому не интересовавшийся медициной, смотрел на эти приготовления с любопытством, к которому примешивались страх и нетерпение. Он и понятия не имел, что мытье рук перед операцией — это такой длинный, обставленный столькими таинственными подробностями обряд.

Наконец хирурги кончили мыть руки. Теперь они

стояли в позах людей, только что сдавшихся в плен, и от этого выглядели менее грозно. Митя решился заговорить.

— Скажите, пожалуйста, профессор,— начал он, приподнимаясь со своей скамеечки. Но не успел договорить.

— Ничего не знаю,— рявкнул бригаврач.— Состояние тяжелое. Еще вопросы?

— Вопросов нет. Я только хотел вам сказать, что у меня первая группа.

Холщевников резко подался вперед и внимательно посмотрел Мите в глаза. В сверкающих стеклах золотых очков Митя увидел свое отражение. Трудно было понять, что заинтересовало Холщевникова — движения Митиной души или окраска слизистой. Наконец он выпрямился и, усмехнувшись, поглядел на Штерна.

— Может быть, у вас и была первая группа, мой дорогой лейтенант. Во время оно. Но в настоящее время карьера донора для вас полностью закрыта. Ваш товарищ? — спросил он, показав глазами на дверь операционной.

Митя кивнул головой.

— Не беспокойтесь, на крайний случай у меня есть немножко консервированной. Ну, что же вам еще сказать? Будем стараться.— Кончики серебряных усов Холщевникова дрогнули.— Будем очень стараться... Ты готов, Юлий Абрамыч? Прасковья, не копайся! — закричал он на сестру, выкладывая на передвижной столик сверкающие инструменты.

Прасковья Павловна покатила столик в операционную. Оттуда вышел доктор Гриша и, хмурясь, стал в сторонке.

— Ну что ж,— сказал бригаврач, шумно вздыхая.— Начнем, благословясь.

Рыжий санитар широко распахнул дверь. Врачи вошли гуськом. Божко шел последним. Дверь закрылась.

— Ладно, я пошел на лодку,— пробурчал Гриша, стаскивая халат.— А ты оставайся.

Туровцев не успел ответить. Дверь операционной опять открылась, и на пороге появился Холщевников.

— Кто производил первичную обработку раны? — спросил он отрывисто.

— Я, товарищ бригаврач,— ответил Гриша с поразившим Туровцева спокойствием.

— Если хотите — можете присутствовать при операции.

Это была немалая честь. Гриша замялся.

— Ну? — сказал Холщевников нетерпеливо.

— Благодарю, товарищ бригаврач, — сказал Гриша скучным голосом. — К сожалению, не имею времени.

Бригврач был озадачен.

— Вы так заняты? — спросил он с ядовитой почтительностью.

— Так точно, — подтвердил Гриша. Иронию он пропустил мимо ушей.

— Ну, как знаете...

Дверь снова закрылась. Помрачневший Гриша стащил с себя халат и потянулся за шапкой.

— Остался бы, — сказал Туровцев.

Гриша отмахнулся.

— На кой дьявол я им здесь нужен, — выпалил он с неожиданной грубостью. — А на лодке у меня все брошено абы как — и люди и харчи...

Очевидно, военфельдшеру очень не хотелось уходить.

— Скажи Виктору Иванычу, — сказал Митя, вспомнив разговор с Веретенниковым, — чтобы поскорее прислал донесение.

— Есть, скажу...

Гриша ушел. Туровцев уселся поудобнее и приготовился ждать. Он не знал, сколько времени придется ждать, но твердо решил не уходить, пока не увидит Каюрова живым или мертвым. Он попытался представить себе, что творится сейчас в операционной, но воображение отказало — полету фантазии мешало крайнее медицинское невежество. Тогда, чтоб отвлечься, он стал листать попавшуюся ему на глаза популярную брошюрку. Брошюрка называлась «Личная гигиена краснофлотца». Прочитав полстраницы, Митя убедился, что ничего не понял и прочитанного не помнит. Обреченный на бездействие, он обратился к примитивной магии детских лет. Был дан строжайший обет (не исполнив коего Митя лишался права на самоуважение), что, если Каюров останется жив, он, лейтенант Туровцев, обязуется достичь небывалого совершенства во всех областях боевой и политической подготовки, полностью отрешиться от всех личных радостей и слабостей и превзойти самого Горбунова в суровом служении долгу. Решительно, без всяких объяснений расстаться с Та-

марой. Впрочем, подумал он, это уж чересчур жестоко. Тогда — не откладывать объяснения. Сегодня же повидаться, попросить прощения за невольное хамство и поставить точку. При этом боже сохрани вдаваться в лирические воспоминания. И не заметишь, как раскиснешь и пойдешь на дно...

...«Итак, работа, работа. Ремонт, боевая подготовка. В свободное время — изучение материальной части корабля и лоций Балтийского моря, уставов и наставлений. Я штурман и весной уйду в поход, от моей прокладки будет зависеть боевой успех и жизнь экипажа. Надо быть на высоте. Что ж из того, что у меня нет боевого опыта? У Горбунова его тоже не было...»

Митя подтвердил также данный ранее обет — во что бы то ни стало найти виновника гибели жены Горбунова и, таким образом, разузнать о судьбе ребенка. Сын он Горбунову или не сын — это уж пусть они сами разбираются.

За всеми этими размышлениями прошло больше получаса. Очень хотелось есть. Из операционной не доносилось никаких звуков. Наконец щелкнул замок, дверь мягко отошла, и Туровцев увидел Божко. Божко шел пятясь, как будто боялся, что ему выстрелят в спину. Закрыв дверь, он повернулся, сдернул марлевую маску, и Митя увидел красное перекошенное лицо.

— Что там? — спросил Митя, холодея.

Божко пожал плечами. Митя вскочил.

— Что вы молчите? Кончилась операция?

Божко презрительно фыркнул — какое невежество!

— Еще только начинается, — отчеканил он.

В дальнейшем он повел себя странно. Подошел к горке с инструментами, открыл дверцу, долго что-то перебирал и разглядывал, но ничего не взял. Затем так же долго, с тем же ненатуральным интересом рассматривал аптечные склянки. Исчерпав и это занятие, он прошелся по перевязочной, выключил одну из плиток и поднял с пола марлевую салфетку. Время от времени он бросал на Митю косые взгляды. Туровцев ему чем-то мешал, и Божко явно тянул время — и не уходил из лазарета, и не возвращался в операционную.

Но когда Божко развернул «Личную гигиену краснофлотца» и углубился в нее с таким видом, как будто именно там было написано, как спасти раненого, Митю вдруг осенило: лекаря попросту прогнали из операционной. Этим объяснялось все: и расстроенный вид,

и плохое актерство. Спрятав глаза в брошюрку, лекарь шевелил губами, сдвигал брови, словом, всячески изображал работу мысли. Но сосредоточенности не было. Почувствовав на себе недоверчивый взгляд, он смутился и отшвырнул брошюрку.

— Д-да, Дмитрий Дмитрич,— сказал он, жалобно вздыхая.— Подвели вы меня под монастырь.

Митя промолчал.

— Конечно, я не бог,— продолжал Божко. Митино молчание показалось ему сочувственным.— Я не бог и имею недостатки. Но я двадцать третий год служу на флоте, служу верой и правдой, отличник здравоохранения, имею диплом академии. Я на ученость не претендую, не в свои дела не лезу, я скромный человек и свое место знаю. Так за что же меня оскорблять? За что?

На глаза Божко навернулись крупные слезы. Он жаждал сочувствия. Митя с трудом переносил и женские слезы, мужские повергали его в содрогание. Поэтому, несмотря на все свое раздражение, Туровцев почувствовал к лекарю нечто вроде безгливой жалости. Еще немного, и он, покривив душой, выдавил бы из себя какую-нибудь утешительную фразу.

Но Божко сделал ошибку. Из обороны он перешел в наступление.

— Не лазарет, а публичный дом! — передразнил он кого-то.— А я советский человек, никогда в публичных домах не бывал и не знаю, как они выглядят! И чья бы корова мычала... Всему флоту известно, что эта самая Прасковья...

— Бросьте, Валерий Платоныч,— сказал Митя, морщась.— Как вам не стыдно? Это же мелко...

— Мне нечего стыдиться! — крикнул Божко, однако не так громко, чтоб его услышали в операционной.— Подумаешь, мелко... Все мы люди, слабые человеки... Скажите на милость, какой бог Саваоф, Юпитер-громовержец! Если ты бог, так сделай чудо! Вот тогда я поверю: ты все можешь, а я ничего не могу, твоя взяла — топчи меня, порази небесным громом! Я им мешаю, я ничего не умею!.. А вот я еще посмотрю, много ли толку будет от их большого умения...

Он осекся, почувствовав, что перехватил. Но было уже поздно.

— Знаете что, доктор,— сказал Митя с обманувшей Божко мягкостью,— была б моя воля, я бы вас не толь-

ко из операционной погнал, а с корабля. А еще лучше — с флота. К чертовой матери.

Божко опешил. Такого оборота он не ожидал.

— Ах, вот как? — протянул он многозначительно. На Митю это не подействовало.

— Так точно, — подтвердил он, — именно так.

— Ах, вот как? — повторил Божко еще протяжнее, скорбно качая головой и усмехаясь. Он всячески пытался изобразить презрение, которого не чувствовал. — Ну, ну!.. Это на вас похоже...

Неизвестно, чем кончился бы разговор, если б не затрещал телефон. Божко поспешно схватил трубку, послушал и, не говоря ни слова, передал Мите. Звонил дежурный по кораблю: командир дивизиона вернулся на «Онегу» и требовал к себе лейтенанта Туровцева.

Митя схватил шапку и побежал.

На полубаке его тихонько окликнули. Обернувшись, он увидел Соловцова.

— Вы что здесь делаете, Соловцов? — спросил он, нахмурившись.

— Вас поджидаю.

— Передайте командиру, что операция уже началась. Пока все идет нормально.

— Слыхали, военфельдшер докладывал. Часа на четыре эта музыка — никак не меньше.

— Откуда вы знаете?

— Из жизненного опыта. Меня-то за полтора часа сделали, так ведь то медсанбат. А здесь — спешить некуда. Только бы гансы не налетели.

Прищурившись, он взглянул на небо.

— Я, собственно, к вам вот насчет чего, товарищ лейтенант: вы не к комдиву?

— Да.

— А я от него только что. Донесение носил. Отдал в собственные руки. Товарищ лейтенант, — сказал Соловцов таинственно, — будете сейчас у капитана третьего ранга, прощупайте, какое у него настроение...

Митя с удивлением взглянул на матроса.

— Послушайте, Соловцов, а вам не кажется, что это не ваше дело?

Соловцов остался невозмутимым.

— Так точно, не мое, — согласился он, не моргнув глазом. — Потому он мне ничего и не скажет. А вам, может, и скажет...

— Пустяки,— отрезал Туровцев. Тем не менее он был встревожен.— Скажите лучше, что у нас на лодке?

— Аврал. Проверяют все системы. Пробойна ниже ватерлинии в районе двенадцатого шпангоута.

— Туляков серьезно ранен?

— Плевое дело, царапина. Тряпкой обвязался и шурует. А вот за Олешкевича военфельдшер беспокоится — снаружи будто ничего не видать, а рвет его бесперечь и в ногах слабость.

— Ну, идите, Соловцов,— сказал Митя.— Я к обеду не приду. Скажите Границе, чтоб заявил расход на камбузе...

Комдив сидел за письменным столом и, щуря дальнорезкие глаза, читал бумагу. Вид у него был недовольный.

Войдя, Митя отрапортовал по-уставному. Комдив не пошевелился. Он продолжал читать. Читал он долго. Наконец отложил бумагу в сторону и перевел взгляд на Туровцева.

— Что такое? — сказал он.

Митя взглянул на комдива с недоумением, Борис Петрович сидел, откинувшись на спинку кресла, и вид имел шутливо-грозный, поди угадай — шутит или будет драить.

— Вы что же, лейтенант Туровцев, всегда в таком виде к начальству являетесь?

Только теперь Митя сообразил, в чем дело. Вспыхнув, он сдернул с себя халат, свернул и спрятал за спину.

Видимо, Кондратьев был доволен тем, что ему удалось смутить лейтенанта. Уже совсем другим тоном он спросил:

— Как минер?

— Положение тяжелое.

— Это плохо,— внушительно сказал Кондратьев.— Это очень плохо.

Митя промолчал. Он и сам знал, что не хорошо.

— Ну, а на лодке что?

— А вы разве не получили донесения, товарищ капитан третьего ранга?

Кондратьев не ответил. Он взял отложенную бумагу и вновь углубился в нее.

— Получил,— сказал он, когда Митя уже потерял надежду на ответ.— Филькину грамоту. Донесение а-ля Пушкин: саранча летела-летела и села... Никому по-

казать нельзя. Разве так пишут? «Насчет других повреждений пока сказать ничего не могу — еще не разобрался...» Кто же так пишет?

О том, как именно должен был написать Горбунов, Митя узнал не сразу. Вошел писарь дивизиона Люлько и принес отпечатанные на машинке бумаги. Борис Петрович читал их медленно, с недоверчивым видом, перед тем как подписать — долго разглядывал перо и, только убедившись, что все оттяжки исчерпаны, вздыхал и подписывал. Одну бумажку он забраковал и мучительно долго правил. Люлько, по-видимому уже привыкший к манере комдива, стоял спокойно, но Митя томился. Подписав последнюю бумагу и отпустив писаря, комдив опять впился глазами в злосчастное горбуновское донесение. Оно его гипнотизировало. Наконец он решительно вычеркнул что-то и возвел глаза к потолку.

— Объем повреждений выясняется, — сказал он вдруг звучным голосом, в котором слышалось торжество. — И будет сообщен... — он слегка задумался, — дополнительно.

Старательно вписав все это, комдив почувствовал облегчение и снова обратил внимание на лейтенанта.

— Садись, чего стоишь? — сказал он добродушно, как будто Митя мог сесть без разрешения.

Митя сел. Свернутый халат он подсунул под себя, отчего сидеть было неудобно. Он ожидал, что комдив задаст еще несколько вопросов, на худой конец сделает внушение и отпустит в лазарет. Но Кондратьев не торопился начинать разговор. Он еще что-то полистал и небрежным тоном, как бы невзначай, спросил:

— Ну, как служится на двести второй?

— Хорошо, — быстро сказал Митя.

— Не ругает тебя Горбунов?

— Бывает.

— Без этого нельзя, — сказал Кондратьев наставительно. — Вообще тебе повезло с командиром: Виктор — замечательный парень. И к тебе хорошо относится. Я, откровенно говоря, был против того, чтоб тебя брать на лодку. Не то чтоб против — сомневался. Виктор настоял.

Митя промолчал.

— Да, — продолжал комдив после небольшой паузы. — Замечательный мужик. И моряк природный. Я человек бессемейный, одинокий, для меня Виктор все

равно что брат. Да и он ко мне, по-моему, неплохо относится.

Хотя здесь и не было прямого вопроса, Митя почувствовал, что надо что-то сказать.

— Виктор Иванович о вас всегда очень тепло говорит,— подтвердил он и увидел по лицу Кондратьева, что сказал именно то, что от него ждали.

— Надеюсь,— сказал Кондратьев довольным голосом.— Мы с ним, бывает, поцапаемся, но дружба наша крепка, нерушима и морем освящена. Ты вот с нами не был в походе, а мы с Горбуновым такого хлебнули... Я тебе так скажу: чтобы Виктора оценить, с ним пуд соли надо съесть. Он человек трудный, колючий, до него покуда доберешься — исцарапаешься. Я-то сам человек простой, бесхитростный...— Тут комдив почему-то подмигнул.— А Витька — нет. С большой замысловатинкой. Беспокоит он меня...

После этих слов Борис Петрович сделал такую длинную паузу, что Туровцев счел уместным спросить, что же именно беспокоит комдива. Но комдив как будто не расслышал вопроса. Он взял телефонную трубку и вызвал Шершнева. Дивизионный механик Шершнев чаще других специалистов бывал на «двести второй» и ревниво относился к успехам Ждановского. Горбунов его терпеть не мог.

Через минуту вошел Шершнев — маленький, очень вылощенный человек с напряженным лицом завистника. Митю он не узнал или не захотел узнать. Кондратьев протянул ему донесение:

— На, читай.

Шершнев подошел поближе к свету и стал читать. Туровцев с любопытством наблюдал за той смесью чувств, которая отражалась на его лице,— и тревога, и сочувствие, и с трудом подавляемое злорадство.

— Вдвойне печально,— сказал Шершнев, дочитав.— Двести вторая взяла на себя большие обязательства. У всех на памяти обращение экипажа по поводу зимнего ремонта. Полагаю, мне следует ознакомиться с положением на месте, товарищ капитан третьего ранга?

— Я тоже полагаю,— проворчал комдив.— Обязательно сходи и разберись. Спокойно, объективно — вот нарочно при помощнике говорю. Вы что — незнакомы?

— Знакомы,— сказал Митя.

— Как же, как же,— поспешно подтвердил Шершнев.— Виноват, не разглядел против света.

Они потрясли друг другу руки с такой энергией, что обоим стало немного совестно.

Отпустив Шершнева, комдив закурил трубку, вышел из-за стола и стал прохаживаться по каюте. Митя в своем кресле чувствовал себя неловко: он не очень ясно понимал, надо встать или можно продолжать сидеть. В конце концов он привстал и был тут же усажен обратно (сиди, сиди, лейтенант!). Однако Мите показалось, что, не сделай он попытки встать, Борис Петрович был бы все-таки недоволен.

Пока комдив курил, Митя думал про свое: больно ли сейчас Каюрову или он ничего не чувствует? Что стряслось с Олешкевичем, неужели сотрясение мозга? Что делает сейчас Горбунов? Интересно, отменит Виктор Иванович утвержденный вчера распорядок или, несмотря ни на что, будет праздновать корабельную годовщину? На что намекали Веретенников и Соловцов и откуда ждать беды? И вообще: что еще может произойти хуже того, что уже произошло?

Мысли его опять вернулись к Каюрову: «Зачем я здесь сижу? Мое место в лазарете».

О чем думал в это время Кондратьев, Туровцев не знал. Оказалось — о Горбунове.

— Не умеет жить с людьми,— произнес он вдруг, видимо нисколько не сомневаясь, что лейтенант все еще ждет ответа на свой вопрос и должен сразу понять, о ком идет речь.— И то ему, понимаешь, не так, и это не так... Хочет быть всех умней и принципиальней. А это — никому не нравится.

— Мы ничего, уживаемся,— робко заметил Митя. Комдив засмеялся.

— Это не штука,— сказал он, подмигнув.— Он командир корабля. Жить захочешь, так, пожалуй, уживешься. Вашего брата не критикуют, а драят, а вы знай поворачивайся. Ну ладно, критикуй меня. Я позлюсь, да и перестану, потому что знаю: он не со зла, а от чистого сердца. А ведь этот,— он показал трубкой на дверь, как будто там еще стоял Шершнев,— или, к примеру, Селянин — эти теперь враги...

— А как же тогда с критикой?

— Знаю, знаю, мощный рычаг и так далее. Мощным рычагом тоже надо пользоваться умеючи, чтоб не задело по башке. Ибо голова у человека одна и запас-

ных частей к ней не вырабатывается. Так что критикуй, конечно, но меру знай и помни, что критики, брат, никто не любит.

Он опять подмигнул, и так забавно, что Митя заулыбался.

— Неужели?

— Никто,— сказал Борис Петрович с комической убежденностью.— И если кто тебе скажет, что любит,— плюнь этому демагогу в бесстыжие глаза. Критику можно уважать, считаться с ней... А любить ее не за что. Это противно человеческому естеству. Человек любит, чтоб его хвалили.

И снова Митя не смог сдержать улыбки.

— Опять же принципиальность...— продолжал Кондратьев.— Кто спорит — вещь хорошая. Ты откуда родом?

— Москвич.

— Значит, среди татар не жил. Татары говорят: есть коран — закон писаный, есть адат — закон неписаный. Коран соблюдай, адат не забывай. Не нужно быть чересчур принципиальным. Люди обижаются. Что ж это, говорят, выходит — мы все кругом тебя беспринципные, один ты принципиальный...

Внезапно, как будто вспомнив что-то важное, он постучал в стенку и прислушался. Ответа не было. Тогда он позвонил дежурному и спросил, где Ивлев.

— Уже на двести второй,— объявил он, вставив трубку в гнездо.— Оперативно! Хороший у меня комиссар. Глубоко партийный человек. И образованный, не то что некоторые... Одно жалко — не моряк. Как они с Горбуновым?

— Хорошо.

— Ну, слава богу. Может быть, хоть он Виктора вразумит, если у меня не получается...

— Я не понимаю, Борис Петрович,— сказал Митя более решительно, впервые назвав Кондратьева по имени-отчеству.— Я не понимаю, насчет чего...

— Насчет чего? — Кондратьев повысил голос. Его немножко рассердила Митина непонятливость.— Насчет того, чтоб язык себе поукоротил. Не вовсе отрезал, а укоротил до нормы. Чтоб не запугивал вас, не переоценивал противника. Есть у него такой душок. Я-то понимаю, он не от дурного, но ведь это на кого попадешь... Скажут: что он там субъективно думал, мы в это входить не можем — чужая душа, как известно,

потемки, а объективно капитан-лейтенант Горбунов ведет пораженческие разговоры. Зачем это ему надо? Осенью был у нас такой случай,— Кондратьев оглянулся на приоткрытую дверь,— в разгар наступления на город один капитан первого ранга, заслуженный человек, составил план эвакуации некоторых военно-морских учреждений и представил по начальству. Время было горячее, нервное, кто-то из больших начальников увидел план и распалился: «Как эвакуация? Мы Ленинград оставлять не собираемся, что за пораженческие настроения!» Нашлись голубчики, которые за эти слова уцепились, расценили как подрывную деятельность и порешили для устрашения маловеров наказать примерно. И погорел наш капитан. Первого ранга, учти, не чета Виктору... Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Проходит месяц, другой, обстановка меняется. Военный Совет, учитывая все обстоятельства, выносит решение — срочно эвакуировать эти самые учреждения. Тут, стало быть, вспоминают: был же план, и хороший план, где же он? Ищут — нету плана, подшит к следственному делу, а дело по протесту прокурорского надзора затребовала Москва. А где автор? Автор, говорят, здесь. Сидит — скучает. Подать сюда автора, поручить ему проведение всех мероприятий... Ну и так далее. Разницу между стратегией и тактикой разумеешь?

— Проходили.

— То-то. Так вот запомни: стратегия — не наша область. Наше дело маленькое. Красная Армия наступает, к весне расчистим берега, протралим залив и пойдем Таллинн брать. Всё по этому вопросу.

— А если не расчистим?

— Значит, на то были высшие соображения. А ты, лейтенант, я вижу, совсем покорён. Ну что ж, это мне понятно. Виктор — человек сильный, и котелок у него варит. Я постарше его и поопытнее — и то, бывает, пасую...

Опять пришел Люлько и принес пачку отпечатанных типографским способом приказов.

— Как прочтете, товарищ капитан третьего ранга,— сказал он негромко,— попрошу вас расписаться на каждом в отдельности и вернуть в секретную часть. У себя не оставляйте.

Люлько говорил почтительно, но с апломбом человека, чувствующего себя представителем некоей выс-

шей силы, перед которой и он, и командир дивизиона равны, с той лишь разницей, что в сношениях с этой силой он, Люлько, гораздо опытнее и довереннее комдива.

Люлько ушел. Комдив сел за стол и стал читать. Читал он медленно, со значительным лицом, осторожно переверачивая страницы. Бумага вызывала у Кондратьева почтение, он плыл по неизведанному бумажному морю, испытывая одновременно и удовольствие и страх перед невидимыми рифами.

Митя, понявший, что это надолго, опять думал про свое. Он сердился на комдива: «Ну что он меня держит?» — и еще больше на себя за то, что не решался сказать комдиву: «Разрешите идти?» Его злило, что он теряет в присутствии комдива уверенность и непринужденность. «Да, я уважаю Бориса Петровича за храбрость и вообще как старшего товарища, он мне нравится, я хотел бы, чтоб и он ко мне хорошо относился. Но ведь я его не боюсь и далек от того, чтобы заискивать перед ним. Почему же я теряюсь и веду себя как мальчишка?

Комдив прочитал Туровцеву несколько выдержек из разных приказов — это был несомненный признак доверия. Дочитав приказы до конца и расписавшись, Кондратьев позвонил Люлько, чтоб тот забрал папку, и опять заговорил о Горбунове.

— Критиковать можно, — сказал он, раскуривая потухшую трубку. — Важно, с каких позиций. Он, видите ли, офицер! Понравилось ему это слово. Мы уже с ним сцепились раз на эту тему. «Откуда, говорю, у тебя эти аристократические претензии? Ты же прачкин сын, с кронштадтского мола штанами мальков ловил, какой ты офицер? Есть на флоте командиры: младшие, средние и старшие — одна лесенка для всех. Так почему же боцман не офицер, а вот тебя чем-то таким мазали, что ты офицер? Может, еще золотые погоны на себя нацепишь?» — «А что же, говорит, хоть бы и эполеты, в этом традиция». Так ведь к традиции тоже требуется классовый подход...

Кондратьев продержал Туровцева до обеденного часа. Временами он совсем забывал о его присутствии, просматривал бумаги, звонил по телефону, вызывал людей и давал поручения. С Митей он говорил урывками и только о Горбунове: то спрашивал, то рассказывал сам со свойственным ему грубоватым юмором. Митя уже чувствовал себя свободнее. Комдив ему все

больше нравился, в нем чувствовались сила и природное добродушие. А при этом какая-то двойственность: и простодушен, и лукав, то недоступен, то слишком откровенен. Видно было, что комдив еще не привык к своему новому положению, оно и тяготило его и радовало.

Митя уже твердо решил встать и попросить разрешения быть свободным, когда в каюту заглянул Митрохин.

— Кушать, пожалуйста.

Комдив встал и потянулся, разминая затекшие мускулы.

— Ну что ж, лейтенант, пойдем, раз приглашают.

Митя никогда не обедал в салоне командира плавбазы. Иногда, проходя мимо, он слышал доносившиеся оттуда смех и восклицания и чуточку завидовал. Ему казалось, что там гораздо уютнее и веселее, чем в средней кают-компании.

Салон был меньше, чем кают-компания, но наряднее и светлее. Панели из полированного дерева, большой портрет Главнокомандующего в золоченой раме. Кроме командира «Онеги» Ходунова, в салоне находились еще трое командиров подводных лодок: Лямин, Ратнер и Малинин. Когда комдив, пропустив вперед Туровцева, вошел в салон, они поднялись из-за шахматного столика. Митрохин, облаченный в белый китель, поставил лишний прибор и принес фаянсовую суповую миску. Ходунов, посмотрев сперва на комдива, пригласил к столу. Комдив уселся во главе стола, по левую руку, лицом к двери, сел Ходунов, по правую он усадил Туровцева. Каждый налил себе в тарелку по полторы разливательных ложки жидкого горохового супа с плавающей в нем кожурой, и обед начался. Ели молча. То ли сказывалось отсутствие Горбунова, то ли изменилось что-то в повадках Кондратьева, но за столом ощущалась натянутость. Туровцева никто ни о чем не спросил. Перед тем как подавать второе, Митрохин подошел к командиру базы и, поглядывая на Туровцева, долго шептал ему на ухо, пока Кондратьеву это не надоело.

— Давай, давай, неси,— сказал он недовольно.— А о батальонном комиссаре не заботься, он у Горбунова не пропадет.— И когда Митрохин вышел, фыркнул: — Вот уж истинно Палтус. Не понимаю твоего пристрастия, Василий Федотыч.

Мите так и не удалось съесть ивлевскую порцию

второго. Прибежал запыхавшийся рыжий санитар и, скороговоркой испросив разрешения обратиться, сообщил, что лейтенанта Туровцева срочно вызывают в лазарет.

Только выбежав на холод, Туровцев вспомнил, что халат и шинель остались у комдива. Возвращаться не хотелось. Митя втянул голову в плечи и, выбивая по скользкому настилу нечто вроде чечетки, побежал дальше.

В перевязочной его ждал Штерн.

— Ага, очень хорошо,— сказал Штерн,— мойте руки.

Митя подошел к раковине и пустил воду. Вода была еще теплая. Он тер свои огрубевшие и потрескавшиеся пальцы с такой яростью, что вокруг ногтей выступила кровь. Штерн взглянул и усмехнулся:

— Можно не так тщательно...

Санитар подал чистый халат, долго прилаживал марлевую маску. Штерн стоял отвернувшись и не торопился, но по тому, как подергивалась его щека, Митя понял, что хирург нервничает.

— Пойдемте,— сказал он, окинув Митю беглым взглядом. И пояснил: — Сейчас он был в сознании. Звал командира.

— Командира? — повторил Митя испуганно. — Но ведь я не командир.

Он стал объяснять, что командир и помощник не могут одновременно покинуть корабль, но, если комдив разрешит, можно послать за Горбуновым. Штерн не стал слушать.

— Да, да, голубчик, я все это хорошо понимаю,— сказал он очень мягко, но с оттенком нетерпения. — Боюсь, что у нас на это нет времени.

Входя в операционную, Митя так волновался, что поначалу все видел не в фокусе: два вертикальных шевелящихся белых пятна закрывали от него третье, тоже белое, но горизонтальное и пугающе неподвижное. Стоял одуряющий запах — смесь спирта, уксуса, эфира и человеческих испарений. Штерн провел Митю вдоль стола к изголовью. Проходя, Митя заставил себя отвернуться. Впрочем, широкая спина Холщевникова надежно загораживала середину стола — то, что и пугало и притягивало Митю. Теперь он стоял в головах у ране-

ного, рядом с кислородным баллоном, касаясь животом узкого конца стола. Шея Каюрова покоилась на низком валике, сверху ее прикрывал высокий стоячий козырек из белой материи, скрывавший от раненого разрез и действия хирурга. В свою очередь, Митя тоже видел только голову Каюрова; запрокинутую, с налипшими на лоб влажными косицами волос, и отведенную в сторону от тела левую руку с кровоподтеками на локтевом сгибе. Митя твердо знал, что лежащий на столе человек — Каюров, но лицо показалось ему незнакомым: все черты утоньшились и заострились, все мышцы этого удивительно подвижного лица одеревенели, исчезли все краски, кроме черной и белой — меловой белизны кожа, черные волосы и губы.

— Возьмите его обеими руками вот так, — шепотом приказал Штерн. Он показал как: ладони охватывают шею снизу и с боков, большие пальцы касаются висков. Прикоснувшись к скользкой от пота коже, Митя вздрогнул, она показалась ему неживой, как клеенка.

Штерн слегка приподнял бессильно повисшую руку раненого и, хмурясь, считал пульс. Сосчитав, он щелкнул пальцами, и за его спиной неслышно возникла Прасковья Павловна, держа наготове шприц и резиновый жгут. Вдвоем они туго перетянули руку выше локтя, Штерн нащупал жестким пальцем нужную точку на сгибе и быстрым, точным движением ввел иглу. Каюров не шелохнулся, но Митя уже не сомневался, что Василий жив. Подобно включенному в невидимую цепь чувствительному прибору, он улавливал слабое биение жизни в распростертом под холодным хирургическим солнцем измученном теле.

Было так тихо, что Туровцев слышал сипение газа в неплотно повернутом вентиле баллона, тиканье карманных часов Штерна и стук собственного сердца. Все ждали.

Наконец раненый пошевелился. Разжались судорожно сведенные челюсти, затрепетал кадык. Митя не столько видел это, сколько осязал всеми десятью пальцами, ставшими вдруг чувствительными, как у слепого.

Прошло еще несколько секунд. Из горла раненого вырвался клохчущий звук, похожий на кашель. Воздух, короткими толчками вырываясь из истерзанных легких, пытался раскачать коснеющие голосовые связки. Еще одно усилие — и опять такой же звук, натужный и слабый, как из разорванной гармоники. Еще

одно — и опять этот же звук, но более отчетливый, похожий на слог «ка». Губы Каюрова зашевелились, и Митя услышал внятный шепот:

— Командир...

Митя вздрогнул и поглядел на Штерна. Штерн выразительно шевельнул бровью: я же вам говорил...

Прошло несколько секунд. Раненый собирался с силами. Затем его губы снова напряглись и выплеснули:

— Командир?

На этот раз отчетливо прошуршало «р». И все поняли — Каюров не зовет, а спрашивает. Тускнеющими глазами он всматривался в склонившееся над ним закрытое марлевой повязкой лицо и настойчиво спрашивал: «Это вы, командир? Вы пришли?»

Митя опять взглянул на Штерна. Штерн быстро приложил палец к тому месту, где повязка прикасалась к губам: молчите. Тогда он оглянулся на Холщевникова и прочел в его взгляде: да действуйте же, черт подери!..

«Они оба правы,— соображал Туровцев.— Говорить ничего нельзя. Надо действовать, и действовать по-горбуновски, так, чтобы Василий поверил, что командир действительно явился на его зов. Но для этого надо хоть на секунду стать Горбуновым».

Он напрягал волю, память, воображение. Единственным его желанием было исчезнуть, раствориться и уступить свою оболочку Горбунову. Несколько мгновений полной сосредоточенности — и действие родилось само собой: властным и вместе с тем ласкающим движением Митя прижал ладонь к лицу Каюрова, прищипав между пальцами нижнюю губу. И когда через несколько секунд, испугавшись своей смелости, он, не отнимая руки, ослабил нажим, по тому, как дрогнули под пальцами лицевые мускулы, ему показалось, что раненый пытается улыбнуться.

— Командир,— зашептал он; шепот его был так слаб, что Митя больше угадывал, чем слышал.— Я вернусь... На мое место — никого. Я — скоро...

Каждое слово стоило ему страшного напряжения.

— Я — скоро,— повторил он. Вдруг все мышцы лица разом ослабели, глаза закатились — он потерял сознание.

Врачи засуетились. Туровцев, чтоб не мешать, отодвинулся вглубь, к задраенному наглухо иллюминатору. Минуту или две на него не обращали внимания. Потом

Холщевников что-то пробурчал, и Митя почувствовал: его мягко оттесняют к двери. Он не сразу понял, чего от него хотят, и заупрямился.

— Идите, идите, молодой человек, — шепнула ему Прасковья Павловна. — Я позову, позову.

Он покорно пошел к двери, думая только о том, чтоб не пошатнуться и не задеть Холщевникова. Хотя в перевязочной не было ни души, он опять забился в угол. Скорчившись на скамеечке, он не сводил глаз с двери операционной, готовый вскочить, как только его позовут.

Но его больше не позвали. Прошел час, может быть, два. Наконец дверь распахнулась, и из нее вышли, вернее, вывалились оба врача в смятых окровавленных фартуках и, не глядя на Митю, устремились к раковине.

Митя взглянул на их утомленные, потухшие, как будто сразу состарившиеся лица и не стал ни о чем спрашивать. Он позвонил Бегуну и попросил дать пар в душевую машинного отделения.

Проводив хирургов в душевую, Туровцев вернулся в лазарет и попытался проникнуть в операционную. Дверь с резиновой прокладкой оказалась заперта. На стук выглянула Прасковья Павловна и, увидев Туровцева, сделала строгое лицо:

— Нельзя.

Митя не стал спорить. Он опять присел — все на ту же скамеечку — и стал ждать. Вообще говоря, его миссия была окончена. Больше ничего сделать нельзя, следовательно, пора возвращаться на лодку. Но уйти, не взглянув еще раз на Каюрова, было невозможно, другого случая проститься наверняка не будет: не такое время, чтоб устраивать гражданские панихиды, а на кладбище Горбунов, несомненно, поедет сам.

«Поедет! — подумал Митя почти вслух. — Интересно, на чем это он поедет? Во всем городе покойников возят на детских саночках и хоронят без всяких гробов по сорок человек в братской могиле. Вот кончится война, приедет в Ленинград Мурочка с Лешкой, спросит товарищей: «Где похоронен мой муж лейтенант Василий Каюров? Покажите мне его могилку, пусть и сын посмотрит, он хоть отца не видел, а всегда про него спрашивает...» А товарищи в ответ: «Не помним точно,

уважаемая, где-то в районе Охты, только знаков никаких не осталось, не до того, понимаете, было...»

— Так нет же.— Он вскочил.— Будет Васька лежать в настоящем гробу и в отдельной могиле. А чтоб могила не затерялась, положим поверх холмика старый адмиралтейский якорь — есть у меня на примете. Пусть видят, что лежит моряк...

Подойдя к двери, он решительно постучал. Опять выглянула Прасковья Павловна. Вид у нее был суровый.

— Что вам?

— Пустите. Надо.

— Что надо-то?

— Мерку снять.

Это родилось внезапно и подействовало. Прасковья Павловна смягчилась:

— Ладно, подождите минутку.

Действительно, не прошло и минуты, как дверь вновь приоткрылась. Выглянул рыжий санитар:

— Заходите, товарищ лейтенант.

Митя перешагнул через комингс, и его сразу охватило холодом. Когда он уходил из операционной, там было тесно, светло и жарко. Теперь стало просторно, полутемно и очень холодно. В открытый иллюминатор залетали снежинки.

Тело Каюрова по-прежнему лежало на столе. Простыня обтягивала лоб и ступни и слегка топорщилась на груди, там, где угадывались скрещенные руки. Снежинки садились на лоб и не таяли.

Прасковья Павловна, продолжая двигаться так же быстро и неслышно, как во время операции, взяла длинную суровую нитку и, не касаясь тела, сняла мерку. Затем осторожно, точно боясь потревожить спящего, отвернула простыню, и Митя увидел лицо Каюрова. Смерть вернула ему сходство с самим собой. Теперь лицо опять стало знакомым, а на губах застыло то самое выражение, которое предвещало, что минер готовится съязвить или сказать что-то забавное; Митя настолько изучил эту сдерживаемую до поры улыбку, что, поймав ее на лице приятеля, обычно ворчал: «Ну, что, что? Ну, скажи уж...» Мите очень захотелось сказать это Каюрову, но он понимал: лежащее на столе неподвижное тело только похоже на Каюрова, но оно уже не Каюров, Каюрова нет и никогда не будет. И больно не оттого, что его нет, а оттого, что он был и не перестал суще-

ствовать для Мити, в то время как Митя полностью перестал существовать для Каюрова. И это было мучительно, как неразделенная любовь.

«Как это просто,— горестно размышлял Митя,— был и нет. Жил на свете долговязый юноша, щедрый, отважный и веселый, удивительно легкого характера. Любил свою Мурочку и с радостным удивлением ждал рождения сына. Собственно говоря, он только начинал жить. Всю свою юность он учился и знал для своих лет много: разбирался в высшей математике и атомной физике, зачитывался Циолковским и грезил об астронавтике. Если б он услышал, что производится набор экипажа для межпланетного экспресса, то, отложив тяжелое объяснение с Мурочкой, взял бы четвертушку бумаги и написал своим неуставившимся почерком письмо с предложением услуг и приложением краткого жизнеописания. И вот — не дожил, нет Василия. Придет черная весть в зверосовхоз, что в области Коми, опалит смертной тоской старость Никиты Каюрова и сияющую юность Мурочки, нависнет над кроватью маленького Лешки, он пока не чувствует боли, но это только отсрочка, его научат любить отца, которого он никогда не видел, а вместе с любовью придет и боль...»

...«Мне тоже больно,— думал Митя,— значит, я любил его. Но тогда почему я так мало дорожил его дружбой, когда он был рядом, так близко, что, вскакивая по тревоге, я всякий раз ударялся головой о его провисающую койку? Что я знал о нем, что сделал ему хорошего, чем дал понять, что он мне дорог? Неужели нужно потерять, чтоб оценить? Вот умрут отец или мать — куда деваться от стыда за то, что так мало думал о них, за свой мальчишеский эгоизм и дурацкую фанаберию? Ведь по существу им от меня немного надо: они хотят, чтоб я был жив, здоров и счастлив. Ну и естественно, они тревожатся, когда от меня долго нет писем, и огорчаются, что я мало рассказываю о моих делах, которые им почему-то интереснее, чем свои собственные...»

Митя давно чувствовал, что в глазах у него стоят слезы. Пока это была только слегка мешавшая видеть горячая пленка, положение было терпимым, однако ни в коем случае нельзя было допускать, чтоб они потекли по щекам. Прежде чем вытереть глаза, Митя быстро оглянулся, он хотел убедиться, что за ним не следят. И, к своему глубокому удивлению, не обнаружил ни рыжего санитаря, ни Прасковьи Павловны. Все же ему

показалось, что он не один, за его спиной кто-то дышал. Он обернулся и увидел комдива. Комдив стоял в ногах у Каюрова и не отрываясь смотрел, как ложатся снежинки на лоб и волосы минера. По мужественному грубому лицу Кондратьева текли слезы, даже крутой бугристый подбородок был мокрым от слез, и комдив, задумавшись, не замечал этого.

Сперва Туровцева смущало присутствие комдива, но смущение быстро улеглось. Комдив горевал искренне и совсем не думал о том, как он выглядит в глазах лейтенанта. Он был здесь самим собой, и Митя несколько не удивился, когда Кондратьев, шумно вздохнув, шагнул к нему и безмолвно обнял за плечи.

Затем комдив, тихонько ступая, вышел из операционной, а Митя продолжал стоять и простоял бы еще долго, если бы не почувствовал, как что-то щекочет ему шею. Вздвогнувшись, он поднял руку и схватился за нитку — это была та самая нитка, которой Прасковья Павловна снимала мерку. Когда и как она попала к нему, он вспомнить не мог.

Прикосновение нитки вернуло Митю к действительности. Ему показалось, что за иллюминатором сгущаются сумерки, и он уже не решался смотреть на часы. Надо было прощаться и уходить. Митя видел много мертвых людей, но ему еще ни разу не приходилось прощаться с ними. Понаслышке он знал, что их целуют в лоб или в руку.

Но при жизни Каюрова они никогда не целовались, и Митя боялся, что получится фальшиво. Поэтому он простоял еще минуту, стараясь прочно запечатлеть в памяти застывшую на губах Каюрова знакомую пленительную полуулыбку. Затем круто повернулся и вышел.

Глава шестнадцатая

Теперь можно было двигаться не торопясь. Поднимаясь в надстройку, Митя нарочно становился обеими ногами на каждую ступеньку.

Он постучал к комдиву, никто не ответил. Рядом, в каюте комиссара, происходил какой-то крупный разговор. Митя прислушался и, хотя голоса доносились из спальной половины, отделенной от кабинета тяжелой портьерой, узнал громовой бас Холщевникова.

— Возмутительно! — кричал бригаврач на кого-то безгласного. — Цивилизованный человек, читаете разные умные книжки, а ведете себя, как полинезиец. Да и полинезийцы, уверяю вас, уже давно так себя не ведут. Вы знаете, что такое сепсис? Знаете или не знаете?

Митя на мгновение представил себе виноватое, растерянное лицо Божко, но не почувствовал жалости.

— Ах, знаете? Так вы что же — решили себя сгноить? Если вам угодно отправиться на тот свет — то, позвольте вам заметить, есть много других способов, более почетных и менее мучительных...

Митя насторожился. Бригврач кричал на Божко. Тот, на кого кричали, защищался вяло, его возражения застревали в портьере. Бригврач гремел:

— А, бросьте вы ссылаться на Божко! Это не врач, а холоп. Что вы ему прикажете, то он вам и пропишет. Будь у него хоть на грош чувства долга, он наплевал бы на ваше высокое положение и положил бы вас в госпиталь. Но ему выгодно быть посвященным в тайны начальства и тайком перевязывать вас в каюте, хотя для этого существует перевязочная. Почему выгодно? А потому, товарищ батальонный комиссар, что тогда вы перестаете заглядывать к нему в лазарет и не видите — хотя обязаны видеть, — что он довел его до полного развала. Очень рад, что вам это неприятно слышать. Пусть это будет на вашей партийной совести.

В одно мгновение Митя связал разрозненное — тяжелый сладковатый запах в каюте комиссара, утренний разговор по телефону, наглое поведение Божко. Дольше стоять под дверью было неприлично, и Митя громко постучал. Голоса сразу стихли.

Дверь открыл Штерн. После горячего душа лицо хирурга порозовело, глаза сонно щурились. Через минуту из-за портьеры вышли как ни в чем не бывало бригаврач и комиссар. Бригврач вытирал пальцы носовым платком, комиссар застегивал крючки на ворота. Подойдя вплотную к столу, комиссар расшвырял бумаги и, отыскав беленькую кнопку звонка, ткнул в нее с таким остервенением, как будто собирался взорвать корабль. Явившемуся на звонок Митрохину он приказал накрыть стол (посчитал: раз, два, три, четыре...) на пять человек, сопроводив свое приказание таким царственным жестом, что Палтус не решился спросить, откуда ему взять эти пять обедов, и ушел пошатываясь.

— Так вот, лейтенант, — сказал бригаврач, протяги-

вая Мите тяжелый, весь в монограммах, серебряный портсигар. — Можете доложить своему командиру, что вы сделали все, что могли. Пусть это послужит вам некоторым утешением.

— Утешение слабое, — проворчал Штерн.

— Э, нет, не говори, Юлий Абрамыч. В нашем деле — я имею в виду всех нас, врачей и солдат, — бывают и победы и поражения. Чистая совесть при поражениях — это то же самое, что...

— Что стерильность при ранениях, — подсказал Штерн.

— Вот именно.

Бригврач грузно опустился в кресло и вытянул ноги. Штерн тоже сел и закурил. Оба хирурга были в шлепанцах, и Митя вспомнил Горбунова и Кондратьева в день возвращения из похода. С не просохшими после горячего душа волосами, усталые и возбужденные, они расхаживали вокруг бильярдного стола в своих стоптанных тапочках, а скромный штурман плавбазы любовался победителями издали. Двое пожилых людей в шлепанцах не были победителями, но — странное дело! — Митя испытывал к ним то же граничащее с робостью почтительное чувство и так же не решался заговорить.

— Вы считаете, случай был безнадежный? — спросил он после некоторого колебания и, еще не договорив, устыдился своей бестактности.

Серебряные усы Холщевникова дрогнули.

— Безнадежных случаев не бывает, — отрезал он. — Бывают случаи, когда надежды не сбываются.

Митя так смутился, что Ивлев счел своим долгом прийти ему на помощь:

— Но шансов было мало?

Бригврач упрямо мотнул головой.

— Я не занимаюсь подсчетом шансов, — пробурчал он. Затем разразился: — Пусть подсчитывают шансы те, кто имеет право не принимать боя. Я этой возможности лишен. Врач обязан действовать независимо от шансов на успех и не думать о том, сколько крестиков и ноликов запишут на его счет бухгалтера от медицины. Настоящий хирург не прячется от тяжелых больных: пусть на десять случаев у него будет девять неудач — десятый искупает все, потому что этой десятой операцией он спасает человека от неминуемой смерти и двигает вперед врачебную науку. А вот субъекты вроде

вашего Божко годами увиливают от всех рискованных случаев, зарабатывают отличный послужной список, а кончается это тем, что приходит к нему больной с самым пошлым аппендицитом и он отправляет его прямехонько *ad patres*. Так вот, если предоставить подобного рода субъектам право судить, кто безнадежен, а кто нет, и уклоняться от вмешательства, то тогда надо идти дальше и разрешить врачам добивать безнадежных, как это уже делают господа фашисты...— Он гулко закашлялся и полез в карман за платком.— Ты согласен со мной, Юлий Абрамыч? — спросил он неожиданно высоким и сиплым голосом.

— Согласен,— сказал Штерн.— Понимаете, товарищ Ивлев, чтоб говорить о шансах, иными словами, чтобы вычислить вероятность сложного события, нужна статистика, какой мы пока не располагаем. Но эмпирически, опираясь на свой опыт и некоторое выработавшееся с годами чутье, я готов ответить на ваш вопрос.

— Ну, ну, интересно.— Холщевников снова закашлялся.

— Я берусь утверждать, что по характеру ранения лейтенант имел все сто шансов из ста на то, чтоб при своевременном и квалифицированном хирургическом вмешательстве остаться в живых и вернуться в строй.

Митя раскрыл рот. Даже невозмутимый Ивлев зашевелился и наставил ухо — ему показалось, что он ослышался.

— Сто шансов из ста,— повторил Штерн, вызывающе оглядываясь.— При единственном условии... А, Федор Федорович? — закричал он, хлопнув себя по ляжке и круто повернувшись к Холщевникову.— А? Ты меня понимаешь?

Бригврач кивнул.

— Я берусь утверждать: не будь его организм до такой степени ослаблен недоеданием и длительным перенапряжением, он был бы жив и сейчас. Его сгубила не эта штука.— Штерн вытянул длинную руку, между большим и указательным пальцами тускло поблескивал продолговатый, с рваными краями кусочек металла.— Его убила блокада. Что может хирург, если организм не помогает раненому бороться? Сегодня в Ленинграде на каждого убитого артиллерией приходится десять надломленных голодом. Если блокада не

будет прорвана, они умрут, и никакая медицина не в силах помешать этому.

— А ну скажите свое веское слово, комиссар,— пробурчал Холщевников.— Когда вы позвонили, мы с Юлием и Прасковьей как раз дебатировали вопрос об ответственности. Это простится? Скажите мне, комиссар: судить будем?

— Разве в этом может быть сомнение?

— Казалось бы, нет. А впрочем... Не так легко предугадать, как мы будем рассуждать и чувствовать через год или два.

— Вы хотите сказать: русский человек отходчив?

— Э, нет, я не про то.— Холщевников слегка рассердился.— В том, что русский человек отходчив, я как раз не вижу дурного. Поймите меня, комиссар,— я студентом кромсал матросские конечности в порт-артурском лазарете и участвую уже во второй мировой войне. До третьей я не доживу, но у меня есть дети и внуки, и вообще мне небезразлична судьба планеты. Искусство убивать себе подобных развивается гораздо быстрее медицины, и если вовремя не остановить голубчиков, наступят времена похуже обещанных в Апокалипсисе. Человечество попросту вымрет. А между тем большинство людей не хочет войны, в госпиталях эта истина всего нагляднее. Войны могут желать дикари или выродки, дикарей нет, или они не опасны, остаются выродки, их-то и надо обуздать на вечные времена. Обуздать их может только суд. Согласитесь, комиссар, расправа без суда так же малопоучительна, как суд без расправы. Мне мало мести — я хочу правосудия. Я хочу, чтоб после разгрома Гитлера человечество в интересах своего дальнейшего существования осудило войну.

— Ты рассуждаешь не как марксист,— сонно отозвался Штерн.

— Это почему же?

— Потому что ты призываешь на Страшный суд язычников. Маркс говорил: тот, кто успешно совершает революцию, вправе вешать своих противников, но не должен их осуждать. Цитата не точна, но за смысл ручаюсь. Человек, поднявший пиратское знамя реакции и восставший против человечности, должен будет признать поражение, но не признает преступления, ибо, с его точки зрения, он не преступал законов.

Холщевников сердито фыркнул.

— Ты умный человек, Юлий Абрамыч,— сказал он с осуждением в голосе,— но ум дан человеку не для того, чтоб усложнять простые вещи.

— И не для того, чтоб упрощать сложные,— отпарировал Штерн.

— Перестань, ты сам себе противоречишь. Человек, восставший против человечности! Вдумайся. А что такое человечность, как не железный свод законов, обязательных для всех двуногих, претендующих называться людьми? И при чем тут марксизм, вернее, что тут противоречит марксизму? Никогда не поверю, чтобы Маркс признавал только классовое и не видел ничего собственного всем людям,— он был слишком умным человеком для этого.

Штерн усмехнулся:

— Послушать тебя, я — адвокат, который ищет для подсудимых лазейку. Успокойся, мой бог мстительнее твоего. Да, я ищу лазейку, но только для того, чтоб ее заткнуть. Я предвижу, что после всех чудовищных преступлений люди с нечистой совестью — а их много — завопят, что нельзя судить солдата за то, что он выполнял присягу. Ведь завопят, Николай Николаевич? — повернулся он к комиссару.

— Обязательно,— спокойно подтвердил Ивлев.

Митя слушал не очень внимательно и был рад, что к нему никто не обращается. Над вопросом об историческом возмездии он как-то не задумывался, и поэтому все, что говорилось в каюте комиссара, казалось ему в равной степени убедительным.

— А что скажем мы? — настаивал Штерн.

— А мы им ответим,— сказал с силой комиссар,— что присяга не заменяет чести. Нельзя судить солдата, но можно и должно осудить палача.

— Это уже похоже на дело,— буркнул бригаврач. Вид у него был такой, как будто он к чему-то прислушивается.— А, Юлий?

— Готов с вами согласиться при условии, что вы твердо знаете, что такое палач.

— Неужели и это не ясно? — Бригврач опять начал сердиться.

— Не очень. Если вы хотите, чтоб полузабытое бытовое слово, от которого пахнет татарщиной и средневековьем, стало международным юридическим термином, необходимо четко определить его границы. Ты жаждешь правосудия, Федор Федорович? Палач —

слуга правосудия. Чтоб вздернуть Гитлера, тоже, вероятно, понадобится палач.

— Не играй словами, — зарычал Холщевников, — ты прекрасно понимаешь, о чем идет речь.

— Я-то понимаю...

— Ага, понимаешь! И я понимаю. И комиссар понимает. Человеческая речь — это средство общения между теми, кто хочет понимать. Во всех прочих случаях она бессильна. Вот и лейтенант — он понимает. Спроси его, и он тебе скажет, что такое палач.

Неожиданно Митя оказался в центре внимания. Он чувствовал, как кровь приливает к щекам, и с тоской думал, что даже блокада не вылечила его от этого унижительного свойства — вспыхивать, как девица на выданье. Еще унижительнее было то, что он не умел ответить на такой, казалось бы, элементарный вопрос. До сих пор у него не было нужды в определениях. Он ненавидел палачество, его ненависть, не отточенная размышлениями, была чутка, как реактив, улавливающий растворенные в воздухе ничтожные доли отравляющего вещества, при виде истязания он не краснел, а белел, образ Фаины Васильевны в огненном халате с разлетающимися полами и с ременной плеткой в руках не потускнел от времени.

У лейтенанта Туровцева не было недостатка в фактах. Учебники истории и газетные полосы ломились от фактов. Первобытное общество, не отличаясь мягкостью нравов, еще обходилось без специалистов заплочного дела, но как только меньшинство установило свое господство, на арену истории выступил палач. Классовое общество развивалось под хруст ломаемых костей и вопли сжигаемых заживо, заплочное искусство не отставало от развития техники, стоило изобрести динамо-машину — и начали пытаться электротоком, христиане, терзаемые язычниками на песке Колизея, очень быстро превзошли учителей, миллионы темнокожих получили Евангелие из рук палачей в сутанах. Давно прошли идиллические времена, когда каждый город имел своего штатного палача — если он заболел, казнь откладывалась или приглашался гастролер, — на смену этим почтенным ремесленникам пришли легионы добровольцев, открыто навесившие на себя палаческие эмблемы — черепа, ликторские фасции, островерхие капюшоны. Гитлер пошел дальше всех, он объявил отбросы общества цветом нации, эсэсовцы быстро дока-

зали всему миру, что убийство универсально, оно может быть развлечением и промышленностью, нашлись палачи-интеллектуалы, присочинившие на потребу палачу-работяге философию и эстетику.

Учебники истории и газетные полосы ломились от фактов. Однако именно изобилие и чудовищность фактов подавляли Митино воображение, он хватался за них поочередно, пока не вспомнил рассказ Соловцова о двенадцати эсэсовцах. Цифра «двенадцать» имела привкус легенды, все остальное было правдой — он понял это только сейчас. Бывают события настолько ужасные, что в них трудно поверить. Еще ужаснее те, в которые приходится верить потому, что их невозможно выдумать. Митя угадывал в Соловцове что-то жестокое, но Соловцову была чужда извращенность, измыслить кровавую оргию он был не способен. Чудовищность рассказанного заключалась в извращении основ, в нарушении того, что казалось доселе нерушимым. Благодарность женщине, которая тебе принадлежала, неприкосновенность детей казались Мите чем-то первичным, изначальным, присущим даже обитателям пещер. Покуситься на это немногое — значит порвать ниточку, связывающую тебя с человечеством, и погрузиться в мир насекомых и холонокровных гадов.

Все эти отрывочные мысли проносились в Митином мозгу в виде маленьких неостывших сгустков, они неслись с огромной скоростью, сталкивались, разбегались, и ввести этот поток в крутые берега формулировок Туровцев не умел. Будь это экзамен, он бы не оплошал, у него была быстрая реакция, и он достаточно понаторел в искусстве уходить от существа вопроса при помощи готовых фраз. Но его никто не экзаменовал. Трое немолодых людей смотрели на него внимательно и дружелюбно, если они кого-нибудь и проверяли, то, скорее всего, себя.

— Я не умею выразить,— хрипло сказал Митя.— Чувствую, но не умею.

— Вот и говорите, как чувствуете. Формулировками мы и так сыты по горло.

В словах Холщевникова не было ни тени ехидства, но Митя вспыхнул, как от насмешки.

— Палач — не боец, а убийца,— сказал он, мучительно ощущая, что говорит не то.— Он смел с безоружными, а в глубине — трус. Потому и жесток, что трус.— Митя до боли стиснул себе пальцы и обвел со-

беседников молящим взглядом, в тайной надежде, что его перебьют, но увидел все те же внимательные глаза. — Боец тоже убивает. В бою просто — ты меня или я тебя. Боец убьет, но не надругается. Он не смеется, не радуется чужому мучению, не куражится. А палачу мало убить, ему надо унижить, затоптать человека. Боец если и мстит, так за зло, а палач за то, что другие лучше его, чтоб возвыситься... Кончится война — боец забудет, как убивать, пойдет землю пахать или к станку, а палач — нет. Он только в самый вкус войдет...

Митя задохся и замолчал, в нем все трепетало. Он знал, что говорит бессвязно, и боялся, что его поднимут на смех. Но никто не смеялся.

— Вот видишь, — проворчал бригаврач, — понимает же он.

Штерн дернул щекой.

— Да, в этом что-то есть... Международной юридической мысли придется, конечно, потрудиться...

— Но за основу принять можно, — заключил Ивлев.

Появилась Прасковья Павловна, помолодевшая и похорошевшая после душа, ее привел Митрохин. Митя вскочил и стал прощаться.

— Куда? — удивился комиссар. — А обедать?

— Я обедал, — поспешил сказать Митя.

На этом разговор бы и кончился, если б неожиданно не вмешался Митрохин.

— Лейтенант второго не кушали, — отрапортовал он, не глядя на Митю.

— Оставайся, — решил комиссар.

Мите очень хотелось остаться, но он подумал, что Грише, наверно, хотелось не меньше, и отказался.

— Прошу передать мой особенный привет Григорию Аполлоновичу, — сказал Штерн, прощаясь.

Митя вовремя удержался от того, чтоб спросить, кто это такой.

Гости ушли в салон, а Митя постучал к комдиву. На этот раз комдив отозвался — слабым голосом. Митя вошел и, заглянув за портьеру, увидел Бориса Петровича. Он был полуодет и протирал глаза.

— Уходишь? Шинель твоя у меня.

— Не зайдете к нам, товарищ капитан третьего ранга? — спросил Митя, одеваясь.

Кондратьев поморщился.

— Не знаю. Скажи — не знаю. По обстановке. Тайя хочешь? — Он протянул Мите портсигар. — Это ведь

Васька, чертило, все это выдумал, — добавил он дрогнувшим голосом.

Мите не надо было пояснять, что значит «все это». Конечно, только Василь с его умением превращать в веселую игру все, что попадалось ему на глаза, мог, прочитав вольтеровского «Дикаря», изобрести дурашливый ритуал посвящения с экзаменом по гуронской словесности. Растроганный, он чуть не позабыл о главной цели своего прихода — выпросить у комдива полуторку для проводов Каюрова и записку на тес. Момент был самый подходящий, но стоило Мите заговорить о машине, как комдив начал хмуриться:

— Ты что — с неба свалился? Всё у нас забрали — и полуторку и легковую. В штаб бригады не близок путь — и то пешочком чапаю.

С начальством не спорят, но Митя вспомнил завет комиссара («Начал грубить и жаловаться, — значит, скоро сдастся») и упорно молчал. Видя, что лейтенант продолжает стоять и своей волей не уйдет, Борис Петрович несколько раз затянулся, ненатурально пыхтя и, видимо, о чем-то раздумывая. Затем чертыхнулся, сунул ноги в шлепанцы и скрылся за портьерой.

С коммутаторами комдив разговаривал адмиральским голосом. Невидимые телефонисты вытягивались в струнку при его раскатах. Добившись соединения, Борис Петрович долго с кем-то говорил, сочувственно мыча и похохатывая, на «ты», но по имени-отчеству. Митя уже знал этот стилек: так разговаривают обычно два средней руки руководящих деятеля, связанные не подчинением, а взаимными услугами, — дружелюбно и настороженно, строго соблюдая равенство и облекая в форму грубоватой шутки точно отмеренные шпильки и комплименты. Митя не особенно вслушивался, но, услышав «Семен Владимирович», насторожил ушки — комдив говорил с Селяниным.

Переговорив, Кондратьев отдернул портьеру.

— Будет тебе машина, — сердито отдуваясь, сказал он Мите. — Номер запомни: ноль девять — девяносто шесть. Завтра в семь подойдет к трапу. Виктору скажи... А впрочем, ладно, ничего не говори. — Он протянул руку. — Прощай. Заходи.

Итак, с «Онегой» было покончено. Митя выглянул на верхнюю палубу; уже смеркалось, но его это не удивило, он потерял счет времени, ощущение было такое, как будто он вновь прожил на плавбазе большой кусок

жизни, такой большой, что за это время люди успевают измениться. На трапе он вдруг заскользил и покачнулся, но не упал, а побежал по трамплинящим мосткам, соскочил с парапета и, гонимый инерцией, добежал до Летнего сада. Там он остановился, ухватившись обеими руками за чугунные копыа ограды, сердце билось учащенно, рывками, во рту стояла вязкая слюна, пищевод сводила судорога. Митя нашарил в кармане костяную пуговицу и сунул ее в рот — это было универсальное средство, оно снимало спазм и помогало успокоить дыхание. Постояв немного, он нагнулся, чтоб смахнуть варежкой приставший к полам шинели снег, и сразу же почувствовал мучительное щекотание в носу, а на губах солоноватый вкус. Теплые, тяжелые капли торопливо покатались в снег. Против этого средств не было, оставалось прижать к носу варежку, задрать кверху голову и ждать.

Митя ждал. Над его запрокинутой головой стили хрупкие, похожие на кристаллы сахара, ветки. Было очень тихо, только где-то по соседству отщелкивал метроном, да труба «Онеги» время от времени издавала тоненький сиплый звук, и совсем издалека — со стороны залива — доносились тупые стуки, похожие на удары молотка: миноносцы били по наземным целям. Митя чувствовал легкое головокружение и странную невесомость, ему казалось, что если выпустить из рук чугунные прутья решетки, то он не упадет, а всплывет, как аэростат, и застрянет в ломких засахаренных ветках.

«Нет, что ни говорите, я все-таки типичный неудачник, — думал он, горько усмехаясь. — Надо же, чтоб человек мечтал пролить кровь за отечество, отдать ее для спасения друга, а вместо этого он стоит, боясь пошевелиться, и его драгоценная кровь, без всякой пользы для страдающего человечества, хлещет у него из носа! Неужели мне так и не суждено совершить ничего заслуживающего внимания? Ох, кажется, нет. Я всеобщая затычка, прирожденный дублер, и в лучшем случае способен кого-нибудь заменить».

Митя отнял от лица варежку и осмотрелся. Набережная была по-прежнему пуста. Чернели фермы Кировского моста и дымогарные сетки на трубах «Онеги», все остальное было укутано в белый саван и погружено в молочную декабрьскую муть.

Огромный город, как припавший к земле боец, ле-

жал, укрывшись маскхалатом. Боец истекал кровью, внутренности сводила голодная судорога, но он жил, снег таял от его дыхания, его распухшие обмороженные руки крепко сжимали оружие, утомленные бессонницей глаза смотрели зорко. Клочок промерзшей болотистой земли, на котором залег боец, был оцеплен со всех сторон и расчерчен на невидимые квадраты. Враги долго кружили и наконец залегли. Ждали, что боец обессилеет или задремлет, и чутко прислушивались. Прислушивался и боец. Временами наступала такая тишина, что врагам казалось: долгожданный миг наступил, боец потерял сознание; тогда они поднимались из своих укрытий, чтоб схватить, опутать кандалами, передать в руки палача. И всякий раз откатывались с немалым уроном — боец жестоко огрызался, бил метко и расчетливо, по-охотничьи скупясь на боевой припас.

Боец изнемогал, но не терял сознания. Высокое революционное сознание жило в его незамутненном мозгу и властвовало над израненным телом. Боец верил в правоту своего дела и знал, что он не одинок, он слышал доносившиеся с Большой земли голоса боевых друзей и сознательно предпочитал смерть унижению и пытке.

Митя отшвырнул окровавленную варежку. Внезапно он ощутил прилив энергии. На смену невесомости пришла мускульная жажда действия, на смену расплывчатым видениям — нервный подъем, мрачноватое вдохновение. Он стоял, кусая запекшиеся губы. Затем побежал. На бегу вытащил из кобуры пистолет и, дослав патрон, сунул в карман шинели — чистейшее мальчишество, но ему нравилось сжимать резную рукоятку, ощущать ее тяжесть и шероховатость. Ноги увязали в снегу, и уже через минуту пришлось сбавить темп. Он шел, широко шагая, размахивая руками и бормоча, с каждым шагом накаляясь все более и более. Вспомнив о своем недавнем обете, он пришел в ярость: «Извольте торговаться с судьбой, лейтенант Туровцев? Вы, насколько мне помнится, обещали стать настоящим бойцом при условии, что ваш товарищ будет жив? Так вот, он мертв, и вы со спокойной совестью можете оставаться такой же пешкой, какой были до сих пор. Но если в вашей душе есть хоть капля чести, вам пора понять — именно потому, что Василий погиб, вы должны свято выполнить все свои прежние клятвы и постараться хоть отчасти заменить его на лодке. Вы бол-

ван, если вас оскорбляет слово «заменить». И вообще пора прекратить рассуждения на тему «я и вторая мировая война». Надо уподобить свое сердце вмерзшему в лед кораблю и стать «отчаянным» втихую, как Горбунов, как Ждановский, как Ивлев... Ну кто бы мог подумать, что в груди у этого невзрачного старообразного человека такой «уголь, пылающий огнем», — так, кажется, у Пушкина? Агроном, штафирка ведет в атаку батальон «полосатых дьяволов», тяжело раненный, обманом избегает отправки в тыл, а теперь собирается с нами в боевой поход. Горбунов прав — стоит потесниться, чтобы дать место такому комиссару. Когда он рядом — яснее видна цель. И не цель, а Цель. Сейчас у нас цель одна — Победа.

Митя попытался представить себе Победу. Ничего не получилось. Это его озадачило — мечтать о Победе, стремиться к Победе, быть может, умереть для Победы и так и не заглянуть ей в лицо.

— Победа, — произнес Митя вслух. — Какая она — Победа?

Победа — это прежде всего свет, много света. Конец маскировочным шторам и покрашенным фарам. Потoki света хлынут, растопляя снега и разгоняя сумерки, они проникнут в подземелья и просочатся сквозь сталь и бетон, тайное станет явным, и история свершит свой суд. Туровцев никогда не был в Берлине, но он отчетливо представляет выросший на месте сгоревшего рейхстага огромный амфитеатр, Колизей из стекла и стали, заполненный людьми в светлых одеждах. Эти люди не зрители и не участники митинга — они и есть суд. Представлены все племена и народы земного шара. Советскому Союзу отведен огромный сектор, в первых рядах Ленинград, Балтика... Здесь Горбунов, Ждановский, Туляков и боцман, Юлия Антоновна, Катя и дворничиха Асият с сыном Шуриком. Вероятно, Туровцев тоже здесь, иначе как же он может видеть все это и даже слышать тенорок Ивлева. Ивлев говорит Холщеникову (он тоже здесь): «Помните, Федор Федорович, вы спрашивали — судить будем?» И бригаврач, смеясь, кивает седым ежилом и гулко кашляет в платок.

А вот и скамья подсудимых. В беспощадных ослепительных потоках света корчатся черные фигурки, фюреры и лейтеры всех рангов, генералы, унизившиеся до палачества, и палачи, надевшие генеральские мундиры. В увеличивающих рост, сдавленных с боков вы-

соких фуражках, в зеркально начищенных, обтягивающих икры сапогах, изукрашенные черепами, скрещенными молниями и прочей бандитской галантереей, они были когда-то эффектны. Сейчас — безобразны и смешны. Среди них немало штатских. Мите определенно знакома одна интеллигентного вида пара: он — уже немолодой, но свежий, гладко выбритый мужчина, виски и усики подстрижены так умело, что почти не видно седины, глаза умные, усталые, вежливо-внимательные; она — пенно-седая, но с яркими губами, и фигура девичья; более порывиста, чем муж, и тоже воплощенная любезность. Кто такие? Э, да это господин консул и его прелестная супруга, приезжавшие к Ивану Константиновичу поговорить о святом искусстве, тот самый господин консул, а впоследствии господин советник, с которым фюрер, как говорят, советовался о самых своих тайных и грязных делах, таких, в коих даже он проявлял застенчивость. Господин консул, корректный людоед, плохи ваши дела, в вашу защиту не скажешь даже того, что можно сказать о простом каннибале, унаследовавшем свои вкусы и обычаи от не избалованных цивилизацией предков.

Свет Победы так ярок, радость так велика, что судей не ослепляет гнев. Они суровы, но великодушны. Они многое прощают. Мите не очень по душе этот либерализм, но скрепя сердце он должен признать — нельзя судить целую нацию. Среди тянувшихся и гаркавших много запутавшихся, сбитых с толку — их придется помиловать. Но не всех, не всех, есть безнадежно испорченные, утратившие человеческий облик, привыкшие к запаху крови, как привыкают к наркотикам, изверги, садисты и насильники — этих выродков с гнилым жаром в крови надо уничтожать, щадить их опасно и несправедливо, мы не щадим спекулянтов и трусов, почему же надо щадить палачей?

И вообще — рано говорить о пощаде. Пока мне не дано права судить, у меня нет права миловать. Берлинское судилище — это потом, ближайшая цель — торпедный залп. «Аппараты, товсь!» Десять, тридцать, сорок раз прозвучит эта команда во время учебных тревог и пробных погружений, пока наконец не вззовет ревун и Филаретов не включит сжатый воздух. И тогда лодка, сильно дохнув, даст старт торпедам, а сама, разом потеряв десятую часть своего веса, затрепещет и рванется вверх. Боцман выравнивает глубину. Да-с, лей-

тенант Туровцев, торпеда — коллективное оружие, и единственное, что от вас требуется, — быть достойным и необходимым членом коллектива.

Он шагал, размахивая левой рукой, правая по-прежнему сжимала в кармане пистолет. Трудно рассчитывать на такую милость судьбы, как встреча с настоящим противником на перегоне Летний сад — Литейный, но он не терял надежды: существуют же, черт возьми, разные лазутчики, ракетчики, разведчики, совсем недавно на Неве задержали группу немецких лыжников. Попался бы мне один такой, хоть я и «необученный в строевом отношении», живым бы он от меня не ушел.

Взбежав на мостик, высившийся над замерзшей Фонтанкой, Митя воинственно огляделся, посылая вызов невидимому врагу. Затем начал спускаться — нарочно очень медленно. Мостик был уже позади, когда он в последний раз оглянулся — и замер.

На заваленной снегом крутой каменной лестнице — это был спуск к Фонтанке — лежал человек в черном. Вооружен он или нет, Митя не разглядел, но поза говорила сама за себя. Стрелок лежал в укрытии, а лейтенант Туровцев представлял собой идеальную мишень. Только осечка или промах врага давали Мите шанс.

Митя бросился в бой очертя голову. Он уже разбежался, чтобы, спрыгнув с высоты, обрушиться на лежащего всей своей тяжестью. Но не прыгнул, а упал на одно колено, чтоб притормозить прыжок, — человек не шевелился. Его черная куртка была слегка припорошена снегом. Человек был мертв.

Митя отрезвел мгновенно. Отряхнувшись, он осторожно спустился вниз и нагнулся. Тело лежало ничком и легко перевернулось на спину. Это был мужчина лет сорока пяти, одетый в гражданского покроя теплую куртку. Брюки заправлены в высокие сапоги, шея замотана шерстяным шарфом, хрящеватый нос, подбритые с боков короткие усы, на туго обтянутых скулах порез от недавнего бритья. Нет, не немец и не лазутчик, — русский человек, и шел, не таясь, а умер от того, что остановилось сердце. Все очень ясно: шел по Фонтанке, хотел с ходу взять крутой подъем, не осилил, схватился за сердце и упал лицом в снег. Вот откуда эта поза стрелка. Случилось это совсем недавно, может быть, в то самое время, когда умирал Каюров. Наверно, по мосту проходили люди. Одни не заметили, другие не остановились.

В наружных карманах Митя не нашел ничего, кроме жестяной бляхи, похожей на заводскую табельную марку. Однако это была не марка, а «номерной знак» — нечто вроде квитанции о сдаче на хранение документов, такие выдавали на военных заводах. Куртка на груди слегка топорщилась. Митя отстегнул верхнюю пуговицу, и из-за пазухи вывалился в снег какой-то сверток. Развернув, он увидел хлеб — свежую трехсотграммовую пайку.

«Вот так штука!»

Он с удвоенной энергией продолжал поиски — шут с ними, с документами, хотя бы клочок письма. Шаря в карманах, он дал себе обет — если найдется адрес, отнести по нему хлеб. Но в пиджаке тоже ничего не оказалось, кроме старинных серебряных часов и стертого пятака с остро отточенным краем. Часы Митя оставил, а пятак взял. Затем поднялся, отряхнул снег с колен и в последний раз взглянул на лежащего — длинные руки подняты над откинутой назад головой в жесте борьбы, светлые глаза открыты и смотрят сурово, требовательно. Нечего и пытаться сложить на груди эти руки, закрыть эти глаза.

«Откуда я так хорошо знаю это лицо? — подумал Митя. — Он на кого-то похож? На Зайцева? На Козюрина? На моего отца? Нет, если и похож, то очень отдаленно, не приметями, а чем-то неуловимым. Где же я все-таки видел это лицо? На плакате, в кинофильме?»

...«Это лицо я никогда не забуду. Странно, что меня так волнует смерть этого человека. Ежедневно умирают тысячи. Но так уж я устроен. Я глух к статистике. То, что я вижу, меня волнует. Наверно, чтобы стать великим полководцем, надо мыслить масштабно, порядками тысяч, и не придавать слишком большой цены отдельной человеческой судьбе. В таком случае я не гожусь в полководцы. Теперь, вспоминая Васю Каюрова, я каждый раз буду вспоминать и тебя, Безымянный...»

Через минуту он торопливо шел по направлению к лодке. На ходу он отломил от пайки маленький кусочек и сунул себе в рот. Это произошло как-то само собой, только ощутив вкус и запах хлеба, он отдал себе отчет в случившемся, хотел остановиться, но не смог и так, кусок за куском, доел хлеб до последней крошки, стыдясь, наслаждаясь и чувствуя себя в неоплатном долгу перед тем, оставшимся в снегу.

Глава семнадцатая

Приближаясь к кораблю, Туровцев заволновался. Волнение было несколько сродни той внутренней дрожи, что охватывает людей, возвращающихся в родные места после долгих лет отсутствия. Тут и радость встречи, и тревожное предчувствие непоправимых перемен.

Внешне все было по-прежнему. Флаг на корме, сигнальщик на мостике, часовой у трапа. Под аркой у остывающего кипятильника пытался согреть руки Святой Пантелеймон. Увидев лейтенанта, он зашевелился, но Митя нарочно убыстрил шаги, чтоб не отвечать на расспросы. И поступил предусмотрительно. Во дворе его перехватил доктор Гриша:

— Я тебя жду. Хотел навстречу пойти — побоялся разминуться. Ну что?

Митя промолчал.

— Понятно, — сказал Гриша. — Учти, всей команде за обедом объявлено: «Операция прошла благополучно, состояние раненого удовлетворительное».

Митя усмехнулся:

— Узнаю руку командира. Отменяет смерть приказом?

— Не отменяет, а откладывает до ноля часов. Людям обещали праздник, люди готовились...

Туровцев с интересом посмотрел на Гришу:

— Слушай, лекарь. Уж не твоя ли идея?

— Лишь отчасти. Точнее — мне принадлежит медицинское обоснование. А Федору — политическое.

— Что же говорит твоя медицина?

— Что человеческому организму для поддержания жизнедеятельности нужно время от времени получать хоть немного радости.

— Толково. А что утверждает политика?

— Примерно то же самое. Ладно, штурман, иди. Наши все наверху.

— А ты?

— Я сейчас тоже приду. — И, видя, что Туровцев медлит, повторил уже с раздражением: — Ну, иди, чего стал?

Митя хотел сказать «я тебя не держу», но, посмотрев на Гришино лицо, удержался и стал подниматься по лестнице.

На кухне горела коптилка. Граница писал письмо. Он был так увлечен своим делом, что позволил Туров-

цеву подойти вплотную. «Добрый день, Валя,— писал Граница,— поздравляю Вас со славной годовщиной нашего боевого корабля»... Услышав за собой тяжелое дыхание, он наконец оглянулся и, узнав штурмана, вскочил.

Юный вестовой еще не владел искусством скрывать свои чувства, и его лицо отразило всю гамму. Он колебался: улыбнуться и поздравить с праздником или надуться и обиженно промолчать.

— Кушать будете, товарищ лейтенант?

Митя кивнул. Граница спрятал письмо и засуетился.

— Отдыхайте, товарищ лейтенант. Разогреется — я за вами приду.

Пробираясь коленчатым коридорчиком, Митя услышал доносившиеся из каминной женские голоса. Он приоткрыл дверь и увидел пылающий камин, а возле него элегантное общество: здесь были Горбунов и Ждановский в двубортных тужурках и крахмальных воротничках, старый художник, облачившийся в странный пиджак с шелковыми отворотами, и две нарядно одетые женщины. Одну из них Митя узнал сразу — это была начальница объекта, на лицо второй ложились резкие тени. Шел спор.

— Перестаньте, я вам не верю!

Голос — красивый, очень низкий — показался Мите знакомым.

— Почему же? — негромко спросил Горбунов. Виктор Иванович стоял сбоку, опираясь локтем на каминную доску, и был хорошо освещен. Он любезно улыбался, но Туровцев достаточно знал своего командира, чтоб видеть, когда тот начинает заходиться.

— Не верю, потому что противостоит. Не мигай мне, папа, я все равно скажу... (Теперь Митя уже не сомневался: это была Катя, Катерина Ивановна.) — Убеждена, что вы все это на себя напускаете. Ну-ка посмотрите мне прямо в глаза. А теперь повторите. Вы любите войну?

— Э, стоп, не надо передергивать. Я не говорил, что люблю войну. Я сказал — люблю воевать.

— Это уже казуистика.

— Нисколько. Я не хотел войны, но когда по радио сообщили, что Гитлер перешел границу...

— Вы были счастливы,— язвительно вставила Катя.

— Во всяком случае, почувствовал облегчение.

— Тетя Юля, ну ты послушай, что он несет?

— А что вас удивляет? Война все равно висела в воздухе. Не знаю, как вы, а я физически ощущал эту предгрозовую духоту. Когда вскрыли пакеты и прочитали первый боевой приказ, мы целовались, как верующие на пасху. Помнишь, Федя?

Ждановский кивнул.

— Чудовищно,— воскликнула Катерина Ивановна уже не так уверенно.

— Что именно?

— А вот это ваше «люблю воевать».

— Вы только что,— продолжая улыбаться, сказал Горбунов,— с лестным для нас восхищением говорили о героизме подводников. А теперь удивляетесь, что эти люди, оказывается, любят свое дело.

— Это совсем другое. Когда идет война — каждый становится солдатом.

— А вот это и есть казуистика. Это ведь только при царе Горохе воевали так: дозорный на колокольне зрит вражескую рать и бух в колокол, народишко сбегается, кто с протазаном, а кто и попросту с дубиной,— и пошла крошить. А у меня на лодке стоят такие мудреные механизмы, что из толкового парня с десятилеткой надо еще два года делать матроса. Вы скажете, матрос идет служить не своей волей, а по призыву. Ну а я? Никаких материальных ценностей, выражаясь языком политической экономии, я не произвожу, стою немыслимо дорого. Если при этом я еще не люблю и не хочу воевать, то согласитесь сами — фигура получается малопочтенная.

Катерина Ивановна не сразу нашлась с ответом, и Митя воспользовался наступившей паузой, чтобы войти и поздороваться. Он предполагал, что его приход вызовет переполох, но Горбунов только слегка кивнул головой и показал место у огня.

Прежде чем снять шинель, Митя вытащил из кармана пистолет и, не глядя, бросил на каюровскую койку.

— Осторожно, штурман,— сказал Ждановский.

Митя оглянулся и ахнул. На койке, которую он считал пустой, уткнувшись лицом в подушку, лежал человек.

— Это инженер,— пояснил Горбунов.— Не будите.

— Его теперь пушкой не разбудишь,— сказала Кречетова.— Катерина так орала...

Как это часто бывает, с появлением свежего человека спор угас. Художник с дочерью ушли на свою половину.

— Да, кстати, помощник, — сказал Горбунов, когда все разошлись. — Мы тут без вас совершили некоторое самоуправство.

Митя, сидевший у огня так близко, что от брюк уже пахло паленым, вскинул глаза. Удивили его не слова, а тон.

— Мы с Ждановским пригласили к праздничному ужину хозяев дома, начальницу объекта и строителя нашего корабля Павла Анкудиновича Зайцева. Мы считали, что нас к этому обязывает благодарность, ну и, конечно, традиция...

И опять за привычной самоуверенностью Митя уловил смущение.

— Может быть, вы находите нужным пригласить еще кого-нибудь?

Глаза их встретились.

«Что это, подвох? Ехидничает, испытывает?» Однако ни в глазах, ни в тоне командира не было и тени ехидства, взгляд был не въедливый и даже не очень внимательный. «А что, если в самом деле позвать Тамарку?» — с неожиданной лихостью подумал Митя, но тут же угас.

— Да нет, кого же... — протянул он, пряча глаза.

Пришел Граница и позвал обедать. Митя сам утверждал раскладку и все-таки был поражен роскошью праздничного обеда: суп из шпрот с гречкой, макароны по-флотски, компот из сухих груш. Хлеб и второе он сразу же, не скрываясь от Границы, переложил в голубую пластмассовую коробочку — Тамаре.

Пока Туровцев, обжигаясь, хлебал горячий суп, Граница болтал. В душе он еще не примирился со штурманом. Если б лейтенант тогда не раскипятился, а, сделав соответствующее внушение, припечатал внеочередной наряд, Граница принял бы это как вполне заслуженную кару. Но он догадывался, что штурман дал ему «всю катушку» не потому, что строг, а потому, что «потерял себя». Граница уважал людей, которые себя не теряют, вот почему его так пленил Соловцов. Будь Соловцов вестовым, он, уж наверно, сумел так подавать и убирать тарелки, что у лейтенанта кусок не пошел бы в горло, но Граница был моложе и простодушнее, к тому же он был возбужден, и его прорвало. Туровцев слушал

его болтовню вполуха. Впрочем, кое-что показалось ему любопытным. Оказывается, дочь хозяина Катерина Ивановна работает теперь диктором на радио. (Граница даже удивился, что лейтенант не знал, это знали все на лодке.) Дома она ночует редко, потому что дикторы — те же радисты, живут при объекте на казарменном положении, там у них и рацион, и все прочее. Но старик всегда знает, когда она придет, и с полдня хлопочет, встречает...

— Как же он может знать?

— Будто по голосу...

После обеда Митя имел полное право прилечь, но не лег, а отправился на лодку. Перед тем как нырнуть в люк, он осмотрелся. Снаряд пробил лед метрах в пятнадцати от носа корабля, образовался кратер. Пробойна в корпусе была ниже ватерлинии и потому не видна. Только в одном месте, примерно в районе двенадцатого шпанноута, окаймлявший лодку черный пояс незамерзшей воды растекся в лужицу, как будто горячая кровь растопила снег. В центральном посту Митю встретил боцман, отутюженный, надраенный и мрачно торжественный. Отрапортовав положенное, он шумно вздохнул, высморкался и умилительно беспомощным жестом повел рукой: сами видите, какое горе...

На первый взгляд центральный пост не пострадал. Стало только темнее и как будто тише. Перегорела одна из лампочек, разбился матовый плафон, осколки выметены, но один, крошечный, застрял в стыке между двумя матами, Туровцев показал на него глазами, и боцман, изобразив на лице священный ужас, кинулся поднимать. Затем он наклонился к Мите и, сохраняя на лице все то же торжественно-мрачное выражение, прищурил один глаз:

— Таки что?

Застигнутый врасплох, Митя пробормотал, что состояние раненого удовлетворительное. Боцман продолжал держать глаз прищуренным, и Мите пришлось выдать из себя еще одну фразу: «Все будет зависеть от того, как пройдет ночь». Убедившись, что из штурмана больше ничего выжать не удастся, Халецкий сделал вид, что вполне удовлетворен, на самом же деле не поверил ни единому слову и в продолжение всего обхода ревниво следил, чтобы к штурману не лезли с вопросами.

В первом отсеке Туровцев застал всю аварийную

партию: Филаретова, Джулая, Конобеева, Савина. При появлении штурмана они приподнялись, и Митя увидел заведенный по всем правилам, как на учении, аварийный пластырь. Однако пластырь был не учебный, с войлока капала вода.

Во втором отсеке остро пахло хлором, один из аккумуляторных блоков был поднят. Митя провел варезкой по пластине — посыпался глёт. Осыпание глета было неприятностью не меньшей, чем пробоина.

В пятом — дизельном — отсеке Туровцев слегка повеселел. Сообщения были неутешительные — в левом двигателе между цилиндрами обнаружена трещина, — но от улыбки Тулякова исходила такая спокойная уверенность, что Мите стало уютнее жить на свете.

— Сварочка потребуется, товарищ лейтенант.

— Легко сказать, — буркнул Митя единственно для того, чтоб услышать возражение. Но Туляков согласился.

— Это точно, говорить легко, — поспешно сказал он. И, помолчав, добавил: — Ничего, будет как новенький.

В корму Митя не зашел — там глядеть было нечего — и вернулся в центральный пост. Он отпустил боцмана, вызвал Савина и вместе с ним устроил генеральную ревизию приборам. Результаты были нерадостные — одни приборы бездействовали, другие бессовестно ввали. Зато его порадовал Савин. С обычным своим бесстрастным видом, но с поразительным упорством он изыскивал все новые и новые способы проверки. Они провозились около часу, почти не переговариваясь и не поднимая глаз, за них говорили руки. Наконец их взгляды пересеклись на прикрепленной к кожуху прибора узенькой пластинке «без завода не вскрывать». Оба засмеялись и впервые посмотрели друг другу в глаза.

— Что ж, подождем завода, Савин?

— Боюсь, долго придется ждать, товарищ лейтенант.

Митя выругался и рванул заводскую пломбу. Савин испуганно ахнул и сорвал вторую. Ставши сообщником преступления, он заметно оживился, от его прежней светскости не осталось и следа.

За сорок минут до ужина Савина вызвали на репетицию. Митя усмотрел в этом перст судьбы. Конечно, для решающего объяснения времени маловато. Но по-

сле ужина ускользнуть наверняка не удастся, а откладывать на завтра — опасно во многих отношениях. «Глупо, что я оставил голубую коробочку под матрасом», — размышлял он, стоя на мостике и торопливо застегиваясь. «Ладно, в другой раз», — решил он, совсем забыв, что именно этого другого раза быть не должно.

Отправляясь к Тамаре, он всегда был беспокоен, но на этот раз, спустившись по ступенькам, он почувствовал себя так, как будто без передышки взбежал на самый верхний этаж, — сердце колотилось, и во рту пересохло. Пришлось сделать остановку, чтоб успокоить дыхание, а заодно собраться с мыслями. Оказалось, что он решительно не знает, с чего начать. Не было даже решено: лгать или говорить правду. Помимо чисто моральных преимуществ, правда хороша тем, что ее не надо выдумывать. Но Митя не был убежден, что он знает правду, — то, что казалось неоспоримой правдой в отсутствии Тамары, рядом с ней катастрофически таяло и рассыпалось. Горбунов был неоспоримо прав, требуя принести в жертву Тамару, но Тамара была живая и совсем не хотела быть жертвой, и в этом тоже была правда.

«Вот так всегда, — думал Митя, стоя в темном коридоре. — На охоту ехать — собак кормить. Не знаю даже, как поздороваться. Хорошо, если Тамара встретит меня холодно, — я этого терпеть не могу и сразу ожесточаюсь. Когда ожесточаешься, гораздо легче быть выдержанным и толковать о долге. Ну, а если бросится на шею?»

Митя прислушался. Он хорошо изучил все звуки, населявшие полуподвал. Легкое звяканье за дверью справа: Николай Эрастович помешивает стеклянной палочкой какое-то варево. Материалом ему служат самые неожиданные вещества, например бельевой крахмал; он делает кровяную колбасу из гематогена и добывает пищевые жиры из свечей «Анузол». Сзади доносится легкое поскрипывание: это орудует напильником Серафим Васильевич Козюрин. Напильник мелкий, так называемый личной, у драчeveго звук совсем другой — громкий и визгливый. Из комнаты, где живет дворничиха, доносится ритмическое мурлыканье — это развлекается Шурик Камалетдинов. Шурик — блокадное дитя, он может сидеть в темноте часами, ни страх, ни скука ему неведомы.

И только из комнаты Тамары не доносилось никаких звуков.

Ушла?

Если так — то объяснение откладывается. И не по вине лейтенанта Туровцева.

Снаружи дверь запирается только на дешевенький висячий замок. Роль этого замка чисто символическая, ибо даже Шурику известно: никакого ключа не нужно, одно из колец выдергивается вместе с винтом.

Митя ощупал кольца. Замка нет. Значит, дома.

Он постучал и, не дожидаясь ответа, нажал на массивную дверную ручку. Ручка подалась, но дверь не открылась.

Она была заперта.

Митя удивился. Обычно дверь не запиралась. Впрочем, из этого правила было исключение. Митя очень ясно представил себе, как Тамара, сердито вырвавшись, прикладывает палец к губам и показывает на черную тарелку репродуктора: сделай погромче, а сама бежит к двери, несколько секунд стоит, прислушиваясь, и осторожно, без стука, опускает тяжелый медный крючок. Затем круто поворачивает, протягивает к Мите тонкие руки, и теперь глаза уже не сердитые и не озабоченные...

Ах, черт меня дери!

Митя приложил ухо к двери. Чтоб лучше слышать, сорвал с себя ушанку и приник щекой к липкому, пахнущему мебельным лаком дереву.

Тишина.

Спит?

Он постучал еще раз, громче.

Вопреки здравому смыслу, утверждавшему, что различаются между собой только звуки, а тишина всюду одна и та же, Митя все больше приходил к убеждению, что за дверью как-то особенно тихо. Тишина отличалась от обычной, как заряженное оружие от незаряженного.

Ее надо было взорвать.

Рискуя привлечь внимание соседей, Митя стал трясти дверную ручку. Расшатанная ручка гремела и лязгала.

Наконец тишина взорвалась: скрипнула кровать, с грохотом упали на пол туфли. Стуча и шаркая, туфли добежали до двери — и остановились. Рука шарит, отыскивает крючок, — значит, в комнате темно. Сейчас раздастся тихий щелчок...

Но щелчка не последовало. Голос Тамары — такой тихий и невыразительный, что Митя еле узнал его, — произнес:

— Кто это?

— Это я, Тамара, — сказал Митя нетерпеливо. — Отопри.

Он нажал ручку, готовясь открыть дверь сразу, как только упадет крючок.

Однако крючок не падает, и дверь не поддается.

— В чем дело, Тамара? — говорит Митя уже недовольным голосом. И опять прижимает ухо к двери.

— Ко мне нельзя, — слышит он все тот же, чужой, лишенный интонаций голос.

— Что?

— Ко-мне-нель-зя, — повторяет Тамара. Чтоб не говорить громко, она выговаривает каждый слог.

Скажи Тамара «убирайся вон», Митя был бы менее растерян.

— Почему?

— Я не одна.

— Что ты говоришь? Я ничего не слышу, — отчаянно шепчет Митя. Он отлично расслышал, но еще не верит своим ушам.

— Потому что, — донеслось до него еще четче и раздельнее — так передают по ночному радио сводки для областных газет, — потому что я не одна. Ты слышишь меня?

— Да.

— Я прошу тебя уйти.

Простучали каблуки, скрипнула деревянная кровать.

Тишина.

Несколько секунд Митя простоял в оцепенении. Затем метнулся к выходу.

На лестнице он остановился и в спасительной темноте попытался отдать себе отчет в том, что же, собственно, произошло. Несомненным было только одно — произошло нечто совершенно неожиданное, грубо опрокидывающее все Митины представления о том, что могло и должно было произойти. Столкнувшись с этим неожиданным, Митя был настолько ошеломлен, что искреннейшим образом не знал, какое чувство владеет им в данную минуту: горе или гнев, отвращение или веселое изумление. Он примеривал их по очереди, и все казалось ему впору.

— Что же, собственно говоря, случилось? — произнес Митя вслух. Это был старый, проверенный способ наводить порядок в мыслях. — Случилось то, что и должно было случиться. Произошел разрыв, причем в наиболее легкой и, будем говорить откровенно, выгодной для вас форме. Теперь вам не в чем себя упрекнуть.

Придя к такому благополучному выводу, следовало застегнуть ворот шинели, надеть шапку и в сознании исполненного долга отправиться по своим делам. Вместо этого лейтенант Туровцев расстегнул душивший его ворот кителя и прижался лбом к ослизлой, пахнувшей хлором штукатурке.

«Откровенно говоря, мне сейчас немножко не по себе, — признался он минутой позже. — Человек же я, в конце концов. Не будем только преувеличивать. Это царапина. Пройдет несколько дней, царапина заживет, и сегодняшний вечер останется в моей памяти как эпизод, не лишенный даже некоторого комизма. Сюжет для Ги де Мопассана. И в самом деле, если вдуматься, — разве все это не забавно?»

Митя заставил себя рассмеяться — смех получился какой-то замогильный.

— Ей-богу, смешно, — сказал Митя и, задрав голову, захохотал. На этот раз смех, отразившись в лестничных маршах, прозвучал так раскатисто и громко, что Митя почел за благо поскорее убраться. — Итак, свершилось, — бормотал он, взбираясь по избитым ступенькам. — Ну и отлично. Тем лучше. По крайней мере — сразу.

Тугая пружина взревела и, вышвырнув Митю на крыльцо, с грубым лязганьем захлопнула дверь.

— И отлично, — повторил Митя. — Отрезано.

По инерции он продолжал до ломоты в скулах растягивать рот. Ему казалось, что на его губах играет улыбка, вызывающая и слегка презрительная.

— Ну и прекрасно! — проскандировал он из последних сил. — Великолепно. Я оч-чень доволен.

Но заклинания помогали мало. В глубине души Митя знал, что ему совсем не хорошо и будет еще хуже. «Да, мне плохо, — признался он, глядя в черное небо. — Как мне может быть хорошо? Убит мой друг. Корабль, на котором я имею честь служить, получил тяжелые повреждения. Вот это — серьезно. Остальное — вздор. Так часто бывает: человек отлично держится, а затем

какой-нибудь пустяк выводит его из равновесия. Как в самбо — даже слабый толчок сбивает с ног, если его не ждешь».

И тут же понял: вранье.

«Если разрыв с Тамарой — вздор, то какого же черта я сейчас думаю только об этом вздоре?» Ответ нашелся очень быстро: «Потому что это совсем разные вещи. Смерть Каюрова для меня большое горе. Это глубокая, но чистая рана. Она не загрязнена изменой».

Нужное слово было найдено.

«Да, измена! Что там ни говори, мы были очень близки. И выставить меня вот так, через дверь, без объяснений? Прав был Виктор Иванович: к черту, к черту! Никому из них верить нельзя. Так что в моем состоянии нет ничего удивительного — я впервые столкнулся с изменой. Горбунов — тот был потрясен еще больше меня...»

Это был явный перебор, и Митя счел своим долгом поправиться: «Положим, случай несколько другой. Совершенно одинаковых случаев вообще не бывает. Конечно, Тамара мне не жена, и — если уж быть честным до конца — разве я не шел к ней именно с тем, чтоб расстаться?» Но объективности хватило ненадолго.

«Да, но она-то... — чуть не завопил он, наливаясь обидой, — она-то ведь этого не знала!!»

Аргумент показался ему неотразимым. «Да-с, не знала. Представим на одну только минуту, что я шел совсем не с этим. Шел, чтобы сказать: Тамара, я устал врать и прятаться, а жить без тебя тоже не могу... И в награду за эти свои нежные чувства — аусгешлоссен — целую пробой. А там, за дверью...»

Услужливое воображение немедленно нарисовало такую картину, что Митя зажмурился и застонал.

— Сволочь, — сказал он свистящим шепотом. — Проститутка.

Так было легче.

«А на что вы рассчитывали, сэр? Вспомним, так сказать, историю вопроса. К Тамаре вас привел Божко. Иметь Божко в числе своих знакомых — плохая аттестация для женщины. Для мужчины тоже, но в данном случае речь не обо мне. Вы шли в этот дом в расчете на мимолетное приключение. Приключение затянулось. Всякий другой на моем месте давно бы, решительно и без лишних угрызений, поставил точку. Но

я — щенок, и к тому же сентиментальный щенок. Казарма — не институт для благородных девиц, я охотно слушаю, когда травят всякую похабщину, и смеюсь анекдотам из репертуара Божко. Но в глубине моей души живет ничем не поколебленное убеждение: принадлежа друг другу без любви, люди попирают какой-то извечный человеческий закон. Вот почему, нарушая его, люди лгут, они бормочут слова любви, силясь обмануть себя хотя бы на несколько коротких мгновений. И вот почему изнасилование издавна считается преступлением, близким к убийству».

...«Так или иначе — протрезвление наступило. Будем же объективны. Скажем спасибо за все, что было хорошего, и не будем слишком строги к слабой женщине. Налицо случай, неоднократно описанный в художественной литературе: красоте надоел бедный студент. Даю вводную, применительно к блокаде: вместо студента — бедный лейтенант, вместо жемчужного кольца и собственного выезда — бычки в томате. Суть та же. Интересно, кто там у нее — неужели Селянин? А впрочем, что мне за дело до этого? Главное — не оглядываться».

В доме раздался звук, похожий на грохот якорной цепи. Кто-то гулко затопотал. Митя вздрогнул и заторопился. Показываться на людях в таком виде нельзя, только глупый не поймет, что с помощником приключилась какая-то в высшей степени постыдная история. Единственное место, где можно скрыться от глаз, — Набережная. Если оставшиеся минуты провести в молчаливом общении с природой, он сможет успокоиться настолько, чтоб явиться к праздничному столу не в растрепанных чувствах, а спокойным, внимательным, любезным хозяином кают-компаний. Конечно, занесенная снегом Набережная — это не совсем природа, но тем-то и дивен Ленинград, что в нем любой перекресток соперничает одухотворенностью с живой природой. Недаром такой тонкий художник, как Иван Константинович, всю жизнь пишет эти мосты и набережные, лиловатую дымку петербургских сумерек, отражающиеся в тихих водах сизые облака, призрачный свет белых ночей и пылающие нежарким оранжевым пламенем закаты.

«Главное — не оглядываться!»

Перед тем как нырнуть под арку, он все-таки оглянулся, чтобы в последний раз посмотреть на флигель.

И оказалось, что он видит его впервые. Просто-напросто в первый раз. Для него было открытием, что на фасаде лепные украшения, что Тамарино окно — предпоследнее в нижнем ряду (он не узнал бы его, если б не гора грязного обледеневшего снега, доходящего до разбитой и заделанной куском белого асбеста форточки). Митя дорого бы дал, чтоб заглянуть внутрь, но это было неосуществимо — к окну не подойти, да и маскировка сделана на совесть. Все равно что пытаться заглянуть в скрытые за черными очками глаза слепого.

«И отлично. Мы ведь, кажется, условились — мне нет ни малейшего дела до того, кто там и что там...»

Он сделал еще несколько шагов, но у самых ворот какая-то сила вновь грубо повернула его обратно.

— Нет, мне есть дело! — прошипел он. — Между нами все кончено, но я хочу, могу и даже обязан знать, что там происходит. Любовник — пожалуйста. Ну, а если резидент? — Сознавая всю чудовищность своего предположения, он ухватился за него со злым упрямством: — А что? И очень может быть. Если я такой лопух, что не умею отличить потаскушки от порядочной женщины, то тем более меня может обвести вокруг пальца шпионка.

«Ты потеряла на этого мальчика уйму дорогого времени. Шеф недоволен...» «Ты уверена, что он ни о чем не догадывается?..» «Ну смотри. А то мы его быстро уберем...»

Воображение добросовестно, хотя и несколько трафаретно, нарисовало резидента, но категорически отказалось придумывать реплики Тамаре.

«Нет, я ни на грош не верю ни в какого резидента, — уныло подумал Митя. — Никаких резидентов. Там Селянин. Ходил, сидел и высидел. Нужно быть таким теленком, как я, чтобы принимать его за доброго дядюшку. Он оказался умнее. Ждал своего часа. И дождался. Как можно знать что-нибудь о других людях, когда я решительно не понимаю, что творится в моей собственной душе?»

Еще несколько шагов.

«...А зачем это нужно — знать, что в ней творится? Интеллигентское самокопание. Когда умирал Василь, я не ковырялся в себе — я действовал. А все мои рассуждения только доказывают, что я ломаю комедию, а внутри совершенно равнодушен».

Несколько секунд он простоял, не шевелясь, прислушиваясь к тому, как стучит кровь.

«Равнодушен? Идиот, ты в бешенстве!»

Он действительно почувствовал, что холодеет.

«Если б не спасительные тормоза, воображаю, каких бы ты наделал делов. Ты готов сделать непоправимое — вломиться силой, опозорить, убить...»

...«А может быть — молить о прощении?»

Завизжала пружина. Митя прижался к стене. Дверь-мышеловка хлопнула, проскрипели торопливые шаги. Тоскливо, как пустой трамвай на крутом повороте, пропела дверь черного хода. Кто-то вышел из флигеля и вошел в дом.

Выйдя из ворот, Митя сразу свернул вправо. В этой части Набережной он никогда не бывал. Он шел быстро, спотыкаясь, жадно хватая ртом холодный воздух, капли горячего пота остывали у него на лбу. Остановился он, только убедившись, что зашел в тупик — Набережную пересекал глухой забор. Митя сунул в рот трубку и подошел к реке. Здесь не было гранита, и спуск был пологий. За рекой — черная, притаившаяся — лежала Выборгская сторона. От первой затяжки у Мити слегка закружилась голова. Головокружение скоро миновало, и на смену ему пришло знакомое чувство растворенности в окружающем...

С Выборгской донесся далекий гудок. Гудел маневровый паровоз. Сам по себе гудок ничего не означал, но он напомнил, что существует время. Несколькими сильными затяжками Митя раскурил трубку и поднес к ней часы: стрелки показывали без пяти семь — время, когда помощнику надлежит быть уже на месте. Митя представил себе, как командир поглядывает на дверь и досадливо морщится. Ровно в девятнадцать часов ноль-ноль минут он удивленно вскинет бровь и пригласит всех к столу. Дальнейшее предугадать нетрудно.

Бежать уже не имело смысла. Митя решил пройти весь обратный путь нормальным шагом, с тем чтоб войти не запыхавшись, а по дороге придумать приличное объяснение. Ничего удовлетворительного он придумать не смог и уже на лестнице принял отчаянное решение: он войдет со спокойным лицом, не торопясь снимет шинель, пригладит волосы и как ни в чем не бывало подойдет к столу. Если командир спросит о причинах опоздания, помощник почтительно, но очень твердо ска-

жет: «Если разрешите, товарищ командир, я вам потом доложу». Что будет потом, уже несущественно, важно, чтоб при этом не было посторонних.

В коленчатом коридорчике Митя в последний раз взглянул на часы и, тяжело вздохнув, распахнул дверь. Весь разработанный на лестнице план разом вылетел у него из головы. То, что он увидел, гораздо больше походило на сон, чем всё, что снилось ему этой зимой.

Застоявшийся воздух каминной был пронизан теплом и светом. Как собирающаяся закипеть вода, он состоял из движущихся, но еще не перемешавшихся слоев. В середине комнаты под сверкающей хрустальными подвесками люстрой стоял чудом возникший праздничный стол. Яркий электрический свет падал на жемчужных тонов камчатную скатерть, на резной хрусталь и расписной фарфор. Большое овальное блюдо, прикрытое массивным мельхиоровым колпаком, напоминало дот — оно господствовало над местностью. Вокруг стола стояли и двигались нарядные, празднично оживленные люди. Пахло горячим мясным жиром, духами, нафталином, сернистой каминной гарью и еще чем-то полузабытым, довоенным.

Как и следовало ожидать, первым заметил приход помощника командир. Митя весь напрягся, но Горбунов только поглядел на часы и не выразил ни малейшего неудовольствия.

— Раздевайтесь, штурман. И скорее мойте руки. Очень есть хочется.

«Что сей сон значит? — размышлял Митя, тщетно стараясь отмыть в холодной воде свои иссеченные льдом и покрытые кровавыми ссадинами пальцы. — Праздничная амнистия? Или объяснение только откладывается?»

Когда Митя вернулся, Горбунов стоял у камина и разговаривал с Катериной Ивановной. Он тут же оборвал разговор, извинился и, обняв помощника за талию, отвел в сторону.

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего, — сказал Митя, удивленный.

— Ничего — это не ответ. Голова не болит?

— Как будто нет. А почему вы спрашиваете, товарищ командир?

— По-моему, вас здорово потрянуло. Вероятно, я не должен был посылать вас на «Онегу». Кстати, если хо-

тите знать мое мнение,— вы действовали безупречно. Не ваша вина, что минера не удалось спасти. Теперь я знаю — на вас можно положиться.

Митя ничего не ответил. В горле стоял комок. Чувство горького счастья охватило его.

Вряд ли Горбунов понимал, что творится в душе помощника. Но безошибочно понял главное: его надо оставить в покое. Командир вернулся к Катерине Ивановне и продолжал разговор. Через минуту или две он вновь окликнул Митю:

— В чем дело, помощник? Приглашайте.

Тон был обычный, нетерпеливый.

Глава восемнадцатая

Бывают блаженные сны, которые годами гнездятся в далеких закоулках нашей памяти. Их нельзя ни забыть, ни вспомнить, ни рассказать. Остается только щемяще-радостное чувство прикосновенности к какому-то прекрасному, но вечно ускользающему миру образов.

И бывает явь, удивительно похожая на эти сны. Настолько, что спрашиваешь себя — да не сон ли это?

Праздничный стол был несомненной реальностью. Столь же реальным было сказочное угощение: поджаренный на лярде хлеб, частичковые консервы, благоухающее лавром тушеное мясо и настоящая на неизвестно как сохранившихся апельсиновых корочках ледяная водка.

Туровцев не был пьян. Во всяком случае, не от водки. Если он и опьянел немного, то от тепла, света, сытости, женского общества, а более всего — от неожиданной ласки командира. Сидя во главе стола — лицом к лицу с Горбуновым,— он был счастлив и стыдился этого. Конечно, это было горькое счастье, и он сам понимал, как оно непрочное. «Вероятно, так,— думал он,— чувствует себя раненый, только что снятый с операционного стола. Заботливые руки плотно забинтовали рану, еще замороженную наркозом, впрыснули морфий, опустили на немятые простыни, подоткнули пахнущее утюгом больничное одеяло, и раненый улыбается оттого, что он жив и среди своих, он наслаждается полузабытым ощущение-

нием чистоты и покоя, и ему не хочется думать о том, что еще много дней он будет метаться в жару и скрипеть зубами на перевязках и что еще долгие годы при всякой перемене погоды будут ныть его старые раны».

Он ел молча, почти не разбирая вкуса еды: от усталости все чувства притупились. На противоположном конце стола царил Горбунов. Командир был в ударе, ораторствовал и шутил, между ним и Катериной Ивановной шла веселая перепалка. Раз два Катерина Ивановна пыталась обратиться к Мите за поддержкой, но Митя, не очень вникавший в то, что говорилось за столом, только беспомощно улыбался. Он видел, как блестят глаза и движутся губы Горбунова, и беззлобно завидовал той необъяснимой власти, которую этот человек приобретал над самыми разными людьми. У него мелькнула мысль, что комдив, вероятно, тоже ощущает эту власть, но додумать мысль до конца так и не удалось. Время от времени он обводил разнеженным, слегка косящим взглядом всех сидевших за столом и думал: как хорошеют люди, когда немножно приберутся, какие у них добрые, красивые и значительные лица и какая злая нелепость, что самого веселого из нас, заразительно легкого, так умевшего радоваться жизни, нет сейчас за столом потому, что его сегодня убили другие люди, которые тоже, вероятно, собираются вот так за столом и пьют за победу, вкладывая в это слово совершенно другое, противоположное нашему понятие.

Комдив пришел к концу ужина, его уже перестали ждать. Доктор потряс оба графинчика и нацедил полную рюмку. Борис Петрович, не садясь, поднял рюмку с таким видом, как будто собирался произнести тост, но потом передумал и, сделав свободной рукой неопределенный приветственный жест, выпил и крякнул. Лицо у него было озабоченное, и Митя понял: крякнул он не потому, что водка показалась ему крепка, а все от той же озабоченности. Горбунов представил его гостям. Комдив пожал руку художнику, склонился перед женщинами, дружелюбно и фамильярно, как старому знакомому, подмигнул Зайцеву, но вид у него был отсутствующий, он все время поглядывал по сторонам — на камин и рояль, на картины и кадки с тропическими растениями, среди которых приютились сдвинутые, не по ранжиру застеленные койки. При этом он слегка покачивал головой, что в равной мере могло означать

и восхищение и осуждение. «А может быть, и то и другое сразу», — подумал Митя; он уже настолько знал комдива, чтоб не отступить перед этим кажущимся противоречием.

Скоро все поняли, что комдив пришел с единственной целью — поговорить с Горбуновым, он томился, и его нетерпение ощущалось всеми. Халецкий появился как нельзя более кстати — команда приглашала всю кают-компанию в кубрик. Боцман был очень красен, но держался молодцом и отрапортовал с шиком. Комдив на миг сбросил с себя озабоченность и заулыбался.

— Вот орлы! — сказал он.

Пока одевались, искали шапку Ивана Константиновича и палку Павла Анкудиновича, комдив и Горбунов тихонько переговаривались, их немножко подождали, но, видя, что разговор затягивается, двинулись к выходу.

Приход комдива вывел Митю из состояния блаженной анестезии, в котором он пребывал за столом. Поднимаясь по темной лестнице, он со страхом думал о завтрашнем дне. Но, переступив порог кубрика, он вновь подпал под очарование праздника. Гостей встретили приветственным гулом. Митя оглядывал знакомые лица и видел на них то же радостное возбуждение, что на лице Горбунова: в этом веселье было что-то вызывающее. «Мы живы, — читал Митя по глазам и губам, — и не разучились радоваться жизни. Мы смеемся — стало быть, не побеждены, поверженные не смеются...»

В кубрике также было тепло и светло, но потеснее, чем в каминной, и воздух погуще. Пахло скипидаром и стиральным мылом. У краснофлотцев тоже были приглашенные из гражданских — Петрович, Козюрины, Шурик Камалетдинов и еще двое каких-то ребят постарше, в одинаковых ватных штанах и одинаково стриженных под машинку. Столы и посуда были уже убраны, стулья расставлены рядами, из соседнего кубрика, превращенного в артистическую, доносились переливы аккордеона, и то и дело выглядывали загримированные до полной неузнаваемости участники концерта.

Митя нервничал. Он знал, что к выступлениям никто толком не готовился, и уже представлял себе, как Катя, вернувшись домой, говорит отцу: «Ты знаешь, папа, они,

конечно, очень милы, но все-таки это ужасающий примитив...» Он взглянул на Катю, сидевшую в первом ряду, и несколько успокоился — такое доверчивое и радостное оживление было на ее разгоревшемся лице. Рядом с Катей сидели Козюрины. Серафим Васильевич, встретившись с Митей глазами, дружески подмигнул, но жена только скользнула по нему невидящим взглядом и отвернулась.

«Слышала, как я гремел ручкой», — подумал Митя.

Ждали Горбунова и комдива. Наконец боцман не вытерпел и послал Границу разведать обстановку. Граница вернулся очень скоро и объявил, что командир извиняется и просит начинать без него. Боцман расстроился, но делать было нечего — он свистнул в дудку и, установив тишину, начал программу.

Постепенно Митя стал успокаиваться. Неподготовленность хотя и чувствовалась, но во многом искупалась воодушевлением. Боцман оказался прирожденным конферансье, его остроты, несколько грубоватые для филармонического зала, имели в кубрике шумный успех. Трюмный Обрывченко пел «Дывлюсь я на небо», торпедисты Филаретов и Цыганков разыграли сцену из Островского. Боцман предупредил, что по случаю ремонта торпедных аппаратов артисты не тверды в тексте и роль суфлера исполнит главный старшина Туляков. Тулякова вызывали кланяться, и было забавно смотреть, как солидный Туляков смущался и вытирал рукавом вспотевший лоб. Восемь матросов танцевали «Хоруми», воинственный грузинский танец, где один из участников изображает раненого. Джулая в роли раненого творил чудеса, он то повисал на руках соседа, то вспрыгивал ему на плечо, ноги его то волочились, как перебитые, то взлетали выше головы. Митя все время поглядывал на Катерину Ивановну. Она сидела, слегка подавшись вперед, и на лице ее было то самое радостно-доверчивое выражение, которое поразило Митю при первом знакомстве. Только однажды по ее лицу пробежала тень, и она быстро оглянулась назад. Именно в этот момент вошел Горбунов. Он хотел остаться в дверях, но его заметили и заставили пройти вперед. Мите показалось, что командир бледен и с трудом сдерживает возбуждение.

«Хоруми» по праву венчал программу, но боцман медлил объявить перерыв. Он пошептался с доктором, затем оба надолго скрылись в артистической. Митя, не

знавший за доктором никаких художественных талантов, недоумевал. Публика уже недвусмысленно заявила о своем нетерпении, когда вновь появился боцман и с торжественным видом объявил, что в виде особого исключения с разрешения врача выступит популярный на Балтике артист оригинального жанра Олешкевич со своим коронным номером «Короткие волны».

Зал грохнул и затопотал.

Олешкевич вышел неуверенной походкой. Дождавшись полной тишины, он прикрыл ладонью левой руки рот и нос, а правую властным движением выбросил вперед. Пальцы вытянутой руки сблизились, бережно охватывая нечто невидимое, но ощутимо круглое: поворот вправо, и все услышали очень мягкий щелчок, как при включении радиоприемника. Несколько секунд напряженного ожидания, и в кубрик прорвался нарастающий гул, тоненько забила морзянка, сквозь сухой электрический треск разрядов свистящей руладой раскатилась «свинья в эфире», тоскливо и угрожающе заняла заглушающая станция... Трудно было поверить, что все эти звуки рождаются здесь же, под ладонью Олешкевича; казалось, сигналы всего мира ворвались в тесный кубрик: сигналили гибнущие в Атлантике корабли, истратившие последний литр горючего, истребители предупреждали о посадке, тайные передатчики передавали донесения разведок, опаленная войной планета голосила. Глаза Олешкевича были закрыты, а пальцы слегка шевелились, как будто искали в диапазоне, где в тугой пучок стиснуты Ватикан и Челябинск, Осло и Ковентри, Абердин и Буэнос-Айрес.

Тягучая, вяло-торжественная, дребезжащая фраза органа (молится римский папа).

«Р-8, Р-8, почему не отвечаете, почему не отвечаете?» (Голос звонкий, сердитый, забавно окающий — славная, наверно, дивчина, боевая и веселая, когда не сердится. Где она сейчас? В Иркутске, Челябине, Алма-Ате?)

Туровцев оглядывается. На всех лицах улыбки. Размягченные, мечтательные. Все как-то притихли. У всех есть близкие. Они далеко.

Взвизги труб и пыхтение геликона. Ухает большой барабан, сочно звякают медные тарелки. Топот марширующих ног. Исступленно резкая команда, мгновение полной тишины и вдруг — лающий голос. Самодоволь-

ный, угрожающий, истерический. Слов не слышно — тарабарщина. Но его узнают. Хохот.

Снова трубы. На этот раз джазовые. Их медные жерла заткнуты сурдинами. Безвольно трепыхается флексотон. Мужской голос, придыхая и грассируя, полупшепотом выговаривает слова песенки. Слов только два — «амур» и «тужур». Голос звучит поразительно безмятежно, и матросы смеются. Тужур амур?

Два голоса — мужской и женский. Женский — мурлыкающий, отдающийся: «Ай лав ю...» Мужской — напористый, квакающий: «Во ист моней?» Она — воплощенный секс, он — воплощенная воля.

Митя оглядывается. На всех лицах улыбки: «Все это хорошо. А вот как насчет второго фронта?»

Пальцы Олешкевича оживают. Он больше не бродит в эфире — он ищет. Глаза открыты и отражают каждое колебание индикаторной лампы.

Ищет, находит, нашел.

Почему же такая тишина?

И вдруг тишина задышала. Как будто открылось окно, выходящее на большую, пустынную в этот час площадь. Ветер несет снежную пыль. Прошелестела легковая машина. Два коротких вязких трезвучия — клаксон.

Митя зажмурил глаза и увидел черное небо, побелевшие от инея зубцы старой крепостной стены и грохочущее на ветру, обледенелое красное полотнище над куполообразной крышей.

Шорох. В тысячепудовом часовом механизме переместились гири. На заснеженном циферблате скакнула стрелка. Легкое шипение... Митя приготовился: сейчас раздадутся звонкие переливы курантов, а вслед за ними мощные, величественные, вселяющие надежду и уверенность во всем мире, удары большого колокола.

Неужели это возможно?

Откинувшись на спинку стула, он ждал. И знал — ждут все.

Через минуту Митя открыл глаза и увидел — правая рука Олешкевича еще закрывает лицо, бледные губы улыбаются, глаза смотрят устало и серьезно. Было уже понятно, что номер окончен, но никто не решался первым нарушить молчание.

Потом кто-то крикнул: «Качать!» — и разразилась овация. Об окончании концерта никто не объявил, он

окончился как-то сам собой, потного, еле стоявшего на ногах Олешкевича окружили, подхватили под руки, повели...

Свистнула боцманская дудка:

— Гуроны, слушай мою команду. Стулья взять! Стулья взлетели над головами.

— Смирно, равнение направо. Шагом арш!

И стулья, переходя по цепочке из рук в руки, зашагали к выходу.

— Маэстро, прошу вальс!

Соловцов растянул мехи аккордеона.

Туровцев искал глазами командира Горбунов стоял с художником и Катей и, в свою очередь, высматривал помощника. Увидев, поманил пальцем. Митя пошел.

— Через пять минут будьте внизу, — шепнул Горбунов и, низко поклонившись, пригласил Юлию Антонову.

Боцман пригласил Катю. Петрович — Антонину Афанасьевну Козюрину.

Три пары открыли бал.

Митя стал в дверях, чтоб выйти незамеченным. Танцевать не хотелось, но вид танцующих людей доставлял ему грустное удовольствие. Горбунов танцевал хорошо, но слишком чинно, без фигур, боцман тоже вел Катю осторожно, стараясь не дышать ей в лицо, и только старый матрос показывал высокий класс. Голова у него вертелась плохо, но длинные ноги действовали исправно, он танцевал по старинке «в два па», причем вертел свою даму не только по часовой стрелке, но и в обратном направлении, чего не умел никто. Маленькая Антонина Афанасьевна с разгоревшимся, помолодевшим лицом еле поспевала за его маневрами. Мальчики в ватных штанах на поверку оказались девочками, при первых звуках вальса они обнялись и самозабвенно закружились. Их немедленно розняли, и у них объявилось множество кавалеров. Почувствовав себя в центре внимания, девчонки сразу обрели приличествующую их полу томность, они скользили, опустив глаза и слегка склонив набок коротко стриженные головы, а их рослые партнеры нарочно сутулились и старались делать шажки поменьше. Граница и Филаретов, оба отличные танцоры, оставшись без дам, попробовали было танцевать друг с дружкой, но это им быстро наскучило, Филаретов, изловчившись, перехватил даму у Петровича, а

Граница с озабоченным видом стал пробираться к дверям.

— Товарищ лейтенант,— услышал Митя рядом с собой,— можно вас на одну только минуточку?

Голос был умоляющий. Митя обернулся и увидел Границу, делавшего какие-то странные жесты. Судя по всему, вестовой хотел увлечь помощника в темный коридор для какого-то неслужебного разговора, но Туровцев помнил, что с Границей надо держаться строго официально, и не двинулся с места.

— А что такое?

— Разрешите к вам обратиться?

— Ну, ну? — промычал Митя, продолжая смотреть на танцующих.

Граница стоял руки по швам, скосив глаза на открытую дверь, ладони его шевелились. Убедившись, что помощник глух к его призывам, он тяжело вздохнул и выпалил:

— Я только хочу вам сказать: извините меня, товарищ лейтенант!

— За что? — спросил Митя, в самом деле не очень понимая.

— За допущенную грубость. Я не к тому, чтоб вы не взыскивали. Я к тому, чтоб вы не думали, что вот, мол, Граница — он свою ошибку не чувствует и не сознает. Я очень сознаю.

Это уже было что-то новое. Митя с интересом взглянул на вестового и увидел, что в глазах у Границы стоят слезы. Он был несомненно искренен.

— Ну что ж, хорошо, товарищ Граница,— сказал Митя сдержанно.— Мы это учтем.

— Вот, вот, учтите, товарищ лейтенант,— обрадованно зашипел Граница.— Пожалуйста, учтите. Очень буду вас благодарить.

Граница явно вкладывал в это слово какой-то особый смысл.

Еще непонятнее повел себя Савин. Он догнал Митю на кухне и, вежливо улыбаясь, попросил товарища лейтенанта в случае чего учесть, что он, Савин, не возражает против производства в старшины.

— Ладно,— сказал Митя, усмешкой прикрывая недоумение.— В случае чего учтем.

По лестнице он спускался озадаченный. В случае чего! Что это значит «в случае чего»? В каком это таком случае?

Из раздумья его вывел донесшийся с улицы знакомый звук, похожий на короткую пулеметную очередь. Так стреляет мотоцикл, когда его заводят. Рискуя сломать себе шею на скользкой и темной лестнице, Митя скатился во двор, свернул под арку и выскочил на Набережную. Мотоцикл уже был далеко. Тарахтя и приплясывая, он уходил в сторону Литейного. Было слишком темно, чтоб разглядеть, кто сидел в коляске, но в этом и не было нужды. Это мог быть только Селянин.

Митя находился в том состоянии духа, когда человек больше всего жаждет определенности. Только ясность могла помочь ему обрести душевное равновесие. Приплясывающий мотоцикл уносил с собой не только надежды, но и сомнения. Теперь Митя знал твердо: есть настоящие люди и есть труха. Настоящими были люди с «двести второй» и те, кто им помогает, трухой — всякие там Тамары, Селянины, Платонычи, Антонычи, Эрастычи и прочие крошки Дэзи.

«Итак, отрезано!»

На обратном пути Митя даже не взглянул в сторону флигеля.

В каминной горела люстра, вернее сказать, привязанная к люстре и ловко скрытая среди хрустальных висюлек переносная аккумуляторная лампа. То, что Горбунов, уходя, не выключил лампу, показалось Мите странным. Неужели разговор с комдивом так разволновал Виктора Ивановича, что он изменил своей обычной аккуратности?

Митя обозрел праздничный стол. Да, подобрали подчистую, ничего не скажешь. Стол уже не выглядел роскошным, у тропических растений Юлии Антоновны был жалкий вид, и даже электричество светило тускло.

Феерия кончилась.

Митя прислушался. Аккордеон замолк, слышалось треньканье пианино, заглушаемое топотом многих ног, — бал продолжался. Остро захотелось лечь и вытянуть усталые ноги, но лечь было нельзя, с минуты на минуту мог войти Горбунов. Поэтому он только присел у остывшего камина и расстегнул крючки на воротнике. Глаза его сонно скользили по освещенной поверхности стола, пока не наткнулись на нечто, упущенное при первом осмотре. Рядом с прибором помощника на маленькой тарелочке лежал красновато-бурый комок.

очень похожий формой и окраской на хороший кусок мяса.

«Начинается», — подумал Митя.

Он уже слышал о блокадных галлюцинациях. Лежит, к примеру, человек на кровати, натянул на себя всю наличную теплую рухлядь, надышал, угрелся и уже протянул руку, чтоб загасить коптилку. И вдруг видит, что стоящая на печке пиала почти до самых краев наполнена гороховым пюре. Человек отлично знает, что этого никак не может быть, всего час назад он самолично вылизал пиалушку дочиста. Но привычка верить своим глазам неистребима, и человека не покидает надежда найти этому чуду пусть маловероятное, но реалистическое объяснение. Кто-то входил и тайно благодетельствовал. Вероятность такого события близка к нулю, но все же не нуль, полностью исключить ее нельзя. Все эти рассуждения приводят к неотвратимому — человек вылезает из-под одеяла и, проклиная весь свет, шлепает по холодному полу только для того, чтобы избавиться от наваждения и убедиться, что чашка так же пуста, как и час назад.

До сих пор такие казусы происходили только с представителями гражданского населения, питающимися по низкой норме и психологически менее устойчивыми. Военный моряк Туровцев решил оказать сопротивление. Целую минуту он старался не смотреть в том направлении, но испытание оказалось ему не под силу: воровато оглянувшись, он подбежал к столу и схватил тарелочку. На тарелочке лежала скомканная детская шапочка, когда-то красная, но навеки утерьявшая свой первоначальный цвет от ношения в противогазе и оружейной смазки. Митя мгновенно сообразил, что это за шапочка и кто ее сюда принес. Он еще колебался — спрятать шапочку до более подходящего момента или оставить там, где он ее нашел, но в это время слышались тяжелые шаги, и Митя едва успел отступить на прежнюю позицию. Вошли Горбунов и Ждановский. Они вели под руки Зайцева. С Митиной помощью инженера уложили на койку и разули.

— Ничего страшного, — сказал Горбунов. — Сомлел от духоты. И потом, — командир понизил голос, — кажется, переел с непривычки...

Пока Митя и Ждановский растаскивали по местам сдвинутые койки, Горбунов прибирал на столе. Управив

шись с койками, Митя искоса взглянул на стол. Шапочка исчезла.

— В камине есть нечто противоречащее всем основным принципам, применяемым при конструировании подводных лодок,— серьезно сказал Горбунов.— Но приятное.

Он перемешал дремлющий жар и подбросил сухих щепок. Пламя вспыхнуло.

— Вот,— сказал он, потирая руки.— А электричество побережем.

Механик выключил лампу, и сразу вся комната, кроме освещенного камином пятачка, погрузилась в мрак.

— Доктор подойдет попозже,— объявил Горбунов, присаживаясь поближе к огню. Затем добавил без видимой связи с предыдущим: — Жаль, что Борис Петрович не захотел подняться.

— Точнее будет сказать — не снизошел,— проворчал Ждановский.

Горбунов взглянул на него и захохотал:

— Комик ты, Федор Михалыч!

Митя с интересом следил за каждым движением Горбунова. Командир был весел. Он не притворялся веселым, а в самом деле излучал веселье, только это было веселье особого рода, не то мирное веселье, когда человек благодушествует и готов обнять весь свет, а грозное веселье, охватывающее сильных людей в критические моменты их существования: перед боем, перед принятием крупных решений, когда человек, разом освободившись от всех страхов и мелких расчетов, готов заплатить собой за право утвердить свою волю. Такое же грозное веселье было на лицах танцевавших воинственный танец матросов, и Митя вдруг понял, почему Горбунов пожалел, что Борис Петрович не видел этого воинственного веселья, не слышал Олешкевича и дыхания зрительного зала.

— Так вот-с,— сказал Горбунов, посмеиваясь.— Объявляются новые назначения по бригаде подводных лодок. Капитан-лейтенант Горбунов — флагманский штурман бригады. Инженер-капитан-лейтенант Ждановский — дивмех, на место Шершнева. Лейтенант Туровцев,— он сделал паузу,— и. о. командира капитально ремонтирующейся подводной лодки эм-бис две-сти два.

Посмотрел внимательно на обоих собеседников и

увидел: Ждановский не поверил, Туровцев не обрадовался.

— Извините меня, ребята,— сказал командир очень тихо. Видно было, что он сильно смущен.— Это было хамство.

Митя и механик вежливо промолчали.

— Все это, конечно, чепуховина,— продолжал Горбунов,— но довольно близкая к действительности. Вопрос стоял именно так. У меня был тяжелейший разговор с комдивом. Не буду вас томить: Борис Петрович предлагает консервацию. Практически это значит вот что: на лодке спускается военно-морской флаг, и она переходит в разряд капитально ремонтирующихся кораблей. Дальнейшее ни для кого не загадка — лодку разденут, людей распишут по другим кораблям, останется только охрана — три краснофлотца и лейтенант.

Он сделал паузу в расчете, что кто-нибудь захочет вставить слово, но механик угрюмо молчал, у Мити же так пересохло в горле, что он, даже если б хотел, не сумел бы вымолвить ни слова.

— Я верю, что комдиву было нелегко предлагать мне такое решение. А мне было еще труднее возражать. Все мы очень привязаны к кораблю, но идет война, и сентиментальные доводы ни на кого не действуют. По существу, у меня был только один серьезный аргумент — нельзя разрушать коллектив. Есть наивные товарищи, которые путают формирование коллектива с составлением штатного расписания. Для них все просто: назначили начальника, заместили вакансии... Короче говоря, я боролся как лев, и в результате родился промежуточный вариант. Лодка не консервируется, и флаг не спускается.

Горбунов опять сделал паузу.

— Но,— продолжал он.— Но — и существенное. Из кораблей первой линии мы, так сказать, переходим во второй эшелон. Боевая техника до поры до времени остается на своих местах, но с частью команды придется расстаться немедленно. Второй эшелон означает также техническое снабжение во вторую очередь, питание по береговой норме...

— Прости, пожалуйста, Виктор,— перебил его Ждановский.— Насколько я понял, главное отличие лодок второго эшелона состоит в том, что они весной в море не выйдут. Тогда один черт (он сказал грубее): что консервация, что этот твой эшелон...

Митя всерьез испугался, что командир рассердится на грубость. Но Горбунов не только не рассердился, а как будто даже обрадовался.

— Вот! — сказал он, щелкнув пальцами. — В этом вся суть. Я считаю свой вариант приемлемым в единственном случае — если мы, подчинившись приказу командования, не откажемся от ранее принятых обязательств, личными силами закончим ремонт, добьемся возвращения списанных бойцов, перевода в первую линию и первыми выйдем в Балтику.

Был великий соблазн посмотреть в лицо Горбунову, но Митя опять испугался: вдруг командир увидит в его глазах растерянность, — и сделал вид, что ищет кочергу.

— У нас есть время до утра, — услышал он голос Горбунова. — В десять ноль-ноль я должен быть у командива с готовым решением. Если беремся — отступления быть не может. Если капитулируем — честнее сделать это сразу. А то сожжем горючее, измочалим людей и оставим их у разбитого корыта. Выбрасывать лозунги, в которые не веришь, — гнуснейшее из преступлений, за это надо вешать на нока-рее. Решать что-либо, не посоветовавшись с вами, я не могу и не хочу, поэтому прошу вас с полной откровенностью высказать свое мнение. Время позднее, все устали, поэтому избавим друг друга от прописных истин и заклинаний.

Стало совсем тихо. Даже наверху перестали топотать. Щепки догорали, внутренность камина еще светилась неярким оранжевым, как закатное облако, светом.

— По старой флотской традиции, — сказал Горбунов, — младшие говорят первыми.

Этого Митя никак не ожидал. В качестве младшего он привык говорить последним или не говорить совсем.

— Я-то что же... — промямлил он. — Я готов.

— К чему? — бесстрастно спросил Горбунов.

Митя не понял.

— К чему вы готовы? — повторил Горбунов, уже жестче.

От этого тона Митя немел.

— Понимаю, — сказал Горбунов. — Вы готовы исполнить свой долг. Но я ведь не спрашиваю вас, собираетесь ли вы выполнять присягу. Я хочу знать, в чем, с вашей точки зрения, состоит наш долг и как нам его лучше выполнить.

Митя продолжал молчать. Он ненавидел это состояние душевной немоты, это короткое замыкание, происходившее всякий раз, когда его силой стаскивали с проторенных путей. Куда-то к черту проваливалась хваленая быстрота реакции, и Митя чувствовал себя вызванным к доске туповатым школьником.

Выручил, как всегда, механик.

— Прошу прощения,— сказал он, дотронувшись до Митиного колена, получилось так, как будто он прервал Митю на полуслове.— Пусть сперва расскажет о минере. Хоть два слова.

Горбунов кивнул.

Митя заговорил не сразу. Скованность исчезла, мешало не отсутствие слов, а их бессилие. Он понимал, что сейчас не время рассказывать о том, какая скотина Божко и как трудно было найти настоящих хирургов, нужно было рассказать что-то самое важное, самое значительное, передать не только последние слова Василия, но и то, как они были сказаны, взять командира и механика за руки и подвести их к изголовью умирающего, заставить их вдохнуть тяжелый уксусный запах, прикоснуться к скользкой от холодного пота шее и услышать страшный свист воздуха, выходящего из разорванных легких.

— Он звал вас, Виктор Иванович,— сказал Митя одними губами и увидел, как исказилось мукой лицо Горбунова.

— Что он сказал? — хрипло спросил командир.

— Он сказал: на мое место — никого.

Оранжевое зарево померкло. Уголья еще светились.

— Расскажите.

И Митя рассказал, как умирал минер. Может быть, впервые в жизни он не боялся, что его перебьют, и не думал о том, чтоб понравиться. Он вообще не слышал себя, но с удивительной четкостью видел то, о чем говорил. Сначала это была операционная. Затем — он не заметил перехода — лодка. Он видел ее всю, от носа до кормы, шесть тускло освещенных отсеков, восемнадцать боевых постов, двести шестьдесят восемь поименованных в описании приборов и механизмов, втиснутых в тесную оболочку из стали. Теперь он знал ее наизусть и ощущал как собственное тело. Мысль о том, что надо расстаться хоть с одним из гуронов, вызывала в нем чувство, похожее на физическую боль, и все же он выразил мнение, что если обязанности минера будут вре-

менно разделены между ним и военфельдшером Марченко, если гидроакустику Олешкевичу поручить по совместительству ремонт радиоаппаратуры, если Савин возглавит группу электриков, а Туляков возьмет под свое крыло трюмных, если провести еще целый ряд хитроумных совмещений и перестановок, то можно будет, оставив на лодке двенадцать человек личного состава, закончить ремонт, а когда тронется Нева — отойти от стенки и провести пробное погружение.

Когда он замолчал, уголья совсем почернели. Горбунов взял кочергу и сунул ее в камин. Полетели искры.

— Так, — сказал командир. — Вот теперь нам известно мнение штурмана. Механик?

— Я согласен, — сказал Ждановский. — Кроме некоторых мелочей.

— О мелочах договоримся завтра, — сказал Горбунов, зевая. — Спасибо вам, братцы. Спокойной ночи.

Часть третья

Глава девятнадцатая

Капля талой воды скользнула за воротник и растеклась между лопатками.

Туровцев поежился и, весело жмурясь, посмотрел вверх. Небо сочилось голубизной, над самой головой нависала большая сосулька — не грязный клок декабрьского льда, а отмытая таянием, радостно слезящаяся, пронизанная лучами мартовского солнца и сияющая, как горный хрусталь. Радужный пот струился по сосулке, и уже набегала новая капля.

Митя засмеялся и подставил щеку. Не рассчитал — капля упала на отворот шинели, скатилась по жесткому ворсу и разбилась о пуговицу.

Он оглянулся и увидел Петровича. Старый матрос стоял, выставив вперед серебряную бороду, и тоже смотрел на сосульку. На синеватых губах застыла улыбка. Встретившись с Митей глазами, он выпрямился и громко сказал:

— Припотееват.

Митя не понял.

— Припотееват,— повторил матрос еще громче, упирая на «ё».

«Припотевает»,— сообразил Митя и радостно закивал.

Выбежал во двор Шурик Камалетдинов. Размахнулся, чтоб запустить в сосульку комком мерзлой глины, и, прежде чем его удержали, остановился...

Третья капля скользнула в черную дырочку, пробитую в истоптанной, почерневшей от сажи снежной корке.

Митя прислушался и потянул носом. Двор дома на Набережной был полон звуками и запахами.

Время близилось к обеду. Митя проспал на законном основании до одиннадцати часов — это была премия за отличный ремонт навигационных приборов. Как ни придирался Горбунов, испытания прошли безупречно. Последнее время все Митины чувства спали, он оглох ко всему, что не касалось ремонта.

Теперь слух обострился, а нюх стал собачий.

Потрескивала железная кровля, звенели падающие из проржавевших желобов капли, чирикал одинокий воробей, по исцарапанному осколками карнизу к нему подкрадывалась неизвестно откуда взявшаяся кошка. Прыгнула, сорвалась, что с кошками почти не бывает, и дико зашипела, сверкнув на Митю бешеными глазами. Взгляд ее говорил: эх, была бы я не кошка, а тигр, я бы знала, что с тобой делать, голубчик...

Донимали запахи. Пока держались морозы, в городе ничем не пахло, разве что порохом. Это был сильный, но нестойкий запах, он быстро рассеивался. Теперь в воздухе носились слабые, но волнующие запахи гари и гниения, к ним примешивался еще один, совсем таинственный — так пахнут жабры у тронувшейся копченой воблы, — и хотя известно, что никакой воблы нет на сто верст в округе, а запах исходит от сложенных во дворе ржавых железных пластин, покрытых минеральной смазкой, Митя проглатывал слюну, и челюсти сводит короткая судорога.

Есть хочется всегда, даже во сне.

Во флигеле скрипнула дверная пружина, кто-то пробует открыть дверь изнутри, не осилил — сейчас наляжет плечом. Это могла быть Тамара, и Митя бежал. Когда дверь хлопнула, он был уже под аркой.

Со времени разрыва Митя видел Тамару раз пять или шесть. Столкнувшись, они вежливо здоровались, но в разговор не вступали. Разговаривать было не о чем — отношения Тамары с Селяниным уже давно не составляли ни для кого секрета. Весь дом осуждал Тамару — не за то, что она бросила Николая Эрастовича и сошлась с другим человеком, а потому что, сойдясь с Селяниным, она разительно переменилась. Она не ссорилась с соседями и не уклонялась от дежурств, но у нее был такой отчужденный и вызывающий вид, который лучше слов говорил окружающим: да, я живу так, как мне нравится, и мне в высшей степени безразлично, что вы по этому поводу думаете. Она совсем отвалила от себя Катю и Юлию Антоновну и ни с кем, кроме Асият и

Козюриных, не якшалась. Несомненно, что голодала меньше других. Селянин приезжал часто, не таясь, иногда он привозил с собой гостей. В притихшем флигеле, где никто без нужды не двигается и все прислушиваются к каждому шороху, звук откупориваемой бутылки кажется выстрелом. Тамара этого не понимала, вернее, не хотела понимать...

О Тамаре Митя старался думать как можно проще и грубее. Красивая баба. Познакомились на вечеринке, спутались. Ни о какой любви и речи не было. Надоело голодать, подвернулся пожилой влиятельный дядька — она и переметнулась. Хвалить тут не за что, но по человечеству можно понять, рассказывают случаи похуже. Разошлись мы как-то не очень красиво, но по существу ни у меня к ней, ни тем более у нее ко мне не может быть никаких претензий. Как говорится — инцидент исперчен...

Все это было так. И в то же время совсем не так. Временами наступало просветление, и тогда Митя догадывался, что пытаться объяснить Тамару столь упрощенным способом — это то же самое, что вести подводную лодку, пользуясь школьной географической картой. Недоставало какой-то последней ясности, поэтому Митины настроения были подвержены заметным колебаниям — от приступов ненависти, когда холодеет в позвоночнике, до тайной нежности. Митя много раз пытался привести в систему свои мысли и всякий раз убеждался в том, как капризна логическая машина: еле заметное смещение в исходных данных, и вся длинная цепочка рассуждений выстраивается уже по-иному, все факты и фактики предстают в новом освещении, и как не прийти в отчаяние оттого, что любой малозначительный поступок, оказывается, может быть объяснен по меньшей мере двояко: подлостью и гордостью, равнодушием и страстью, корыстью и самоотверженностью. Сколько ни раскладывай этот пасьянс, он никогда не выходит без того, чтоб где-нибудь не передернуть.

На Набережной снег был чище и искрился на солнце. Митя даже зажмурился.

...«Верхнюю вахту несет Соловцов. В двенадцать его сменит Савин. Суточное расписание стало похоже на короткое одеяло: натянешь на нос — ноги торчат. Однако служба идет, и график ремонтных работ — тьфу, тьфу, тьфу — выполняется.

...На пустых баллонах сидят Зайцев и Козюрин.

Греются на солнышке и дымят махрой. Павел Анкудинович — инженер, объехавший полсвета, Серафим Васильевич — мастер и в жизни не выезжал за Нарвскую заставу. У Кудиныча лицо суровое, в крупных морщинах, у дяди Симы — бледное опухшее личико и нос картошкой, но корень у них один, оба они принадлежат к тому удивительному племени, которое зовется питерский пролетариат. Замечательный народ, он умеет все — делать революцию, строить корабли, тракторы и турбины. Не знаю, что бы мы делали без этих двоих. Конечно, их приходится подкармливать, одного за счет кают-компаний, другого из матросского котла. Они и понятия не имеют, сколько тревог это доставляет помощнику — ведь достаточно одному краснофлотцу заявить, что ему недодают положенных калорий, и начнется столпотворение. Комдив и военком, конечно, догадываются, но, поскольку заявлений нет, молчат...»

Горбунов стоял под репродуктором и слушал сводку. Чередовались два голоса — мужской и женский, оба низкие и красивые. Женский голос Митя узнал мгновенно. Как видно, сводка была неплохая — командир улыбался. Митя тоже прислушался, но в этот момент Катерина Ивановна произнесла: «Передача окончена», — и эти тысячу раз слышанные слова заставили Митю вздрогнуть. Ощущение было такое, как будто он случайно подслушал разговор или заглянул в чужое письмо. Ничего особенного не произошло, и, вероятно, никто из слушавших передачу, включая немецких разведчиков, не придали значения тому, что пауза между этими двумя словами была слегка, ну, может быть, на одну пятую секунды затянута, а слово «окончена» произнесено не с обычной деловитой, а с какой-то очень личной интонацией, нежной и обещающей. Митя взглянул еще раз на Горбунова и поразился — таким откровенно счастливым было лицо командира. Горбунов помахал помощнику рукой и, продолжая улыбаться, двинулся навстречу.

— Как спалось, Дмитрий Дмитрич?

— Отлично.

— Когда будем погружаться? (Типично горбуновский вольт — при чем тут погружение?)

— Так ведь лед, Виктор Иванович...

— Мало ли что лед. Лед растает.

— Растает — пойдем.

— А куда?

Понимать — это значит схватывать главное и угадывать пропущенное. Одной тренировкой это не дается, нужен единый строй, как в оркестре. С некоторых пор Митя обрел этот строй, временами он читал мысли Горбунова так же безошибочно, как сигнальщики читают семафор. «А куда?» значит примерно следующее: «Вы прекрасно отремонтировали свои приборы, штурман. Теперь забудьте о них. Думать надо о корпусных работах. Если вы уже начали о них думать, то несомненно подумали и о том, куда мы пойдем проводить пробное погружение». Но теперь Митю уже трудно заставить врасплох.

— А вот там, чтоб далеко не ходить. — Он показывает на чернеющее на правом берегу Кресты.

— Что, порядочная глубина?

— Хватает. С ручками, как говорят мальчишки у нас на Яузе.

— Это и в Кронштадте мальчишки так говорят, — сказал Горбунов ревниво.

Солнце ярко светило, командир был ласков, а настроение без всяких видимых причин испортилось. Доискиваться причин не хотелось, и, расставшись с командиром, Митя решил заняться делом.

— Эй, на мостике! — закричал он во всю силу легких. Окрик получился настоящий, командирский.

— Есть, на мостике! — зычно и весело отозвался Соловцов.

— Савина ко мне!

— Есть, Савина к помощнику командира корабля...

По сходням бежит Савин, на ходу оправляя шинель. На рукавах свежие нашивки, он к ним еще не привык — нет-нет да и посмотрит. Улыбка у него какая-то нематросская, раньше она Митю раздражала, а теперь, после двух месяцев совместной работы, кажется даже симпатичной. С приборами хлебнули горя, все шкалы и репитеры имели самый честный вид и при этом бессовестно ввали. В поисках неисправности приходилось без конца разбирать и вновь собирать одни и те же узлы, временами Туровцев подумывал об отступлении, но достаточно было взглянуть на Савина, чтоб отбросить малодушные мысли. Этот бывший саботажник, помимо сноровки и великолепной памяти, помещавшейся где-то в пальцах — он знал все схемы на ощупь, — обладал поразительным упорством, неудачи его только подстегивали.

— Ну как — отлегло? — спросил Митя подбежавшего Савина.

Савин улыбнулся, морща губы.

— Не совсем, товарищ лейтенант. Вот когда введем в меридиан...

— Забудьте временно про гирокомпас. Переключайтесь на электрохозяйство. Сколько вам нужно на смену проводки?

— Что-нибудь порядка дней десяти...

Это было любимое выражение Савина, и в свое время оно раздражало Митю не меньше, чем улыбка и штатская привычка пожимать плечами.

— Кабеля нам не хватит, товарищ лейтенант.

— Достанем.

Деловая часть была исчерпана.

— Привыкаете? — спросил Митя, показывая на новенький галун, и Савин смущенно заулыбался.

— Да уж привык почти...

— А вы знаете, Савин, не подойди вы ко мне тогда — помните? — я бы вас списал с корабля.

— Знаю. Я потому и подошел.

— Так какого же черта вы раньше придуривались?

На секунду Савин насторожился. Но только на секунду. Он с благодарностью запустил пальцы в подставленный кисет, и Митя понял: сейчас заговорит.

— Нас у матери было трое, — сказал Савин, насылая самокрутку: сырой «эрзац» разгорался с трудом. — Старший братишка у меня военный переводчик, японист, погиб в районе Хасана. Пенсия ерундовая, сестренка только в школу пошла, пришлось уйти с первого курса электромеханического и перейти на заочный. А тут призыв.

— Разве заочников берут?

— Берут. К тому же у меня хвостов много было...

— А отчего хвосты?

— Так получилось. Частный сектор подвел. — И, видя, что лейтенант недоумевает, пояснил: — Стал не столько работать, сколько прирабатывать. Началось-то с малого. Придешь с работы, мать говорит: «Юраша, за тобой от Ключевых приходили, у них приемник барахлит»... У одного радио, у другого плитка, у третьего патефон... Дом большой — шесть корпусов. Я сперва не брал денег, потом стал брать: на материал много денег уходит, да и обижаются, если не берешь. Надо бы отказывать, да как откажешь, мастерская далеко, надо

сменить сопротивление — тащи приемник на себе, сдавай под квитанцию, срок — порядка двух недель. Знаете, товарищ лейтенант, что меня удивляет, — заговорил он вдруг, оживившись, — чему людей в школе учат? Живут в доме интеллигентные люди, накупили себе электроприборов, а чуть где контакт отошел — они сразу: «SOS»! Придешь, ткнешь пальцем — горит. «Ах, ох, какой вы, Юрочка, кудесник! Сколько вам разрешите?» — «Ничего», — говорю. «Как так ничего?» — «Ну рубль». Дают пять. Бывает, сделаешь, да еще лекцию прочтешь: так, мол, и так, если у вас опять такая же история случится, вы в этом месте прижмите пальчиком, и будет порядок. Нет, говорят, мы уж тогда, если позволите, опять к вам... Сперва я ужасно как стеснялся, потом привык. Мы с сестрой приоделись, я себе верстачок отгрохал, инструмент завел. Ладно, думаю, еще год потружусь в частном секторе, а потом засяду и разом все хвосты сдам. Но не рассчитал — взяли на действительную. Между прочим, меня еще до призыва вызывали по комсомольской линии, предлагали в военно-техническое. Я и сам не хотел в кадры, но особенно мать: «Поклянись, что нипочем не согласишься». Я, конечно, смеюсь: «Чем клясться-то: если богом, так я не верю, а комсомолом — как-то неловко». — «Клянись вот ее здоровьем». Это сестры значит...

Самокрутка так и не раскурилась. Савин бросил ее в снег.

— Во время призыва на меня опять наперли: «Ты, говорят, культурный парень, неужели хочешь рядовым служить?» — «Хочу». — «Смотри, зашлем на край света, на афганскую границу». — «Это пожалуйста». — «Не шути, парень, можем и из комсомола попереть». Но тут я тоже зашелся: исключайте. Исключить не исключили, да и послали недалеко — в Кронштадт. В учебном отряде опять та же музыка: поступай на курсы младших командиров. Отказался, начал служить на корабле. Новое дело: оставайся на сверхсрочную. А меня, скажу вам откровенно, уже заело — не хочу ничего, ни в кадры, ни в сверхсрочную, хочу отслужить, что положено, и податься домой. Я легкого характера, но, если на меня напирать, во мне как будто все камнеет. Спросят — скажу, прикажут — сделаю, а чтобы сам...

— Знаю я вашу систему, — сказал Туровцев. — «Есть, товарищ лейтенант»... — Он передразнил нарочи-

то неинтеллигентную интонацию Савина, и, вероятно, удачно, потому что Савин засмеялся и умолк.

— Ну, а дальше что?

Савин пожал плечами.

— Не знаю, товарищ лейтенант. Я дальше Победы не заглядываю.

«Как все просто,— думал Митя, глядя в спину удаляющемуся Савину.— Просто, когда знаешь,— поправился он.— Знать — трудно. А ведь мы с ним годки, он мог быть моим братом. То, что он матрос, а я лейтенант,— чистая случайность, могло быть наоборот. От этого и легче — и труднее».

До обеда еще оставалось время, и Митя полез на мостик, где, кроме Соловцова, застал Халецкого и распек обоих за то, что выстуживают лодку. С тех пор как он стал меньше думать о своем престиже и больше о деле, правильный тон пришел сам собой. Боцман, выслушав выговор, метнул сердитый взгляд на Соловцова, но ничего не сказал.

«Не дружат,— отметил Митя.— Что это — соперничество, борьба за влияние?» И, вынув записную книжку, нацапарал: «X—C=? Выяснить при случае». Затем перелистал свои прежние записи и надолго задумался. С тех пор как «двести вторая» перестала числиться в кораблях первой линии, снабжение техническими материалами почти прекратилось. Пора браться за корпусные работы и ремонт трюмных систем, но нет трубок нужного сечения, нет листового металла, нет кабеля, и бедному старпому все чаще вспоминается старая сказка о солдате, варившем суп из топора. Рожденная в век примитивной техники и патриархальных отношений, она тем не менее довольно точно отражает действительное положение вещей.

Сразу после ужина доктор увел часть команды на «Онегу» — смотреть какой-то фильм, а Горбунов принялся разжигать камин. Митя удивился — камин пожирал кучу дров, и топили его только в экстраординарных случаях. Таким экстраординарным случаем мог быть приход Катерины Ивановны, она появлялась не часто, примерно раз в неделю, и оставалась ночевать. Катерины Ивановны давно уже не было видно, и Митя несколько не удивился бы, если б она вдруг вошла. Удивительно было другое — горбуновское предвидение.

Катерина Ивановна не заставила себя ждать. Сперва она промелькнула в шубе и в платке — улыбнулась

огню и помахала рукой Горбунову. Через пять минут она вернулась, уже без шубы, в своем длинном, до пят, темно-синем суконном халате. Вслед за ней шел отец, — в дни, когда топился камин, специального приглашения не требовалось. Рассаживались почти всегда на одних и тех же местах: художник и Катя справа, Горбунов посередине, левее Митя и доктор и, наконец, в самом углу, почти не освещаемый пламенем, молчаливый механик. Он не любил быть на виду и не любил смотреть на огонь. Начинался разговор, и Митя, несколько робевший в присутствии художника, очень ценил эти неторопливые беседы у огня. Иногда Горбунов и художник спорили, и Мите нравилось, как они спорят — мягко и неуступчиво, стараясь понять собеседника и не стремясь во что бы то ни стало оставить за собой последнее слово. Митя так не умел — почти каждый спор с Тамарой грозил ссорой, споры с доктором, мирные по существу, бывали утомительны для обоих из-за школьной привычки дразниться.

На этот раз разговор почему-то не завязался. Горбунов, разложив на коленях холстину, чистил пистолет, Ждановский драил пуговицы, Катерина Ивановна штопала носки. Художник вскоре задремал. Митя, выспавшийся и не знавший, чем себя занять, ерзал на своей скамеечке. Он долго возился с гнилой, утыканной ржавыми гвоздями сваей, от брюк и безрукавки уже пахло паленым. Тогда он отодвинулся от огня и, невидимый для всех, стал наблюдать за Горбуновым и Катериной Ивановной. Их стулья стояли на некотором расстоянии, к тому же наискось: Катя ближе к огню. Катя не могла видеть Горбунова, а Виктор Иванович видел столько же, сколько Митя, — освещенную пламенем часть щеки и прядь волос над ухом. Ухо казалось фарфоровым, а волосы — медными. За все время командир и Катя не обменялись ни словом, ни взглядом, и от этого было еще заметнее, как они поглощены друг другом. Стоило Кате повести головой, и Горбунов, видимо не сознавая этого, повторял ее движение. «Словно дублирующие репитеры», — подумал Митя и нахохлился. У него опять испортилось настроение, и, движимый злым чувством, он стал выламываться, как избалованный ребенок, который хочет обратить на себя внимание. Для начала он подошел к огню и встал так, чтоб всем бросился в глаза его мрачный вид. Затем подошел к своей койке и лег не разуваясь. Полежав несколько минут, он стал шуршать

лежавшей в ногах газетой, а когда и это не привлекло внимания, вскочил и стал натягивать шинель. Застегивался нарочно долго в расчете, что его окликнут и спросят, куда он идет, но никто не спросил. Он был уже на кухне, когда в коридорчике раздались торопливые шаги.

— Дима?— спросила Катя, слегка задыхаясь. В кухне была непроглядная тьма, и только по Катиному дыханию Митя угадал, что они стоят совсем рядом.

— Да, Катерина Ивановна.— Так и было задумано: вежливо, но с холодным достоинством. Катя поняла холодность по-своему и тихонько засмеялась:

— Ох, Дмитрий Дмитрич, извините, ради бога, что я вас назвала Димой. Но это потому, что вас все так зовут.

«Положим, не все, а только Тамара»,— отметил Митя, а вслух сказал:

— Да нет, пожалуйста, пожалуйста...— и вяло хихикнул. «Акустический эквивалент улыбки,— как сказал бы доктор».

— Вы можете звать меня Катей...

— А Виктор Иванович тоже вас Катей зовет?

Получилось грубовато, но Катерина Ивановна не обиделась, она вновь засмеялась, и Митя против воли залюбовался голосом — грудной, низкий, какой-то многострунный, весь в призвуках, как в ворсинках, голос, которому не нужно специально придавать выражение, он сам послушно и точно выражает состояние души.

— Виктор Иваныч? Нет, не зовет. Удивляюсь, как он не говорит мне «сударыня».

Митя промолчал.

— Я нарочно пошла за вами,— заговорила Катерина Ивановна.— Мне нужно задать вам один вопрос. Если вам почему-нибудь неудобно на него ответить — не отвечайте.

«О Тамаре»,— подумал Митя. Он и боялся разговора, и хотел его.

— Слушаю вас,— сказал он и притворно покашлял, чтоб скрыть хрипоту.

— Скажите, Дима...— Оттого, что Митя не видел лица Катерины Ивановны, он еще яснее угадывал ее волнение.— Что с женой Виктора Ивановича?

— Как — что?— удивился Митя. Удивление на секунду вытеснило все остальные мысли.— Так она же погибла...

— Что?

Это был крик шепотом. Наступила долгая пауза, не было слышно даже дыхания. Наконец Катя спросила прежним голосом:

— Вы уверены?

— Конечно, уверен.— Он вдруг заколебался: надо ли ссылаться на Соловцова.— А не лучше ли будет, если вы спросите самого Виктора Ивановича?

— Лучше? — повторила она, раздумывая.— Нет, не лучше. Наверно, мне не следовало спрашивать и вас, но у него-то я, во всяком случае, спрашивать не буду... Послушайте, а как же мальчик? Ведь был же... ведь есть же мальчик?

— Да.

— Ну и где же он?

— Неизвестно.

— Как? И никто его не ищет?

Митя обиделся.

— Почему же никто? Ищем, как умеем.

— Кто это «мы»? И как вы это делаете?

Митя прикинул: гибель Елены Горбуновой — уже не тайна. Тайна — то, что в письме. Поэтому он рассказал — только схему, опустив излишние подробности. Катерина Ивановна слушала не дыша. Затем сказала:

— Наверно, это правильно, что вы ищете полковника. Но мальчика надо искать не так. Я помогу вам.

— Вы?

— Конечно. Поверьте мне, вы совершенно не умеете искать мальчиков. А у нас на радио есть целая группа, которая этим занимается, есть специальные передачи... Боже мой, какие вы... кустари. Как зовут малыша?

— Вовка.

— Владимир?

— Конечно.

— Не обязательно. Может быть, Вадим. Или Всеволод. Половину всех девочек зовут Ляля или Люся. Владимир?

— По-моему, да.

— Значит, Владимир Викторович. Сколько ему — год?

— Что-то в этом роде.

— Надо знать точнее. Ну хорошо, спасибо.— Она шагнула вперед, безошибочно нашла Митину руку, сжала в запястье, и Митя узнал свободный доверчивый жест, с которым она взяла его за руку в день первого знакомства. И убежала, оставив Туровцева размыш-

лять о том, почему Горбунов скрыл от Катерины Ивановны гибель жены и какого рода отношения связывают этих людей.

После кухонной тьмы двор показался Мите ярко освещенным. Полная луна лила сильный ртутный свет, в котором все предметы выглядели, как на недодержанном негативе — слишком черными или слишком белыми. Воздух был влажный, острый, как огуречный рассол. «Классическая погода для бомбежки», — подумал Митя. С минуту он рассматривал небо, затем взгляд его остановился на полузасыпанном снегом черном окне. Лунный свет туда не достигал, чернота была глухая, в разбитой форточке бельмом торчал кусок грязного асбеста.

Решение родилось внезапно: он простоит во дворе ровно десять минут. Если в течение этих десяти минут из флигеля выйдет Тамара — он подойдет и заговорит. Вероятность встречи ничтожна, но, если б маловероятное все же случилось, Митя готов был усмотреть в этом указующий перст. Если же — что гораздо вероятнее — выйдет не Тамара, а любой другой человек — все равно, мужчина или женщина, — это следовало рассматривать как предостережение и указание на необходимость неуклонного выполнения ранее принятых решений.

Митя засек время и закурил трубку. Минуту или две он неотрывно следил за дверью, но затем отвлекся, и рев пружины застал его врасплох. Он быстро обернулся и вздрогнул, увидев ярко освещенное луной известково-белое лицо женщины. Женщина была не молода, накрашена и разительно напоминала своим видом бродивших у входа в Сокольнический Круг проституток — десятилетний Митя боялся их до дрожи, они вызывали у него почти мистический ужас. Женщина заметила Митю и, как ему показалось, тоже слегка вздрогнула. Проходя мимо Мити, она кивнула ему, как знакомому, от улыбки лицо смягчилось, и Митя узнал Люсю, учетчицу карточного бюро, жившую в соседнем дворе. Этой Люсе было по меньшей мере лет пятьдесят, она слыла общественницей, всем говорила «ты» и даже Юлии Антоновне кричала через весь двор: «Слышь, Кречетова!..» Во дворе она была известна всем и каждому, а при этом никто не знал ее полного имени. Говорили: приходила Люся из карточного бюро.

«Черт, какая зловещая харя», — подумал Митя. Он

уже собрался уходить — обет остается обетом, предостережение получено и принято к сведению! — когда вновь завизжала пружина. Митя не успел отвернуться, но из добросовестности опустил глаза.

Дверь выстрелила, кто-то уверенно сбежал с крыльца, заскрипел снег под подошвами, и Митя услышал: — Вы почему не здороваетесь, лейтенант?

Митя поднял глаза. Перед ним стоял Селянин, как всегда гладко выбритый, в отлично сидящей драповой шинели.

— Прошу прощения, не заметил вас, товарищ военинженер третьего ранга, — сказал Митя. Получилось неплохо и с достоинством. Все по уставу, но без виноватого блеяния.

Селянин засмеялся.

— Послушайте, за кого вы меня принимаете? Я не такой бурбон, как ваш шеф, чтоб ловить на улицах младших по званию и драить их за неотдачу приветствия. А я вас попросту спрашиваю — какого черта вы не здороваетесь? Сердитесь, что ли?

Тон был добродушный. Смешавшись, Митя пробормотал, что у него нет никаких оснований сердиться на товарища военинженера.

— Меня зовут Семен Владимирович, — напомнил Селянин. — А сердиться вам действительно не на что. Даже если б я отбил у вас Тамару Александровну — это не повод для ссоры между разумными людьми. Но я и в этом не повинен.

— Как это так? — Вероятно, нужно было промолчать, но Митя не удержался.

— А вот так. Вы бросили, я поднял.

Он спокойно выдержал Митин взгляд. Затем посмотрел на часы:

— Скотина Соколов, конечно, опаздывает. А то бы мы сейчас поехали ко мне. Может быть, зайдем? — Он кивнул на черное Тамарино окно, затем посмотрел на Митю и засмеялся: — Чудак, там никого нет. — И пояснил: — Тэ А в санатории. Вернется завтра вечером или послезавтра утром.

— В санатории?

— Ну да, в санатории. Пойдемте посидим. Жаль, что у меня там нет ничего такого... А впрочем, есть вобла. Вы любите воблу?

Неужели слова способны рождать запахи? Утренний воблый запах вновь щекотал ноздри, челюсти слег-

ка сводило. Митя вскинул часы к глазам и, не разглядев стрелок, опустил руку.

— Ну, ладно, зайдем на минутку, — сказал он тоном человека, делающего одолжение.

Глава двадцатая

В коридоре Митя вдруг почувствовал сильное сердцебиение. Хорошо, что Селянин шел молча.

Подойдя вплотную к двери, он включил свой карманный прожектор, и Митю неприятно поразило, что вместо наивных колечек, из которых одно выдергивалось с корнем, в дверь были врезаны две толстые стальные пластины, именуемые в просторечии пробоем. Замок был прежний — плоский, крашеный. Селянин пошарил за притолокой и извлек ключ. Кто-то привязал к ключу новую ленточку, и это тоже было неприятно.

— Разоблачайтесь, Дмитрий Дмитрич, — сказал Селянин. Он показал пример, бросив шинель на тахту. — Теперь я вам посвечу, а вы достаньте воблу из шкафчика.

Митя огляделся. Все знакомые вещи — кровать с витыми столбиками и шкафчик с танцующими пастушками — стояли на прежних местах. Он приоткрыл дверцу шкафчика и заглянул внутрь.

— Я что-то ничего не вижу.

— Это скандал. Не может быть, смотрите лучше.

Митя посмотрел еще раз: беленький чайник с отбитым носиком, хрустальная вазочка с одной прилипшей ко дну карамелькой, знакомые чашки, одна из них — темно-синяя с узким золотым ободком — считалась Митиной.

— Пустите-ка, — досадливо сказал Селянин.

Отстранив Митю, он присел на корточки и запустил руку в нижнее отделение. Затем выпрямился и небрежно-рассчитанным жестом фокусника швырнул на стол свернутую трубкой газету. Газета развернулась, и Митя увидел воблу, классическую, вяленую, — десяток пузатеньких, икраных рыбок.

— Недурно? Вот и ешьте. Только не особенно марайтесь — мыть руки нечем.

Митя, робея, взял одну рыбку, оторвал голову, разодрал брюшко и вытащил твердую рыжую икру с вплав-

ленным в нее пузырем. Вязкая соленая икра сразу облепила зубы. Это было непередаваемо прекрасно.

Селянин пошуровал еще в шкафчике и выдал нагора коробку из-под печенья. В коробке оказалось несколько долек чеснока и чешуйки сушеного лука.

— Употребляете? Я в рот не беру.— Он явно не спешил приступать к еде и вид имел задумчивый.— Ну ладно, все это очень мило, но, так сказать, не имеет самостоятельного значения... У вас спирту нет?

— Нет,— виновато сказал Митя.

— И достать не можете?

— Откуда же...

— Эх вы, старпом... Ладно, не расстраивайтесь. (Митя ничуть не был расстроен, ему только, как всегда, было неприятно, что он не может внести свою долю.) Сейчас мы решим и эту проблему. Не сочтите за труд, дорогой мой,— постучите-ка в дверь.

Митя растерянно оглянулся. Стучаться в дверь, через которую они только что вошли, было очевидной бессмыслицей. Оставалась наполовину загороженная печкой, прикрытая тяжелой портьерой дверь в смежную комнату.

— Стучите сильнее, не стесняйтесь,— сказал Селянин, когда Митя осторожно постучал. Сам он сидел в кресле и поигрывал фонариком.— Еще разок. Вот так. Теперь откройте задвижку.

Митя щелкнул задвижкой и прислушался. Из-за двери донеслись шарканье туфель и покашливание, скрипнула отодвигаемая мебель, лязгнуло железо, дверь открылась, и на пороге показался Николай Эрастович. Митя давно не видел его и с трудом узнал — перед ним стоял старик. Стариком его делали не согбенные плечи и не седая щетина, а взгляд — безжизненный, какой-то отгороженный. По-видимому, он узнал Митю, но не поздоровался, а только неопределенно поклонился, поклон пришелся посередине между Туровцевым и Селяниным. Затем посмотрел на Селянина вопросительно, боязливо, с плохо скрытой ненавистью.

— Привет алхимику,— сказал Селянин, направляя на него свой прожектор.— Водка есть?

Николай Эрастович испуганно замотал головой:

— Даю вам честное слово...

— Врете,— сказал Селянин, поигрывая фонариком.— Хотите, докажу?

Николай Эрастович напряженно заулыбался, Селянин кряхтя потянулся к лежавшей на столе газете.

— Так и есть,— с торжествующим возгласом он направил луч на последнюю страницу.— Третьего дня населению выдавали водку. На шестой талон промтоварной карточки. Зная вас, дорогой друг, не могу себе представить, чтобы вы потеряли темп и своевременно не отоварились.

Он направил луч прямо в глаза Николаю Эрастовичу.

— Итак?

— Честное слово...

— Отлично, сэр,— сказал Селянин.— В таком случае, наши дипломатические отношения прерываются. История рассудит, какая из великих держав при этом потеряла больше.

Николай Эрастович не ответил. Он только сделал слабый отстраняющий жест, как будто хотел отвести рукой слепящий луч фонарика, повернулся и пошел к двери. Селянин подмигнул и полез в шкафчик за чашками.

Через минуту Николай Эрастович вернулся, держа обеими руками бутылку. Поставив бутылку на стол, он попытался придать своему заросшему седой щетиной лицу не свойственное ему залихватское выражение и уже взялся за спинку стула, но Селянин вовремя разгадал маневр.

— Э, нет, голубчик. Поить вас водкой — это только попусту переводить материал. Водку мы выпьем сами, а закуску выдадим вам сухим пайком.— Он отделил две рыбки и бросил их в коробку из-под печенья.— Вот. Забирайте все это. И — ауфвидерзейн. Не благодарите.

Он проводил Николая Эрастовича до самой двери и запер ее на задвижку. Митя чувствовал себя неловко. Селянин это заметил:

— Я считаю, что с ним поступлено по-царски. Уверяю вас, в его возрасте витамины гораздо полезнее.

— По моим сведениям, вы примерно одного возраста,— грубо сказал Митя. Но дерзость не удалась. Селянин был польщен.

— Правильное суждение о возрасте мужчины имеют только женщины,— изрек он, бережно разливая

водку по чашкам. Себе он взял темно-синюю. И видя, что Туровцев продолжает хмуриться, добавил примирительно: — Вы не представляете, во что превратился этот тип. Это вымогатель.

— Все равно, нельзя же так...

— Наоборот, только так и можно. Я ведь не ищу его общества. Если ему не нравится мое обращение, пусть катится ко всем чертям.

— Но...

— Послушайте, лейтенант, — сказал внушительно Селянин. — Усвойте для собственной пользы одну простую истину: при любом устройстве общества люди делятся на тех, которым нужны вы, и на тех, кто нужен вам. В конечном счете все отношения регулируются только этим. Мой Соколов ко мне очень почтителен, но это потому, что я могу представить его к награде, а могу закатать в штрафной батальон. На всех прочих ему наплевать с высокого дерева...

— Но позвольте, — возмутился Митя.

Селянин, смеясь, поднял ладонь:

— Понимаю, пример неудачен. Соколов, конечно, порядочная свинья. Возьмем существо высокоорганизованное. Например, вас. Вы во всех отношениях доброкачественный юноша, обладающий к тому же привлекательной наружностью. Вряд ли вы страшный донжуан, но кое-какой опыт у вас несомненно имеется. Убежден, что при всех ваших прекрасных качествах вы гораздо почтительнее к девице, добиваясь ее расположения, чем потом, когда она уже имеет перед вами неоспоримые заслуги.

Митя попытался протестовать и вновь был остановлен.

— Я видел вас здесь с Борисом Кондратьевым. Борис — неплохой парень, но ничего хорошего вам пока не сделал, и кроме того, что он ваш начальник, вы о нем решительно ничего не знаете. Не хочу сказать, что вы подхалимствовали — нет, несколько, но поверьте мне, вы были очень внимательны, ловили каждое слово и очень хотели понравиться. А своим старикам, которым вы обязаны всем, включая самый факт земного существования, небось пишете одну открытку в два месяца, потому что их привязанность вам обеспечена и завоевывать ее не надо.

Когда шальная пуля попадает в цель, практически она ничем не отличается от снайперской. Попадание

было прямое. Митя разинул рот. Селянин смеялся, очень довольный.

— Я хочу предложить оригинальный тост. Выпьем... за трезвость.— Он дотронулся своей чашкой до Митиной, выпил и осторожно, чтобы не запачкаться чешуей, разодрал воблу.

Митя тоже выпил и закашлялся.

— Странный вы человек,— сказал он, стараясь говорить небрежно.

— Почему же странный? Просто вы меня недостаточно знаете.

Митя задумался.

— Вероятно, вы правы — я вас не знаю. Не могу сказать, чтоб вы мне очень нравились, но мне с вами интересно. Хочется понять, что вы за человек.

Селянин захохотал.

— Что значит русские люди — еще не выпили по второй, а разговор уже «на остриях и безднах», как выражается одна моя знакомая. Что я за человек? Человек, каких много.

— Скромничаете?

— Отнюдь. Я себе цену знаю. Таких, как я, ровно двенадцать на дюжину. И если я все же чем-то выделяюсь из этой дюжины, то разве что несколько большею способностью к трезвому размышлению. Многих это отталкивает, но я и не пытаюсь нравиться всем. Жалко, что я вам не нравлюсь, потому что вы мне очень симпатичны.

— Чем же?

— Прежде всего чистотой. И вашей юной застенчивостью, за которой мне видится не банальный характер. Кстати сказать, застенчивые люди совсем не такие скромняги, как о них принято думать. Они-то как раз ого как о себе понимают! Они потому-то и застенчивы, что боятся — вдруг их не поймут, недооценят... Дай такому застенчивому точку опоры, и он в одночасье так развернется — ахнешь только. Эй, поосторожней с костями!..

Митя остался глух к предупреждению. Его челюсти с наслаждением перемалывали рыбий хребет, желудочный сок бурлил. Селянин лениво посасывал кусочек спинки, и Митю взбесила небрежность, с какой тот швырнул в кучку шелухи вполне съедобную брюшную стенку. Он уже протянул за ней руку, но вовремя

отдернул — неоставало еще подбирать селянинские объедки.

— Насколько я понимаю, вас удивляет отсутствие Тэ А,— сказал Селянин, ковыряя в зубах.— Успокойтесь, она не в стационаре для дистрофиков, и состояние ее здоровья не внушает опасений. Просто у нее расшатались нервишки, и я почел за благо отправить ее на Биржевую. Конечно, это не Сочи и не Ривьера, но все-таки там трехразовое питание и кое-какие процедуры: хвоя, д'арсонваль и прочая такая штука. Но, по чести говоря, главное — это то, что она отдохнет от меня, а я от нее.

О блокадном санатории на Биржевой площади Туровцев слышал и раньше. В январе Горбунов тщетно пытался устроить туда Павла Анкудиновича.

— Здорово это у вас получается,— сердито сказал Митя.

— А что? — отозвался Селянин. Тон был безмятежный.

— А то, что мы с командиром бились, чтоб определить в это заведение человека, построившего наш корабль, инженера с орденом Ленина...

— Ну и что?

— И ни черта не вышло.

— Случай вполне возможный,— сочувственно подтвердил Селянин.

Сочувствие так походило на издевательство, что Митя поднял голову и встретил немигающий взгляд очень светлых глаз. Глаза были большие, неприятно красивые и выражали самое искреннее участие, не к строителю, конечно, а к симпатичному глуповатому юнцу, не понимающему элементарных правил игры. От этого взгляда Митя оледенел, весь его запал угас, и, боясь показаться смешным, он решил больше не задавать вопросов. С инстинктивной хитростью он угадал, что Селянина не нужно вызывать на разговор. Если ему что-то нужно — заговорит сам.

— Напомните мне про вашего строителя,— сказал Селянин.— Вдруг я сумею ему помочь. Конечно, если ваш протеже еще жив.— Вероятно, он сам понял, что пошутил неуклюже и круто переменял тему: — Так что сердиться на меня, дорогой мой друг, у вас действительно нет ни малейшего основания. Вы сами расстались с Тэ А и, насколько я могу судить, поступили совершенно правильно. Эта женщина не для вас.

От этой спокойной наглости у Мити потемнело в глазах. Можно подумать, что товарищ военинженер не слышал, как Митя скребся под дверью, а Тамара сказала чужим голосом: «Я-не-од-на». Ему очень хотелось высказать все это в глаза Селянину, в его большие, красивые, бесстыжие глаза, но он удержался. Он еще был в той ранней стадии опьянения, когда излишние тормоза отпущены, а способность к контролю не утеряна. Обострившийся инстинкт подсказывал: не торопись, не болтай лишнего. Поэтому он ограничился неопределенным мычанием, означавшим примерно: «вы так думаете?» или «думайте как хотите».

— Прошу понять меня правильно,— продолжал Селянин.— Утверждая, что Тэ А — женщина не для вас, я не имел в виду ничего обидного ни для вас, ни тем более для Тамары Александровны. Тэ А — прелестная женщина, а вы — очень милый молодой человек. Но у Тэ А очень сложный, причудливый, необузданный характер, а вы не тот мужчина, которому дано ее обуздать. Вам нужна милая, скромная девушка, такая же добрая и бесхитростная, как вы сами.

— Обуздывают лошадей,— буркнул Митя. Он был слегка обижен, что его называли добрым и бесхитростным.

Селянин ухмыльнулся.

— Вы плохо знаете женщин, дорогой мой лейтенант. Женщина от природы не демократична, всякое равенство она презирает. Вот почему настоящий мужчина, будь он хоть разбойник, всегда найдет себе женщину. Пока женщина голодна, она предпочитает разбойника; сытая, она начинает мечтать о праведнике и точит разбойника за то, что у него нет идеалов.

«Ого,— подумал Митя,— это уже что-то автобиографическое». А вслух сказал:

— Короче говоря, она — для вас.

Селянин покачал головой.

— Нет, и не для меня. И вероятнее всего, мы расстанемся.

Это было сказано с настоящей грустью. У Мити на языке вертелась тысяча вопросов, но он уже немножко разбирался в характере своего собеседника и поэтому только вяло хмыкнул: дескать, понимаю и согласен. Тактика себя оправдала, Селянин, ожидавший вопроса, беспокойно зашевелился и спросил:

— Почему вы так думаете?

— Так мне кажется,— беззаботно сказал Митя и сразу почувствовал, что его акции поднялись. Селянин заглянул в Митину чашку и поднял свою.

— Я очень высоко ценю Тамару Александровну,— сказал он, глядя на Митю в упор, и получилось нечто вроде тоста.— Она — явление незаурядное и, безусловно, с ее данными могла бы играть в жизни самые первые роли. Помните? — Он захохотал.— Как она всех нас наладила отсюда, когда этот болван распустил язык? Это было по-королевски! А при всем при том не знает себе цены — характер бешеный, неукротимый, ожесточенный характер... Я видел в жизни много трудных людей — злых, требовательных, самодуров и чудачков, но в конце концов я всегда понимал, что они хотят, иногда даже лучше, чем они сами...

— А ее не понимаете?

— Да, временами теряюсь.

Мите подумалось, что такие самоуверенные люди, как Селянин, не часто признаются в том, что они чего-то не понимают. Непонятное кажется им бессмысленным.

— Опасаюсь, что Тэ А принадлежит к тому, впрочем нередкому в России, типу людей, которые живут по принципу: не надо мне твоего хорошего, хочу свое плохое. Я не робкого десятка и не боюсь наживать врагов, но когда человек — сам себе враг, он становится опасен.

— Что это значит «себе враг»?

— А это значит, что, если ей взбредет в голову какая-нибудь шальная идея, она не пощадит не только вас, но и себя. На человека, который блюдет свои интересы, вы всегда найдете управу, но когда человек одержим — все средства бессильны...

Митя слушал и не верил ушам. Конечно, он знал вспыльчивый и насмешливый характер Тамары, знал ее резкость и упрямство. И все-таки они с Селяниным говорили о двух разных женщинах. Очень возможно, что в Тамаре было все то, о чем говорил Селянин, но была ведь еще простота, была нежность, была способность мгновенного понимания. Требовательность? Тамара никогда ничего не требовала... Раздумывать над всем этим было некогда, но уже рождалась, обгоняя мысль, веселая догадка, что Селянин не видел и не знает той Тамары, которая была открыта ему, Мите, и, значит,

товарищ военинженер при всем своем опыте и апломбе не так уж безошибочно разбирается в людях, есть люди, перед которыми он попросту пасует. Митя ловил каждое слово, а при этом довольно удачно изображал вежливое удивление.

— Если не секрет, почему вы поссорились с Тэ А? — неожиданно спросил Селянин.

— Мы не ссорились, — притворно зевая, сказал Митя. — Я ведь давно собирался с ней разойтись...

Это была правда, выглядевшая удивительно неправдоподобно. Поверил Селянин или нет — угадать было трудно, во всяком случае, он был заинтригован и смотрел вопросительно. Митя нарочно потянул паузу.

— Почему же? — спросил наконец Селянин. Он был немножко раздосадован, что юнец навязывает ему свой темп.

— Что? — в свою очередь, спросил Митя. Он отлично слышал вопрос и нарочно разыграл, будто отвлекся. — Почему разойтись? Не знаю, как вам объяснить... Война.

— Ах, война! — с ядовитой почтительностью отозвался Селянин. — И потому все силы должны быть целиком и безраздельно — ну и тому подобное?

— Нечто в этом роде. А что — смешно?

— Забавно. Теория вашего начальника?

— По-вашему, у меня не может быть собственной теории?

— Наоборот, я считаю вас способным на лучшее. Только такому надутому ханже, как ваш шеф, и могла прийти в голову такая постная чепуха.

— Послушайте, — сказал Митя, как мог внушительно. — Оставьте командира в покое. Я не хочу говорить о нем в таком тоне.

Селянин рассмеялся.

— Хорошо и благородно. Что же касается вашей теории — будем считать ее вашей собственной, — то разрешите мне остаться при своем мнении. Война естественно обостряет половое чувство. Солдат может поститься по необходимости. Но не по убеждению. И когда мне пытаются проповедовать весь этот вздор, я всегда думаю: либо проповедник не мужчина, либо поступает, как большинство проповедников.

— А именно?

— Проповедует одно, а живет по-другому. За примерами далеко ходить не надо... А впрочем, молчу, мы же условились...

Он приложил палец к губам, из глаз лучилось торжество. Насладившись замешательством собеседника, он вынул из брючного кармана плоский серебряный флакон, отвинтил пробку и вытряс на ладонь несколько капель.

— Хотите?

Растирая в ладонях пахнущие свежим сеном капли, Митя размышлял: неужели он намекает на Горбунова? Что он может знать? Спросить впрямую — значит сесть в калошу, я сам запретил ему говорить о Викторе Ивановиче. Он тут же отопрется, да еще поднимет меня на смех...

Постучали, и Митя вздрогнул. В этой комнате он всегда вздрагивал при любом стуке и презирал себя за это. Селянин не пошевелился, он только направил на дверь луч своего прожектора. Мите пришлось встать и открыть дверь Соколову. Бравый водитель был на этот раз не в полушубке, а в шинели со свежими нашивками на рукавах: как видно, столкновение с Горбуновым не отразилось на его служебных успехах. Сальный нос и стальные зубы блестели.

— Где вы пропадали? — спросил Селянин. Он прибавил к своему вопросу распространенное ругательство, причем Митю покорила не столько суть, сколько форма — вялая и на «вы». Но Соколову манера его шефа, как видно, нравилась, он еще шире осклабился.

— Будет доложено, товарищ начальник, — сказал он, прищурясь, и тем самым впервые давая понять, что замечает присутствие лейтенанта Туровцева.

— Ну хорошо, идите. — Селянин встал. — Вот что, Дмитрий Дмитрич, — сказал он, когда за Соколовым закрылась дверь, — поедemте сейчас ко мне.

— К вам?

— Совершенно точно — ко мне. Мне обрыдла казарменная жизнь, и я оборудовал себе на зиму гарсоньерку, нечто вроде индивидуального убежища. К тому же здесь все ресурсы иссякли, а там, глядишь, что-нибудь и найдется. — Он внимательно посмотрел на Митю и засмеялся. — Мы с вами сейчас похожи на двух школьников, причем я — развращенный старшеклассник. Подите, детка, отпроситесь у мамы... Нет, кроме шуток, — видя, что Туровцев морщится, Селянин изме-

нил тон, — даю вам слово, ровно в двадцать три ноль-ноль вы будете уже под одеялом. Соколов домчит вас домой за десять минут.

Митя почесал в затылке. Селянинское сравнение показалось ему довольно метким, он в самом деле чувствовал себя мальчиком, которого выманивает на улицу другой, про которого известно, что он добру не научит. Но именно этим и привлекательный. И точно так же, как тот мальчик, он боялся упрека в трусости и зависимости.

— Ладно, — сказал он, застегивая шинель. — Ждите меня за воротами.

Никакого подходящего предлога, чтоб просить увольнения, Митя придумать не смог и решил положиться на наитие. Пока он отсутствовал, ситуация в каминной изменилась: Иван Константинович ушел к себе, зато появился Зайцев. У огня остались только двое — Горбунов и Катерина Ивановна, теперь они сидели рядом.

На скрип двери обернулся только командир, Катя продолжала смотреть в огонь, и, стоя в дверях, Митя ясно видел розовое ухо и сверкающий, как тончайшая медная проволока, завиток волос.

— Виктор Иваныч, — тихонько окликнул Митя. На всякий случай, он решил не подходить вплотную.

— Да?

— Разрешите мне сходить в город...

— Да.

Разговор был окончен. Митя, не рассчитывавший получить «добро» с такой быстротой и легкостью, продолжал топтаться в дверях. Горбунов сказал улыбаясь, но уже с оттенком нетерпения:

— В двадцать три часа, надеюсь, мы увидимся.

Селянин ждал Митю, сидя в коляске мотоцикла.

— Долгонько, — сказал он. — Ну, а теперь живо — садитесь на багажник и хватайтесь за Соколова.

Митя замялся. Ему совсем не хотелось обниматься с Соколовым. Только боязнь показаться мелочным заставила его сесть. Соколов дал газ, и мотоцикл, треща и чихая, побежал вдоль реки. Несколько раз коляска наезжала на сугроб, и всех сильно встряхивало, затем колея стала шире, дорога ровней, и Митя, давно ни на чем не ездивший, обрадовался быстрому движению. Ветер приятно щекотал лицо, дышалось легко, Митя освободил одну руку и снял шапку. Он нарочно не за-

говаривал с Селяниным и только после того, как мотоцикл, миновав обшитого досками Всадника, взбежал на гулкий настил моста лейтенанта Шмидта, спросил, куда же его все-таки везут. Селянин сидел в коляске развалясь и в ответ только усмехнулся. Усмешку можно было трактовать двояко. Первый вариант был такой: «Доверьтесь мне и позвольте сделать вам сюрприз». Второй: «Привезут — увидишь». Вторым вариантом был вероятнее, и Митя надулся. Вынужденный держаться обеими руками за водителя, он почти не смотрел по сторонам. Улицы и набережные казались вымершими, дома стояли, как покинутые соты. Теперь они ехали правым берегом, еще более пустынным, чем левый, затем юркнули в длинную, засыпанную снегом улицу, состоявшую, как показалось Мите, из одних сплошных заборов. В заборах было много сквозных дыр от снарядов, справа их было больше, и Митя догадался, что Нева слева и что они едут параллельно реке, в сторону залива, отделенные от берега только неширокой полосой заводской территории. В конце улицы Соколов затормозил, гуднул и молча задрал ногу. Туровцеву надлежало догадаться, что он мешает водителю слезть с седла, Митя не догадался, и Соколов, не оборачиваясь, сказал «разрешите» таким возмутительным тоном, что Митя с удовольствием трахнул бы его по затылку. Затем Соколов нырнул в узенькую дверцу, оказавшуюся «проходной», а Селянин сел за руль и осторожно въехал в раскрывшиеся перед ним ворота. Несколько зигзагов по заваленному железным ломом заводскому двору, и мотоцикл остановился перед длинным приземистым складским строением.

— Милости прошу в мою персональную келью, — сказал Селянин.

Комната, куда он ввел Митю, действительно напоминала келью, кладка стен была монастырская. Неизвестно, для какой цели она была выстроена, но перед войной здесь помещался красный уголок, об этом свидетельствовали развешанные на стенах портреты и стоявшие в углу свернутые знамена. Из обстановки уцелели только диван с высокой спинкой и большой стол, накрытый рваным сукном. У печурки стоял детский стульчик. Остатки прочей мебели, аккуратно распиленные, лежали у печки. Вероятно, печку недавно топили, в келье было тепло. «Этому везде тепло», — подумал Митя.

— Как видите, живу по-спартански, — пояснил Селянин, обводя своим прожектором беленые стены и

сводчатый потолок. — Дело в том, что я со своими людьми провожу здесь, на заводе, учет материальных ценностей. Это волынка недели на три. Так вот, чтоб не мотаться...

— А что за ценности?

— Ничего интересного. Что вам нужно?

— Мало ли. Трубки красномедные, латунь листовая, кабель экранированный...

— Если поискать, то, может, и найдется. Напомните мне. Да будет! — возгласил он, щелкнув выключателем. Вспыхнул свет, такой яркий, что Митя в первое мгновение зажмурился.

— Ого! — вырвалось у него. — Как вы это делаете?

— Догадайтесь. — Селянин сделал паузу, чтоб насладиться своим превосходством, затем милостиво пояснил: — Проще простого. Здесь завод, — стало быть, напряжение двести двадцать. Практически — сто шестьдесят. Я беру городскую лампочку в сто десять вольт, и она горит у меня день, два, пока не перегорает. Тогда я ввинчиваю новую. — У него был такой довольный вид, как будто он по меньшей мере открыл новый физический закон. — Будем топить? Не будем, правда? А как насчет чайку? По-моему, в высшей степени целесообразно. Для таковой цели существуют электрические плитки. Не поленитесь, дорогой мой, плитка под диваном, место не совсем удобное, но, как сказано в Евангелии, дабы не вводить в соблазн малых сих... Вот я и не ввожу.

Пока Митя шарил под диваном, Селянин успел наведаться в какой-то тайник и извлечь оттуда бидон и несколько различного размера жестянок.

— Хлеба нет, — объявил он, заглянув в жестянку побольше. — Шроты будете есть? Я не ем, а вы попробуйте, вдруг вам понравится. Зато к шротам вы получите нечто такое, чего, наверно, давно не пробовали. Займитесь, голубчик, чайником, а я возьму на себя сервировку.

Даже изображая гостеприимного хозяина, он заставлял на себя работать.

Митя налил воды в чайник и включил электроплитку. Селянин выложил на тарелку бурые комки, похожие по виду на холодные котлеты. Это и были шроты.

— Как вы думаете, Семен Владимирович, из чего это делается?

— Понятия не имею, что-то синтетическое. На

Петроградской есть заводишко, который вырабатывает эту штуковину. Директор — мой давний приятель. Попробуйте. Я из любопытства перепробовал все блокадное меню: хряпу, дуранду, холодец из столярного клея... Чего только человек не ест!

В бидоне оказалось пиво, в одной из жестянок — великолепная серая зернистая икра.

— Откуда?

— Взял вместо мяса в сухом пайке. Не смотрите на меня так строго — я никого не убил.

— Вот уж не знал, что в Ленинграде едят зернистую...

— А почему бы и не есть? Как раз в осажденном городе стоимость пищевых продуктов почти не имеет значения. Важен вес, объем.

— Мы что-то не получаем...

— Пойдете в море, — получите. — Селянин явно забавлялся. — Как видите, угощение чрезвычайно скромное. Зато прошу обратить внимание на изысканность сервировки: севр, сакс, веджвуд.

Посуда в самом деле была великолепная. Селянин перевернул одну из чашечек — тоненькую, пленительную, — показал фабричное клеймо и, повертев в руках, с силой бросил в дальний угол. Чашка разлетелась вдребезги.

— Зачем? — вырвалось у Мити.

— Грязная, — пояснил Селянин. — Не печальтесь, этим добром забиты все комиссионки, просят гроши, и никто не берет. — Он разлил пиво по чашкам.

Пока Селянин возился, Митя думал: «Есть же люди, которым всенародное бедствие не портит настроения; не будь блокады, этот человек не ощущал бы себя таким всемогущим. Есть что-то все-таки в нем хамоватое...»

— Будьте здоровы, Дмитрий Дмитрич, — сказал Селянин проникновенно. — Меня многие считают хамом, и, вероятно, не без основания, так что если я пью за ваши успехи, то не потому, что этого требует хороший тон, а потому, что вы мне в самом деле нравитесь.

Митя смущенно улыбался. Стоило Селянину косвенно покаяться, и накипавшее раздражение как будто улеглось.

— Я слов на ветер не бросаю, — продолжал Селянин, выдержав паузу, он не торопился закончить тост, и Митя с застывшей улыбкой держал свою чашку на весу. — Единственный ваш недостаток — молодость,

что, как известно, поправимо. А впрочем, не всегда — есть люди, которые до седых волос продолжают ходить в коротких штанишках. Пью, Дмитрий Дмитрич, за то, чтоб с вами этого не случилось.

Жидкое блокадное пиво в соединении с выпитой ранее водкой образовало взрывчатую смесь. Действие этой смеси на первых порах не ощущалось, Митя держался бодро и отлично все понимал, ослаб только контроль. Не видя перемен в себе, Митя сразу подметил перемену в Селянине: товарищ военинженер был красен, возбуждение боролось в нем с утомлением, откинувшись на спинку дивана, он таким тяжелым, изучающим взглядом глядел на своего гостя, что Мите стало не по себе, он отказался сесть на предложенный ему детский стульчик и начал расхаживать из угла в угол. Ему очень хотелось вернуться к разговору о Тамаре, причем он сам не знал, что ему хочется услышать о ней — хорошее или дурное. Но Селянин не хотел говорить о Тамаре, он хотел говорить о Горбунове. Несколько минут они бродили вокруг да около, заговаривая обиняками, — это напоминало начало боксерской схватки, когда противники прощупывают один другого. Наконец Митя все-таки не выдержал:

— Послушайте, мы же условились не говорить о Викторе Ивановиче. Я его люблю, уважаю и не понимаю, что вы имеете против него. Что он вам сделал?

— Решительно ничего. Мне он противен как тип. Не люблю болтунов. Не люблю людей, которые чванятся своими золотыми нашивками и черными просветами. Он, видите ли, кадровый, строевой, водоплавающий, носитель морских традиций... Это правда, что он себя офицером называет?

— Почему же только себя?

— Ах, оставьте... Я для него — береговая крыса, военный чинуша, тыловой бюрократ, короед. А между прочим эти предрассудки пора бросить, в современной войне сам черт не разберет, где хлябь, где твердь, где фронт, где тыл. Хотите знать, лейтенант, почему страна выстояла против блицкрига?

— Почему?

— Скажу. А выстояла страна потому, что к началу войны она, как огромная бочка, была скреплена железными обручами аппарата. Потому что десятки тысяч таких береговых крыс, как я, связанных подчи-

нением и отчетностью, ни на секунду не переставали заниматься своим делом.

— Писаниной,— усмехнулся Митя.

— Да-с, в том числе и писаниной. Продолжали отчитываться перед высшими инстанциями и подтягивать низшие, брать на учет и составлять списки, рапортики, обзоры и объективки, короче говоря, заниматься всем тем, что вы, в своем легкомыслии, называете бюрократической возней. Чему вы смеетесь?

— Честное слово, вы тут ни при чем, просто смешной случай. Осенью, в самый разгар наступления, является к нам на кронштадтскую базу корреспондент. Шрапнель визжит, штурмовики летают прямо на бреющем, все попрятались по щелям, по двору — только бегом и ползком. Приходит час обеда, корреспондент к начхозу: нельзя ли подкормиться? «Аттестат!» Корреспондент предъявляет. «Не годится». — «Почему?» — «Надо две подписи и печать чтоб гербовая была, а у вас подпись одна и печать треугольная. Вот будет отбой, я схожу к командиру базы и согласую вопрос». — «А если отбоя до вечера не будет?» — «Это, говорит, дело не мое». Подводники услышали и вступились, до того застыдили беднягу, что тот взял аттестат и куда-то сгинул. Через минуту выглянули и видим картину: шрапнель так и свищет, а наш бюрократ с аттестатом в зубах ползет по-пластунски через весь двор...

— Это зачем же?

— За резолюцией. Чтоб перестраховаться.

Селянин посмеялся снисходительно:

— Вот тут-то мы с вами и расходимся. Попадись вам этот бюрократ, вы бы его разнесли.

— А вы?

— А я наградил бы.

— Шутите?

— Нисколько. За верность идее. Раз не положено — точка. Негибок, зато надежен. Серость не всегда недостаток; чтоб выписывать аттестаты, Спиноза не нужен. А вот такие много рассуждающие господа, как ваш друг и начальник...

— Откуда вы знаете, как он рассуждает?

— Говорю,— значит, знаю. У него ведь что ни спроси — на все собственное мнение.

— Разве это плохо? Не обсуждаются только приказы, а пока приказ не отдан...

— Знаем, проходили. Оно и видно, что вы еще зеленый.

— Не понимаю. Устав один для всех, для желтых и для зеленых.

— Послушайте, лейтенант,— сказал Селянин почти сердечно.— Смешно, что я — штафирка — должен разъяснять вам, что такое дисциплина. Если вашему патрону угодно забавляться и считать себя офицером — пожалуйста. А вот я — солдат. Я не рассуждаю. Рассуждать хорошо, когда ты в курсе дела. Это в девятнадцатом веке каждый обыватель мог судить и рядить о политике — теперь все засекречено, и никто, кроме считанных людей у перископа, не знает толком ни бюджета, ни международной ситуации. Кто смотрит в глазок — тот видит, остальные слушают и репетуют. Голубчик,— он даже привстал,— наше время не терпит оттенков: либо ты доверяешь и подчиняешься, либо при любом повороте вылетаешь из тележки. Я — доверяю. Если каждый солдат начнет задавать вопросы — толку не будет. Я и не задаю. Принесите мне сейчас бумагу и скажите: «Это ваша статья, ваша декларация, ваше заявление, так надо, текст согласован»,— и я подпишу не читая. Скажите мне: «Этот симпатичный товарищ вреден нашему обществу»,— и я его не пощажу. Я солдат и не имею никаких точек зрения, кроме официальной, все высокие материи я передоверил моему государству и нисколько не стыжусь, что я только исполнитель. Поверьте, хорошие исполнители стоят дороже и встречаются реже, чем таланты, новаторы и энтузиасты.

Перед этим неожиданным напором Митя чуточку растерялся. Но сдаваться ему не хотелось.

— А о низких материях вы тоже не думаете? — спросил он сердито.— Тоже передоверяете?

— Что вы называете низкими материями?

— Да вот хотя бы харчи. Паек вы тоже любите солдатский? Или предпочитаете генеральский?

Селянин захохотал.

— Зло сказано! Что ж, плох тот солдат, который не умеет о себе позаботиться. Наше общество — армия на марше — награждает и наказывает, все полной мерой, но сделанного не переделывает и отстающих не подбирает, так что поспевай к раздаче и следи сам, чтоб не выпасть из тележки.

— Да, уж вы из тележки не выпадете...

— Что вы этим хотите сказать? — спросил Селянин с неожиданной строгостью.

Митя удивился.

— Ничего особенного. Что у вас, как видно, слово с делом не расходится...

О тележке он в самом деле сболтнул без всякой задней мысли. Но, увидев строгие — а за строгостью испуг — глаза Селянина, он ощутил легкий толчок, вроде слабого электрического разряда. От этого толчка заработало дремавшее воображение, которое сразу же повело себя крайне разнузданно. Оно без всяких видимых оснований, но в хорошей реалистической манере нарисовало Семена Владимировича Селянина в кузове грузовика. Картина получилась настолько яркой, что Митя перепугался. Боясь, что Селянин прочтет его мысли, он нарочно занялся едой. Икру он мазал таким тончайшим слоем, что Селянин прыснул:

— Вы что, всегда такой деликатный? Икра существует, чтоб ее ели. Мажьте как следует. И прислушайтесь к дружескому совету — поменьше вылезайте со своим мнением и никогда не оставайтесь в меньшинстве. А когда начальство спрашивает — подумайте и постарайтесь угадать, что именно от вас хотят услышать.

— Это что же — из жизненного опыта?

— Конечно. Мне, например, было бы очень неприятно узнать, что тот же Соколов слушается меня только потому, что мои слова облечены в форму приказа, а в душе критикует и осуждает.

— Значит, он должен быть с вами всегда и во всем согласен?

— Нет. Я в это просто не вхожу. Заботясь о согласии, вы тем самым уже допускаете возможность несогласия. Чтоб преодолеть несогласие, нужно убеждать и разъяснять, а на это не всегда есть время и охота. Вот почему я предпочитаю людей сообразительных и не обремененных собственными взглядами.

Он опять захохотал, довольный, что сказал парадокс.

— А от меня командир требует совсем другого, — сказал Митя.

— Ваш командир гораздо хитрее, чем выглядит. Игра в самостоятельность и независимость — это чаще всего только способ набивать себе цену.

Митя рассердился:

— Вы всё говорите: «знает цену, не знает цены,

набивает цену»... Послушать вас, так на каждого человека надо навесить ярлычок, как в магазине.

— А что вас так удивляет? Божко — военврач, и Бурденко — военврач, но цена им разная. Мысль о равенстве людей — типичная буржуазная утопия.

— Буржуазная?

— Ну, идеалистическая. Все это выдумали разные там Фурье и Сен-Симоны. Я как-то читал — забыл, как называлась книжонка, — про эти самые ихние фаланстеры. Меня чуть не стошнило. Мне показывали одно место в «Капитале», где Маркс здорово выдает за эти дурацкие фантазии.

Митю очень подмывало возразить, но, к стыду своему, он ничуть не лучше Селянина помнил, как называлась книжонка про фаланстеры и о каком месте у Маркса шла речь.

— Я лично представляю себе дело таким образом, — продолжал Селянин, усевшись поглубже и расстегнув душивший его ворот кителя. — В различное время ценность людей определяют различные факторы. Когда-то — сила, позднее — деньги, а нынче — положение. Не перебивайте, положение в обществе, каковое, в свою очередь, зависит от степени и полезности или ответственности выполняемой ими работы. Порядок этот представляется мне наиболее разумным, ибо в нашем обществе положение не передается по наследству, и таким образом человек всего добивается сам. Что вас тут не устраивает?

— Начнем с того, что ценность и цена — не одно и то же.

— Деньги — всеобщий эквивалент.

— Есть вещи, которые за деньги не купишь.

— Например?

— Мало ли. Любовь, дружбу, честь, свободу, человеческую жизнь. — Обрадовавшись обилию подвернувшихся примеров, Митя решил перейти в наступление. — Может быть, вы мне скажете, сколько стоит человеческая жизнь?

— Скажу. Недорого.

Селянин от души хохотал, и Митя, морщась, выжидал, когда он перестанет. У Селянина была неприятная манера смеяться прямо в лицо собеседнику, он скалился и подмигивал, как бы приглашая признать свое поражение и посмеяться над собственной дуростью. Митю это все больше раздражало.

— Играете словами? А я серьезно...

— А если хотите серьезно, взыскующий истины юный лейтенант, то спросите продовольственников. Они вам скажут, что существует эквивалент еще более всеобщий, чем так называемый презренный металл. И скажут совершенно точно, в переводе на граммы и калории, сколько стоит в осажденном Ленинграде человеческая жизнь. Если завтра вы схватите воспаление легких, аспирин и липовый цвет вам вряд ли помогут, и цена вашей жизни будет предметом серьезного обсуждения в Санупре, ибо двадцать доз импортного пенициллина стоят энное количество золотых долларов. Спросите судью, на какую сумму надо украсть, чтоб получить пулю, и он вам ответит. Не только война, любое крупное строительство наряду с прочими тратами связано с расходом человеческих жизней, и никому еще не приходило в голову прекратить уличное движение только потому, что оно влечет за собой неизбежные жертвы.

— Все равно, деньги не могут ни воскресить, ни возместить...

— Воскресить — нет, а возместить могут. Вспомните древнее русское право — за убийство платили виру. А в Америке безработные страхуют свою жизнь в пользу семьи — и прыгают под колеса. Я преклоняюсь перед героями, но, рискуя оскорбить ваше целомудрие, позволю себе напомнить вам, что за героизм платят. Причем не только орденами, монументами и прочей символистикой, но и самыми пошлыми деньгами — за каждый сбитый самолет, за каждый утопленный транспорт. А наряду с этим имеются заградительные отряды, полевые суды и тому подобное, так что многие герои — это люди, трезво выбравшие между перспективой получить пулю от своих и возможностью поставить на свое число и выиграть. При удаче можно выиграть больше, чем ты стоишь, а это всегда соблазнительно. Героизм вообще дело чрезвычайно темное: то, что по одну сторону фронта кажется героизмом, по другую выглядит совершенно иначе. Вражеский разведчик — всегда шпион. Считается аксиомой, что свобода дороже жизни, но еще никто мне не мог объяснить, почему же везде в качестве высшей меры наказания принято лишение жизни, а не свободы. Вы — юноша, жаждущий подвига, и боже меня сохрани от мысли охладить ваш пыл. Я только хочу, чтобы вы трезвее смотрели на вещи, иначе вы пропадете ни за грош или будете работать на дя-

дю, который охотно распишется за вас в графе, где герои пишут сумму прописью, а вы даже не будете подозревать, что такая графа существует.

Митя угрюмо молчал. Все, что говорил Селянин, вызывало у него глухой протест, но он не умел облечь свое неприятие в четкие уничтожающие формулы, селянинский апломб его подавлял.

— Вы скажете: любовь, — продолжал, посмеиваясь, Селянин. Он угадал, Митя думал о Тамаре. — Откинем сразу любовь продажную. Не думайте только, что от любви законной, чистой и даже возвышенной ее отделяет такая уж непроницаемая переборка. Это ведь только в театрах красивая девица любит бедного студента, а нужда гонит к пожилому и состоятельному. Пустяки. В восьмидесяти случаях из ста девица вообще не любит бедного студента, субъект в обтрепанных штанишках ее попросту не волнует. Женщины очень чувствительны к власти и успеху, и не надо их так уж осуждать за это. Будьте объективны и признайте, что девица ничем не хуже бедного студента; он ведь тоже себе на уме, хочет, чтоб его полюбила первая красавица, причем исключительно за его душевные качества. Вот взял бы да и полюбил некрасивую за эти самые качества — так нет, красоту ему подавай! — Он ткнул пальцем в Митю, как будто Митя и был тот бедный студент. — Конечно, ни красоты, ни ума в лавочке не купишь, но коль скоро они могут являться достоянием, то имеют и соответствующую цену.

— Если продолжать в вашем духе, то можно договориться до того, что родина тоже имеет цену.

— Не обязательно все додумывать до конца. Додумывают до конца только гении и психопаты. И вот еще что, лейтенант, — Селянин вновь построжел, и Мите опять показалось, что за строгим взором и скандирующей речью гнездится испуг, — если я разговариваю с вами как со взрослыми, это еще не значит, что вы можете заниматься моим патриотическим воспитанием. Запомните, я человек бесконечно, беспредельно преданный нашей Родине, нашей партии и ее испытанному Центральному Комитету. — Он слегка повысил голос и обвел сверкающим взглядом все углы и стены комнаты, как если бы она была полна слушателями.

Зафиксировав таким образом свою позицию, он снова подобрел, разлил по чашкам остатки пива и стал рассказывать случаи из жизни. Память у него была

превосходная, и истории сыпались из него, как из мешка. У Мити не было никаких оснований сомневаться в их подлинности, Селянин называл города и даты, должности и фамилии, некоторым событиям он был свидетелем сам, о других знал из первых рук. В каждой из новелл этого своеобразного Декамерона обязательно складывалась причудливая ситуация, определявшая судьбы людей: в одном случае, происходившем еще во времена гражданской войны, пришлось для примера расстрелять честного коммуниста, в другом — во имя престижа с почетом похоронить мерзавца, в третьем — из дипломатических соображений отречься от человека, самоотверженно выполнившего опасное поручение, в четвертом, рассказанном с большим юмором, — информированный дурак торжествовал над не разобравшимися в сложной конъюнктуре умниками. Митя отлично понимал, что все эти байки рассказываются не без умысла, но для того, чтобы разобраться и извлечь из них некую объединяющую идею, нужна была ясная голова. Он знал, что не может оспорить каждый факт в отдельности, но все его существо восставало против мира, в который тащил его рассказчик. И, пожалуй, еще больше — против бесстрастного селянинского тона. В передаче Селянина люди становились знаками, а отношения между ними — уравнениями, и поскольку нельзя восхищаться или негодовать по поводу того, что функция величины эм или эн при определенных условиях становится равной нулю, то Селянин не сочувствовал и не возмущался, а только демонстрировал механизм. Поначалу Митя проявил себя благодарным слушателем, он подавал реплики и переспрашивал, затем притих и в конце концов совсем замолчал. Селянин это заметил.

— Я, кажется, испортил вам настроение? В таком случае — прошу прощения: не входило в мои намерения. Я хочу только одного, — он потянулся через стол и похлопал Митю по руке, — я хочу, чтоб вы себя не продешевили. Дослушайте меня, — добавил он нетерпеливо, заметив, что Митя собирается его перебить. — Я хочу, чтобы вы заняли в жизни твердое положение и не давали себя эксплуатировать.

— Кому?

— Кому бы то ни было.

— А нельзя ли точнее?

— А это уж вы сами уточняйте, вы способный, вам разжевывать не надо. Точнее? — Селянин вдруг захо-

хотал. — Хитер! Такому дай палец — пожалуй, всю руку отхватит...

В другое время Туровцев, может быть, и принял этот упрек за похвалу, но его рассердил таившийся в словах Селянина темный намек.

— Я, наверное, очень глуп, — сказал он со злым смирением. — Так что со мной надо разговаривать попроще. Я ведь не так давно снял пионерский галстук и до сих пор помню слова присяги. Сын я, верно, невнимательный — это вы здорово угадали, — но стариков своих люблю и не забыл, чему они меня учили...

— А именно?

— Жить по совести.

— Очень благородно с их стороны. Может быть, они заодно объяснили вам, с чем это кушают?

— Вы что же, отрицаете совесть?

— Ни на одну минуту. Просто хочу понять, что вы под сим словом понимаете.

— Для чего?

— Хотя бы для того, чтобы быть уверенным, что мы говорим об одном и том же.

— Совесть — это... — Митя начал очень уверенно, рассчитывая, что определение придет само собой, но сразу же запнулся и, поглядев на Селянина, понял: пощады не будет. Тот торжествовал и скалился:

— Итак?

— Совесть — это... — повторил Митя. Он уже догадывался, какого цвета у него уши. — Совесть, — это когда, например...

— Отставить, — сказал Селянин, сияя. — Так дело не пойдет. Получается, как в армянском анекдоте: «Ашот, что такое химия?» — «Химия, гаспадин учитэл, это когда, например, ти спичка зажгинал...»

— Неостроумный анекдот, — сказал Митя. — И армяне так не говорят.

— А вы не обижайтесь за великий армянский народ, он как-нибудь сам за себя постоит. Лучше объясните, что такое совесть.

— По-моему, порядочным людям этого объяснять не надо, — огрызнулся Митя. Получилось грубо, но Селянин и ухом не повел.

— Вы только осложняете свою задачу. Теперь вам придется объяснять мне, что такое порядочный человек.

— Неужели и это не ясно?

— Нет, не ясно. Джентльмен? Джентльмен —

понятие сословное.— Селянин откровенно развлекался, и Митя, уже не в первый раз за этот вечер, вспомнил своего учителя Славина. Тот тоже улыбался, слушая возражения, но его улыбка была ласковой и почти стыдливой, словно ему было неловко, что он знает больше.

— Так можно договориться до чего угодно,— сказал Митя сварливо.

— То есть?

— Что вообще нет ни добра, ни зла. Что это тоже сословные понятия.

— Во всяком случае, классовые. И исторически обусловленные. Как, по-вашему, Иван Грозный был хороший человек?

— Так себе,— засмеялся Митя.

— Вот видите, а нынешние историки утверждают, что очень хороший. Собиратель Руси и борец с феодальной раздробленностью. Не руби он в свое время боярских голов, мы бы с вами имели сегодня бледный вид. А загубленных жен история давно списала, как мешкотару, про них интересно только киношникам. Теперь скажите: как вы себе понимаете за Америку? Надо было ее открывать или не надо?

— Не понимаю вопроса.

— Вопрос яснее ясного. Все эти открыватели, и испанцы и англичане, были сволочь отпетая, что ни атаман, то кровопийца, а попы — еще хуже атаманов. За полсотни лет они ограбили два материка и истребили туземцев, которые тоже, конечно, не ангелы, но по крайности жили тихо, занимались своими местными склоками и белых не трогали. А теперь Америка — великая страна, и никого во всем мире не беспокоит, что небо-скребы стоят на костях исчезнувшего народа. И нас с вами тоже, поскольку индейцы нам второго фронта не откроют. Так вот я вас спрашиваю: надо было открывать Америку или не надо? Ладно,— сказал Селянин, насладившись смятением в стане противника,— я вижу, над этим вопросом вы не думали, и коль скоро Америка уже открыта и закрыть ее не в нашей власти,— это вопрос не первоочередной. Гораздо своевременнее подумать о вашей собственной судьбе.

— Что она вас так беспокоит? — криво усмехнувшись, сказал Митя.

— Потому что мне жаль вас. Вы способный парень.

— Откуда вы знаете, какой я?

— Я никогда не говорю того, чего не знаю,— отре-

зал Селянин.— И я глубочайшим образом убежден, что не будь вы по своей психологии обыкновенным бобиком, ваше имя уже сегодня гремело бы на весь флот.

Это глубочайшее убеждение столь мало соответствовало тому, что думал о себе сам Туровцев, что он сразу заподозрил издевку. Поэтому он вяло отшутился, в том смысле, что Военный Совет никак не может решить — присвоить ли имя лейтенанта Туровцева бригаде подводных лодок или назвать его именем какой-нибудь новый крейсер.

— Можете шутить, я говорю серьезно. Я знаю совершенно точно, что идея «письма Н-ского корабля» принадлежит вам. В наших условиях это значит найти золотую жилу. Напади на эту жилу не такой лопух, как вы, он бы превратил ее в Колорадо: «Весь флот должен подхватить почин лейтенанта Туровцева»... Конечно, само собой это не делается. Как-то больше принято, чтоб почин исходил от командира корабля или, наоборот, снизу, от какого-нибудь чумазого моториста, эдакого народного умельца...

— Вы не в курсе дела,— сказал Митя.— Почем вы знаете, кто придумал письмо?

— Говорю,— значит, знаю. А впрочем, это не столь важно, кто фактически его придумал — вы, командир корабля или старшина Тюткин,— это знают три десятка людей, важна официальная версия, которая доступна тысячам и служит для них путеводной звездой. Фамилия у вас хорошая, а впрочем, постойте: «Туровцевское движение, туровцевцы»...— Он произнес это отдельно, прислушиваясь к каждому слогу.— Одно «це» лишнее. «Горбуновцы» — лучше. Короче говоря, вы оказали своему патрону крупнейшую услугу, и этого вполне достаточно, чтоб он вас недолюбливал.

Митя рассмеялся.

— Это вы уж загнули, мастер.

— Ничуть. Все мы, грешные люди, недолюбливаем тех, кому чем-нибудь обязаны. И еще пуще — тех, которым мы причинили зло.

— Которые нам,— мягко поправил Митя.

— Которым мы,— упрямо повторил Селянин.— Так или иначе — вы показали себя нужным человеком на лодке. В этом ваша сила, но это же может стать вашей слабостью, если вы не сумеете себя поставить. Никто не любит делить авторитет и держать рядом с собой человека равного. Это могли себе позволить только

венценосцы. Ваш шеф еще котируется, но уже вышел из полосы везения...

— Бросьте. Никаких таких полос в природе не существует.

— В природе — нет. А на службе действует закон маятника. Мне не хочется вас огорчать, но ваш друг и начальник уже прошел через высшую отметку и теперь катится на убыль.

— Да ну вас! — закричал Митя. Ему показалось, что он отчасти проник в смысл туманных пророчеств Селянина, и он вновь обрел боевой задор. — Вы напрасно стараетесь научить меня уму-разуму. Не в коня корм. И запомните: лавировать я буду в море. А на берегу предпочитаю прямые пути. Они короче.

— Не всегда. Прямые линии хорошо чертить на бумаге, в жизни они почти не встречаются. Хотите ходить только прямыми путями? Тогда будьте безупречны. Вы, случайно, не святой?

— Нет, конечно.

— То-то что нет. А раз так — вы уязвимы. Послушайте меня, мальчик, — в голосе Селянина прозвучала настоящая сердечность, — не поддавайтесь на звонкие фразы. Лавировать необходимо. Никто не знает этого так, как мы — хозяйственники. Хозяйственник должен быть всегда на коне, он должен держать всех — начальников и подчиненных — в убеждении, что никто на его месте не даст больше. За это ему прощается многое: произвол, обход законов...

— Почему их надо обходить?

— Потому что закон все упрощает, а жизнь сложнее. Я совсем не хочу, чтоб вы стали интриганом. Это у вас и не получится. Но не будьте неудачником. К неудачникам легче всего подобрать ключи. Граница между добром и злом не так непроходима, как это кажется прекраснодушным молодым людям, любое явление может быть подвергнуто рассмотрению в различных ракурсах. Допустим, вы бережно храните кавалерийскую шашку, доставшуюся вам в наследство от дядюшки — героя гражданской войны. В зависимости от освещения этот факт можно расценивать и как верность героическим традициям, и как незаконное хранение оружия. Некоторые вполне безобидные обстоятельства вашей личной жизни, в зависимости от ваших успехов, могут быть трактованы и как прихоть героя, и как бытовое разложение... Да вы не волнуйтесь, — добавил он усмехнувшись.

Митя нисколько не волновался, но в том, что Селянин счел нужным его успокаивать, он почуял угрозу.

— Мне беспокоиться нечего, — сказал он грубо. — Кажется, я вам уже докладывал, что со мной надо разговаривать попроще. Вы, наверно, умнее и опытнее меня, но, что бы вы ни говорили, я продолжаю думать, что, помимо обстоятельств, существуют еще честь и дружба. Вы, конечно, сразу же спросите меня, с чем это едят, и я не сумею дать подходящего определения. Послушать вас, так дружба — это отношения между людьми, которые в равной степени могут быть полезны один другому...

— Не так плохо, — спокойно сказал Селянин. — Делаете успехи.

— А как же тогда быть с дружеской поддержкой?

— Надо учитывать закон маятника. Сегодня я поддержу тебя, завтра ты поддержишь меня. Поддерживать друзей надо, но, конечно, до разумного предела. Если человек себе враг и увлекает вас в пропасть, надо иметь мужество от него вовремя отказаться.

— Как же вы потом посмотрите ему в глаза? — Этим вопросом Митя очень рассчитывал смутить Селянина, но тот только усмехнулся и ничего не ответил. Усмешка значила: «На дурацкие вопросы не отвечаю», и Мите пришлось самому угадать ответ.

— Разве я не прав? — невинным тоном осведомился Селянин. — Диалектика как раз и учит...

— Подите вы с диалектикой, — свирепо сказал Митя, — у вас диалектика вроде ухвата — удобно горшки переставлять.

Селянин приготовился хохотать, но раздумал.

— Это вы что же — сами придумали?

— По-вашему, я только чужими словами и говорю?

— Не сердитесь. Вы мальчик из интеллигентной семьи. Где вы могли видеть ухват?

— Я мальчик из предместья. Из фабричного села.

— Вот как? Быстро же вас теперь полируют.

— Слушайте, Семен Владимирович, — вдруг сказал Митя, — вы в коммунизм верите?

Селянин посмотрел удивленно: «Что за вопрос?»

— А вот теперь вы не обижайтесь. Ну, скажите — верите?

— Верю, разумеется.

— Почему «разумеется»? А точнее? Как вы себе это представляете?

— Так же, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Каждому по потребностям.

— Короче говоря, много харчей и шмуток. А люди? Останутся такими, как были?

— Нет, зачем же. Люди тоже изменятся. Сытому человеку незачем красть и убивать. Наступит золотой век, до которого вы, может быть, и доживете, а я нет.

— Ну, а если в этом золотом веке начнутся перебои с харчами — что же, люди опять вцепятся друг дружке в глотки?

— Откуда взяться перебоям?

— Почему я знаю? Налетят марсиане или комета отклонит земную ось. Так как, по-вашему, вцепятся?

Селянин опять внимательно посмотрел на Митю и усмехнулся.

— Скажите, лейтенант, — спросил он вместо ответа, — на заре туманной юности, в те идиллические времена, когда вы еще носили пионерский галстук, вам никогда не хотелось быть султаном? Представьте себе на минуту: вы — фараон Тутанхамон или граф Монте-Кристо, десятки слуг угадывают ваши желания, хоровод гурий ублажает вас плясками, ну и все прочее в ассортименте... Неужели никогда?

Митя задумался.

— Фараоном — определенно нет. Графом Монте-Кристо — хотел. Султаном — не помню, а впрочем, боюсь соврать, кажется, тоже хотел. А что?

— А не приходит ли вам в голову, что мечты-то ваши с душком, ибо при коммунизме султанские замашки надо бросать и переходить на самообслуживание? И что гуриям не будет никакого расчета изгиляться для вашего личного самоуслаждения и придется вам, как и всем гражданам, глядеть на них откуда-нибудь из тридцатого ряда?

— Переживу, — сказал Митя. — Гурии для меня вопрос не первоочередной.

— А для меня — первостепенный. Не скрою от вас — люблю женщин и скучаю, когда их нет. Мне на жизнь одной женщины мало.

— Догадываюсь. Только при чем тут коммунизм?

— А вот при чем: не соскучится ли человек оттого, что в светлом будущем он будет обречен на единобрачие самое суровое, охраняемое не законом, а беспощадной житейской логикой: на кой леший какой-нибудь двадцатилетней красоте старый хрен вроде меня, если

кругом полно молодых красавцев вроде вас? Если от каждого по способности, а? Выходит, я горю, а?

Он продолжал улыбаться, но глаза смотрели пьяно и недобро.

— Ну и что же? — нетерпеливо сказал Митя, еще не отдавая себе отчета во внезапно нахлынувшем чувстве отвращения. — Ну и что же?

— А то, что человек жаден. Не к деньгам. Деньги — средство. А к самой жизни. Тут его не переделаешь. Вообразите, что биологическая наука откроет способ прожить две жизни, свою и чью-нибудь еще? Кто устоит? Непонятно говорю?

— Очень понятно, — сказал Митя. — Вас беспокоит, что при коммунизме нельзя будет покупать женщин. А вот насчет второй жизни — это, извините, выше моего понимания. Я ведь мальчик из предместья. Воспитывался в отряде...

— Наша милая каррртошка-тошка-тошка, — запел Селянин, — пионеров идеал...

— Прекратите, — неожиданно для самого себя рявкнул Митя. Он не смог бы объяснить, что его обидело, и сразу почувствовал себя неловко.

— Ого! — тихонько сказал Селянин, поднимаясь с дивана.

Наступило молчание, во время которого Митя спешно продумывал варианты. «Самый вероятный, — думал он, — выгонит. Тем лучше. Кстати, и пора...»

Селянин потянулся и старательно, с завыванием зевнул.

— Однако мы с вами порядком надрались, — сказал он самым мирным тоном. — Будем ложиться?

Митя взглянул на часы. До двадцати трех оставалось немногим больше получаса.

— Мне пора ехать.

— Не смешите! Куда вы в таком виде пойдете? К сожалению, я ничего не могу предложить вам, кроме раскладушки, но простыни вы получите девственные.

— Вы же знаете, что я отпущен только до двадцати трех.

— Пустяки. Скажите, что плохо себя почувствовали. Божко даст любую справку.

— Мне не нужна справка, мне нужно быть на лодке. Селянин присвистнул.

— А вы знаете, что творится на улице?

— Нет.

— Подите взгляните. По такому снегу Соколов ни за что не повезет.

— Но послушайте,— беспомощно воскликнул Митя,— надо же держать слово...

Селянину Митина интонация доставила истинное удовольствие.

— Не всегда,— сказал он, подняв палец.— Не всегда.

Это уже был перебор. Митя вспыхнул.

— Хорошо. Я пойду пешком.

— А ночной пропуск? Вас не выпустят за проходную.

— Значит, вам придется дойти со мной до проходной.

— Послушайте, ребенок,— внушительно сказал Селянин.— Вы тут не командуйте. Разговаривать с собой в таком тоне я не позволяю даже адмиралам. Хотите уходить — подождите, пока придет Соколов. Или разыщите его сами — он вас проводит.

— Отлично.— Митя с трудом сдерживался.— Где его искать?

— А черт его знает. Где-нибудь с девками жметя.

Он уже не стеснялся. Митя молча надел шинель и вышел.

Селянин не соврал насчет снега. Снег не шел, а валил. Большие липкие хлопья ложились на землю с поспешностью почти театральной, на земле не осталось ни одной черной точки, жесткие рытвины и горы битого кирпича исчезли под пушистым покровом. Сойдя со ступеньки, Митя тут же провалился в пышную, как мыльная пена, порошу. Осторожно, прощупывая под рыхлым снегом неровности пути, он обошел кругом строение и, лишь вернувшись на прежнее место, осознал всю бессмысленность своей затеи, нигде не пахло человеческим духом, двери были железные, с засовами и печатями. Риска заблудиться, он сделал несколько шагов в сторону и пошел наугад по засыпанным снегом рейкам: сначала он принял их за лежащую плашмя лестницу и не сразу сообразил, что это — шпалы узкоколейки. Вскоре колея оборвалась, и Мите пришлось остановиться. Он решительно ничего не видел, кроме падающего снега, но что-то, может быть инстинкт, а вернее, изменение в направлении воздушных токов подсказало ему, что перед ним обрыв. Он зажмурил глаза и прислушался, а открывши, увидел вмерзшие в лед

миноносцы, сперва один, затем, взглядевшись, второй и третий. Они были видны, как через несколько слов тюля, слабый зеленоватый свет обливал заваленные снегом палубы и орудийные башни; зрелище было странное и красивое, но Митя вспомнил про надвигающийся комендантский час и заторопился. На обратном пути кто-то сильно дернул его за полу шинели. Вздрыгнув, он схватился за пистолет и уже дослал патрон, когда увидел нечто похожее на вставшую на хвост и готовую броситься змею. Змей Митя боялся больше всего на свете, но он понимал, что для них теперь не сезон, и потому отважился потрогать змею ногой — она спружинила, как живая. Это была трубка с привернутой втулкой, искореженная и смятая, но из настоящей красной меди и нужного диаметра.

Митя засмеялся. Приключение с трубкой окончательно вернуло ему душевное равновесие. Он был еще зол, но уже по-другому; раздражение ушло, пришло веселое ожесточение. Посмотрел на себя и окончательно развеселился: снег облеплял его, как сахарная глазурь. В таком виде, не подумав отряхнуться, он ввалился обратно в келью. Селянин лежал на диване, укрытый поверх одеяла темно-вишневым переходящим знаменем с золотыми кистями, и спал. Посередине комнаты стояла аккуратно застеленная трофейная раскладушка. Митя отпихнул ногой раскладушку и шагнул к дивану: — Вставайте. Пойдем.

Селянин открыл глаза. Слишком быстро для человека спавшего.

— Не валяйте дурака...

— Внимание! — сказал Митя. — Если вы хотите, чтоб я ушел без шума, наденьте штаны и доведите меня до проходной.

— Ну, а если я не пойду?

Митя вытащил пистолет. Селянин вскочил.

— Вы с ума сошли! Что вы хотите делать?

Такого эффекта Митя не ожидал. Прежде чем ответить, он отыскал глазами единственное оконце — узкое, под самым потолком — и аккуратно прицелился.

— Будет шумно, — пояснил он. — И холодно.

Больше они не разговаривали. Селянин сел на диван и стал натягивать теплые носки. Чтобы соблюсти свое пошатнувшееся достоинство, он делал это не спеша, а Митя, чтоб не вступать в разговоры, не торопил. На Селянине была пижама, обычная теплая пижама из

розовой байки с бренденбурами и воротником шалью. Переодеваясь, он долго зевал и потягивался, тонкая трикотажная фуфайка задралась, мелькнул живот, белый, чистый, с полоской золотистого пуха, и Митя, зная, что его собственное тело плохо отмыто и шелушится, отвернулся с чувством, близким к физической брезгливости.

Весь путь до проходной они также прошли в молчании. Войдя в узкий тамбур, Митя услышал за стеной смех и женский визг, а в запотевшем от пара оконце разглядел раскаленную времянку, ведерный чайник и пять или шесть тулупов, предававшихся самому безудержному веселью. Соколова он узнал по зубам. Селянин постучал пальцем по стеклу, и веселье стихло. Кудрявая девица, волоча за ремень винтовку, протиснулась около Мити и отодвинула железный засов. Она делала свирепое лицо, чтоб скрыть, что еще давится от хохота. Митя, не оборачиваясь, шагнул в снегопад, а когда через десяток шагов оглянулся, то уже не мог найти ни дверцы, из которой вышел, ни собственных следов.

Глава двадцать первая

А снег все валил. Туровцев знал, что надо поторопливаться, и все-таки простоял с минуту, отдавшись чисто физическому ощущению растворенности — тому самому, что в некоторые давно прошедшие времена заставляло Митю плясать под теплыми струями дождя и радостно выкрикивать «дождик, дождик, перестань!» — в тайной надежде, что дождик не послушается. Он стоял и дивился — откуда этакая прорва? Если так пойдет и дальше, к утру город скроется под снегом, как легендарный Китеж в водах озера. Дышалось легко, как на мостике после всплытия, и Митя жадно втягивал в себя воздух. Он был доволен, что настоял на своем: лучше угодить в комендатуру, чем оказаться в плену у Селянина. Разговором он был доволен меньше: ничего толком не разузнал и, кажется, сказал что-то лишнее, а на многое из того, что говорил Селянин, можно было ответить гораздо лучше и хлеще.

...«Надо было как следует врезать ему, когда он начал разглагольствовать насчет совести. А я почему-то растерялся. Нужны определения? Пожалуйста, сто тысяч определений. Что такое совесть? Совесть — это же-

лезá, вырабатывающая гормон справедливости. Чем плоха формулировка? Доктор и тот остался бы доволен. Или: совесть — навигационный прибор индивидуального пользования, перерабатывающий пеленги сердца и ума, прибор, указывающий мне верный курс. Совесть — это мой внутренний трибунал, суд строгий и неподкупный, которому дано примирять закон и страсть, находить равнодействующую между свободной волей и гнетом обстоятельств, отличать правду от правдоподобия, существо от видимости, «вводную» от допуска... Можно продолжать до бесконечности. Но сейчас это все уже ни к чему, все это, как сказал бы Вася Каюров, «треппенвице» — остроты на лестнице...»

Митя чувствовал себя полным энергии. Однако взять с места быстрый темп он не смог — ноги увязали в снегу. Митя давно уже ходил, как все ленинградцы: тело падает вперед, подставляется нога — такой способ экономит силы и позволяет не сгибать ногу в колене. Глубокий снег заставлял маршировать как на параде — это было и непривычно и утомительно. Под гладкой поверхностью таились опасные неровности, отчего походка сразу стала нетвердой, как у пьяного. Несколько минут он шел, осторожно ступая, думая только о том, чтоб не упасть. Уже повернув к Неве, он чуть не наткнулся на свежий сугроб. Сугроб был явно не на месте и форму имел странную. Митя шарахнулся от него, как лошадь от сбитого всадника, и пошел не оглядываясь, все убыстряя шаги, пока не задохнулся.

«Я же не испугался,— думал Митя, остановившись у трамвайной мачты, чтоб успокоить дыхание.— Сработал защитный механизм. Там, где помочь нельзя, незачем и останавливаться. Лучше не знать и не помнить...»

Но полностью выключить из сознания страшный сугроб удалось еще не скоро, и он незримо сопровождал Мите во всех его раздумьях.

...«Не знаю, чего достиг Селянин этой встречей. Я — ничего. Мне он по-прежнему неясен. Ясно, что я его терпеть не могу, но это уже не ново. За что он ненавидит Горбунова, осуждает Тамару и хвалит меня? Положим, не хвалит, а хвалил, я в чем-то обманул его ожидания...»

...«Ах черт, набрал снегу в ботинки...»

...«Жаль, что я ничего не сумел выпытать про Тамару. Что я хотел бы узнать? Откровенно? Откровенно:

что-нибудь такое, от чего мне стало бы легче, что-то очень хорошее или уж совсем плохое, но непременно ясное и не допускающее толкований. К примеру, я хотел бы услышать, что Селянин остался добрым знакомым и бескорыстным поклонником Тэ А, чьи помыслы по-прежнему безраздельно отданы жестокому и прекрасному лейтенанту Туровцеву. Или: Тамара давно превратилась в известную всему городу непотребную девицу, у которой не грех переночевать одинокому моряку, но испытывать к ней серьезные чувства смешно — на это способен только наивный телок, вроде лейтенанта Туровцева. Это худший вариант, но он тоже несет облегчение. Селянин же говорил о Тамаре как-то странно — смесь осуждения с боязливым уважением, — и это вновь будоражит то, что, казалось бы, давно улеглось».

...«Опять сугроб...»

...«Еще более непонятно для меня его отношение к Виктору Ивановичу. Люди никогда и нигде не встречались — откуда же эта стойкая ненависть? Горбунов наверняка не причинил зла Селянину, Селянин Горбунову тоже, если только... А впрочем, вздор, ничего же не сходится: ни имя, ни звание, ни приметы. Конечно, есть в товарище военинженере нечто, неуловимо роднящее его с «тем» полковником, и мне нетрудно представить себе Семена Владимировича в кузове трехтонки, но если рассуждать по совести, вероятнее всего, во мне говорят ревность и давнее недоброжелательство. Будь Селянин дезертиром, он никогда бы не осмелился даже на пушечный выстрел приблизиться к лодке. А с другой стороны, все мы находимся в кольце, где вообще нет расстояний длиннее пушечного выстрела. К тому же он глубочайшим образом убежден в гибели всех своих спутников и понятия не имеет, что Соловцов — матрос с лодки Горбунова...»

...«Кто убежден? Кто это «он»? Говорите, да не заговаривайтесь, молодой человек!»

...«Чтобы больше об этом не думать — завтра же пошлю Соловцова на завод. Пусть разведает насчет материалов и заодно взглянет на Селянина».

...«Теперь о Тамаре. При случае — но именно при случае — я бы даже хотел перекинуться с ней словом. Теперь это не опасно. Все уже в прошлом, и к прошлому возврата нет. Опасно только одно — я немало потрудился над возведением баррикад, если они рухнут — тогда прости-прощай мой с таким трудом достигнутый

покой, вновь нахлынут воспоминания о ее улыбках, прикосновениях, милых дерзостях... До конца я все равно ничего не узнаю, даже самые лучшие женщины, вроде Кати, не бывают откровенны по-мужски, они раскрываются только для близких, а остальным предоставляют думать о них все, что угодно, а самим отвечать за свои домыслы. И я опять начну метаться. То я буду видеть Тамару романтической героиней в духе Дюма, и тогда ее разрыв со мной будет выглядеть самопожертвованием, жестокость — оскорбленным достоинством, а я сам — низменным и близоруким болваном. Затем от малейшего толчка вся диспозиция переменится — то, что минуту назад меня трогало и восхищало, получит самое прозаическое толкование, и я снова буду объяснять разрыв корыстью, былую нежность — опытностью, а себя трактовать как возвышенного и опять-таки близорукого кретина. Одни и те же факты, как шлюпки на учении, совершают «поворот все вдруг», и становится страшновато оттого, что в моей душе так близко соседствуют два желания — оскорбить и упасть к ногам...»

...«Но, пожалуй, больше всего меня тревожит сам Селянин. Не с точки зрения практической. Наплевать, как-нибудь обойдусь и без его авторитетного содействия. Меня беспокоит его взгляд на жизнь. Неужели мир действительно таков, каким его видит товарищ военный инженер? Будем откровенны: несмотря на эффектный финал, счет встречи примерно два — один в пользу Селянина, бой проигран по очкам, и раза два я побывал в нокдауне. Майор Славин был прав как бог, когда говорил, что я недоучка».

...«Интересно, что сказал бы о Селянине Иван Константинович? Что сказал бы Селянин, угадать нетрудно: что-нибудь почтительное и в то же время снисходительное, он это умеет. А вот художнику Селянин вряд ли понравился бы. И не потому, что они не похожи, благоволит же он к Горбунову. Вот был бы номер: привести Селянина погреться у камина, и пусть они с художником поспорят по какому-нибудь вопросу из породы вечных, ну хотя бы о равенстве! Селянин считает, что люди все устроены на один лад и им не свойственно равенство, а художник, наоборот, убежден, что все люди равны от рождения и неодинаковы. При некотором напряжении мысли я мог бы и сам разобраться, кто тут прав, но, как видно, у меня сырые мозги. Мне больше нравится слушать Ивана Константиновича, и вообще мне он

гораздо симпатичнее, но разве можно руководствоваться личными симпатиями там, где разговор идет не о печках-лавочках, а о чем-то более существенном? В конце концов, Иван Константинович — старик, оторванный от жизни. А Селянин — действует и осведомлен. Когда я слушаю художника, мне кажется, что прав он и что высшая справедливость именно в том и заключается, чтобы признавать равными себе всех людей и понимать их, несмотря на различия. Слушаю Селянина — и с ужасом убеждаюсь, что и мне иногда приходило в голову нечто подобное... Что же это значит? Выходит, у меня нет мировоззрения?»

С этим нерешенным вопросом Митя выполз на Университетскую набережную. Правая нога мучительно ныла. Болевых точек было две — в бедре и в колене. В бедре боль была тупая, а в колене острая, сухая, екающая. Пришлось переложить нагрузку на левую ногу, отчего походка сразу стала напоминать полонез. «Не хватает только музыки», — подумал Митя, свирепо усмехаясь. И тут же забеспокоился — почему молчат репродукторы! Он прислушался и не услышал ничего — даже стука метронома. Бесшумно ложился снег. Город еле угадывался — бесформенный, нарезанный грубыми ломтями студень.

Музыка ворвалась внезапно — репродуктор оказался рядом. Трехголовый как дракон, он извергнул сгусток ликующих медных трелей. Идти сразу стало легче. К тому же снежный покров на набережной был тоньше, под свежей порошей прощупывался плотный и ровный наст.

На мосту лейтенанта Шмидта Митя развил довоенную скорость, ему хотелось захватить на левом берегу вечернюю сводку Информбюро. На мосту дежурили какие-то люди в тулупах, один из них окликнул Митю, и Митя, обрадовавшись, что у него спрашивают спичку, а не пропуск, не решился отказать. К репродуктору он подбежал задыхаясь и все-таки опоздал. Красивый бас сообщил, что на Ленинградском фронте идут поиски разведчиков и захвачено два миномета, а затем Катерина Ивановна сказала — совсем по-домашнему, как умела только она, — что на сегодня радиопередачи окончены. В репродукторе захрипело, и включился метроном. Комендантский час наступил.

Идти прямо по набережной было ближе — но и опаснее. Где корабли, там и патрули. Единственная надежда была на плохую видимость, с двадцати трех ноль-ноль

снегопад из помехи превратился в союзника. Поэтому, разбив мысленно оставшуюся часть пути на три этапа — до Адмиралтейства, до «Онеги» и до койки, — Митя опять зашагал. Боль в колене прекратилась, и он чувствовал себя в отличной форме — все складывалось отлично: хорошая музыка, приличная сводка, легкая встряска, а главное — ничто не поздно, совсем не поздно, можно еще успеть что-то сделать в этой жизни. Правда, и не рано — Шмидт стал Шмидтом, будучи лейтенантом, как и Дмитрий Туровцев, у которого пока что больше шансов стать старшим лейтенантом, чем лейтенантом Шмидтом.

Адмиралтейство Митя миновал благополучно, но на подступах к Кировскому мосту чуть не наткнулся на милиционера. Страж порядка был повязан башлыком и до такой степени занесен снегом, что почти не отличался от неживой природы. Митей он не заинтересовался — милиция редко останавливала военных. У трапа «Онеги» часового не было — впрочем, не было и самого трапа. Снег облепил корабль до самого клотика, тросы провисали под его тяжестью, и только на дымогарной сетке трубы чернело размытое паром пятно.

Он уже чувствовал себя в полной безопасности, когда его остановил патруль. Вернее сказать, его никто не останавливал, патруль вынырнул из-за угла Литейного проспекта и двигался прямо на Митю. Податься было некуда, — не бежать же на Выборгскую. Оставалось соблюсти достоинство. Митя быстро пошел навстречу. Патрульных было двое — немолодой армейский лейтенант и флотский старшина с автоматом на груди. Старший патруля поднял руку для приветствия, с рукава посыпался снег. Прежде чем он раскрыл рот, Митя сказал, улыбаясь:

— Ребята, ночного пропуска нету.

Будь старший моряком или, на худой конец, морским пехотинцем, улыбка должна была обязательно подействовать, во всяком случае, вызвать ответную. Но лейтенант не улыбнулся.

— Нету — пойдешь с нами, — сказал он скучным голосом. — Документики попрошу...

Доставая из нагрудного кармана свое удостоверение, Митя продумывал линию поведения. Можно было огрызнуться по поводу «тыканья», но это означало наверняка угодить в комендатуру.

— Ваше право, товарищ начальник, — сказал он,

продолжая улыбаться.— У меня к вам только единственная просьба...

Старший ответил не сразу. Он бережно обеими руками принял книжечку и подставил ее под луч карманного фонаря. Рассматривал он ее так долго, что Митя забеспокоился, как бы не расплылись чернила. Затем спросил хрипло:

— Какая?

— Дойти со мной до командира части. Тут рядом, несколько домов. А потом ведите, если вам надо...

Патрульные переглянулись. Старшина вновь зажег фонарик, и Митина книжечка подверглась дополнительному исследованию. Наконец лейтенант поднял глаза и потянул носом воздух.

— Что? Загулял?

— Есть немного,— быстро согласился Митя. Его сердило, что он говорит заискивающим тоном, но тут уж было не до оттенков.

Фонарик зажегся в третий раз.

— Ну ладно,— сказал старший, и Митя явственно услышал в голосе улыбку, которой не было на лице.— Счастлив твой бог, что догадал тебя правду сказать. Сбреши ты мне, и маршировать бы тебе завтра на плацу. Веди, показывай...

Стучать не пришлось, Горбунов еще не ложился. И хотя он был в матросской тельняшке, патрульный почему-то сразу признал в нем командира части и вступил в переговоры, не требуя верительных грамот. Командир вел себя с обычной сдержанностью и вопросов не задавал — вероятно, боялся сказать что-нибудь не-впопад. Митя не решался снять шинель: вдруг придется идти на улицу? Впрочем, разговор между командиром и начальником патруля протекал в тонах мирных и даже шутливых, и постепенно Митя уверился, что ему не только не грозит комендатура, но и вообще все ограничится отеческим внушением. Поэтому, когда патрульные, закончив переговоры и пограв руки у остывающего каминна, потянулись к выходу, он сам проводил их коленчатым коридорчиком, запер за ними дверь, вернулся в каминную в отличном настроении и онемел, увидев ледяное лицо Горбунова.

— Теперь, может быть, вы мне объясните,— сказал командир,— по каким крышам вас носило?

— Почему же именно по крышам? — хихикнул Митя. Трудно было ответить неудачнее.

— Посмотрите на себя.

В устах Горбунова слова обретали свой первоначальный смысл, если он говорил «посмотрите», его надо было понимать буквально. Митя бегло оглядел себя спереди и не нашел никаких отклонений от нормы.

— Посмотрите внимательнее, — сказал Горбунов, глядя почему-то в пол.

Митя нагнулся и ахнул. Только теперь он заметил, что его новенькая шинель разорвана сзади, большой лоскут свисал почти до самого пола.

— Слушайте, помощник, — сказал Горбунов шепотом; вероятно, он не хотел будить спящих, но Митя воспринял это как утонченное издевательство. — Когда вы вкатили Границе десять суток за довольно невинное хамство, я вас поддержал, ибо что может быть лучше требовательного помощника. Но требовательность — штука обоюдоострая. Как я, по-вашему, должен поступить, когда этого помощника приводят ко мне под конвоем растерзанного и пахнущего перегаром?

Митя молчал. Он не чувствовал себя виноватым. Конечно, получилось неладно, но ему казалось, что командир обязан был оценить, каким молодцом держался Туровцев, отражая нападки на своего командира, как решительно и правильно поступил он, уйдя пешком от Селянина, и каких усилий стоило ему явиться с опозданием всего на какие-нибудь полчаса. Командиру следовало знать, что даже Митина шинель была порвана с несомненной пользой для корабля. Во всем этом не было ни капли логики, но ощущения взяли верх над логикой, и Митя молчал с угрюмым, злым лицом, что еще больше раздражало Горбунова.

— Ложитесь спать, — сказал он, брезгливо косясь на висящий лоскут. — Вы будете наказаны.

Если б командир знал, что значит для Туровцева это слово! Митя вспыхнул. Он нарочно долго и методично раздевался, чтоб унять возбуждение. Он ощущал его физически, как вибрацию; уши горели, и холодело в позвоночнике. Перед тем как лечь, он оглядел койки — никто не шевелился, а кто-то даже посапывал, но трудно было поверить, что все трое — доктор, механик и Зайцев — не проснулись при появлении патруля и не слышали разговора. Он лег и укрылся с головой, но заснуть не мог, проклятая вибрация не прекращалась и требовала разрядки. Он с трудом удержался от того, чтоб вскочить, разбудить Горбунова и излить свое возмуще-

ние. Но под одеялом скапливалась раскаленная лава. Никогда еще лейтенант Туровцев не чувствовал себя таким оскорбленным. Что Ходунов! Ходунов был ординарный морячило, грубоватый и неотесанный, но, если подумать, не без достоинств и уж, во всяком случае, без затей — то, за что себя выдает. А Горбунов...

Все факты, доселе считавшиеся более или менее установленными, как по команде, сделали «поворот все вдруг».

«Действительно, что такое Горбунов?

Начнем с того, что он — лицемер. Конечно, у него с Катериной Ивановной самый настоящий роман, лично я ничего против этого не имею, она очень интересная женщина, и командиру можно только позавидовать. Но почему же ему можно, а мне нельзя? Какого же дьявола он читал мне все эти аскетические — или как их там — проповеди и ханжил насчет своей погибшей жены? Если б не он, я не потерял бы Тамару. Положим, Тамара — дрянь, и ее надо было бросить, но он-то — он-то ведь этого не знал! Не знал и рубил впотьмах, со свойственной ему самоуверенностью и страстью поучать. Ему, видите ли, нужен я целиком, и ему безразлично, что Митя Туровцев, может быть, прошел мимо своего счастья. А что? Если даже родители не всегда понимают, в чем счастье их детей, то почему командир воинской части номер такой-то вмешивается в мою личную жизнь? А если уж вмешиваешься, то держи марку, не торчи под рупором и не пяль глаза на Катерину Ивановну. Небось был рад-радешенек от меня отделаться, а теперь, когда она опять исчезла на целую неделю, злится и напускает строгость. А может быть, я люблю Тамару? Любят же всяких, и неправильных и беспутных... Вот пойду завтра же к Тамаре и скажу: я тебя люблю такую, какая ты есть, и не допущу, чтоб ты пошла по рукам, а лучше сам убью».

Для убедительности Митя сунул руку под матрас и нащупал лежавшую там кобуру: «Да-с, застрелю. Чтоб никаких Селяниных. Вон! К нему я претензий не имею и даже отчасти благодарен за науку. Он, конечно, порядочная скотина, но, по крайней мере, откровенная. На свете очень много свинства, и инженер во многом прав. Мне все равно предстоит бессонная ночь, и надо, не откладывая в долгий ящик, продумать до мельчайших подробностей все свое дальнейшее поведение. А завтра встать пораньше, затопить печку, заштопать шинель и

с сигналом к побудке начать совершенно новую жизнь, внешне почти не отличимую от прежней (ремонт корабля при всех условиях на первом месте!), но с одним существенным различием — в этой новой жизни Виктор Иванович Горбунов будет для Туровцева только начальником, и ничем иным».

Приняв это решение, он немедленно заснул.

При утреннем докладе командиру Туровцев без всякого труда получил разрешение послать Соловцова в разведку. Подписывая командировочное удостоверение (всякий выход краснофлотца за пределы расположения части считался командировкой), Горбунов даже не спросил помощника, почему он посылает Соловцова именно на этот завод, а не на какой-нибудь другой.

На случай, если такой вопрос был бы задан, Митя приготовился в самой сдержанной форме объяснить командиру, что вчера он, лейтенант Туровцев, лично был на этом заводе, причем для пользы дела ему пришлось выпить с одним малосимпатичным тылови́ком. Но Горбунов ничего не спросил. Покончив с графиком, он сказал:

— Теперь о вас. По зрелом размышлении я решил арестовать вас на десять суток. Но я не для того вызволял вас вчера, чтоб сегодня остаться без помощника. Поэтому примите десять суток с исполнением служебных обязанностей. Практически это будет выглядеть так: вы сдадите доктору оружие, а затем в течение всего срока ареста можете находиться только в двух точках — на лодке или здесь, в кубрике. Проверять вас, конечно, никто не будет. Вполне полагаюсь на вашу порядочность.

Принимая от Туровцева пистолет, Гриша ухмыльнулся, но ничего не спросил. Поскольку оба не знали, как арестованные сдают оружие — с кобурой или без, — Митя решил оставить кобуру — и просчитался: опустевшая кобура шлепала по ноге и вообще всячески о себе напоминала. Соловцов, вызванный для последнего напутствия, глядел как-то странно — одним глазом «ел начальство», а другим ощупывал кобуру. Митя нарочно ничего не сказал Соловцову о Селянине, он все рассчитал и ждал, когда их курсы пересекутся. Однако случай и тут показал свой капризный нрав: вернувшись к обеду Соловцов доложил, что, проникнув по льду на заводскую территорию, он вошел в тайные сношения с неким кладовщиком. Звать его Прокофьич, и он очень

любит папиросы «Беломорканал». По словам Прокофьяича, на складах имеется многое из того, в чем нуждается лодка, но в данный момент идет переучет, и для получения любых материальных ценностей нужна виза председателя комиссии по переучету, какового на месте обнаружить не удалось.

Итак, в этот день Соловцов и Селянин не встретились. Зато произошла другая встреча — с Тамарой. Митя поднимался по лестнице, Тамара спускалась — вероятно, шла от Ивана Константиновича. У Мити даже не было времени подумать — хочет ли он уклониться от встречи.

На лестнице было почти светло. Мартовское солнце поджаривало тончайшую сверкающую корочку на выпавшем за ночь снегу, и это холодное сверкание пробивалось сквозь покрытые грязными потеками стекла лестничного окна. У Тамары был здоровый вид, без синевы и отеков, двигалась она легко, и в то же время она разительно переменилась. Легче всего сказать — это была не Тамара, не та Тамара, другая, неузнаваемая Тамара, но нет — это было именно Тамара, та самая и мгновенно узнаваемая, только как будто нарисованная другим художником. Все то же — и время и модель, — а живописец другой, со своей более темной и теплой палитрой, со своим особенным мрачноватым и задумчивым видением. Первый художник любовался аквамаринным блеском глаз, чистотой линий шеи и подбородка, черным лаком гладких волос, гордым и легким поставом головы — он был хороший художник несколько устаревшей школы, каких полным-полно в залах Эрмитажа: они ловко писали своих красавиц с корзинами плодов, это была добротная, звонкая, нарядная живопись. Вторым художником был человек суровый и нелегкой жизни. Вероятно, он не столько любовался, сколько мучился, пытаясь сделать зримым скрытое и подчеркнуть то, что казалось ему значительным: сухость темных губ, пересеченных поперечными морщинками, напряженную жизнь мускулов лица и затаенный отсвет зреющих решений в спокойном, почти лишенном блеска взгляде. В своем черном пальто и черном шерстяном платке она напоминала молодую вдову, с достоинством переносящую свое горе. Вторым художником решительно не видел в своей модели ничего жалкого или виноватого, и это больше всего сразило Митю.

— Здравствуй, Тамара, — произнес он хрипло.

— Здравствуй, Дима.— Голос Тамары звучал свободно.— Как живешь?

— Спасибо, ничего.

Посередине этой короткой фразы, именно там, где помещается запятая, Митя старательно усмехнулся — это должно было означать очень многое, и будь Тамара потоньше, она бы поняла. Но, по-видимому, она ничего не поняла, потому что спросила:

— Что не заходишь?

Всякая наглость имеет то преимущество, что на нее редко бывает готов ответ. Митя нашелся не сразу, но Тамара почему-то отлично поняла, что он хотел сказать.

— А почему бы и нет? Ты же сам говорил, что, как бы ни сложились наши отношения, мы останемся добрыми друзьями.

Митя смутился. Действительно, он это говорил.

— А ты хочешь, чтоб я пришел?

— Как когда,— сказала она так просто, что Митя позавидовал простоте.— Иногда хочу, а иногда очень не хочу.

И пошла вниз по лестнице, оставив Митю раздумывать над сокровенным смыслом сказанного. «Пойду,— решил он наконец,— только не сегодня, а завтра. Или послезавтра. Держаться буду очень просто и корректно. Пойду без всякой определенной цели, отчасти потому, что теперь уже неловко не пойти, отчасти для того, чтоб разобраться в некоторых мучающих (или лучше сказать — беспокоящих) меня вопросах. Никаких бурных объяснений. Спокойный, дружелюбный разговор. Кажется, вчера я собирался ее застрелить? Типично пододеяльная мысль. Этого еще не хватало, чтоб лейтенант Туровцев, не застреливший ни одного фашиста, открыл свой счет мести убийством бывшей любовницы. Когда до сих пор не отомщен Каюров, не отомщен Безымянный...»

Рука потянулась к кобуре и вместо волнующей шероховатости рукоятки ощутила пустоту. Только тогда он вспомнил, что арестован на десять суток и ни завтра, ни послезавтра никуда не сможет пойти. О том, чтоб пойти тайком, и думать нечего, командир непременно узнает, но если даже не узнает, идти тайком — это значит признать за Горбуновым сладостное право презирать помощника как человека мелкого и лишенного элементарных признаков порядочности.

...«Интересно, знает ли Горбунов о Тамаре? Нет,

конечно, не знает. А я знаю одно: когда идет война, самое тяжелое оскорбление для мужчины — лишить его оружия и доверия. Горбунов поступил со мной именно так. Он сделал это в полном соответствии со своим правом начальника, и я не собираюсь на него жаловаться. Но между нами все кончено».

За обедом Митя глядел в тарелку и не вымолвил ни слова.

Глава двадцать вторая

Хотя арест, которому подвергся штурман «двести второй», был типичной горбуновской «вводной», Митя переживал его столь же драматически, как если б сидел под замком. Жизнь шла по-заведенному, и раньше случалось по неделям не попадать на «Онегу», но одно дело — некогда, и другое — нельзя; как назло, на плавбазе каждый день что-нибудь происходило — то кино, то концерт, то баня. Единственный способ отвести душу и попутно досадить Горбунову заключался в щепетильнейшем соблюдении всех условностей. Митя полностью исключил из своего обихода все пусть даже отдаленно напоминавшее прогулку или развлечение: с лодки на койку и с койки на лодку, ни одной лишней минуты на воздухе, ни одной партии в домино. Если топилась печка или камин, он подходил погреть руки, но к огню не присаживался, и это тоже была демонстрация.

Отгородившись от Горбунова, Митя тем самым возвел барьер между собой и остальными обитателями каминной. Они относились к штурману по-прежнему, но не осуждали Горбунова — этого было достаточно, чтоб Митя надулся и замолчал. Притворяясь равнодушным, он следил за каждым движением командира и сложно истолковывал всякое сказанное им слово. Наедине с собой он много раз пытался разобраться в своем отношении к Горбунову и безуспешно — для этого нужен был покой, а Митя кипел, как оскорбленный любовник. Катерина Ивановна не появлялась, но по почтительному вниманию, которым Горбунов окружал художника, по выражению счастья, с каким он слушал любую сводку, если ее читала Катерина Ивановна, Митя все больше убеждался, что между ними существуют близкие отношения. Тут Селянин как в воду гля-

дел, а будучи прав в этом весьма существенном пункте, он вполне мог оказаться прав и еще в чем-нибудь.

В течение первых трех дней Митя пережил все этапы, через которые проходит всякий заправский узник. Сначала мысли узника витают вне стен тюрьмы, его преследуют образы утраченной свободы, затем круг суживается, и внимание на короткое время сосредоточивается на тех, кто стоит между ним и внешним миром, наконец круг замыкается, зрение становится ближним, образы внешнего мира тускнеют и расплываются, а все близлежащее приобретает небывалую отчетливость: узник впервые замечает полустертую надпись на оштукатуренной стене своей камеры, заводит дружбу с мышью и с трепетным вниманием следит за хилой былинкой, проросшей из занесенного ветром семечка. Не что подобное случилось и с Митей, вскоре он целиком погрузился в мир корабельных мелочей — и не без пользы для себя: за неделю он узнал о подчиненных ему краснофлотцах много нового. С переводом лодки во второй эшелон людей стало меньше, зато каждый был на виду. В непосредственном подчинении у Туровцева остались пятеро: боцман Халецкий, Соловцов, Джулая, Граница и гидроакустик Олешкевич, выполнявший по совместительству обязанности радиста. На этих людей можно было положиться во всем. Единственный, кто вызывал тревожное чувство, был Соловцов.

Никаких формальных претензий к Соловцову быть не могло, службу он нес образцово. Но с приходом Соловцова на лодке установился какой-то более резкий стиль отношений, все друг друга поддразнивали, иногда довольно грубо. Кроткий Граница стал носить на поясе большой матросский нож и без всякой нужды матерился.

Шла подспудная борьба за влияние. Туляков держался в стороне, но властный и ревнивый боцман, почуввав угрозу своему авторитету, ошетинился. По службе у них с Соловцовым недоразумений не было — боцман был выше придирок, — отношения обострялись в те немногие часы, когда команда отдыхала и завязывался общий разговор. В этих беседах у камелька безраздельно первенствовал Соловцов. У него было что порассказать, и он умел поражать воображение. Вероятно, для красоты он кое-что и привирал, но ему охотно верили. Только боцман слушал все эти рассказы со скептической улыбкой, задавал ехидные вопросы, а получив ответ, говорил «Вот как?» или: «Ин-тэ-рес-но!» с бе-

сившей Соловцова интонацией. Когда рассказывал Халецкий, Соловцов, в свою очередь, слушал его вполуха, со скучающим брюзгливым выражением и всячески давал понять, что все эти довоенные одесские байки порядком пообветшали и боцману не мешало бы обновить репертуар. Издали все это выглядело вполне невинным соперничеством, но при ближайшем рассмотрении Митя почуял, что в воздухе скапливается электричество, и решил осторожно расспросить Олешкевича. Олешкевич, сменивший на посту комсорга Митиного любимца Филаретова, сразу догадался, о чем его спрашивают, и с озабоченным видом почесал под пилоткой.

— Поганое дело. Это у них на национальной почве.

Туровцев даже не сразу понял. Над национальностью боцмана он как-то не задумывался.

— Путаете, Олешкевич. Где же у нас почва...

— Это точно, что почвы нет. А факты есть. Вы думаете, Пашка только евреев не любит? Он и грузинов не хвалит. А насчет братьев прибалтов он такое несет, что уж я ему замечание делал.

— Ну, например?

— То-то и дело, товарищ лейтенант, что он — Пашка этот — скользкий, как угорь. Он такого определенного, чтоб можно было вопрос поставить, никогда вам не скажет. Все больше намеками, ужимками. Заведет разговор, что воюют-то больше русские, вот Мирон Осипович и свирепеет, ну и Котька Джулай глазами играет. Из ребят, кто посерьезнее, те не клюют, а есть молодые, еще глупые — те и рады, хихикают...

— Безобразие, — сказал Митя. — Надо принимать меры.

Однако мер не принял — промедлил. И оказался на грани «чепе». Однажды утром, вызвав к себе рулевых для инструктажа, он заметил, что между боцманом и Соловцовым произошло какое-то серьезное столкновение. И тот и другой держались с такой холодной изысканностью, как будущие дуэлянты после вручения картеля. Присмотревшись, Митя заподозрил, что дуэль уже состоялась: под глазом у Соловцова чернел фонарь, у боцмана при отсутствии видимых повреждений вид был тоже помятый. На прямой вопрос о происхождении фонаря Соловцов ответил коротко: ударился о поручень. Боцман промолчал. По-видимому, дело происходило без свидетелей. Тут Митя встревожился — и не на шутку. Кто бы кого ни избил — начальник подчиненного или

наоборот,— дело было подсудное. Даже если допустить, что произошло нечто среднее, долг повелевал помощнику разобраться и покарать виновных. Он приказал Соловцову задержаться и, убедившись, что разговор происходит без свидетелей, решил пойти ва-банк.

— Слушайте, Соловцов,— сказал он, стараясь многозначительностью тона возместить недостаток фактических данных,— вы помните, на каких условиях вас взяли обратно на лодку?

— Так точно, помню.

— Так вот, если не хотите в два счета вылететь — бросьте эти штуки.

— Какие штуки, товарищ лейтенант? — Глаза Соловцова излучали такую полнейшую невинность, что уверенность Туровцева поколебалась.

— Шовинизм разводить. У нас этого не было и не будет.

— В каком смысле, товарищ лейтенант?

— Вы знаете, в каком...

— Никак нет, не знаю.

Разговор зашел в тупик.

— Ну хорошо, Соловцов,— сказал Митя,— формально вы неуязвимы. Я вас предупредил. Думать вы можете что угодно, но, если до меня еще раз дойдет что-нибудь в таком же роде, я спишу вас на плавбазу, а когда вы придете объясняться, сделаю такое же невинное лицо, как вот сейчас у вас. Имейте в виду: ключи можно подобрать к каждому человеку...

В этот момент в отсек вошел Горбунов. Узнав, о чем шел разговор, он нахмурился.

— Этого нам только не доставало,— пробурчал он, садясь на свое место. Соловцов хотел что-то сказать, но командир остановил его движением руки.— Послушайте меня, Соловцов,— произнес он вполголоса.— Не сомневаюсь, что помощник уже сказал вам все, что надо было сказать, но хочу, чтоб вы знали и мое отношение.— Он сделал паузу.— Я русский человек, как и вы. Этим можно гордиться, но нельзя чваниться. На нашем корабле есть люди разного ранга, но нет и не может быть людей разного сорта. И побеждать и погибать будем все вместе, и я хочу, чтоб боцман, который во время атаки управляет горизонтальными рулями, был твердо верен...

В этот момент Туровцева срочно вызвали в центральный пост, и чем кончился разговор командира с Солов-

цовым, он не слышал. Минут через десять Соловцов выскользнул из люка и с преувеличенно беззаботным видом отправился на корму.

Митя искренне считал, что во всей этой истории ему не в чем себя упрекнуть, и был очень удивлен, когда при очередном докладе командир сказал:

— Случаю придаю большое значение. Сознайтесь, вы были не на высоте. Это правда, что вы сказали Соловцову: «Можете думать что угодно, но чтоб я этого больше не слышал»?..

Митя подтвердил. Командир покачал головой.

— А правда, что вы?.. (Он довольно точно передал Митину угрозу подобрать под Соловцова ключи.)

— Правда,— угрюмо сказал Митя.

Горбунов посмотрел на него с нескрываемым интересом. Усмехнулся:

— Это что-то новое, штурман. Откуда это у вас?

Второе «чепе» произошло почти одновременно с первым: кто-то украл на камбузе дневную норму хлеба — пятьсот граммов. Граница был в отчаянии. Туровцев понимал, что искать пропажу бессмысленно, хлеб крадут не для того, чтобы хранить. Способов найти виновного существовало только два — выяснить и догадаться. Следствие или наитие.

«Чтоб ему подавиться,— думал Митя, сидя за штурманским столиком и в десятый раз проглядывая список личного состава, который знал наизусть.— Кто из наших мог сделать такую подлость? Стыд и срам, прямо хоть в угрозыск обращайся...— Он представил, как ищейку на блоке спускают в центральный пост, и хмуро посмеялся.— Самое скверное, что не на кого и подумать. Соловцов? Этот при случае не задумается, но у товарищей не возьмет. И вообще для него это не масштаб. Сам Граница? Ну, тогда он величайший актер в мире. Поговорить, что ли, с Олешкевичем?»

Олешкевич оказался в корме, и, чтоб не вызывать его в центральный пост, где все время кто-нибудь толчется, Митя пошел к нему сам. Проходя через моторный отсек, Митя увидел Тулякова. Старшина сидел на разномылке перед деревянными козлами, на которых покоилась цилиндровая втулка, и «выводил эллипс». При других обстоятельствах втулку можно было просто сменить, но по блокадным временам это было роскошью непозволительной, и эллиптичность выводилась вручную при помощи стеклянной шкурки и шлифовальных

порошков. Работа эта требовала высочайшего мастерства, осторожности и терпения. Все эти качества у Тулякова были, но, кроме них, было еще одно: старшина искренне считал свою уникальную работу пустяковиной и занимался ею, как старуха вязаньем, только в свободное время. При появлении штурмана Туляков и не подумал встать, больше того — он сделал гримасу, означавшую: прикрой за собой дверь и подойди поближе. Митя, давно усвоивший разницу между условным кораблем и ремонтирующейся лодкой, не усмотрел в этом нарушения субординации, он уже знал, что можно дерзить, стоя на вытяжку, и уважать начальство «из положения сидя». Поэтому он осторожно прикрыл за собой железную дверь с нарисованной на ней таблицей для перестукивания и опустился на корточки рядом со старшиной.

— Товарищ лейтенант, — таинственно прошептал Туляков. — Можно вам вопрос задать?

— Да, — сказал Митя совсем по-горбуновски.

— Неужто расследовать будете?

Митя удивился. Не вопросу — он отлично понял, о чем его спрашивают. Удивила тревога, прозвучавшая в голосе Тулякова.

— А как же иначе, Лаврентий Ефимыч?

— А вот как: пусть Граница возьмет с меня эти граммы, и делу конец. Сразу не могу, а в три дня — могу.

Митя был ошарашен. Неужели Туляков? Нет уж, легче подумать на себя, чем на него.

— Но нельзя же поощрять воровство.

Туляков покачал головой.

— Это не воровство.

— А что же?

— Слабость. По-старому сказать: бес попутал. Не хотел, а взял. Бывает, что и храбрый побежит, и верная жена налево отпустит. Потом трѣхнутся, ан поздно, уж ославили.

Митя кивнул. Он вспомнил, как, давясь, уминал краюху Безымянного, и физически ощутил на языке вкус черного хлеба. «Интересно, — подумал он, — мог бы я украсть по-настоящему? Наверно, нет, а впрочем, теперь я не так в этом уверен. И еще — что чувствовал тот, кто спер эту проклятую пайку? Только голод? Или еще что-нибудь? И что он думает сейчас, зная, что его ищут? Я бы на его месте... А впрочем, откуда я знаю,

как я поступил бы на его месте... Нет ничего труднее, чем поставить себя на место другого человека. И сколько людей, не обладающих даже в малой степени этим умением, берутся судить и решать».

— Ох, старшина,— сказал Митя с несколько натянутой шутливостью,— похоже, что вы знаете, кто это сделал.

— Знать не знаю,— сказал Туляков серьезно.— Догадываться могу.

— Так скажите.

— Зачем же? Кабы я определенно знал, ну тогда дело другое, моя обязанность доложить. А гадать никому не заказано.

Митя подумал, и вдруг его осенило: Конобеев. (Крупный. Любит поесть. Не очень твердого характера. И тоже моторист.)

— Добро,— сказал Митя, вставая.— Я подумаю.

Горбунов выслушал помощника с непроницаемым видом.

— Конкретно: что вы предлагаете?

— Туляков считает...

— Что думает Туляков, я знаю. Ваше мнение?

Митя замялся.

— Еще не сложилось? Десять минут на формирование собственной точки зрения. До свидания.

Митя выскочил из отсека в ярости. Десяти минут едва хватило, не меньше девяти он думал о том, почему Горбунов такая скотина. Затем постучал вновь.

— Ну?

— По-моему, Туляков прав.

Горбунов усмехнулся.

— По-моему, тоже.

На этом разговор и закончился. Митя прекратил расследование. Конобеев, державшийся вначале бодро, к вечеру заметно скис. Весь следующий день он ходил как потерянный, было замечено, что он копит хлеб. К вечеру второго дня он пришел к Олешкевичу и молча положил перед ним нечто, завернутое в газету. Олешкевич так же молча передал сверток Границе. Больше этот случай не обсуждался.

«Черт знает что,— думал Митя, натягивая на голову одеяло,— почему когда кто-нибудь украдет или набьет морду — это «чепе» и надо доносить по начальству? А когда Туляков изо дня в день делает уникальную работу, это почему-то не «чепе». Возмутительно». И тут

же привычно перевернул: «А с другой стороны — правильно. Ибо поведение Тулякова — норма, а «чепе» — отклонение от таковой и, естественно, привлекает к себе внимание руководства. Логично. Но тогда почему же в газетах сплошные подвиги и никаких происшествий?»

Говорят, что первый признак тяжелых душевных переживаний — бессонница. Переживания были, а бессонницы не было. Лейтенант Туровцев засыпал исправно, не успевая додумать мысль до конца.

Главное «чепе» стряслось на шестой день Митиного ареста. На этот раз местом происшествия оказался уже знакомый Мите завод, а виновником ни больше ни меньше как сам Горбунов.

Поездку на завод за материалами Туровцев готовил так, как готовят выход в море. Вторично был послан на разведку Соловцов, он проник на завод со стороны Невы и, войдя в сношения с местными старожилами, установил, что на складах имеются почти все необходимые материалы, а также подробнейшим образом разузнал о формальной стороне дела. Самое трудное было раздобыть грузовую машину. Рассчитывать на официальные каналы не приходилось, и Митя, с помощью того же Соловцова, договорился с заведующим гаражом одного почтенного учреждения о предоставлении машины на условиях, не предусмотренных существующим законодательством. Суточное расписание было построено так ловко, что даже отсутствие Тулякова не должно было отразиться на выполнении графика.

В начале одиннадцатого к трапу подошла полуторка. Из кабины выпрыгнул давно не бритый гражданский шофер и, с первых же слов перейдя на крик, заявил, что он прибыл в распоряжение капитан-лейтенанта Горбунова на один час времени, что из этого часа он уже и так простоял зря десять минут у плавбазы и что, как только час пройдет, он, ни на что не глядя, бросит все и уедет к чертовой матери, и что бензину у него всего ничего, и если ему сию же минуту не зальют десять литров какого-никакого, но чтоб настоящего бензину, то он опять-таки бросит все и уедет к той же матери, что ресурса у него слабая и не держит, а потому машину надо грузить с умом, если же будут грузить без ума, то пусть тогда все горит огнем, а он поедет к себе в гараж, потому как для него все одинаковы — военные и штатские, а рацион пропадать не должен... Кое-как утихомирили расхोдившегося водителя и после недолгих сборов ука-

тили. Поехали Ждановский, Туляков, Соловцов и Граница. В последнюю минуту к ним присоединились Зайцев и Горбунов. Павел Анкудиныч знал завод как свои пять пальцев и действительно мог быть полезен, Горбунов же вполне мог не ехать...

Все понимали, что через час машина не вернется. Но она не вернулась и через два. Митя и доктор впервые обедали вдвоем, ели молча, обоих точила тревога. Доктора тревожило, что командир поехал уж очень налегке, в фуражке и реглане, что беспокоило Туровцева — он и сам толком не знал.

Прошло еще часа полтора. Митя был в центральном посту, когда приоткрылся рубочный люк и стоявший на мостике Джулая гаркнул:

— Эй, внизу! Наши! Едут!

Индейский боевой клич и топот потрясли лодку. В центральном посту сразу стало тесно. Митя хотел было прикрикнуть, но, увлеченный общим порывом, сам полез наружу, ему хотелось посмотреть, с чем вернулись посланцы корабля. С мостика он увидел стоящую у трапа машину — судя по тому, как топорщился прикрывавший кузов машины рваный брезент, улов был порядочный. Все — на мостике и в кузове машины — кричали и махали руками. Откуда-то возникли Петрович, Шурик Камалетдинов и прочие представители гражданского населения. Командир ловко выпрыгнул из кабины, откинул задний борт и помог сойти остальным. Шофер по-прежнему был угрюм и страховиден, но не торопил и не ругался. На лице Горбунова Митя заметил знакомое выражение мрачноватого вдохновения — впрочем, отблеск этого вдохновения лежал на всех лицах, даже у механика, как показалось Мите, был возбужденный вид. «Что там могло приключиться?» — подумал он. Ему очень хотелось расспросить командира, но при существующих отношениях это было невозможно, поэтому он вернулся в центральный пост и стал ждать Соловцова. Соловцов долго не шел — все приехавшие, включая сердитого шофера, обедали в кухне, — а явившись для доклада, повел себя странно, мялся, мямлил и на прямой вопрос о причинах опоздания ответил уже совсем несуразно, что он «при этом не был».

— При чем при этом?

Молчание.

— Вы что-то крутите, Соловцов, — сказал Митя, рассердившись.

— Никак нет, не кручу. Пусть капитан-лейтенант вам сам расскажет.

— Не ваше дело. Отвечайте, когда вас спрашивают...

Даже то небольшое, что удалось вытянуть из Соловцова, выглядело достаточно скандально. Все шло нормально, пока не встрял какой-то военинженер. Он придрался к тому, как оформлен наряд, и задержал уже нагруженную машину. Виктор Иванович с ним сцепился, обругал и даже хватался за пистолет. Обо всем этом Соловцов поведал в сдержанных тонах, как будто без своего отношения, но Митя понимал, что, если б Виктор Иванович мог, не подвергаясь ответственности, пристрелить инженера и почему-либо не сделал этого, Соловцов был бы очень разочарован.

— Так чем же дело кончилось?

— А ничем. Повезли без оформления.

Митя даже присвистнул:

— Лихо! За это нас по головке не погладят.

Отпустив Соловцова, Митя задумался. Предстояло разобраться в новых фактах и расставить их на подходящие места.

Первое новое обстоятельство заключалось в том, что Горбунов и Селянин встретились. Рано или поздно эта встреча должна была произойти, Митя предчувствовал, что добром она не кончится, но даже он не ожидал такой бурной реакции. Столкновение было при свидетелях, следовательно, ничейный счет исключается.

Второе обстоятельство, и тоже не лишнее интереса,— Соловцов столкнулся с Селяниным. Теперь можно считать окончательно установленным, что «тот» и Селянин — не одно и то же лицо. Нельзя же предположить, чтоб Соловцов увидел своего врага при дневном свете и не узнал его. Так бывает только в романах.

— Итак,— сказал вслух Митя,— братцы ленинградцы, что мы имеем на сегодняшний, так сказать, день? Что мы имеем с одной стороны и что мы имеем с другой стороны?

...«С одной стороны, мне не совсем понятно, доволен ли я, что Селянин не дезертир? Окажись Селянин дезертиром или, еще лучше, агентом гестапо — все сразу стало бы на привычные и удобные места, а на всей селянинской философии можно было бы поставить жирный крест как на вражеской пропаганде. На этом фоне лейтенант Туровцев, способствовавший, хотя и с некоторым

промедлением, разоблачению негодая, выглядел бы вполне достойно. А впрочем, абсолютно неизвестно, как бы он выглядел, все зависит от точки зрения, как утверждает все тот же Селянин. Это с одной стороны...»

...«А с другой стороны — лейтенант Туровцев опоздал на полчаса и получил десять суток. Допустим, он это заслужил. Но что же тогда сказать о командире, который оскорбляет должностное лицо, хватается за оружие и самовольно вывозит государственное имущество? А? Правда, Селянин стал на формальную точку зрения, ему наплевать, с каким трудом удалось достать машину, и я представляю, как гнусно он себя вел, но для Горбунова это не оправдание. Селянину вообще свойственна формальная точка зрения. А разве Горбунов не стоял на формальной точке зрения, когда вкатил мне эти самые десять суток? Хочешь ходить прямыми путями, будь сам без сучка-задоринки...»

...«Чья это мысль? Кажется, селянинская».

...«Ну и что ж, пускай селянинская. Селянин далеко не глуп. К его рассуждениям следует относиться критически, но кое в чем он, к великому сожалению, прав. Мир еще весьма несовершенен, идеальных людей и отношений пока не существует, и надо трезвее смотреть на некоторые вещи. Что значит «трезвее»? Стать циником? Нет, не циником, а просто пора перестать ходить в детский сад».

...«Чего же я хочу?»

Ответ помещался где-то на самом донышке души. «Конечно, я хочу, чтоб все обошлось благополучно. Двести вторая должна успешно закончить ремонт и выйти в Балтику. Конечно, я хочу победы Горбунову. И немножко хочу, чтоб он получил встрепку. Зачем? Это трудно объяснить. Чтоб стал мягче. Чтоб с него слетела эта властная самоуверенность, которой я столько раз остро завидовал. Чтоб он стал более соизмерим со мной, чтоб сократилась дистанция, мешающая нашей дружбе. И чтоб он больше ценил мое хорошее отношение к себе».

Разборкой привезенных материалов занялись после ужина. Мите было приказано тщательнейшим образом заприходовать все награбленные сокровища, дабы он мог в любую минуту отчитаться в каждом грамме металла. Все очень нервничали, даже Туляков. Выяснились ошибки, которых можно было избежать, не будь погрузка такой скоропалительной. И Митя впервые по-настоя-

щему оценил помощь Павла Анкудиновича; только человек, построивший лодку, мог взять на себя ответственность за использование материалов с отличными от проектных показателями. В десятом часу замерзший и усталый Митя ввалился в каминную и увидел, что доктор растапливает камин. Горбунов лежал на койке, укрытый одеялом. Услышав шаги помощника, он зашевелился и поманил его к себе. Митя подошел и нагнулся.

— Послушайте, штурман, — прошептал Горбунов, — возьмите власть в свои руки. У меня пропал голос, и я не могу наорать на доктора. Пусть он не устраивает паники.

— Я вам говорил, что вы простудитесь, — сварливым голосом отозвался Гриша.

Горбунов приподнялся на локтях. Как видно, он хотел рывкнуть, но только щелкнул зубами.

— Кроме шуток, помощник, объясните ему — я не хочу, чтоб сегодня кто-нибудь от нас ходил на «Онегу». У меня есть на то свои причины.

Митя подошел к камину.

— Зачем тебе на «Онегу», лекарь?

— За горчицей. На лодке сожрали с хлебом всю горчицу.

— При чем горчица?

— При том, что командиру нужно поставить горчичники.

— Ты темный человек, Григорий. Кто ж теперь делает горчичники из горчицы?

— Ты знаешь другой способ?

— Нет, не знаю. Зато я знаю человека, который делает горчицу из горчичников. Короче говоря — сколько тебе надо?

При свете разгорающихся лучинок Митя нацарапал записку Николаю Эрастовичу.

После ухода доктора ни Митя, ни Горбунов не произнесли ни слова. Доктор исчез надолго.

— Куда ты провалился? — накинулся на него Митя, когда тот наконец появился.

— Пришлось его послушать. Он уже два дня как не встает.

— А что с ним?

Гриша сделал неопределенный жест.

— Очень плох?

— Физическое состояние еще ничего. Политикоморальное — мне не нравится.

Он вытащил из сумки толстенную пачку горчичников, обернутую воощеной бумагой. Митя удивился:

— Это он тебе столько отвалил?

— Она.

— Кто — она?

Теперь удивился Гриша:

— Жена, конечно.

Пока доктор ставил Горбунову горчичники, Митя орудовал кочергой и думал о Тамаре. О том, что Тамара была женой Николая Эрастовича, он за последнее время даже не вспоминал... Если это и было, то давно — до войны. Все довоенное воспринималось как дсисторическое.

Через несколько минут Горбунов загремел пружинами.

— Доктор, прекратите пытку.

— Жжет?

— Кабы только жгло. Вы что, не слышите запаха?

Митя потянул носом. Проклятые горчичники издавали нежное благоухание, они пахли влажным ветчинным жиром, вареным рождественским окороком и возбуждали в памяти какие-то давно истлевшие картины: мраморные прилавки «Гастронома», овальные мельхиоровые блюда таллиннской «Глории»...

Вошли задержавшиеся на лодке Ждановский и Зайцев, они тоже стали принюхиваться. Пришлось выбросить горчичники в огонь, но это уже не помогло, гастрономическая фантазия разыгралась, и, хотя по неписаному закону кубрика разговоры о еде считались дурным тоном, заговорили о ресторанах. Выяснилось, что Гриша никогда не был ни в одном ресторане, а Павел Анкудинович завтракал в нью-йоркской «Уолдорф-Астории», где яйцо всмятку стоит полтора доллара, и ел в китайском ресторане обед из восемнадцати блюд.

«Какая-то чертовщина, — сердито размышлял Митя, сидя на койке и растирая ладонями коленные суставы. — Почему горчица пахнет ветчиной? — Он вдруг вспомнил, как они с Горбуновым пили неразбавленный спирт и закусывали корочкой. — Это был расцвет наших отношений, мы должны были стать друзьями. И не стали. Стоило мне выпить с другим человеком и нарваться на патруль, как он уже забыл ту ночь на лодке, когда он корчился от муки и исповедовался мне как ближайшему другу. И не только забыл, но поступил со мной, как училищный бурбон с проштрафившимся курсантом. Он

поманил меня дружбой и оттолкнул, да не просто оттолкнул — сначала он отнял у меня Каюрова, мы непременно подружались бы, если б не Виктор Иванович, рядом с ним Василий казался мне мельче — и несправедливо, вот уже скоро три месяца, как его нет, а чувство утраты становится все острее, кажется, я только теперь начинаю понимать, какого парня мы потеряли. Горбунов отнял у меня Василия, отнял Тамару, а сам крутит роман с Катериной. Ему гораздо интереснее молчать со Ждановским, чем говорить со мной. Даже этот беззубый строитель, который за последнее время почему-то взял со мной иронический тон, — и тот ему ближе, чем я. И если я все-таки продолжаю думать о нем и беспокоиться по поводу его дел, то это только доказывает, что я — телятина, бесхарактерный мальчуган, готовый обокрасть отца и мать, только бы выслужиться перед старшим товарищем. Кстати, об отце и матери: сегодня же, не откладывая, напишу им письмо, длинное и ласковое, со всякими бытовыми деталями, до которых они такие охотники...»

Но и на этот раз дальше благих намерений дело не пошло — прибыл комдив. Отпустив сопровождавшего его боцмана, Борис Петрович молча кивнул в ответ на приветствия и, не раздеваясь, а только расстегнув шинель, присел у койки Горбунова. Все понимали, что комдив хочет поговорить с командиром с глазу на глаз, но почему-то медлили и не уходили. Выручил заглянувший на огонек художник: он мгновенно все понял и сделал вид, что для того и пришел, чтоб пригласить своих постояльцев на чашку морковного чая. Туровцев задержался дольше других и, войдя в тамбур, застал уже налаженную жизнь: в изразцовой печке пылали ярким, но ненадежным пламенем старые картонки, а сидевшие у огня четверо мужчин спорили.

— Заступитесь, Дмитрий Дмитрич, — сказал художник, подвигаясь и освобождая Мите место у огня.

— А что?

— Да вот Григорий Аполлонович отрицает искусство.

— Что ты врешь, лекарь? — недовольно сказал Митя. Его не слишком беспокоили эстетические взгляды Гриши, но он считал, что в доме художника можно и не заводить таких разговоров.

— Я не отрицаю, — хмуро отозвался доктор. — Для меня лично оно не существует.

— Почему?

— У меня на него нет времени.

— Вы меня удивляете, доктор,— мягко сказал художник.— Меньше всего я ожидал услышать это от вас.

— Объясните.

Художник улыбнулся.

— Пожалуйста. Павел Анкудинович и Федор Михайлович — инженеры. Дмитрий Дмитрич, насколько я понимаю, штурман — иными словами, математик и астроном. Представителям точных наук вообще свойственно некоторое высокомерие по отношению к образному познанию мира. Но откуда оно у вас — единственного здесь представителя искусства?

Зайцев и Митя засмеялись.

— Медицина — наука,— насупившись, сказал Гриша.— Все, что не наука,— знахарство.

— Медицина, может быть, и наука, а врачевание — искусство. Не только потому, что оно еще очень недавно приобрело твердую опору в точных науках, но и потому, что там, где оно перестает быть искусством, оно теряет значение и как наука. Говорю так уверенно, потому что очень много лечился. За последнее время я пользуюсь только вашими советами и никогда не чувствовал себя лучше. Я был бы низким льстецом, если б сказал, что преклоняюсь перед вашими научными знаниями, но я большой поклонник вашего таланта.

Митя и Зайцев опять засмеялись. Даже Ждановский улыбнулся.

— Скажите, Григорий Аполлонович,— продолжал художник,— вы родились в деревне?

— В деревне.

— И коров пасли?

— Ну и что ж из того, что пас?

— Вы, кажется, принимаете меня за аристократа? Я сам из деревни, и из очень нищей деревни. Мой отец был поп. Не отрицаю, поп — нетрудовой элемент, единственное, что я могу сказать в его оправдание: если б он жил только на свои нетрудовые доходы, я и мои братья и сестры, числом одиннадцать, умерли бы с голоду. Отец целыми днями копался в огороде, от него чаще пахло навозом, чем ладаном. При этом он частенько выпивал и, когда был под хмельком, вел себя не по-пастырски. Так, совершая в нетрезвом виде таинство крещения, он давал мужицким детям диковинные имена, и огорченные родители не раз грозились отомстить. Ваш отец был

наречен Аполлоном. Уверен, что ваш дедушка и не слы- хивал о златокудром Фебе — это типично поповское озорство. Не удивляйтесь моему вопросу. Я только хочу сказать, что из пастушат и поповских детей вышло мно- го прирожденных артистов.

— А почему? — поинтересовался Митя.

— Мне это понятно. Пастух живет в близком обще- нии с природой и подолгу остается наедине с собой.

— А попы?

— Попы — другое дело. Все они — верующие и не- верующие — комедианты по профессии, их раздувшая- ся память хранит тысячи сказок. Священные книги со- здавали невежественные люди с могучим творческим воображением, на этом жирном перегное произрастают самые неожиданные злаки. Но что говорить о попах. Попы — это динозавры. Динозавры вывелись, остались ящерицы. А вот что случилось с пастушком?

— Пастушок пошел учиться алгебре, — тихонько подсказал Зайцев.

— Вероятно, — сказал художник, подумав. — Ве- роятно, так и есть. Столетиями он был отстранен от точ- ных знаний, и, когда раскрылись запертые двери, он ринулся в них с упоением. Он сыт по горло созерцанием ночного неба и счастлив оттого, что видит Вселенную нанесенной на карту. Он готов остановить песню, чтоб подсчитать частоту колебаний. И что же делать, если иногда он с печальной поспешностью отказывается от меткого сравнения в пользу формулировки? Он потерял много времени и торопится, ему кажется, что он не вправе распылять свой порыв, и он наступает на горло собственной песне. Все неофиты таковы. Я не буду спо- рить с вами, Григорий Аполлонович, — он повернул к Грише свою могучую голову, — не потому, что не ува- жаю ваших взглядов, а потому, что это временная абер- рация зрения, детская болезнь, вроде ветрянки. Это пройдет. Сколько вам лет?

— Двадцать три, — сказал Гриша так озабоченно, что засмеялись все. Иван Константинович даже за- кашлялся.

— Вот, вот, — сказал он, отдышавшись. — Двадцать три, а вы еще не врач. Вы встревожены и хотите выбро- сить за борт балласт. А выбрасываете — крылья. Это вам не удастся. Вы будете превосходным врачом — я вам это предсказываю. Не смейтесь, люди моей профес- сии умеют предсказывать ничуть не хуже, чем ученые

и политики. И когда-нибудь вы остановитесь перед эскизами Ильи Ефимовича Репина к «Заседанию Государственного совета» и поймете, что портрет — это тоже диагноз.

Гриша долго молчал. Затем спросил:

— А вы можете сказать, что такое искусство?

Художник улыбнулся:

— Жаждете формулировки? Прочтите лучше древний миф о Пигмалионе и Галатее. Там все сказано. Воплощая свою мечту, человек оживляет мертвую материю и создает новую форму бытия. Произведение искусства сродни всему живому. При помощи искусства человечество обменивается идеями, не превращая их в формулы, искусство убеждает вас, как любимая женщина, — не унижаясь до доказательств.

Гриша промолчал.

— Я сейчас мельком видел вашего начальника, — продолжал художник, — вероятно, он меня не узнал, но я его отлично помню. Великолепное лицо, которое портит выражение постоянной озабоченности. Когда я вошел, он разглядывал стены, и мне кажется, его тревожит, что его подчиненные живут в окружении полотен неутвержденного образца. Послушайте, — художник вздохнул, — я был на празднике у ваших матросов и до сих пор под впечатлением — многое было просто талантливо. Но поговорим о том, что вы называете оформлением. Я понимаю, красный цвет символизирует революцию, а голубой — море, звезда и якорь тоже очень высокие эмблемы, тем недопустимее делать из них салат. В гомерических дозах и в противоестественных сочетаниях они способны вызывать только головную боль. И откуда у вас — борцов против власти золота — такое пристрастие к золотой краске, именно краске, ибо спектр не знает такого цвета. По-вашему, это красиво?

Теперь безмолвствовали все. На несколько секунд стало тихо, и Митя услышал громкий голос Кондратьева. Доктор слегка приоткрыл дверь. Голос комдива гремел.

— Я не знаю, чего ты добиваешься, — кричал комдив. — Убей меня — не понимаю. Я хотел как лучше. Ладно, делай как знаешь. А я отступаюсь. Я человек простой, мне эти выверты, извините, непонятны...

Гриша выскользнул из тамбура, и голос сразу умолк, а когда минутой позже подбежал Туровцев, он застал такую картину: доктор, ругаясь, укладывал Горбунова в

постель, а Кондратьев расхаживал по комнате большими шагами, при каждом повороте полы его расстегнутой шинели полоскались, как паруса. Это продолжалось довольно долго.

— Ухожу, — объявил он наконец. — Не смей вставать! — взревел он, заметив, что Горбунов приподнимается. — Вот лейтенант — он меня проводит...

Выходя, Митя столкнулся с Катериной Ивановной. Вопреки закону, гласящему, что видимость цели находится в прямой зависимости от ее освещенности, первое, что она увидела, была неосвещенная койка, на которой лежал Горбунов. Она коротко вскрикнула, но сразу же овладела собой, не таясь подошла, что-то спросила, потянула носом, засмеялась, затем обернулась, чтоб поздороваться — с Митей дружески, с комдивом церемонно, — и убежала к себе. Все выглядело прилично и естественно, но Митя, усмехаясь, подумал: вот так тайное становится явным.

Спускаясь по темной лестнице, Борис Петрович только вздыхал и недовольно фыркал, но Митя знал, что он непременно заговорит, и на всякий случай обдумывал свое поведение. Вариантов было два — разговор по душам или благоразумная сдержанность.

Комдив действительно заговорил, но не сразу. Сначала он прошелся по протоптанной Горбуновым тропинке до столба с репродуктором, принаравливая шаг к тиканью метронома. Митя шел рядом, но держался боком, для двоих тропинка была тесновата. На втором заходе Кондратьев отрывисто спросил:

— Что у них там — серьезно?

На Набережной было светлее, чем на лестнице, но не настолько, чтоб смотреть друг другу в лицо. Митя, также не поворачивая головы, ответил:

— Мне об этом ничего не известно.

— Не брешь, — сказал Кондратьев.

Он слегка подтолкнул Митю в бок, и Митя понял: комдив ему не поверил, но не осудил, а скорее даже одобрил, что помощник не выдает командира.

— Ну ладно. Что на лодке?

Митя рассказал про то, как идет ремонт; дойдя до последних происшествий, он запнулся, но комдив так грозно и нетерпеливо хмыкнул, что пришлось рассказать. Комдив слушал, не перебивая, и только время от времени фыркал. Затем рассказал доверительно поразившую Митю новость: путем всяких дипломатических

ухищрений Кондратьеву удалось склонить Селянина на мировую, но Горбунов от мировой отказался. А дальше произошло нечто совсем непредвиденное — Митя совсем забыл о только что принятом решении, и они с комдивом отвели-таки душу, обстоятельно и со вкусом обсудив характер, взгляды и семейные обстоятельства Виктора Горбунова.

Первым опомнился комдив.

— Ну ладно,— сказал он, протягивая руку.— Что это мы с тобой как две бабы...

И зашагал к «Онеге», оставив Туровцева в смутном ощущении, что он сделал нечто такое, чего делать не следовало.

Глава двадцать третья

На следующее утро у Горбунова окончательно пропал голос. Губы обметало. Гриша попытался удержать его в постели, но командир молча показал ему кукиш и стал делать зарядку. Единственное, что он решил — и то как великую милость,— забинтовать горло и смазать болячки цинковой мазью. В таком неавантажном виде он потащился на лодку, за столом сидел нахохлившись, чай казался ему холодным, и он загонял Границу.

После второго стакана командир заговорил. Одними губами — связки бездействовали.

— Вам задание, помощник.

— Есть,— сказал Митя.

Но командир опять замолчал и не разжал губ, пока помощник не догадался вынуть блокнот. Добившись своего, он зашептал:

— Послезавтра в девятнадцать ноль-ноль по ленинградскому радио выступают передовики ремонта Ждановский, Туляков, Савин, ответственный Туровцев. Двадцать минут: десять вам, остальным по три и три в периоде. Подготовьте текст, самую суть. Страница, напечатанная через два интервала, идет примерно две минуты. Все ясно?

«Еще бы не ясно,— подумал Митя,— не надо большего ума, чтоб догадаться, с какого румба дует ветер». А вслух сказал:

— Я не могу идти, я арестованный.

Горбунов усмехнулся.

— Ничего. Пойдете над конвоем.

— Виктор Иванович, — сказал Гриша, — я вам категорически запрещаю присутствовать при подъеме флага.

— Идите вы, доктор, знаете куда, — просипел Горбунов.

Он с трудом нагнулся и полез в центральный пост. Зайцев засмеялся, Ждановский вздохнул, а Митя позавидовал доктору.

Сразу же после подъема флага на лодку густо пошел посетитель.

Первым явился Саша Веретенников. В новой шинели из тонкого драпа, в новой фуражке с нахимовским козырьком, маленький, нарядный, заряженный весельем и энергией, как лейденская банка электричеством.

— Встать смирно! — скомандовал он, столкнувшись с Митей на трапе. — Играй большой сбор!

— Не вижу повода, — буркнул Митя. Он совсем не был расположен к шуткам.

— Щенок, — сказал Сашка. — Да ты знаешь, кто перед тобой?

— Некто Веретенников. Ну, здорово!

— Не «здорово», а «здравия желаю». А кто такой Веретенников — знаешь?

— Тип.

— Молчи, сгною. Не тип, а командир пэ эль эм-бис двести тринадцать старший лейтенант Веретенников А. И.

Митя почесал в затылке.

— Тогда поздравляю...

— Можете. — Веретенников нагнул к себе Митю и поцеловал, обдав запахом пудры и одеколона «Магнолия». — Слушай, старпом, нет ли у тебя чего-нибудь такого антисептического?..

— Нашел у кого спрашивать. Живешь на базе...

— И-и, голубчик! Все это плюсквамперфектум. На базе сейчас институт благородных девиц. Из крепких напитков только чай.

— Что так?

— Весна. Период строгостей и перемен. Знаешь, как у нас: один старшина напился — весь флот без чарки. Опять же идет обследование, приехало из Москвы какое-то грозное начальство, на бригаде дым коромыслом, комбриг драит комдивов, комдивы нас, все злые как

собаки. Хожу, как Диоген — слышал про такого? — и ищу человека. Митька, будь хоть ты человеком... Я ж ведь не водки прошу. — Он замахал обеими руками.

— Чего же?

— Понимания. Сашка Веретенников — командир корабля! Занятно? Мне все чудится, что вот-вот люди одумаются и скажут: «Кто — Веретенников? Тот самый? Гнать в шею...» — Сашка радостно захохотал. — Митюша, ну можешь ты по-хорошему, от всего сердца позавидовать товарищу?

— Нет.

— Врешь. Ты что — не хочешь командовать кораблем?

— Хочу, но не умею.

— Ого! Ясно и достойно, в стиле Витьки Горбунова. Да, не повезло Виктору... Переходи ко мне, старпом. Я серьезно говорю. Имеешь шанс выйти в море. А при удаче — в люди.

— Нет уж, спасибо.

— Не хочешь? Одобряю. Виктор — это, брат, явление, он еще себя покажет. Слушай, старпом, — он понизил голос, хотя поблизости никого не было, — это факт, что Виктор набил морду какому-то интенданту?

— Не слышал. Откуда такие сведения?

— Слухом земля полнится. Ты что темнишь? — вдруг закричал Саша. — Не доверяешь?

— Спроси у него сам. Ты зачем пришел? За пониманием?

— Лишь отчасти. Пришел я, понимаешь, по деликатному делу. Хочу позаимствовать у вас пушчонку.

— Что значит «позаимствовать»?

— Нас намечают в первый эшелон. А у меня откатное устройство заедает.

— Ясно, — сказал Митя. — Так бы и говорил с самого начала — раздевать пришел. Придется тебе иметь дело с командиром.

Горбунов любил Сашку, но поздоровался холодно, вероятно, догадался о цели визита. Он выслушал его, не перебивая, и даже после того, как Сашка умолк, долго сидел с безучастным видом. Затем прошептал:

— Что же Левушка сам ко мне не пришел? Стесняется?

Услышав, что Лева Ратнер переведен на «щуку», Горбунов слегка оживился.

— Значит, я имею честь беседовать...— захрипел он, приподнимаясь.

— С командиром двести тринадцатой,— гаркнул Саша и приготовился целоваться.

Горбунов сел.

— Поздравляю. Хорошо начинаешь.

С этого момента он перестал замечать присутствие старшего лейтенанта Веретенникова.

— Скажите, пожалуйста, штурман, что у них там не ладится?

— Что-то с откатным устройством.

— Не могут отрегулировать?

— Вероятно,— сказал Митя, пряча улыбку.

— Надо сходить на двести тринадцатую и посмотреть, в чем там у них дело. В крайнем случае возьмем себе их пушку иотремонтируем.

— Товарищ командир,— уже всерьез взмолился Митя,— вы же знаете, что такое в нынешних условиях снимать и крепить орудие...

— Ну хорошо. Какой выход?

— Раз такое дело, пошлем своих ребят и сделаем не хуже, чем у нас.

— А больше им ничего не надо? — Горбунов протянул через стол руку и пощупал драп на шинели Веретенникова. Сашка сидел красный.— Ладно, вызовите мне Филаретова.

Поскольку Филаретова уже два месяца не было на лодке, Туровцев понял приказание как сигнал выйти из отсека и не показываться, пока не позовут. Так он и сделал, а вернувшись через четверть часа, застал командира в одиночестве.

— Атака отбита?

— Надеюсь. Сашка — хороший товарищ. И у него есть самолюбие, а не фанаберия только.

«Намек?» — подумал Митя.

— Вы вели себя безупречно, штурман. *Mes compliments...*

Вторым посетителем был Одноруков. Митя упустил момент его появления и был удивлен, застав Горбунова в обществе незнакомого человека. Посетитель был одет в новенькую морскую форму, сидевшую на нем как на портновском манекене, на старообразном личике жили, окруженные коричневыми тенями, внимательные, недобрые и как будто слегка воспаленные глаза. «У кого я видел такие глаза?» — спросил себя Митя и, поймав

взгляд командира, представился гостю по всей форме — с должностью и званием.

Гость ответил не сразу. Он сначала откинулся назад, как бы для того, чтоб получше охватить взглядом такого крупного и красивого лейтенанта. Большой рот растянулся в улыбке и стал очень похож на тире, заключенное в круглые скобки. Глаза в этой улыбке не участвовали, поэтому она в равной степени могла выражать и восторг и насмешку. Помедлив, он протянул Мите руку — влажную, но неожиданно сильную — и сказал доверительным шепотом:

— Одноруков.

«Липкий какой-то», — подумал Митя. Он вспомнил, у кого он видел такие глаза. Такие глаза были у Лялькиного дядьки, родного брата Фаины Васильевны Петроченковой, про которого говорили, что он из сектантов и даже вроде ихнего попа.

— Так вот, товарищ Одноруков, — просипел Горбунов, показывая на горло. — Наш разговор, естественно, откладывается.

— Надеюсь, ненадолго, — вставил Одноруков со своей двусмысленной улыбкой.

— Я тоже надеюсь. А пока помощник проведет вас по лодке и кубрикам. Обо всем, что касается жизни корабля, он расскажет вам несколько не хуже меня. Устраивает?

— Вполне, — сказал Одноруков, поднимаясь.

— Прошу вас, товарищ старший политрук, — сказал Митя тоном идеального старпома с условного корабля. Теперь он вспомнил, что слышал об Однорукове — от Саши Веретенникова. Одноруков был новый инструктор политотдела, взятый из резерва на место Павлика Иванова, давно просившегося на лодку и назначенного комиссаром «щуки». Сашка хвалил Павлика, а об Однорукове отозвался как-то не очень лестно и даже не совсем пристойно.

Осмотр начался с кормы. Очень скоро обнаружилось, что рассказывать Однорукову про ремонт так же бесполезно, как читать стихи глухому. Устройства лодки он не знал и ходить по ней не умел, морщился от стука дизельных клапанов и шарахался при виде обнаженного провода. Добравшись до центрального поста, он отказался идти дальше и спросил Митю, где лежат материалы.

— Какие материалы? — удивился Митя. Он в самом деле не понял вопроса.

Одноруков растянул рот в улыбке. Весь его вид говорил: мне постоянно приходится иметь дело с людьми непонятливыми или неискренними и хотя, кроме терпения и логики, у меня нет другого оружия, я все же не склонен отчаиваться.

— Я имею в виду, — повторил он негромко и раздельно, — материалы, похищенные на складе девяносто.

— Прошу прощения, — сухо сказал Митя. — Мне неизвестен склад девяносто и неизвестно ни о каком похищении. Все поступающие к нам материальные ценности аккуратнейшим образом приходяются... Боцман!

Халецкий вынырнул из-за перископа.

— Приходную книгу, живо!

Полистав книгу, Одноруков забыл о своем намерении осмотреть материалы и полез на мостик, где спросил у сигнальщика о калибре пушки. Получив ответ, укоризненно завздыхал и, спросив у перепуганного сигнальщика, как его фамилия, стал спускаться на берег. Перед тем как ступить на узенькие обледенелые сходни, он на секунду заколебался, но соображения престижа взяли верх, и он, зажмурившись, побежал. На твердой земле старший политрук вновь обрел уверенность, с одобрением оглядел детские саночки, на которых лежал только что привезенный для сварочных работ кислородный баллон, и хлопотавшего вокруг них Павла Анкудиновича. Уже под аркой он спросил:

— Этот человек бывает на лодке?

— Да, помогает...

— Без специального допуска?

Митя даже остановился:

— Но ведь он же ее построил.

Одноруков покачал головой.

— Это неважно.

В каминной стоял сумрак, давно не мытые снаружи, заклеенные широкими бумажными полосками окна пропускали мало света. Одноруков пододвинул к окну два стула, и Митя понял — предстоит разговор. Однако старший политрук не торопился задавать вопросы. Он снял шапку, обнажив редковолосую голову с выступающим затылком, расстегнул шинель и обошел кругом комнату. Глядя на картины, он щурился, а на некоторые даже смотрел в кулак.

— Нравится? — спросил он Митю, который счел

своим долгом следовать за ним на некотором расстоянии.

— По-моему, здорово.

— А по-моему, спорно. Мастерства я, конечно, не отрицаю. А вот что оно дает?

На такие вопросы Митя никогда не умел отвечать. Одноруков прикрыл глаза и растянул рот в улыбке.

— Я бы сказал так: поэтизация уходящего Петербурга. Не согласны?

— В чем же?

— Прежде всего в тенденциозном подборе объектов. Дворцы, храмы, шпили... Во всем этакая дымка... — Он показал рукой, какая.

— А чем плоха дымка? — спросил Митя сердито. Его разозлили не столько слова, сколько снисходительный тон. — Насколько я понимаю, после выстрела «Авроры» климат в городе не переменялся.

Одноруков вскинул голову и взглянул на Митю из-под опущенных век.

— Острите, — сказал он с кроткой угрозой в голосе. — Юмор. Ну что ж, я не против юмора. И даже сатиры, когда она верно направлена и метко разит наших врагов. Вы правы, уважаемый товарищ, климат не переменялся. Но это не дает художнику права не замечать коренных изменений, происшедших во всех областях нашей жизни, и, прежде всего, неизмеримо выросших запросов наших людей. Согласитесь, — для убедительности он прижал к груди висевший у него на боку армейский планшет, лицо его выражало страдание, — это искусство не для всех. Народ этого не поймет и не примет.

Мите очень хотелось сказать, что многие пейзажи Ивана Константиновича висят в музеях, что совсем недавно, уже после начала блокады, в лучшей типографии города, печатающей государственные бумаги, выпущена большим тиражом серия открыток с репродукциями этих пейзажей, и следовательно, народ не только принял их, но и взял на вооружение. Он хотел также заметить, что люди, не понимающие современного искусства, зачастую не понимают и классического и что в свое время классики хлебнули немало горя от своих современников. Но он побоялся обострять отношения и сказал примирительно:

— Почему же не поймет? Вы же понимаете.

Одноруков посмеялся снисходительно.

— Я — другое дело.

— Почему другое? Разве вы художник?

— Нет, я не художник, — жестковато возразил Одноруков, — но мне приходилось курировать эти вопросы.

Незнакомое слово добило Митю, и он умолк. Одноруков вздохнул и сделал приглашающий жест. Они сели у окна, лицом к лицу и почти касаясь коленями. Одноруков улыбался. Он опять, как тогда в отсеке, откинулся назад и посматривал на Митю из-под полуопущенных век.

— Ну-с, — сказал он. — О чем же мы будем беседовать?

Митя удивился.

— Я не знаю.

— Так-таки совсем не знаете? — Глаза Однорукова еще больше сощурились, а рот растянулся чуть ли не до ушей.

— Честное слово, не знаю. Если вы насчет той истории, так ведь я при этом не был.

— Это известно, что не были. Ну, а что вам рассказывал Горбунов?

— Представьте себе — ничего.

Это была чистая правда, но выглядела она до того неправдоподобно, что Митя покраснел. Одноруков посмотрел на него с жалостью.

— Я вижу, — сказал он, вздыхая, — вы со своим командиром большие приятели.

Митя тоже вздохнул. Рассказывать постороннему человеку о своем разрыве с Горбуновым было глупо.

— Конечно, — сказал Митя. Эта сознательная ложь на время вернула ему доверие собеседника.

— По крайней мере — откровенно.

— А вы разве против дружбы?

— Опыт показывает, что приятельские отношения между начальником и его ближайшими помощниками редко доводят до добра. Успокойтесь, я не имею в виду вас лично. — Он похлопал Митю по колену.

— А я и не беспокоюсь, — грубо сказал Митя. Он чувствовал, что начинает волноваться — именно потому, что его успокаивают. — Если можно, товарищ старший политрук, поближе к делу. Задавайте вопросы.

— Значит, вы хотите, чтоб я вас допрашивал? — спросил Одноруков с несколько натянутой шутливостью. — А вот я — не хочу.

— Чего же вы хотите?

— Беседовать. А для того, чтоб наша беседа была плодотворной, она должна быть... ну?

Митя промолчал, он не любил подсказки.

— Искренней,— сказал Одноруков.— Вы член партии?

— Комсомолец.

— Комсомол — ближайший помощник партии,— сказал Одноруков таким тоном, как будто эта мысль только что родилась в его мозгу.— Вы согласны со мной?

— Согласен.

— Договорились. Итак, мы ведем дружеский разговор.

— О Горбунове?

— Да, мне хотелось бы знать ваше совершенно объективное мнение. Что это значит? — спросил он себя тоном лектора.— Это значит, что чрезвычайно желательно, чтоб вы полностью отвлеклись от всего, что способно помешать принципиальности ваших суждений, от сложившихся между вами приятельских отношений, и руководствовались в каждом слове только интересами дела, то есть,— он поднял палец,— в конечном счете нашими общими интересами, интересами вашего друга и вашими собственными.

Митя не совсем понимал, почему он должен отвлечься от дружеских отношений с Виктором Ивановичем и вести о нем дружеский разговор с человеком, которого видит первый раз в жизни. Но в мягких шепотных интонациях Однорукова, в его манере отделять слово от слова четкими интервалами было что-то завораживающее, заставлявшее предполагать, что за его словами стоит какая-то иная логика, более высокая, чем та повседневная, обывательская, при помощи которой лейтенант Туровцев обходился до сих пор.

— Предупреждаю, ничего плохого о Викторе Ивановиче я сказать не могу,— пробормотал Митя со слабой надеждой, что его сразу оставят в покое.

— А почему вы думаете, что я хочу услышать именно плохое? Согласитесь, если б я хотел услышать плохое, я обратился бы к кому-нибудь другому.

Довод показался Мите неопровержимым, и он смирился.

— Итак, я вас слушаю,— сказал Одноруков.

— По-моему, Виктор Иванович — хороший командир и настоящий коммунист.

— Солнце без пятен?

— Недостатки есть у каждого человека.

— Ну вот видите. А я уже испугался, что капитан-лейтенант Горбунов совершенен. Какие же недостатки? Или — поставим вопрос несколько иначе — какие качества Горбунова вы склонны расценивать как его недостатки?

«Сейчас охрипну», — со злостью подумал Митя.

— Я помогу вам, — сказал Одноруков, выждав с минуту. — Качества военнослужащего складываются из ряда признаков...

«Не меньше трех», — догадался Митя. Его мучила мысль, что с минуты на минуту начнется пробная сварка, а этот обстоятельный товарищ, как видно, никуда не торопится.

— Признаки эти делятся на политические, деловые и морально-бытовые. Вы согласны со мной?

— Согласен, — сказал Митя, тяжело вздыхая. За последнее время он сильно разочаровался в Горбунове, считал его человеком с большими странностями и тяжелым характером, неприятно самоуверенным, сухим, мелочным и обладающим вдобавок удивительным талантом раздражать людей. Все это были несомненные недостатки, но отнести их к определенному виду — деловому, политическому или морально-бытовому — Митя не умел. Он посмотрел в окно и увидел Границу. В руках у Границы был короткий лом, и он с размаху бил ломом по льду, его долговязая фигура то выпрямлялась, то сламывалась под прямым углом. Митя нахмурился, вспоминая, — он не любил, когда на лодке делалось что-то помимо него. Затем сообразил: вырубает стреляную гильзу от зенитного снаряда. Теперь, когда все неудовольствия с Границей — дело прошлое, надо признать: удивительно милый парняга. Такой верзила, а чистота прямо детская. И говорит-то еще по-детски: «Ну сто это, ребята, засем это?» Немножко выламывается, в особенности при Соловцове, — вот и все его прегрешения. Отличный вестовой, без тени лакейства, а какой сигнальщик! Уж он-то несет вахту «на все сто двасать»; рассказывали, что в море, сменившись с вахты, он на какое-то время слепнет от напряжения. Какое это свойство? Деловое? Политическое? Морально-бытовое? Углубившись в свои мысли, Митя совсем за-

был об Однорукове и вздрогнул, услышав его тихий голос.

— Скажите, товарищ Туровцев, как вы расцениваете политическую физиономию Горбунова?

— Никак не расцениваю,— сказал Митя.— Горбунов человек, горячо преданный нашей Советской Родине.

— Субъективно преданный, вы хотите сказать?

— Я сказал: горячо преданный. А субъективно или объективно, этого я, простите, не понимаю.

— Напрасно. Нередко бывает, что человек одержим самыми благородными намерениями, а объективно приносит только вред. Хочет он этого или не хочет.

— Разве это все равно?

— Что именно?

— Да вот это самое — хочет он или не хочет?

Вероятно, Митино замечание показалось Однорукову очень забавным. Практически это выразилось в том, что его рот растянулся еще шире и стал еще больше похож на тире, заключенное в скобки. Помолчав, он спросил — очень тихо и значительно:

— Вы никогда не замечали у него пораженческих настроений?

Митя вылупил глаза.

— То есть в смысле того, чтобы?..— Он вдруг потерял способность строить фразу.— Вы спрашиваете, не замечал ли я, что он хочет победы фашизма? Нет, не замечал.

— Зачем же доводить мою мысль до абсурда,— поморщился Одноруков.— Не хочет, а, скажем, допускает. Я имею в виду: не выражал ли он сомнения в близкой победе, не подвергал ли необоснованной критике действия военного командования, не ставил ли под сомнение основополагающие документы, не излагал ли в превратном виде стратегическую обстановку на Балтике, не переоценивал ли силы врага и, наконец, не высказывал ли он соображений, свидетельствующих о неправомерной идеализации старого русского флота и флота иностранных держав.— Заметив, что Митя хочет вставить слово, он яростно замотал головой.— Такие настроения есть, они существуют на бригаде, и наша задача — выявить их и дать им своевременный отпор еще до того, как они станут реальной опасностью, дать отпор, невзирая на субъективные мотивы и прошлые заслуги носителей, со свойственной нам остротой и бое-

витостью. В выполнении этой задачи вы вольны помочь или помешать — это дело ваших взглядов и вашей совести. Учтите только, что вопросы, предложенные вашему вниманию, задаются не случайно и не голословно.

Одноруков заметно оживился, и Митя разгадал одну из особенностей своего собеседника: он скучал, слушая других, но возбуждался при звуке собственного голоса.

— Подумайте, товарищ Туровцев.

Митя стал думать. Сложность заключалась в том, что на все заданные вопросы можно было с равным основанием ответить и «да» и «нет». У Виктора Ивановича был острый язык и свой взгляд на вещи. Критиковал ли он военное командование? В узком товарищеском кругу доставалось и командованию. Ставил ли он под сомнение основополагающие документы? Если подразумевать под этим наставления по тактике подводных лодок, то, безусловно, ставил. И, конечно, он не верил в близкую победу и морщился, когда при нем говорили об армии противника, как о сборище трусов и кретин. А с другой стороны, разве не зловещая бессмыслица — назвать пораженцем командира, живущего одной всепоглощающей мыслью — выйти в море и громить фашистов? Горбунов давно уже не казался Мите безупречным, но усомниться в основе основ, поверить, что каждый шаг командира, каждое мельком оброненное или вырвавшееся спросонья слово — рассчитанная ложь?..

— Не знаю, товарищ старший политрук, — сказал Митя, насупившись. — Мне ничего такого неизвестно. — И, испугавшись осуждения, отразившегося на лице Однорукова, поспешно добавил: — Уверяю вас, если бы я заметил...

— То, конечно, сочли бы своим священным долгом, — скривился Одноруков. — Все это весьма трогательно и делает честь вашим патриотическим чувствам. Но поверьте, мой дорогой товарищ Туровцев, — он опять прижал к груди планшет, — я не осмелился бы вам докучать, если бы вы сами, совсем недавно в разговоре с известными нам обоим лицами, не выражали — в форме совершенно корректной — несогласия с отдельными высказываниями капитан-лейтенанта Горбунова. Как же это совместить с тем условием, которое мы с вами добровольно приняли с самого начала, а именно, что наш разговор ведется неофициально и с полной откровенностью?

«Все ясно,— уныло думал Митя, слушая Однорукова.— Одно известное лицо — это, конечно, Селянин. Другое — комдив. Селянину я не мог сказать о командире ни одного дурного слова, но, как знать, не ляпнул ли я, защищая Горбунова, что-нибудь лишнее? С комдивом сложнее. Комдив — свой парень и хочет Виктору Ивановичу только добра, но... как знать? Может быть, он что-то и сказал. Для объективности. А может быть, даже вынужден был сказать. Из осторожности. Вчера мы с Борисом Петровичем основательно почесали языки, и если меня сейчас беспокоит, не передал ли комдив какую-то часть нашего разговора, то у комдива гораздо больше оснований опасаться, не сделал ли этого я. Пока ничего страшного, но надо держать ухо востро, чтоб не слишком разойтись с тем, что мог сказать комдив...»

— Кое в чем мы действительно иногда расходимся,— сказал он бодрым голосом.

— Например?

Весь дальнейший разговор превратился в нескончаемый и утомительный для обеих сторон торг. Самое утомительное было то, что спор шел не о человеке, спорили о словах. Митя устал раньше — у него было меньше опыта. Временами он совсем переставал понимать, что говорит Одноруков,— слушая, как монотонно журчит его голос, он поглядывал в окно: Граница давно вырубил гильзу и ушел, временами стекла освещались зеленоватой вспышкой — кто-то пробовал сварочный аппарат. С некоторыми потерями Мите удалось отбить атаку, советский патриотизм и общая политическая направленность Виктора Ивановича Горбунова сомнению больше не подвергались. В то же время считалось установленным, что в отдельных высказываниях Горбунова наличествовали положения спорные, непродуманные и приводящие (объективно!) к искажению действительного положения дел, а самому Горбунову присущи (в какой-то мере!) элементы зазнайства, бесплодного критиканства и авангардизма. Насчет авангардизма Митя был в немалом сомнении, ему казалось, что это что-то из истории комсомола, но он представил себе, что из-за этого туманного и, судя по всему, не представлявшего большой опасности слова опять может возникнуть долгий, наводящий уныние торг,— и уступил. Выработав это неписаное коммюнике, оба умолкли, испытывая странное чувство сближения, свойственное людям, делавшим что-то вместе, даже если это что-то

не очень хорошо само по себе. Одноруков расстегнул планшет и тихонько перебирал бумаги, а Митя смотрел в окно и думал, что если разговор о морально-бытовом облике удастся повернуть минут за десять, то можно еще поспеть к началу пробной кислородной сварки.

— Скажите, товарищ Туровцев, он сильно запивает?

Услышав этот вопрос, заданный тихо и даже как будто сочувственно, Митя опешил:

— Кто? Командир?

— Ну конечно, мы же о нем говорим.

— Он вообще не пьет.

— Совсем?

— Ну разве что по праздникам... Когда мы были еще на морском довольствии и нам полагались «наркомовские», так он даже этих положенных ста грамм никогда не пил.

— Чудеса. Что же это он у вас — один такой?

— Нет, у нас многие не пьют.

— Куда же, интересно, девалась экономия?

— Использовали для валютных операций.

— Что?! А нельзя ли поточнее?

— А точнее — вырыть могилу на Охтенском кладбище стоит пол-литра. Пять литров бензина — пол-литра «Московской». У меня все записано.

— Поразительно. И вы так запросто в этом признаетесь?

— Вы же хотели, чтоб искренне...

Одноруков вздохнул и побарабанил пальцами по планшету. Митя понял, что Однорукову до смерти хочется записать насчет валютных операций, но он боится спугнуть собеседника.

— У вас не было на лодке случаев пьянки?

— Нет.

— Нет?

— Нет.

— А вот я располагаю совершенно достоверными сведениями, что один старшина — если не ошибаюсь, моторист — был пьян во время боевой тревоги.

— Во-первых, не во время тревоги...

— Ага, значит, это все-таки было?

— Было! — Митя разъярился. — А как это было, вы спросили? Старшина прибежал по тревоге в тридцатиградусный мороз в одних носках...

— Да вы не волнуйтесь...

— Как же не волноваться? Надо хоть немножко понимать...

— Уверяю вас, я все отлично понял,— примири-тельно сказал Одноруков.— И не склонен придавать этому случаю большого значения. Тем более если он был единственный.

— Нет, не единственный,— огрызнулся Митя. Он еще кипел.— В ночь, когда командир узнал о гибели своей жены, мы с ним ночевали на лодке и пили неразведенный спирт, предназначенный к тому же для технических надобностей.— Он с вызовом посмотрел на Однорукова и сразу же пожалел о сказанном.

— Кстати, о жене,— прошептал Одноруков, и лицо его приняло брезгливое и страдающее выражение,— у человека недавно погибла жена, а он тут же, на глазах у всех, заводит интрижку. Послушайте, это же грязно...

Митя ничего не ответил. В отношениях Горбунова и Кати он не видел ничего грязного, но самое существование этих отношений было предательством, нарушением совместно данного обета, самым необъяснимым и мучительным из того, что стало за последнее время между ним и командиром.

— Вы согласны со мной? — настаивал Одноруков.

— О личной жизни Виктора Ивановича,— твердо сказал Митя,— мне решительно ничего не известно.

— Заявление делает честь вашей скромности. Но вы неискренни.

— Думайте что хотите. А я повторяю — ничего не знаю и не понимаю, откуда у вас такие сведения.

— Слухом земля полнится.

— Питаетесь слухами?

— А вы напрасно недооцениваете слухи. Для того чтоб слух стал документом, иногда не хватает только бумаги.

«Недурно сказано»,— подумал Митя, а вслух сказал, криво усмехаясь:

— Вероятно, и обо мне ходят сплетни.

— Вероятно. Просто у меня не было причин интересоваться.

Это уже была угроза, а угрожать Мите не следовало, он становился упрям. Одноруков скоро убедился, что из лейтенанта больше ничего не выжать, деликатно зевнул и посмотрел на часы. Часы он носил на

внутренней стороне запястья и смотрел на них так, как будто показания циферблата были засекречены.

— Спасибо за беседу, лейтенант,— сказал он, растянув рот в улыбку.— Не знаю, как вы, а я искренне рад нашему знакомству. Теперь последний вопрос: вы не считаете, что от нашей беседы должен остаться какой-то материальный след?

Смысл вопроса до Мити дошел не сразу; сообразив, он возмутился:

— Вы же сказали, что это не допрос...

— И готов повторить. Но если мы с вами захотим быть до конца последовательны, то должны будем признать: для принципиального человека нет разницы между тем, что он говорит и пишет.

— Нет, есть,— угрюмо сказал Митя.— Не могу объяснить, какая, но есть. Ладно, начнем все сначала. Пожалуйста, задавайте вопросы. А я потом посмотрю протокол.

— Вы напрасно горячитесь. Никаких протоколов. Я не веду следствия. Следствие ведется, когда есть дело. Персональное дело Горбунова. Такого дела пока нет, и наша с вами общая задача сделать так, чтоб его и не было.

— От чего это будет зависеть?

— От многих факторов, и более всего от поведения самого Горбунова.

— Тогда чего же вы хотите?

— Всегда можно найти форму.

— Например?

— Например, вы пишете мне товарищеское письмо, в котором между прочим делитесь...

— Послушайте, товарищ старший политрук,— сказал Митя, морщась.— Придумайте что-нибудь попроще. Я два месяца не писал родителям. Вам что нужно — заявление?

— Вы огрубляете мою мысль. Скажем, памятную записку.

— Составьте. Если запись будет правильной — я подпишу.

Одноруков задумался.

— Нет, это тот же протокол...

Они опять заспорили. Снова начался торг, бесконечный, утомительный, у Мити уже звенело в ушах и кружилась голова, когда они наконец нашли компромиссную формулу: «В ответ на поставленные мне

вопросы считаю своим долгом заявить...» Вслед за этой преамбулой Митя кое-как перенес на вырванный из одноруковского блокнота листок то самое неписаное коммюнике, где говорилось об авангардизме Горбунова, причем облек свои критические замечания в такую сдержанную и ни к чему не обязывающую форму, что всерьез опасался скандала. Но Одноруков даже не просмотрел текста — убедившись, что есть подпись и дата, он щелкнул кнопкой планшета и встал. Встал и Митя.

— Может, пообедаете с нами, товарищ старший политрук, — сказал он тоном идеального старпома и немедленно раскаялся.

Одноруков слегка усмехнулся и очень медленно покачал головой. Означать это могло только одно: взятки не беру.

— Надеюсь, вам не надо напоминать, — холодно сказал Одноруков, — что наш разговор конфиденциальный и разглашению не подлежит. — При этом он опять усмехнулся, и Митя с ужасом понял смысл усмешки: я-то несколько не боюсь, что ты будешь болтать, ты гораздо больше меня заинтересован, чтоб разговор остался между нами.

За обедом говорили только о кислородной сварке, об Однорукове никто не спросил ни слова. По всей вероятности, Митя должен был заговорить первым, но не смог — его в равной степени ужасали оба варианта: лгать и говорить правду. Убеждение, что он поступил как должно или хотя бы вышел из боя с наименьшими потерями, куда-то улетучилось, он уже не казался себе таким хитрецом и умницей, как час назад, и из последних сил цеплялся за установившуюся с недавних пор официальность отношений. Раньше ему нравилось быть обиженным — теперь это было выгодно.

За ужином повторилось то же самое, а в десятом часу обитатели каминной собрались вокруг древней лампы-молнии. От раскалившегося пузатого стекла расходились жаркие волны, все расселись в кружок и разложили свои бумажки. Митя так хорошо знал каждого, что мог безошибочно, только по выражению лица, определить, кто чем занят. У доктора несчастный вид, и он чешет авторучкой в затылке — это значит, что он составляет раскладку на завтрашний день,

а продукты принесли невыгодные. Виктор Иванович что-то быстро пишет. Остановился, перечел, усмехнулся и подтолкнул листок к сидящему слева механику, тот просмотрел, кивнул и перебросил Зайцеву. Кудинич долго вчитывается — то ли не разбирает почерк, то ли не сразу докапывается до сути, наконец лицо его проясняется, он скалит редкие зубы и подмигивает Горбунову. Все ясно: Горбунов пишет объяснение по поводу вчерашнего инцидента. Естественно, что он советуется с Ждановским и Зайцевым — они свидетели, но Митю гложет мысль, что если б не незримая преграда, которая к концу дня приобрела почти материальную плотность, листок, вероятно, показали бы и ему.

Чтоб отвлечься от неприятных мыслей, Митя попытался набросать черновичок своего будущего выступления по радио и убедился, что не способен связать двух слов. Так уже бывало, Митя не забыл позорного провала своей первой политинформации, но обстоятельства не совпадали — на этот раз сведений было более чем достаточно, причина коренилась в чем-то другом, и Митя измарал много бумаги, прежде чем понял, что дело не в грамматике, а в утраченном чувстве общности, в том самом чувстве, которое совсем недавно позволяло ему говорить «мы», «наш корабль» и даже «боевой поход нашего корабля». Почти не отдавая себе отчета в том, что он делает, Митя надел шинель и спустился во двор. Ему захотелось перекинуться с кем-нибудь словом — с Асият, с Пантелеймоном, с Шуриком, — все равно с кем, дружелюбно и просто, не ощущая мучительной принужденности. Но во дворе он не нашел ни одной живой души. Только гул ветра и шуршание проржавевшей кровли.

Осмотревшись, он взглянул на небо — чудо, что нет налета. Ветер гнал облачную рвань, в прорехах колобком катилась луна, все точь-в-точь, как в тот вечер, когда они с Тamarой вылезли из чердачного окна на облитую лунным светом, грохочущую под ногами железную крышу... На собственном горьком опыте Митя познал старую истину: от страстей лечит только время. Можно убежать от другого человека, но некуда уйти от самого себя. Лечит только время, потому что каждый прожитой день что-то меняет в твоей душе, с каждым прожитым днем ты уходишь от себя прежнего, и ты волен тащить с собой шлейф из воспоминаний или

избавиться от него по дороге. Хочешь избавиться — нагромождай баррикады. Из часов, дней, недель, месяцев. Вначале они очень хрупки, эти баррикады, мысль воровски возвращается к отвергнутому и запретному; ненависть и даже презрение — плохая защита, они только обостряют память о поверженном кумире, любое впечатление минуты предательски связывается с прошлым. И вот приходит день, когда ты просыпаясь и первая твоя мысль — не о ней, затем день, когда ты проходишь мимо ее окон, не взглянув в ту сторону, и наконец — это уже начало выздоровления — наступает день, трудный, сумасшедший, полный забот и огорчений, когда ты не вспоминаешь о ней ни разу. Такой день был вчера, и это был несомненный успех, который надлежало удерживать и развивать, но Митя уже знал, что все выстроенные им баррикады могут мгновенно рухнуть только из-за того, что гудят провода и светит луна, и если немедленно не взять себя в руки, он погиб: секунда, и он взбежит на крыльцо флигеля, с силой дернет дверь-мышеловку, в темноте доберется до обитой рваным войлоком двери, нащупает пальцем дыру от замка и еще через минуту с бьющимся сердцем будет стучаться в Тамарину дверь.

«Неужели я так слаб? — с ужасом подумал он. — Неужели все данные мной обеты и принятые решения, здравый смысл и оскорбленное достоинство, неужели все это может отступить перед смутной тягой, перед бессмысленным желанием разбередить уже зажившую рану? Если это так, то грош мне цена. Да еще в базарный день... А с другой стороны — почему бы и не зайти? Что от этого изменится? Наоборот, это докажет, что все бури отгремели и отныне мы можем встречаться, как все люди, не испытывая ни горечи, ни привязанности».

...«Короче говоря, можно пойти, а можно не идти. Математическая логика учит, что при абсолютном равенстве шансов закономерно предоставить решение жребии. Орел или решка дают условный перевес в один бит. Что такое бит, я не помню, что-то из теории вероятности...» Митя нащупал в кармане пятак с остро отточенным ребром. Эта истертая монета имела для Мити двойную ценность — напоминала о Безымянном и служила рабочим инструментом. Рискуя порезаться, он сжал пятак в кулаке и вдруг — с яркостью цветного кинокадра — представил себе: раскрываются желез-

ные ворота, и на заводской двор, громыхая, въезжает обгорелый танк. Он неуклюже тормозит, обдавая рыжими выхлопами бегущих за ним мальчишек, а из люка один за другим выскакивают прокопченные, промасленные, окровавленные и кое-как перевязанные танкисты — командир, стрелок, водитель. Четвертого нет — убит или в медсанбате.

Следующий кадр: трое сидят на броне. Они уже успели поесть и выпить по котелку газированной воды, губы их подернуты жиром, и они потихоньку отрыгивают, прикрывая рот ладонью. Взгляды их с надеждой и тревогой устремлены на небольшого человека в черной суконной куртке с косыми карманами и не улыбочивыми светлыми глазами на землистом лице. Он стоит, слегка откинув голову, перед пробитым насквозь и искореженным листом броневой стали, стоит невыносимо долго, как будто прицеливаясь; между большим и указательным пальцами согнутой в локте руки он держит пятак с остро отточенным краем, он держит его, как художник кисть, как хирург скальпель, с неосознанным изяществом и неосознанным величием. Наконец он вытягивает руку, и острое ребро чертит на полуобгоревшей краске тонкую, едва различимую черту. И трое на броне облегченно вздыхают — решение принято.

«Так вот, лейтенант Туровцев, хотите знать, кто был этот человек? Этот человек — мастер. Мастер — высокое звание, может быть, высшее на земле. Мастера бывают разные — мастера кисти и мастера торпедного удара, буровые, дорожные и мастера революционных взрывов, но всех их роднит одно — они принимают решения. Не ищут удачи, не пытаются перехитрить судьбу, они знают и умеют и потому не угадывают, а разгадывают. Для них не существует понятия «все равно», они всегда выбирают пути, и даже ошибка мастера ценнее, чем удача игрока. Можете вы себе представить, лейтенант, чтобы Холщевников или Штерн ставили диагноз, подбрасывая монету, Горбунова, гадающего на костях перед торпедной атакой, наконец, Ленина, вверяющего жребию начало вооруженного восстания?»

...«Итак, лейтенант, оставим слепую судьбу в покое. Вас тянет пойти — идите. Идите, но не взваливайте ответственность за свои поступки на случай и обстоятельства. В тех ограниченных пределах, в каких вам

предстоит принимать решение, ваша воля совершенно свободна. Кстати, напоминая вам, лейтенант, что вы арестованы на десять суток с исполнением служебных обязанностей и сами поставлены надзирать над собой. Вы еще не нарушили данного вами слова, но вы — на грани. Если вы сейчас постучитесь к Тамаре, Горбунов почти наверняка об этом не узнает, но вы навсегда или, во всяком случае, надолго лишитесь права судить о поступках других людей. Человек, не сдержавший слова, данного другому, — обманщик. Человек, который не держит слова, данного себе, — ничтожество. Ничтожество — это даже хуже, чем жулик. Жулик — величина с отрицательным знаком. Ничтожество — нуль. Жулик исправится, а нуль, как его ни верти, всегда останется нулем. Люди, у которых стерта грань между «да» и «нет», между «хорошо» и «дурно», между «люблю» и «не люблю», между «верю» и «не верю», — нули, опасные в военное время и неинтересные в мирное».

Митя спрятал пятак в карман. Чтоб не возвращаться в каминную, он решил заглянуть в кубрик команды. В кубрике было уже темно, светилась только раскалившаяся докрасна времянка, вымотавшиеся за день краснофлотцы лежали на койках. В старшинской горела свеча, сделанная из лыжной мази. Войдя, Туровцев увидел склоненные над столом головы Савина и Тулякова. Боцман сидел на своей койке и стриг ногти, увидев штурмана, он вскочил и заулыбался.

— Легки на помине, товарищ лейтенант. Хотели до вас идти.

— А что случилось?

Боцман махнул рукой.

— Зашились совсем с писаниной.

Митя взглянул на сидевших за столом и засмеялся — такой несчастный вид был у Тулякова. Савин, по старой привычке, делал вид, что ему все безразлично. Проглядев написанное, Митя убедился, что боцман был прав — оба произведения никуда не годились. Савина губил техницизм. Можно было подумать, что у каждой ленинградской радиоточки сидит обладатель неисправного гирокомпаса, нуждающийся в специальной консультации. Туляков понял свою задачу гораздо шире. Вся первая половина его выступления была посвящена разоблачению преступлений германского фашизма, попутно досталось союзным державам, мед-

лящим с открытием второго фронта. Во второй части Туляков перечислял поименно всех отличников ремонта, он не забыл ни Зайцева, ни Козюрина, единственный, кого он не упомянул, был он сам. Оба писали цветными карандашами на оберточной бумаге и развели такую мазню, что Митя погряз в ней совершенно, а вывазив глаза, обнаружил, что старшинская битком набита людьми. При колеблющемся свете свечи Митя разглядел улыбающиеся лица Олешкевича, Границы, Конобеева, Джулая... Все смотрели на Туровцева ласково, благодарно, с веселым ожиданием. Под дружный хохот собравшихся Митя раскритиковал обоих сочинителей, тут же принялся править и выправил так быстро и толково, что сам удивился. Никто не уходил, все чего-то ждали. Первым заговорил Граница:

— Товарищ лейтенант, разрешите вопрос. Как повашему — командиру ничего не будет?

Тут все заговорили разом. Никто не верил, что у командира могут быть серьезные неприятности. По общему мнению, командир был не только прав, но проявил редкую выдержку, не пристрелив чертова бюрократа. Они верили, что бюрократ будет наказан, а Горбунов восторжествует, и были глубоко убеждены, что штурман разделяет их чувства. Теперь он был уже не чужой, не пришлый, никто из них не усмехнулся, услышав, как он говорит: «мы», «наша лодка» и даже «боевой поход нашего корабля». Митя попробовал осторожно намекнуть, что с формальной точки зрения позиция Селянина выглядит более укрепленной. Посыпались бурные протесты.

«Ох, знали бы они...» — мелькнула мысль. Додумывать ее не хотелось.

Когда Митя вернулся в каминную, все уже спали. Он зажег лампу и, загородив ее газетой, сел писать. Он писал легко, почти без помарок, боясь, что ему не хватит десяти минут, чтоб рассказать о всех, кто в голод и холод, под огнем противника, голыми руками готовил корабль к бою, он был переполнен любовью к этим спящим людям, неясное чувство вины сжимало сердце, и Митя думал, что он должен сделать что-то очень смелое, очень значительное, пожертвовать собой, но вернуть то чувство неразрывной связи, без которого уже не мог существовать.

Глава двадцать четвертая

За утренним чаем Горбунов пробежал глазами Митины листочки и прохрипел:

— Дельно и с чувством. Я думаю, штурман, вы отлично управитесь без Федора Михайловича. Пусть доктор не обижается, но мне что-то не хочется оставаться с ним вдвоем. Я перестаю понимать, кто командует лодкой.

Командир шутил, но Митя видел, что он встревожен.

Весь день на лодке толклись исследователи, сперва Шершневу, затем Одноруков — разговор его с Горбуновым происходил при задраенных переборках и продолжался меньше получаса. После обеда приехала целая комиссия — человек пять, а Тулякова с Границей вызывали к Однорукову на береговую базу. Туровцев очень боялся, как бы Граница не нагрубил, но, как выяснилось, юный вестовой вел себя безупречно. Нагрубил Туляков. Он вернулся перед самым ужином в расстроенных чувствах и, разыскав Туровцева, вручил ему запечатанный конверт: старший политрук Одноруков просил наложить на главстаршину Тулякова дисциплинарное взыскание за грубо-нетактичное поведение.

— Как же это вы, Лаврентий Ефимыч?

Туляков тяжело вздохнул и пошевелил пальцами.

— Вот уж от кого не ожидал. Что ж мне с вами делать?

— Наказать придется, — робко подсказал Туляков

— Знаю. Как?

— Это точно, что выбор небольшой, — сказал Туляков, вздыхая.

Митя задумался. Взыскивать — это лишать и заставлять. Что можно отнять у Тулякова, чего бы он не отдал по доброй воле, и что можно потребовать от него сверх того, что он уже делает?

— Скажите, Туляков, у вас давно не было взысканий?

— Никогда, товарищ лейтенант.

Теперь вздохнул Митя.

— Так вот, Туляков, учитывая, что это первый ваш проступок, объявляю вам э... э... строгий выговор. Вам ясно, за что?

— Ясно, товарищ лейтенант. Больше не повторится.

— Ну хорошо, идите...

— Товарищ лейтенант, — сказал Туляков. — Я свою вину признаю вполне. Только позвольте вам по душе сказать: товарищ инструктор тоже неправильно поступает.

— Это уж не ваше дело судить.

— Я и не сужу. Только зачем зря говорить? Налет, грабеж! Никакого грабежа не было, грузили строго по наряду, гайки лишней не взяли. А военинженер кричит: «Сгружай!» Командир, ясное дело, психанул. За пистолет, конечно, не надо было хвататься, тут я с вами соглашусь, но я вам так скажу, товарищ лейтенант: не надо доводить. Человек не машина, машина — та скорей откажет, человек больше вынести может, но все-таки доводить его — не надо.

— Ну хорошо, а старший политрук при чем?

— А при том, что и меня довел. Он сымает допрос, я отвечаю все по чести, согласно присяге. Так он же на меня: «Вы своего командира покрываете, он хулиган, карьерист...» Это зачем же? Ну ладно, — сказал Туляков, видя, что Туровцев хмурится. — Я ведь не для оправдания, раз виноват, то и виноват. Я вот чего еще хотел у вас спросить: как насчет выступления? Я уж, наверно, теперь не гожусь...

— Не знаю. Спрошу. А вам охота?

— Интересно поглядеть на ихнюю технику.

За ужином Митя показал Горбунову записку Однорукова и спросил, может ли Туляков идти выступать по радио. Горбунов усмехнулся:

— Почему не может? Вы же идете.

В начале седьмого за Туровцевым зашли Туляков и Савин, доктор выдал им на руки подписанные Горбуновым командировочные удостоверения, а Мите сверх того сунул в карман пистолет. Сделать это без ведома командира он никак не мог, и Митя понял, что командир предлагает ему рассматривать слова насчет конвоя как шутку, а себя — как полномочного начальника группы.

Пройдя Набережную, свернули на Литейный проспект. На Литейном снега было меньше, и можно было идти по тротуару. Шли молча, разговаривать на ходу было трудно, начинало сбивать дыхание. Еще не совсем стемнело, и пустынный проспект показался

Мите до жути незнакомым. Все дома были цвета мороженой картошки — землисто-желтые, землисто-розовые, буроватые и цвета золы, как будто обуглившиеся на огне и присыпанные крупной солью. Митя считал, что он хорошо ориентируется в Ленинграде, но город, по которому они шли, был так непохож на тот, прежний, что он ошибся, повернул не там, где нужно, и вывел к проволочным заграждениям у Инженерного замка. Пришлось сделать крюк, на это ушло время. Когда трое моряков подошли к подъезду на углу улицы Пролеткульта, они тяжело дышали, и сердца у них колотились, как после кросса.

Войдя в вестибюль, Митя огляделся. В глубине помещалась застекленная будка, где восседала завернутая в одеяло женщина, — это было бюро пропусков. Справа, у невысокого деревянного барьерчика, дремал милиционер. При появлении моряков он выпрямился с неприступным видом.

Митя выправлял пропуска и не заметил, как подошла Катерина Ивановна. Обернувшись, он увидел на ее лице отсвет двух, казалось бы, взаимоисключающих чувств — радости и разочарования. Она была в пуховом платке и в сильно потертой с боков меховой шубе.

— Я уже беспокоилась, — сказала Катя. Вероятно, ей очень хотелось спросить, почему не пришел Горбунов, но кто-то уже научил ее не задавать бесполезных вопросов. — Тетя Валя! — крикнула она закутанной женщине. — побыстрее, ладно? — Она поздоровалась с Туляковым и Савиным и опять подошла к окошечку. — Готово? Идемте скорее... Вам предстоит путешествие на четвертый этаж. Правила подъема: идти гуськом, не спеша, на каждую ступеньку становиться обеими ногами, а рукой держаться за стену. Движение правостороннее.

Все, что говорила Катя, было похоже на ее обычную милую манеру. И — неуловимо — еще на кого-то.

Миновав деревянный барьерчик, все четверо погрузились в непроглядную тьму. Катя шла впереди, Туровцев замыкал шествие. Обострившийся в темноте слух подсказывал, что лестница очень широкая, с большими маршами, посередине — шахта подъемника. Нижние этажи безмолвны, но где-то выше угадывалась жизнь: гулко хлопнула дверь, прозвенел женский голос. Митя заметил, что Катерина Ивановна не очень-

то соблюдает объявленные ею правила движения, она поднималась посередине лестницы, даже как будто слегка пританцовывая, и вскоре оторвалась на целый марш.

— Алло! — донесся до него тихий, но удивительно ясный голос. — Говорит Ленинград. Ленинградское время восемнадцать часов сорок пять минут... — Это было так неожиданно, что Митя налетел на внезапно остановившегося Савина.

— Фу, черт, здорово! — сказал Митя удивленно. — Где вы?

— Угадайте, — сказал смеющийся голос. Он доносился откуда-то сверху, и в то же время казалось, что Катя стоит рядом, на расстоянии вытянутой руки. — Здесь фантастическая акустика, можно говорить шепотом и все слышно. А одна точка — совсем чудо, голос звучит, как в Исаакиевском соборе, если стать под куполом. Вот послушайте...

Все трое одновременно остановились. Прошелетели в темноте легкие шаги, на несколько секунд все замолкло, а затем из темноты излился звук, полный, округлый, низкий, упругий как луч света, четыре долгие ноты — четыре нисходящие ступени величественной лестницы, четыре слога на незнакомом языке, торжественные и звучные, как орган. Замер последний звук, и посреди паузы, за которой, казалось, назревает следующая фраза, Митя услышал прозаический шлепок по губам, вздох и невеселый смешок.

— Еще! — взмолился Митя.

— Нельзя, — вздохнул голос.

— Почему?

— Война же. Помолчите-ка...

Прислушались. И наверху и внизу было одинаково тихо.

— Передохнули, — сказала Катя.

На площадке четвертого этажа брезжил слабый свет, светилось толстое в разводах матовое стекло входной двери. То, что открылось Мите за дверью, весьма напоминало цыганский табор, раскинувший свои шатры в главном операционном зале крупного банка. Койки и раскладушки стояли вперемежку с конторскими столами и картотечными ящиками. Повсюду кипы скоросшивателей и горы газетных подшивок, среди этого разгрома два десятка мужчин и женщин заняты кто чем: паренек с падающим на лоб

чубом склонился над столом и торопливо пишет, пожилая женщина с заплаканным лицом стучит на машинке, кто-то спит, укрывшись ватником, видны только вылезающие из рваных носков голые пятки, а в ногах у спящего лежит, свернувшись калачиком, девочка лет пяти и возится с куклой. Наибольшее оживление вблизи от огня. Две раскаленные докрасна временки установлены посередине зала, здесь кипятят воду и разогревают еду. Худенькая девушка, весь костюм которой состоял из белого лифчика и стеганых армейских штанов, мыла в окоренке длинные волосы, другая — стриженная блондинка — читала сидящим вокруг нее женщинам стихи, вероятно, свои. Она слегка грасировала, лицо у нее было задорное и страдальческое. Катя подвела моряков к огню.

— Хотите чаю? — спросила она. — Людмила, дай им чаю и по леденцу из дикторского фонда, а я пойду искать редактора.

Она забрала у всех троих заготовленные листки и исчезла. Людмила — сурового вида красавица в кубанке на черных косах — улыбнулась морякам, показав африканской белизны зубы. Чай был никудышный, на «двести второй» такого не пили, но очень горячий. Митя не успел допить своей кружки — вернулась Катя.

— К литредактору, быстро!

Редактором оказалась хрупкая маленькая женщина в очках, сидевшая в одном из дальних углов. Строго посмотрев на Туровцева сквозь толстые стекла, она протянула листки:

— Просмотрите, только побыстрее.

Катя возмутилась:

— Послушай, Калючка, ты хоть предложила бы авторам сесть.

Та, кого звали Калючкой, пожала плечами.

— На что сесть? Последний стул забрали в отдел культуры и быта. Я сижу на железном ящике с надписью «огнеопасно» и не жалуюсь. Впрочем, если хотите, — обратилась она к Мите, — можете сесть прямо на стол. А товарищи краснофлотцы пусть сядут на мою кровать. Там спит мое начальство, но это не важно, его все равно придется будить.

Митя присел на край стола и проглядел свое сочинение. Синий редакторский карандаш погулял по нему основательно; весьма снисходительный к стилистиче-

ским погрешностям, он изъяснял все, что могло навести слушателя на мысль, что Н-ский корабль — подводная лодка, что эта лодка стоит на Неве, а Нева впадает в Балтийское море.

— Вы не должны забывать, — сказала хрупкая женщина, — что нас слушают не только друзья, но и враги.

Митя был сломлен.

— Договорились, — сказала Калючка. — Я бужу руководство отделом. Никита, вставайте!

Пробудившись от своего богатырского сна, заведомо ничуть не удивился, что у него в ногах сидят двое бравых моряков. Он сладко зевнул, мигнул Савину, чтоб помог надеть гимнастерку — рука у него была забинтована и на перевязи. Сунув ноги в валенки, он встал и оказался настоящим богатырем, широкоплечим, светлоглазым, с выющейся мягкой бородкой.

— Здорово, моряки! — сказал он зычным голосом. — Пришли разглашать государственные тайны? Это вам не удастся. — Пробежав глазами тексты выступлений, он хмыкнул: — Чистая работа. Слушай, Калерия, ты все-таки не очень резвись, оставь что-нибудь на мою долю, мне ведь тоже зарплата идет...

— Перестаньте, Никита, вы несерьезный человек.

— Это верно, — сказал богатырь. — Везде, кроме переднего края, я произвожу несерьезное впечатление. Ей-богу, я женился бы на тебе, не будь ты такой серьезной. Женщина, которую невозможно рассмешить. На днях, — отнесся он к Кате и морякам, — приношу ей клише из флотской газеты. Фотоэтиюд: стоит у гранитного парапета матрос с волевым лицом, бескозырка, винтовка с примкнутым штыком, а на заднем плане виднеется сфинкс. И подпись: «На берегу реки Н.».

Все засмеялись. Калерия пожала плечами:

— Не нахожу ничего смешного. Совершенно незачем акцентировать, что флот стоит на Неве.

— Каленька, милая, — взмолилась Катя, — разве есть на свете другая река на букву Н., где на берегу стоят сфинксы?

— Почему же нет? Нил.

Никита захохотал так громко и восторженно, что соседи обернулись, а читавшая стихи белокурая поэтесса крикнула: «Эй, что вас так разбирает?»

Никита продолжал смеяться. При этом он придер-

живал здоровой рукой больную, охал и морщился. Отсмеявшись, он хлопнул строгую Калерию по задку, согнал ее с огнеопасного ящика, уселся за стол и вытащил из нагрудного кармана авторучку.

— В первый раз? Благословляю. Помни: не ори и не распускай слюни, а сбрешешь — не приходи в отчаяние. — Он протянул Мите могучую ладонь и улыбнулся Кате.

Чтобы попасть в студию, пришлось спускаться по лестнице, и уже не на четыре, а на пять или даже шесть этажей — студия помещалась в глубоком подземелье. Железную дверь охраняли часовые, все, не исключая Кати, должны были вновь предъявить пропуска, после чего были допущены в мир, показавшийся Мите фантастическим именно потому, что в нем не было ничего необычного — все, как до войны. Сразу за железной дверью начинался широкий, ярко освещенный коридор. Натертый паркет, чистые суконные дорожки, светлые деревянные панели, на обитых искусственной кожей дверях — черные стеклянные таблички. Коридор высокого учреждения. Катя открыла одну из дверей, и три моряка, осторожно ступая, вошли в просторный кабинет. Там были ковры и мягкая мебель, в дальнем углу чернел большой рояль. В кабинете стоял полумрак, светились только раскаленные спирали электропечей и квадратное оконце, прорезанное в смежную комнату; толстое стекло не пропускало звуков, но позволяло видеть освещенную ярким, почти дневным светом передающую аппаратуру. Митя обратил внимание на хорошенькую девушку в синем халатике, замороженным взглядом следившую за вращением воскового диска. По-видимому, шла передача. Оглянувшись на Савина, он заметил такой же замороженный взгляд. Относился он к девушке или к обслуживаемой ею технике, определить было трудно.

— Раздевайтесь, товарищи, здесь тепло, — сказал красивым басом человек, которого Митя поначалу не заметил. Человек встал, чтобы поздороваться, и оказался очень длинным, худым и носатым. Тонкую шею окутывал шарф, концы его прятались под пиджаком, и на секунду Митя усомнился, что этот величавый голос обитает в столь впалой груди. Но человек заговорил вновь, и сомнения отпали.

— Новички? — спросил он и, не дожидаясь ответа, успокоил: — Это ничего. У вас есть примерно четыре

минуты, чтоб освоиться. Располагайтесь.— Он сел на прежнее место, и Митя наконец разглядел сооружение, напоминавшее пульт управления в кабинете торпедной стрельбы. Несомненно, это и была та самая трибуна, на которую ему предстояло взойти.

— Похоже на КП,— сказал Митя.

— Это и есть КП,— отозвался долговязый.— И не из последних по значению в городе. Вам следует знать, что с начала блокады был только один день, вернее, три часа, когда радио молчало, и, поверьте, это был самый тревожный день за все время войны. Боевой дух — такая же реальность, как хлеб и снаряды, когда войска врываются в город, они первым делом захватывают радиостанцию. И о том, что Ленинград свободен, вам тоже скажут отсюда.

— Хотите попробовать? — спросила Катя. Она сбросила шубу и поправляла волосы.

Митя подошел к пульта и разложил свои листки. На змеиную головку микрофона он посмотрел со страхом: такая маленькая штучка, а сморозишь что-нибудь, и миллионы людей сразу узнают, какой ты болван. Затем подумал: свинство, надо было дать телеграмму родителям, чтоб слушали Ленинград. Хорошо бы потянуть в каком-нибудь месте паузу, а потом в письме разъяснить — дескать, думал о вас. Мать была бы в восторге, разговоров хватило бы до осени. Кляня себя за недогадливость, он спросил шепотом:

— А Москва услышит?

— Можете говорить громко,— засмеялась Катя.— Микрофон не включен. Начинайте.

Минуту назад Туровцев был уверен, что знает весь свой текст на память. Но оставшись наедине с микрофоном, он разом все перезабыл.

— В ноябре прошлого года экипаж нашего корабля обратился с письмом...— начал он, запинаясь. Больше всего действовал ему на нервы даже не сам микрофон, а зеленый глазок, обычная индикаторная лампа, вмонтированная в пульт. Глазок смотрел на Митю с мертвенным равнодушием и никак не отозвался, когда Митя нарочно повысил голос.

— Не так громко, не торопитесь, спокойнее,— сказал бархатный бас.— Старайтесь не читать, а говорить.

Туровцев попытался воспользоваться добрым советом, но дальше пошло еще хуже, бессмысленный

страх сковывал язык и толкал на чудовищные оговорки. Кончилось тем, что Катя подошла и шепнула: «Послушайте, возьмите же себя в руки». Интонация, с какой это было сказано, заставила Митю вспыхнуть и подобраться. Следующую фразу он произнес окрепшим голосом, но тут зажглась красная лампочка, и Митя понял, что предыдущая передача окончилась. Долговязый диктор присел рядом с Митей, надел очки и, вынув из кармана плоский ключик на длинной цепочке, вставил его в расположенное рядом с глазком отверстие, совсем так, как шоферы включают зажигание. Лицо его стало суровым и сосредоточенным, как у человека, смотрящего в перископ. На секунду Мите опять стало не по себе: конечно, неприятно срамиться перед Катериной Ивановной, но во сто крат страшнее опозориться на весь город. Только на секунду. Вслед за секундой замешательства сразу пришел покой, тот угадываемый по холодку в позвоночнике вдохновенный покой, когда секунды растягиваются в длину и мозг свободно отсчитывает десятые доли, те самые десятые доли, в которые принимаются решения, выпускаются торпеды, совершаются прыжки и включаются рубильники, когда десятой больше или меньше означает жизнь или смерть, рекорд или аварию, «в цель» или мимо. Не отрывая глаз от фосфоресцирующего циферблата часов, долговязый пробормотал «внимание, эфир», повернул ключ, и Митя лишний раз убедился, что тишина имеет оттенки. Ему казалось, что он физически слышит затаенное дыхание множества людей.

Диктор объявил выступление. Митю поразило, что он не говорил в микрофон, а как будто разговаривал с каким-то видимым ему одному собеседником. Этот собеседник находился совсем близко, может быть, только на метр дальше микрофона, и долговязый вынужден был сдерживать мощь своего голоса. Затем он снял очки и повернул к Мите улыбающееся лицо: — Пожалуйста, товарищ Туровцев.

На мгновение Митя зажмурил глаза. Он знал, что в это мгновение у черных картонных тарелок застыли не только Горбунов, механик и доктор, не только команда в кубриках, но и весь дом на Набережной: Юлия Антоновна и Тамара (да, Тамара...), старый художник и Шурик Камалетдинов. Он знал, что его услышат на всех плавбазах и на кораблях эскадры, в кабинетах

Смольного и в цехах «Путиловца», в госпиталях и стационарах для дистрофиков, в сотнях тысяч темных и холодных, похожих на пещеры, ленинградских квартир; его будут слушать не потому, что всех так уж интересует притирка клапанов и выводка эллипса, а потому, что хочется слышать человеческий голос. Конечно, если этот голос — голос бойца. Не надо пышных реляций, им никто не поверит, скажи, что ты жив и на посту, скажи, что ты смазал свое оружие и оттачиваешь его к весне, — и людям будет легче дожить до завтрашнего дня.

— Дорогие друзья! — сказал Митя негромко, он знал, что будет услышан. — Дорогие наши товарищи ленинградцы!

Обращения в тексте не было, но оно было необходимо. Теперь он говорил свободно, почти не заглядывая в листочки, не отклоняясь от намеченного, но и не чувствуя себя связанным в каждом слове, ощущая молчаливое одобрение с тыла и населенную, дышащую, засасывающую тишину миллионной аудитории, воплощенной в трепете зеленого глазка. Так продолжалось несколько минут. Затем тишина распалась, слова сразу стали тяжелыми и вязкими, за спиной шло какое-то тревожное шевеление, и хотя Митя уже догадывался, что контакт со слушателями неизвестно по чьей вине нарушен, он не смел ни замолчать, ни оглянуться. Чтоб стряхнуть наваждение, он повысил голос — и увидел, что зеленый глазок никак не отозвался, зрачок был по-прежнему раскален, но ободок мертвенно неподвижен. В ту же секунду он почувствовал прикосновение Катиной руки и понял: тревога. Знакомый каждому ленинградцу сигнал изготавлялся где-то совсем рядом, но именно здесь в студии он был не слышен.

— Обидно, — сказала Катя. — Мы с Марком расписаны по тревоге и должны уходить. А вы — оставайтесь. Лучшего бомбоубежища нет во всем городе.

Дикторы оделись и ушли. Туляков и Савин, стеснявшиеся при них заглядывать в оконце, сразу осмелели. Они подошли к стеклу вплотную, а Савин даже прижался к нему носом. Девушка сначала притворялась, что занята и не видит, но потом не выдержала и показала Савину язык. Савина это только подбодрило, но деликатный Туляков застеснялся и отодвинулся в тень. Туровцев был слишком возбужден, чтоб заниматься

глупостями, он шагал по ковру из угла в угол. Временами он останавливался, чтоб прислушаться, пока не понял: бесполезно, ничего услышать нельзя, разве что ахнет бомба. В этой отрешенности было что-то неприятное, он предпочел бы мостик, палубу, крышу дома. Вероятно, нечто подобное почувствовали и Туляков с Савиным, они вскоре отстали от оконца и, не находя себе применения, топтались посредине студии.

— Как под водой,— сказал Митя.

— Под водой, товарищ лейтенант, слышней.

— Знаю, гидравлический удар,— с неудовольствием буркнул Митя. Он не хуже Савина знал, что под водой слышнее, просто их память сохранила разное: у Мити — тишину первого погружения, у Савина — шум винтов над головой и гулкие, сотрясающие корпус лодки разрывы глубинных бомб.

Глухой удар, похожий на подземный толчок, заставил Митю вздрогнуть. Он взглянул на Тулякова и Савина и увидел, что те, в свою очередь, смотрят на него.

— Порядка тонны,— сказал Савин.— А по-вашему, товарищ лейтенант?

— Тонна далеко или сотка близко. Что толку гадать? Как дадут отбой, сразу на выход — и домой.

— Это точно, беспокойно,— сказал Туляков.

Теперь уж не думалось ни о чем постороннем. Все трое прислушивались. Близких разрывов больше не было, но отбой дали только через час. Об отбое Митя догадался по яркому свету, вспыхнувшему в аппаратной. Через несколько минут появилась Катя. Она вбежала, слегка задыхаясь:

— У вас тут все в порядке?

Это всех рассмешило. Катя сначала удивилась, потом рассмеялась сама.

— Поняла: глупый вопрос. Про налет не спрашивайте, ничего не знаю. Кто-то сказал, что бомба попала в цирк, но это может быть еще и неправда. Теперь о передаче: график безнадежно сломан, передачу придется отложить. Идите домой и скажите отцу, чтоб не беспокоился. Может быть, я еще приду сегодня.

Она проводила их до барьера и осталась улаживать какое-то неблагополучие с пропуском.

Темнота вначале казалась непроглядной, затем глаза привыкли. Шли быстро, серединой улицы, там

было светлее. Митя нагнулся и поднял еще теплый зенитный осколок. Перед поворотом к Фонтанке шедший сзади Туляков остановился.

— Что такое? — спросил Митя.

— Послушайте...

Туровцев остановился и услышал скребущие звуки, как при попытке зажечь спичку об истертый коробок, звуки приближались, кто-то бежал, шаркая ногами по зачерствавшему снегу, и прежде чем Туровцев успел разглядеть приближающуюся фигуру, Катя, смеясь и задыхаясь, тяжело повисла на его руке.

— Я с вами, — шепнула она.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего. Просто я свободна до девяти ноль-ноль.

Отдышавшись, она пошла рядом, слегка опираясь на Митину руку. А Митя думал: как быстро она научилась ходить под руку с левой стороны и говорить ноль-ноль.

Он попытался вызвать у себя вспышку раздражения против Горбунова, но из этой затеи ничего не вышло. И старательно накапливаемое возмущение, и связанное с ним чувство собственной правоты — все это куда-то провалилось, а на смену им все явственнее проступали боль и страх. Боль была острая, пронизывающая, как в самбо при нажатии на болевую точку, а страшно было от ощущения полной незащитности перед этой новой болью.

Цирк оказался цел и невредим. Над Фонтанкой пахло пороховой гарью; пройдя цирк, углубились в темный проезд, названия проезда Митя не помнил, но знал, что он выходит прямо на Литейный. Шли молча. Митя был мрачен. В положении человека, которому не дали договорить, всегда есть что-то комическое, Митя боялся, что его встретят насмешками, и еще больше — что насмешек не будет, все промолчат. Отношения с Горбуновым зашли в тупик, и соседство Катерины Ивановны было лишним напоминанием. Задумавшись, он наступил на что-то резко спружинившее под ногой, из-под калош полетели искры, а по всей улице, громяхая, побежали огненные змеи. Катя вскрикнула и метнулась назад, и Туровцев еле удержал ее за руку. Он еще не понимал, что произошло, но инстинктом подводника угадал, что единственная разумная команда — стоп!

— Туляков, Савин!..

— Здесь,— донесся до него смеющийся голос Тулякова.

— Стоять на месте!

— Товарищ лейтенант, разрешите...— Голос Савина.

— Не «разрешите», а стоять по стойке «смирно». Повторите приказание.

— Есть, стоять по стойке «смирно»!..

Катерина Ивановна засмеялась.

— К вам это тоже относится,— ворчливо сказал Митя.— Повторяю, всем стоять на месте и не шевелиться.

Он осторожно нащупал носком торчащий в снегу упругий виток и прижал его к земле. Вновь раздался треск, со свистом разбежались огненные змеи, вспышка, похожая на шаровую молнию, осветила поверженный трамвайный столб и путаницу проводов. Невероятно, но факт — провода были под током.

Предстояло принять немедленное решение — двигаться вперед или возвращаться.

— Туляков, вы в калошах?

— Так точно.

— А Савин?

— Нам не положено...

Митя задумался. До Литейного оставалось не больше сотни шагов.

— Туляков!

— Есть!

— Подоткните полы шинели, берите Савина в охапку и — самым малым вперед!

Он нагнулся, чтоб подхватить Катерину Ивановну.

Путь до Литейного показался бесконечным. Продвигались еле-еле, делая крошечные шажки. Митя не боялся наступить на провод — калоши были достаточной защитой,— опаснее было поскользнуться и упасть. Каждую минуту можно было наткнуться на один из витков чудовищной спирали, сыпавшей искры и издававшей грозное гремящее. Мите она представлялась выброшенным на берег огромным электрическим гадом океанских глубин — издыхающим, но еще смертельно опасным.

На углу Литейного Митя расстегнул шинель и вытер шарфом струившийся по шее холодный пот. Подошли Туляков и Савин, и все четверо долго отдыхали,

прислонившись к заколоченной витрине углового магазина.

По Литейному пошли быстрее. Катя, прикрыв рот платком, тихонько напевала: *Ombra mai fu...* Митя узнал.

— Что это?

— Не знаю сама. Что-то из Генделя.

— А что значит «омбра май фу»?

— Тоже не знаю. Что-то хорошее. Когда кончится война, обязательно узнаю, выучу и буду петь. Слушайте, Дима, — она прижалась к нему, — я только сейчас поняла, и то не поняла, конечно, а только стала чуть-чуть догадываться, что значит ходить по минным полям. Это, правда, похоже?

— Не знаю, — хмуро сказал Митя. — Никогда не ходил.

— Как? Разве?..

— Ну да, — сказал Митя, опережая вопрос, — Виктор Иванович ходил, а я нет. Я еще только собираюсь идти...

Катя тихонько засмеялась.

— Это вы смешно сказали. Совсем по-мальчишески. А вообще-то вы уже взрослый. Я вас сегодня зауважала. Вдруг поняла, что вы не просто Димочка, а настоящий командир и вас надо слушаться.

— Каким же способом вы это установили? — пробурчал Митя. Он иронизировал, чтоб скрыть, что польщен.

— Женским, конечно. Других у меня нет.

Через минуту она опять заговорила:

— Знаете, я, кажется, напала на след.

— На чей след?

— Как на чей? Вовкин. Мы уже послали запрос и ждем подтверждения.

Митя смутился. Про Вовку он совсем позабыл, да и розысками полковника занимался без особого рвения, перепоручив это не слишком перспективное дело Соловцову.

— Скажите, Катя, — сказал он, подумав, — ведь я могу вас называть Катей?

— Конечно.

— Так вот, скажите, Катя: вы помните наш разговор?.. Ну вы знаете какой...

— Конечно, помню. Тем более что он был единственный.

— Поверьте, я спрашиваю не из пустого любопытства... Что вам объяснил Виктор Иванович?

— А что он должен был объяснить?

— Почему он сказал вам, что у него есть жена?

— Ах, это? Ничего не объяснял.

Митя так удивился, что сбился с ноги.

— Как же так? Почему?

— Потому что я не спрашивала.

— Но почему?

— Отчасти затем, чтоб не подвести вас. Но больше всего потому, что этот разговор был бы ему неприятен.

— Еще бы. Ведь он сказал вам неправду.

— Пусть. Значит, у него были какие-то очень глубокие причины хотеть, чтоб я так думала. И я, кажется, начинаю понимать, какие. Гораздо интереснее догадываться, почему солгал честный человек, чем силой вырвать правду у лгуна. Да он, наверно, и не хотел лгать, я сама навязалась к нему с вопросами. Мы все любим осуждать ложь, но никогда не думаем о том, что часто сами заставляем лгать людей, которым это совсем не свойственно. Папа говорит, что это очень мещанская черта — требовать, чтоб у близкого человека ни одна дверь в душе не запиралась и чтоб всегда можно было навести ревизию...

В преддверии комендантского часа Литейный ожил. Стали попадаться прохожие, звеня и громыхая разболтанным кузовом, пробежал грузовик.

— Я много думала о вас, Дима,— заговорила Катерина Ивановна, когда они остановились, чтоб передохнуть перед последним этапом.— Нет, неправда, что много, скорее часто. И всегда мне хотелось вам что-то сказать, а я не говорила.

— Напрасно,— с трудом выдавил Митя. Он и хотел и боялся разговора о Горбунове.

— Это вам сейчас кажется, что напрасно, а если б я заговорила, вы бы сразу сказали, что я многого не знаю и не могу судить о ваших отношениях. Я сама ее осуждала, а теперь чувствую себя последней свиньей.

— Перед кем?!

— Перед Тамарой. Разве мы не о ней говорим?

— Разумеется,— сказал Митя поспешно,— но в чем вы себя обвиняете?

— В черствости, в поспешности, в высокомерии. Вероятно, все это, вместе взятое, имеет даже худшее название. А ведь мы дружили с детства, вместе бегали

по двору. Мы с ней очень разные, но я всегда знала, что Тамарка — личность. Она может быть очень груба, а я не выношу грубости, и мы часто ссорились. И всегда мирились — знаете почему? Потому что благороднее всего она вела себя во время наших ссор. Когда это всего труднее.

— Это вы и хотели мне сказать?

— Да, я хотела, чтоб вы знали, что я о ней думаю. Тамару может заносить в разные стороны, она может наделать ошибок, делала их раньше и делает сейчас, но она решительно не способна на душевную низость...

Оглянувшись, она замолчала. Подошли отставшие Туляков и Савин, и продолжать разговор стало трудно. Митя все-таки спросил:

— И это все, что вы хотели мне сказать?

— Все, — сказала Катя. — Я могла бы сказать и больше, но не хочу злоупотреблять ни Тамариным доверием, ни вашим терпением.

Митя не ответил. Он думал о том, что, когда человека грызет какая-нибудь неотвязная мысль, все, что говорят другие, приобретает странную многозначительность.

По Набережной шли гуськом, еле волоча ноги.

Под аркой дежурили Асият и Пантелеймон Петрович. Увидя Катю в сопровождении моряков, дворничиха радостно запричитала, а Петрович вытянулся и отдал честь. Весь дом слушал передачу, и тревогу кляли главным образом за то, что она помешала лейтенанту Туровцеву закончить свою выдающуюся речь.

Глава двадцать пятая

— Как видите, я не ошибся в штурмане. Он прирожденный оратор. (Сказано без всякой иронии, но почему-то кажется обидным.)

— На той неделе мы непременно повторим передачу. Виктор Иванович, а вы что же — решительно отказываетесь выступать? (И опять обидно. Я же слышу...)

Камин пылает почти бесшумно — дрова сухие, и тяга отличная. Подвешенный над огнем чайник скоро закипит. С койки, на которой лежит Туровцев, все сидящие у огня кажутся вырезанными из черной бу-

маги. Изредка кто-нибудь откидывается назад, и тогда на мгновение что-то блеснет — пенсне Юлии Антоновны или медный Катин завиток. Вся компания налицо — нет только доктора.

Митя тоже мог бы греться у камина, а не валяться на койке. Но, войдя вслед за Катей в освещенный кубрик и увидев радостно оживленное лицо командира, он сразу же вспомнил, что десять суток еще не истекли и надо продолжать уже порядком опостылевшую игру. Негнувшись с мороза пальцами он расстегнул кобуру, поискал глазами доктора и, после некоторого колебания, протянул пистолет Горбунову. Получилось демонстративно и глупо. Командир усмехнулся, как умел он один — очень медленно и немного криво, — но ничего не сказал. В усмешке не было ни обидного превосходства, как у Селянина, ни обидного недоверия, как у Однорукова, — только понимание. Это-то и было самое нестерпимое.

Вконец расстроившись, Митя разулся и залег. Занятый своими мыслями, он почти не прислушивался к общей беседе, отчего и не придавал большого значения тому, что Иван Константинович вдруг поднялся и, не говоря ни слова, покинул каминную.

Наступило тягостное молчание. Первым пришел в себя Горбунов.

— Это я виноват, — объявил он, вставая. — Пойду извинюсь и попрошу Ивана Константиновича вернуться.

— Вы ни в чем не виноваты, — сказала Катя. — Правда, тетя Юля?

Кречетова промолчала.

— Стойте. — Катя вскочила. — Пойду я. Отец тоже не прав и вернется. — Она подхватила соскользнувшую с плеч меховую пелерину и, не дожидаясь ответа, скрылась за дверью.

Несколько минут прошло в полном молчании. Со своего наблюдательного пункта Митя видел, что Горбунов нервничает. Наконец дверь скрипнула, и появился художник, за ним шла Катя. И отец и дочь улыбались — добродушно и вместе с тем несколько загадочно. В руках у художника был какой-то таинственный предмет, отливавший гранитным блеском, — приглядевшись, Митя увидел, что это шкатулка — точно такая стояла на комоде у матери, в старину в таких шкатулках хранили под ключом чай и сахар. С по-

мощью Кати и Горбунова художник водрузил шка-
тулку на каминную доску и уселся на прежнее место.
Некоторое время слышен был только гул огня и за-
трудненное дыхание художника. Затем разговор возоб-
новился.

— Вы должны меня извинить, Виктор Иванович..
(Горбунов хотел возражать, но художник не позво-
лил.) Виноват я, а не вы. Вы по нечаянности насту-
пили на мою любимую мозоль, а я не стерпел и нагру-
бил. Нагрубить, как известно, можно и молча. Мне ни
с того ни с сего помстилось, будто меня попрекают
старостью. (Горбунов опять попытался возразить, и
опять безуспешно.) Дослушайте. Я ненавижу старость.
Не близость смерти — от страха смерти я радикально
излечился, — а именно старость, начинающийся распад
личности. То обстоятельство, что с возрастом у людей
угасает деятельность некоторых желез, еще не дает им
права становиться мелочными и неопрятными и доку-
чать окружающим разговорами о том, как у них функ-
ционирует кишечник. Все это в достаточной степени
противно. Но еще противнее старческий консерватизм,
лихость и безапелляционность старческих приговоров.
Если у человека стало меньше сил — это еще не ста-
рость. Старость — это когда с человеком становится
бессмысленно спорить. Вот почему, уклонившись от
спора, вы нанесли мне удар в самое чувствительное
место...

— Из почтения, папа, — вставила Катерина Ива-
новна.

— Я не хочу почтения. Я хочу равенства. В вашем
почтении я слышу: слишком поздно, его не переде-
лаешь.

— Извините меня, Иван Константинович, — сказал
Горбунов, — я был неправ и признаю это. Но позвольте
мне — не для оправдания — напомнить вам нашу
первую встречу.

— Отлично помню.

— А на чем мы расстались?

— Напомните.

— Вы сказали примерно следующее: я человек
другого склада, не пытайтесь меня переубеждать, и мы
отлично уживемся.

Художник засмеялся.

— Неужели? Признаю: вы честно выполняли до-
говор. И, может быть, именно поэтому ваше вторжение

не прошло для меня бесследно. Считается, что людей надо судить по их делам. Мы, неискушенные обыватели, чаще поступаем наоборот. Мы судим о делах по людям. Скажу вам по секрету: вернейший признак правого дела — то, что за него ратуют настоящие люди, и мне трудно представить себе хорошую политику, проводя которую люди становились бы хуже. Вы и ваши друзья мне симпатичны — и для меня это самый неопровержимый довод в пользу вашего дела и ваших взглядов.

Теперь засмеялся Горбунов.

— Критерий, конечно, спорный...

— Обязательно спорный. А вы спорить не любите. Для вас «спорно» то же самое, что «неверно»...

— А вот это уж бесспорно неверно...

— Да я не о вас. Вы-то — задира.

— Ну хорошо, — сказала Кречетова. — Может быть, нас все-таки тоже посвятят... Короче говоря: из-за чего сыр-бор?..

На этот раз фыркнули оба — и художник и Горбунов.

— Из-за Антея.

— Не морочьте голову. Из-за какого еще Антея?

— Был такой титан.

— Что за вздор!

— Истинная правда, — сказал художник, отсмеявшись, — я высказал мысль спорную, быть может, даже кощунственную, — что этот модный титан был самым обыкновенным разбойником и весьма недостойным сыном своей матери — Земли. Все мои симпатии на стороне Геракла, избавившего мир от этого опасного негодяя. Я сказал также, что мне, как старому идеалисту, дорог не Антей, а Прометей — тот, кто похитил у богов священный огонь знания и отдал его людям. Боги его покарали, а люди отплатили неблагодарностью, и это только увеличивает мою к нему привязанность.

Наступила пауза. Затем Кречетова неуверенно пробормотала:

— Похоже, что вы меня разыгрываете...

— Ничуть, — сказал Горбунов. — Конечно, весь этот разговор о Прометее — только хитрая аллегория. Суть проще: Ивану Константиновичу нравится изображать из себя старого идеалиста, я же осмеливаюсь утверждать, что в его лице мы имеем не всегда последова-

тельного, но несомненного материалиста и даже марксиста.

Обе женщины засмеялись.

— Вы слышали? — сказал художник. Если он и сердился, то притворно. — Вот так он надо мной издевается...

— Шутки в сторону, — сказал Горбунов. — Неужели вы всерьез считаете себя идеалистом?

Художник отозвался не сразу.

— Ну что ж, если вы настроены разговаривать серьезно, я отвечу на ваш вопрос. Вернее, вы сами себе на него ответите. Но прежде я должен укрепить свои идеалистические позиции и для начала покажу вам небольшое чудо. Дайте нож! — С кортиком в руке он подошел к стоявшей на камине шкатулке; раздался хруст, щелкнула тяжелая крышка, и Митя увидел в руках у художника две шкатулки поменьше. Но в этот момент все сидевшие у огня вскочили со своих мест, даже Ждановский и Зайцев вышли из своего угла, они окружили художника плотным кольцом, и Митя в бешенстве натянул на голову шинель. Минуты две он лежал плотно укрывшись, стараясь не прислушиваться к поднимающейся у камина веселой суматохе. Через две минуты запах горячего кофе донесся до койки и, забравшись под шинель, проник в ноздри штурмана «двести второй».

— Дима! — громко сказала Кречетова. — Вы встаете или прикажете подать вам в постель?

— Он спит, — сказала Катя.

— Представляется.

— Как вам не стыдно, тетя Юля. Я поставлю к нему на тумбочку. — Катя подошла и на секунду нагнулась, от ее меховой пелерины пахнуло нафталином и какими-то хорошими духами. Кружку она поставила так близко, что Митя ощутил не только запах, но и тепло. «Сам себе устроил пытку, — с яростью подумал он, — теперь раньше, чем через четверть часа, проснуться просто неприлично».

Некоторое время до Мити доносились только хруст разгрызаемого сахара и благоговейное хлюпанье. Затем заговорил художник:

— Не думайте обо мне плохо, у меня и в мыслях не было утаить от вас такие сокровища. К этой шкатулке я не прикасался много лет, для меня она была только реликвией. Но переменим тему, я хочу попытать-

ся ответить на ваш вопрос, Виктор Иванович. Итак, где проходит водораздел? Если принять за водораздел древнейший и кардинальнейший вопрос о происхождении всего сущего, то вас, вероятно, удивит, что я — человек, не разрешивший вам снять в этой комнате иконы, — не верю в бога и не пользуюсь заменителями. Меня никак не устраивает свирепый и невежественный Иалдабаоф и смешат попытки примирить его с достижениями передовой науки. Не так давно меня чуть не силой заставили прочитать отстуканный на ремингтоне труд некоего просвещенного епископа под титулом «Бытие божие в свете квантовой механики». Поверьте мне, это еще глупее, чем Ветхий завет. Уж если вседержителю для доказательства своего существования понадобился Эйнштейн, дела его сильно пошатнулись. Замечу, что мой атеизм основательнее вашего, ибо я происхожу из духовной семьи, знаю службу и встречался со многими деятелями церкви, а среди них попадаются сильные умы и опытные диалектики. Тем не менее мои претензии к вам весьма существенны, а в чем — тому следуют пункты.

— Начнем прямо с первого.

— Пожалуйста. Начнем с того, что мне не нравится слово «надстройка».

Катя засмеялась. Горбунов спросил без улыбки:

— Речь пойдет о Духе?

— Угадали. Я не верю в бога, но преклоняюсь перед мощью человеческого Духа. И для меня оскорбительна мысль, что все самые величественные его создания только плесень на утесе, имя коему — Экономика. Пусть то, что я называю Духом, не что иное, как осознавшая себя материя, но я знаю — научившись мыслить, человек тем самым восстал против гнёта своей материальной природы и скорее пойдет на самоуничтожение, чем откажется от открывшихся ему духовных ценностей. Стендаль, записавший в своем дневнике, что самолюбие такая же сила, как голод и жажда, вне всякого сомнения, имел в виду не мелкое чувство, разъедающее души мещан и карьеристов, а могущественную силу, издревле толкающую людей на подвиг и на преступление. Разве Яго боролся за должность с бóльшим окладом? Или Сальери — неужели он убирал конкурента? Гений Пушкина открыл нам бескорыстную идею даже в презренном скупце. А герои, подвижники? Что, кроме чистой жажды знания, дви-

гало Галилеем? А Жанна д'Арк! Два величайших насмешника моего времени — Твен и Шоу — почтительно склонили головы перед деревенской девочкой. Я не верю в ее избранность, но, когда мне говорят, что Жанна всего-навсего отражала интересы зажиточной части французского крестьянства, для меня это такая же мистика и абракадабра, как «таинственные голоса». У Шоу в «Святой Иоанне» есть сцена, исполненная глубочайшего смысла. Тень казненной Жанны говорит королю Карлу: «Я есть, а тебя нет». Бесплотная тень — живому королю! Задумайтесь.

Пауза. Потрескивание дров. Затем заговорил Горбунов:

— Если вы хотите доказать, что сознание не привязано к бытию короткой веревочкой вроде поводка и что идеи обладают материальной силой, то позвольте вам заметить, что вы спорите не со мной. У материализма много врагов, и одни из самых злейших — вульгаризаторы. К ним и обращайтесь. Что касается Жанны — я плохо знаю французскую историю, но зачем мне Жанна, когда передо мной более близкий и душевно понятный пример — Ленин. И разве Ленин не мог бы сейчас сказать многим живым королям и властителям те же самые слова: «Я есть, а тебя нет»?

Пауза. Треск углей. Художник:

— Угодно слушать дальше? Признаюсь: мне претит сугубо классовый подход к моральным проблемам и пугает ваше безразличие к субъективным мотивам человеческих поступков. Я знаю, коммунисты отвергают старый иезуитский тезис о цели, якобы оправдывающей любые средства, признавая тем самым, что средства могут быть хороши или дурны. Но что толку в этом признании, если то и дело приходится слышать о честности и милосердии как об абстрактных или, хуже того, буржуазных добродетелях? Согласен, бывают вредные добряки, но нет и не может быть полезных негодяев. Уверяю вас, из хорошего человека гораздо легче сделать коммуниста, чем из плохого коммуниста — человека. И когда мне говорят, что фашизм есть не что иное, как диктатура наиболее агрессивных слоев империалистической буржуазии, я отвечаю: нет, это еще и душевный склад, фашизм не мог бы существовать, если б не опирался на все неизменное в человеческой душе, у фашизма есть не только классовые

корни, но и духовные предшественники. Формула «человек человеку волк» древнее капитализма. И мечта о справедливом общественном устройстве — также очень древняя мечта, она сопутствует человечеству на протяжении всей его истории.

Опять пауза. Горбунов:

— Если вы собираетесь защищать от меня общечеловеческие ценности, то вы ломитесь в открытую дверь. Но я знаю один-единственный способ отстоять эти ценности для всего мира — выиграть войну. И я воспитываю команду прежде всего для атаки.

— Кстати, о воспитании, — с коротким смешком сказал художник. — В мое время под воспитанием разумели весьма ограниченную область, касающуюся преимущественно бытового поведения. Вы хватаете дальше. Вы открыто воспитываете всех — детей, матросов, художников, ученых... Я не против цели, я спорю только против наивной обнаженности приемов; люди, как правило, не любят знать, что их воспитывают, они начинают сопротивляться или хитрить. Столько лет, сколько я занимаюсь живописью, меня пытались воспитывать люди, понимавшие в моем деле меньше меня и в лучшем случае равнодушные. Но у человеческого духа очень высокая точка плавления, он не поддается обработке холодным способом, нужны катаклизмы, а не нравоучения. Воспитать — это значит научить человека при всех обстоятельствах делать правильный выбор, а для этого воспитуемый должен иметь возможность говорить не только «да», но и «нет». Моя дочь считает, что за последнее время я идейно вырос. В таком случае это произошло вопреки материалистическим догмам — когда меня перестали кормить и оставили в покое.

Горбунов засмеялся:

— Недавно мне пришлось выдержать целую баталию. Один ученый товарищ решил прочитать нашим бойцам лекцию на следующую актуальную тему: «Любить командира, защищать его в бою». «Позвольте, — говорю я ему, — а не кажется ли вам, что любовь — материя тонкая, от популярных лекций любви ко мне не прибавится, и потом — как вы это себе представляете — защищать командира в бою? У нас абордажных боев не бывает...» Если вы хотите сказать, что бывают плохие воспитатели, то вы опять-таки спорите не со мной, я знаю об этом побольше, чем вы. Но я

горжусь тем, что я воспитанник флота, и не уступлю своего права воспитывать.

— Вы — другое дело. Вы воспитываете личным примером...

— Неверно. Всеми доступными способами. Чтоб воспитать экипаж только на личном примере, надо быть уверенным, что обладаешь всеми необходимыми добродетелями, а у меня такой уверенности нет. Кстати сказать, можно иметь перед глазами идеальный образец честности и мужества и все-таки оставаться жуликом и трусом. Образцовые товарищи иногда очень раздражают. Другое дело, когда свежий человек попадает на корабль, где издавна установился довольно высокий уровень отношений, такой коллектив всесилен. Я уже привык к своим подводникам и знаю, чего от них можно ждать, но совсем недавно я столкнулся с людьми, которым удалось-таки меня удивить. — Горбунов вдруг рассмеялся так, как давно уже не смеялся: весело и без всякого привкуса желчи. — В общем, понадобилась мне для некоторой цели одна историческая справка. Кого ни спрошу, никто не знает, надо идти в библиотеку. Разузнал адрес, собрался, пошел. Прихожу, дверь заперта, но тропинка протоптана, и следы свежие. Постучал, открывает старушка в заячьем треухе, личико смятое, запухшее: «Вам чего?» — «Библиотека, говорю, существует?» — «На дом книг не выдаем». — «А читальный зал?» — «И, говорит, батюшка, в читальном вам не усидеть, оттуда и волк сбежит, а если вам в самом деле нужно, то пожалуйста в кабинет к Елене Иннокентьевне...» Вхожу в кабинет: топится печурка, светит лампа, вокруг лампы человек десять уткнулись носами в книги — мальчишка в очках, профессор в ермолке, армеец со шпалой. Заведующая, тоже старушка, стриженная, суровая, сразу видать — с дооктябрьским стажем. Смотрит на меня сквозь две пары очков: «Что-то я вас не узнаю: вы что — новенький?» — «Так точно, говорю, новенький». — «Марья Глебовна, примите новенького». Откуда ни возьмись, третья старушка, тоже в ватничке, ползет-шаркает, ноги как колоды: «Садитесь, голубчик, где вам больше нравится, кой-какие расхожие книжки у меня здесь, под рукой, а если что из фонда, так вот вам газетка центральная, а я схожу, поищу». Называю английское справочное издание, Марья Глебовна покачала головой, потом подошла к двери, кричит:

«Жанна Альбрехтовна!» Является четвертая — чуть помоложе, черноватенькая, с челкой. Марья Глебовна ей говорит: «Жанночка, есть у нас «Gane's Fighting Ships» за двадцатые годы?» Жанна подумала и говорит: «Есть, конечно, но, увы, на верхних стеллажах, туда мне не добраться, а впрочем, если мсье военный будет так любезен и подержит лестницу...» Взяла лампочку, вроде шахтерской, и мы пошли. Зрелище, доложу вам, какое не каждый день увидишь: высоченный зал разбит на узенькие отсеки, и в каждом отсеке книги — корешок к корешку, — и так от самого пола доверху. Кое-где полки обрушились, проходы завалило. Холодина собачий, хуже, чем на улице. Мне и вчуже-то жутко, а Альбрехтовна идет себе с фонариком и только приговаривает: «Осторожно, не попадите ногой в крысоловку. Наклоните голову, а то как бы на вас не обрушился «Свод Законов Российской Империи» — он, знаете, очень тяжелый...» Я не утерпел и спрашиваю: «Вам не страшно?» А она отвечает: «Мы-то уже привыкли, а вот за книги страшно, книги портятся, и крысы ужасно обнаглели, мы делаем, что можем, прячем ценные издания, разбираем завалы, ставим ловушки, но — вы же понимаете — ловушки требуют приманки, а когда у вас всего-навсего служащая карточка, много ли вы можете выделить крысам?» Забрались в самую дальнюю щель, лестничка шаткая; я, конечно, вызвался лезть. Жанна Альбрехтовна смеется: «Ах, что вы, я сама, разве вы найдете; держите только лестницу покрепче, ну и меня — вдруг голова закружится...» И что ж вы думаете: полезла, достала, и я больше часа сидел в кабинете, делал выписки. Только присел, гляжу: первая старушка, та, что дверь отворяла, несет мне стакан кипятку, и к нему кусочек сахара — маленький, с горошинку. А? А ведь откуда у них сахар? Все из той же служащей нормы... Так вот, я вас спрашиваю, Иван Константинович, сделали эти женщины свой выбор или нет? Учтите, их никто не заставляет работать, наверно, и отчета давно уж не спрашивают. А какая сила! И я знаю — придет к таким на выучку девочка из библиотечного института, и они, не говоря ни слова про воспитание, заразят ее своей самоотверженной любовью... Одного я только боюсь: пролетит время, всех, кто пил кипяток и читал книжки в кабинете Е ны Иннокентьевны, разнесет по градам и весям нашей необъятной страны, придет

в библиотеку какой-нибудь свежий дядя и скажет: ну что ж, по блокадным временам эти самые старушки были еще туда-сюда, но в свете новых грандиозных задач они уже не потянут, а посему — старушек на покой, состав решительно освежить, библиотеку слить или перестроить... Позвольте, скажет кто-нибудь из старых посетителей, а преемственность, а традиции?.. Ничего, скажет дядя бодро, создадим новые традиции. И нагонит дерзких равнодушных девчонок «с высшим, но без среднего», которые тоже будут выдавать книги...

Раздался треск, какое-то полено обрушилось; вероятно, несколько раскаленных угольков выкатились наружу, потому что обе женщины вскрикнули, а мужчины засуетились. Через минуту происшествие было уже забыто, но разговор почему-то не возобновился, все надолго затихли. Пока шел разговор, Мите не было нужды притворяться спящим, внимание обитателей кубрика было отвлечено. Митя лежал недвижно, владевшее им оцепенение в чем-то было более глубоким, чем сон, он все слышал, но ни о чем не думал, вернее сказать — ничего не обдумывал, все, что говорили Горбунов и художник, не вызывало у него никаких оформленных мыслей, а только смутное и все усиливающееся ощущение тревоги. Наступившая тишина подействовала на него как барабанная дробь. Было стыдно ломаться, изображая постепенное пробуждение. Митя вскочил и сел. От кружки с кофе еще шел пар. Возясь с ботиночными шнурками, Митя думал только об одном — нужно немедленно, не откладывая, выходить из дурацкого запутанного положения, в которое он сам себя поставил, и любой ценой вернуть себе свое место у огня. Нужен был поступок, какой — он еще не знал и торопливо продумывал первую фразу, с которой он подойдет к камину. Но произнести ее так и не пришлось, послышался скрежет, репродуктор еще только прочищал горло, а Туровцев уже бежал к двери, наступая на болтающиеся шнурки. Он чудом не сломал себе спину на лестничной крутизне, первым выскочил на Набережную и, задыхаясь, взбежал на верхнюю палубу. По новому расписанию Митино место было у пушки, и через минуту он уже разворачивал орудие. Прогрохотали доски под ногами Горбунова — на этот раз командир был последним, — затем несколько минут грозной тишины, пронизанной

мерным гуденьем бродящих на заоблачной высоте самолетов, и затем сразу: бешеная стукотня зениток, ярко-красная сигнальная ракета, метнувшаяся из-за крыш черная тень, ледящий душу вой, резкая отдача орудия, ослепляющая вспышка... И он потерял сознание.

Глава двадцать шестая

Туровцев очнулся внезапно от саднящей боли в левой руке, узнал в склонившейся над ним фигуре доктора Гришу и с удивлением понял, что делает больно именно он, Гриша.

— Ты что, ты что?..

Доктор не ответил и продолжал возиться.

— Ты что? — повторил Митя, безуспешно пытаясь приподняться. — Что ты делаешь?

— Ищу у тебя вену, — сварливым от натуги голосом сказал Гриша. — Лежи смирно и не приставай с вопросами.

В конце концов вена нашлась: боль прекратилась, и по руке разлилась жаркая волна. Докатившись до обескровленного мозга, она сразу же вызвала кучу неотложных вопросов.

— Где я? — робко спросил Митя. Этот пустой вопрос интересовал его почему-то гораздо больше, чем «что со мной?».

Вместо ответа Гриша сунул ему ладонь под затылок. Кружка звякнула о зубы. Митя сжал губы и замычал.

— Уоу? — спросил он. Это должно было означать: «Что ты мне даешь?»

— Не твое дело. Пей.

— Не очу, — плаксиво сказал Митя. — Дует почему? Который час?

— Господи! — сказал металлический голос. — Я и не знала, что он такая капризуля...

Связываться с Юлией Антоновной было небезопасно, и Митя покорно выпил холодный сладкий кофе.

— Теперь слушай внимательно, — сказал Гриша. — Ты цел и невредим, лодка тоже, но дом разрушен до основания. Бомбоубежище выдержало, убитых нет,

раненых четверо — ты не в счет, всех бездомных разместили во флигеле. Сейчас восемь часов. Дует потому, что полетели все стекла. Если больше вопросов нет, я сейчас наложу тебе шов.

— Почему шов? Я же не раненый?

— Никто и не говорит, что ты раненый. Операция косметическая. Придется потерпеть минутку.

Минутка продолжалась добрых четверть часа, и Митя сразу позабыл о том, что когда-то ему хотелось иметь на физиономии изящный рубец; один раз он даже вскрикнул, но Кречетова сказала: «Стыдитесь, мальчику ампутировали руку — он не пискнул», и Митя притих. Мальчик в доме был один — Шурик. Митя хотел было спросить о Шурике, но в этот момент Гриша вонзил ему в бровь какое-то мерзкое орудие, и Митя — не столько от боли, сколько от обиды на то, что лекарь обращается с ним как с бессловесной тварью, — громко выругался.

— Роскошно, — сказала старая дама. — Оказывается, он еще и матерщинник.

Наконец Митю оставили в покое. Боль сразу прекратилась, протертое ароматическим уксусом лицо приятно горело, и он забылся. А когда очнулся вновь, увидел перед глазами желтое ореолящее пятно — свет был искусственный. Одновременно он услышал тихий разговор. Говорившие сдерживались, и от этого еще больше чувствовалось, что они спорят и раздражены. Митя зашевелился, и голоса смолкли, затем кто-то встал, загородив собой свет, и Митя услышал смеющийся голос Кондратьева:

— Проспался, орел? Ну, поздравляю...

Митя не сразу понял, с чем его поздравляют, и похолодел, узнав, что он, лейтенант Туровцев, поджег вчера немецкий пикирующий бомбардировщик. Вероятно, у него был очень глупый вид. Кондратьев захохотал:

— Думаешь, шучу? Подтвержденный факт. Виктор, отдай ему пистолет, я считаю — товарищ заслужил...

— Да уж отдал, — зевая, сказал Горбунов. Оказывается, командир был рядом и — о, ужас! — держал наготове блюдце, готовясь кормить помощника с ложечки. Митя хотел замотать головой, но побоялся, что лопнет шов, и ему пришлось съесть несколько ложек остывшей рисовой каши.

Перед тем как заснуть, Митя сделал попытку освоить услышанное и восстановить в памяти события прошедшей ночи, но из этого ничего не получилось, он был еще слишком слаб. Он догадывался, что сбить над городом фашистский самолет — дело не шуточное, но почему-то не ощутил ни волнения, ни гордости, ему казалось, что все произошло как-то само собой, — типичный случай выигрыша по трамвайному билету.

В третий раз Туровцев проснулся глубокой ночью. Лежа в темноте, он слышал сонное дыхание соседей. Спящих было трое или четверо, — значит, все население каминной перекечевало в полном составе. Куда? Чтоб выяснить этот вопрос, нужны были спички. Он нащупал коробок. Спичка оказалась только одна и сразу погасла, но и мгновенной вспышки оказалось довольно — Митя узнал похожий на адмиральскую каюту кабинет капитана первого ранга Кречетова.

Он знал, что больше не заснет, — и так проспал больше суток. Ощупью разыскав свои вещи, он тихонько оделся и вышел в переднюю. Ему удалось без особых происшествий выбраться на лестницу и спуститься во двор. Во дворе было необычно светло, не потому, что луна светила как-нибудь особенно ярко, а потому, что дом на Набережной больше не существовал. Уцелел только нижний этаж с аркой и сквозной остов с налипшими на нем клочьями разрушенного уюта. От матросских кубриков не осталось никаких следов, но каминную еще можно было узнать: рояль стоял с поднятой, как для концерта, крышкой, на черном лаке лежал лунный блик; камин развалился, обнажив красный кирпичный зев и похожий на перерубленное горло ствол дымохода. Под аркой мерцал огонек. Подойдя ближе, Митя увидел Петровича — он растапливал кипятильник. Рядом на скамеечке сидела Асият и беззвучно плакала.

— Плачет, — громко сказал Петрович, прикрыв рот ладонью: вероятно, ему казалось, что он говорит шепотом. — При мальчишке-то не смеет, а сюда выйдет — и в слезы. Я ее не укоряю, женщине нельзя не поплакать. Бывает, и мужики плачут.

— Лучше бы ему помереть, — всхлипнула Асият. — Куда он теперь без руки? Не муж, не работник...

— Вот тут и есть твоя ошибка, — наставительно сказал матрос. — Как так не работник? Парень с головой, пойдет по руководящей линии. А муж... И-и, милая,

опосля войны вашей сестры на всех хватит — и на двуруких, и на безруких.

Утешения Петровича показались Мите несколько грубоватыми, но, судя по тому, как фыркнула сквозь слезы Асият, старик говорил то, что нужно.

— Ты меня слушай. Я старый человек и смерть видал. Помирать никому неохота, хоть и старому. Я бы и без руки еще пожил. Мне бы только до Победы дотянуть. Погляжу, как народ радуется, прочитаю в газете, какой Гитлеру капут вышел, — и тогда вполне можно отдавать концы...

При свете разгорающейся бересты блеснули зубы Асият, и Митя понял, что она улыбается.

— Ваше-то здоровье как?

— Мое? — удивился Митя. Он совсем забыл про свою забинтованную голову. — Спасибо, хорошо.

— Страх какой! — вздохнула Асият. И, оглянувшись, шепнула: — Зашли бы к Тamarочке.

Митя насторожился.

— А что? — спросил он нарочно сухо.

— Так ведь муж у нее помер.

— Николай Эрастович?! Отчего?

— А кто его знает. Не жилец был. Как его Тамарочка ни выхаживала...

— Давно?

— За полночь уж было. Хотела я вашего доктора будить, а потом пожалела. Чего уж там...

— Нонче дворники не хуже докторов константируют, — сказал Петрович.

«Пойду», — решил Митя.

Поднимаясь по ступенькам крыльца, он еще верил, что идет с единственной целью — посочувствовать и предложить свою помощь, но стоило ему нащупать сквозную дыру от французского замка, вдохнуть знакомый запах пыльного войлока, известки и столярного клея, как он уже знал — по стуку крови, по стеснению в груди, — что ему никак не удержаться в намеченных рамках и что даже соседство покойника не удержит его от попытки объясниться. Это решительное объяснение он многократно и на разные лады репетировал, заканчивалось оно всякий раз полным крахом Тамары и столь же полной нравственной победой лейтенанта Туровцева. А далее шли варианты — он прощал или не прощал.

На этот раз дверь оказалась открытой настежь.

Митя вошел и увидел, что дверь в комнату Николая Эрастовича также открыта и там что-то светится. Он подошел ближе и увидел Тамару — она сидела спиной ко входу, загораживая собой кровать и лежащее на ней тело. Простыня, служившая пододеяльником, прикрывала лицо до бровей, виден был только узкий лоб с большими залысинами. Заслышав шаги, Тамара не оглянулась.

— Входи, Дима.

Митя вошел. Комната по-прежнему напоминала берлогу колдуна, но вместе со смертью в нее вошла чистота. Даже при слабом свете коптилки видно было: посуда прибрана, пыль вытерта, пол влажен после недавнего мытья.

— Садись.

Митя пододвинул стул и сел рядом. Тамара осторожно, как будто мертвого можно потревожить, отвернула пододеяльник, и с минуту они сидели молча — это был обряд. Лицо Николая Эрастовича было тщательно выбрито и запудрено, и Митя с удивлением понял, что покойный совсем не был стар. Теперь лицо стало строже, и в его отвердевших чертах появилось что-то внушительное. Тамара глядела на него не отрываясь. Через минуту она встала, натянула простыню на высокий лоб с залысинами и повернулась к Мите.

— Вот, Димочка,— сказала она с улыбкой.— И осталась я одна...

Митя ничего не ответил. Все заготовленные впрок слова оказались разом перечеркнутыми этой коротенькой фразой. И еще больше улыбкой — в ней не было ни жалобы, ни упрека, скорее сознание силы: да, одна. Дорогой ценой, но научилась жить одна, не стремясь обвиться вокруг опоры. Женщина, умевшая так улыбаться, не нуждалась в поддержке. И еще меньше — в прощении.

— Чаю хочешь? — спросила Тамара и, не дожидаясь ответа, взяла коптилку и вышла. Митя вышел вслед и со щемящим чувством следил за тем, как она двигается по комнате, открывает шкафчик с закопченными пастушками, достает знакомые чашки. «И осталась я одна,— думал Митя.— Как много женщина может сказать одной фразой. И осталась я одна,— хотите знать, что значат эти слова, лейтенант? Это значит, что у нее умер муж. Никого не касается, как они жили, важно, что умер он у нее на руках и хоронить его будет

она, блокадная вдова. Только теперь я, кажется, начинаю понимать, почему Горбунов сказал Катерине Ивановне, что у него есть жена. Пока она не отомщена, он не свободен...»

«И осталась я одна... Это значит, что нет Селянина. Не знаю, откуда у меня такая уверенность. Но это так. Возможно, он был здесь еще вчера, но сегодня его уже нет и наверняка не будет завтра».

...«И, наконец, это значит, что нет меня. Правильно, иначе и быть не могло. Нет, почему же, могло — я сам не захотел. Она не будет ни упрекать, ни оправдываться, она просто напоит меня чаем. Я всегда говорил, что терпеть не могу ссор и объяснений. Так вот, не будет ни ссоры, ни объяснений. Ссоры и объяснения кончаются разрывом или примирением. Так вот, не будет ни разрыва, ни примирения. Будут те самые корректно-дружелюбные отношения, которыми, по мнению лейтенанта Туровцева, должна заканчиваться связь свободных людей».

Пока Тамара хлопотала, можно было ни о чем не спрашивать. Но, отпив до половины свою чашку, Митя откашлялся и спросил:

— От чего он умер?

Тамара опять улыбнулась. Той же спокойной улыбкой, которая разрывала Мите сердце.

— Не знаю. Он последнее время совсем перестал бояться. В убежище не ходил, а меня гнал и сердился, если я не шла. И когда все это, — она поежилась, как от холода, — когда все это случилось, мы были здесь. Он даже не спросил ни о чем, как будто не слышал. Димка, я видела, что он угасает, и ничего не могла поделать, он даже есть не хотел — это он-то!.. Он ведь и не от голода умер, я вбивала в него все, что только у меня было. — Она слегка запнулась, но тут же взяла себя в руки и повторила с некоторым даже вызовом: — А у меня было... Только он не ел. А с тех пор, как норму прибавили, прятать стал.

— Что прятать? — не понял Митя.

— Хлеб. Боялся, что опять хуже будет. А то начнет готовить себе еду из какой-то своей химии... Я издрожалась вся — вдруг отравится? А перед тем как слечь, весь день был совсем как бешеный, обложился справочниками, целую тетрадку исписал закорючками, ночью стучит, будит: «Тамура, я сделал открытие, которое всех спасет, — я знаю, как изготавливать из сырой нефти

пищевые жиры...» — «Колечка, говорю, а где же мы возьмем сырую нефть?»

Митя усмехнулся. Усмешка показалась Тамаре недостаточно почтительной, и она вспыхнула:

— Ты его совершенно не знаешь. Колька был удивительный. Молчи,— остановила она Митю,— молчи, я сама скажу, а ты не смеешь. Да, он трус, он жадный... Все равно он мой муж, родной человек. Я сама такая, как он. И он меня любил, понимаешь ты это? Любил, все понимал и не судил строго. И когда у меня было горе, я шла к нему. А ты знаешь, как это много — близкий человек? Я Колю не любила по-настоящему, никогда не любила, но когда человек тебе нужен, и ты ему нужна, и твое горе — его горе, знаешь, Димка, может быть, это больше любви. А может, никакой любви и не существует...

— Неужели не существует? — несмело переспросил Митя.

— Не знаю. Хоть тетя Юля и говорит, что я беспутная, я ведь мало что видела. А от того, что видела, веры во мне не прибавилось. Одному человеку только и верю.

— Кому?

— Командиру твоему, Виктору. Катька извелась с ним, ревет, а по-моему, она счастливая. Хотя что ж это я? Нашла кому говорить. Ты же его ненавидишь.

— Я?

— Дима, только не ври, не надо. Так вот, радуйся, недолго тебе страдать. Погонят его скоро.

— Откуда ты знаешь? — Митя встал, обошел стол.

— Говорю,— значит, знаю. Сядь на место, Дима... Пожалуйста.

— Скажи, я должен знать. От Селянина?

— О нем не будем говорить.

— Почему?

— Не хочу.

— А я хочу. Мне нужно знать.

— Мало ли что тебе нужно... Ну хорошо, чур — правду за правду. Поклянись.

— Честное слово.

— Это правда, что ты на Горбунова заявление писал?

Митя не ответил. Тамара всплеснула руками.

— Неужели правда? Ох, только не оправдывайся, Дима, я ведь все понимаю... Тут люди похитрее тебя.

— Кто?

— Да тот же Семка. Ты не знаешь, какой он.

— Страшный? — усмехнулся Митя.

— Если бояться, то, пожалуй, и страшный.

— Тебе же он нравился?

— Конечно, нравился. А ты что же думал, я просто так — за харчи? Он ведь не глуп. И держаться умеет. Думаешь, вот сильный человек, никого не боится, ни от кого не прячется...

Митя почувствовал укол и вспыхнул.

— Вор,— сказал он со злостью.

Ему не так хотелось обругать Селянина, как задеть Тамару. Но Тамара только улыбнулась.

— Нет, не вор. Может быть, хуже вора, но не вор.

— Что может быть хуже?

— Холуй.

— Почему холуй? — удивился Митя.

— Не знаю почему, но холуй. Важный, властный, но холуй.

— Злой?

— Скорее равнодушный. Но уж если кого невзлюбит — вот как Горбунова,— ни перед чем не остановится.

— За что он его так ненавидит?

— Наверно, за то, что Горбунов не такой, как он.

— Разве за это можно ненавидеть?

— Значит, можно.

Митя задумался.

— Интересно, в чем его сила? На чем он держится?

Тамара засмеялась невесело.

— Это я тоже только недавно поняла. А на том, что у больших людей бывают маленькие слабости.

— У каких людей?

— А вот представь себе, Дима, человека, который руководит, командует, решает всякие вопросы, и, наверно, правильно решает — там он большой человек. А есть у него уголок, где он человек маленький: повелиться любит, лишнее урвать, согрешить втихомолочку. Самому-то неловко, а этот готов к услугам и познакомит, и достанет, и свяжет, и прикроет, грех на себя возьмет. Ты знаешь,— она тихо^{то} засмеялась,— я у него книжечку видела телефонную, ну точь-в-точь как твоя, только записаны в нее одни нужные люди. И около каждой фамилии этак меленько: чем заведует, что может дать, в чем сам нуждается.

— Нет, ты врешь,— сказал Митя с ужасом.

Тамара продолжала смеяться.

— Не беспокойся, тебя там нет, ты начальство небольшое, даже без телефона. А впрочем, как знать, может, и тебя теперь записал, бывает, и лейтенант на что-нибудь сгодится.

Это было жестоко.

— А ты поумнела,— сказал Митя, мстительно усмехаясь.— Это что же — Семен Владимирович научил уму-разуму?

— Жизнь,— спокойно сказала Тамара.— Ну и он, конечно...

— А насчет покровителей — это все твои догадки?

— Нет, зачем же догадки.— Тамара нахмурилась.— На днях он привез ко мне одного своего... Не-старый еще дядька, в штатском; простое такое лицо, но видать, что умный. Только скованный очень, не знает, как держаться,— то ли я дама, то ли шлюха. Потом решил, что дама... все-таки.

— А Селянин перед ним петушком?

— На равных. Еще задирает.

— Значит, не холуй?

— Холуи разные бывают. Есть, что дерзят.

— А тот что?

— Доволен. Он же демократ. Услышал, что у меня день рождения, и спрашивает: «Скажите, Тамара Александровна, есть что-нибудь такое, чего вам очень хочется?» Я обозлилась и говорю: «Есть. Прорыв блокады».— «Вот этого,— говорит он,— я вам к завтраму не обещаю, задайте пока что-нибудь попроще».— «Ладно, говорю, хочу торт-пралине, как в довоенном «Норде». На том разговор и кончился.

— Здорово ты его... Ну а дальше что?

— Дальше? — Тамара явно колебалась.— Ну ладно, иди сюда...

Она встала и взяла со стола коптилку. Митя тоже встал. В темном углу рядом с дверью стоял знакомый низенький столик, накрытый газетой, газета была старая, бумага просалилась и почернела. Тамара передала Мите коптилку, а сама осторожно, двумя руками приподняла бумагу, и Митя увидел большой квадратный торт, залитый шоколадной глазурью и украшенный завитушками и розочками из масла. На блестящей, как полированный гранит, поверхности чья-то умелая рука вывела Тамарин вензель. Он перевел

глаза на Тамару. На ее лице была мучительная гримаса.

— Что делать, Димка? — сказала Тамара шепотом. — Я не могу до него дотронуться. А выбросить — рука не поднимается.

— Зачем же ты взяла?

— Я не брала, что ты... Приехал Соколов и привез. Мне вообще не до того было... Уж потом-то я поняла.

— Что поняла?

— Господи, да ты совсем глупый. Поняла, что Семка меня продал.

— Что значит продал?

— Ну, уступил. Дошло?

— Дошло, — сказал Митя растерянно. Он совсем не был убежден, что до него действительно дошло. — Но я все-таки не понимаю, почему...

— Почему продал? Надоела. Много хлопот. А может быть, — Тамара понизила голос, — чувствует, что сильная поддержка понадобится, вот он и пошел с козыря. Может, он и не отдал бы меня так, да уж очень под ним земля горит.

— Почем ты знаешь?

— Кто тебе сказал, что знаю? Я чувствую. Хорохорится, а сам трусит чего-то. Да ну тебя, я с тобой о деле советуюсь, а ты с глупостями. Что делать, Димка? Ведь это крем — он прокиснет...

Митя нагнулся и понюхал. Сквозь полузабытые пленительные запахи какао и ванили явственно пробирався кисловатый запах брожения. Он задумался. А Тамара держала газету за уголки и ждала ответа.

— Хоть убей, не знаю, — пробормотал Митя, подавленный не столько рассказом, сколько зрелищем: в центре осажденного Ленинграда сверкал глазурию и благоухал ванилью настоящий довоенный торт.

— Как видно, толку от тебя немного, — сказала Тамара с грустной насмешкой. Она прикрыла торт. Вдруг глаза ее вспыхнули: — Хочешь кусочек?

— Что ты, что ты, — забормотал Митя, не на шутку испугавшись.

Тамара беззвучно смеялась.

— А я знаю, что с ним сделаю, — сказала она с несколько наигранной беспечностью. — Снесу тете Юле. Она распорядится.

— А что ты ей объяснишь?

— Ничего не буду объяснять. Врать? Ей врать бесполезно.

— Хорошая она женщина. Только меня не любит.

— За что ей тебя любить?

— А ты рассказала ей, как я стоял вот тут под дверью, а ты в это время (он поискал слово не слишком грубое) заперлась со своим?..

Старая обида наконец просочилась. Он уже раскаивался, что затронул запретную тему, но, когда Тамара вместо ответа засмеялась, ему захотелось ее ударить.

— Можешь не отвечать,— сказал он со злостью.

— Конечно, могу. Знаешь что, Дима, иди-ка домой. Ты же, наверное, ушел без спроса, как бы тебя не хватились.

— Пожалуйста, не беспокойся.

— Иди, иди. Я устала. Скоро люди встанут за кипятком. Разговоры пойдут.— Она сунула ему в руки фуражку и отобрала коптилку.— Спасибо, что зашел.

Больше не приходить?

— Нет, почему же, приходи, если хочешь. Только днем.

— А ты мне все-таки не ответила,— хмуро съязвил Митя уже на пороге.

Тамара опять тихонько засмеялась.

— Отвечу.— Она мягким усилием вытолкнула Митю в коридор.— Когда ты царапался тут, под дверью, я действительно была не одна. У меня была тетя Юля.

Дверь захлопнулась. Митя налег на ручку, но опоздал. Крючок упал.

Глава двадцать седьмая

Туровцев отсутствовал не больше получаса, через пять минут после своего возвращения он уже крепко спал, а проснувшись, увидел: кабинет пуст, койки прибраны, сквозь щели в заколоченных окнах пробивается дневной свет. Он вскочил как по тревоге. И только надев шинель, заметил пришпиленный к одеялу клочок бумаги. «Можешь дрыхнуть вволю,— писал Гриша.— Имеешь полный выходной день, утвержденный В. И. Используй его для душеспасительных раз-

мышлений. Чай в термосе, не разбей — чужой. 11.45 — перевязка. Тебя все приветствуют и поздравляют...»

Записка успокоила Митю лишь наполовину. С одной стороны — приятно знать, что твое безделье узаконено и, таким образом, ты не совершаешь проступка. С другой — было что-то тревожное и даже оскорбительное в легкости, с какой без него обходились.

В поисках воды для умывания он обошел жилище начальницы объекта. Квартирка оказалась крохотной — кабинет, спальня, кухня. Тесная спальня заставлена вынутыми из рам холстами, кухонный пол завален корнями и луковичками. В старинном умывальнике с мраморной доской нашлось несколько капель воды. Митя намочил платок и протер лицо, платок сразу стал коричневым. Затем вернулся в кабинет и пил чай в обществе капитана первого ранга Кречетова. Выборный командир гидрографического судна «Нарва» был совсем не красив и не представительен, но взгляд его притягивал. Митя вспомнил: «Я есть, а тебя нет».

«В отличие от меня, этот человек был очень уверен в себе,— подумал Митя.— Не самоуверен, а именно уверен в себе. В чем разница? Самоуверенный человек уверен, что он очень хорош. Уверенный в себе... уверен только в том, что в любой решающий момент поступит как надо...»

Вот тут бы и предаться душевспасительным размышлениям, но ничего не вышло — не успел Туровцев допить свой первый стакан, как заглянул боцман, следом за ним явился Савин, затем две старушки из соседней квартиры. Старушки его насмешили. Они были толстовки — вегетарианки и непротивленки. С вегетарианством было покончено еще в прошлом году, после введения карточек. Теперь они с горящими глазами благодарили Митю за то, что он отправил на тот свет летчика. Словом, силы материализма торжествовали.

Наслушавшись поздравлений, Митя почувствовал к себе некоторое почтение. Случайность оставалась случайностью, но за ней вырисовывались некоторые закономерности. То, что бомба попала в дом, вернее всего, было случайностью — летчик метил в корабль. Но это обстоятельство ни в какой степени не оправдывало господ фашистов и не снимало вопроса о возмездии. При взрыве оказалось не много пострадав-

ших — это также можно назвать случайностью, и даже счастливой случайностью, но, несомненно, будь у начальницы объекта характер попокладистее, жертв было бы гораздо больше. Пользуясь этими несложными аналогиями, он пришел к благоприятному для себя выводу: даже случайное попадание в самолет было бы полностью невозможно, если б лейтенант Туровцев не унаследовал от своего учителя Васи Каюрова некоторого умения управлять зенитным огнем.

Часов около одиннадцати пришел, волоча тяжелый этюдник, Иван Константинович, Митя бросился помогать. Они не успели сказать ни слова — ворвался Петрович. Вбежав в кабинет, он посмотрел на Митю безумным неузнавающим взглядом и, сорвав со стены рамку с застекленной грамотой, метнулся к выходу. Митя побежал за ним. С помощью Ивана Константиновича он оттеснил старика в кухню и силой усадил на плиту. У старого матроса был вид помешанного, на все вопросы он отвечал горестным мычанием и совал в руки рамку с грамотой. Наконец выдохнул:

— Барышню Юлечку... взяли.

— Воды! — скомандовал художник.

За то время, что Митя бегал по соседям в поисках воды, Иван Константинович сумел успокоить Петровича и добиться от него почти связного рассказа. В десятом часу утра Юлию Антоновну срочно вызвали в районное карточное бюро. Петрович увязался следом и своими глазами видел, как ее уводил человек в форме.

— Нельзя терять ни минуты, — сказал Иван Константинович. Митю поразило его спокойствие, сам он был растерян гораздо больше. Он уже догадывался, что вызов в карточное бюро был лишь предлогом, тут было что-то политическое, а на сей счет Мите с ранних лет были внушены очень твердые понятия — надо ждать и не вмешиваться. После ареста майора Славина два Митиных однокурсника ходили к его жене писали какие-то письма, и кончилось это плохо — обоих исключили из комсомола. Курсант Туровцев тоже голосовал за исключение.

— Что вы собираетесь делать? — осторожно спросил он художника.

— Собираюсь пойти в райком. И был бы вам бесконечно благодарен, если б вы взялись меня проводить.

— Почему в райком? — удивился Митя.

— Потому, что это единственное место, где у меня, кажется, есть связи.

— Ну и что же вы там скажете?

— Скажу, что знаю Юлию Антоновну Кречетову тридцать лет и попрошу отдать ее мне на поруки.

Митя с трудом сдержал улыбку. На поруки по политическому делу? Типичный девятнадцатый век.

— Я вижу, вы колеблетесь, — холодно сказал художник. — В таком случае я обращусь к кому-нибудь другому.

Митя смутился:

— Я готов. Если Виктор Иванович разрешит...

Они вышли. Во дворе их догнал Петрович и все-таки всучил рамку. Сквозь давно не мытое стекло Митя прочел датированное восемнадцатым годом письмо жильцов дома на Набережной, удостоверявших, что Ю. А. Толкачева-Кречетова фактически не является домовладелицей, и ходатайствовавших перед районным Советом РКК и КД о закреплении за означенной Толкачевой-Кречетовой и ее мужем, находящимся на Действующем Флоте, фактически занимаемой ими площади. Все это было в достаточной степени наивно, но Иван Константинович сказал, что это не письмо, а охранный грамота, и велел непременно взять. Митя извлек письмо, а рамку бросил в снег.

Горбунов стоял под репродуктором. Выслушав помощника, он слегка нахмурился.

— Хорошо, идите.

Райком помещался в старинном особняке, на одной из примыкающих к Литейному проспекту улиц, сравнительно недалеко от Набережной. Шли легко, трудности возникли в бюро пропусков. Митя мог пройти по комсомольскому билету, но Ивану Константиновичу нужен был пропуск, а паспорта он, конечно, не захватил. К счастью, выписывавший пропуска веселый инвалид оказался не таким строгим ревнителем формы, как Селянин, и нашел выход: пропуск был выписан на фамилию Туровцева, а в скобках поставлено — 2 чел. Предъявив милиционеру пропуск, они поднялись по широкой и отлогой ампирной лестнице на второй этаж. Здание выглядело пустым и напомнило Мите рассказы о гражданской войне: «Райком закрыт, все ушли на фронт». Но в предбанничке перед кабинетом секретаря обнаружилось большое скопление самых разнообраз-

ных людей, одни сидели на расставленных у стен стульях, другие стояли в очереди к техническому секретарю райкома — девице лет восемнадцати, охранявшей похожую на шкаф дверь, за которой скрывался первый секретарь. Очередь подвигалась медленно, все внимание девицы было поглощено стоявшими на забрызганном чернилами столе телефонными аппаратами, она отвечала на звонки и названивала сама, добиваясь каких-то неведомых Давидюка и Юрочкина. По-видимому, они были очень нужны, и в пронзительном голосе секретарши слышались слезы.

— Горком каэсэм? — кричала она истошным голосом, зажимая ладонью отмороженное ухо. — Не бросайте трубку: Суворова. Где Давидюк? Ну и что ж, что спрашивала, — еще раз спрашиваю. Где же он шалается? Как явится, чтоб сразу ноги в руки — и к Северцеву. Под вашу ответственность. Что? А мне все равно, кто вы есть, — мне чтоб он был, ясно? — Она уставилась на художника, но тут же отмахнулась от него, как от мухи, и схватила трубку задребезжавшего телефона: — Кто говорит? Ничего не слышу, тише говорите. Юрочкин, ты? Куда же ты пропал? Вот безобразие... Ну что ж, что на объекте, — должен след оставлять. Срочно к Северцеву! Ноги в руки, обижаться после будешь...

Видя, что она обдумывает, куда бы еще позвонить, Иван Константинович громко кашлянул.

— Вам что? — отрывисто спросила Суворова и, не дожидаясь ответа, закричала: — Побойчее говорите, мне некогда.

Художник посмотрел на нее с любопытством.

— Милая девушка, — сказал он, улыбаясь, но очень серьезно, — почему вы на меня кричите?

Теперь удивилась Суворова.

— Я не на вас кричу, — сказала она сиплым шепотом. — Я вообще кричу. — И как бы в доказательство того, что она не может говорить тихо, опять закричала: — Что вам надо? Какие странные люди!..

— Я прошу доложить товарищу Северцеву, — сказал художник, по-видимому, вполне удовлетворенный полученным объяснением. — что его хотят видеть художник (он назвал себя) и лейтенант флота Туровцев. — Увидев сомнение на лице Суворовой, он поспешно добавил: — Тот самый лейтенант Туровцев. Сбив-

ший вражеский самолет над территорией нашего района.

Это было неделикатно и совсем не в стиле художника, но, как видно, он знал, что делал,— Суворова смягчилась.

— Ладно, попробую,— просипела она и скрылась за похожей на шкаф дверь. Меньше чем через минуту она выкатилась обратно и, даже не взглянув на Митю, кинулась к телефону.

Оставалось одно — ждать. Какая-то добрая душа уступила Ивану Константиновичу стул. Митя стал рядом и, чтоб скоротать время, стал присматриваться и прислушиваться. Вскоре он понял, что население «предбанника» делится на две категории: вызванные и пришедшие по своему почину: первые имели преимущество, практически почти неощутимое, ибо все время появлялись какие-то запыхавшиеся люди, которых Суворова вне всякой очереди и даже слегка подталкивая в спину препровождала к секретарю. Митя подсчитал, что за четверть часа в кабинет вошло одиннадцать человек, а вышел — вернее, выскочил как ошпаренный — только один. Всякий раз, когда Суворова отпирала своим ключом дверь кабинета, все сидевшие на стульях, стоявшие в очереди и кутившие в дверях замолкали и оборачивались, и тогда на секунду становился слышен высокий, скандирующий слова голос секретаря. Появился взмыленный Юрочкин и, провожаемый восторженными проклятиями Суворовой, скрылся за дверью. По временам кто-нибудь из заждавшихся шумно вздыхал и произносил «ах, черт!» или даже «о господи!», но никто не ворчал и не жаловался, все понимали — решается вопрос первостепенной важности. Сидевший рядом с художником пожилой человек в форме речного флота шепотом объяснил суть дела: в районной хлебопекарне лопнули трубы и прекратилась подача воды, во многих булочных вместо хлеба пришлось выдать зерно, на ремонт потребуется несколько дней, а пока Анатолий Петрович (Северцев — догадался Митя) вместе с райкомом комсомола организует подачу воды по ручному конвейеру.

— Откуда же? — спросил Митя.

— А из проруби. Ведрами по цепочке.

Наконец дверь кабинета широко распахнулась, и оттуда, весело переругиваясь, вывалила целая толпа — десятка два парней и девушек. Последним вышел

высокий и очень стройный человек в гимнастарке без петлиц и меховой безрукавке. Окинув «предбанник» быстрым и все еще смеющимся взглядом, он безошибочно угадал художника и направился к нему так стремительно, что тот не успел подняться ему навстречу.

— Здравствуйте,— звонко сказал секретарь, протягивая обе руки,— левую он положил художнику на плечо, чтоб помешать ему встать.— Так сказать, гора с горой не сходится... Теперь практическая сторона: если у вас что-то стряслось и дело безотлагательно срочное — я вас слушаю. Если же, будем надеяться, ничего не случилось и вы пришли просто так, поговорить по душам, то — прошу прощения — придется подождать, пока несколько разрядится обстановка.

— Тогда положение безвыходное,— сказал художник со своей серьезной улыбкой.

— Почему же?

— Потому что дело срочное, а говорить надо по душам.

Северцев посмотрел на художника, художник на Северцева, и Митя, очень беспокоившийся, как бы Иван Константинович по простоте душевной не ляпнул чего-нибудь не к месту, с удовольствием отметил, что художник и секретарь друг другу понравились.

— Попробуем все-таки поискать выход,— сказал секретарь и подмигнул.

После этого он принял еще троих. Круглые часы над дверью кабинета пробили двенадцать, они могли и не бить, желудок напоминал про обеденный час точнее хронометра. Десять минут первого Суворова юркнула в кабинет с подносом. Вернувшись, она медленно обвела глазами всех ожидавших приема, лицо ее приняло детски растерянное выражение, и Митя понял: забыла, зачем пришла. Встретившись взглядом с Митей, она хлопнула себя по лбу и скомандовала:

— Проходите!

В просторном кабинете секретаря не было ничего примечательного, кроме больших и очень чистых окон, смотревших на тихую улицу. Северцев усадил посетителей в глубокие кожаные кресла, стоявшие по обе стороны маленького, накрытого зеленым сукном столика, а сам присел на край письменного стола, и по не-

принужденности, с какой он это сделал, Митя понял, что секретарь часто сидит там. Несколько секунд секретарь и художник молча изучали друг друга, и Митя только теперь заметил, что у секретаря седая голова. Но седина его не старила, скорее молодила.

— Никогда не видел настоящего секретаря райкома,— сказал Иван Констатинович, и Митя ужаснулся — что за начало для разговора.

— Никогда не видел настоящего художника,— сказал Северцев.— То есть приходилось, конечно, встречаться во всякого рода кулуарах, но это же, сами понимаете, не то.

— Не то, не то,— подтвердил художник.— Надо ходить в гости и разговаривать. Без регламента и без этих девиц, которые строчат... Попросту — чай пить.

— Золотые слова,— сказал секретарь, вставая. Он сдернул салфетку со стоявшего на зеленом сукне подноса, и Митя увидел три чисто вымытых тонкостенных стакана, блюдечко с тремя кусочками рафинада и блестящий мельхиоровый чайник. Художник смутился.

— Это выглядело как намек...

— Я как намек и понял,— весело сказал секретарь.— Насчет сахара не густо, но зато с лимоном. Чай выпили молча, благоговейно.

— А теперь,— сказал секретарь, дожевывая лимонную корочку,— позвольте узнать, по какому поводу...

— Повод печальный,— твердо сказал художник.— Сегодня утром арестована женщина, которую я знаю тридцать лет...

— Минуточку,— перебил секретарь. Он соскользнул со стола и сел на свое обычное место, между несгораемым шкафом и телефонными аппаратами.— Минуточку. А почему, собственно, вы решили обратиться ко мне?

— Как это почему? — удивился художник.

— А вот так — почему? Райком не производит арестов.

«Всё»,— подумал Митя.

— Насколько я понимаю,— сказал художник самым невозмутимым тоном,— райком также не выпекает хлеба.

Секретарь с хмурым удивлением воззрился на Ивана Константиновича. И вдруг захохотал.

— Ого! — сказал он, отсмеявшись. — С вами держи ухо востро... Ну хорошо. — Он вздохнул. — Так что же все-таки вы от меня хотите?

— Я хотел бы знать, в чем ее обвиняют, — сказал Иван Константинович. — Это наверняка недоразумение.

Секретарь промолчал.

— Во-вторых, я рассчитываю на ваше вмешательство. Вы знаете Юлию Антоновну, знаете как честного работника, и ваш долг — воспрепятствовать оговору.

— Вы что же, не доверяете следствию?

— Нет, я очень доверяю следствию и хотел бы помочь ему не совершать ошибок. И последнее — я хочу, чтоб вы помогли мне взять Кречетову на поруки.

Вероятно, Северцева было нелегко озадачить. Ивану Константиновичу это удалось.

— Что-то я ничего не слыхал о подобных случаях, — сказал Северцев, помолчав. — А как вы себе это представляете?

— Что?

— А вот это самое: поруки. Денежный залог?

Художник замялся.

— То-то и оно. Денег у вас нет, а если б и были, их бы у вас никто не взял. Чем же вы ручаетесь?

— Головой.

— Простите, Иван Константинович, — с неожиданной резкостью сказал секретарь. — Для риторических упражнений у меня нет ни времени, ни настроения.

Художник опустил голову.

— Вы правы, — сказал он после паузы. — Извините. Северцев смягчился:

— Я, конечно, не сомневаюсь в искренности ваших слов. Вашей приятельнице можно позавидовать.

— Не думаю, — холодно сказал художник.

— В ограниченном смысле, конечно. Приятно знать, что есть человек, который хотя бы теоретически готов дать за тебя голову на отсечение. Кречетова ваш близкий друг?

— Это не столь существенно. Существенно, что она человек в высшей степени порядочный.

— Определение несколько аполитичное.

— Скажите, Анатолий Петрович,— спросил художник,— вам никогда не приходилось переходить на нелегальное положение?

— Никогда.

— Я так и думал. Так вот, если, не дай бог, придется и вам понадобится место, где переночевать, я был бы спокойнее за вас, если б вы доверились Юлии Антоновне. Так что не такое уж аполитичное.

— Если это все так,— сказал Северцев,— то не вижу оснований для беспокойства. Предоставим следствию идти своим ходом и будем надеяться, что истина воссияет без нашего с вами давления.

Художник поморщился:

— Не ожидал от вас такого вывода.

— Почему?

— Потому что человек сидит в тюрьме. Как, по-вашему, там хорошо кормят?

— Не думаю.

— Я тоже. Но не это главное. Я убежден, что Юлия Антоновна чувствует себя тяжело оскорбленной, а оскорблять человека так же опасно, как не кормить. У нее уже был инфаркт в тридцать восьмом году, а насколько я мог заметить, два инфаркта с успехом заменяют расстрел.

Митя заерзал в своем кресле. Он и раньше не слишком верил в успех миссии Ивана Константиновича, теперь провал был предрешен. Вместо осторожной попытки что-нибудь разузнать художник шел напролом и только портил дело. С полминуты Северцев сидел молча, подбрасывая и ловя связку ключей. Затем решительно встал и позвонил. Вошла Суворова.

— Амиров у себя?

— Не знаю.

— Узнай.

После ухода Суворовой вновь наступило молчание. Северцев извлек из несгораемого шкафа какую-то бумагу и читал ее стоя, с хмурым выражением на красивом лице. Над головой секретаря висела картина, вернее, масляная копия с известной фотографии. Копия была плохая. Митя оглянулся на Ивана Константиновича, и его перепугало гневно-презрительное выражение, с которым тот разглядывал картину. Митя знал, что именно раздражает художника, но Северцев мог

понять это по-другому. Митя уже собирался толкнуть Ивана Константиновича ногой, но в это время секретарь кончил читать, спрятал бумагу обратно в шкаф и со звоном захлопнул тяжелую дверцу.

— Вот что, Иван Константинович,— сказал он, круто повернувшись к художнику и глядя ему прямо в глаза.— Я мог бы вам сказать, что Кречетову взял Большой Дом и я бессилён что-либо выяснить. Это была бы полуправда, почти правда, правда на девяносто пять процентов. Но с вами я не хочу лукавить. Кречетова арестована нашим райотделением, и я знаю, в чем ее обвиняют.

— Но не скажете?

— Скажу. Кречетова — начальница объекта ПВО. Во время недавнего налета из расположения объекта была выпущена сигнальная ракета, в результате чего объект подвергся разрушению. Это вам известно?

— Известно,— спокойно сказал художник.— То, что вам угодно называть объектом,— дом, в котором я прожил бóльшую часть своей жизни. Сидя в бомбоубежище, я, конечно, не мог видеть ракету...

— Я видел ракету,— сказал Митя.

Иван Константинович и Северцев одновременно повернулись к нему. Митя ожидал расспросов, но Северцев, как видно, раздумал и продолжал, обращаясь по-прежнему только к художнику:

— Существенная деталь: в свое время дом принадлежал лично Кречетовой. Сама Кречетова — дочь купца первой гильдии, вдова офицера царского флота, репрессированного органами НКВД. Настоящая фамилия Кречетова — Крейчке, он наполовину немец. Именоваться Кречетовыми Крейчке начали с четырнадцатого года на основании высочайшего рескрипта.

Митя почувствовал, что бледнеет. В смятении он взглянул на художника и был поражен его спокойствием.

— И только-то?

— Мало? — удивился секретарь.

— Во всяком случае — ничего нового. Когда утверждали Кречетову начальницей объекта, вы знали все это не хуже, чем сейчас, она никогда ничего не скрывала. Мне доподлинно известно, что Кречетов умер в тюрьме до окончания следствия, виновность его не до-

казана. Предки покойного Владимира Вячеславовича на протяжении двух столетий командовали кораблями русского флота; он такой же немец, как Юлия Антоновна — домовладелица...

Митя поспешил вытащить из кармана смятую «охранную грамоту».

Открылась дверь, и в кабинет легкой походкой вошел чернявый юноша в армейской шинели без петлиц и одноцветной суконной фуражке. Вошедший был невелик ростом, остролиц и горбонос, с темными усиками на короткой верхней губе. Даже перед зеркалом Мите никогда не удавалось сделать такое серьезное и волевое лицо. Юноша кивнул Северцеву и, не взглянув на посетителей, присел к столу, стоявшему в глубине кабинета и предназначенному, по-видимому, для заседаний. На столе лежали навалом метровые альбомы с фотографиями и стояли тяжеловесные игрушки из плексигласа, латуни и легированной стали. В мирное время такие игрушки одни учреждения дарили другим на торжественных заседаниях.

— А теперь по существу,— продолжал художник, убедившись, что Северцев пробежал глазами грамоту.— Неужели вы всерьез считаете Юлию Антоновну Кречетову ракетчицей?

Митя искоса взглянул на юношу. Тот сидел спокойно, со скучающим видом.

— Если даже Кречетова не участвовала прямым образом в преступлении,— холодно сказал секретарь,— она, как руководитель, ответственна за все происходящее на территории ее объекта.

— Тогда надо садиться в тюрьму и вам.

— Почему?

— Потому что объект находится на территории вашего района. Ищете стрелочника?

— Вы только не волнуйтесь,— мягко сказал Северцев.

— Как это «не волнуйтесь»? — возмутился Иван Константинович.— Обязательно буду волноваться. Меня волнует судьба Кречетовой. А вас нет?

— Меня волнует прежде всего судьба города,— возразил Северцев по-прежнему мягко, но Митя догадался, что мягкость стоит ему немалых усилий.— Не забывайте, мы находимся в чрезвычайных условиях. Лучше задержать десять невинных, чем упустить одного виновного. И если фигура Кречетовой вызывает

серьезные сомнения, трудно возразить что-либо против ее изоляции.

Митя сидел ни жив ни мертв. Он понимал, что разговор вступил в опасную фазу. Кто бы ни вспыхнул первый, результат будет один и тот же — придется встать и уйти.

К счастью, вспышки не произошло. Художник первый нашел в себе силы улыбнуться.

— Четыре тысячи лет назад, — сказал он, — в кодексе ассирийского царя Хаммураби впервые было записано, что всякое сомнение судей должно быть обращено в пользу обвиняемого. Обидно расставаться с этим завоеванием человеческой мысли.

Северцев вдруг звонко захохотал, и у Мити разом отлегло от сердца. Он не совсем понимал, что рассмешило секретаря, но был благодарен ему за этот смех, разрушавший отчужденность. Затем оглянулся на юношу в шинели. Тот сидел по-прежнему серьезный и с сосредоточенным видом рассматривал стоявшее на столе сооружение из стальных колец и шестеренок. От легкого прикосновения пальца стальная карусель начинала вращаться сразу в нескольких плоскостях, и юноше нравилось приводить ее в движение, но, даже играя, он сохранял на лице выражение непреклонной воли.

Загудел телефон. Северцев взял трубку. Пока шел разговор, Митя еще раз поглядел на юношу в шинели и удивился вниманию, с каким тот ловил каждое слово. Вдруг он встал, подошел своей крылатой походкой к столу секретаря, взял «охранную грамоту» и стоя углубился в чтение. На минуту в кабинете установилась полная тишина, нарушаемая только скрежетом мембраны.

— Нет, не отказываюсь, — негромко сказал Северцев. — Но прошу письменного указания. Нет, в данном случае не на формальную. На партийную. Привет. — Он положил трубку, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы вспомнить, на чем оборвался разговор. Вспомнив, он улыбнулся художнику и широким жестом протянул руку юноше.

— Очень хорошо, что ты зашел, Степан. Дело в том, что товарищ Туровцев, — таким же широким жестом он представил Митю, — видел ракету.

Степан вяло кивнул. С некоторой натяжкой это можно было рассматривать как приветствие.

— Откуда вы ее видели?

— С верхней палубы корабля,— ответил Митя, несколько уязвленный. Таким тоном, куда ни шло, мог говорить старший, но не сверстник.

— Какого еще корабля?

— Подводной лодки.

— Что стоит против дома?

— Да.

— А!

Он дочитал «грамоту» до конца и пожал плечами. Затем вновь и уже с бóльшим интересом посмотрел на Митю.

— Ракета вылетела с территории объекта?

Митя задумался.

— Не знаю.

— Что значит «не знаю»?

— Это значит, что я не видел, откуда она вылетела. Сигнальные ракеты не трассируют.

— Кто же видел?

— Не знаю. Тот, кто выпускал.

— И через сколько времени появился самолет?

— Одновременно.

— Как одновременно?

— Так, одновременно.

— Но тогда самолет не мог быть привлечен ракетой?

Митя начал злиться.

— Если не мог,— значит, не был.

— Вы это категорически заявляете? — спросил Степан. Голос его угрожал.

— Я ничего не заявляю. Я отвечаю на вопрос.

— Нет, вы именно заявляете. Заявляете с целью повлиять на ход следствия. Почему я должен вам верить? Кто вы вообще такой?

— Кто я такой? — переспросил Митя. От злости он мгновенно охрип.— Я тот человек, который сбил этот самый самолет.

Это было нескромно, но к месту. Амиров несколько опешил.

— Э, послушай,— сказал он, от растерянности переходя на «ты»,— подумай сам, своей головой, какой тогда смысл в этой ракете?

Митя промолчал. Но тут неожиданно пришел на помощь Северцев.

— Знаешь что, Степа,— сказал он, безмятежно по-

хохатывая.— А почему, собственно, товарищ должен ломать над этим голову? Это уж, так сказать, твоя забота...

Опять наступило томительное молчание. Северцев поглядел на часы и крикнул, как от боли.

— Ну что ж, будем, как это принято теперь говорить, закругляться. Я попрошу вас пройти в приемную, а мы с товарищем Амировым еще немножко посоветуемся.— Он вышел из-за стола и потряс руку художнику.— Чай пить надо, это вы правильно,— сказал он, вздыхая.

Прощаясь с Митей, он приложил левую руку к груди — это была дань уважения к Митиным заслугам и одновременно просьба извинить, что к нему не было проявлено должного внимания.

Совещание за закрытой дверью затянулось. Истомившиеся посетители смотрели на художника и Митю с тоской и ненавистью. Наконец дверь открылась, и оттуда выскочил разъяренный Амиров. «Пошли», — бросил он на ходу, и Митя с художником опрометью кинулись вслед за ним. По ампирной лестнице Амиров летел птицей, и художник в своей тяжелой дохе поспевал с трудом. При выходе из здания произошла задержка — милиционер не выпускал Ивана Константиновича без отметки на пропуске. Почему-то это пустяковое обстоятельство окончательно взорвало Амирова.

— Где же ты раньше был, отец? — рявкнул он, сверкнув глазами.— Сколько лет живешь, помирать пора, а партбилет с собой носить не научился!

Он выхватил у Мити бумажный квадратик и, прыгая через две ступеньки, взлетел по лестнице. Митя робко взглянул на художника и встретил взгляд, полный такого откровенного ехидства, что поспешил вернуться.

Через минуту прискакал Амиров с пропуском, и все трое вышли на улицу. На ближайшем углу Амиров командовал остановиться и ждать, а сам нырнул в узкий переулок и исчез в подъезде с вывеской райотдела милиции.

Прошло около часа. Порывами налетал холодный ветер, несший крохотные льдинки, больно царапавшие лицо. И художник и Митя молчали, не желая выдавать другому растущего беспокойства. Они поочередно поглядывали на подъезд — из переулочка как-то особенно

дуло — и сразу же отворачивались. Амиров не показывался, и Митя уже подумывал, не зайти ли в милицию, как вдруг увидел Юлию Антоновну. Она шла, такая как всегда, с противогазом на боку и повязкой на рукаве, строго поблескивая стеклышками пенсне. Подойдя вплотную, она схватила Митю и художника за локти и силой потащила вперед. Только на следующем перекрестке она остановилась и молча уткнулась лицом в грудь художника.

— Балда, мальчишка, — сказала она, плача и смеясь. — Взял у меня подписку о невыезде. Интересно, куда это я могу выехать?

После некоторого колебания она поцеловала Митю.

К дому подходили изможденные, но счастливые. Под аркой их встретила заплаканная Асият. Увидев Юлию Антоновну, она не удивилась и не обрадовалась.

— Идите скорее.

— А что?

— Петрович кончается.

Кречетова ахнула и побежала.

Старый матрос лежал на своем обычном месте — на плите. К плите был приставлен вплотную кухонный стол, и первое, что увидел Митя, были иссохшие белые ступни с крупными желтыми ногтями, стоявшие торчмя на выскобленной, как палуба, доске. Старик был обряжен в белую подкрахмаленную рубаху, на смятой груди чернели полосатые георгиевские ленточки. Лицо умирающего было перекошено и неподвижно, только глаза жили. Доктор Гриша сидел на табуретке и считал пульс.

Юлия Антоновна подошла к плите и нагнулась.

— Петрович! — шепнула она. — Ты меня слышишь?

Искривленный рот Петровича остался неподвижным. Он уже не мог ни улыбаться, ни говорить. Только выцветшие глаза на секунду вспыхнули — так вспыхивает вольфрамовая нить в перегорающей лампочке — и сразу померкли.

— Узнал, — сказала Юлия Антоновна.

Она хотела сказать еще что-то, но силы оставили ее, и она грохнулась на холодный пол прежде, чем Митя и доктор успели ее подхватить.

Глава двадцать восьмая

Под подушкой Туровцев нашел укутанный в тряпье котелок — это был обед, суп и второе, все вместе. Он выпил тепловатую жижу, а оставшуюся на дне клейкую массу отдал художнику. Об Юлии Антоновне можно было не заботиться — карточки умерших не отбирались, и до конца месяца ей была обеспечена двойная норма.

Затем он лег. На дворе было совсем светло, но в кабинете стоял корабельный полумрак, оба окна были наглухо заколочены, и только в одну из форточек вставлено стекло размером в обычный иллюминатор. Вскоре его охватила свинцовая дрема, сквозь нее пробивались отдельные звуки — в коридоре плакали соседки, на дворе кто-то сильно и звонко бил молотком по железу, — но эти звуки застревали где-то на подходе к глубинам сознания и не складывались в общую картину. Он совсем потерял представление о времени и очнулся в поту, с ощущением, что лежит на мокрых от пара рельсах, а над ним висит пылящая и слепящая глаза громада паровоза. В испуге он открыл глаза и увидел доктора Гришу. В одной руке доктор держал фонарь, другой расстегивал санитарную сумку.

— Перевязка!

Митя замычал.

— Не говори глупостей, — рассердился Гриша. — Перевязка — пустяки, ты и не заметишь. Зато будешь иметь сводку последних известий.

Пришлось подчиниться.

— Твоя популярность растет с каждым часом, — докладывал Гриша, сматывая сбившуюся повязку. — Почему-то все убеждены, что именно ты вызволил Юлию.

— Чепуха...

— Откровенно говоря, я тоже так думаю. Вам здорово пофартило. А пока что мне приходится охранять твою скромность от народных манифестаций.

— Брось травить, — сказал Митя, морщась. — Что на лодке?

— До лодки дойдем в конце программы. Сенсация номер один — исчезла Люся.

— Какая Люся? — спросил Митя, холодея.

— Ну, такая чугунная бабища из карточного бюро. Геринг в юбке.

Митя яростно застонал.

— Ведь врешь, что больно.

— Не больно, а глупо.

— Что глупо?

Митя не ответил. Он размышлял: «Геринг в юбке! Хоть доктор и противник образного мышления, у него бывают довольно меткие сравнения. Несомненно, между освобождением Кречетовой и исчезновением Люси существует какая-то связь, весь вопрос — какая? Вероятно, она и донесла на Юлию, а может быть, и даже вернее всего — она-то и бахнула из ракетницы. Чудно́ устроен человек... Ведь достаточно, казалось бы, свежим, незамутненным оком глянуть на эту зловещую харю, раз услышать, как она своим хриплым, слишком уж простецким голосом кричит через весь двор «Слышь, Кречетова!», чтобы понять, что под платочком активистки и свойскими манерами прячется существо жестокое и липкое, глубоководный гад, вроде осьминога. Уж не ее ли исковерканную лютым страхом рожу я видел осенью на чердачной лестнице во время налета? Чего боялась та женщина? Что прятала за спиной? А совсем недавно — она выходила из флигеля и вздрогнула, увидев меня во дворе. Что ей было там нужно? Почему она испугалась? Я даже не задал себе этого вопроса. Почему? А потому, что сам скрывался и лгал. Когда человек врет, он всегда подозревает опасность там, где ее нет, и не видит того, что бросается в глаза...»

— А откуда известно, что она смылась?

— Только что приходили двое с ордером.

— Ну и что?

— Ничего. И след простыл.

Митя опять умолк. Он думал: «Почему осенью, когда ракетчики еще действовали вовсю, вблизи лодки не было выпущено ни одной ракеты? А теперь, когда в городе давно не слышать ни о каких ракетах, а дислокация кораблей на Неве перестала быть секретом, кому понадобился этот бессмысленный фейерверк? Неужели кто-то догадывался, что косо вылетевшая красная ракета приведет в действие машину, которая чуть не размолола среди своих колес и шестеренок сухонькую женщину в аккуратно пригнанном ватнике,

строгую женщину, которая не разрешала людям умирать?»

— На лодке все нормально,— продолжал Гриша, очень далекий от чтения мыслей, его внимание полностью занимал шов, распухший и неприятно мокнувший.— С корпусными работами покончено. Можно хоть завтра рапортовать об окончании ремонта, но есть недоделки, и командир не хочет.

— Ну, а что командир?

— Что командир? — переспросил Гриша каким-то уж очень наивным тоном.— Ничего командир.

Митя вспыхнул.

— Знаешь что? Убирайся...— Он оттолкнул руку доктора.

— Не балуй. С ума сошел?

— Не «не балуй», а дурака из меня строить нечего. Врать можешь про медицину.

— Ну ладно,— промямлил Гриша, сдаваясь.— Но ты меня не продашь, штурман?

— Я?

— Смотри, Митька. Значит, сводка такая...

Сводка была неважная. Командир наотрез отказался идти с повинной к Селянину, и тучи сгущаются. Приходил Саша Веретенников, который всегда все знает. По его словам, командование собирается перед началом кампании навести на бригаде железный порядок, а это значит, что для примера обязательно кого-нибудь раздракуют. Виктор Иванович, как будто нарочно, так и просится в учебные мишени. Кто-то уже пустил словечко «горбуновщина». Одноруков и Шершневы шуруют, дело катится, как снежный ком, история на складе обросла такими подробностями, что надо молить господ бога, чтобы все обошлось дисциплинарным взысканием и строгачом, да и то при условии полного, безоговорочного и публичного признания своих ошибок. Во главе комиссии, что смотрит бригаду, контр-адмирал из Москвы, говорят, что крут. Ему, конечно, уже доложили все свежие «чепе» по бригаде, и адмирал, разъярившись, на большом совещании работников штаба и политотдела заявил, что с субъектами вроде Горбунова пора перестать церемониться — надо дать им по рукам, и крепко дать. Комдив хочет самортизировать удар и который раз уговаривает командира каяться...

— Стоп! — сказал Митя, прервав плавное течение сводки. — Каяться, каяться... В чем каяться?

— Якись-то завиральни идеи, — сказал Гриша почему-то по-украински.

— Бреешь.

— Ей-богу. Деморализация, дезориентация... И еще: разлагал командный состав.

— Это кого же?

— Тебя, наверно. Меня, Федора...

— Ну и как мы — разложились?

Доктор пожал плечами:

— Это ты спроси у Однорукова.

— Теперь последний вопрос: почему ты мне все это говоришь по секрету?

Он тревожно ждал ответа, заранее разъяря себя на случай, если б пришлось услышать нечто обидное. Но доктор как будто не слышал вопроса. Он наклеивал пластырь.

— Ну вот. Ты еще никогда не был таким красивым. Разрешаю тебе пойти на лодку. На полчаса. А сразу после ужина получишь ноль три люминала — и на боковую.

Несмотря на запрет доктора, Митя проторчал на лодке вплоть до ужина. Везде — в отсеках и на верхней палубе — он нашел беспорядок, от которого три месяца назад пришел бы в уныние, но теперь у него был наметанный глаз, и видимость разгрома не мешала ему угадывать завтрашний день лодки, когда она приберется, почистится, покрасится и разом, как по волшебству, превратится из Золушки в принцессу. Он не спеша обошел ее всю, от носа до кормы, наслаждаясь знакомыми шорохами и запахами, суровым уютом жилых отсеков и особой атмосферой центрального поста, где машина кажется одухотворенной, а мысль приобретает почти физическую плотность. Появление штурмана было замечено всеми, и Митя не мог пожаловаться на прием. Он ловил на себе восхищенные взгляды молодых краснофлотцев и почтительные — старшин. И все же настроение лейтенанта Туровцева не только не поднялось, оно падало катастрофически, причем без всяких внешних поводов, если не считать некоторой холодности Зайцева. И Горбунов, и механик, и доктор вели себя, как всегда, даже приветливее, чем можно было ожидать, но — Митя видел это так же ясно, как если б перед ним был

глазок индикатора, — контакт был нарушен, цепь разорвана.

Возвращаясь с лодки, он встретил Тамару. Она стояла в очереди к кипяtilьнику и разговаривала с Антониной Афанасьевной Козюриной. Еще недавно, встречаясь на людях с Тамарой, Митя убыстрял шаг и, сделав озабоченное лицо, рассеянно кивал, кивок получался смазанным и выглядел как общий поклон. На этот раз он подошел прямо к Тамаре и, испытывая странное облегчение, заговорил с ней при всех, при этом он нарочно несколько раз сказал ей «ты». Тамара держалась спокойно и дружелюбно, она уже знала о Митиных подвигах и даже поздравила его, но как-то так, что Митя понял: будь этих подвигов в десять раз больше, все они, вместе взятые, не создают ему никаких прав, и все то, что было так щедро, радостно и беззаветно отдано ничем не примечательному лейтенанту в испачканном кителе, нынешнему лейтенанту Туровцеву будет нелегко — а может быть, и невозможно — завоевать вновь.

Доктор настоял на своем, после ужина пришлось принять снотворное. Оно оказало действие совершенно обратное, так что Митя усомнился — не перепутал ли лекарь таблетки. Туровцева недаром дразнили Спящей, он умел засыпать мгновенно и не просыпался даже от артиллерийской стрельбы. Сегодня все ходили кругом на мягких лапках, а сам герой лежал укрытый с головой одеялом, сжимая кулаки и челюсти, дрожа не столько от холода, сколько от непонятного, не находившего себе выхода возбуждения. Он слышал каждый шаг, каждое движение: вот Горбунов шелестит страницами — это книга, тетрадка шелестит иначе; доктор Гриша тихонько звякает ампулами, пересчитывает свои богатства; Ждановского и Зайцева почти не слышать — они чертят. Лучше бы шумели — их молчание мешает спать.

Пискнула дверь, звякнула крышка чайника: пришел художник, принес кипяток. Камина уже нет, но обряд вечернего чаепития сохранился и перекочевал. Сначала пьют молча, сосредоточенно хлюпая. Затем Горбунов спрашивает:

— Так как же, Иван Константинович, каяться?

Митя ясно представляет себе усмешку командира, добродушную, но с оттенком коварства; кажется, что

он не столько спрашивает, сколько испытывает собеседника.

— Мне трудно судить о ваших военных делах,— сдержанно говорит художник.

— Даю вводную: мой конкретный случай исключается. В принципе?

— А в принципе — мне противно покаяние, и я редко доверяю кающемуся. Покаяние сродни лести — оно диктуется страхом или корыстью. Сильные каются, чтоб не платить по счетам, слабые — чтоб задобрить силу зрелищем своего унижения. Люди, видя кающегося на коленях, в дурацком колпаке, ощущают превосходство почти божественное и оттого добреют.

— Вот тут-то и надо пользоваться,— с недобрый смешком сказал Зайцев.

Художник тихонько рассмеялся:

— Чувство вины и чувство благодарности — самые высокие человеческие чувства, они присущи только людям. Приписывая их собаке, которая виляет хвостом, мы совершаем древнейшую из ошибок. Каяться, не чувствуя вины, и благодарить, не чувствуя признательности,— насилие над человеческой природой, оно не проходит даром. Настоящий человек, зная за собой вину, не кается. Он просит прощения.

— Не понимаю различия,— буркнул доктор.

— А я понимаю,— быстро сказал командир.— Каются, когда трусят. Чтоб попросить прощения, нужно мужество.

Кто-то тихонько постучал,— вероятно, Юлия Антоновна,— и художник, извинившись, вышел.

Митя чувствовал себя прескверно. На секунду ему показалось, что разговор затеян специально для него, и даже ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Но только на секунду. Никто не сомневался, что штурман спит как убитый, и, вероятнее всего, никто даже не думал о нем.

— Он прав,— заговорил Горбунов после долгого молчания.— Я не чувствую за собой вины. То есть я виноват, конечно, в этой дурацкой истории, когда меня занесло, и с легким сердцем приму положенное. Но ведь от меня требуют не этого. Катерина Ивановна слышать не может о Борисе, она не понимает, что Борис меня любит и по-своему хочет добра. И, между нами говоря, у него есть один очень веский довод.

— Какой? (Голос Зайцева.)

— «Будешь упрямитесь — снимут, отстранят от командования».

— Не так глупо, — проворчал Ждановский.

— То-то и оно. Вопрос не шкурный. Лодка — мое детище, и не грех покривить душой, чтоб не оказаться вне игры. Борис говорит: необязательно признавать все — признай что-нибудь...

— Ну, что ты решил? (Зайцев.)

— Он меня почти уговорил. А сейчас я думаю, что мне не выдержать этой процедуры. Я боюсь вывихнуть в себе какой-то очень важный сустав, разболтать какой-то шарнир, который потом уж не вправишь и не починишь. И тогда все равно надо уходить. Я не смогу командовать.

Опять наступило молчание.

— Так что же ты решил? — спросил Ждановский.

— У меня еще есть время, — ответил Горбунов, зевая. — Вы сходили бы на лодку, доктор...

Доктор долго возился, наконец ушел. Туровцеву подумалось, что командир услал Гришу, чтоб сказать нечто, не предназначенное для ушей младших членов кают-компаний. Если это предположение было хотя бы наполовину верным, дальнейшее притворство превращалось в самое вульгарное подслушивание. Вдруг Горбунов скажет, как тогда на лодке: «Бросьте валять дурака, штурман, вы же не спите»? Эта мысль до того перепугала Митю, что он рывком сбросил с головы одеяло и сел. Почему-то он ожидал увидеть яркий свет и был удивлен — горела коптилка. Бродившие по комнате сквознячки колебали пламя. Капитан первого ранга Кречетов смотрел на лейтенанта Туровцева, как Жанна д'Арк на французского короля: я есть, а тебя нет...

— Что вам приснилось, штурман? — услышал он голос Горбунова.

Митя не ответил. Он торопливо одевался. В передней было темно, только под кухонной дверью лежала узенькая линейка света. За дверью шел тихий разговор — Митя узнал голоса художника и Кречетовой. Он не решился войти и, потоптавшись в темноте, вернулся обратно в кабинет.

— Воды нет, — сказал Горбунов, не поднимая глаз от книги. — Чаю хотите?

Митя опять не ответил. В горле стоял комок

— А не хотите — тогда ложитесь. Не разгуливайте сон. Завтра я подниму вас в шесть ноль-ноль, как простого смертного.

— Виктор Иванович, — сказал Митя, — можете вы мне уделить минуту? — Он произнес эти слова, еще не придумав, что будет говорить дальше, а сказав, понял, что ступил на путь, сворачивать с которого поздно и некуда. И обрадовался этому.

Горбунов поднял глаза и слабо усмехнулся. Митю поразило выражение — бесконечной усталости.

— Срочно, лично?

— Да.

— И, конечно, секретно?

— Да. А впрочем, нет. («Пусть так, даже лучше», — подумал Митя.)

Ждановский сидел не шевелясь. Зайцев встал и начал застегиваться.

— Куда? — удивился Горбунов.

— Домой.

— С ума сошел, хромой черт. Сиди.

— Нет, мне надо. До завтра, ладно?

— Смотри сам, — сказал Горбунов и повернулся к Мите: — Я слушаю, штурман.

— Виктор Иванович, — произнес Митя, запинаясь. Не от нерешительности, а оттого, что ему очень мешал Зайцев: было непонятно, уходит он или остается. И чтобы больше не запинаться, выпалил: — Простите меня, Виктор Иванович.

Стало совсем тихо. Даже Зайцев, взявшийся было за дверную ручку, не трогался с места.

— За что? — мягко спросил Горбунов.

— За то, что... — Митя опять запнулся, слова не шли. Он сделал усилие и договорил: — За то, что я мог о вас плохо думать.

Горбунов усмехнулся. Усмешка говорила: «И только?»

— Нет, не только, — заторопился Митя. — Я... я плохо говорил о вас, Виктор Иванович. Комдиву. И не только комдиву. Я сам не понимаю, как это случилось. Если бы в глаза — другое дело. А за глаза — это подлость, я знаю. Подлость, — повторил он упавшим голосом, чувствуя, что не сказал и сотой доли того, что хотел; ему хотелось рассказать Горбунову все, чем он жил последнюю неделю: тоску, мучительные сомнения, зависть, ревность... Может быть, с глазу на глаз, да

еще приняв окрыляющую дозу какой-нибудь смеси, он сумел бы сказать больше, и командир понял бы. Но настороженное молчание механика и строителя сковывало, лишало языка.

— Всё? — глухо спросил Горбунов.

— Всё, — подтвердил Митя. Он знал, что это не все, но главное было сказано, мосты сожжены. В ожидании приговора он не отрываясь смотрел на колеблемое сквозняком коптящее пламя.

— Ну что ж, — сказал командир. — Я знал.

Это было так неожиданно, что Митя нашел в себе смелость оторваться от коптилки и заглянуть в глаза Горбунову. И не увидел ни торжества, ни насмешки. Только усталость.

— Знали? — переспросил он и тут же вспомнил, что Горбунов этого терпеть не может.

— Так точно, знал.

— И не сказали?

— Зачем же? Я ждал, что вы сами скажете.

— Вы думали — скажу?

Горбунов слабо улыбнулся и сделал неопределенный жест.

— Спасибо, — прошептал Митя.

— Ну что ж, хорошо, — заключил Горбунов. — Инцидент исчерпан. Мир. Как, коллегия?

Механик кивнул. Строитель не ответил и, нахлобучив на голову картуз, вышел.

— Инцидент исчерпан, — повторил Горбунов. — Я рад. Сказать по совести, я тоже кое в чем грешен перед вами. Об этом потом, в другой раз, — поспешно добавил он, и щека его дернулась. — Подите покурите, и будем укладываться.

Митя кивнул, но не двинулся. Примирение произошло, но ему не хватало заключительного разрешающего аккорда, например рукопожатия. Нет, к Горбунову не могло быть никаких претензий, он принял Митину исповедь сдержанно, но без всякого яда, с неожиданным, берущим за сердце выражением усталости и доброты.

От первой затяжки на свежем воздухе у Мити сильно и сладко закружилась голова. На дворе было непривычно светло и гуляла поземка, как на Набережной. Проходя мимо развалин, Митя отвернулся, чтоб не видеть каминной трубы, это зрелище вызывало у него содрогание. Под аркой светилась «летучая мышь»,

а рядом с остывшим кипятильником приютился утлый плотницкий верстачок, Туляков строгал, Серафим Васильевич Козюрин сколачивал доски, длинный тонкий гвоздь входил в дерево с одного удара. Во рту у него тоже были гвозди, поэтому он только кивнул Мите, но Туляков, завидя штурмана, отложил фуганок и вытер рукавом бушлата потный лоб.

— Поглядите-ка, товарищ лейтенант.

Рядом с верстаком вплотную к стене стояло нечто черное, зеркально-блестящее. Вглядевшись, Митя ахнул:

— Варвар вы, Лаврентий Ефимыч.

— Так точно, варвар, товарищ лейтенант,— сокрушенно сказал Туляков.— Вандализм высшей марки. Мы с боцманом нонче лазили на этаж, смотрели: там, видите ли, внутри корпуса имеется чугунная рама, на нее-то и крепятся эти самые струны. Рама — в куски. По идее, конечно, раму можно сварить, и даже она чистенько сварится, но сказать вам откровенно — музыки прежней уже не будет. Я в таком разрезе доложил Ивану Константиновичу, и вышла от него резолюция: пожертвовать это самое дело матросу на домовину. Ничего, товарищ лейтенант,— добавил он, заметив, что Митя огорчен,— человек дороже стоит, а вон сколько его зазря пропадает. Людей нестерпимо жалко...

Выйдя за ворота, Туровцев сразу же свернул вправо, там начиналась знакомая, своя хоженная тропинка, и можно было не торопясь, наедине с собой обдумать события последних дней и подвести некоторые итоги.

— Во-первых,— сказал он вслух, еще не зная, будет ли «во-вторых».— Братцы ленинградцы, что же во-первых? Во-первых, хорошо, что поговорил с командиром. Конечно, это нельзя назвать разговором по душам, но самое трудное сделано. Да, именно самое трудное, не помню ничего, что было труднее. Интересно, что значит «я тоже кое в чем виноват»? В чем? В том, что сам заставил меня лгать?

...«Во-вторых — я потерял Тамару. Даже страшно подумать, что это навсегда. Неужели навсегда? Неужели все, что было,— стерто, перечеркнуто? Неужели поздно и теперь уже ничего не изменишь? Какое ужасное слово «поздно». Прав художник, что это самое страшное слово, даже более страшное, чем «никогда»...

...«А в-третьих, лейтенант Туровцев, вы неплохо усвоили уроки вашего нового друга. О чем вы сейчас думаете? О ваших отношениях с командиром корабля, о ваших отношениях с бывшей любовницей, вы беспокоитесь только о своем душевном покое и ни чуточки не думаете о них самих, а о них, ей-же-ей, стоит подумать, потому что, если отбросить зуд в тех клеточках организма, где у вас помещается совесть, им гораздо хуже, чем вам. А вы вместо того, чтобы помочь *им* в беде, как это делают художник, Юлия, Туляков, механик и другие настоящие люди, ждете, чтоб *они* помогли вам обрести внутреннее равновесие...»

Со стороны Ладоги подул резкий ветер, и Митя повернул назад.

...«Ну, хорошо. Что я могу?»

...«То есть как это — что? Ты обязан пойти и сказать...»

...«Хорошо, я пойду. Куда? К кому? Не к Однорукову же? К комдиву? Или, может быть, — к комиссару?»

Митя вспомнил спокойные серые глаза Агронома, его глуховатый тенорок и крепкое пожатие изувеченных пальцев.

«Как я мог о нем забыть?»

Он убыстрил шаги и, только миновав Литейный, вспомнил, что ушел не спросившись. Возвращаться не хотелось, да и времени оставалось в обрез — близился комендантский час.

«Онега» показалась Туровцеву странно притихшей. Коридоры пусты, линолеум влажен, как после утренней приборки, у всех несущих корабельный наряд блестят не только пряжки и пуговицы, но даже носы. В надстройке та же картина: сияние медных ручек и больничная тишина. Митя толкнулся в каюту комиссара и увидел Митрохина. Вестовой был одет в первый срок, выбрит, запудрен. При появлении лейтенанта он вытянулся.

— Где батальонный комиссар?

— Батальонный комиссар на Биржевой, отдыхает, — отрапортовал Митрохин и, видя, что лейтенант недоумевает, пояснил: — После операции.

Митя хотел спросить, после какой операции, но тут же вспомнил разговор Ивлева с Холщевниковым, и досада сменилась восхищением: «Вот чертов Агроном, сказал, будто невзначай, что пойдет с нами в море, —

и ведь пойдет». Следующая мысль была: «Он-то пойдет, а вот пойдет ли Виктор Иванович? Неужели его могут отстранить только потому, что он назвал подлеца подлецом и увез без оформления полтонны ржавевшего на складе металлического лома?»

— А где комдив?

— Наверно, во флагманской,— сказал Митрохин, почему-то шепотом.

Дверь во флагманскую была слегка приоткрыта. Митя постучал. Не получив ответа, постучал еще раз, сильнее.

— Да! — раздался из-за двери властный голос.— Да, да, войдите!

От нерешительности Митя промедлил, и гром разразился:

— Да входите же, черт подери!..

Мите почудился голос Холщевникова. Войдя, он обомлел. Прямо против двери сидел в кресле грузный человек в расстегнутом кителе с контр-адмиральскими нашивками на рукавах, но не Холщевников и даже несколько не похожий на Холщевникова. Человек был цыгански черен, в особенности черны были брови, очень густые и широкие. Лицо у адмирала было полное, свежее, без морщин, старила его только странная посадка головы — голова сидела на короткой шее не прямо, а с некоторым креном вправо и слегка закидывалась назад. Глаза адмирала сверкали. Митя невольно попятился.

— Нет уж, входите, коли пришли,— рыкнул адмирал. Он застегнул китель, и Митя увидел старый, с облупившейся эмалью орден Красного Знамени.— Кто таков? Зачем?

Митя промямлил свою фамилию.

— Бормочете,— сердито буркнул адмирал, и лицо его исказилось.— Как?!

Туровцев повторил — уже громче — и вытянулся, ожидая разноса. Но разноса не последовало, напряженная гримаса на лице грозного начальника разгладилась и сменилась выражением искреннейшего удовольствия.

— Туровцев?! — радостно закричал он, поднимаясь навстречу.

Митя ожидал чего угодно, только не этого. От удивления он совсем онемел и только неопределенно шевелил губами.

— Ну вот, опять бормочешь,— недовольно сказал адмирал.— Штатская привычка. Моряк должен говорить отчетливо. Хотел за тобой посылать, да мне сказали, что ты ранен. Вот и верь людям. Раздевайся, будем чай пить. С московскими сушками.

Раздеваясь — нарочно очень медленно,— Митя молниеносно решал «торпедный треугольник». Сама судьба посылала ему адмирала. Несомненно, это был тот самый контр-адмирал, от которого зависело решение по делу Горбунова. Столь же несомненным было доброе расположение адмирала к скромному лейтенанту. Насчет причины этого расположения Митя не обольщался — все тот же нечаянно сбитый самолет, о котором, как видно, уже протрубили на весь флот.

— Как здоровье молодецкое? — спросил адмирал, когда Митя, повесив шинель на крюк и кое-как пригладив волосы, подошел поближе.

— Спасибо.

— А? — рявкнул адмирал с исказившимся лицом.

— Благодарю, здоров, товарищ контр-адмирал,— испуганно крикнул Митя.

— Ну вот так-то,— довольным голосом сказал адмирал.— На других я ору, но тебе, так и быть, открою секрет: гаркать не надо, говори отчетливо и не заходи слева. Понял? Садись.— И, видя, что Туровцев медлит, прикрикнул: — Ну что стоишь как деревянный? Адмирала никогда не видел?

Митя действительно видел в своей жизни не много адмиралов, но в эту минуту он меньше всего думал о субординации. Его сковывало безотчетное убеждение, что если он сейчас на правах гостя сядет в мягкое кресло, то это будет очередной ложью, из которой будет мучительно трудно выпутываться.

— Товарищ контр-адмирал,— сказал он громко,— разрешите обратиться?

Адмирал нахмурился.

— Служебное?

— Так точно.

— Ну вот чаю попьем, и расскажешь.

— Товарищ контр-адмирал...— взмолился Митя.

Адмирал смотрел на него, склонив набок голову и зажмурив один глаз.

— Сию минуту?

— Так точно.

— Почему такая спешка?

— А потому что, когда я доложу... вы, может быть, не захотите со мной чай пить.

Адмирал нахмурился.

— Ты, кажется, с Горбуновым служишь?

— Помощник.

— Так. Жаловаться пришел?

Митя уловил в тоне адмирала пренебрежительную нотку и обрадовался ей.

— Никак нет. Я пришел сказать, что Виктор Иванович Горбунов замечательный командир и что я...— Митя запнулся, но, угадав по лицу адмирала, что он сейчас рявкнет: «Бормочешь!», громко закончил: — И что я очень виноват перед ним.

Адмирал стоял по-прежнему и хмурился:

— Сознавайся: он тебя послал?

Это предположение так ошеломило Митю, что адмирал заметил и смягчился.

— Можешь не отвечать,— сказал он.— А ты знаешь, что против твоего Горбунова выдвинуты серьезные обвинения?

— Так точно, знаю.

— Откуда?

Митя промолчал. При этом он старался не шевелить губами, чтоб адмирал не подумал, что он бормочет. Адмирал тоже молчал и хмурился. Затем сказал:

— А ну садись.

Это уже было приказание, и Митя присел к круглому чайному столу. Адмирал подошел к письменному и, разбросав толстую кипу бумаг, извлек из нее две тоненькие, одинаковые по виду сшивки. Одну из них он перебросил Мите.

— Читай!

Митя сразу узнал машинку Люлько. А прочитав первую страницу, угадал и автора. Он нарочно заставлял себя читать медленно, то и дело возвращаясь назад, перечитывая отдельные фразы так, как если бы они были написаны на малознакомом иностранном языке, холодея от бешенства и ощущения полной беззащитности.

В том, что писал Одноруков, не было ни слова прямой лжи, а в то же время это была самая злая неправда. Единственный бесспорный проступок Горбунова был, к удивлению Мити, заметно смягчен. Виктор Иванович оскорбил военинженера Селянина при исполнении служебных обязанностей — это был тяжкий про-

ступок, которого не отрицал и сам Горбунов. В заключении почему-то об этом не было ни слова, таким образом инцидент сводился к самовольному вывозу материалов без соответствующего оформления, что, на Митин взгляд, значительно облегчало дело. Но при этом к основному обвинению был подверстан такой гарнир, что у Мити потемнело в глазах. Одноруков из кожи лез, чтобы доказать глубинную связь между проступком Горбунова и его мировоззрением, поэтому тут было все: и потеря бдительности (Соловцов! Зайцев!), и отсутствие воспитательной работы (драка! хищение продуктов!), и недостойная самореклама (радио!), и разложение командного состава. Даже невинной игре в гуронов был придан какой-то опасный оттенок.

Особое место в заключении занимало изложение взглядов капитан-лейтенанта Горбунова, в коих зловещим образом соединялось неверие в близкую победу и бесплодное прожектерство, преувеличение минной опасности с ее недооценкой, неумеренное восхваление традиций старого русского флота с отсутствием патриотической гордости.

Наиболее искусно был составлен третий раздел, посвященный морально-бытовому облику командира «двести второй». Не располагая никакими фактическими данными, составитель тем не менее сумел путем намеков и коварных недомолвок изобразить Виктора Ивановича Горбунова порядочным кутилой и донжуаном. Сначала глухо и в сравнительно мягких тонах говорилось об отдельных фактах распития на лодке алкогольных напитков, затем следовал резкий демарш в сферу интимную. Здесь составитель, придерживавшийся вначале суховатой ведомственной терминологии, обнаружил пыл и даже поэтический пафос. Выходило, что сразу после трагической гибели жены командир на глазах у всей команды завел на берегу сомнительную в своей этической основе интрижку, приведшую к нездоровому сращиванию экипажа с гражданским населением. И хотя нигде не было сказано, что Горбунов нарочно привел корабль под окна своей милой, а это, в свою очередь, повлекло тяжкие последствия и смерть лейтенанта Каюрова, обстоятельства перехода «двести второй» на отдельную стоянку были изложены с таким дьявольским умением, что при беглом чтении (самый распространенный способ!) могло показаться, будто дело и впрямь нечисто. А при этом —

ни слова о Горбунове как об инициаторе «обращения», ни слова о самом ремонте, о преодоленных трудностях и достигнутых успехах. По всей вероятности, составитель считал, что указывать на это было бы проявлением буржуазного объективизма и потерей той остроты, боевитости и здоровой тенденциозности, которых требовала обстановка.

Поначалу Митя был просто ошарашен, затем ему захотелось вскочить и закричать, но постепенно он успокоился и даже начал постигать секреты одноруковского творчества: к сложнейшим явлениям, требующим всестороннего и гибкого анализа, Одноруков подходил с жестким инструментом формальной логики, там же, где этот инструмент был действительно применим, привлекались на помощь все богатство и вся необузданность диалектики. Выражаясь фигурально, товарищ старший политрук измерял звездное пространство складным аршином и умножал два на два при помощи высшей математики.

Адмирал тоже читал. По временам Митя поглядывал на его низко склоненную над столом крупную голову — очень не хотелось, чтоб адмирал кончил читать раньше. Но тот читал еще медленнее Мити, водя по строчкам толстым пальцем и недовольно посапывая, — Митя дорого бы дал, чтоб узнать, к кому относится его недовольство. Дочитав до конца, адмирал перевернул последнюю страницу, вероятно, для того, чтоб поглядеть, нет ли там еще чего-нибудь, снял очки и вместе с креслом повернулся к Мите.

— Нечего сказать, хорош командир! Если мы будем поощрять партизанщину и разваливать дисциплину именно теперь, когда для нас гибельна всякая расхлябанность, мы дойдем черт знает до чего и в конце концов будем за это жестоко расплачиваться. У нас на Руси испокон веку так: куча добрых людей, которые видят, что творится безобразие, но у всех одна забота — выгораживать голубчиков вроде твоего Горбунова. Так вот, зарубите себе на носу — нам на флоте махновцы без надобности, мы будем создавать командира культурного, мыслящего, офицера, а не атамана. А за эти штуки, — он ткнул пальцем в разбросанные по столу бумаги, — будем бить, и больно бить, чтоб другим не повадно было...

Такие слова всегда имели над Туровцевым магическую власть. В особенности когда их произносили

люди, наделенные почти неограниченными правами. Еще вчера он считал бы игру проигранной. Теперь он знал: тот, кто идет напролом, не обязательно выигрывает, но тот, кто пасует, — проигрывает наверняка. Он решил стоять насмерть. Пусть выгонит, отправит под арест... Стоять насмерть сидя показалось ему неудобным, и он встал:

— Это все неправда, товарищ контр-адмирал.

Адмирал сердито отмахнулся:

— Не заступайся. Ты бы так не поступил.

Митя до сих пор и не пытался представить себе, как бы он поступил на месте Горбунова. Но представив, похолодел от бешенства.

— Я? Я бы этого подлеца...

— Осторожнее, молодой человек, — загремел адмирал, приподнимаясь в кресле. — Военинженер третьего ранга Селянин — советский офицер. Его нельзя оскорблять безнаказанно!

— А Виктор Иванович оскорбил! В глаза подлецом назвал! Почему же здесь об этом ничего не сказано?!

Митя уже не сознавал, то ли он говорит, что надо. Внешне это выглядело как донос. Оказалось — прямое попадание. Адмирал дрогнул:

— Ты это точно знаешь?

Митя кивнул.

— Странно, — сказал адмирал. — Очень странная история.

У адмирала был озадаченный вид, и Туровцев понял, что ему удалось главное — заронить сомнение в безупречности одноруковских построений.

— Товарищ контр-адмирал, — взмолился он. — У меня к вам единственная просьба...

— Ну?

— Вызовите командира. Вызовите и поговорите.

Адмирал не ответил. Он знаком усадил Митю на прежнее место, повернулся вместе с креслом к столу и вновь погрузился в чтение. Прочитав во второй раз заключение, он потянул к себе всю кипу, тяжело вздохнул и стал читать.

Время шло. Митя сидел, стараясь, чтоб адмирал на время забыл о его присутствии. Он слышал шум льющейся воды, шуршание страниц под пальцами адмирала и мечтал только об одном — чтоб кто-нибудь не вошел и не помешал. Вдруг адмирал перестал шуршать и повернулся вместе с креслом:

— А это что?

Митя вздрогнул. В руке у адмирала был знакомый листок из одноруковского блокнота, адмирал держал его за уголок двумя пальцами. Выдержать взгляд адмирала было мучительно трудно. Митя выдержал. Адмирал усмехнулся:

— Что? Дорого бы дал, чтоб вернуть?

Митя кивнул.

— Вот видишь,— сказал адмирал задумчиво.— А этого даже я не могу.

Осторожно ступая, вошел Митрохин со скатертью и, расстелив ее на круглом столе, вышел. Адмирал полистал еще бумаги, но вскоре это занятие ему надоело, он снял очки, встал и крикнул во всю силу легких:

— Кудиныч!

Чего-чего, а этого Митя не ожидал. Он был потрясен еще больше, когда звякнули кольца и из-за голубой бархатной драпировки выглянуло красное, распаренное лицо строителя.

— Ты что орешь,— сказал Зайцев самым домашним тоном, но, заметив Туровцева, поперхнулся.

— Сколько можно скрестись,— ворчливо сказал адмирал.— Иди сюда. Знакомы?

— Виделись,— сухо сказал инженер. Он выглядел забавно в роскошном, явно с адмиральского плеча, халате.

— Тоже заступник,— бросил адмирал, опять берясь за бумаги.

Зайцев промолчал.

— Ну и пишут же,— сказал адмирал сердито,— «Распространял клеветнические факты о трудностях обстановки на Балтике». Разве бывают клеветнические факты?

— Максим Ильич,— сказал Зайцев.— Вспомни, я тебя в жизни никогда ни о чем не просил. А теперь прошу. Вызови его. Вызови и поговори сам.

— Да вы что, сговорились, что ли? — Адмирал отшвырнул бумаги.— И этот тоже: вызови. Ну скажи, зачем мне его вызывать?

— А затем,— огрызнулся Зайцев,— что вы, господа большие начальники, изволите все видеть, так сказать, в меркаторовой проекции...

— При чем тут меркаторова проекция? — рассердился адмирал.— Что ты о ней знаешь? Ты знаешь вообще, что это такое?

— Не беспокойся, знаю.

— Скажи.

— Способ, при котором земной шар очень удобно раскладывается на листе бумаги.

— Ну и дальше что?

— Ничего. А Земля — она круглая.

Адмирал сверкнул глазами и хотел что-то сказать, но Зайцев тоже вспыхнул.

— А я тебе говорю: вызови! — закричал он. — Вызови и поговори. Вызови обоих. И посмотри невооруженным глазом. Не верю, чтоб ты разучился отличать человека от мерзавца.

Наступило молчание. Адмирал раздумывал.

— Ладно, вызову, — сказал он наконец. — Ничего больше не обещаю, а это обещаю.

Митя взглянул на часы и пришел в ужас. Было без четверти одиннадцать. Он вскочил.

— Куда? — удивился адмирал. — А чаю?

Но, взглядевшись в перекошенное лицо лейтенанта, решил не настаивать и протянул руку.

Только величайшая организованность и быстрота действий в соединении с мужеством и знанием дела обеспечивали успешное выполнение задачи. В один час двадцать четыре минуты был отдраен лаз в кормовую балластную цистерну, и туда спустились главные старшины Туляков и Халецкий. Они установили характер повреждения и приступили к работе. Руководство аварийными работами и сигнальной вахтой осуществлял помощник к-ра корабля Туровцев, в распоряжении коего находились также сигнальщики ст. к/ф Соловцов и к/ф Граница. Вся остальная команда находилась в готовности на своих боевых постах. В течение восемнадцати минут на лодке соблюдалась абсолютная тишина, слышен был только доносившийся из цистерны слабый металлический скрежет. В один час сорок четыре минуты привод был опробован, штурмовая группа спустилась в ЦП, и командир дал сигнал к погружению. Все механизмы действовали безупречно, и лодка легла на курс — к родным берегам.

В заключение считаю долгом отметить, что крупный боевой успех, достигнутый п. л. «М-бис-202» в самом начале кампании 1942 г., в усложнившейся минной об-

становке, стал возможен благодаря слаженным и самоотверженным действиям всего экипажа: командира корабля кап.-лейт. Горбунова В. И., инженер-капитан-лейтенанта Ждановского Ф. М., вахтенных командиров лейтенантов Туровцева Д. Д. и Саркисова Р. С., военфельдшера Марченко Г. А., главных старшин Тулякова Л. Е. и Халецкого М. И., старшин 2-й статьи Караваева П. Ф., Куроптева И. Н., Савина Ю. С., Солнцева Н. П., Фалеева Д. А., Федоренко Е. Е., краснофлотцев Абдуллаева А. Х., Глазычева С. П., Границы А. Ф., Джулая К. Ш., Звонкова М. Р., Конобеева И. В., Обрывченко Т. Д., Олешкевича И. И., Сенан А. И., Силманиса В. Я., Соловцова П. В., Филаретова А. Н., Цыганкова И. С., Шилова Н. Н., Якушева О. Я. ...

(Из донесения военкома дивизиона подводных лодок батальонного комиссара Ивлева от 11.06.1942 г.)

Как я стал маринистом



Очерк

Предлагаемый очерк — не мемуары и не автореферат. Мемуарами я займусь еще не скоро, рассказывать же читателям о том, откуда я беру сюжеты и «с кого» пишу своих героев, можно лишь будучи твердо уверенным, что читатели отлично знают все написанное мной и горят желанием проникнуть в мою лабораторию. Я не так самонадеян.

Моя задача скромнее — рассказать о событиях и людях, которые в силу различных причин произвели на меня сильное впечатление и оставили глубокий след в моем сознании. Естественно, что все они так или иначе отразились в том, что я писал и пишу. Чтобы как можно меньше отклоняться от фактов, я привлек на помощь свой военный архив. Перебирая старые газеты и фотографии, документы и блокноты, я восстанавливаю в своей памяти события, освобождая их от позднейших напластований.

По моему убеждению, очерк так относится к рассказу или повести, как документальный фильм к игровому. Документальный фильм тоже искусство, поскольку документы можно отбирать и монтировать. Но нельзя инсценировать. Инсценированный кадр выдает себя мгновенно, и фильм сразу теряет значение и как произведение искусства и как документ. Применительно к прозе это правило формулируется следующим образом: очеркист вправе рассказывать о том, что он видел

своими глазами, вправе пересказывать с чужих слов, но не должен вводить читателя в заблуждение, — во всех случаях читатель имеет право знать источник, из которого очеркист черпает свои сведения. В отличие от романиста и новеллиста очеркисту несвойственно невидимкой забираться в черепную коробку героя и подслушивать его внутренние монологи; о том, какие мысли проносились в мозгу командира подводной лодки в момент атаки, очеркист вправе поведать миру только со слов самого командира, а становясь на путь домысла, обязан добавлять словечко «вероятно» или любой из его синонимов.

Во время войны на флоте выше всего ценился очерк, написанный непосредственным свидетелем или участником боевых действий. С интересом читался очерк-интервью. И наименьшее доверие вызывали очерки, в которых было невозможно понять, где же находился очеркист во время описываемых событий и откуда ему известно, как выглядел и что чувствовал каждый из участников.

Я знаю, что со мной многие не согласятся. Есть очеркисты — и очень даровитые, — которые будут настаивать на своем праве дополнять факты вымыслом. Они будут ссылаться на специфические трудности, возникающие при изображении реально существующих и ныне здравствующих людей, будут ссылаться на классиков и поставят меня в затруднительное положение — несомненно, в «Губернских очерках» Щедрина и «Нравах Растеряевой улицы» Глеба Успенского подлинные факты сочетаются с художественным вымыслом. Все это так — жанры не разделены непроницаемыми перегородками и не существуют в химически чистом виде. И все-таки это не мешает мне пытаться определить, хотя бы для себя самого, границы жанра и не мешает мне любить очерк за присущий ему элемент здорового эмпиризма. Подчеркиваю — не ползучего, а именно здорового, того самого кажущегося эмпиризма, что в послевоенные годы выгодно отличал подлинные записки бойцов и партизан от некоторых произведений военной беллетристики.

Передо мной наклеенная на паспарту большая групповая фотография, изображающая молодых людей в летнем обмундировании с винтовками в руках. Снимок уже пожелтел. И не мудрено — дата 1928 год. Это

«рота студентов» 42-го стрелкового полка 14-й Ковровской стрелковой дивизии. Летний территориальный сбор. В центре группы наши командиры — военрук Московского университета А. А. Самойло, комбат Орлеанский, комроты Володин, комвзвода Касьянов, отделенные командиры Бабанов, Модин, Потапов, Саландин...

Остальные — мои товарищи-однокурсники. Философы, этнологи, филологи. Многих уже нет в живых. Во втором ряду — черноглазый юноша, почти мальчик. Это студент литературного отделения Залилов. Могли ли мы знать тогда, что этот малозаметный паренек станет славой советской поэзии под именем Мусы Джалиля? И как знать, не вспоминал ли Муса в Моабитском застенке Ковровский военный лагерь, ибо именно там были заложены основы воинского воспитания многих людей нашего поколения?

Снимок сделан в день расставания с полком, за шестьдесят дней мы очень сдружились — и между собой и с нашими отделенными. Со своим отделенным командиром Бабановым я впоследствии переписывался. Бабанов был душа человек, весельчак и забавник. Но даже с ним общий язык нашелся не сразу. Во всех нас крепко сидели штатские привычки, и мы не сразу освоили разницу между студенческим общежитием и красноармейским лагерем. Некоторые наши интеллектуалы, попав под начало отделенных командиров, получивших образование в полковой школе, чувствовали себя неуютно, и я помню, как всю роту лихорадило, когда один из студентов — не помню уже кто — вступил в пререкания со своим отделенным командиром Потаповым и отказался выполнить его приказание. Случай был не простой, — Потапов был мужчина грубоватый и к студентам придирался, — и только благодаря редкому педагогическому такту нашего командира роты Володина конфликт удалось разрешить не в ущерб воинской дисциплине, но и без чрезмерной суровости на первых порах.

Через год я написал свою первую пьесу «Винтовка № 492116». В пьесе рассказывалось о том, как воинская часть перевоспитала четырех беспризорников, — я действительно наблюдал нечто подобное. Но проблема борьбы с беспризорностью волновала меня далеко

не в первую очередь: главными для меня оказались проблемы воинского воспитания, а центральным конфликтом — столкновение между индивидуалистической анархией и организованным коллективом. Недаром 492116 — это номер моей собственной винтовки. И не случайно следующая моя пьеса «Трус» развивается на историческом материале все ту же тему.

26.XI — 35. Москва.

— Прочел Вашу пьесу «Трус» (опыт трагедии).

— Вам удалось по-настоящему проникнуть в ряд черт старой армии, настроения старой России. Это результат — (видимо) — серьезного изучения многих источников. И — «результат» дарования...

— Была пора, когда мне, как и многим другим из старшего поколения, — казалось, что молодежь не подхватит линии преемственности. Я лично боялся, что для молодежи, для таких, как Вы, — «выпадет» дореволюционная пора, ее люди, ее дела, ее «запахи». А ведь там, в ней, в ее истоках, — суть основного кадра людей современности, людей 35—50—60 лет. — В частности, — из солдат старой армии основной кадр руководства РККА.

— Ваша пьеса дает простое, ясное объяснение одной из линий преемственности...

Это начало письма. А вот его конец:

— Это грубо, м. б., сталкивать весь 1905 год, всю Российскую армию и одного драматурга, Крона. — Но дело наше, искусство, драматургия — таковы, что иначе нельзя. Да — вы обязаны один на один выходить против трагизма старого мира и честно, бесстрашно и полно говорить все, что видим и знаем. — Вы увидели и узнали больше, чем сказали. В этой утайке я Вас и обвиняю. Художник должен отдать все, до предела. Можете ли жить, писать так?

Нетрудно догадаться, чья подпись стоит под этим письмом. Получил я его так.

Через несколько дней после читки пьесы в Союзе писателей ко мне подошел Всеволод Вишневский —

мы были тогда незнакомы — и, не тратя времени на пустой политес, сказал тоном приказа:

— Приходите ко мне завтра. Домой. В восемь часов. Но точно, по-военному...

Раз по-военному — значит, в восемь утра. Ровно в восемь я позвонил в дверь маленькой квартирki на Кисловке. Звонить пришлось долго. Наконец послышалось шарканье домашних туфель и дверь открыл сам Всеволод, заспанный, в розовой пижаме. Он провел меня в кабинет, усадил за стол и положил передо мной несколько листков бумаги, исписанных мелким четким почерком.

— Читайте.

Пока Вишневский мылся и переодевался, я прочел письмо. Письмо было длинное и содержало не только подробный разбор моей пьесы, но и целый ряд соображений о путях советской трагедии, исторических данных и статистических сведений — по-видимому, увлеченный ходом своих мыслей, Всеволод писал его до поздней ночи.

Затем мы завтракали и разговаривали. Провожая меня, Вишневский сказал не терпящим возражений тоном: «Пьесу мы, конечно, напечатаем. Можете считать себя «знаменцем». Но услышав, что я уже дал слово журналу «Театр и драматургия», еле попрощался.

За верность данному слову я был жестоко наказан. Бывшие рапповцы, во власти которых находился тогда журнал «Театр и драматургия», не признали во мне «своего» и, заподозрив в тайных сношениях с Вишневским, не только не напечатали пьесу, но поместили о ней разгромную статью. Вишневский, в свою очередь, долго не прощал мне моего отказа. Сдружились мы только на войне.

А вот записка — рукой моего отца:

«Тебе звонили из секретариата Фриновского. Позвони по № ...»

Михаил Петрович Фриновский был короткое время наркомом Военно-Морского Флота СССР. Позвонив по указанному телефону, я узнал, что приглашен участвовать в собеседовании с военными писателями, которое состоится у наркома в два часа.

В приемной наркома я увидел Вишневского, Соболева, Лавренева, всего человек двадцать, знакомых и

незнакомых. Когда нас пригласили в кабинет, могучая фигура и громовой бас Фриновского на несколько минут отвлекли мое внимание от другого моряка, находившегося в кабинете. Но стоило тому заговорить, и я был захвачен. Этот удивительный человек разговаривал не только как моряк, но как ученый и художник, его слушали затаив дыхание, и если главной задачей нашего собеседования было привлечь литераторов к трудному, требующему специальной подготовки флотскому материалу, то она была выполнена блистательно; вскоре после собеседования был создан при Военно-политической академии имени Ленина специальный семинар, где подверглись «оморячиванию» многие московские литераторы, в том числе и я. Лекции, практические занятия и в особенности два месяца, проведенные мною летом 1940 года на кораблях Черноморского флота, оказали мне неоценимую услугу во время войны.

А моряк, умевший говорить о море как художник, на склоне лет стал хорошим писателем. Четверть века спустя я имел удовольствие присутствовать при вручении адмиралу флота Советского Союза Ивану Степановичу Исакову членского билета Союза писателей.

Благодаря школе, пройденной мною в полку под руководством комроты Володина, а затем на черноморском эсминце, которым командовал капитан-лейтенант Мельников, начальник строгий и не делавший никаких скидок проходившим практику курсантам, будь они сто раз писатели, на действующий Балтийский флот я пришел не совсем штафиркой, и это очень облегчило мне мои первые шаги.

Службу я начал в Кронштадте в должности редактора многотиражной газеты соединения подводных лодок. Газета моя называлась «Дозор», выходила через день и поначалу состояла из двух полос малого формата, заполнявшихся самым разнообразным материалом — репортажем о боевых действиях подводных лодок и заметками на бытовые темы, политическими статьями, стихами и фельетонами. Редакция и издательство газеты помещались в одной крошечной каюте на плавбазе «Иртыш», а весь штат состоял из меня и юного краснофлотца, которого звали Коля Кирпичников. Каюта вмещала в себя наборную кассу и плос-

кую печатную машину, а каждый из нас совмещал много различных профессий и обязанностей. Я был ответственным редактором, организатором материала и репортером, литправщиком и корректором, автором передовиц, обзорных статей и фельетонов; Коля — наборщиком, метранпажем, печатником, брошюровщиком и экспедитором. Помимо своих прямых обязанностей мы с Колей были «расписаны» по боевой тревоге. Коля входил в состав пулеметного расчета, а я считался политруком зенитной группы. Очень скоро выяснилось, что моя военная подготовка гораздо основательнее газетной — я был «ворошиловским стрелком» и не знал корректорских знаков, имел значок «Готов к ПВХО», но не умел сверстать полосу, — всему этому пришлось учиться на ходу. И не только этому. Понадобились стихотворные лозунги — и я начал рифмовать, а затем, обнаглев, взялся сочинять сатирический раешник. Активность противника возрастала с каждым днем, к «звездным» налетам «юнкерсов» на Кронштадтский рейд и гавань добавились артиллерийские обстрелы, газету приходилось делать в перерывах между боевыми тревогами.

Рядом с нашим «Иртышом» стоял линкор «Марат», его мощная артиллерия вела огонь по наступающим сухопутным частям противника и, в свою очередь, являлась объектом ожесточенных атак немецких пикирующих бомбардировщиков. После многих попыток, ценой немалых потерь, фашистам удалось вывести «Марат» из строя. В результате взрыва одна из четырех орудийных башен ушла под воду, другая была сильно повреждена, но уже через несколько дней к двум уцелевшим башням подвели электроэнергию с берега, и «Марат» опять заговорил.

В тот памятный день погибло много маратовцев, в том числе редактор линкоровской многотиражной газеты писатель Иоганн Зельцер. Мы знали друг друга понаслышке и познакомились за сутки до его гибели. Зельцер был опытнее меня как журналист, и мы условились, что, если не будет налета, я приду к нему на корабль поучиться уму-разуму. Он не успел стать моим другом. Впоследствии война отнимала у меня людей более близких, но смерть Зельцера произвела на меня неизгладимое впечатление, то ли

потому, что она — одна из первых в длинном ряду утрат, то ли своей будничной наглядностью: был и нет.

Прошло еще несколько месяцев, прежде чем я пришел к простой истине — когда идет война, смерть товарища больно отзывается в сердце, но не дает права ни остановиться, ни свернуть с намеченного пути. В романе я описал, как подводники празднуют корабельную годовщину через несколько часов после гибели одного из самых любимых командиров. Вероятно, кому-нибудь это покажется неправильным, а следовательно, неправдоподобным. Но так было. И даже — не могло быть иначе. Траур носят только в тылу.

А между тем стали возвращаться уходившие в боевой поход лодки. Каждый боевой успех воспринимался как событие, победителей встречали на пирсе с традиционным подношением — поросятами, вечером устраивалось чествование. В промежутке между встречей и банкетом я добывал необходимый мне для очередного номера материал, а это было совсем не просто: смертельно усталые подводники, ступив на твердую землю, меньше всего хотели рассказывать о виденном и пережитом, они хотели мыться в бане, хотели слушать любимые пластинки, хотели смеяться и говорить о пустяках.

Помню (это уже в 1942 году), каким уморительно-забавным и в то же время до слез трогательным выглядел в день своего возвращения из похода ныне прославленный, а тогда еще безвестный Евгений Яковлевич Осипов. Поход оказался на редкость удачным, Осипова авансом поздравляли со званием Героя, и он был наверху блаженства — не столько от успеха и всеобщего признания, сколько от чисто физического ощущения твердой земли под ногами. От ста граммов невиннейшего кагора он вдруг опьянел совершенно, по дощатым полам береговой базы его носило, как по палубе штормующего корабля. Я-то знал, что в этом состоянии Женя Осипов мало приспособлен для интервьюирования, но меня умолила пойти вместе с ней одна настойчивая женщина с мандатом корреспондента центральной газеты. Я пошел и не пожалел о затраченном времени. Осипов встретил нас с покоряющей любезностью, говорил моей спутнице комплименты на четырех языках, пел, хохотал, высказывался на

самые неожиданные темы и с изумительной, наполовину бессознательной ловкостью уклонялся от вопросов. Лишь когда моя спутница задавала какой-нибудь уж очень безграмотный, с точки зрения моряка, вопрос, он вдруг на мгновение трезвел, дергал себя за ухо, и, убедившись, что не ослышался, горестно охватывал свою голову обеими руками, и произносил только одно слово «матушка!», вкладывая в него массу оттенков — и удивление, и нежный укор, и мольбу о пощаде, а затем вновь погружался в свой блаженный бред. На следующий день нам удалось все-таки потолковать с Осиповым. Он еще неохотно возвращался мыслями к походу, но был точен, деловит, скромен, не наигранно скромен, как герои стандартных очерков, а так, как бывают скромны люди, уверенные в своих силах.

В моей пьесе «Офицер флота» появляется на несколько минут эпизодическая фигура молодого подводника, только что вернувшегося с позиции. Роль оказалась выигрышной, и в ней выступали многие видные актеры. Забавно, что в Художественном театре ни режиссеры, ни исполнители так и не поверили, что человек может быть пьян не столько от вина, сколько от счастья, свежего воздуха и ощущения твердой земли под ногами. И несмотря на все мои протесты, «сто грамм кагора» были заменены коньяком, а доза увеличена. Как видно, всякое перевоплощение в образ имеет свои границы.

Трудно объяснить, почему одни люди запоминаются больше, а другие меньше, почему события более яркие зачастую стираются в памяти, а какой-то на первый взгляд малозначительный факт заставляет надолго задуматься и запечатлевается на долгие годы. Я теперь уже с трудом вспоминаю Иванцова и Кульбакина, первых вернувшихся с победой командиров лодок. А погибший в самом начале кампании Ныров и сейчас стоит перед глазами как живой. Небольшого роста, худощавый, с рыжеватыми усиками на землистом лице, он поразил меня изящной свободой поведения, медленной улыбкой, которая вспыхивала не сразу, а как бы включалась через реостат, негромкой и неторопливой речью много и настойчиво размышляющего человека. Как-то мы разговорились, и я впервые столкнулся с множеством проблем, о которых до той поры не задумывался и по отсутствию времени, и по-крайнему своему

невежеству в вопросах подводной войны. Ныров погиб при выполнении опасного разведывательного задания, но во мне живет непоколебимое убеждение, что в этом человеке таились незаурядные возможности. Смелость мысли — качество более редкое, чем обыкновенная храбрость. Впрочем, не такая уж редкость — среди моряков было много смело, оригинально думающих людей. Но для того чтобы стать их собеседником, недостаточно войти в круг их интересов, надо было еще завоевать доверие. Это пришло не сразу.

В октябре 1941 года значительная часть кораблей Балтийского флота, в том числе почти все подводные лодки со своими плавбазами, была дислоцирована в Ленинграде и стояла на приколе у невских набережных. В ноябре пришла из боевого похода последняя подводная лодка. Кампания закончилась, и на смену бурному темпу, в котором мы прожили летние месяцы, пришли не менее напряженные, но замедленные по своим ритмам дни блокадной зимы. Прежде чем стала Нева, было уже ясно, что в будущей кампании наибольшие шансы у подводных лодок и катеров, роль крупных надводных кораблей временно ограничивалась батарейной борьбой. Столь же ясно было, что ленинградские судостроительные заводы лишь в незначительной степени могут быть использованы для зимнего ремонта кораблей.

О ленинградской блокаде написано много книг, опубликовано много подлинных документов, и в мою задачу не входит рассказывать о жизни населения осажденного города. Скажу только, что военные моряки не были «сеттльментом». Конечно, они меньше страдали от холода, и нормы питания у них были выше, чем у рабочих и служащих. И все-таки к весне у меня и у многих моих товарищей по флоту наблюдались признаки самой настоящей дистрофии: отечность, кровотечение из десен и несворачиваемость крови (царапины не заживали по неделям), сухость и шелушение кожи, высыхание серозной жидкости в коленных суставах, что очень затрудняло ходьбу, я не говорю уже о странных капризах памяти и голодных галлюцинациях. Находясь в не-

сколько лучших условиях, моряки Балтики вынесли на своих плечах всю тяжесть ремонта и находили еще силы помогать гражданскому населению. Делились всем: топливом, электроэнергией, водой, лекарствами, а иногда и попросту — хлебом. Все это не ново. Но вот о чем, по-моему, до сих пор мало рассказано: блокадная зима 1941/42 года, несмотря на всю тяжесть борьбы за существование, несмотря на бомбежку и артиллерийский обстрел, была периодом высокого интеллектуального накала, равного которому я, пожалуй, не помню. Нигде, на моей памяти, люди так много и откровенно не разговаривали, никогда так страстно не спорили, как в долгие блокадные вечера у камельков и времянок, при свете коптилок и тусклых лампочек. Читали в то время необыкновенно много, жадно ловили каждое слово по радио. Интерес к искусству, музыке, философии я видел всюду, куда мог добраться, — на плавбазах, кораблях, фортах, оборонительных участках, в госпиталях и темных, промерзших, похожих на норы ленинградских квартирах. Но, пожалуй, самым поразительным из того, что я помню о том времени, была могучая тяга людей к творчеству. Люди, никогда не срифмовавшие двух строк, писали стихи — и не всегда плохие, участники боев рисовали по памяти батальные картины, умиравшие от дистрофии люди до последнего дня вели записи, «чтоб наши дети знали и помнили». В блокадном Ленинграде родилась всемирно известная 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, в блокаде расцвело яркое дарование Ольги Берггольц, поэтессы, о которой до войны слышали немногие.

Читали все, что попадалось под руку, — газеты и брошюры, классиков и книги советских авторов. Я не располагаю статистикой, но убежден, что на первом месте среди книг была толстовская эпопея. Тысячи бойцов прочитали «Войну и мир» впервые, еще большее число людей прочло роман как бы заново. На одной из подводных лодок вся команда перечитала полное собрание сочинений Достоевского, военком лодки говорил мне полшутя, что побаивается «фитиля» от начальства, — еще скажут, что комиссар не руководит чтением и разводит на лодке всякую размагничивающую достоевщину. Но, как видно, размагничивающее или мобилизующее влияние книги зависит не только от семян, но и от почвы. Начитавшись Достоевского,

краснофлотцы еще горячее полюбили свой город и прониклись еще более непримиримой ненавистью к фашизму.

Глаз литератора в некоторых отношениях подобен фотообъективу. Объективы бывают различных типов — короткофокусные и длиннофокусные, широкоугольные и портретные, для работы при искусственном освещении и для аэрофотосъемок. Вероятно, мой объектив плохо приспособлен для фиксирования быстро движущихся предметов и лучше рисует с близкого расстояния. Зимняя пауза оказалась для меня самым питательным периодом, из репортера я превратился в собеседника. Каждый вечер в кают-компаниях плавбаз и кораблей, в каютах командиров и в матросских кубриках шел взволнованный разговор обо всем на свете — о судьбах страны и об уроках летней кампании, о традициях русского флота и о ремонте навигационных приборов, — разговор, становившийся для меня все более внятным и кровно необходимым. За эти осенние и зимние месяцы я выслушал не одну исповедь, заглянул во многие дневники и записи, узнал десятки всяких историй — трагических и забавных, фантастических и обыденных; мне открылся целый, доселе неведомый мир, подводное царство со своими неписаными законами и преданиями, сложившимися репутациями и своеобразными отношениями. Конечно, я не мог, да и не стремился, обойти все плавбазы и познакомиться с экипажами всех подлодок соединения. Были лодки, где у меня было много друзей и знакомых, были и такие, где я никого не знал. Больше всего меня тянуло на лодки, где ощущался сплоченный и дружный коллектив. Зависело это, в первую очередь, от командира и военкома, поэтому в разговорах между собой подводники редко называли лодки, а говорили: «Грищенко ходил на минные постановки» или «У Кабо идут ремонтные работы».

Лучше других я знал лодки среднего тоннажа «Л-3», «С-7», «Лембит», «Щ-309», «Щ-320», «Б-2», а из малюток «М-96».

Об «Л-3» и ее командире Петре Денисовиче Грищенко написано уже не мало. Недавно опубликован походный дневник Александра Зонина. Покойный Александр Ильич был единственным писателем, участ-

вовавшим в дальнем рейде подводного корабля, его записки содержат ценнейший материал, характеризующий П. Д. Грищенко как боевого командира. Я имел возможность наблюдать другую — подчиненную, но столь же важную — сторону деятельности Петра Денисовича, его ежедневную, неустанную, кропотливую работу организатора и воспитателя коллектива. На любом военном корабле, а на подводной лодке в особенности, сплоченность и взаимопонимание внутри экипажа — это вопрос жизни и смерти. Поэт Алексей Лебедев за несколько дней до выхода в море с горечью говорил мне о том, что у них на «Л-2» нет настоящей дружбы, нет инициативы снизу, все смотрят в рот командиру — и как знать, не было ли все это одной из причин гибели лодки? На «Л-3» Петру Денисовичу удалось создать удивительную атмосферу спокойной деловитости. Приходя на лодку, я всегда ощущал: у этой команды есть свой стиль. Никто не гаркает, не суетится, все делается по видимости неторопливо, но вовремя и при этом с улыбкой, с шуточкой, без лишних слов и толчеи. Несомненно, чтоб вылепить коллектив «по своему образу и подобию», командир приложил немало усилий, но прежде он должен был вылепить самого себя, и я догадываюсь, какой титанический труд потребовался для того, чтобы выросший в бедняцкой семье, поздно начавший учиться крестьянский паренек превратился в того образованного, внутренне собранного и безукоризненно элегантного морского офицера, каким я его знал во время войны, а впоследствии — в научного работника и выдающегося военного педагога. У Грищенко не было замашек «лихого» командира», столь импонирующих молодым морякам, зато от него исходило ощущение глубокой надежности, такие люди не поддаются панике.

Под стать командиру были его ближайшие соратники — старпом Владимир Константинович Коновалов, впоследствии сменивший Петра Денисовича на посту командира «Л-3», инженер-механики Михаил Филиппович Вайнштейн и Михаил Андроникович Крестелев. Всех этих людей роднила одна воспитанная в ходе боевой подготовки и закрепленная в походах черта, которую я бы назвал контактностью. Под этим словом я разумею способность не в ущерб своей индивидуальности ощущать себя частью единого целого.

Грищенко и Коновалов, Вайнштейн и Крастелев и внешне и внутренне были разительно несхожи между собой и, может быть, именно поэтому отлично друг друга дополняли. Вальяжный, медлительный, улыбчивый Вайнштейн в случае необходимости приобретал стремительность. Во время первого похода «Л-3» лодка неожиданно «провалилась» ниже проектной глубины. Корабль с сильным дифферентом на нос уходил навстречу своей гибели. Вайнштейн мгновенно разобрался в обстановке и, убедившись, что горизонтальные рули бездействуют, скомандовал продуть носовую часть и этим остановил падение лодки. Нетерпеливый, резкий, спорщик и задира Крастелев, когда требовали обстоятельства, проявлял редкую выдержку и терпение. В том же походе у подводной лодки «Л-3» вышло из строя рулевое управление. Авария произошла вблизи берега, занятого частями противника, всплывать было опасно, еще бóльшая опасность грозила смельчакам, которым предстояло спуститься в кормовую балластную цистерну, чтоб получить доступ к поврежденному шарниру. Крастелев и старшина 2-й статьи Мочалин спустились в цистерну и обнаружили повреждение. Пока шла работа, вся артиллерия корабля была «на товьсь», минута промедления могла стоить жизни, но Крастелев не нервничал и не торопил Мочалина. Он знал, что, как ни опасно промедление, спешка еще опаснее, и не вышел из цистерны, пока не убедился, что повреждение надежно исправлено.

Таких знатоков своего дела, как Вайнштейн, Крастелев и Мочалин, на «Л-3» было много, на страницах «Дозора» то и дело мелькали фамилии старшины группы мотористов Шапировского, краснофлотцев Вальцева, Елюшкина, Воробьева, Машинистова... В настоящее время М. Ф. Вайнштейн работает в конструкторском бюро, разрабатывающем новые типы компрессорных установок. Инженер-вице-адмирал М. А. Крастелев и капитан 1-го ранга П. Д. Грищенко воспитывают молодых подводников, Герой Советского Союза капитан 1-го ранга В. К. Коновалов¹ служит на Северном флоте.

¹ В. К. Коновалов скончался в 1967 году в звании контр-адмирала.

Недавно я получил письмо от одного из ветеранов «Л-3», — готовится очередная встреча участников боевых походов этого прославленного корабля. Старая дружба не ржавеет.

Собираются до сих пор и «лембитовцы». Подводная лодка «Лембит», подобно «Л-3», прославилась не только торпедными атаками, но и успешными минными постановками. Командовал ею вначале Владимир Антонович Полещук, а затем Алексей Михайлович Матиясевич — и тот и другой в прошлом капитаны дальнего плавания, люди бывалые, повидавшие свет. Полещук вскоре был назначен командиром дивизиона, и я чаще встречался с Матиясевичем, он оказался моим соседом по каюте на плавбазе «Иртыш», и по вечерам мы часто разговаривали. Алексей Михайлович — человек другого склада, чем Грищенко, но много было у них и общего: внешняя подтянутость и физическая тренированность, умение спланировать людей и, наконец, самое главное — активная, ищущая, самостоятельная мысль. К этому же типу командиров принадлежали командир «С-7» Сергей Прокофьевич Лисин, командир «Щ-309» Исаак Соломонович Кабо и ныне покойный командир «Щ-320» Иван Макарович Вишневский. Всем этим людям я обязан своими первыми шагами на флоте, они помогли мне проникнуть в круг интересов и мыслей подводников, без этого я не сумел бы написать о них ни строчки. Добавлю: они смогли мне помочь не только потому, что были первоклассными мастерами своего дела, но и потому, что сами любили литературу и искусство. Кабо был очень музыкален и отлично играл на скрипке; Лисин, насколько мне помнится, ни на чем не играл, но музыку любил, я сидел с ним рядом во время первого исполнения 7-й симфонии Шостаковича в блокированном Ленинграде, из филармонии мы шли вместе и говорили о музыке. Лисин — блестящий оратор, Грищенко, Матиясевич и Кабо владеют пером, только Иван Макарович не проявлял артистизма ни в какой области, да и по виду отличался от своих более блестящих коллег — внешность имел малозаметную и с малознакомыми людьми неразговорчив. Разобраться в этом незаурядном человеке мне помог мой новый друг Василий Антипин. Василием Степановичем на моей памяти его никто не

звал, и ему очень шло имя Вася — такой уютный, миловидный, вежливый курсант, сияющий надраенными пуговицами и несколько наивной ласковой улыбкой. Однако он был уже не курсант, а старший политрук, инструктор политотдела бригады и тяготился своим завидным положением — он хотел плавать. Вершиной его мечтаний было пойти в боевой поход с Иваном Макаровичем, которого он ставил необычайно высоко, но мечта эта так и не осуществилась; Вишневский тоже ценил Васю, но у него не было никаких оснований отказываться от своего комиссара Калашникова — человека скромного и храброго, пришедшего на флот «с гражданки» и быстро завоевавшего уважение моряков. Через Антипина я ближе подошел к Ивану Макаровичу и вскоре убедился, что Вася не зря восхищался этим человеком: я редко встречал людей, у которых душа была до такой степени не подвержена никакой коррозии — ни тщеславию, ни корысти, ни зависти. У этого бывшего матроса был ясный ум и огромный жизненный опыт; что в соединении с нравственной чистотой и рождает то, что мы называем мудростью. Его оценки людей и событий были всегда осторожны, не от робости, а от уважительности, он уважал людей, уважал чужой труд, уважал чужое мнение, ему можно было довериться во всем.

Каюсь, у меня не хватило проницательности, чтобы сразу оценить такую самобытно-яркую натуру, как Александр Иванович Маринеско. В ту пору он был командиром «малютки» и решительно ничем не знаменит. К «малюточникам» поначалу относились не очень внимательно — и напрасно: на счету малых лодок к концу войны накопилось немало побед. Я пришел на лодку к Маринеско поздней осенью и увидел затрапезного вида хмурого парнишку, чем-то напомнившего мне катаевского Гаврика из повести «Белеет парус одинокий». Как раз в этом я не особенно ошибся — Маринеско был родом из Одессы и, хотя принадлежал к более позднему поколению, чем Гаврик, несомненно, состоял с ним в духовном родстве. У Маринеско сидел его приятель Гладилин — тоже командир «малютки». Они пили спирт и к моему приходу отнеслись настороженно. Почувствовав это, я тоже повел себя как-то не совсем естественно, в результате контакта не полу-

чилось, и, хотя я потом не раз бывал на «М-96», наши отношения с командиром оставались официальными.

Сблизились и подружились мы гораздо позже, встретившись после войны в Кронштадте на втором сборе ветеранов-подводников Балтики. К тому времени Маринеско уже демобилизовался и работал на одном из ленинградских заводов. Я знал, что на первом таком сборе сообщались данные о потерях гитлеровского флота во второй мировой войне. По этим данным, первым подводным асом Балтики без всякого спору оказывался бывший командир «М-96» и «С-13» Александр Иванович Маринеско, поэтому не удивился овациям, которыми его встретили. Удивило меня другое — имя Маринеско никогда не упоминалось в печати, и даже в экспозиции Центрального военно-морского музея не было портрета человека, нанесшего вражескому флоту такие тяжкие и непоправимые потери, что Гитлер объявил его в числе «главных военных преступников». Почему же, вместо того чтобы гордиться подвигами Маринеско, мы о них умалчиваем? Ответ на этот вопрос я получил не сразу, а после настойчивых расспросов и лишь через несколько месяцев после сбора, вновь встретившись с Александром Ивановичем в Кронштадте, узнал всю правду до конца. Мы провели два дня, почти не расставаясь, и за эти дни Александр Иванович рассказал мне историю своей жизни — яркой и горестной, героической и нелепой, в ней были взлеты и падения, но не было сонного прозябания. Если бы этот продолжавшийся много часов рассказ-исповедь можно было бы записать на магнитофонную ленту, то, вырезав из нее мои реплики и некоторые неизбежные отступления от темы, мы получили бы автобиографическую повесть, которая по насыщенности событиями и накалу страстей не уступит жизнеописанию Бенвенуто Челлини.

Сын беглого матроса румынского военного флота и украинской крестьянки, выросший на окраине Одессы, становится штурманом дальнего плавания, затем увлекается подводными лодками и меняет профессию. К началу войны он уже командир «малютки», отлично воюет, получает перевод на «эску», затем неожиданно в новогоднюю ночь 1945 года, стоя в гавани Турку, загуливает и пропадает на двое суток. Исчезновение

советского офицера в иностранном порту — происшествие чрезвычайное. Когда Маринеско возвращается на плавбазу, над его головой начинают сверкать молнии. Александр Иванович признавал свою вину, но от подозрений приходил в бешенство, чем немало себе навредил. Ему грозил суд и уж по меньшей мере отстранение от командования. Спасли Маринеско единодушная поддержка всего экипажа «С-13», горой вставшего за любимого командира, и здравый смысл, проявленный командованием, которое решило потихоньку сплавить Маринеско в море. Маринеско ушел тихо, но в море повел себя шумно — через несколько дней фашистский флот погрузился в траур: неизвестная подводная лодка отправила на дно Балтики шедший под охраной боевых кораблей гигантский океанский лайнер «Вильгельм Густлов», на борту которого эвакуировалось из Данцига в Киль восемь тысяч отборных мерзавцев — элита СС и СД. В том же походе Маринеско потопил вспомогательный крейсер «Штойбен». Кажется, у него были все основания вернуться триумфатором, но инерция вновь взяла верх над здравым смыслом, герою втихую выдали «за все про все» орден Красного Знамени, а самый подвиг замолчали. После окончания войны Маринеско продолжает служить на флоте. Однако предубеждение к нему не рассеивается, а характер не меняется, и в опале он остается прежним Сашей Маринеско, независимым, мальчишески порывистым, до грубости правдивым. Ссора с комдивом, и снова ЧП — снижение в звании, перевод с подводной лодки на тральщик. Маринеско вспыживает и подает рапорт о демобилизации. В перспективе возвращение на торговый флот, но подводят глаза: при проверке зрение оказывается на одну десятую диоптрии ниже нормы. Никакого практического значения это иметь не могло и не мешало Маринеско командовать военным кораблем, но формальные, а может быть, и не только формальные соображения опять взяли верх, и природному моряку пришлось во цвете лет перебираться на берег и осваивать новую специальность — хозяйственника и снабженца.

Работать он начал в учреждении, где орудовала небольшая, но сплоченная группа мошенников во главе с директором. Маринеско со свойственным ему пылом попытался разоблачить хозяйственные махинации

директора — и сам оказался под судом. Преступление Маринеско состояло в следующем: в учреждении, где он работал, лежало мертвым грузом несколько тонн торфяных брикетов. Вместо того чтоб вывезти их на свалку, Александр Иванович, заручившись устным согласием директора, развез эти брикеты по домам наиболее низкооплачиваемых технических сотрудников в виде предпраздничного подарка. А затем все было разыграно как по нотам: кто-то написал в ОБХСС, директор быстренько отрекся от данного им разрешения, и Маринеско оказался расхитителем социалистической собственности. Его исключили из партии, в последнюю инстанцию Маринеско, чтобы не отдавать партбилет, не явился.

Затем был суд. Прокурор-фронтовик, видя, что дело липовое, отказался от обвинения, оба народных заседателя заявили особое мнение, но оставшийся в меньшинстве судья все-таки добился, чтобы подсудимого взяли под стражу. Дело рассматривалось в другом составе, и Маринеско получил три года. Людей, осужденных на такие сравнительно небольшие сроки, обычно не посылают в далекие лагеря, но для Маринеско было сделано исключение — он был направлен на Колыму. В арестантском эшелоне Александр Иванович столкнулся с самыми разнообразными людьми — вместе с ним ехали воры-рецидивисты и «бытовики»; богатырского сложения матрос, во время выгрузки консервов с судна вскрывший одну банку и получивший за это пять лет лагеря, и петергофский обыватель, служивший в гитлеровской зондеркоманде, своими руками повесивший и расстрелявший десятки советских мирных граждан. Такой вот петергофский каратель был назначен старостой вагона и ведал раздачей пищи. Опираясь на таких же, как он, бывших карателей и уголовников, он установил порядок, по которому «свои» получали по две миски тюремной баланды, а прочие по одной, притом неполной. Маринеско был возмущен, к тому же он понимал, что при таком рационе немудрено протянуть ноги, так и не увидев Тихого океана...

Он тайно организует бывших моряков — их в вагоне оказалось восемь человек — и во время очередной раздачи поднимает бунт. Избитый до полусмерти староста сразу теряет свой ореол, шпана трусливо отступает от своего бывшего вождя, и вакантное

место занимает ставленник Маринеско — тот самый богатырь матрос, что пострадал за банку консервов. Поездная охрана, испугавшись бунта, поначалу грозила применить оружие, но, убедившись, что бунт не имеет целью своей побег, легко смирилась со «сменой властей», и вплоть до прибытия в порт Ванино моряки держали подонков в страхе. В Ванино восьмерка не распалась, она стала ядром большой погрузочной бригады, состоявшей в основном из бывших моряков. Под руководством Маринеско, который, как опытный капитан, умел распределять грузы по трюмам, бригада достигла небывалых успехов, авторитет рос с каждым днем...

В Ленинград Александр Иванович прилетел самолетом с деньгами в кармане. Первым делом он извлек из тайника запрятанный партийный билет, и когда мы с ним встретились, он был уже восстановлен в партии и работал на одном из ленинградских заводов. Но замалчивание подвигов Маринеско продолжалось по-прежнему, и даже на заводе лишь немногие знали, что рядом с ними работает один из самых замечательных героев Великой Отечественной войны, подводный ас, имя которого со страхом и почтением упоминается в военных мемуарах бывших гитлеровцев.

Александр Иванович умер от рака, едва дожив до пятидесяти лет. Лишь за несколько месяцев до смерти Маринеско мгла над его именем начала рассеиваться. Он так и не вкусил заслуженной славы, но его беззлобная душа жаждала не славы, а справедливости, и надежда на то, что справедливость будет наконец восстановлена, не оставляла его до последних минут.

Маринеско был человеком редкой скромности и до наивности правдивым, я сразу поверил его исповеди, да он и не сумел бы ее выдумать. Характер у него, что и говорить, был не из легких — азартный, импульсивный, трудно мирившийся с преградами. Среди подводников не редкость встретить подлинную отвагу, но у Маринеско помимо военной отваги было еще одно прекрасное и беспокойное качество, которое другой Александр Иванович — Куприн — очень хорошо называл «душевной небоязнью». Маринеско был решительно неспособен кого-нибудь или чего-нибудь бояться. Это сквозило даже в его взгляде и порядком

раздражало некоторых начальников, живущих по формуле «раз не боится — значит, не уважает». Я убежден, что придет время, когда Маринеско будет воздано должное и рано или поздно найдется применение тем торопливым записям, которые я сделал по памяти сразу же после нашей кронштадтской встречи. В частности, мне удалось довольно точно записать рассказ Александра Ивановича об его новогоднем загуле в Турку — это почти законченная трагикомическая новелла, быть может несколько рискованная на сугубо ведомственный взгляд, но зато необычайно наглядно свидетельствующая о том, что крупный человеческий характер и в своих срывах остается крупным, а мелкие люди мелочны даже в своем понимании добродетели.

Теперь я много раздумываю о Маринеско и людях его склада, но тогда, повторяю, я не сумел в нем разобраться. Причину этого я вижу не только в моей тогдашней неопытности, но и в избирательности сознания — в ту пору мое воображение занимали командиры другого типа.

Особое место среди балтийских подводных лодок занимала «Б-2», более известная под именем «Пантера». «Пантера», построенная еще до первой мировой войны известным русским кораблестроителем Джевецким, была старейшей лодкой на бригаде, и, несмотря на то, что за свою долгую жизнь она не раз подвергалась модернизации, справедливо считалась устаревшей. В летнюю кампанию 1941 года «Пантеру», несмотря на настойчивую инициативу, проявленную ее командиром Израилем Адольфовичем Быховским и всем экипажем корабля, на позицию не выпустили. Пантеровцы переживали это драматически, они образцово провели зимний ремонт механизмов, отлично стреляли по фашистским самолетам и изошрялись во всякого рода проектах, долженствовавших вернуть «Пантере» положение боевого корабля первой линии и воспрепятствовать ее разоружению. На «Пантере», больше чем на какой-нибудь другой лодке, был силен дух традиции, пантеровцы гордились историческим прошлым своего корабля, свято соблюдали корабельные даты, хранили память о «старичках» корабля, среди которых были такие выдающиеся люди, как бывший штурман, а ныне ученый с мировым именем

академик Аксель Иванович Берг. Все это мне очень нравилось, и, когда лодка стояла на приколе у б. Сампсониевского моста (команда жила на берегу), я часто бывал на «Пантере». Хорошо знали «Пантеру» и другие балтийские литераторы, в частности Всеволод Вишневский и Всеволод Азаров, и когда, годом позже, мы втроем писали текст героической музыкальной комедии «Раскинулось море широко», то, изображая маленький, но дружный коллектив связного катера «СК-13», томящийся в чаянии «настоящего дела», мы не могли не вспомнить «Пантеру».

В ноябре 1941 года при Политуправлении флота была создана «оперативная группа писателей», объединившая значительную часть служивших ранее в различных соединениях и частях балтийских литераторов. Инициатором создания опергруппы был Всеволод Вишневский, он же был ее бессменным руководителем вплоть до осени 1943 года, когда изменившийся характер войны потребовал вновь рассредоточить литераторские силы. Расставаться с подводниками было грустно, но переход в опергруппу открывал заманчивые возможности. Во-первых, расширить свои представления о воюющем флоте, побывать на переднем крае обороны, а летом выйти с малыми кораблями в Финский залив и дальше в Балтику. И во-вторых, дать выход накопившимся впечатлениям.

В обязанности опергруппы входило поставлять литературный материал для пресс-бюро Пубалта, газеты «Красный Балтийский флот» и флотских радиопередач. Материалы эти по размеру не должны были превышать четверти печатного листа; так появились на свет мои «Рассказы о подводниках» — маленькие новеллы, построенные на наблюденных мною или рассказанных мне действительных событиях; степень художественного обобщения была в них очень невысока, образы мало чем отличались от своих прообразов и именно поэтому оказывались тусклее их, в общем, это были вполне ученические опусы. Тем не менее они печатались и передавались в эфир, некоторые из них увез с собой в Москву заглянувший ко мне на «Иртыш» А. А. Фадеев. Вскоре я получил от него толстый пакет со свежими номерами центральных газет, в которых были напечатаны три

моих рассказа. В сопроводительном письме, серьезном и шутливом, Фадеев писал, что счел полезным для дела и для меня опубликовать рассказы в центральной печати, но тут же недвусмысленно давал мне понять, сколь далеки мои рассказы от настоящей художественной прозы. Веселое и умное это письмо, к сожалению, погибло при прямом попадании бомбы в здание Военно-морской академии, где в то время помещались Пубалт и наша группа. Относительно лучшим рассказом Фадеев считал «Трассирующие звезды», напечатанный по его рекомендации в «Литературе и искусстве», вероятно, он был прав, но в моей литературной судьбе гораздо большую роль сыграл другой, более слабый рассказ «Я держу мой флаг». В этой беглой зарисовке, недалеко ушедшей от обычной газетной корреспонденции, шла речь о некой вмерзшей в лед подводной лодке и об упрямом капитан-лейтенанте, не желающем отступать перед трудностями ремонта в осажденном Ленинграде. Рассказ был тем семечком, из которого проросли осуществленный двумя годами позднее замысел драмы «Офицер флота» и впоследствии, спустя много лет, — роман «Дом и корабль».

Первым заданием, полученным мною за время пребывания в опергруппе, была командировка на эскадренный миноносец «Сильный». В летнюю кампанию «Сильный» участвовал в морском сражении в Ирбенском проливе, а теперь стоял в устье Невы и вел артиллерийскую дуэль с береговыми батареями противника. Одновременно шел ремонт всех механизмов. «Сильный» был тем самым «Н-ским кораблем», обратившимся через флотскую печать с призывом ко всем кораблям Балтийского флота провести зимний ремонт своими силами и средствами. В кают-компании «Сильного» я опять встретился с той же атмосферой активной, ищущей мысли, что у подводников: чувствовалась настоятельная потребность критически осмыслить для себя первое полугодие войны и сделать необходимые для победы организационные и нравственные выводы. Говорили и спорили на всякие темы, но за всем этим многообразием мне все время слышалась главная тема, тема номер один. Это была проблема становления нового советского офицерства.

Необходимость реформ в этой области ощущалась

в низах не менее остро, чем наверху, и не вина будущих офицеров флота, что проведена была эта реформа чисто административным путем, с преобладанием внешней стороны, тоже существенной, но не исчерпывающей всего круга вопросов, волновавших и в какой-то степени продолжающих волновать и сегодня людей, сделавших службу в армии и на флоте своим жизненным призванием.

Летняя кампания 1942 года показала, что лучше всех воевали те командиры, которые много думали зимой. Проведенный своими силами ремонт кораблей не только помог разрешить почти неразрешимую в блокадных условиях задачу подготовки боевой техники к новым походам, но и лучше овладеть этой техникой. Выдающиеся подвиги, совершенные балтийскими подводниками во вторую летнюю кампанию, были подготовлены еще на берегу. Люди уходили в поход не только более опытными, но и более интеллектуально зрелыми, более нравственно устойчивыми, чем были в прошлом году.

Написанная зимой 1943 года драма «Офицер флота» была весьма неполным и несовершенным отражением настроений, которые были действительно характерны для флотского офицерства. Поставленная флотскими театрами задолго до окончания войны, она вызвала много споров и откликов. Работа над пьесой проходила в условиях, которые в мирное время показались бы мне немыслимыми: тогдашний начальник Пубалта Волков отвалил мне на написание четырехактной пьесы ровным счетом один месяц и был крайне недоволен, когда я попросил два. Чтоб меня не отвлекали посторонними делами, я с разрешения начальства поселился в промерзшей «Астории», в маленьком номеришке, выходящем окнами в закоулок двора — преимущество немалое, учитывая артобстрелы и бомбардировку с воздуха. Раз в сутки я шел с судками на береговую базу Подплава и забирал свой суточный рацион. Однажды, когда я возвращался обратно, меня основательно потрянуло взрывной волной, и я на короткое время потерял сознание. Помню только, что, опускаясь на тротуар, я больше всего думал о том, чтобы не разлить макаронный суп, составлявший основу моего обеда, и, очнувшись, первым делом убедился в том, что судки не потекли. Температура в номере падала ниже нуля, чернила замерзали в

чернильнице, а авторучки у меня не было. Электричество часто гасло, и тогда приходилось зажигать коптилку. Но все равно писать в «Астории» было лучше, чем в Управлении или даже на корабле. Сознание, что я плачу за номер восемнадцать ничего не стоящих рублей в сутки, возвращало мне ощущение независимости, без которого, как мне кажется, нельзя писать пьесу даже на военную тему. Это же ощущение помогло мне выдержать шквальный огонь начальственной критики во время читки тогдашнему руководству Пубалта и отказаться от переделок. Только вмешательство начальника Главного Политуправления И. В. Рогова спасло пьесу. У покойного Ивана Васильевича был нелегкий характер, но перестраховщиком он не был.

После прорыва блокады характер военных действий на Балтике и на Ленинградском фронте решительно изменился. Из оборонительных они стали наступательными. В соответствии с этим изменилась и практика флотских литераторов — они превратились в военных корреспондентов. На время распались прочные связи. В течение летней кампании 1944 года я побывал во многих соединениях, ходил в море с тральщиками, морскими охотниками и бронекатерами. Затем речная флотилия на Одере, Берлин и после короткого отдыха — Тихий океан, освобождение Сейсина, десант на Гензан. Несомненно, по силе и непосредственности впечатлений второй период был богаче первого, богаче хотя бы потому, что я получил возможность следить за ходом боевых операций и наблюдать людей в действии. Эти впечатления легли в основу ряда очерков и комедии «Второе дыхание».

«Второе дыхание» далеко не исчерпало накопившихся у меня за последние два года войны впечатлений, записей и заготовок. Наступила очередь прозы, вот почему мне не хочется рассказывать о людях и событиях этого периода. Пока не закончен синтез, не следует заниматься анализом.

Скоро исполнится двадцать лет с тех пор, как я демобилизовался из флота. Но живая связь с флотом, с Балтикой, с подводниками не прервалась. Остались друзья. Осталась великолепная традиция встреч ветеранов, которой мы обязаны энтузиасту и ревнителю

воинской славы балтийских подводников бывшему комдиву «малюток» Евгению Гавриловичу Юнакову. Без дружеской поддержки моряков, всегда готовых прийти мне на помощь, я не мог бы писать о флоте.

Я был профессиональным драматургом и не был кадровым моряком. Говорят, что тот, кто вдохнул запах кулис, отравлен на всю жизнь. За последние годы я разлюбил театр. А запах корабля волнует меня по-прежнему, как двадцать лет назад.

1965

*Заметки
писателя*

A decorative flourish consisting of a horizontal line that curves downwards and then loops back up and to the right, ending in a stylized, calligraphic flourish.

Исторической заслугой XX съезда КПСС было разоблачение культа личности, принесшего огромный вред во всех областях материальной и духовной жизни нашего общества. Чрезвычайно существенно, что партия осудила не только культ личности И. В. Сталина, она осудила культ личности вообще. Марксизму-ленинизму — научному мировоззрению пролетариата — органически враждебен всякий культ. Там, где есть культ, научная мысль вынуждена отступать перед слепой верой, творчество перед догмой, общественное мнение перед произволом. Культ порождает иерархию служителей культа, — божеству нужны святители и угодники. Культ несовместим с критикой, самая здоровая критика легко превращается в ересь и кощунство. Культ антинароден по самому своему существу — он принижает народ, заставляет рассматривать как дар свыше то, что полностью оплачено трудом и кровью народа. Даже культовое обожествление Народа с большой буквы имеет оборотную сторону — оно принижает отдельного человека. Вождь был слугой Народа, но когда миллионы хозяев вставали при одном упоминании имени слуги, в этом было что-то очень чуждое тем демократическим традициям, в которых мы воспитаны революцией и советским общественным строем.

Принято говорить, что культ личности принес нашему обществу неисчислимый вред. Неисчислимый, неизмеримый, безграничный, невиданный, беспредельный — употребляемые в большом количестве, эти слова имеют неприятный привкус иррациональности и неслучайно были в большой моде несколько лет назад.

Ведь если богатства наши неисчислимы, силы неисчерпаемы, доверие беспредельно, авторитет безграничен, нет нужды беречь и взвешивать, изучать и прислушиваться, легко потерять представление о реальной действительности, утратить меру и предаться самой необузданной гигантомании. Нет, как бы ни был велик вред, принесенный культом личности, он исчислим и должен быть исчислен. Одновременно должно трезво оценить свои силы и возможности, и мы увидим, что их более чем достаточно для того, чтоб последовательно и решительно преодолеть последствия культа на всех участках нашего хозяйственного, политического и культурного строительства. Для этого нет необходимости ежеминутно называть многочисленное неисчислимым, могучее непобедимым, умное мудрым, а большое великим.

Кульм личности — прежде всего идеологическое извращение. Литература и искусство не могли избежать его разрушительного воздействия. Художественное творчество неотделимо от общественной инициативы, от новаторских поисков. А новатор — в какую бы эпоху он ни жил — всегда чем-то опережает восприятие своих современников и не всегда бывает сразу понят. Там, где вкус одного человека становится непререкаемым, неизбежны нивелировка и грубое вмешательство в творческий процесс, вредная опека, травмирующая талант, но вполне устраивающая ремесленников. В этих условиях быть непонятым — значит быть осужденным. Там, где истиной бесконтрольно владеет один человек, художникам отводится скромная роль иллюстраторов и одописцев. Нельзя смотреть вперед, склонив голову.

О скромности. За последние годы был ряд случаев, когда некоторые деятели литературы вели себя в быту недостаточно скромно. Конечно, это отвратительно. Отметим, что бытовой нескромностью чаще всего страдают люди, играющие очень скромную роль в своем искусстве, именно там, где скромность отнюдь не является добродетелью. Вспомним, что писал о скромности Маркс: «Истина так же мало скромна, как свет; да и по отношению к кому она должна быть скромна? По отношению к самой себе? *Verum index sui et falsi*¹. Стало быть, по отношению к заблуждению.

¹ Истина — пробный камень себя самой и лжи (лат.).

Если скромность характеризует исследование, то это скорее признак боязни истины, чем боязни заблуждения. Скромность это — средство тормозить каждый мой шаг вперед. Она есть предписанный свыше исследованию страх перед результатом, она — предохранительное средство против истины.

Далее: истина всеобща, она не принадлежит мне одному, она принадлежит всем, она владеет мной, а не я ею. Мое достояние это форма, она моя духовная индивидуальность. «Стиль — это человек».

Сталинский стиль руководства искусством не способствовал развитию индивидуального стиля художника. Упор делался не на стиль, а на метод. Впрочем, в архитектуре и изобразительном искусстве после войны выработался своеобразный стиль — грубо нарядный, официально-помпезный, который кто-то очень метко определил как «рабоче-крестьянский ампир».

Теперь уж ни для кого не секрет, что наше театральное искусство переживает серьезный застой. Люди понимающие поговаривали об этом и раньше, но в период, когда было принято рассматривать наше движение на любом участке только как сплошной победный марш без остановок и отступлений, их быстро призвали к порядку. В частности, критика наших академических театров была объявлена делом антипатриотическим. Теперь и неспециалистам ясно, что это не принесло им пользы. Из неприкосновенных они рискуют превратиться в неприкасаемых. Пустующий зал там, где некогда разыгрывалось в лотерею право купить в кассе дешевый билет, — явление угрожающее. Объяснить его нашествием телевизоров невозможно. И, может быть, самый угрожающий симптом — отсутствие спроса именно на дешевые билеты. Этот факт очень удобно объяснить возросшим благосостоянием зрителей, но, вероятно, дело все-таки в другом. Нельзя рассматривать зрителей как некую аморфную массу. Через определенные промежутки кристаллизуется новое поколение театралов. Октябрь раскрыл народу двери театра, с каждым годом театр все шире и прочней входил в культурный обиход рабочего. Есть серьезные основания предполагать, что сегодняшние затруднения вызваны не капризом заскучавших зрителей, а тем, что заметно сузился круг постоянных посетителей театра. На смену постаревшим или отвернувшимся от театра любителям не пришла в до-

статочном количестве пылкая молодежь, рассматривающая театр прежде всего как школу жизни. Как это ни печально, но сегодня позиции наших театров гораздо крепче среди той части публики, которая идет в театр отдохнуть и развлечься, сидя в удобном кресле, чем среди тех, кто готов простоять весь спектакль на галерке, чтоб ощутить биение живой мысли и радостное потрясение от вдохновенной игры актера. Получается странная на первый взгляд картина. Последние годы мы в своей среде столько говорили об идейности, боролись за идейность, награждали за идейность, прорабатывали за безыдейность, а пришли к снижению идейного влияния театра.

Три основные причины, тесно связанные между собой и являющиеся прямым следствием культа личности, породили этот застой: игнорирование объективно существующих законов художественного творчества, гипертрофия редактуры, создание бюрократической иерархии в искусстве.

Глубочайшая неправда, что так называемая теория бесконфликтности рождена в среде творческих работников. С таким же успехом можно утверждать, что мысль о запрещении учения Дарвина родилась в среде биологов. Содержанием драмы является жизнь человеческого общества со всеми присущими ему противоречиями. Драматический конфликт есть отражение этих объективно существующих противоречий. Сознательно или бессознательно драматург следует законам диалектики. Столь же несостоятельной оказалась пресловутая теория «борьбы хорошего с еще лучшим», также служившая теоретической подпоркой для фальсификации и лакировки действительности. Кому и для какой цели были нужны эти теории, становится ясно, если вспомнить, что они возникли в годы, когда даже такая точная наука, как статистика, использовалась для создания иллюзий. Что же говорить о театре...

Далеко не все чиновничьи заблуждения получили стройное теоретическое оформление. От этого они не менее живучи. Прочно въелось убеждение, что тема художественного произведения не является авторским изобретением и поэтому «тематика» так же поддается планированию сверху, как промышленный ассортимент. Что сюжет пьесы это нечто вроде евангельской притчи, заключающей нравоучение в себе самой. Что у зрите-

ля более всего развита потребность в подражании, он только и ждет случая скопировать в жизни увиденную на сцене схему. Что всякая попытка отрицательного персонажа как-то аргументировать свое поведение есть предоставление автором трибуны врагу. Что всякое произведение, в котором порок остается ненаказанным, есть произведение пессимистическое. Что так называемый «второй план» и подтекст, в значительной степени определяющие идейный и эмоциональный итог пьесы и спектакля, суть лукавые измышления, плохо поддающиеся учету и контролю, а посему героям надлежит формулировать свои мысли недвусмысленно и внятно. И наконец — совершенно извращенное представление о законах художественной типизации.

Одно из самых ядовитых заблуждений, еще недавно имевшее хождение наравне с «теорией бесконфликтности», формулировалось примерно так: «Произведения искусства бывают плохие, посредственные и хорошие. Наш советский читатель (зритель) неустанно трудится, у него нет времени читать (смотреть) все, что выходит в свет. В нашей власти отсечь все слабое и посредственное и дать советским людям ограниченное количество образцовых произведений». Эта доктрина, получившая наибольшее распространение в кино, привела к тому, что двухсотмиллионная страна, создавшая свое великолепное, самобытное киноискусство, одно время производила меньше фильмов, чем Польша или Бельгия. Сократилось количество театров и литературных журналов. А количество выдающихся произведений не увеличилось даже в процентном выражении. Они продолжали одиноко возвышаться на фоне посредственных и слабых. Ибо прав был Маркс, утверждавший, что выдающееся произведение искусства капитализирует в себе труд многих людей, работающих в этой же области. Больше того — стремление во что бы то ни стало создать произведение — эталон, художественный документ, дающий исчерпывающее и единственно правильное освещение определенной темы, приводило даже крупных художников к схематизму.

Вряд ли кому-нибудь придет в голову отрицать необходимость квалифицированной редакции и заслуги наших лучших редакторов. Но за последнее время развелось такое количество людей и организаций, претендующих на редакторские функции, их права и полномочия приобрели такой преувеличенный характер, что это

уже стало бедствием. Теперь никого не удивляет, что в журнальных отзывах рядом с фамилией автора книги ставится фамилия редактора. Выглядит это так, как будто у книги есть командир и комиссар. Если рецензенту не нравится стиль автора, он зачастую адресует свои упреки редактору, не смущаясь тем, что автор не юнец, а зрелый, сложившийся писатель. На театре дело обстоит еще хуже. Во всех договорах, заключаемых между театром и драматургом, имеется пункт о том, что автор обязуется по требованию театра вносить любые изменения и исправления, отказ грозит ему материальными санкциями. Недавно режиссер Э. Краснянский выступил в журнале «Театр» с требованием указывать на титульном листе всякой пьесы, какой театр является ее редактором. А несколько лет назад критик А. Макаров выступил с теоретическим обоснованием укоренившейся практики, ссылаясь на то, что «жизненный опыт коллектива всегда шире, богаче, полнее индивидуального опыта».

Бесспорно, люди театра могут быть очень полезны неопытному драматургу. И в первую очередь своим сценическим опытом. Что же касается жизненного опыта, то можно еще поспорить, является ли жизненный опыт писателя только индивидуальным опытом и закономерно ли ставить знак равенства между жизненным опытом театральной группы и опытом народа, его коллективной мудростью. Я глубоко убежден, что рассматривать пьесу как полуфабрикат — ошибка в равной степени губительная и для драматурга и для театра. Вмешательство театра приносит вред не только в тех случаях, когда автор протестует, но нередко и в тех случаях, когда автор благодарит. Как правило, произведения талантливые, оригинальные становятся от такого вмешательства хуже, произведения бездарные, беспомощные — лучше. Так приобретают право на жизнь суррогаты.

Вторгаясь в несвойственную им область, режиссеры и актеры нередко становятся менее требовательны к себе — начинают обходить трудности и уклоняться от решения сложных задач, подтасовывать текст для оправдания привычных и удобных решений. Все, что не сразу удастся, начинает казаться неосуществимым, все спорное — ошибочным и требующим исправления. Так исчезает вера в пьесу, уважение к замыслу, возрождается нигилистическое отношение к тексту. Не встре-

чая отпора у современников, оно распространяется и на классику.

Помимо театров существует немалое количество инстанций, обладающих если не правом, то возможностью непосредственно или через театр диктовать свою волю автору. В результате пьесу редактируют все кому не лень, любая очередная кампания, к примеру борьба с пьянством, может послужить поводом, чтоб потребовать переделки уже идущей на сцене пьесы. Редактирует даже стеклография, размножающая пьесы на правах рукописи, даже издательские корректоры самовольно вычеркивают из пьес излишние по их мнению тире и заменяют их запятыми — частое употребление знака «тире» разрешается только Горькому. Бесполезно доказывать, что Горький произвел реформу в пунктуации и в разговорной речи тире отныне выполняет более широкие функции. Существует инструкция...

Невольно помянешь чорта и опять-таки наталкиваешься на инструкцию — чорта писать только через «ё». Может быть, оно и правильно, но вкус уже не тот.

Нечто подобное испытывает и режиссура. Те, кому приходилось присутствовать на сдаче готовых спектаклей, знают, в каком безапелляционном тоне привыкли давать свои указания многочисленные инспекторы и инструкторы. (Кстати, в переводе на русский язык это обозначает: надзиратели и наставники). Сейчас эта процедура обставляется несколько либеральнее, но сущность мало изменилась. Что же касается театральной критики, то газетные нравы почти не поколеблены. По-прежнему существует порядок, при котором хуже пишущие и меньше знающие имеют полную возможность править тех, кто лучше пишет и больше знает. Выбрасывать и вписывать целые абзацы считается в порядке вещей. Отсюда и отношение к газетной рецензии. Неважно, кто пишет, важно, где напечатано.

Искусство знает только одну законную иерархию — это иерархия таланта. Ее устанавливают время и народ, когда это делается поспешно и келейно, все сводится к обычной табели о рангах, несправедливой в глазах современников и смешной в глазах потомков. Сейчас уже не нужно быть смельчаком, чтобы сказать вслух о том, как мало пользы и как много вреда принесли Сталинские премии. Они вносили в театр дух конъюнктуры и ажиотажа, порождали спекуляцию на теме

и далеко не социалистические формы соревнования. Они дезориентировали и театр и зрителей, канонизируя фальшивки, ставя их на одну доску с подлинными произведениями искусства, а иногда и выше. То же самое можно сказать о бесчисленных конкурсах и смотрах. Вообще изобилие чинов и регалий не увеличивает количество талантов. Дипломы подобны казначейским знакам, — когда за ними нет достаточного золотого обеспечения, они падают в цене.

Прочтите внимательно рядовую афишу современного МХАТа. После слов «в спектакле участвуют»: с красной строки перечислены народные артисты Союза, лауреаты Сталинской премии. Ниже или отступя — народные артисты Союза, не лауреаты. Следующая строка — народные артисты республики, лауреаты. Ниже — просто народные. Затем следуют разделенные соответственными интервалами заслуженные деятели искусств и заслуженные артисты союзных республик с премиями и без оных, заслуженные деятели и заслуженные артисты автономных республик и наконец в самом низу просто артисты Художественного театра как таковые, в том числе исполнители главных ролей.

Невольно вспоминается Чехов. Не автор лирической «Чайки», распростершей свои крылья в верхнем углу афиши, а Чехов — сатирик, автор рассказа «Винт». Вспомните карточную колоду, изобретенную скучающими чиновниками...

Вряд ли К. С. Станиславский подписал бы афишу, где артист приравнен к двойке и коллежскому регистратору.

Учреждение почетных званий имело под собой разумные основания. Звание народных артистов присуждалось немногим, обладавшим действительно все-народным признанием актерам — Неждановой, Шаляпину, Южину, Станиславскому. Звание заслуженных артистов давалось тем, кто многолетним трудом заслужил особую признательность современников. Сейчас народ уже не в силах упомянуть всех носящих звание народного артиста, а о получении звания заслуженного артиста молодой способный актер начинает заботиться уже в первое пятилетие после выпуска из школы. Почет здесь ни при чем. Это вопро положения, зарплаты, концертной ставки. В конце концов все свелось к служебной категории, к номенклатуре.

Среди драматургов иерархия устанавливается несколько иначе. Для этого существуют обзорные статьи. Подписывают эти статьи обычно никому не ведомые люди, но это и не важно, так как пишутся они от имени народа: «Народ знает и любит таких писателей, как...», «Не выполняют своего долга перед народом такие писатели, как...», «Народное признание получили такие пьесы, как...», «Народ отверг такие пьесы, как...». За этой магической формулой, полностью освобождающей от аргументации, следует перечень фамилий или названий. В перечне «за здравие» лучшие места впереди, в заупокойном — в конце. И опять вспоминается Чехов. На этот раз «Канитель».

«Служенье муз не терпит суеты»... Однако за последнее время мы очень много суетимся, артисты устремились к власти, администраторы — к славе. Ведущие актеры директорствуют, работники аппарата инсценируют, пишут статьи, защищают диссертации. Диссертации эти стоит перечитать, что же касается артистов на директорских ролях, то с уверенностью можно утверждать только одно: свои лучшие роли они создали до приказа об их назначении.

Кто же ответствен за создавшееся положение? До сих пор речь шла об ошибках в руководстве театральным делом. Ошибки серьезные. Из этого не следует делать вывода, что искусство вообще не надо направлять. Вредно не руководство, а опека. Творческие работники театра и советские писатели воспитаны партией. Именно поэтому большинство из них проявило моральную стойкость на всех крутых поворотах истории, не оторвалось от жизни народа и радостно приветствовало решения XX съезда КПСС.

То, что переживаемые трудности являются издержками культа личности, не снимает с творческих работников личной ответственности за судьбы театра. Ведь даже во время землетрясений люди ведут себя по-разному — одни мужественно, другие трусливо, одни благородно, другие подло, одни спешат на помощь пострадавшим, другие грабят опустевшие дома. Можно безошибочно утверждать, что в трудное время честные и талантливые люди вели себя лучше карьеристов, люди партийного склада лучше, чем равнодушные приспособленцы. Поэтому поражает своей бессмысленностью давний спор о том, какой именно цех наиболее повинен в создавшемся неблагополучии — драматурги или акте-

ры, режиссура или критика. Эта цеховая распря совершенно бесплодна и способна породить только взаимное раздражение, в котором и так нет недостатка.

Наиболее распространена и стала почти официальной версия, что главные виновники — драматурги, которые живут на дачах и не знают жизни, вследствие чего наша драматургия перманентно отстает. Прежде чем принять или отвергнуть эту версию, необходимо уточнить, какое содержание вкладывается в термин «наша драматургия», от кого и от чего она отстает.

Написать хорошую пьесу так же трудно, как хороший роман. А. М. Горький считал, что даже труднее. Но написать плохую пьесу гораздо легче, чем самый плохой роман. Вероятно, поэтому во все времена писалось очень много плохих пьес. Старая Александринка, будучи отличным театром, ставила поразительно много дряни. Однако русской драматургией XIX века мы называем не эти забытые пьесы, а настоящую драматическую литературу, творчество писателей, оставивших живой след в духовной жизни своего поколения. Почему-то, говоря о драматургии современной, мы прежде всего вытаскиваем запыленные списки членов драмсекций со всеми «мертвыми душами», добавляем к нему список прозаиков и поэтов, когда-либо писавших для театра, растворяем в десятикратном объеме само тека, переполняющего портфели театров и шкафы репертуарных органов, получившуюся смесь сортируем по тематическому признаку, а затем, не утруждая себя конкретным анализом произведений, оперируя в основном статистическими данными, регистрируем очередное отставание. В обзорных статьях и итоговых докладах сообщается, что «такие писатели, как...» продолжают отмалчиваться, прочие же создают «косяки» пьес на однородные темы, не учитывая разнообразных запросов неизмеримо выросшего зрителя.

Пора уже понять, что статистикой в нашем деле не много возьмешь, что настоящие пьесы по самой своей природе не могут ходить «косяками» и что делать выводы о процессах, происходящих в искусстве на материале произведений, лежащих вне искусства, — занятие вполне бесполезное. Пора развеять миф о незнании драматургами жизни. Человек, не знающий жизни, вообще не драматург, не писатель. К тому же драматурги — люди очень разные, к ним нельзя подходить с одной меркой. И если бы товарищи, увлекающиеся

статистикой, взяли на себя труд Плутарха и вместо общих рассуждений проследили пути хотя бы двух советских драматургов, к примеру Арбузова и Софронова, они поняли бы гораздо больше.

Если рассматривать драматургию как часть большой советской литературы, то нет серьезных оснований загонять ее в карцер. Советские драматурги создали ряд пьес, выдержавших испытание временем. Мы не так уж бедны, если «Оптимистическая трагедия» могла ждать своего воплощения на ленинградской сцене двадцать лет.

Может быть, драматургия отстает от театра? Сомнительно. Театр не может развиваться в отрыве от драматургии. С режиссурой дело обстоит ничуть не лучше, чем с репертуаром. Почти нет новых имен. Многие мастера старшего поколения, вместо того чтобы растить у себя в театрах полноценную смену, предпочитали держать при себе «подручных», до седых волос выполнявших за своих мэтров всю черновую работу. Теперь это сказывается. Неблагополучно и с актерским мастерством. Конечно, таланты у нас не перевелись, есть хорошие актеры. Но не все, какие нужны, и не столько, сколько нужно. Даже в лучших наших труппах нет актеров на многие роли классического репертуара. Средний уровень довольно высок, но над ним поднимаются немногие. Труппы перегружены середняками, способными грамотно сыграть любую роль во втором составе. На премьерах еще удастся блеснуть, но редкий театр способен сейчас выставить в рядовом спектакле такое созвездие, какое можно было ежедневно наблюдать на сцене далеко не академического, в свое время многократно обруганного, а ныне полузабытого театра б. Корша. Стоит в театре низшей категории появиться интересному актеру, как его забирают крупные столичные театры, хоть каждый из них имеет свою школу, в прямом и переносном смысле. Над всем этим стоит задуматься.

Может быть, драматургия отстает от зрителя? С этим можно согласиться с одной существенной оговоркой. Запросы и вкусы зрителя в немалой степени зависят от состояния театра и драматургии. Почитайте письма зрителей и стенограммы зрительских конференций и вы увидите наряду с грамотными, дельными, искренними высказываниями, свидетельствующими о культуре и гражданской зрелости, очень грустные

человеческие документы, говорящие о серьезных разрушениях, произведенных бесстыжими лакировочными пьесами и ханжескими писаниями начетчиков.

Попытки изобразить себя на велосипеде, а своего соседа верхом на черепахе — отзвуки все той же цеховой распри. Вероятно, кому-то она выгодна, иначе бы ее не было. Но искусство тут ни при чем.

Дело не в отставании, которое мы привычно пытаемся преодолеть при помощи семинаров и творческих командировок, заседаний и прочих мероприятий. И не в том беда, что пьесы пишутся зачастую людьми неталантливыми и даже недобросовестными — так было, есть и будет, а в том, что ослабли и стали распадаться творческие связи между театрами и писателями. Многие вообще перестали писать для сцены. Упреками и заклинаниями тут не поможешь — заставить писать так же невозможно, как и запретить. Театрам стало все равно, кого ставить, драматургам все равно, где ставить. Среди причин, вызвавших распад творческих связей между писателями и театрами, серьезную роль играет крайнее бесправие драматурга. Оно происходит совсем не от засилья режиссуры, как кажется некоторым писателям. Эпоха «режиссерского театра» давно прошла. Театр сейчас не режиссерский и не авторский, а уж если надо его как-нибудь назвать, то скорее всего директорский. Неравенство в положении драматурга и директора заключается в том, что директор представляет собой государственное учреждение, пишет на бланках и обладает круглой печатью, в то время как писатель, если он не занимает какого-нибудь высокого общественного поста, рассматривается как лицо совершенно частное, ибо пишет на обыкновенной бумаге и круглой печати не имеет. Театр не несет по отношению к драматургу никаких обязательств, кроме материальных, творческие права драматурга никак не ограждены, он обязан по требованию театра вносить в пьесу любые изменения и не вправе даже забрать пьесу из театра в случае принципиальных несогласий. Пока не подписан постановочный договор и директор вместе с главным режиссером уговаривают автора не отдавать пьесы другому театру, писатель еще может иметь свою точку зрения. В этот период ему даются любые обещания, которые, как правило, никогда не выполняются. Будь на месте автора учреждение, никто не осмелился бы так поступать, будь директор или

главный режиссер частными лицами, им было бы известно. В данном же случае они не испытывают никакого неудобства — за ними стоит коллектив, план, бюджет, они привыкли считать свои интересы государственными, а интересы автора частными. Конечно, есть и исключения, но они немногочисленны.

Все это говорится не для того, чтобы огульно опровергнуть театры. Положение у них нелегкое. Писатель может не писать пьес, театр не может не ставить спектаклей. Писатель отчитывается за свою работу не каждый год, театр же в каждом квартале. Иногда кажется, что у театра две души — одна ищет родственную писательскую душу, мечтает сказать новое слово в искусстве и устремлена в завтрашний день, другая живет сегодняшним днем, кассой и конъюнктурой, охотится за модными пьесами и с унылым высокомерием поносит драматургов. Все зависит от того, какая душа берет верх. Театры, находящиеся на подъеме, обычно не жалуются на репертуар, они его создают. Никто не мешал Центральному детскому театру вступить в плодотворное для обеих сторон творческое содружество с В. Розовым. С другой стороны, никто не заставлял рафинированнейшего Ю. Завадского броситься в грубоватые, но казавшиеся такими надежными объятия А. Сурова.

Вне творческого содружества драматурга и театра невозможен расцвет драматической литературы, а следовательно, и всего театрального искусства. В наших силах добиться не частных успехов (они есть и были даже в худшие времена), а подлинного расцвета. Не возврата к прошлому, хотя бы и блестящему, а нового подъема, пред которым должна будет отступить телевизионная армия. Из конкурента телевизор должен превратиться в пропагандиста.

Для того чтоб прийти к новому подъему, необходимо прежде всего честно и бесстрашно оценить понесенный ущерб и подсчитать свои потери. Без этого нельзя восстановить ни истины, ни справедливости. Существует точка зрения, что незачем ворошить прошлое. Было-де много плохого, теперь все идет к лучшему, а поэтому — кто старое помянет, тому глаз вон. Но что же делать — искусство не преферанс, где можно перечеркнуть старую запись и начать игру сызнова. Так же как военное искусство не может двигаться вперед, не переоценив в свете решений XX съезда многие факты из истории

Отечественной войны, искусство театра не может нормально развиваться, пока не будет покончено с фальсификацией истории советского театра, с мифами и дутыми авторитетами, пока не будут реабилитированы несправедливо опороченные люди и произведения. В частности, надо открыто сказать, что никакой антипатриотической группы театральных критиков не существовало в природе. Это такая же провокация, как пресловутое «дело врачей», только без взятия под стражу. Порознь «участники группы» давно реабилитированы, коммунисты восстановлены в партии, но миф еще живет.

Восстанавливать истину надо не для сведения старых счетов,— ничего вреднее этого нельзя было бы выдумать,— а в интересах самой истины. Замазывание существующих противоречий иногда оправдывается лозунгом «консолидации всех творческих сил». Но это плохая консолидация. Болезни надо лечить, а не скрывать.

Необходимо решительно покончить с рецидивами политики кнута и пряника в искусстве. Для художника одинаково губельны и головокружительные вознесения и головоломные падения. Не надо спешить с оценками, не надо слишком часто подбивать итоги и ставить отметки. Нет нужды подменять широкую общественную критику репрессиями и оргвыводами, приказами и директивными статьями, после которых вся остальная пресса делает поворот на 180 градусов! Так можно сломить, заставить подчиниться, но нельзя убедить. Пьеса Л. Зорина «Гости» заслуживала серьезной критики. Вместо критики получилась очередная проработка, принесшая много травм и ничему, кроме осторожности, не научившая. Многие до сих пор не понимают, почему «Гости»— зло, а «Дочь прокурора» Ю. Яновского или «В тихом переулке» А. Мовзона — благо. Добро и зло не могут различаться в чуть уловимых нюансах, разница между ними должна быть очевидна и общедоступна. Вряд ли была необходимость бить тревогу и снимать пьесу Н. Погодина «Трое поехали на целину». Вероятно, в ней не было органических пороков, а только вполне исправимые авторские просчеты, иначе как объяснить успех М. Калатозова, поставившего фильм на тот же сюжет с теми же основными героями? Бдительные товарищи, обнаружившие крен в сторону всякого рода сатирически-обличитель-

ных пьес, напрасно устроили панику. Возникший как естественная реакция на бесконфликтно-лакировочную продукцию, он не представлял ни малейшей опасности. Никто не собирался охаивать советскую действительность. Прошло бы еще несколько месяцев и равновесие восстановилось бы и без тревожных свистков. Но мы еще не научились умерять руководящий зуд.

Назрела необходимость существенной реформы всей организации театрального дела. Децентрализация, решительное сокращение инстанций, имеющих право так или иначе влиять на жизнь театра и его репертуар. Пересмотр системы оплаты труда театральных работников с таким расчетом, чтобы люди равной квалификации получали за свой труд равную оплату независимо от того, где они работают. Тогда ведомственные соображения не смогут брать верх над соображениями художественного порядка. А это бывает нередко. Три примера из жизни ленинградских театров.

Несколько лет назад режиссер Н. Акимов был отстранен от руководства Театром комедии и переведен на ту же должность в театр низшей категории. Предполагалось, что наказан Акимов, а на деле наказали ни в чем не повинных зрителей. По-прежнему, отправляясь в Театр комедии, они говорили: «Сегодня идем к Акимову». Затем перестали ходить. Выяснилось, что театр развалился и надо возвращать нераскаянного Акимова.

Пример обратного свойства. Выросший за последние годы в крупного режиссера Г. Товстоногов вывел руководимый им Театр им. Ленинского комсомола в ряд лучших театров страны. Вместо того чтоб организационно помочь театру, был сделан вывод, что режиссер созрел для перехода из театра городского подчинения в республиканский. Сейчас Товстоногов — главный режиссер Большого драматического театра, очень далекого по своей манере от Театра им. Ленинского комсомола.

Третий пример. Свыше четверти века существовал Театр Краснознаменного Балтийского Флота, коллектив с героической биографией и немалыми заслугами. Он выстоял в труднейшие годы войны и блокады. Теперь он уничтожен росчерком пера — при очередной реорганизации для него не нашлось нужной рубрики.

Реформа должна сделать более гибкой окостеневшую структуру. То, что отжило, должно умереть естест-

венной смертью, на смену ему придет новое. Ведомственная рутина мешает и тому и другому. Она консервирует трупы и мешает рождению новых театров. А молодые театры необходимы. И не только сами по себе, но и для того, чтоб встряхнулись их старшие собраты.

Театр не может жить без критики, выражающей общественное мнение. Нужна широкая дискуссия, печатная и устная. Не такая дискуссия, где истина известна президиуму еще до начала. Каждый участник должен быть уверен, что его точка зрения получит объективное освещение в печати. Газетам необходимо восстановить забытый жанр — опровержение. Честь мундира не должна цениться выше чести человека и художника. Надо восстановить обычай оперативно откликаться на каждую премьеру, развивать печатную полемику, дать слово авторам и режиссерам для защиты своих позиций. Вернуть профессиональных критиков в общую прессу и расширить специальную, нельзя мириться с отсутствием тонких театральных журналов, рассчитанных на широкого читателя.

Все это осуществимо. Поэтому нет оснований для пессимизма. Советский театр молод, он выйдет из всех испытаний сильным и обновленным.

Эта статья, вероятно, не будет напечатана. Но переписана она не будет.

1956

Примечания

В первый том настоящего Собрания сочинений Александра Крона включены произведения, написанные им во второй половине 50-х и в 60-е годы — роман «Дом и корабль», очерк «Как я стал маринистом» и статья «Заметки писателя».

Роман «Дом и корабль» — первый опыт большой прозы известного драматурга, свидетельствовал о решительном повороте в его творческой судьбе. Автор восьми пьес, получивших широкое зрительское признание, более четверти века отдавший театру, навсегда расстался с драматургией, целиком посвятив себя прозе. Обращение А. Крона к роману было закономерно. Драматургия становилась для него тесна. Богатый жизненный материал, накопленный во время войны, на флоте, в блокадном Ленинграде, требовал иного изложения, иного взгляда на происшедшее, нового ракурса, образно названного писателем «сменой объектива». Переход А. Крона от драматургии к прозе был не простым. Постигание романной формы далось ему не сразу. Роман «Дом и корабль» постепенно вырастал из пьесы «Офицер флота», откуда в роман перешли многие персонажи и некоторые событийные ситуации. Однако «Дом и корабль» «ни в одном эпизоде, ни в одном диалоге» не повторил пьесу. Об этом свидетельствовал сам автор, создавший новое, самостоятельное произведение с собственной темой, отличной от проблематики «Офицера флота».

В предисловии к однотомнику своих избранных сочинений А. Крон писал: «В романе почти нет батальных сцен, но мне все кажется, что «Дом и корабль» — роман о воинском подвиге. Точнее — о воспитании для подвига. Когда человек становится героем? Мы можем назвать день и даже час совершения подвига. Казалось бы, что может быть проще такого ответа. Но если вдуматься, механизм любого

подвига совсем не прост, героем не делаются в пять минут. Самый подвиг может длиться секунды, но он непременно подготовлен всей жизнью» (Избранное. М., 1972, с. 5—6). Эта основная тема романа была особенно выделена критикой, сочувственно принявшей прозу А. Крона. «Так рождается подвиг» — называлась статья Н. Стороженко, опубликованная в «Ленинградской правде» 13 декабря 1964 года. Рецензент оценил роман как творческую удачу А. Крона и обратил внимание на художественные особенности его творческой манеры: «Крону-прозаику присуща неторопливая обстоятельность письма, выражающая серьезность и обстоятельность мысли. Именно с такой обстоятельностью показывает автор романа «Дом и корабль» характеры и судьбы своих героев. Здесь нет стремительного развертывания сюжета. Но отсутствие остроты композиции восполняется психологически тонким рисунком каждого образа. А. Крон передает приметы времени прежде всего через людей, через их внутренний мир, отражающий сущность исторических событий». «Дом и корабль» сразу же был поставлен критикой в ряд произведений, воскрешающих атмосферу блокадного Ленинграда, первого, тяжелейшего года войны на Балтике. Выход романа А. Крона был отмечен «Литературной Россией» (13 ноября 1964 г., статья В. Камаянова «Лейтенант Туровцев посвящается в гуроны») и «Литературной газетой» (28 ноября 1964 г., статья В. Кетлинской «Глубинное течение»). Появились рецензии в «Новом мире», «Неве» и других изданиях. Успех романа, утверждавший честную, принципиальную позицию его автора, несомненно означал, что рождение Крона-прозаика состоялось. Роман «Дом и корабль» завершал и важный этап работы писателя-мариниста, тесно связанного с флотом многие годы. О своей службе на флоте, о жизни в осажденном Ленинграде, о своих товарищах по оружию А. Крон рассказал в очерке «Как я стал маринистом» (1965), непосредственно примыкающем к роману. Продолжая серию очерков, посвященных войне на Балтике, А. Крон создал запоминающиеся портреты знаменитых подводников, командиров, флотоводцев. Многие из описанных в очерке событий послужили канвой для пьесы «Офицер флота», романа «Дом и корабль», повести «Капитан дальнего плавания».

Расставшись навсегда с драматургией (последняя пьеса «Кандидат партии» написана в 1950 году), А. Крон должен был подвести итоги своей многолетней работы в театре, вскрыть причины переживаемого театром кризиса, наметить пути выхода из него. Статья «Заметки писателя» во втором

выпуске альманаха «Литературная Москва» (1956) выполнила эти задачи. Она суммировала принципиальные размышления А. Крона о разрушительном воздействии на литературу и искусство культа личности Сталина, о пресловутой теории «бесконфликтности», насаждаемой сверху долгие годы, об ответственности интеллигенции за судьбы культуры. Крон выступил против сталинского стиля руководства искусством, против мелочной опеки, осуществляемой многочисленными цензорами и аппаратчиками, против «табели о рангах», ставшей нормой жизни в искусстве. Разделяя ответственность за судьбу театра, автор статьи «бил тревогу», заявляя о назревшей, неотлагаемой реформе театрального дела.

Появление в печати «Заметок писателя» несомненно связано с теми глубокими изменениями в общественном сознании и в политической жизни страны, которые принес XX съезд КПСС. «Заметки писателя» стали своеобразным программным документом, литературным манифестом периода хрущевской «оттепели», камертоном мировосприятия, рожденного историческими решениями съезда. Но даже в этих благоприятных условиях статья оказалась слишком смелой. Она подверглась резкой критике, признавшей ее «ошибочной». На втором выпуске прекратил свое существование новый перспективный альманах «Литературная Москва», объединивший на своих страницах крупнейших советских писателей. 20 декабря 1957 года партком московских писателей и собравшийся актив «единодушно осудили, как идейно порочные, рассказы А. Яшина, Ю. Нагибина и Н. Жданова, статью А. Крона, некролог о критике Щеглове» (Московский литератор, 26 декабря 1957 г. Отчетный доклад тов. Сытина В. А.).

«Дом и корабль» (с. 29).— Впервые в журн. «Звезда», 1964, № 7—9.

«Как я стал маринистом» (с. 543).— Впервые в сб. «Рядом с героями». М., Советский писатель, 1967.

«Заметки писателя» (с. 571).— Впервые в альманахе «Литературная Москва», сб. 2. М., 1956.

Содержание

<i>Д. Тевекелян. Главная книга Александра Крона</i>	<i>5</i>
<i>Дом и корабль</i>	<i>29</i>
<i>Как я стал маринистом</i>	<i>543</i>
<i>Заметки писателя</i>	<i>571</i>
<i>Примечания</i>	<i>587</i>

Крон А. А.

К83 Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1. Дом и корабль: Роман; Как я стал маринистом: Очерк; Заметки писателя/Вступ. статья Д. Тевекелян; Примеч. И. Желваковой.— М.: Худож. лит., 1990.—590 с.

ISBN 5-280-01044-8 (Т. 1)

В первый том настоящего Собрания сочинений Александра Крона (1909—1983) включены произведения, написанные им в конце 1950-х — начале 60-х годов — роман «Дом и корабль», очерк «Как я стал маринистом» и статья «Заметки писателя».

К 4702010201-182
028(01)-90 Подписное

ББК 84Р7

Александр Александрович КРОН

Собрание сочинений в трех томах

Том первый

Редактор *О. Дворцова*
Художественный редактор *Е. Ененко*
Технические редакторы *А. Кашафутдинова, Л. Витушкина*
Корректор *И. Лебедева*

ИБ № 5745

Сдано в набор 24.08.89. Подписано в печать 22.05.90. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Печать высокая. Гарнитура «Литературная». Усл. печ. л. 31,08 + вкл. = 31,13. Усл. кр.-отт. 31,18. Уч.-изд. л. 32,08 + вкл. = 32,13. Тираж 100 000 экз. Изд. № III—3638.
Заказ № 286. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Государственного комитета СССР по печати. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29

Library
of Congress

✓